Александр Дюма
Кавказ

От редактора

«Кавказ» Александра Дюма — документ эпохи, но не просто рассказ писателя о путешествии по Кавказу, а романтически-вдохновенное и не всегда беспристрастное повествование об одиссее от Кизляра до Поти, через все Закавказье, в весьма неспокойное время конца пятидесятых годов прошлого столетия.

После николаевского застоя Россия жила в обстановке бурного общественного подъема. В части общества либеральные обещания первых лет царствования Александра II породили определенные надежды на хотя бы относительные демократические преобразования. Из грузинских источников известно, что эти надежды питали и Закавказье, — и не только просвещенные круги края, но и закабаленное крестьянство.

Продолжительная и кровопролитная Кавказская война близилась к своему завершению; уже менее, чем через год после путешествия А. Дюма, к концу лета 1859 года, Шамиль был пленен в Гунибе.

И если актуальные социально-политические вопросы, оживленно обсуждавшиеся в русском обществе того времени, мало интересовали А. Дюма (в «Кавказе» вы найдете их весьма слабые следы), то разные романтические эпизоды войны, напряженная обстановка, возбуждающая пылкое воображение писателя, небезопасность горных путей и троп, таящая неожиданные приключения, нашли яркое отражение на страницах его книги.

Это не упрек писателю — просто надо знать, что А. Дюма писал только о том, что интересовало, волновало, вдохновляло его самого и что заинтересовало бы, по его мнению, читателей Франции.

Страницы «Кавказа» свидетельствуют о том, что, готовясь к поездке на Кавказ, А. Дюма тщательно штудировал имеющуюся на Западе научную и популярную литературу о кавказских народах, литературу, как сейчас ясно, небезошибочную.

К приезду в Россию А. Дюма был уже прославленным автором всех своих знаменитых романов, многочисленных пьес, описаний путешествий и т. д. В русских читательских кругах он был очень популярен. Еще в 30-е годы его пьесы с шумным успехом шли в Петербурге, им был написан роман «Записки учителя фехтования» (впрочем, в России запрещенный, но тайком читаемый даже в императорской семье), в котором под вымышленными именами рассказана история декабриста И. А. Анненкова и его жены-француженки, Полины Гебль, последовавшей за мужем в сибирскую ссылку. Да и не только в просвещенных центрах России, но и на Кавказе, еще объятом пламенем войны, при произнесении имени Дюма, многие радовались, узнавая в могучем и жизнерадостном исполине автора «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».

Общеизвестно — А. Дюма прекрасный рассказчик. Читатель еще раз убедится в этом на примере этой книги.

«Кавказ» Дюма впервые выходит в таком полном объеме. Сто двадцать пять лет назад в Тифлисе он появился на русском языке в сокращенном переводе П. Н. Роборовского и после этого не издавался.

Подготовил это издание «Кавказа» М. И. Буянов, страстный пропагандист книги. Хотя он по своей основной профессии врач-психиатр, его интересные историко-литературные работы периодически появляются на страницах нашей печати. Он переработал и отредактировал во многом устаревший перевод П. Н. Роборовского, перевел недостающие части, написал вступительную статью; совершил путешествие «по следам Дюма», рассказал об этом в послесловии и собрал богатый иллюстративный материал. Мы должны быть благодарны этому человеку, а также всему коллективу издательства «Мерани», который столь ответственно и бережно отнесся к настоящему изданию.

О «Кавказе» Дюма

«Кавказ» Александра Дюма первый и последний раз вышел на русском языке очень давно — в Тифлисе в 1861 году.

И вот спустя 125 лет «Кавказ» вновь публикуется на русском языке. И вновь в столице Грузии, где уже дважды (в 1964 и в 1970 г.) выходил на грузинском языке в сокращенном переводе с французского Тинатин Кикодзе, с предисловием профессора Акакия Гацерелиа.

Современные читатели узнают о жизни Дюма главным образом по прекрасной книге А. Моруа «Три Дюма», вышедшей в 1962 году в издательстве «Молодая гвардия». Даже в этой фундаментальной биографии поездка Дюма в Россию описывается эскизно.

К «Кавказу» можно относиться по-разному.

Одни читатели расценят книгу лишь как прекрасное сочинение, достойное автора «Трех мушкетеров».

Другие увидят в ней образец художественного описания путешествий.

Третьи воспримут «Кавказ» как замечательный документ эпохи, сохранивший для последующих поколений комплекс обширных сведений о Кавказе 1858–59 годов.

Четвертые могут думать, что «Кавказ», — в основном, талантливая этнографическая и историческая работа, являющаяся этапом в изучении иностранцами Кавказа.

Пятые…

Могут быть и пятые, и шестые, и седьмые.

И, вероятно, каждый будет по-своему прав, ведь книга Дюма — как и всякое неординарное творение с множеством пластов и измерений, способна вызывать в читателях противоречивые чувства — каждый будет черпать из нее необходимое. «Кавказ» — это не только увлекательный рассказ о многих исторических событиях, людях его времени, но и о литературных фактах, имеющих значение сточки зрения истории русской литературы. Так, в нем приводится письмо Е. П. Ростопчиной и стихотворение М. Ю. Лермонтова «Раненый» — до этого они нигде не печатались. В «Кавказе» автор дает оценку М. Ю. Лермонтову, А. А. Бестужеву-Марлинскому и другим литераторам — знать мнение о них Дюма чрезвычайно любопытно.

Как родился «Кавказ», какие социально-психологические и художественные факторы повлияли на создание книги? Чем интересна она нам, живущим много десятилетий спустя после ее выхода? Типична ли эта книга для творчества Дюма? И, наконец, как Дюма вообще оказался в России? Эти и многие иные вопросы встают перед читателем.

* * *

С июня 1858 года по февраль 1859 года Дюма жил в России, причем последние три месяца провел на Кавказе.

Дюма не только наблюдал жизнь страны, но и занимался литературным трудом. Помимо того, что он создал здесь книги о России, он много переводил: ода Пушкина «Вольность», «Герой нашего времени» и стихотворения Лермонтова, «Ледяной Дом» И. Лажечникова, повести А. А. Бестужева-Марлинского и т. д. Переводить Дюма помогали Д. В. Григорович и другие русские писатели, свободно владевшие французским языком. По

возвращении в Париж Дюма издал эти переводы. Некоторые из них вошли в выпущенную им антологию русской литературы начала XIX столетия.

Дюма внес большой вклад в приобщение западноевропейских читателей к русской литературе, и этого нельзя забывать, как нельзя не восхищаться и стабильностью творческой продуктивности писателя: ведь работать в гостях — да еще в разъездах — и работать дома, в привычной обстановке, конечно, не одно и то же.

С 16 апреля по 15 мая 1859 года в Париже ежедневно отдельными выпусками (всего 30 выпусков, каждый стоил дешево — по 15 сантимов) печатались путевые заметки Дюма о поездке на Кавказ. В эти же дни «Кавказ» вышел отдельным изданием. Тогда же Дюма выпустил две книги о своей поездке в Россию: вместе с «Кавказом» они как бы составляют своеобразную трилогию, хотя каждая из них самостоятельна.

Дюма публиковал их зачастую в разной редакции и под неодинаковыми названиями: он порой объединял «Письма из Санкт-Петербурга» и «Из Парижа в Астрахань» в одну («Впечатления о поездке в Россию» — под таким, например, названием в 1858 году появилась одна из его книг: Дюма еще долго собирался оставаться в России, а в Париже уже вышла книга об этой поездке). Создавались эти книги по горячим следам («Кавказ», например, был, в основном, написан во время пребывания в Грузии), и они несут на себе отпечаток политических и социальных проблем, беспокоивших русское общество тех лет.

Расцвет либеральных надежд в начале царствования Александра II, завершившийся освобождением крестьян от крепостной зависимости; окончание четвертьвекового противоборства русской армии с войсками Шамиля; снятие правительственного табу на сведения о судьбе декабристов и опальных писателей эпохи Николая I — все это отразилось на книгах Дюма об этой поездке.

«Кавказом» охватывается не весь Кавказ, а большей частью Грузия: грузинской тематикой пронизана вся книга, грузинские мотивы в ней преобладают.

В первой половине XIX столетия Кавказ посещало мало западноевропейских путешественников. В основном, дипломаты и негоцианты, интересовавшиеся сугубо практическими вопросами — дипломатическими и торговыми. То были мужественные и любознательные люди, коли они пустились в нелегкое странствие. Их отчеты о поездках, хотя и являются интересным источником изучения Кавказа соответствующей эпохи, тем не менее лишены сколь-либо значительных художественных достоинств.

В «Кавказе» упоминается француз Жан Шарден (1643–1713), автор «Путешествия в Персию». Он побывал в Грузии, подробно описал Дербент, одним из первых европейцев познакомил читателей с восстанием Степана Разина. В старой части нынешнего Тбилиси есть улица Шардена.

В 1857 году в Петербурге вышел перевод книги прусского экономиста барона Августа фон Гакстгаузена (1792–1866) «Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийским морями». Автор в 1843 году проехал от Анапы до Тифлиса, оттуда направился в Эривань, затем вернулся в столицу Грузии. Он подробно описывает жизнь народов Кавказа, но его интересовали немцы-колонисты. Отталкиваясь от этого, Гакстгаузен рассказывает о жизни местных народов.

Назовем еще одну книгу, она вышла в Париже в 1826 году и называется «Путешествие в южную Россию и в особенности в Закавказские провинции, совершенное с 1820 по 1824 годы шевалье Гамба, консулом короля в Тифлисе». Дюма, вероятно, внимательно прочитал ее, готовясь к поездке в Россию: имя автора он несколько раз упоминает на страницах «Кавказа».

Жак-Франсуа де Гамба (1763–1833) — заурядный торговец, связанный коммерческими интересами с Россией. В 1817–1818 годах он исколесил Крым, Кубань, юг Украины, объездил все Закавказье. В Грузии купил шестнадцать тысяч десятин леса, который выгодно перепродал во Францию. В 1824–1826 годах жил в Париже, где и выпустил книгу (она представляет библиографическую редкость и ни на какие языки с французского не

переводилась), с 1826 года жил в Тифлисе.

О чем же книга Гамба?

О том, как выгодно западным европейцам торговать с Кавказом.

О том, как богата Грузия.

О том, что французы должны любой ценой помешать экспансии англичан на Кавказе.

И так далее.

Отчет Гамба о поездке по Кавказу является документом эпохи, все чаще привлекающим внимание советских ученых.

Интересна и еще одна публикация, в том же Париже в 1838–45 годах вышла книга швейцарца Фредерика Дюбуа де Монпере (1798–1850) «Путешествие автора по Кавказу к черкесам и абхазам, в Колхиду, Грузию, Армению и в Крым».

Все эти книги (плюс некоторые не названные) — добросовестные, полезные, насыщенные любопытной информацией, вызывающие несомненный интерес, — но они не произведения людей искусства.

Книга же Дюма на фоне всего того, что писалось до и после него, стоит особняком — это замечательное по своей достоверности и художественности произведение.

Д. В. Григорович так объясняет причины приезда Дюма в Россию: «Путешествуя со своей семьей за границей, граф Г. А. Кушелев-Безбородко встретился в Риме в 1858 году с популярным тогда спиритом Даниилом Юмом, «шотландским колдуном», как называет его Дюма. Быстрое сближение завершается помолвкой Д. Юма с сестрой графини Александриной Кроль. Свадьба откладывается до возвращения в Россию; а проездом, в Париже, встретившись с А. Дюма, граф склоняет его к путешествию в Петербург в качестве гостя на предстоящей свадьбе»[1].

24 июня 1858 года Ф. И. Тютчев писал жене: «Вот уже несколько дней как мы обладаем двумя знаменитостями: Юмом, вызывателем духов, и Александром Дюма-отцом. Оба приехали под покровительством графа Кушелева».

Итак, благодаря случайности, Дюма оказался в России. В компании с Юмом, о существовании которого ныне знают лишь историки психиатрии и историки человеческих суеверий.

Едва ступив на петербургскую землю, Дюма очутился на этой свадьбе. Шаферами были граф А. Бобринский и граф А. К. Толстой. Дюма с ними познакомился, но беседа на литературные темы с Толстым, увы, не состоялась, и на этом их контакты оборвались. На свадьбе Дюма встретился с Д. В. Григоровичем. Григорович познакомил француза со своими друзьями: Н. А. Некрасовым, И. И. Панаевым и А. Я. Панаевой. Григорович и Панаев выказывали самое дружеское расположение к Дюма, Дюма тоже не оставался в долгу. Он подарил Григоровичу зарисовки дачи Некрасова и Панаевой. Григорович и Панаев расставались с Дюма с сердечной грустью — как и он с ними.

Григорович в конце августа 1858 года отправился в плаванье по Средиземному морю, а Дюма 22 июля выехал поездом в Москву.

В восьми верстах от Петербурга — в Полюстрово (во времена Дюма писали Палюстрово от слова палюс — болото) граф Кушелев-Безбородко владел прекрасной, но запущенной дачей. На этой даче гостил Дюма. Здесь он встречался с множеством людей, среди коих было немало лиц значительных. Он познакомился тут с Алексеем Петровичем Стороженко (1805–1874), писателем, скульптором, музыкантом. Оба пришлись друг другу по душе. В «Кавказе» Дюма вспоминает его: правда, перепутав фамилию — Староренко. При таком обилии знакомств и новой, совершенно непривычной информации ошибиться в каких-то написаниях немудрено.

Дюма, как сообщает Панаева, прибыл в Россию со своим секретарем, невзрачным

---

[1] Григорович Д. В. «Литературные воспоминания», Л., 1928, с. 277.

человечком, замученным буйной энергией патрона. Кого имела в виду Панаева?

Нет сведений, что с Дюма был кто-то еще, кроме Жан-Пьера Муане (1819–1876)[2]. Это был способный архитектор, довольно известный художник, отличный рисовальщик, умевший быстро и точно передать сюжет и тональность. Дюма пригласил его с собой — запечатлевать виды России и Кавказа.

О том, что некоторые рисунки Муане хранятся в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, нам было известно из статьи С. Н. Дурылина. Сохранились ли они, сколько их вообще?

В Музее хранятся шесть рисунков Жан-Пьера Муане, связанных с путешествием художника по Кавказу. Все эти рисунки, отличающиеся высоким художественным качеством, исполнены акварелью по подготовке карандашом: все они подписаны рисовальщиком, и почти все датированы. 1) «Вид Тифлиса». 1858. 245x407; 2) «Вид Тифлиса». 1859. 257x355; 3) «Улица в Тифлисе» 1858. 262x395; 4) «Водяная мельница в горах». 1858. 175x255; 5) «Скалы». 1858. 209x250; 6) «Беседка в саду» 1858. 278x415.

Муане находился в России вместе с Дюма с первого до последнего дня.

В Москве Дюма обрел переводчика: студента Московского университета по фамилии Калино. Тот сопровождал писателя с сентября 1858 года по январь следующего года. И о Муане, и о Калино Дюма подробно пишет в «Кавказе».

В конце 1858 года, когда Дюма был уже на Кавказе, в редактируемом Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым «Современнике» вышла статья И. И. Панаева «Петербургская жизнь. Заметки нового поэта». Приведем из нее выдержки о пребывании Дюма в Петербурге. Панаев цитирует французского романиста Жюля-Габриэля Жанена (1804–1874), напутствовавшего Дюма перед поездкой в Россию. Жанен обращается к русским с просьбой как можно приветливее встретить Дюма: «У него такая светлая голова, такой находчивый ум, такое удивительное воображение. В этом человеке столько жизни, и в ней столько грации и изобретательности. Мы поручаем его гостеприимству России и искренне желаем, чтобы он удостоился лучшего приема, чем Бальзак…»

Панаев отвечает: «Г-н Жюль Жанен может быть совершенно покоен. Город Петербург принял г-на Дюма с полным русским радушием и гостеприимством…, да и как же могло быть иначе? Г-н Дюма пользуется в России почти такой же популярностью, как во Франции, как и во всем мире».

Далее Панаев описывает жизнь Дюма в Петербурге и, между прочим замечает: «К г-ну Дюма являются ежедневно какие-то неслыханные им соотечественницы, единственно для того, чтобы с чувством пожать руку такому знаменитому человеку. Он получает беспрестанно из отечества самые нелепые просьбы: один просит определить его жену и его самого к петербургскому французскому театру, на том основании, будто бы он вызван в Петербург для устройства наших театров; другой, вообразив, что г-н Дюма путешествует по России для каких-то важных целей и по поручению русского правительства, просит принять его секретарем; третий — отыскать ему богатую невесту в России и т. д. …

Счастливый г-н Дюма! Ему все… даже и петербургская суровая природа благоприятствует. В течение всего пребывания его в Петербурге стоит теплая… мало этого — жаркая, ясная, чудная погода»…

А вот внешность Дюма по И. И. Панаеву: Дюма… «высокий, полный, дышащий силой, весельем и здоровьем… с поднятыми вверх густыми и курчавыми волосами, с сильной уже проседью» Панаев обращает внимание, что Дюма не питает особенного расположения к новоявленному императору Наполеону III. Но особенно поразило Панаева, что, даже будучи в гостях, Дюма старается не пропустить ни единой возможности поработать. «Трудно представить себе человека деятельнее и трудолюбивее его», — заключает Панаев свои

---

2 Фамилию Moynet по-русски пишут по-разному: то Мойне, то Моне, то Муане. Например, в тифлисском издании 1861 года спутник Дюма именуется Мойне. Годы жизни Муане установлены по: Hans Vollmer (Hrg) «Allgemeines Lexikon Bildenden Künstler» Leipzig, 1931, B. 25. (s). 206.

наблюдения, проникнутые чувством удивления и симпатии к Дюма.

Около месяца пробыл Дюма в Петербурге, конец июля и весь август — в Москве, затем 7 сентября отправился в Переславль-Залесский, а потом через Калязин и Кострому в Нижний Новгород, оттуда в Казань, Саратов, Астрахань. За пять дней Дюма пересек прикаспийские степи и 7 ноября 1858 года приехал в Кизляр, т. е. вступил на кавказскую землю.

В Москве Дюма жил в Петровском парке, в особняке князя Д. П. Нарышкина, с коим был знаком по Парижу. Неподалеку ныне «4-ый Эльдорадовский переулок». Когда-то были здесь еще три Эльдорадовских переулка, где-то в одном из них помещался знаменитый в середине XIX столетия ресторан «Эльдорадо». «4-го же Эльдорадовского переулка» во времена Дюма не существовало, он назывался тогда Цыганским уголком: здесь жили цыгане, выступавшие в увеселительных заведениях Петровского парка, их было великое множество.

В ресторане «Эльдорадо» и в его саду был устроен прием в честь Дюма. В отчете о приеме полицейские грамотеи назвали его «Элдорадо», а князя Кугушева переиначили в Когушева. Б. С. Земенков («Памятные места Москвы. Страницы жизни деятелей науки и культуры». М., 1959, с. 165) считает, что «Эльдорадо» находилось на том участке Новослободской улицы, где сейчас возвышается дом 58. В Петровском парке находился Петровский дворец, в котором когда-то поселился Наполеон.

Обойти события 1812 года Дюма не мог. Однажды он отправился в Бородино. И как писателя, и как француза его влекло это место: еще бы, здесь закатилось солнце Наполеона! О чем думал Дюма на Бородинском поле?

В конце XIX столетия весьма популярен был Илья Александрович Салов (1835–1902) — автор драм, повестей, рассказов и пр. После его кончины были опубликованы его мемуары, в которых упоминается и знакомство с Дюма. Приведем эти воспоминания полностью (в той части, которая относится к французскому писателю):

«…я встретился с Дюма-отцом. Встреча эта произошла в Бородинском монастыре, у игуменьи…

В то время у игуменьи гостили две сестры Шуваловых… коль скоро они начали говорить, то перебивать их не было возможности. Дюма уж на что был великий говорун, но и тут спасовал перед ними… Дюма долго силился вставить от себя хоть единое слово, но все его усилия оказывались тщетными, и только за завтраком, сервированным на гранитных подножиях Бородинского памятника, мне удалось послушать Дюма… Дюма… заговорил о Бородинском сражении, о великом патриотизме москвичей, не задумавшихся даже ради спасения своего отечества зажечь Москву, о великой ошибке Наполеона, опьяненного победами и рискнувшего идти на Москву. — Но, — добавил он, — великие люди делают и великие ошибки.

Говорил он много, громко и несколько театрально, и театрально жестикулируя. Это был мужчина высокого роста, гигантского телосложения, с крупными чертами смугловатого лица и мелко вьющимися волосами, словно шапкой покрывавшими его большую голову.

По поводу сожжения Москвы говорил он много и красноречиво. Но сестры Шуваловы… начали доказывать, что Москву подожгли не русские, а французы; но Дюма на этот раз не выдержал, вскочил с места и, ударяя себя в грудь, принялся опровергать высказанное ими. Он чуть не кричал, доказывал, что Наполеон сумел бы остановить французов от такой грубой и пошлой ошибки, так как гением своего ума не мог не предвидеть, что под грудами сожженной Москвы неминуемо должна была погибнуть и его слава, и его победоносная великая армия.

— Наполеон, — кричал Дюма, — как великий человек мог делать великие ошибки, но как гений, не мог делать глупых».

Видно, эта тема больно трогала Дюма: о пожаре Москвы он вел беседы и с Е. Ростопчиной, о которой читатель узнает много ценного из книги Дюма.

Вернемся к воспоминаниям Салова.

Потом за Дюма приехали его поклонницы, «которые, по правде говоря, не давали ему ни прохода, ни проезда… Они чуть не все разом подхватили Дюма под руки и пошли гулять

по Бородинскому полю. Дюма словно переродился: оживился, повеселел, и любезности одна другой щеголеватей и остроумнее посыпались из его уст» («Исторический вестник», 1906, № 6, с. 168–170).

В 1937 году опубликована ныне представляющая библиографическую редкость работа С. Н. Дурылина (1877–1954) о пребывании Дюма в России[3]. Автор использовал архивы III отделения и обнародовал множество прежде неизвестных фактов. До наших дней каждый, кто описывал жизнь Дюма в России, так или иначе отталкивался от работы Дурылина или просто пересказывал ее[4].

Большинство документов лишь приблизительно передают суть явлений и отражают психологию тех, кто их составлял, и психологию тех, кому они адресованы, и уж потом психологию того, о ком они повествуют. К тому же многие из них совершенно банальны: ясно, например, что любой иностранец, оказавшийся на территории Российской империи, непременно попадал под тайный надзор полиции — Дюма, естественно, тоже находился под надзором.

Но уж коль зашел разговор о полицейском надзоре над Дюма, то полностью приведем жандармское «Дело» А. Дюма, многие материалы которого ввел в научный оборот С. Н. Дурылин в своей статье.

В Москве на Большой Пироговской улице размещается Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР). В нем хранится множество документов, в том числе и все секретные сведения из святая святых царской жандармерии.

Хранится и «Дело» Дюма. На каждом из десяти документов, составлявших «Дело», выведено: «Секретно» или «Весьма секретно», на полях некоторых стояло: «Доложено Его Величеству», на обложке же категорически начертано: «Хранить навсегда». И дата — 18 июля 1858 г. (ф. 3-й экс; № 1858, ед. хр. 125).

1-й документ

Г. начальнику 2-го округа корпуса жандармов.

Известный французский писатель Александр Дюма (отец), прибыв в недавнем времени из Парижа в С.-Петербург, намерен посетить и внутренние губернии России, для каковой цели собирается ехать в Москву.

Уведомляя о сем Ваше превосходительство, предлагаю Вам во время пребывания Александра Дюма в Москве приказать учредить за действиями его секретное наблюдение и о том, что замечено будет, донести мне в свое время.

Генерал-адъютант князь Долгорукий[5],
18 июля 1858 г.

2-й документ

Г. наместнику кавказскому.

Известный французский писатель Александр Дюма (отец) прибыв в недавнем времени

---

[3] «Литературное наследство», т. 31–32. ч. 2. М., 1937. с. 491–562.

[4] Это относится и к брошюре С. А. Шерипова «А. Дюма-отец в Чечено-Ингушетии, или 120 лет спустя» (Грозный, 1980), и к статье Аян Нысаналина «Странник из «Собачьей пещеры» (журн. «Простор», 1982, № 1, с. 202–205).

[5] Долгоруков Василий Андреевич (иногда писался Долгорукий) — (1804–1868) — с 1856 года шеф жандармов.

туристом из Парижа в С.-Петербург, отправляется ныне вовнутрь России с намерением быть также в Тифлисе.

Сообщая о сем Вашему Сиятельству, с тем не изволите ли Вы, милостивый государь, признать нужным учредить за Александром Дюма во время его пребывания в Тифлисе секретное наблюдение, покорнейше прошу о последующем почтить меня Вашим отзывом.

Генерал-адъютант князь Долгорукий,

19 июля 1858 г.

3-й документ

(отослан из Тифлиса 20 августа, получен в С.-Петербурге 4 сентября 1858 г.).

Вследствие отношения ко мне Вашего Сиятельства от 19 июля настоящего года за № 676 по предмету надзора за г. Дюма, честь имею сообщить Вам, милостивый государь, что по приезде г. Дюма в Тифлис мною будет назначен для нахождения при нем в качестве переводчика и путеводителя благонадежный чиновник, которому вместе с тем будет поручено и наблюдать за ним.

Этою мерой я полагаю совершенно удовлетворительно заменить полицейский надзор.

Генерал-адъютант князь Барятинский.

4-й документ

(от 18 сентября 1858 г, получен 25 сентября).

От начальника 2-го округа корпуса жандармов, № 67,

Москва.

Во исполнение секретного предписания Вашего Сиятельства от 18 июля сего года за № 658 я имею честь донести, что французский писатель Дюма (отец) с приезда своего в Москву в июле месяце сего года жил у г.г. Нарышкиных — знакомых ему по жизни их в Париже; многие почитатели литературного таланта Дюма и литераторы здешние искали его знакомства и были представлены ему 25 июля на публичном гулянье в саду Элдорадо литератором князем Когушёвым, князем Владимиром Голицыным и Лихаревым, которые постоянно находились при Дюма в тот вечер; 27 же июля в означенном саду в честь Дюма устроен был праздник, названный НОЧЬ ГРАФА МОНТЕ КРИСТО. Сад был прекрасно иллюминован, и транспарантный вензель А.Д. украшен был гирляндами и лавровым венком.

В тот день в честь Дюма князь Голицын давал обед, и оттуда прямо Дюма приехал на праздник в Элдорадо; в тот вечер с ним были двое Нарышкиных, живописец Моне и мадам Вильне, сестра бывшего в Москве французского актера, которая, как говорят, постоянно путешествует в месте с Дюма.

В Москве Дюма посещал все достопримечательности и ездил в предместья Москвы; в начале августа с сыновьями генерала Арженевского он ездил в имение отца их, находящееся близ села Бородина, где осматривал памятник и бывшие в 1812 году батареи, был в Спасо-Бородинской пустыне, в Колоцком монастыре и в Бородинском дворце, который в то время отделывался в ожидании Высочайшего приезда Императорской фамилии.

В семействе Нарышкиных, где жил Дюма, его очень хвалят, как человека уживчивого, без претензий и приятного собеседника. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанья и, говорят, мастер этого дела (последнюю фразу кто-то из читателей донесения подчеркнул: возможно, и сам царь — *М.Б.*). Многие, признавая в нем литературные достоинства, понимают его за человека пустого и потому избегали или сдерживались при разговорах с ним, опасаясь, что он выставит их в записках и будет передавать слышанное от них вопреки истине.

7 сентября Дюма выехал из Москвы с семейством Д. П. Нарышкина в имение его Владимирской губернии Переславль-Залесского уезда село Елпатьево, где, как говорят, намерен пробыть дней 15, а оттуда вместе с живописцем Моне намерен отправиться в

Нижний Новгород. Владимирскому и Нижегородскому штаб-офицерам корпуса жандармов сообщено о сем для зависящего с их стороны распоряжения к секретному наблюдению за Дюма.

Генерал-лейтенант Перфильев.

5-й документ

(1 октября отправлен, 11 октября получен).

Шефу жандармов и Главному начальнику III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии господину генерал-адъютанту и кавалеру князю Долгорукому.

Корпуса жандармов подполковник Коптев от 26 минувшего сентября за № 364 донес мне, что французский писатель Александр Дюма во время пребывания своего в Нижнем Новгороде отправил в Париж 24 того же сентября конверт по адресу в Амстердамскую линию в дом № 77. Письмо это отправлено через Москву, по объему надобно полагать, что оно заключает в себе статью литературную.

Ныне г. Дюма прибыл из Нижнего Новгорода в Казань в сопровождении студента Московского университета Колино и художника Моне, и, как известно, намеревается выехать в города Симбирск, Самару, Саратов и Астрахань, а по тому я дал предписание штаб-офицерам этих губерний, чтобы они имели за действиями Дюма самое аккуратное секретное наблюдение и о последствиях мне донести.

Почтительнейше донеся о сем Вашему Сиятельству на основании предписания от 18 июля сего года за № 660 имею честь присовокупить, что о пребывании в Казани и выезде из оной Дюма я буду иметь честь донести особо.

Генерал-лейтенант Львов.

6-й документ

(отправлен из Владимира 6 октября, получен в Петербурге 11 октября).

От штаб-офицера корпуса жандармов, находящегося во Владимирской губернии.

Имею честь почтительнейше донести Вашему Сиятельству, что известный писатель Александр Дюма (отец), пробыв в Переславль-Залесском уезде в имении тамошнего помещика Дмитрия Павловича Нарышкина, в селе Елпатьеве несколько дней, отправился с ним вместе в Нижний Новгород, о чем сообщено мною тамошнему жандармскому штаб-офицеру: во время пребывания его во Владимирской губернии ничего предосудительного замечено не было.

Полковник Богданов.

7-й документ

(отправлен из Казани 9 октября 1858 г., получен в Петербурге 21 октября 1858 г.).

Честь имею донести Вашему Сиятельству в дополнение докладной записки моей от 1 сего октября за № 94, что французский писатель Александр Дюма во время пребывания своего в Казани в продолжении одной недели не посещал никакого общества высшего круга, жил все время в конторе пароходного общества «Меркурий» в самой отдаленной части города, посещал дом полковника Жуковского, управляющего Казанской комиссариатской комиссией, которому был рекомендован из С.-Петербурга, и часто по целым дням пробывал в семействе под полковника инженеров путей сообщения Лан[6]; посетил университет, где два

[6] Лан Фридрих Ипполитович был начальником I отдела Казанского окружного правления путей сообщения. Он очень заботился о Дюма, дал ему много рекомендательных писем и советов. Дюма и С. Н. Дурылин титулуют Лана генералом, а в жандармском донесении он подполковник. Кто прав? Наверное, жандармы, хотя, впрочем, это не столь уж важно для нынешних читателей.

раза был приглашен на чай к ректору университета действительному статскому советнику Ковалевскому, а также начальнице Родионовского института, которая визитом этим осталась весьма недовольна как по причине весьма неопрятного одеяния, в котором Дюма к ней приезжал, так и по причине неприличных выражений его, употребленных им в разговорах с нею. Вообще Дюма в Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию: видевшие же его в обществе, нашли его манеры и суждения общественные вовсе несоответствующими его таланту писателя.

4 октября Дюма отправился на пароходе чрез Самару в Астрахань, куда от меня предписано штаб-офицерам Самарскому и Астраханскому иметь за Дюма секретное наблюдение. Донесения сих офицеров по сему предмету я буду иметь честь довести до сведения Вашего Сиятельства.

Генерал-лейтенант Львов.

8-й документ

(отослан из Казани 23 октября 1858 г., получен в Петербурге 5 ноября 1858 г.).

В дополнение докладной записки моей от 9 сего октября за № 102 имею честь Вашему Сиятельству донести, что, как видно из донесения штаб-офицеров, французский писатель Александр Дюма отправился из Казани в Астрахань; в Симбирск не заезжал, в Самару прибыл на пароходе и с оного на берег не сходил и вскоре отправился в Саратов, куда прибыл 8 числа сего месяца, потребовал извощика, поехавши с ним по городу, расспрашивал у него, не живет ли кто в Саратове из французов, и когда узнал о проживании там француза Сервье, торгующего дамскими уборами, отправился к нему в магазин, куда вскоре приехал саратовский полициймейстер майор Позняк и пробыл тут, пока Дюма пил кофе и ел приготовленную для него рыбу, и в 8 часов вечера г. Дюма возвратился обратно на пароход.

На другой день в 10 часов утра были у Дюма на пароходе чиновник, состоящий при Саратовском губернаторе князь Лобанов-Ростовский и полициймейстер Позняк, с которым Дюма, ездя по Саратову, заезжал к фотографу, снял там с себя портрет и подарил его г. Позняку и потом отправился обедать к нему; тут же были председатель Саратовской казенной палаты статский советник Ган, полковник, служащий в 7 округе путей сообщения Терме и князь Лобанов-Ростовский. После обеда г. Дюма при сопровождении вышеозначенных лиц отправился на пароход и в 5 часов вечера отплыл в Астрахань (откуда я донесения еще не получал). Разговор г. Дюма вел самый скромный, и заключался большей частью в расспрашивании о саратовской торговле, рыбном богатстве реки Волги и разной промышленности саратовских купцов и тому подобном.

Генерал-лейтенант Львов.

9-й документ

Тот же Львов отправляет 13 ноября 1858 г. из Казани полученный им из Астрахани рапорт от жандармского полковника Сиверикова.

10-й документ

представляет из себя рапорт на трех страницах вышеуказанного полковника Сиверикова.

«Весьма секретно. Начальнику 7 округа корпуса жандармов господину генерал-лейтенанту и кавалеру Львову 1-ому корпуса жандармов полковника Сиверикова рапорт.

Во исполнение секретного предписания Вашего Превосходительства от 4 сего октября за № 97, имею честь почтительнейше донести.

Французский литератор Александр Дюма по прибытии в г. Астрахань 14 октября, остановившись на указанной ему квартире в доме коммерции советника Сапожникова, немедленно сделал визиты астраханскому военному губернатору контр-адмиралу Машину и управляющему астраханской губернией статскому советнику Струве, у которого в этот день по распоряжению управляющего губернией были ему показываемы армяне, татары и персы в домашнем их быту и в национальных костюмах, потом он обедал у военного губернатора и вечером в сопровождении г. статского советника Струве сделал визит персидскому консулу, а потом после этого посетил на несколько минут танцевальный вечер в доме Благородного собрания.

16 октября по приглашению контр-адмирала Машина присутствовал на торжественном молебствии, бывшем по случаю начатия работ по углублению фарватера реки Волги верстах в 15 от Астрахани, оттуда в сопровождении старшего чиновника особых поручений начальника губернии Бензамана, адъютанта военного губернатора Фермора и нескольких охотников отправился на охоту для осмотра обширных рыбных ловлей Учужной конторы, откуда возвратился в Астрахань на частном пароходе и ужинал у г-на управляющего губернией; 17 числа утром на казенном пароходе «Верблюд» в обществе военного губернатора и лиц, сиим последним приглашенных, отправился вверх по Волге в имение калмыцкого князя Тюменя, где провел 17 и 18 числа в осмотре быта калмыцкого народа, их народных плясок, разных увеселений и конских скачек, откуда возвратился в Астрахань на 19 число. Утром 19 числа занимался описанием того, что видел и что ему было показано, обедал в своей квартире, а вечер провел у атамана астраханского казачьего войска генерал-майора Беклемишева; 20 числа по утру ездил в персидские лавки и покупал азиатские вещи, обедал у г. статского советника Струве, где провел и вечер; 21 числа утром писал письма в Петербург, Москву и Париж, куда также отправил по почте брошюру своих путевых впечатлений о России, обедал у лейтенанта Петриченко, с женой которого познакомился на пароходе «Верблюд»; вечером 21 и утром 22 числа занимался составлением путевых записок и приготовлением к поездке; окончив занятия, поехал с прощальными визитами к генерал-майору Беклемишеву и управляющему губернией, а в 4 часа пополудни выехал по частной подорожной, взятой в Астрахани, в г. Кизляр, откуда намерен проехать через укр. Темир-Хан-Шуру, Тарки, г. Дербент, креп. Баку, г. Шемаху, Елизаветполь в Тифлис. По этому пути астраханский военный губернатор снабдил его открытым предписанием на взимание безопасного конвоя; путь же этот избрал г. Дюма потому, что по позднему осеннему времени или по иным причинам ни один пароход не мог в скором времени отправиться в море.

Как при прежних посещениях иностранцами г. Астрахани, так, в особенности, и при этом случае управляющий губернией г. статский советник Струве старался оказываемым вниманием привлечь этого иностранца к себе для удобнейшего за действиями его надзора и во избежание излишнего и, может быть, неуместного столкновения с другими лицами или жителями, ежели и случалось, что г. Дюма бывал в другом обществе, то никогда иначе как в сопровождении особого от управляющего губернией чиновника или полиции, и все это устраивалось весьма благовидно под видом гостеприимства и оказываемого внимания.

Во время нахождения г. Дюма в Астрахани он вел себя тихо и прилично, но заметно разговоры его клонились к хитрому разведыванию расположения умов по вопросу об улучшении крестьянского быта и о том значении, какое могли бы приобрести раскольнические секты в случае внутренних волнений в России. Я узнал от статского советника Струве, что он отказал г. Дюма в выдаче заграничного паспорта потому, что г. Дюма перед отъездом заграницу будет в Тифлисе, где и может получить заграничный паспорт от наместника кавказского.

Кроме сего, имею основание думать, что управляющий губернией об образе мыслей и любимых предметах разговора г. Дюма поставил в известность наместника кавказского, так

как узнал я, что от статского советника Струве отправлена на этих днях эстафета в Тифлис, а по наведенным мною в разных его канцеляриях справках по делам в отправлении эстафеты к наместнику кавказскому не представлялось никакой потребности, и об ней не имеется нигде официальной переписки 26 октября 1858 г. № 12, г. Астрахань».

Итак, десять документов, изложенных на шестнадцати страницах. Эти документы не полностью отражают все этапы наблюдения за Дюма: нет например, никаких сведений о его поездке по Кавказу. Но даже в таком урезанном виде они очень ценны, ибо в первую очередь полностью подтверждают содержание книги Дюма «Впечатления о поездке в Россию» и его писем, отправленных с берегов Волги в Париж (одно из них подробно цитирует Моруа в «Трех Дюма»). То, что сухо и кратко протоколировали жандармы, Дюма рассказал красочно, интересно и живо. Его книга о поездке по России так же верна и достоверна, как и «Кавказ». Но это уже тема иная.

Велось ли жандармское наблюдение за спутниками Дюма, которых российские полицейские именовали Моне и Колино?

В документах фонда III отделения никаких упоминаний о них обнаружено не было. Иными словами, за Муане и Калино наблюдения не велось и они не могли быть в числе жандармских агентов, приставленных к писателю.

Вернемся к статье С. Н. Дурылина приводящего слова некоего адъютанта А. М. Дондукова-Корсакова, сказанные якобы спустя около четверти века после поездки Дюма: будто, чтобы развлечь француза, Дондуков-Корсаков приказал разыграть нападение на Дюма. Проверить достоверность этой информации невозможно. Скорее всего тут речь идет о мистификации в угоду предрассудкам, сложившимся вокруг имени Дюма.

Но главное в другом: Дюма вел себя с полным самообладанием. А то, что какое-то нападение (или псевдонападение) действительно было и что Дюма вел себя как мушкетер, подтверждает мемуарист: он ни словом не обмолвился о возможности розыгрыша, хотя наверняка обязан был знать об этом.

С. Н. Дурылин высоко и совершенно справедливо оценивает «Из Парижа в Астрахань», но о «Кавказе» почему-то отзывается пренебрежительно.

…Дюма боготворили простые люди — не эстеты от литературы. Это особенно бросается в глаза, если вспомнить, что почти одновременно с Дюма Россию посетил Теофиль Готье (1811–1872), один из популярнейших в свое время поэтов-романтиков.

К Готье русские относились куда серьезнее, чем к Дюма. На этом фоне успех Дюма у читателей России был ошеломляющим, не имевшим прецедента, вызывая недоумение у рассудительных людей и крайнюю зависть и раздражение у менее терпеливых.

…Дюма объехал почти весь Кавказ, за исключением Армении. То, что Дюма не побывал в Армении, порой отражалось на его книге: в ней встречаются некоторые неточности в описании фактов истории Армении.

Текст «Кавказа» непрост не только для обычного читателя, но и для читателя-специалиста. Среди ученых нет единства по большинству вопросов, обсуждаемых в книге Дюма. Фактически, сколько исследователей, столько и суждений. Нет единства и в написании тех или иных имен, географических терминов и пр. Особенно это заметно в «дагестанских» страницах «Кавказа», ведь в этих местах, что ни селение, то особый народ со своим неповторимым языком. Ясно — достичь унификации в написании местных названий едва ли возможно. Поэтому мы оставили все, как дано у писателя.

Многонациональность Кавказа вошла в поговорку. В царской России взаимоотношения между кавказскими народами искусственно осложнялись администрацией. Нередко дело доходило до открытых столкновений. На страницах «Кавказа» видно, что отношения между народами в эпоху Дюма шли, мягко выражаясь, не всегда гладко. Дюма деликатно старался обойти эти проблемы, но поскольку он записывал не только то что видел сам, но и то, что ему рассказывали случайные попутчики, то порой эти записи были неловки, наивны или противоречивы.

К тому же не следует забывать, что «Кавказ» — это книга о кавказцах, написанная французом для французов. В ней автор говорит не только то, что хочет сказать, но и то, что требуют от него читатели, среди которых бытовали те или иные предрассудки.

В «Кавказе» много исторических экскурсов. О чем-то писатель говорит мельком, о чем-то излишне остро или слишком мягко, о чем-то неверно или просто непривычно для нас. «Но тому, кто создал Д'Артаньяна, можно простить что угодно» (Д. Голсуорси). Тот же Голсуорси заметил, что для Дюма рассказать интересную историю важнее, чем показать человеческие типы и ход человеческой жизни. На страницах «Кавказа» читатель обнаружит множество любопытнейших историй, которые читаются с захватывающим интересом. И почти все они реальны, только увидены они глазом Дюма и под его волшебным пером превращены в сказку.

О пребывании Дюма на Кавказе не будем распространяться — оно изложено в его книге, да к тому же мы еще будем возвращаться к нему в послесловии и в комментариях.

В предисловии к изданию «Из Парижа в Астрахань», появившемуся в конце 1970-х годов в Женеве, Андре Моруа пишет: «К чему нам сравнивать его с другими писателями-путешественниками? Его очарование как раз и состоит в том, что Дюма всегда Дюма, ничего, кроме Дюма. Все, что мы можем ожидать — это немного России и много Дюма. И вот перед нами книга жизнерадостная, чарующая, полная историй и даже истории», заканчивает Моруа свой очерк. Однако верно ли, что в «Кавказе» много Дюма и мало Кавказа? Нет, не верно. Скорее наоборот: много Кавказа и весьма мало Дюма.

Закончим наше предисловие тем, с чего оно началось.

11 июня 1861 года тифлисский цензор Д. Коваленский разрешил печатать «Кавказ» (изданная в Тифлисе книга получила несколько иное название — «Кавказ. Путешествие Александра Дюма»).

Это был первый перевод «Кавказа» на иностранный язык. Осуществил его Петр Никандрович Роборовский — «чиновник для французской переписки» в канцелярии наместника Кавказа. В этом сокращенном переводе было много погрешностей, опечаток и т.п. Но и это не главное. Основным недостатком издания 1861 года было изъятие всех упоминаний политического характера. Ознакомившись с нынешним изданием «Кавказа», читатель заметит явно критическое отношение автора к николаевской России, поймет, как он симпатизировал декабристам и, в частности, А. А. Бестужеву-Марлинскому. «Кавказ» пронизан демократическими тонами, и это делает книгу замечательным документом эпохи — документом политическим.

Ничего этого не было в издании 1861 года. Книга открывалась лаконичным предисловием Роборовского, имелось также несколько десятков кратких комментариев (все они полностью приводятся в настоящем издании). И предисловие, и особенно комментарии были выдержаны в снисходительном по отношению к автору духе. Чтобы читатель почувствовал настроение издателей книги, приводим это предисловие полностью:

«Издавая в свет «Путешествие Александра Дюма по Кавказу» в русском переводе, мы не рассчитывали оказать какую-либо услугу тем, которые имеют в виду серьезное изучение этого края. Цель наша была гораздо скромнее; мы хотели доставить легкое и занимательное чтение на русском языке из того рода сочинений, который преобладает ныне в читающей публике. Тот, кто внимательно следит за текущей литературой и за современными изданиями в России, конечно, согласится, что «путешествия» занимают между ними видное место.

Автор предлагаемого путешествия, один из популярнейших представителей отживающего ныне романтизма, кажется, сам сознавал этот перелом в потребностях современной читающей публики, когда обратился к путешествиям, не взирая на то, что его имя как автора «Монте-Кристо», «Записок врача», «Трех мушкетеров» и пр., и пр., до сих пор еще пользуется во многих слоях прежнею славой, которая в тридцатых и сороковых годах едва ли не исключительно поглощала собою общественное внимание. Предметом

первого сочинения в новом роде, если не ошибаемся[7], автор выбрал Россию и Кавказ — страну, которая особенно интересует Европу. И надобно отдать ему справедливость, — романист отнесся к избранному предмету с лучшей стороны своего таланта в отношении увлекательного изложения, меткого глаза на предмет и любопытных подробностей, поражавших внимание автора почти на каждом шагу. Конечно, тот же романист сказался в нем и с невыгодной стороны, разумея под этим страсть к фантастическому и искажение фактов, которое впрочем касается только очень немногих частностей. Во всяком случае искажение это мы не вправе называть намеренным: оно могло зависеть от многих условий, в числе коих недостаток пособий для справок о здешнем крае должен быть на первом месте. Устранением по возможности этих искажений мы вполне обязаны лицу, знакомому с краем, именно Н. Г. Берзенову[8] обязательно взявшему на себя редакцию нашего перевода и снабдившему его примечаниями, где они были необходимы, при всем том, могло случиться, что некоторые названия местностей, не оказавшиеся на карте, будучи буквально переведены с подлинника, оказались неисправленными. Не думаем, чтобы это обстоятельство существенно повредило нашему труду, сделанному со всевозможной добросовестностью. Но судить об этом — дело публики».

Вскоре после того, как Роборовский перевел «Кавказ», он получил повышение по службе и, как указывает правительственный «Кавказский календарь» 1861 года, стал уже старшим столоначальником, т. е. вторым лицом после управляющего канцелярией. До этого Роборовский числился в канцелярии наравне с азербайджанским писателем Мирза Фатали Ахундовым, служившим в ней переводчиком.

Перевод Роборовского сделанный с самого первого издания на французском языке, отличался неровностью; отдельные места были изложены превосходно, другие уже явно устарели. Но несмотря на все недостатки этого издания, надо отдать ему должное хотя бы потому, что оно состоялось и являлось первым на иностранном языке.

Знакомясь с «Кавказом» приходится удивляться, как Дюма, не владея русским языком, прожив в России всего около восьми месяцев, так глубоко вник во многое. «Кавказ» — по существу первая книга, обстоятельно познакомившая западного читателя с историей, географией, бытом и нравами кавказских народов. Это своеобразная хрестоматия кавказской жизни, написанная добродушным, но в то же время дотошным иностранцем в расчете на нерусского читателя. Поражаешься, как за такое короткое время Дюма так много узнал о Кавказе.

В своей серии «Впечатлений от путешествий» Дюма обязался давать читателям представление о расходах, которые могут их ожидать в той или иной поездке. Тут уж ничего не поделаешь: это особенности жанра, ведь во многом его «Впечатления…» схожи с путеводителем и туристическим проспектом. Читатели «Кавказа» скоро увидят, что Дюма очень часто говорит о ценах, о тратах и т. п. Дюма — человек, совершенно равнодушный к деньгам, легко их тратящий, хотя и зарабатывающий их каторжным трудом, — вынужден говорить обо всем этом, имея в виду расходы будущего путешественника.

4 июля 1854 года, когда владелец имения Цинандали подполковник Давид Александрович Чавчавадзе отсутствовал, в поместье ворвался отряд Шамиля и увел в плен

---

[7] Роборовский ошибался: до «Кавказа» Дюма опубликовал много художественных отчетов о своих путешествиях. Еще в 1854 году в Москве вышло четырехтомное описание плаванья Дюма в Танжер, Алжир и Тунис на корабле «Быстрый».

[8] Берзенов Николай Георгиевич (1831–1874) — грузин по национальности. Редактор тифлисской газеты «Закавказский вестник» и заместитель редактора «Кавказа». Опубликовал несколько этнографических работ (например, «О быте грузин старого времени»), не утративший своего значения и сегодня. Многие замечании Берзенова в адрес Дюма кажутся излишне резкими, не свойственными Берзенову. Вполне возможно, что тон этих замечаний был уступкой цензорам, чтобы помочь выходу «Кавказа» в свет.

всех, кто в это время находился там — жену Д. Чавчавадзе Анну Ильиничну (внучку Георгия XII) с малолетними детьми, сестру Анны Ильиничны Варвару с сыном (незадолго до этого княгиня Варвара Ильинична потеряла мужа Илью Орбелиани — брата знаменитого поэта, генерала Григола Орбелиани. — М. Б.) и других чад и домочадцев. В плен попала и соотечественница Дюма мадемуазель Дрансей за восемнадцать дней до того поступившая гувернанткой в дом Д. Чавчавадзе.

Нина Чавчавадзе-Грибоедова находилась далеко в Зугдиди у своей сестры Екатерины Дадиани — вдовствующей владетельницы Мингрелии.

Пленных доставили в резиденцию Шамиля, обращались с ними достаточно почтительно и через месяц обменяли на сына Шамиля.

В 1856 году в Петербурге вышла повесть редактора «Кавказа» и «Записок Кавказского отдела Русского географического общества» Е. А. Вердеревского «Плен у Шамиля» (на эту книгу опубликовал рецензию Н. Г. Чернышевский. — *М. Б.*). В Париже и в Тифлисе появилась также книга Дрансей о пребывании в плену. Вполне возможно, что Дюма был хорошо знаком с книгами Вердеревского и Дрансей, это делает ему честь.

Главы «Кавказа», посвященные пленению владельцев Цинандали, остросюжетны, занимательны, их воспринимаешь как приключенческую повесть. Язык прост, лаконичен; читать эти главы — как и весь «Кавказ» вообще — легко и приятно.

Дюма был близок к семье Чавчавадзе и из первых уст был осведомлен о событиях 1854 года.

Разъезжая по Кавказу, Дюма восторгался тем, что видел окрест: природа, люди, обычаи — все вызывало у него доброжелательное любопытство. Его раздражали лишь фанатизм, ненависть, нетерпимость. Он восторгался Добром и не скрывал неприятия им Зла, открыто сочувствовал жертвам несправедливости. Менее всего Дюма на Кавказе это равнодушный регистратор. Нет, это очевидец, участник, сопереживатель, мастерски передающий читателям свое душевное потрясение от всего виденного и узнанного в далекой стране.

Книга Дюма о Кавказе восхищает не только художественными достоинствами, но и объективными сведениями, точностью описаний: выдумщик выдумщиком, но Дюма в первую очередь был наблюдательным человеком и великим тружеником. При всех обстоятельствах он оставался верен своему призванию: запоминать, записывать и занимательно пересказывать. Каждый, кому хотя бы однажды довелось побывать на Кавказе, никогда не забудет гостеприимства местных жителей. Можно себе представить, как трудно было Дюма удержаться от соблазнов. Но Дюма вина не пил, не курил, держал себя на строгой диете. Дюма был опьянен Кавказом, но не вином.

Как же трудился Дюма над «Кавказом»? Точно мы, естественно, не можем ответить на этот вопрос, но можно представить это примерно так. Ежедневно, от зари до зари, Дюма собирал материалы для книги, размышлял, записывал. Естественно, что в этом ему помогал Калино. Дюма просил его найти и прочесть заслуживающие внимания произведения. Калино отбирал их, читал, пересказывал Дюма. Тот улавливал самое существенное, а потом использовал в «Кавказе» — получалось занимательно и ярко. Дюма обладал поразительной интуицией на все прекрасное, талантливое, необычное. Ведь из русских поэтов, писавших о Кавказе, он, Дюма, остановился на Пушкине и Лермонтове — самых великих поэтах России.

И получилась «книга жизнерадостная, чарующая, полная историй».

Она состоит из вступления и собственно описания путешествия.

Вступление А. Дюма написал в Тифлисе и датировал его 1 декабря 1858 г.

Возникает естественный вопрос, каким образом за такой короткий срок Дюма получил исторические сведения, отличающиеся полнотой и относительной точностью. Сомнений нет: они почерпнуты преимущественно из «Кавказского календаря». В частности, в выпусках «Календаря» на 1858–1859 годы дается достаточно полная информация об истории Кавказа. Сокращенно, но занимательно она изложена писателем. Некоторые данные о древнем периоде Кавказа, приводимые Дюма, требуют подробного анализа, поэтому мы опустим расшифровку их. По мере приближения рассказа писателя к его современности, информация

становится все более полной и верной, в ней почти отсутствуют спорные места. Наиболее точно он описывает войну горцев с русскими войсками.

Однако не следует думать, будто Дюма лишь творчески переработал изложенные в «Кавказском календаре» сведения. Нет, Дюма использовал множество источников, помимо «Кавказского календаря».

Подготавливая «Кавказ», Дюма проделал очень серьезную работу, изучил множество исторических документов. Все это характеризует Дюма как беллетриста-историка, умеющего отобрать заслуживающий доверия материал с интуицией истинного ученого.

Из множества исторических источников, которые могли бы попасть в его поле зрения, Дюма отбирал наиболее заслуживающие доверия. В частности, он внимательно проштудировал изданную М. Броссе в 1842 году на французском языке фундаментальную монографию Вахушти (Багратиони) «История грузинского царства» и почти дословно перенес многие ее страницы на «Кавказ».

Обилие исторических лиц, краткие, но четкие характеристики, способность с полуслова уловить суть дела — все это типично для Дюма.

Впрочем, в конечном итоге тут важны не сами по себе исторические сведения, а пафос «Кавказа», художественная сторона книги. Со страниц книги предстает сам автор, его облик, его отношение к людям и историческим явлениям. В истории Александр Дюма — как и подобает писателю — выделяет борьбу людских характеров и стремление личности к свободе и справедливости.

Михаил Буянов

КАВКАЗ

Общие сведения о Кавказе
Вступление

Первый период
От Прометея до Христа

Расскажем нашим читателям о топографии, географии и истории Кавказа, хотя им все это, быть может, уже и знакомо.

Автору тем не менее не следует забывать, что не каждый читатель имеет полное представление о предмете разговора.

Итак — Кавказские горы расположены между 40 и 45 градусами северной широты и 35 и 47 градусами восточной долготы, они простираются от Каспийского моря до Азовского, от Анапы до Баку.

Три наивысшие точки Кавказских гор: Эльбрус, возвышающийся на 14 600 футов: Казбек известный когда-то под именем Мкинвари[9], на 14 400, и Шат Абруз высотой в 12 000 футов[10].

---

[9] Под этим именем Казбек известен и теперь, но только у одних грузин, оно не есть собственное, а прилагательное: Мкинвари значит «ледяной», т.е. гора, покрытая вечным льдом и снегом. Заметим сверх того, что у Дюма цифры высот неверны. См. «Кавказ» за 1859 год. стр. 36.

Прим. Н. Г. Берзенова

[10] Фут равен 12 дюймам, т. е. 0,3 м. Высота Эльбруса в футах — 18 572 (5621 м), Казбека — 16 546 (5033 м). На втором месте после Эльбруса — Дыхтау: 17 096 (5204 м). Часто Эльбрус называли Шат, Шат-Гора или Шат-Эльбрус. В издании 1865 года Дюма пишет не Шат-Абруз, а Шат-Эльбрус, продолжая утверждать, что Шат-Эльбрус не имеет никакого отношения ко всем известному Эльбрусу. В настоящем издании сохранены оба написания Дюма: Шат-Абруз и Шат-Эльбрус.

Никто еще не достигал вершины Эльбруса. Как утверждают горцы, для этого нужно особое дозволение бога. По преданию на вершине Эльбруса приземлился голубь с Ноева ковчега.

Мкинвари на 200 футов ниже Эльбруса, это та самая скала, к которой был прикован Прометей. Русские назвали ее Казбеком потому, что деревня Степан-Цминда, раскинувшаяся у подножья горы, была с давних времен и по нынешние резиденцией князей Кази-беков, владельцев ущелья и его хранителей.

Что касается Шат-Абруза, находящегося в Дагестане, то вершина его, сказывают, служит пристанищем анки — громадной птицы, по сравнению с которой орел всего-навсего муха, а кондор мал, как колибри.

Кавказ, эта исполинская твердыня, эта величественная крепость, эта гранитная зубчатая стена, вечно покрытая снегом, упирается своим северным склоном в пески, некогда бывшие дном огромного моря, над которым возвышались как гигантские острова не только Кавказ, но и Тавр, Демавенд и Таврида. Каспийское море, в древности именуемое озером, составляло лишь часть этого необозримого моря и не исключено, что на севере оно сливалось с Белым и Балтийским морями.

К какой исторической эпохе относится великий потоп, который разделил Эвксинский Понт, Аральское море, Эриванское, Урмийское и Ванское озера, образовавший Еникольский, Дарданелльский, Мессинский и Гибралтарский проливы? К библейскому Ноеву потопу у евреев, или к потопу Ксиксютуса у халдеев, или к потопу Девкалиона и Огигия у греков? Мы не можем ответить на эти вопросы, но считаем безусловно доказанным, что Каспийское море и в наши дни сообщается с другими морями благодаря подземным каналам, и поэтому оно теряет воды, получаемые из Урала, Волги, Терека и Куры; глубина Каспийского моря меняется; при понижении его уровня обнажаются места, свидетельствующие об этом; и, наконец, самый убедительный аргумент — ежегодно незадолго до зимы на поверхности Персидского залива появляются травы и листья растений, встречающиеся только на берегах или на дне великого Каспийского озера.

Кавказ — это два параллельных ряда гор: более высокие горы находятся на севере, менее высокие на юге. Северная цепь гор могла бы называться белыми (снежными) горами, а южная — черными. Наиболее известные вершины последней: гора Лысая, гора Воров, горы Кур, Мрачный лес и Кинжал. Только два природных прохода на этом большом пространстве: Дарьяльское ущелье (Pylae Caucasiae Плиния), известное так же, как Кавказские ворота. Сарматские ворота, Каспийские ворота, Албанские ворота, Железные ворота и Дербентское ущелье, являющееся по преданию воротами Александра Македонского. Мы побывали в этих ущельях и постараемся дать нашим читателям подробное о них представление.

Белые горы состоят из базальтового порфира, гранита и сиенита. Порфиры встречаются тут следующих окрасок: голубой с желтыми или красными и белыми пятнами, красный и зеленый. Граниты в основном серого, черного и голубого цвета.

Горная цепь (Черные горы) образована известняком, мергельным песчаником и сланцем со шпатовыми и кварцевыми прожилками.

Страбон подробно рассказывает о золотых приисках Колхиды: частички золота, уносимые дождями из месторождений золота в ручьи и реки, обогащали их золотым песком. Сваны, нынешние мингрельцы[11], собирали их в бараньи кожи, покрытые шерстью, в которых и застревала блестящая пыль. Отсюда и пошел миф или, как мы предпочитаем говорить, история о Золотом руне.

И сейчас еще в осетинской церкви Нуцала сохранилась надпись на грузинском языке, подтверждающая, что когда-то здесь было так много драгоценных металлов, как сейчас обычной пыли. Существовали ли эти богатства или нет, это может показаться спорным, но

[11] Неправда: суанов или сванетов нельзя смешивать с мингрельцами; те и другие составляют и в наше время два отдельных племени, имеющие между собою мало общего в отношении нравственном и территориальном.
Прим. Н. Г. Берзенова

тут есть другой продукт природы, может быть, более редкий и менее драгоценный: это — нефть. Она существует, ее видят, ее добывают в изобилии на западном побережье Каспийского моря. Мы расскажем о нефти, когда будем описывать поездку в Баку.

Кубань и Терек на севере и Кур и Аракс на юге образуют границы Кавказского перешейка. Древний Кур это нынешняя Кура, а Аракс — Иелис у скифов и Танаис у спутников Александра Македонского. Под этим последним названием его иногда путали с Доном, как порой смешивали с Фазисом — нынешним Рионом. Вергилий упоминал Pontem indignatus Araxes[12]. Направления, по которым текут Аракс и Рион, противоположны одно другому. Первый впадает выше Муганских степей, знаменитых своими змеями, в Куру. Второй — в Черное море, между Поти и Редут-кале.

Когда мы будем пересекать Терек, Куру, Аракс и Фаз, мы расскажем о том, что узнали об этих местах.

Кубань расположена на правой стороне: она берет начало у Эльбруса, пересекает Малую Абхазию, протекает по черкесским землям и ниже Тамани впадает в Черное море: это Ипанис Геродота и Страбона и Вардан у Птолемея. В XIII веке татары, вторгшиеся в скифские земли, называли эту реку Кумань или Кубань. Русские приняли второе название, под которым Кубань и известна теперь. Этимология этого названия пока не объяснена. На Кубани расположены казачьи поселения правого фланга.

Происхождение же слова Кавказ известно. Кавказ обязан своим названием убийству, совершенному одним из самых древних богов. Когда Сатурн, изувечивший своего отца и поглотивший собственных детей, был разгромлен в грандиозной битве Юпитером (своим сыном), он скрылся с поля боя; странствуя, встретил пастуха по имени Кавказ, направлявшегося со стадом на гору Пифаг, отделяющую Армению от Ассирии (по Страбону, с этой горы берет начало Тигр). Кавказ имел неосторожность преградить путь беглецу, но Сатурн убил его ударом меча. Юпитер, желая увековечить напоминание об этом убийстве, дал имя жертвы всей Кавказской горной цепи, к которой горы Армении, Малой Азии, Крыма и Персии относятся очень условно — как некие отроги. Тот же Юпитер выбрал одну из самых высоких вершин Кавказа — Казбек — орудием мести.

Скифский Фром-Теул (он же греческий Прометей) был привязан Вулканом алмазными цепями к скалам Казбека за то, что он, Прометей, создал человека и, в довершение собственного преступления, даровал человеку огонь, похищенный им с неба. Фром-Теул по-скифски «благодетельное божество». Прометей в переводе с греческого — «ясновидящий бог».

Согласно мифологии, Прометей из предусмотрительности наградил человека трусостью лисицы, хитростью змеи, свирепостью тигра и силой льва. Человек, любуясь рождающейся утренней зарей, непременно должен вспомнить место, где принял муки первый благодетель человечества…

Через четыре тысячи лет крест заменил скалу, а горе с крестом суждено было затмить Мкинвари.

Прометей обречен был прожить на этой горе тридцать тысяч лет. И все эти тридцать тысяч лет коршун, сын Тифона и Ехидны (для столь длительного мщения был выбран не кто другой, как палач-бог) должен был ежедневно выклевывать печень Прометея. Но через тридцать лет Геркулес, сын Юпитера, убил коршуна и освободил Прометея.

Под убаюкивающее пение Океанид Прометей проклинал бесчеловечную силу, принуждающую гения склониться перед судьбой. Когда Прометей безрезультатно боролся с коршуном невежества, он знал, что эта хищная птица пожирает на самом деле не печень его, а сердце.

Согласно легендам, когда на Кавказе еще не было людей, здесь находились некие дивы-великаны, занимавшие всю сушу. На языках древних жителей Азии див означало

---

[12] «Негодующий Аракс (впадает) в море» *(лат.)*.

остров-великан. Отсюда Maldives, Lagueedives, Serendives.

И в самом деле, не был ли каждый из этих островов великаном, вышедшим из морской пучины? Не были ли титаны, воевавшие с Юпитером, островами Эгейского моря, ведь ныне угасшие вулканы могли в прежние времена извергать пламя?

Некий из дивов, по имени Арженк, построил на одной из вершин Кавказа дворец, где, как уверяют легенды, сохранились статуи властителей давних эпох.

Пришелец, называемый Гушенком, сидя на своем двенадцатиногом морском коне, напал на дивов. С вершины Демавенда скатилась скала и убила Гушенка и его коня, а конь же очень похож на корабль с его двенадцатью веслами.

Нынешние черкесы — один из самых воинственных народов Кавказа — именуют себя адигами. Корень этого слова «ада», что переводится как остров.

Ад и Адам, что означает человек, отличаются друг от друга только двумя буквами — какая мрачная этимология!

Зороастр поселяет на вершине Эльбруса злого духа Арисмана, из которого получился Ариман. «Он бросается с вершины Эльбруса, — рассказывает Зороастр, — и его тело, распростертое над пропастью, становится похожим на огненный мост между двумя мирами».

На Шат-Абрузе жила анка — птица-исполин, описанная в «Тысяче и одной ночи» под именем Рок. Когда Рок расправлял крылья, закрывался горизонт и исчезал солнечный свет.

Оставим, однако, предания и попытаемся посмотреть на историю Кавказа, историю, начало которой очень туманно, но по мере того, как мы будем приближаться к современности, этот туман будет все больше рассеиваться.

Взгляните на безбрежное море, по которому плывет исполинский корабль. Это море — потоп, корабль — ковчег. За 2348 лет до рождения Христа ковчег пристает к вершине Арарата: семя будущего человечества спасено. Спустя два века, Гайк основывает армянское государство, а Таргамос — грузинское[13].

Летосчисление еще очень запутано, но армяне и грузины утверждают, что Гайк и Таргамос были современниками Немврода и Ассура. Посмотрите на Марпезию и ее амазонок, о которых ничего не известно: они как тени. Воинственная царица оставляет берега Термодона и дает свое имя скале Дарьяла. Иорнанд пишет о царице, но Вергилий воспевает гору.

Но вот забрезжил рассвет. Появляется Семирамида — дочь голубей. Она покоряет Армению, возводит Артемизу, присутствует при смерти своего возлюбленного — короля Азая Прекрасного, убитого на поле битвы. Семирамида хоронит его подле Арарата и возвращается в Вавилон, чтобы умереть от руки собственного сына Пиния, этого древнего Гамлета, мстящего за отца.

За 1219 лет до новой эры хронология становится более последовательной и точной.

За тридцать пять лет до Троянской войны какое-то судно, дотоле неведомое жителям Колхиды, вошло в Фазис и бросило якорь под стенами жилища царя Этеса, отца Медеи. То был корабль Арго, отправившийся из Йолхоса в Фессалию за Золотым руном под командой Ясона.

Не станем рассказывать драматическую историю Медеи и Ясона: она общеизвестна.

За 800 лет до нашей эры по Юстину и за 820 лет по Евсевию пламя Сарданапалова пожарища начинает освещать Восток. После гибели сына Сарданапала Фула начались раздоры и распад империи. Из ее клочков три государя составляют свои владения. Паруйр основывает независимую Армению. Но очень скоро арзепуны, дети Сеннахериба, 185 тысяч из воинства которого за одну ночь уничтожает архангел, захватывают Армению. Потом в Ниневии во время молитвы Сеннахериб был убит двумя своими сыновьями.

Через двадцать лет в Грузию и в Лазистан были пригнаны евреи, пленники

---

[13] Грузия называлась тогда Иберией.
Прим. Н. Г. Берзенова.

Салманасара. В Лазистане и в районе Рачи и по сей день существует воинственное племя иудеев. Все они потомки тех, кого победил разрушитель Израильского царства Салманасар. Предки их были современниками старца Товия, сын коего в сопровождении архангела Рафаила ходил к Габелу, требуя возвращения ему десяти талантов, которые Габел взял в долг у его отца.

Еще через двадцать лет возникает фамилия Багратидов, к которой относятся князья Багратионы: мы будем встречаться с представителями этого рода во время наших странствий.

Проходят две трети столетия. Через Дарьяльское ущелье скифы врываются в Армению, захватывают Малую Азию и проникают в Египет.

Диркан I, имя которого в Европе переиначилось в Тиграна и потомки которого воевали с Помпеем основал династию армянских царей. Он происходил от того самого Гайка, который породил государство, но не династию. Диркан I современник Кира, отрубленная голова которого была погружена в сосуд с кровью. Но прежде чем кровожадный Кир был таким образом напоен кровью, он завоевал Колхиду и Армению.

Артарксеркс Мнемон, сын Дария II, убивает собственной рукой в битве при Кунаксе юного Кира, который восстал против него.

У Кира служит Ксенофонт, спасенный Сократом в сражении при Делии. Ксенофонт с десятью тысячами воинов совершил знаменитое отступление от берегов Тигра до Хризополиса, о чем он рассказал потом, и которое является образцом стратегии.

Через шестьдесят лет после этого Александр отправляется из Македонии, переплывает Геллеспонт и разбивает на берегах Граника армию Дария. В войсках Дария, потерпевших поражение при Иссусе и Арбелле, сражаются кавказцы и армяне под водительством Оронта и Мифроста.

Потом слава покорителя Персии и Индии достигает такой степени, что легенды перемешиваются с исторически доказанными фактами. По преданию, распространенному на Кавказе, Александр сворачивает со своего пути, приходит на Кавказ и запирает оба кавказских ущелья: Дербентское — железными воротами, а Дарьяльское — знаменитой стеной, которая якобы простирается от Каспийского до Азовского моря. Это предание освящается и Кораном и с тех пор делается неоспоримой истиной для всех мусульман (в том числе и мусульманских народов Кавказа): ведь все, что подтверждено устами пророка, свято. Только в Коране Александр Македонский зовется Зуль-Карнаином, т. е. двурогим. Взгляните на медали Александра, на которых он, подобно Аммону — сыну Юпитера, носит отцовские рога, и вы получите объяснение названия Зуль-Карнаин. Вот как вещает Магомет:

«Прибыв к подножью двух гор, Зуль-Карнаин встретил там жителей, которые с трудом понимали его странный язык.

— О Зуль-Карнаин! — говорили они ему — Ядгуги и Мадгуги грабят наши земли. Мы будем платить тебе дань, если ты построишь стену между ними и нами.

Он отвечал:

— Дары неба предпочтительнее вашей дани. Я исполню ваше желание; принесите мне железа и сложите его в кучу, равную высоте ваших гор.

Потом он добавил:

— Дуйте, чтобы воспламенилось железо.

Затем он еще сказал:

— Принесите мне расплавленной меди, которую я волью в железо.

Ядгуги и Мадгуги не могли с тех пор ни пройти через эту стену, ни пробить ее. Это было сделано по милости божьей, но когда настанет предначертанное им время, он разрушит эту стену. Бог ничего напрасно не возвещает».

Некоторые историки уверяют, будто эта стена была составлена из железных и медных брусьев, спаянных между собою и покрытых слоем растопленной меди. Временами стражи этой стены подходили к медным ее воротам и били по ним молотком, тем самым давая знать Ядгугам и Мадгугам, что стена хорошо оберегается.

Полвека спустя после этого мнимого прихода сюда Александра Фарнаваз освобождает Грузию от владычества персов и составляет грузинскую азбуку. В свою очередь Артаксиас и Зазиздиас пользуются поражением и смертью Антиоха Великого для освобождения Армении из-под ассирийского ига. Эта смерть лишает Ганнибала опоры, и вскоре Армения видит в своих пределах победителя при Тразимене и побежденного при Заме. По плану Ганнибала воздвигается город Арташат, который со временем будет разрушен Корбулоном, но восстановлен Тиридатом под именем Неронии в честь Нерона.

За двести лет до этого Мириан основывает в Грузии династию Небротидов, а Вагаршак в Армении династию Аршакидов, которые вскоре овладевают грузинским престолом.

Вагаршак, именуемый историками Тиграном II, отец Тиграна Великого, который заставлял называть себя царем царей, объявляет войну римлянам, нападает на Каппадокию и покоряет Ассирию, но встречает Лукулла, который его разбивает, налагает дань в тридцать три миллиона нынешних денег, отнимает у него Сирию, Каппадокию и Малую Армению, превращает Колхиду в римскую провинцию, поднимается по Фазису, достигает Эльбруса и Казбека, и только змеи Муганских степей заставляют его легионы прекратить дальнейшее шествие.

Через десять лет Митридат, разбитый Помпеем, пересекает Кавказ, переплывает Дон и находит убежище в Тавриде. Он говорил на двадцати четырех языках — по числу подвластных ему двадцати четырех народов. Римляне занимают Грузию, Имеретию и Албанию (теперешнюю Кахетию).

Армения же была покорена Марком Антонием спустя тридцать лет после смерти понтийского государя.

Наконец рождается Христос. Хотя это скоро произведет переворот в мире, однако о Христе еще долго на Кавказе не будет слышно. Только в самый год смерти Христа, Авгар, царь Эдесский, принимает крещение, и еще через семь лет Святой Андрей и Святой Симон приходят проповедовать христианскую веру в Месхию, нынешний Ахалцыхский уезд.

Вот первый результат той великой жертвы, которая должна была стать для нового мира тем же, чем жертва Прометея была для древнего мира.

Второй период
От Христа до Магомета II

Римские императоры сменяли друг друга: Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон… Уже двенадцать лет Нерон на троне — как музыкант и поэт, он путешествует по Греции и покоряет царство за царством, между тем, как Вендекс мечтает о восстании галлов, а Гальба о восстании в Испании.

Корбулон, победитель парфян, вторгается в Армению, берет и разрушает Арташат, второй Карфаген, основанный Ганнибалом, и принуждает Тиридата, которого парфяне избрали государем без согласия римлян, сложить корону, чтобы вновь принять ее из рук императора.

Завистливый император приказывает Корбулону, чтобы он лишил себя жизни. Корбулон повинуется, пронзая себя мечом в Коринфе.

Спустя тринадцать лет на том месте, где Эрован, отнявший у Арташеса армянский трон, был разбит персами, возникает город Эривань.

Счастливчик, усыновленный Нероном, становится римским императором, т. е. императором мира. Кавказские народы видят в нем победителя Армении, Иберии и Колхиды. Он дает албанцам царя и отправляется в район Евфрата, где вскоре потрясет до основания империю Аршакидов, которая окончательно рухнет через три ближайших столетия.

Мы говорим о Траяне, в царствование которого мир на мгновенье обретет покой — после тирании Калигулы, Клавдия и Нерона.

Через полвека авангард светлорусых народов появляется на Кавказе. Это — готы,

победители скандинавов, кимвров, венетов, бургундов, лазигов и финнов. Они вытесняют аланов, кочующих со своими стадами по обширным степям, по которым мы проедем, и поселяются на берегах Черного моря, где столкнутся с гуннами. В результате гунны истребят готов.

Основывается новая столица Армении — Вагашанад, теперешняя деревня под тем же названием в окрестностях Эчмиадзинского монастыря. Но едва город был выстроен, как хазары хлынули к Кавказским воротам — завоевателей уже не пугает имя Александра Великого. Хазары приходят из низовьев Волги, проникают через ущелье Дарья, — по преданию этот персидский государь дал свое имя Дарьялу, — рассеиваются по Армении, принудив аваров удалиться в ущелья Гимры, где мы найдем их, когда станем взбираться на вершины Караная. Хазары стали свидетелями событий, которые возводят персидских Сасанидов на престол Грузии.

Тогда же лев, дремавший на берегах Тибра, снова простирает свои когти к Кавказу. Император Тацит, который имел в числе своих предков одного великого историка, был возведен на трон сенатом на 70 году своей жизни. Он был избран, как видно из решения сената, по причине своих добродетелей. За то он и был убит в шестом месяце правления: добродетельные государи не нравятся одряхлевшим народам[14].

За короткое царствование он разбил готов и оттеснил аланов в ущелья Кавказа.

Пользуясь минутным спокойствием, следовавшим за этой победой Тиридат делается царем Армении. Христианство утверждается в его государстве. Эчмиадзинский монастырь основан Святой Ниной[15]. Языческие идолы разрушаются и заменяются христианскими крестами. Тиридат умирает после изгнания хазаров из Армении и Грузии.

Бакури I, грузинский царь (правильнее царь Иберии) ведет войну с персами, покорившими Армению, которой с другой стороны угрожают варвары севера. Эти последние отражены Ваганом Аматуни, который разбивает их в Вагашанаде, на том самом поле битвы, где русские разобьют персов в 1827 году. Но тем не менее персы проникают до подножья Кавказских гор и строят крепость там, где столетием позже царь Вахтанг основал Тифлис. В эту эпоху в Армении формируется новый язык, а будущая Грузия трудится над переводом Священного Писания.

Час Аршакидов наступил: эта династия, которую безуспешно хотел ниспровергнуть Траян заменена Сасанидами которые были наследниками парфянских царей и предшественниками мусульманских халифов. Первый государь этой династии уже видит Вахтанга Гур-гаслана на троне Грузии. Вахтанг основал Тифлис, покорил Мингрелию и Абхазию, изгнал персов, подчинил осетин и печенегов.

Вахтанг I умирает в 499 г., когда армяне впадают в ересь и когда суэвы[16], которые скоро будут союзниками гуннов в их набегах на запад, появляются в древнем царстве Митридата. И в эту эпоху Кавказ слышит, как раздаются в самых глубоких его долинах шаги того народа, который на пути своем попирает полсвета, а другую половину приводит в страх. Этот народ сходит с возвышенностей Тибета к северу от степей Куби, покоряет Манчу[17], принуждает китайцев построить Великую стену и, разделившись на две огромные армии

---

[14] У Дюма (или тех, кто снабжал его информацией) тут много неточностей. Например, не Тацит, а Тит Флавий. Иосиф Флавий не был предком императора. Чересчур добродетельным императором Веспасиан не был. Автор путает его с Гальба, действительно отличавшимся добропорядочностью и избранного императором в старости. (Тацит. Соч. в 2-х томах, т. 2, М., 1969, с-5 27).

[15] Эчмиадзин основан в 303 г. при царе Тиридате III (правильнее Трдате), при нем христианство становится официальной религией в Армении. Святая Нина проповедовала в Грузии, а не в Армении.

[16] 5 Суэвы — сваны.

[17] Куби — пустыня Гоби. Манчу — Манчжурия.

распространяется как двойной поток по обе стороны Каспийского моря. Одни остановятся на берегах Оксуса[18], в нынешнем Туркестане, где основывают столицу древнюю Бактриану[19] и после долгой борьбы с персами смешаются с турками.

Это — белые гунны или эптатеты.

Другие, черные гунны или сидариты, ненадолго остановятся на западе от Каспийского моря, между устьем Терека и Дербентом; потом прорвут ворота Дарьяла, крюки с которых уже сбиты хазарами: распространятся к западу, пройдут через Палюс-Меотидес[20], предводительствуемые ланью, которая будет указывать им тропы во избежание неминуемой гибели в этих обширных болотах. Затем, покорив аланов и разрушив империю готов, они будут разбиты на равнинах Шампани умирающей Галлии — рождающейся Францией.

С этой поры начинается армянская хронология и основывается династия Багратидов, известная уже более 1200 лет.

Внезапно враги, которых никто не принимал всерьез, показываются на Кавказе и покоряют Тифлис.

Это император Ираклий, неутомимый богослов, сын наместника Африки; он низложил Фоку и заставил провозгласить себя императором в 610 году; но с 610 по 621 г. царствование его было не что иное, как продолжительное бедствие. Авары отняли у него Малую Азию, а персы Египет. Вся подчиненная ему территория ограничивалась лишь одними стенами Константинополя. Наконец он решился на крайний шаг: стал во главе своей армии, разбил Хосрова II, вернул себе Малую Азию и проник до подножья Кавказа.

В то время, как Ираклий двигается к северу, преемники халифа Абу-Бекра отнимают у него Дамаск, а Иерусалим сдается халифу Омару: Месопотамия, Сирия и Палестина отпадают от державы Ираклия. В вознаграждение за эти несчастья бог предоставляет ему честь открыть истинный крест[21]. Он получил его из рук Сироэ.

Наступает очередь арабов. Это эпоха великого переселения народов. Словно каждой нации было неудобно оставаться в колыбели, устроенной для нее самой природой, и каждая из них идет отыскивать других богов и другую отчизну.

Арабы приносят закон Магомета, только что основавшего их империю. Овладев Сирией, Египтом, Персией, арабы направляются через Африку и Испанию во Францию, и если бы судьбе не было угодно вооружить против них Карла Мартелла, то голова и хвост восточной змеи достигли бы Вены, даже не смотря на отпор Собеского.

Но между тем, как Юстиниан II, которому восставшие подданные отрезали нос, скрывается в Тамани; между тем как Мурван Глухой вторгается в Армению и Грузию, а грузины начинают свою хронику с праздника Пасхи в 780 г., — иной народ формируется по другую сторону Кавказа, народ, который потом завоюет куда большее пространство, нежели все предшествовавшие ему древние народы. Этот народ, почти неизвестный римлянам, которые, ниспровергнув стены всех народов, были уже у врат неизвестного мира, славянский народ — двинувшись из полуденной России, занял территорию, простирающуюся от Архангельска до Каспийского моря, т. е. от Ледовитого до Огненного моря. Напрасно готы, гунны, болгары в течение четырех веков оспаривали у него землю и распространялись от Волги до Днепра, — их временные завоевания служили только коротким привалом для

---

[18] Оксус — древнее название реки Аму-Дарьи.

[19] Бактериана — территория в северо-западном Афганистане и частично в Узбекской ССР и Туркменской ССР. В первом тысячелетии на ней располагалось государство со столицей Бактра.

[20] Палюс-Меотидес — древнее название города Азова.

[21] Это неверно. По свидетельству нашей истории животворящий крест впервые нашла царица Елена, мать Константина великого: потом он был взят персами, а Ираклием возвратен церкви после победы над Хосроем.

Прим. Н. Г. Берзенова.

славян. Как остановленный на миг бурный поток, вдруг прорвавший плотину, эти народы устремлялись: одни к западу, другие к югу. В центре этого наводнения возвышались Новгород Великий и Киев, которые с высот своих стен хладнокровно взирали на ударявшиеся о них волны.

В 862 году славяне призвали для управления своей землей трех варяжских князей: Рюрика, Синафа (Синава) и Трувора[22]; Рюрик вскоре умер, передав регентство, за малолетством сына Игоря, своему брату Олегу, человеку незаурядному, который, покорив Смоленск и Любеч, сделав данниками сербов, радомичей, древлян, двинулся на Константинополь с двумя тысячами воинов, которых он воспитал так, что они не останавливались ни перед каким препятствием, ни перед какой опасностью.

Константинополь дрогнул, когда увидел, что народ, который он считал варварским, прибил к его воротам условия своего отступления: Лев VI подписал эти условия, и русские удалились. Но мимоходом они овладели крепостью Барда — нынешняя деревня Елисаветпольского уезда.

Так русские добыли себе первое маленькое местечко в Грузии.

Через тринадцать лет они овладели Табаристаном и землею, в которой была нефть.

Дорога была проложена. Великий князь Святослав проходит вдоль всей Кубани и у подножья Кавказа громит осетин и черкесов.

Русский гарнизон остается в Тамани.

Царь Абхазии и Картли Баграт III строит собор в Кутаиси. В одной из надписей на его стенах находят первые следы арабских цифр. Кутаисский собор, судя по ней, построен в 1003 г.

Итак, русские овладели крепостью Барда в 914 году, вступили в Табаристан в 943, разбили осетин и черкесов в 967 году и оставили гарнизон в Тамани.

В 1064 году Ростислав Владимирович превращает Тамань — свой остров, во владетельное княжество.

Когда русские двигаются вперед, идя от севера к югу, турки выступают с юга на север. Это сельджуки, вышедшие из степей Туркестана; ими предводительствует Орслан, племянник Тогул-бея, умершего в покоренном им Багдаде. Он подчиняет своей власти Малую Азию, Армению и Грузию.

Гранитный хребет Кавказа еще отделяет сельджуков от русских. Когда два великана, подобно Геркулесу и Антею, начнут бой, они не уступят друг другу: Россия — Геркулес, Турция — Антей.

К счастью для Грузии на ее престол вступает достойнейший из царей: это Давид III, называемый Мудрым. Он противопоставляет варварам варваров, вооружает хазаров против турок и, освободив свою страну, оставляет престол Димитрию I, который опустошает город Дербент и увозит его железные ворота в Имеретию, в монастырь Гелат; одна половина их сохраняется там до сих пор, а другая отобрана турками.

С 1184 по 1212 царствует Тамар.

Это великая эпоха в истории Грузии. Имя красавицы-амазонки сделалось популярным по обеим сторонам Кавказа.

Едва царица Тамар, которую до сих пор воспевают грузинские поэты, почила, как с востока начинает двигаться могучая сила. Это монголы Чингис-хана, которые после покорения северного Китая и восточной Персии доходят до Тавриза в Иране. Последние волны этого мощного потопа доходят до Грузии, но не затопляют ее.

Не так действует Тимурленг, происходящий от Чингиса по женской линии: покорив всю Азию к востоку от Каспийского моря, заняв Персию и дойдя до киргизских степей, он проходит через Дагестан и Грузию, вдоль обоих оснований Кавказа, которые кажутся широким подводным камнем, разбивающим волны варваров.

---

[22] Здесь отражена легенда о призвании на Русь варягов.

Но он только проходит. Правда, на своем пути Тимурленг все опустошил, подобно быстрому урагану или пожару. Он разрушает Азов, потом отправляется в Индию, побеждает индийцев близ Дели, заливает Индустан кровью, превращает его в развалины, берет в плен Баязета в Ансире, возвращается во главе двухсоттысячной армии в Китай, который он тоже намерен покорить, и умирает по пути к Отрару на Сигонге.

Александр I разделяет Грузию между своими сыновьями. Тогда же основывается царство имеретинское.

В эту же эпоху свершилось еще одно событие.

Древняя Византия, опустошенная и разрушенная Септимием Севером, вновь отстроенная Константином, давшим ей свое имя, — вторая столица мира при римских императорах, первая столица Востока при греческих государях, тщетно осажденная попеременно аварами, персами и арабами, откупившаяся от варягов, взятая крестоносцами, которые там основывают Латинскую империю, снова отнятая Михаилом Палеологом, который восстанавливает греческую империю, — Древняя Византия теперь переходит в руки нового владыки: Магомет II покоряет Византию в 1453 году и делает ее столицей Оттоманской империи[23].

Третий период
От Магомета II до Шамиля

Народы Кавказа, во главе которых стояли колхидонцы, поздравляют победителя.

Магомет II разрешил армянам создать патриарший престол в Константинополе.

Кавказские христиане стараются примкнуть к единоверным державам. Кахетинский царь Александр отправляет посольство к Ивану III, который занят изгнанием татар из России.

Но христианским народам Кавказа угрожают не только турки, — новый враг, которого они уже мельком видели, — но и старые их враги — персы.

Измаил-Шафи, первый персидский шах из династии Сефидов, покорил Ширван и Грузию. И это заставляет жителей горы Бештау (у Пятигорска) отдаться Ивану Грозному, который незадолго до того, в 1552 году взял Казань. Через три года Иван Грозный берет в жены Марию — дочь черкесского князя Темрюка[24].

И не удивительно, что русские строят на Каспийском море у подножья кавказских гор крепость Тарки.

Персы и турки, вместо того, чтобы истреблять друг друга, как надеялось тогда христианское население Кавказа, делят между собою равнины и горы. Персы берут Шемаху, Баку и Дербент, с которыми они сообщаются по берегу Каспийского моря. Турки же забирают себе Тифлис, Имеретию, Колхиду и основывают Поти и Редут-кале.

Видя надвигающуюся опасность, царь Кахетии Александр II ищет покровительства у Федора Ивановича — ущербного царя, умирающего от лихорадки на руках своего опекуна Бориса Годунова.

В Персии случился переворот, повлиявший на судьбы Грузии. Шах-Аббас овладевает персидским троном, с которого он сверг своего отца, убивает двух братьев, появляется на Кавказе, вытесняет турок из Тифлиса, захватывает город и заканчивает свои дни в Исфагане, который сделал своей столицей.

Человек, который сверг с престола своего отца и убил двух братьев, должен, разумеется, заслужить особый титул. Поэтому история называет Шах-Аббаса Великим.

На другом склоне Кавказа русские идут к своей цели. Бутурлин и Плещеев вторгаются

---

[23] Мехмед II (1432–1481) — с 1450 года турецкий султан.

[24] Свадьба с Марией Темрюковной состоялась в 1560 г.

во владения шамхала, т. е. на земли, простирающиеся от Темир Хан-Шуры до Тарки. Картлийский царь Георгий начинает платить дань Борису Годунову.

Шах-Аббас, чтобы еще прочнее закрепить за собою титул Великого, опустошает Кахетию до такой степени, что ее царь Теймураз I просит защиты от персов у царя Михаила Федоровича-первого государя из дома Романовых.

Через двадцать лет Кахетия стала провинцией державы Михаила Федоровича.

Георгий III, царь Имеретии, Мамиа II, владетель Гурии, и Дадиани — Мингрелии договариваются с Россией о том же. Тогда царь Алексей Михайлович приезжает в Кутаис, где принимает от своих новых подданных уверения в покорности[25]. Кахетинский же царь Теймураз направляется в Россию, где его принимают самым лучшим образом.

Дарьяльское ущелье становится оживленным торговым путем, по которому армянам дозволяется ввозить в Россию шелк своего и персидского производства. Петр Великий старается присоединить оба моря к своей империи. Мусин-Пушкин получает от него приказ установить торговые сношения с Дербентом и Шемахой. Это приносит свои плоды. В 1718 году шамхал Кумухский отдает себя под покровительство Петра, а владетели Карабаха отправляют к нему посольство. Россия уже у ворот Дербента.

Через три года, 23 августа 1722 г., они отворяются. Мы увидим в древнем городе Александра маленький дом, в котором жил полтавский победитель, увидим и пушки, которые он перевез в Дербент со своего воронежского завода. Петр возвращается через Дагестан и, принеся благодарение всевышнему, основывает между тремя реками: Койсу, Су лаком и Аграханом, крепость под названием Святой Крест. Он оставляет в Дербенте коменданта Каспийской береговой линии генерала Матюшкина, который в следующем году занимает Баку.

Пока Петр приближается к югу, турки подвигаются к северу. Тифлис, который они оставили Шах-Аббасу Великому, снова взят ими, и царь Вахтанг VI со свитой ищет убежища в России. Вслед за ним и кабардинский князь вступает под покровительство императрицы Анны Иоанновны. Когда один гениальный человек появляется в персидском государстве, другой гений сходит с арены в русском государстве. Погонщик верблюдов делается главой разбойников, захватывает Хоросан; пользуясь удачным моментом, покоряет Исфаган, завоевывая победами популярность среди народа, принимает имя Тамасп-Кули-Хана, т. е. начальника служителей Тамаспа, свергает последнего с трона, заменяет его своим сыном, который в восьмимесячном возрасте умирает, заставляет провозгласить себя падишахом под именем Надир-шаха, снова покоряет Баку и Дербент, изгоняет турок из Кахетии и Картли, снова овладевает Тифлисом и Эриванью, победно проходит через Дагестан, усмиряет восставший Дербент, возвращается для покорения Кандагара, нападает на Великого Могола в Индустане, захватывает Дели, облагая его жителей данью в пять миллиардов. Он погибает в конце июня 1747 г., т. е. когда грузинский царь Ираклий разбивает персов у Эривана, когда царь карталинский Теймураз II умирает в Астрахани, где он искал убежища.

На престол вступает Екатерина II, основывает Кизлярскую провинцию и переселяет на Терек пятьсот семнадцать семейств волжских казаков и сто семейств донских казаков, формируя из них полк моздокских казаков, и награждает каждого солдата рублем, саблею и славой.

Мы встретим их во время нашего путешествия и у них остановимся.

С тех пор Россия поступает с кавказскими городами почти как владетельница. Генерал Тотлебен вторгается в Мингрелию и одерживает над турками победу возле Кутаиса.

Через четыре года Кучук-Кайнарджийский мир освобождает Грузию и Имеретию из-под ига турок: русская военная линия образуется между Моздоком и Азовом; основываются казачьи станицы, а кази-кумыхские жители наказываются за то, что взяли в

---

[25] Это путешествие оспаривается некоторыми историками.
Прим. А. Дюма

плен русского путешественника Гмелина.

В 1781 году Турция окончательно уступает России Крым и Кубань.

В 1782 году царь Имеретии Соломон I умирает.

В 1783 году Суворов покоряет орды ногайских татар, а Екатерина II принимает под свое покровительство царя Кахетии и Картли Ираклия.

В 1785 году учреждено Кавказское наместничество, составленное из Екатеринограда, Кизляра, Моздока, Александровска и Ставрополя. Резиденция наместника — в Екатеринограде, иностранцам позволено поселяться на Кавказе и свободно заниматься торговлей.

Наконец, в 1801 году император Павел издает приказ о присоединении Грузии к России, а преемник его Александр I публикует манифест, коим назначает генерала Кнорринга правителем Грузии.

В то время, как в Петербурге сын Екатерины II отходил в вечность, в Гимрах среди аварцев, — ветви лезгинского племени, удалившегося в горы Дагестана для сохранения своей свободы, — появилось на свет дитя. Его назвали Шамиль-эфенди[26]. Этот ребенок будущий имам Шамиль.

Четвертый период
Современная эпоха

Оглядывая Кавказ, прежде всего видишь гигантскую цепь гор, ущелья которых служат убежищем представителям всех наций.

При каждом новом приливе варваров: аланов, готов, аваров, гуннов, хазаров, персов, монголов, турок, живые волны омывают горы Кавказа и потом спускаются в какое-нибудь ущелье, где они остаются и закрепляются.

Это новый народ, присоединяющийся к другим народам, это новая национальность, сливающаяся с другими национальностями.

Спросите у большей части жителей Кавказа, от кого они происходят, — они и сами этого не знают; с какого времени они живут в своем ущелье или на своей горе, им это также неизвестно. Но все они знают, что удалились туда для сохранения независимости и готовы пожертвовать жизнью, защищая свободу.

Если спросите их: сколько разных племен расселено от Апшеронского мыса до полуострова Тамани? Они ответят:

— Столько, сколько бывает капель росы на траве наших полей после майской зари, или сколько песчинок вздымается декабрьскими ураганами.

И они правы. Взор туманится, наблюдая за ними; ум теряется, отыскивая различие поколений, подразделяющихся на роды.

Некоторые из этих народов, как например удью, говорят на таком языке, которого не только никто не понимает, но и корень коего не приближается ни к одному из известных языков.

Если читателям интересно знать национальный состав Кавказа, то мы попытаемся перечислить различные племена и сообщим, из скольких душ состоит в настоящее время каждое из них.

Число жителей

---

26 Эфендием никогда и никого не называют при самом появлении на свет: это — почетный титул, даваемый на Востоке духовному лицу, приобретшему уже какую либо известность.

Прим. Н. Г. Берзенова.

Абхазское племя разделяется на четырнадцать родов, составляющих — 144 552
Сванетское племя — на три рода — 1639
Всего — 146 191

Адигское и Черкесское племя на шестнадцать родов — 290 549
Убыхское племя на три рода — 25 000
Ногайское племя[27] на пять родов — 44 989
Осетинское племя на четыре рода — 27 339
Чеченское племя на двадцать один род — 17 080
Тушинское, Пшавское и Хевсурское племена разделяются:
Тушины — на два рода — 4 079
Пшавы на двенадцать родов — 4 232
Хевсуры на четыре рода — 2 505
Лезгинское племя разделяется на тридцать семь родов — 397 701
Всех 11 племен — 122 рода — 1 059 665

Абхазское племя обитает на южном склоне Кавказа по берегам Черного моря, от Мингрелии до крепости Гагры; оно упирается в подножие Эльбруса.

Сванетское племя проживает вдоль верхней части реки Ингури, оно простирается до истоков р. Цхенис-Цкали[28].

Адигское или черкесское племя населяет пространство от горы Кубани до устьев реки Кубани, потом тянется до Каспийского моря и занимает Большую и Малую Кабарду.

Убыхское племя находится между Абхазией и рекою Суэпсой.

Ногайское племя обитает между Ставрополем и землей черкесов.

Осетинское племя живет между Большой Кабардой и Казбеком.

Дарьяльское ущелье составляет его восточную границу, а гора Урутних западную.

Чеченское племя простирается от Владикавказа до Темир-Хан-Шуры и от горы Борбало до Терека.

Тушины расположены между истоками Койсу и Йоры.

Наконец, лезгинское племя занимает Лезгистан, т. е. все пространство между реками Самуром и Койсу.

Никакой политический союз не соединил бы людей, столь различных происхождением нравами и языками.

Для этого необходима была связь религиозная.

Кази-Мулла основал мюридизм.

Мюридизм, похожий на вагабизм, в магометанской религии то же самое, что протестантизм в христианской. Законы стали более строгими. Апостолы его называются мюршидами, а посвященные мюридами.

От мюридов требовали полного игнорирования всех благ этого мира и созерцания молитв и покорности. Эта покорность одного всем и всех одному вытекает из самой полной демократии, но предполагает безоговорочное повиновение приказам начальника, т. е. имаму. Мюрид должен повиноваться имаму беспрекословно, без рассуждений: приказывает ли ему имам убить кого-нибудь или требует самоубийства. Это слепая покорность иезуита своему генералу, ассасина — старейшине.

Горцы любят курево. Шамиль приказал, чтобы никто не курил, а деньги, вырученные

---

27 Не надо смешивать это ногайскими степными, с давних пор подчинившимися России.
Прим. А. Дюма.

28 По грузински — Лошадиная вода.
Прим. А. Дюма

от этого потратили на покупку пороха. И, действительно, все перестали курить.

Кази-Мулла отдал двадцать лет, чтобы утвердить свою власть на этих принципах.

У себя в горах Кази-Мулла был неограниченным повелителем — за пределами же гор его имя ничего и никому не говорило.

И вот 1 ноября 1831 года он дал о себе знать громовым ударом. Спустился с гор, напал на город Кизляр, опустошил его и отрубил шесть тысяч голов. Ободренный этим успехом, он блокировал Дербент, но на этот раз неудачно, и возвратился в свои горы.

В этих экспедициях его сопровождал некий молодой человек 26 или 28 лет по имени Шамиль-эфенди; этот молодой человек умел читать и писать и был крайне благочестив; Кази-Мулла назначил его сначала нукером, а потом мюридом.

Из оруженосца Шамиль-эфенди сделался учеником Кази-Муллы. На него обратили внимание по милости Кази-Муллы. Он родился, говорят, в Гимрах. Некоторые уверяли, что его видели пляшущим и поющим в кофейной и на площади этой деревни; но потом, на пятнадцатом году от роду, он исчез, и никто не мог сказать, где он пропадал на протяжении пяти лет. Говорили также, будто он был невольником, бежал от турок и скрывался в горах. Последней версии не очень-то доверяли, считая это выдумкой его недругов, так как, несмотря на свою молодость, Шамиль уже имел много врагов из-за особенного к нему расположения Кази-Муллы.

Успехи и смелость Кази-Муллы следствие того, что русские вели войну с двумя новыми или, лучше сказать, с двумя старыми врагами — персами и турками.

6 сентября 1826 года Турция объявила войну Персии; 13 сентября того же года генерал Паскевич разбил персов при Елисаветполе; 26 марта 1827 года он был назначен главнокомандующим Кавказской армией; 5 июля того же года русские разбили Аббас-Мирзу при деревне Джаван-Булак, 7 июля взяли крепость Аббас-Абад, 20 сентября крепость Сардар-Абад,1 октября крепость Эривань. Потом русские перешли Аракс, овладели городами Ардебилем, Мараном и Урмией, а уже 10 февраля 1828 г. был подписан мирный договор в Туркманчае, по которому Эриванское и Нахичеванское ханства переходили к России.

Вскоре турки сменили персов: 14 апреля того же года Россия объявила войну. 11 июня русские взяли у них крепость Анапу, 23 июня Карс, 15 июля Поти, 24 июля Ахалкалаки, 26 июля Хертвис, 15 августа Ахалцых, 28 августа Баязет.

Наконец, 20 июня 1829 года генерал Паскевич одерживает решительную победу над турками, при деревне Канди; 2 сентября подписан Адрианопольский мир, по которому Турция уступает России все крепости, взятые ею во время войны.

Заключив мир с Персией и разбив турок, русские вздохнули свободнее. Генералу барону Розену было приказано отправиться в Дагестан и овладеть Аварией и Чечней. Русские предприняли осаду Гимров.

Надо видеть хотя бы одно из селений горцев, чтобы иметь представление о том, как здесь обороняются. Ведь каждый дом имеет зубчатые стены с бойницами и по существу является крепостью, взять которую можно лишь после кровопролитной осады. Гимры тоже защищались с остервенением, среди защитников находились Кази-Мулла, его наиб Гамзат-бек и Шамиль-эфенди.

Наконец, Гимры были захвачены. Гамзат-бек где-то скрылся, на поле сражения остались убитый Кази-Мулла и раненый Шамиль-эфенди.

Почему раненый Шамиль-эфенди остался на поле битвы?

Его лошадь была убита, он притворился мертвым, открытая его рана и тело, истекающее кровью, должны были убедить русских, что он был мертв, и тем спасти Шамиля от погибели. Так и случилось. Но была и другая причина. Когда русские при наступлении ночи оставили поле сражения, Шамиль встал, отыскал тело своего господина и придал ему позу человека, умершего во время молитвы и молящегося даже после смерти.

Иными словами, хотя Кази-Мулла умер, но мюридизм торжествовал, а Шамиль-эфенди сильно рассчитывал на мюридизм для своего будущего возвеличенья.

И в самом деле, Шамиль присоединился потом к своим товарищам, объявив Кази-Муллу мучеником, от которого он будто бы получил последние наставления и принял его последний вздох — и, еще называя себя его преемником, начал величать себя его любимым учеником.

Вернувшись на поле битвы после ухода русских, горцы нашли там труп Кази-Муллы в молитвенной позе, и никто уже более не сомневался, что Шамиль, присутствовавший при последних его минутах, получил от него предсмертные наставления.

Однако время Шамиля еще не наступило. Он чувствовал, что до звания имама еще далеко: мешал Гамзат-бек, наиб Кази-Муллы, о котором мы уже упоминали. Сам Гамзат-бек, какова бы ни была его популярность, не надеялся наследовать верховную власть. Он ее получил лишь благодаря своей дерзости.

Убедившись в смерти Кази-Муллы, он пригласил всех дагестанских мулл собраться в деревне Карадах, где намеревался возвестить им о важной новости. Приглашенные явились. В полдень, когда муэдзины созывают правоверных на молитву, Гамзат-бек приехал в деревню в сопровождении самых храбрых и самых преданных мюридов. Он решительно отправился в мечеть. Совершив молитвенный обряд, он твердым и громким голосом обратился к народу:

«— Мудрые соратники по тарикату [29], почтенные муллы и руководители наших достойных общин! Кази-Мулла убит и теперь молится Аллаху за вас. Будем признательны ему за его преданность святому делу; будем еще неустрашимее, потому что его храбрость не может более помогать нашей. Он оказывал нам покровительство в наших предприятиях и прежде нас уйдя на небеса, он отворит своею рукой врата рая тем из нас, кто погибнет в сражениях. Наша вера повелевает нам вести войну с русскими, чтобы освободить наших соотечественников из-под их ига. Кто убьет гяура — врага нашей святой веры — тот вкусит вечное блаженство; кто будет убит в сражении с ними, того ангел смерти переселит в объятия счастливых и непорочных гурий. Возвратитесь каждый в свой аул, соберите народ, передайте ему завещание Кази-Муллы, скажите ему, что если он не попытается освободить свое отечество, наши мечети превратятся в христианские церкви, и неверные подчинят всех нас своей власти.

Но мы не можем оставаться без имама. Шамиль-эфенди, богом любимый, получивший последние наставления нашего храброго начальника, скажет вам, что назначение меня своим преемником было последним желанием Кази-Муллы. Я объявляю русским священную войну, — и с этой минуты я ваш глава и ваш имам».

Многие из присутствовавших и слышавших эту речь воспротивились было присвоению Гамзат-беком верховной власти. Послышался ропот, но Гамзат-бек сделал знак, и все замолчали. Ему повиновались.

«— Единоверцы, — сказал он, — я вижу, что ваша вера начинает ослабевать; звание имама повелевает мне снова наставить вас на путь, с которого вы удаляетесь. Повинуйтесь мне, и без ропота повинуйтесь голосу Гамзат-бека, или Гамзат-бек принудит вас к повиновению своим кинжалом».

Решительный взор оратора, его обнаженный кинжал, его мюриды, готовые на все, заставили толпу молчать — никто не осмелился протестовать. Гамзат-бек вышел из мечети, где он сам себя провозгласил имамом, вскочил в седло и в сопровождении мюридов возвратился в свой лагерь.

Духовная власть Гамзат-бека была утверждена — оставалось захватить светскую. Эта власть была в руках аварских ханов. Шамиль-эфенди, сделавшись таким же наибом Гамзат-бека, как тот когда-то был наибом Кази-Муллы, убедил Гамзат-бека избавиться во что бы то ни стало от законных владетелей страны. Многие, правда, утверждают, что этот

---

[29] Мюридизм, о котором мы еще поговорим, разделяется на две части: шариат и тарикат, мы потом разъясним каждое из этих двух понятий.

Прим. А. Дюма

совет был дан Гамзат-беку Асланом — казикумухским ханом, непримиримым врагом властителей Аварии.

Кто они, эти ханы?

Три брата, лишившись отца, воспитывались у своей матери Паху-Бике. Их звали Абу-Нунцал, Умма-хан и Булач-хан.

Вместе с ними их мать воспитывала и Гамзата, который поэтому приходится молодым ханам если не братом по крови, то, по крайней мере, молочным братом.

Когда русские вторглись в Дагестан, братья скрылись в Хунзахе.

Гамзат-бек пошел войной против русских, начал тревожить их день и ночь, вынудив их оставить Аварию. Русские успели разрушить в ней только две или три деревни. Гамзат-бек расположился лагерем возле Хунзаха и пригласил к себе юных ханов. Те, ничего не подозревая, поехали к нему. Но едва они прибыли в стан Гамзат-бека, как его нукеры напали с шашками и кинжалами на братьев.

Молодые ханы были храбры, хотя младший был еще почти дитя: к тому же они были окружены своими преданными слугами, а потому убить их было нелегко, и бой предстоял отчаянный.

Кончилось тем, что двух братьев смертельно ранили, а третьего взяли в плен; защищаясь, они убили у Гамзат-бека сорок человек, в числе которых был и брат Гамзат-бека.

Итак одним препятствием стало меньше на пути Шамиля-эфенди, ведь брат Гамзат-бека мог иметь, если не права, то, во всяком случае, предпочтение, когда начнут искать преемника Гамзат-беку.

Но, как мы уже сказали, третий из юных братьев, Булач-хан, остался в живых. А потому Гамзат-бек не мог стать законным правителем Аварии. Однако почему-то убийца, который, не задумываясь лишил жизни двух братьев, вооруженных и в состоянии защищаться, никак не мог решиться умертвить плененного мальчишку.

В конце 1834 года Гамзат-бека убили.

Взор историка с трудом проникает в мрачные ущелья Кавказа сквозь неумолчный шум. Шум этот, достигая городов, превращается в эхо, искажающееся в зависимости от расстояния и особенностей той или иной местности.

Вот что рассказывают об убийстве Гамзат-бека. Мы повторим версию в том виде, как она нам рассказывалась, прося читателей не доверять предубеждениям русских, которые, естественно, питают их к своему неприятелю, — предубеждениям иногда превращающимся в клевету[30].

Покончив с молодыми ханами, Гамзат-бек поселился в ханском дворце в Хунзахе. Погибшие были очень любимы народом, который видел в действии убийцы, во-первых, гнусную измену, а во-вторых, святотатство.

Народ начал роптать.

(Здесь мы перестаем подтверждать достоверность и аргументированность сказываемых нами фактов, твердо зная, что верны лишь следствия, результаты, а детали остаются во мраке неведения).

Шамиль-эфенди слышал этот ропот и понял, какую мог извлечь из этого выгоду. По его наущению Осман-Сул Гаджиев и двое его внуков, Осман и Хаджи-Мурад (не забудьте имя Хаджи-Мурада, ибо носителю его суждено играть большую роль в нашем рассказе), организовали заговор против Гамзат-бека.

Наступило 19 сентября: это день великого праздника мусульман. Будучи имамом, Гамзат-бек должен был совершить молитву в мечети Хунзаха. День и место были избраны

---

[30] Не во гнев г-ну Дюма заметим, что это предостережение или предупреждение устах его принимает смысл явной насмешки над читателями. Добросовестность не только историка, но и простого туриста не слишком-то далась пресловутому романисту. Читатели, хотя поверхностно знакомые с Кавказом могут видеть это зачастую в рассказе г-на Дюма, без всяких комментариев.

Прим. Н. Г. Берзенова.

заговорщиками для осуществления их намерения.

Гамзат-бека неоднократно предупреждали о готовящемся заговоре, но он не хотел в него верить. Наконец, когда кто-то из мюридов стал настаивать убедительнее других, Гамзат-бек отвечал:

— Можешь ли ты остановить ангела, который по приказанию Аллаха придет взять твою душу?

— Нет, разумеется, — отвечал мюрид.

— Так ступай домой и ложись спать, — сказал ему Гамзат-бек, — мы не можем избежать того, что суждено свыше. Если Аллах избрал завтрашний день днем моей смерти, то ничто не может этому воспротивиться.

И 19 сентября было днем, предопределенным судьбою для смерти Гамзат-бека. Он был убит в мечети, в назначенном заговорщиками месте и в условленный час. Его обнаженное тело валялось на площади перед мечетью в течение четырех дней[31].

Даже самые упорные враги Шамиля-эфенди признают, что он не был в Хунзахе в день убийства но подозревают, что он направлял заговор.

Как уверяют, доказательством соучастия его служит то, что в тот самый час, когда Гамзат-бек был убит, Шамиль-эфенди, находясь вдали от этого места, начал взволнованно молиться. Потом вдруг поднялся, бледный, с влажным челом, словно, подобно Моисею и Самуилу, беседовал с Аллахом, и возвестил о смерти имама.

Какие средства использовал новый пророк, чтобы достигнуть своей цели, не знает никто. По всей вероятности, он преуспел в этом благодаря своим способностям.

Как бы там ни было, спустя восемь дней после смерти Гамзат-бека, Шамиль единогласно был провозглашен имамом. Принимая этот титул, он, естественно, отказался от звания эфенди.

Хаджи-Мурад, который со своим братом и дедом составил заговор против Гамзат-бека, был назначен правителем (наибом) Аварии.

Оставался молодой Булач-хан — пленник Гамзат-бека.

Покойный имам стыдился поднять на него руку, но всем было ясно, что Булач-хан мог с течением времени стать претендентом на Аварское ханство как его единственный законный наследник.

Вот как рассказывают о трагическом конце юного хана. Но повторяем: историю очень часто заменяют легендой, и поэтому мы не в ответе за достоверность рассказа.

Юный Булач-хан был отдан Гамзат-беком под опеку Имама-Али[32], который приходился дядей Гамзат-беку[33].

Не нужно смешивать имя Имам с титулом имам, что значит пророк[34].

---

31 «Шамиль за два дня до убийства предостерегал Гамзат-бека от поездки по случаю предстоящего праздника в мечеть, но Гамзат-бек, будучи фаталистом, отвечал ему: «Не боюсь. Будет то, что написано мне на досках предопределения». Посланному же Шамиля, подавшему ему письмо, он отвечал: «Никто не может остановить ангела, если Аллах пошлет его за душой человека». Это письмо было найдено в кармане убитого имама». («Кавказ и его герои». СПб. 1902, с. 474).

32 У Дюма описка не Имам-Али, а Иман-Али.

33 Это был не дядя, а тесть Гамзата. Иман-Али. См брошюру «Истребление Аварских ханов в 1834 году», с. 34. Статья эта писана со слов горца, бывшего казначеем Гамзат-бека.

Прим Н. Г. Берзенова.

34 Странно, что г-н Дюма не знает одного из основных догматов исламизма. Магомет называет себя последним из пророков, после него никто уже не может выдавать себя за пророка. Имам — слово арабское, значит вовсе не пророк, а глава или владетель какое-нибудь страны, соединяющий в одном лице власть духовную и светскую.

Прим Н. Г. Берзенова.

Шамиль, сделавшись имамом, потребовал выдачи юного хана, а вместе и богатств, оставленных Гамзат-беком. Имам-Али беспрекословно передал ему сокровища, но отказался выдать пленника.

Отказ этот, как говорят, имел под собой почву. У Имама-Али был сын Чобан-бей, который, участвуя в битве, роковой для двух братьев Булач-хана, сам был смертельно ранен. Перед кончиной он раскаялся в содействии злодеянию и заклинал отца, Имама-Али, беречь Булач-хана и возвратить ему Аварское ханство. Имам-Али поклялся исполнить предсмертное желание сына и отказал Шамилю. Он считал себя связанным узами обета с умершим сыном. Но Шамиль, уверяют, велел своим мюридам окружить жилище Имама-Али, угрожая старику отрубить ему голову и истребить все его семейство, если он не выдаст Булач-хана.

И тут Имам-Али отступился.

Шамиль привел юношу на вершину горы, господствующей над Койсу, и там обвинив его в смерти Гамзат-бека, который будто бы был убит по наущению Булач-хана, сбросил его в реку.

Это, говорят, было причиной бегства Хаджи-Мурада, которого мы встретим на нашем пути три или четыре раза, как реальную личность, и один раз, как привидение[35].

Покончив с Булач-ханом, Шамиль сосредоточил в своих руках религиозную власть и светскую[36].

Все это происходило в 1834 году.

Всему миру известно, какого непреклонного и упорного врага обрели русские в этом горском властителе.

Теперь читатели знают Кавказ — народы, которые его населяют, и необычного человека, который управляет ими — а потому завершим это длинное историческое введение, впрочем все же довольно сжатое, если учесть, что оно содержит перечень событий, совершившихся на продолжении пяти тысяч лет; надеемся, что после этого читатели будут следовать за нами с большим интересом и с меньшими трудностями по пути неизменно красочному, но иногда весьма опасному.

Тифлис. 1 декабря, 1858 г.

Глава I
Кизляр

7 ноября 1858 года в два часа пополудни мы прибыли в Кизляр. Это был первый город, встреченный после Астрахани; мы проехали 600 верст по степям, где не нашли никакого пристанища, кроме редких станций и казачьих постов. Иногда нам попадался небольшой караван татар-калмыков или караногайцев, этих кочевников, переходящих с места на место и везущих с собою (чаще всего на четырех верблюдах) все имущество, как правило, состоящее из кибитки и других принадлежностей. Впрочем по мере приближения к Кизляру, особенно, когда мы уже были на расстоянии 7–8 верст от него, картина все больше и больше оживлялась.

Все всадники и пешие, какие только нам попадались, были вооружены. Мы встретили пастуха, который носил кинжал сбоку, ружье за плечами и пистолет за поясом. Конечно,

---

[35] Так и видно, что имеешь дело с автором «Монте-Кристо», «Трех мушкетеров» и проч., который никак уже не может обойтись даже в историческом рассказе по его уверению без духов и привидений. Что делать, специальность!

Прим. Н. Г. Берзенова.

[36] И вот с этого-то времени он начинает быть настоящим имамом.

Прим. Н. Г. Берзенова.

если бы кому-нибудь вздумалось изобразить его на вывеске, тот не решился бы написать: Au bon pasteur[37]. Даже сама одежда жителей теперь уже имела воинственный характер: невинный русский *тулуп*, наивную калмыцкую *дубленку*[38] сменила *черкеска* серого или белого цвета, украшенная по обеим сторонам рядами патронов. Веселый взгляд превратился в подозрительный, и глаза всякого путника принимали грозное выражение, выглядывая из-под черной или серой папахи.

Заметно было, что мы вступали в землю, где каждый опасался повстречать врага и, не рассчитывая на помощь власти, сам думал о собственной безопасности.

И действительно, мы приближались, как выше сказано, к тому самому Кизляру, который, в 1831 году был взят и разграблен Кази-Муллою — учителем Шамиля.

Многие еще вспоминают о потере или родственника, или друга, или дома, или имущества во время этого ужасного происшествия, которое повторяется почти ежедневно, хотя куда в меньшем размере.

Чем более мы приближались к городу, тем несноснее становилась дорога; во Франции, Германии или Англии ее считали бы непроходимой, а экипаж совсем не мог бы по ней передвигаться.

Но *тарантас* проходит везде, а мы в тарантасе.

Мы, которые только что проехали по песчаному морю; мы, вот уже пять дней засыпаемые пылью, мы уже находились в окрестностях города, где наши лошади тонули в грязи по самую грудь, а экипажи по самый кузов.

— Куда везти вас? — спросил *ямщик*[39].

— В лучшую гостиницу.

Ямщик покачал головой.

— В Кизляре, *господин*, — отвечал он, — нет гостиницы.

— А где же останавливаются в Кизляре?

— Надо обратиться к полицмейстеру, и он отведет вам помещение.

Вызвав казака из нашего конвоя, мы дали ему *подорожную*[40] и *открытый лист*[41] для удостоверения нашей личности, приказав отправиться как можно скорее к полицмейстеру и по возвращении ожидать нас с ответом у ворот города. Казак пустился в галоп по извилистой дороге, которая, подобно грязной реке, терялась между заборами. За этими заборами находились виноградники, которые, по-видимому, содержались превосходно.

Мы спросили ямщика о садах. Оказалось, они принадлежали армянам.

Из винограда выделывается знаменитое кизлярское вино.

Вино кизлярское и вино кахетинское, из которых кахетинское, по моему мнению, уступает кизлярскому, потому что, будучи перевозимо в бурдюках, принимает их вкус, — вместе с винами оджалешским в Мингрелии и эриванским, — фактически единственные,

---

[37] У доброго пастыря — (франц).

[38] Многие русские слова («тулуп», «дубленка» и т. д.) Дюма пишет латинскими буквами, в этой книги они набраны курсивом.
Прим А. Дюма.

[39] Форейтор.
Прим. А. Дюма.

[40] Право брать лошадей.
Прим. А. Дюма.

[41] Дословный перевод: открытый белый лист говорящий о праве требовать эскорт.
Прим. А. Дюма.

которые пьют на Кавказе, — в стране, где, судя по численности населения (за исключением мусульманского), употребляют вина, может быть, более, чем где-либо.

В Кизляре гонят превосходную водку, повсеместно известную *кизлярку.*

Вино и водку гонят, в основном, армяне. Вообще на Кавказе и в прилегающих к нему провинциях вся промышленность сосредоточивается в руках армян[42].

В течение пяти предшествующих дней мы не видали ни одного деревца, и нам приятно было вступить в этот оазис, хотя зелени в нем было весьма мало.

Мы оставили зиму в России и встретили осень в Кизляре; нас уверяли, что мы найдем лето в Баку. Времена года следовали совершенно в ином порядке, чем заведено природой.

Проехав около четырех верст по этой отвратительной дороге, мы прибыли наконец к городским воротам. Казак ожидал нас. В ста шагах от ворот полицмейстер отвел нам квартиру. Наш экипаж, сопровождаемый казаком, остановился у ворот квартиры.

Да, мы находились на Востоке, — правда, на северном, но он отличается от южного одними только костюмами: нравы и обычаи были одни и те же.

Муане первый почувствовал это, стукнувшись головой о дверь нашей комнаты; она была, видно, рассчитана на десятилетнего ребенка.

Я вошел первый и с некоторым беспокойством осмотрелся кругом. Почтовые станции, на которых мы останавливались, были мало меблированы; но они все же имели деревянную скамью, деревянный стол да два деревянных стула.

В нашей комнате вместо мебели была одна только гитара на стене. Словно какой-то испанский мечтатель занимал до нас это жилище и, не имея денег, чтобы заплатить за помещение, оставил в вознаграждение хозяину диковинную для него мебель, которую последний, вероятно, хранил для будущего кизлярского музея.

Мы обратились за разъяснением к мальчику лет пятнадцати, для которого, без сомнения, была сделана эта дверь и который стоял перед нами в черкеске, украшенной патронами, и с кинжалом за поясом; но он ограничился лишь пожатием плеч, как-будто желая сказать: «с какой стати это вас так интересует?»

— Гитара висит там потому, что ее туда повесили.

Пришлось удовлетвориться этим довольно туманным объяснением. Тогда мы спросили его, на чем мы будем трапезничать, на чем сидеть и на чем спать.

Он указал на пол и, утомленный нашей назойливостью, удалился вместе со своим братом, мальчиком семи-восьми лет, за поясом которого висел кинжал, длиннее его самого, и который бросал на нас дикие взгляды из-под косматой черной папахи.

Их уход заставил нас побеспокоиться о нашем будущем. Не это ли столь восхваляемое восточное гостеприимство? Вдруг вблизи оно совсем иное, как и почти все в этом мире?

В эту минуту мы заметили нашего казака, стоявшего за дверью, но согнувшегося так, что мы с трудом могли видеть его лицо, которое совершенно было бы от нас закрыто, если бы он держался прямо.

— Что тебе надо, брат? — спросил его Калино[43] с той кротостью, которая свойственна русским, когда они говорят с низшими.

— Я хотел сказать генералу, — отвечал казак, — что полицмейстер сейчас пришлет ему мебель.

— Хорошо, — сказал Калино.

---

[42] Тут Дюма, конечно, ошибался. Впрочем, не следует придавать подобным характеристикам слишком большого значения: Дюма не изучал народы Российской империи, знал о большинстве из них понаслышке. Поэтому понятно, что характеристики, которые он получал от случайных собеседников, могли быть самыми противоречивыми и необыкновенными.

[43] Молодой русский студент, которого ректор Московского университета прикрепил ко мне в качестве переводчика.

Прим А. Дюма.

Казак сделал пируэт на пятках и удалился. Достоинство наше требовало принять эту новость холодно и смотреть на такое внимание полицмейстера только как на следствие исполнения им его прямых обязанностей.

Теперь, любезные читатели, вы, конечно, смотрите вокруг меня и ищете генерала, не правда ли?

Генерал этот — я.

Поясню, как я им стал.

В России все зависит от *чина:* это слово означает степень положения в обществе и, мне кажется, происходит от китайского. Сообразно вашему чину поступают с вами или как с презренной тварью, или как с важным господином.

Внешние признаки чина состоят из галуна, медали, креста и звезды. Носят в России звезду только генералы. Мне сказали перед отъездом из Москвы:

— Странствуя по России, там, где не найдете ни куска хлеба в гостиницах, ни одной лошади на почтовых станциях, ни одного казака в *станицах* , прицепите какой-нибудь знак отличия — или в петлице, или на шее.

Подобная рекомендация мне показалась смешной, но я скоро убедился не только в ее пользе, но и в необходимости. Поэтому я повесил на мой костюм русского ополченца испанскую звезду Карла III, и тогда, действительно, все переменилось: видя меня, спешили не только удовлетворить мои желания, но и даже предупреждать их. Поскольку в России за немногими исключениями одни только генералы могут носить какую-нибудь звезду, то меня величали генералом, не зная даже, какая на мне звезда.

Моя подорожная, составленная совершенно особенным образом, и открытый лист от князя Барятинского, разрешавший брать на всех военных постах приличный конвой, заставили всех тех к кому я обращался, думать, что они имеют дело с военной властью. Правда, меня принимали за французского генерала, но так как русские в общем симпатизируют французам, то все шло чудесно.

На каждой почтовой станции ее начальник, почти всегда урядник, подходя ко мне, вытягивался, подносил руку к своей папахе и говорил: «Господин генерал, на станции все обстоит благополучно», или: «На посту все в порядке». На это я кратко отвечал по-русски: *хорошо* . И казак уходил удовлетворенный.

На всех станциях, где мне давали вооруженный конвой, я приподнимался в тарантасе или привставал в стременах, приветствуя по-русски: *«Здорово ребята!».*

Конвой отвечал хором: *«Здравия желаем, ваше превосходительство!»*

После этого казаки, никогда не требуя вознаграждения и получая с признательностью за сделанные ими двадцать или двадцать пять верст крупным галопом один или два рубля за потраченный ими порох или *водку,* оставляли «мое превосходительство», столь же довольное ими, сколь они оставались довольны «моим превосходительством». Вот почему казак счел нужным доложить генералу, что полицмейстер пришлет мебель.

Действительно, через десять минут на телеге привезли мебель и приказали отвести столько комнат в доме, сколько мы пожелали бы занять. До этого наш молодой хозяин, довольно невежливый как я уже заметил, дал только одну комнату — ту, что с гитарой. При виде же мебели, присланной полицмейстером, и выслушав его приказание, отношение хозяина к нам совершенно переменилось. Меблировка состояла теперь уже из трех скамеек, предназначенных для сна, из трех ковров заменивших тюфяки, из трех стульев, о назначении которых я считаю лишним говорить и из одного стола. Недоставало только поставить что-нибудь на этот стол.

Мы послали нашего молодого татарина купить яиц и курицу, а пока открыли походную кухню и вытащили оттуда сковородку, кастрюлю, тарелки, вилки, ложки и ножики. Чайный прибор состоял из стаканов и одной скатерти, которой каждый из нас вытирал пальцы и губы.

Мы были богаты тремя скатертями и, понятно, не упускали случая их стирать.

Посланец возвратился с яйцами, но без курицы и предложил нам взамен ее то, что

почитают повсюду на Кавказе, — превосходного барана. Я не отказался, тем более, что мне представился случай отведать *шашлыка.*

Еще в Астрахани мы посетили одно армянское семейство; несмотря на бедность, нам предложили стакан кизлярского вина и даже шашлыка. Я нашел вино приятным, а шашлык отменным.

Поскольку я путешествую для собственного удовольствия, то если встречаю хорошее блюдо, тотчас выведываю секрет его изготовления, чтобы обогатить этим кулинарную книгу, которую давно задумал. Я спросил рецепт шашлыка.

Какой-нибудь эгоист хранил бы этот рецепт в тайне, — я же снабжу вас, любезные читатели, и рецептом шашлыка; последуйте ему и будете вечно благодарить меня за подарок.

Возьмите кусок баранины (филейную часть, если сможете достать), нарежьте его на куски величиной с грецкий орех, положите на четверть часа в чашку вместе с луком, уксусом и щедро посыпьте солью и перцем. Через четверть часа приготовьте жаровню.

Маленькие куски баранины наденьте на железный или деревянный вертел и поворачивайте его над жаровней до тех пор, пока мясо изжарится. Вы увидите, что это отличная вещь: по крайней мере ничего лучшего я не едал во время своего путешествия.

Если маленькие куски баранины останутся всю ночь в маринаде, или если вы их надолго сняли с вертела, добавьте к ним еще сумаху[44], и тогда шашлык будет совсем на славу. Но если у вас не хватает времени или нет сумахи, то можно обойтись и без сумахи.

Кстати, если нет и вертела или вы странствуете по стране, где не имеют понятия о вертеле, то этот прибор отлично заменяется ружейным шомполом. На протяжении всего путешествия шомпол карабина постоянно служил мне вместо вертела, и я не заметил, чтобы эта унизительная для шомпола роль повредила достоинству оружия, частью которого он являлся.

В Мингрелии я выучился делать шашлык другим способом, о чем расскажу в соответствующей главе этой книги.

Я принялся жарить шашлык, а Муане и Калино, в ведении которых состояли предметы сервировки, накрывали на стол. В это время от городничего, узнавшего о моем прибытии, принесли свежего масла, двух молодых кур и четыре бутылки старого вина. Я велел поблагодарить городничего и сказал, что нанесу ему визит тотчас после обеда.

Масло и куры были отложены для завтрака на следующий день. Но бутылка старого вина за обедом кончила свое существование: мне нечего ее жалеть, — благословенье неба было с нею.

По окончании обеда я взял Калино с собою в качестве переводчика и, оставив Муане, занятого рисованием портрета с семилетнего парня с его кинжалом, или лучше сказать, кинжала с его семилетним парнем, отважно пустился по болоту, где грязь была по колена. Это была главная улица Кизляра.

Не сделав и десяти шагов, я вдруг почувствовал, что кто-то дернул меня за полу сюртука (я называю так платье, которое я надевал, будучи не в состоянии дать ему более подходящее название).

Я обернулся. Это был наш молодой хозяин, который почему-то сделался чрезвычайно предупредительным. Он заявил на ломаном русском языке с татарским акцентом, что напрасно я вышел без оружия.

Калино перевел.

Действительно, я вышел не вооруженным: было четыре часа дня и очень светло, поэтому мне и в голову не приходило, что я поступил неблагоразумно.

Я хотел идти дальше, не обращая внимания на его предупреждение; но хозяин настаивал с таким упорством, что я, не видя причины, которая потом заставила бы этого

---

[44] Род вечнозеленого кустарника на Кавказе и в бассейне Средиземного моря, встречается сумах уксусный, дубильный и др.

добряка смеяться над нами, уступил его настоянию.

Я возвратился и заткнул себе за пояс хорасанский кинжал длиною в пятнадцать вершков, купленный в Астрахани. Я носил его во время путешествия, но считал излишним делать это в городе. Калино взял большую французскую саблю, доставшуюся ему от отца, который приобрел ее на поле сражения при Монмирале[45]. Не слушая замечаний нашего молодого хозяина, который хотел, чтобы каждый из нас прибавил к этому наряду еще по двуствольному ружью, мы оставили квартиру, сообщив Муане об опасности и посоветовав ему заботиться о сохранении не только вещей, но и самого себя[46].

Глава II
Вечер у кизлярского городничего

Городничий жил на другом конце города, и чтобы добраться до его жилища, надо было пройти через весь Кизляр.

Был базарный день, и мы должны были прокладывать себе путь между телег, лошадей, верблюдов и торговцев. Сначала все шло хорошо: мы пересекли крепостную площадь, над которой господствуют военные укрепления и где можно бы было свободно маневрировать армии из двадцати пяти тысяч человек. Когда же мы вышли на базарную площадь, началась невообразимая толкотня.

Не сделав и пятидесяти шагов посреди этой толпы, вооруженной с ног до головы, как я уже понял, какое неуважение должна была оказывать эта толпа невооруженному человеку.

Оружие на Востоке полезно не только для нашей защиты, но и для предупреждения какого-нибудь нападения. Вооруженный человек даже молча как бы говорит: «Уважай мою жизнь или берегите вашу». И эта угроза не бесполезна в стране, где, как сказал Пушкин, убийство человека не более, чем один жест.

Пройдя базарную площадь, мы вступили на улицы города.

Ничего нет живописнее этих улиц с деревьями, высаженными без симметрии, с их болотами, где крякают гуси и утки, и где верблюды запасаются водою на дорогу. Почти во всех улицах имеется земляной покров, возвышающийся на три или четыре фута над поверхностью земли, он составляет пешеходный тротуар шириною в тридцать или сорок сантиметров. Встречающиеся на тротуаре, если они друзья, могут продолжать шествие, каждый в свою сторону.

Но совсем иное, если это враги: кто-то один должен решиться сойти в грязь.

Вечером эти улицы должны быть (и наверняка бывают) идеальным разбойничьим вертепом, напоминающим не Париж Буало (Париж Буало это безопасное место в сравнении с Кизляром), а Париж Генриха III[47].

---

45 Город во французском департаменте Марны, где 30 января 1814 года Наполеон разбил русский корпус генерала Ф. В. Остен-Сакена.

46 Подобные рассуждения А. Дюма могут показаться фантазией или чрезмерной гиперболой, — дабы позабавить читателя. Однако обратимся к свидетельству другого писатели. «Я положил за правило никуда не ездить в Азии без исправного оружия и не имел причин в том раскаиваться. В России говорят «Не клади плохо, не вводи вора в грех»; за Кавказом надо говорить — «Не езди плохо». В самом деле, готовое оружие и смелый вид производят необыкновенное впечатление на всех горцев… Они вовсе не охотники умирать и решаются на нападение лишь в таком случае, когда число или превосходство оружия ручается им за верный успех… Вот почему оружие необходимо в горах гораздо более, как предупредительное средство против искушения встречных, нежели как средство обороны от разбоя» (А. А. Бестужев-Марлинский. Соч. в 2-х томах, т. 2, М., 1958, с. 183).

47 Генрих III (1551–1589) французский король. При нем Париж превратился в место разбоя. Дюма показал эту эпоху в драме «Генрих III и его двор», в романе «Графиня де Монсоро» и в других произведениях.

Прибыв к городничему, мы дали знать о себе; он вышел навстречу.

Городничий не понимал ни слова по-французски, но благодаря Калино преграда между нами исчезла. В первой же фразе, с которой городничий обратился ко мне, он известил, что жена его, которую мы нашли в третьей комнате, говорит на нашем языке.

Я заметил, что в России и на Кавказе женщины имели большое превосходство над своими мужьями: мужья их почти никогда не говорили по-французски. А если они и знали этот язык, то только в молодости — военные же или административные занятия, которым они предались, заставили их забыть его. Женщины же, имеющие свободное время, которое они чаще (особенно в России) не знают, на что употребить, занимаются чтением наших романов, упражняясь таким образом во французском языке.

Действительно, г-жа Полнобокова[48] говорила по-французски на удивление бегло.

Я принялся извиняться, что представился ей в военном платье, желая подшутить над боязливостью нашего молодого хозяина; но, к моему великому удивлению, моя веселость оказалась совершенно незаразительна. Г-жа Полнобокова осталась серьезной и сказала мне, что хозяин наш был прав совершенно. Видя, что я еще сомневаюсь, она обратилась к своему супругу, который подтвердил все сказанное ею. Поскольку городничий разделял общее мнение о небезопасности ходить без оружия, мне захотелось расспросить его и его супругу поподробнее.

В подробностях недостатка не было.

Совсем накануне на одной из кизлярских улиц было совершено убийство — в девять часов вечера. Правда, оно произошло по ошибке. Тот, который был убит, пострадал за другого, которому предстояла эта участь.

Четверо татар, — татарами именуют всякого местного жителя северной линии Кавказа, а лезгинами на южном берегу Каспийского моря называют любого местного, к какому бы селению горцев он не принадлежал, — четверо татар, скрывшись под мостом, подстерегали богатого армянина, который должен был пройти через этот мост. Но по мосту случайно прошел какой-то бедняк, они его и приняли за богатого купца, убили несчастного, порылись в его карманах и тогда только заметили свою ошибку впрочем, это не помешало им взять у него все деньги (это были копейки). Они бросили тело в канаву, вода которой служит для орошения садов.

Между прочим, сады кизлярских армян снабжают всю Россию вином под разными французскими названиями.

Вот еще приключение.

За несколько месяцев до нашего приезда трое братьев-армян по фамилии Каскольт, возвращаясь с дербентской ярмарки, были взяты в плен вместе с одним из своих спутников по имени Бонжар[49] разбойники не убили их, потому что знали как людей богатых: они увели их в горы, рассчитывая получить большой выкуп. Разбойники сняли с них платье, привязали их к хвостам лошадей и принудили пробежать таким образом пятнадцать верст. Затем они заставили их переплыть холодный Терек. Двое несчастных умерли от воспаления в груди, а третий после своего выкупа за десять тысяч рублей — от чахотки.

Четвертый, не столь богатый, как другие, избавился от гибели, обещав татарам шпионить на них. Он обязался уведомлять их, когда какой-нибудь богатый армянин отправится в путь. Возвратившись же в Кизляр, он, понятно, не сдержал слова, но зато и не осмеливался более выходить из своего дома во избежание мести разбойников, которую он

---

[48] Городничим Кизляра был подполковник Александр Федорович Полнобоков. Почти все сведения в наших примечаниях о русских военнослужащих, упоминаемых в «Кавказе», мы взяли из «Кавказских календарей» на 1859 и 1860 годы, а также из «Актов, собранных Кавказской археографической комиссией» (в основном из 12-го тома, вышедшего в Тифлисе в 1904 г.).

[49] Скорее всего Дюма переиначил на французский лад какие-то реально существующие армянские фамилии. В таком написании они не зарегистрированы.

ежеминутно ожидает.

За год до этого полковник Менден с тремя конвойными казаками был убит на дороге между Хасав-Юртом и Кизляром. Полковник и казаки защищались как львы и убили пять или шесть татар.

Женщины как будто менее подвергаются опасности, нежели мужчины. Так как татары, достигнув гор, должны переходить со своими пленниками Терек в двух местах, то женщины не могут выносить этого погружения в ледяную воду. Из-за этого одна умерла во время переправы, две другие — от воспаления в груди, прежде чем был получен за них выкуп, и семьи их, узнав об их смерти, не сочли нужным вести переговоры насчет выкупа трупов.

Такой оборот дела показался татарам невыгодным и они прекратили похищение женщин. В южной же части Кавказа оно продолжается, как и прежде.

Впрочем, следующая история показывает, что похищение совершается еще и другим образом.

Татарский князь Б… влюбленный в г-жу М… (оба имени записаны в моем альбоме полностью, но не привожу их из скромности[50], я решился бы это сделать, если кто-нибудь захочет оспорить этот факт) — татарский князь Б…, влюбленный в госпожу М…, которая со своей стороны платила ему взаимностью, сговорился с нею ее похитить. Она жила в Кизляре.

В отсутствие мужа она попросила у коменданта лошадей в такое время, когда опасно было исполнить ее просьбу. Поэтому комендант решительно ей отказал.

Г-жа М… настаивала под предлогом болезни ребенка. Тронутый этим знаком материнской нежности, комендант выдает ей подорожную, и г-жа М… уезжает.

Князь Б…, староживший ее на дороге, берет и привозит ее в свой аул — подобный орлиному гнезду, свитому на скале, в нескольких верстах от Пятигорска, — и держит ее у себя три месяца. Муж же ничего не знает о местопребывании своей жены. Через три месяца прекрасный татарский князь (как говорят, в полном смысле красавец) дает знать г-ну М…, что ему известно местопребывание его жены и предлагает себя в посредники для ее выкупа. Г-н М… согласился. Князь через месяц написал, что он устроил дело за три тысячи рублей. Г-н М… послал эту сумму и спустя неделю получил свою жену, радуясь, что так дешево смог ее выкупить.

Но это было гораздо дешевле, чем думал бедный супруг; ибо он выкупил не только свою жену, но впридачу и ребенка, которым она через полгода разрешилась.

Впрочем, татарские князья имеют обыкновение похищать не только чужих жен, но и своих соотечественниц. Чем труднее это сделать, тем более оно дает весу их страсти. После этого они уславливаются о приданом с отцом, который обычно соглашается на все условия, и затем ни во что уже более не вмешивается.

Однако иногда отец упорствует.

Вот пример этого упорства:

Похищение совершается в Кисловодске. Оно произошло в то время, когда кавказский наместник князь Воронцов, надеясь уменьшить убийства, запретил татарским князьям носить оружие.

Отец похищенной девушки не мог сойтись со своим будущим зятем в цене приданого. Он явился к князю с жалобой на похищение и с просьбой о наказании похитителя.

Подобно маркизу де Нанжи[51] проситель пришел с четырьмя своими слугами,

---

[50] Какая дипломатически-хитрая оговорка! И через нас автор без сомнения рассчитывает на легковерие европейской публики. Что касается до нас, то мы видим очень мало кавказского в этих приключениях и сильно подозреваем, что они разыгрались сами собою в досужем воображении знаменитого романиста. Особенно то место где он, заставляет горцев привязывать пленников к хвосту лошади, напоминает новое: «Не любо не слушай, а лгать не мешай».

Прим. Н. Г. Берзенова.

[51] Персонаж драмы В. Гюго «Марион Делорм».

вооруженными с ног до головы. Князь Воронцов велел арестовать его вместе со всеми слугами как нарушителей его приказа. Но в одно мгновение татарин выхватил кинжал и бросился на князя.

Пока князь Воронцов защищался, его телохранители прибежали к нему на помощь. Татарский князь был арестован. А один из его людей был убит на месте. Трое других убегают на гору Бештау и скрываются там в гроте. Их атакуют: они убивают двадцать казаков. Наконец беглецы вынуждены выйти. Одного убили, когда он выходил из грота; другой спасся в конюшне, где кучер, случайно там оказавшийся, прокалывает ему вилами грудь; третий карабкается, как кошка, на балкон гостиницы, убивает двенадцать человек и наконец падает, пробитый пулями, направленными из соседних окон.

Следы пуль его противников и пятна крови виднеются и поныне. Трактирщик горделиво показывает их квартирующим у него путешественникам. Разумеется, он не показывает их тем, кто занимает квартиры у его соседей.

Я мог бы рассказать до двадцати подобных историй и назвать по имени героев, живых или мертвых; но надо отложить это на остальную часть дороги — мы, слава богу, не будем иметь в этом недостатка.

Мы болтали целый час с г-жой Полнобоковой, ножки которой, между прочим, покоились на одном из самых прекрасных персидских ковров, какие я когда-либо видел.

Она пригласила нас вечером к себе на чай, и муж ее предупредил, что на случай опасности он пришлет за нами двух казаков. Мы было хотели отказаться от этой чести.

— В таком случае, — сказал он, — я беру назад приглашение моей жены: я не желаю, чтобы по дороге с вами случилось какое-нибудь несчастье.

Услышав такую угрозу, мы поспешили просить двух казаков.

У ворот мы обнаружили ожидавшие нас дрожки городничего. Только в России оказывают такое замечательное внимание, которое любой путешественник встречает на каждом шагу (это отметил и г-н де Кюстин); но если у путника есть еще и какие-то заслуги, то встречать его будут с ни с чем не сравнимым радушием.

Что касается меня, то я буду беспрестанно вспоминать об этом гостеприимстве и хотя бы подобным способом смогу выразить свою благодарность всем, кто были так любезны ко мне. Прошу также позволения не оставаться у них в долгу.

Дрожки привезли нас домой. Я хотел переменить сапоги, чтобы идти к полицмейстеру[52], но он уже ожидал меня на нашей квартире.

Совершенно сконфуженный, я извинился перед ним и показал ему на свои грязные сапоги.

Впрочем, у меня были в запасе другие; наслышавшись о дорогах, по которым мы должны были проезжать, я купил в Казани сапоги, которые доходили до самой верхней части ноги. (Нисколько не сомневаюсь, что именно в России были сотворены семимильные сапоги Мальчика с пальчик)[53].

Полицмейстер предложил свои услуги. Но мы уже и так злоупотребили его деликатностью: да и нечего было просить у него, оставалось только выразить нашу благодарность.

Четыре или пять бутылок неизвестного мне вина, которые я нашел выставленными в ряд на окне, вновь доказывали его внимание ко мне.

Он обещал увидеться с нами вечером у городничего.

Я рассказал Муане об улице, о которой читатели уже знают. Он взял свой альбом под

---

52 Кого Дюма именовал полицмейстером, неизвестно, но скорее всего кизлярского исправника ротмистра Владимира Павловича Кагадьева или уездного судью Федора Осиповича Трофимовича.

53 Сапоги-скороходы, отобранные Мальчиком с пальчик у Людоеда в сказке Шарля Перро «Мальчик с пальчик».

мышку, а Калино под руку, сунул по моему совету кинжал за пояс и решился выйти из дому.

В Кизляре художник обнаружит много очаровательного и живописного. Вначале поразила наши взоры смесь одежд. Армяне, татары, калмыки, ногайцы, евреи толпятся на его улицах, и все — в своих национальных костюмах.

Население этого города состоит из девяти или десяти тысяч человек. Оно удваивается в дни ярмарок.

В Кизляре торгуют всем (занимаются в том числе и перепродажей родных, — похищенных татарами мужчин, женщин и детей[54]): славным вином, водкой, шелком, производством которого занимаются местные жители, рисом, мареной, кунжутом и шафраном, растущих в окрестностях.

Муане воротился через час: он был по уши в грязи — однако это не помешало ему восхищаться Кизляром. Моя улица привела его в восторг, и он зарисовал ее.

В половине восьмого дрожки городничего были у ворот. Двое слуг с фонарями стояли впереди. Висевшие у них за поясом пистолеты и кинжалы ярко блестели при свете фонарей. Два казака с шашками на боку, с ружьем на коленях приготовились скакать по обеим сторонам экипажа.

Мы сели в дрожки, слуги с фонарями и казаки поскакали галопом, разбрызгивая вокруг себя воду и грязь. Во время езды послышалось несколько ружейных выстрелов.

Мы явились одними из первых гостей. Г-жа Полнобокова хотя и видела нас утром, но еще не знала, что мы за особы; моя подорожная и особенно мой костюм ввели ее в заблуждение; она приняла меня, как и другие, за французского генерала и как гостеприимная хозяйка была так любезна, что более любезной, как мне показалось, быть уже невозможно.

Я ошибся. Теперь, когда она узнала, что я был тот которому, как она уверяла обязана своим лучшим развлечением, она не знала, как благодарить меня за доставляемые ей прекрасные минуты[55].

Приехало еще пять или шесть особ; все они особенно женщины, превосходно говорили по-французски.

Я искал глазами городничего. Г-жа Полнобокова предупредила мой вопрос:

— Не слышали ль вы ехавши сюда ружейные выстрелы?

— Да, — отвечал я, — три выстрела.

— Так и есть: они сделаны со стороны Терека, а коли так, то к этому нужно всегда относиться серьезно. Мой муж теперь вместе с полицмейстером. Я думаю, что в ту сторону послали казаков.

— В таком случае скоро узнаем новости?

— Вероятно, даже сейчас.

Гости, казалось, вовсе не были растревожены ружейными выстрелами: болтали, смеялись, как будто находились в парижском салоне.

Городничий и полицмейстер возвратились и не замедлили вмешаться в разговор: на лицах их не выражалось ни малейшего беспокойства.

Подали чай со множеством армянских вареньев, одно необычнее другого. Некоторые были приготовлены даже из лесных тутовых ягод, другие из дягилей; следовавшие за ними конфеты также имели свой восточный характер. Они были замечательны скорее по

---

[54] О, истина, это ты! А г-н Дюма то и дело твердит о своей исторической добросовестности. Пленнопроданство в Кизляре, на городской площади, явное, составляющее будто бы одну из обычных статей торговли — и когда же? В 1859 году! Да этой клевете даже и в Турции не поверят.

Прим. Н. Г. Берзенова.

[55] Вот оно, авторское-то самолюбие, отзывающееся настоящим французским хвастовством. И заметьте, что эта подробность не имеет ни интереса, ни необходимого отношения к предмету. Она интересна только для одного, — для самого автора и больше ни для кого.

Прим. Н. Г. Берзенова.

приятному запаху, нежели по вкусу.

Слуга, одетый по-черкесски, подошел к городничему и что-то сказал ему на ухо. Тот сделал знак полицмейстеру, и они оба вышли.

Я вопросительно взглянул на г-жу Полнобокову. Но она спросила:

— Угодно вам еще чашку чаю?

— С удовольствием.

Я положил сахару в мой чай, покрыл его облаком сливок[56] и стал пить понемногу, не желая казаться более любопытным, чем другие, глаза же мои постоянно обращались к дверям. Вскоре городничий появился. Он был один.

Поскольку городничий не говорил по-французски, я принужден был подождать, пока г-жа Полнобокова не удовлетворила мое любопытство. Она поняла мое нетерпение, хотя оно, вероятно, казалось ей преувеличенным.

— Итак? — спросил я ее.

— Нашли тело одного человека, простреленное двумя пулями, — отвечала она, — шагах в двухстах от вашего дома, но так как он был дочиста ограблен, нельзя сказать, что это за человек. Без сомнения, это какой-нибудь купец, прибывший в город для продажи товаров и опоздавший выехать. Кстати, сегодня ночью, если оставите свечку в комнате, не забудьте запереть ставни: сквозь стекла очень легко могут послать пулю.

— Какая же польза от того, что выстрелят в меня, если дверь заперта?

— Да ведь стрельнут просто так — из каприза: эти татары странные люди.

— Слышите? — спросил я Муане, который что-то рисовал в альбоме г-жи Полнобоковой.

— Слышите, Муане? — повторил Калино.

— Слышу, — ответил Муане с обычной своей степенностью.

Пока г-жа Полнобокова следила за тем, как Муане рисовал, я написал стихи в ее альбом и уже более не думал об убитом. После пятнадцатидневного пребывания на Кавказе я понял это равнодушие, которое сначала так сильно меня удивляло. В одиннадцать часов все разошлись. Этот вечер был весьма необычен, ведь вот почти уже год, как ни один прием не кончался так поздно.

Передняя походила на военный лагерь: каждый гость имел с собою одного или даже двух слуг, вооруженных донельзя.

Дрожки ожидали у ворот с двумя казаками и двумя фонарями. Мне это стоило три рубля: по одному рублю — кучеру, двум служителям с фонарями и двум казакам; испытав столько душевных волнений и тревог, я нисколько не жалел этих денег.

Мне не нужно было запирать ставни: наш молодой хозяин уже позаботился об этом.

Я лег на скамье, закутался в шубу и положил под голову дорожную корзинку[57] вместо подушки, что делал почти каждый день с тех пор, как оставил Елпатьево[58][59].

Глава III

---

[56] Здесь знаменитый автор, кажется, желает блеснуть во вкусе восточного красноречия.
Прим. Н. Г. Берзенова.

[57] «Корзинка это сумка».
Прим. А. Дюма

[58] Поместье Дмитрия Нарышкина, где я провел 8–10 дней, самых лучших в моей жизни.
Прим. А. Дюма

[59] А. Дюма всегда с благодарностью вспоминал прием, оказанный ему братьями Нарышкиными. Когда в 1865 году он выпустил роман «Князь Море», он посвятил его Д. И. Нарышкину: «На память о совершенно царском приеме, оказанном мне вами в России».

Гавриловичи

Когда вечером ложишься спать на доске, в шубе, заменяющей перину и одеяло, то на другое утро оставляешь свою постель без особого сожаления.

На рассвете я соскочил со своего ложа, помыл лицо и руки в медной лоханке, купленной в Казани для того, чтобы всегда можно было рассчитывать на нее в дороге, — лоханка одна из самых редких в России принадлежностей туалета, — и потом разбудил моих спутников.

Итак, ночь прошла безо всяких приключений.

Нужно было побыстрее позавтракать и ехать как можно скорее; мы должны были прибыть в Щуковую на следующий ночлег; дорога пролегала через одно весьма опасное место. То был дремучий лес, который сужал дорогу, превращая ее в ущелье, а потом шел от нее дальше к горе.

За восемь или десять дней перед нами какой-то офицер, торопясь приехать в Щуковую и не найдя казаков на станции Новоучрежденная, хотел продолжать путь, несмотря на предостережения об опасности. Он был в кибитке — это тип крытой телеги.

Посреди леса, о котором я говорил, он вдруг увидел выскочившего из кустарника чеченца на лошади, бросившегося прямо на него. Офицер взял в руки пистолет и в ту минуту, когда чеченец был не дальше четырех шагов от кибитки, хотел выстрелить, но произошла осечка. Чеченец также был с пистолетом в руке; но вместо того, чтобы выстрелить в офицера, он выстрелил в одну из его лошадей. Лошадь упала с пробитой головой — повозка остановилась. Услышав выстрел, человек десять пеших чеченцев, выскочив из леса, бросились на офицера, который хотя и успел ранить шашкою одного или двух из них, но сразу же был повален, ограблен, скручен и, наконец, привязан за шею к лошадиному хвосту.

Горцы удивительно ловко проделывают такие трюки.

У них всегда готова веревка с петлей: пленника привязывают к лошади, и она пускается в галоп, прежде чем несчастный успеет опомниться и позвать кого-нибудь на помощь.

К счастью для офицера, казаки, которых он не нашел на последней станции, возвращались со станции, находившейся впереди; увидев издали схватку, они тотчас поняли, что случилось неладное, и, пустив во весь дух своих коней, подъехали к кибитке. Узнав от ямщика о случившемся, они бросились вслед за чеченцами.

Пешие разбойники прижались к земле, и казаки их не заметили. Чеченец же на лошади торопил своего коня и бил плетью пленного, который, запутавшись в веревке, замедлял бегство всадника.

Услышав позади себя топот казачьих коней, татарин выхватил кинжал. Офицер думал, что он уже должен проститься с жизнью, но горец перерезал только веревку, которой пленник был привязан к хвосту лошади. Полумертвый офицер упал на траву, а горец на лошади бросился в Терек. Казаки выстрелили ему вслед, но неудачно. С торжествующим криком горец достиг другого берега и оттуда пустил еще пулю, которая раздробила у одного казака руку.

Двое казаков оказали помощь своему товарищу, а остальные занялись офицером. Разбойник волок его по колючему кустарнику, называемому *держи-дерево* [60], поэтому все его тело представляло из себя одну сплошную рану.

Один из казаков дал ему свою лошадь и бурку, и его полуживого привезли в Щуковую.

Г-жа Полнобокова описала место, где случилось это происшествие, и мы обещали ей проехать по этому malo sitio[61], как говорят испанцы, днем — если только удастся.

---

[60] Дословный перевод — «дерево, которое тебя держит».
Прим. А. Дюма.

[61] Дурному месту *(исп.).*

Но отправляться в путь без завтрака не хотелось.

В ту самую минуту, как я велел почистить цыпленка и уже собрался было его жарить, явился полицмейстер с приглашением на завтрак. Завтрак был уже готов, и нам оставалось только перейти через улицу. Я хотел было извиниться, но он признался мне, что его жена, которая накануне хотела быть на вечере у своей сестры, г-жи Полнобоковой, но не решилась отправиться к ней без конвоя, — вспомните, что все казаки были в разъездах по случаю ружейных выстрелов, — желала познакомиться со мною, и что он от ее имени явился пригласить меня.

Калино остался дома, чтобы смотреть за укладкою съестных припасов; у нас было девять бутылок отличного вина и надо было положить их как можно бережнее. Калино с тарантасом и телегой должен был присоединиться к нам у полицмейстера.

Муане и я отправились к полицмейстеру и нашли там двух дам вместо одной. Новая дама была та самая свояченица, которая не хотела упустить случая увидеть автора «Монте-Кристо» и «Мушкетеров» и еще на рассвете прибыла сюда с этим намерением.

Обе дамы говорили по-французски.

Жена полицмейстера была отличная музыкантша; она села за фортепьяно и спела несколько прелестных русских романсов и, между прочим, «Горные вершины» Лермонтова.

Скоро я буду иметь случай говорить об этом великом поэте, русском Альфреде де Мюссе. В то время, когда Лермонтов еще был совершенно не известен во Франции, я напечатал в «Мушкетере» [62] лучшее его произведение «Печорин, или Герой нашего времени».

Калино прибыл с тарантасом и телегой, и мы все тотчас же принялись за завтрак.

Разговор шел, в основном, о татарах.

Хозяйка дома подтвердила все, что было рассказано ее супругом, т. е., как бы ей не было приятно видеть меня, но поскольку ее муж отлучился из-за какой-то перестрелки, то она не осмелилась идти к своей сестре без конвоя. Советы, данные нам накануне г-жой Полнобоковой, были возобновлены с еще большими настояниями: это заставило дам добавить, что они не задерживают нас, так как не хотят, чтобы мы опоздали.

В первую очередь было необходимо проехать засветло лес возле Щуковой. Этот несчастный лес тревожил. И мы начали беспокоиться и скоро простились с прелестными хозяйками, которые проводили нас до самого подъезда.

Сели в тарантас; полицмейстерша смотрела на нас с беспокойством: конвой из шести казаков казался ей недостаточным.

— Вы чем-то встревожены, мадам? — спросил я ее.

— Конечно, — отвечала она. — Разве у вас нет другого оружия, кроме кинжала?

Я поднял полог передней скамейки и показал три двуствольных ружья, два карабина один из них штуцерный, и револьвер.

— Вот это хорошо, — сказала она, — только выезжайте из города с ружьями, чтобы все видели что вы вооружены. Среди этих зевак — действительно, около нас уже составился кружок, — могут быть два или три татарских лазутчика.

Последовав этому дружескому совету, каждый из нас положил по двуствольному ружью на свои колени.

Мы простились с дамами и покинули Кизляр с грозным видом посреди глубокого молчания восьмидесяти или сотни зрителей, собравшихся посмотреть на наш отъезд.

Выбравшись из города, мы положили ружья в более удобные места.

Тот, кто привык к парижской жизни, к безопасности дорог во Франции, едва ли поверит, что мы подвергались опасности, угрожавшей каждому из нас. То, что мы узнали на

---

[62] В 1854–60 годах Дюма издавал еженедельник «Мушкетер» (в последние годы он назывался «Монте-Кристо). В этом еженедельнике он опубликовал много значительных произведений — в том числе и «Кавказ».

протяжении этих двух дней, тревога накануне — все это красноречиво говорило, что мы были, если еще не в неприятельской стране, то по крайней мере похожей на нее[63].

Трудно было справиться с охватившим душу волнением, когда я понял, что скоро смогу убедиться, что я уже нахожусь среди тех, почти невероятных мест, где я столько раз путешествовал по карте, — смогу убедиться, что с левой стороны, в нескольких верстах от меня, Каспийское море, что я проехал по калмыцким и татарским степям, и что река, на берегу которой мы вынуждены были сейчас остановиться, тот самый воспетый Лермонтовым Терек, который, взяв начало у подножья скалы Прометея, несется по земле, где властвовал мифологический царь Дарий.

Мы сделали привал на берегу Терека и стали ожидать парома, который возвращался к нам, переправив караван лошадей, буйволов и верблюдов.

Все речные паромы в России (по крайней мере в той части России, которую мы посетили) содержатся на счет правительства — перевозят на них бесплатно. В этом отношении Россия единственная страна, менее всех других склонная к получению барышей.

Там, где мы переправились, Терек вдвое шире Сены. Мы вышли из тарантаса и поместились на пароме с одним из наших экипажей с нашим конвойным начальником; остальные же казаки берегли другой экипаж, — так велика уверенность в честности тамошних жителей.

В самом деле, во время нашего переезда второй ямщик мог бы ускакать со вторым нашим экипажем, — и *черт знает* , как говорят русские, которые никогда не употребляют слова бог в этом случае, — *черт знает* , где бы мы его настигли.

Мы мерили глубину Терека шестом, — она была в семь или восемь футов. Несмотря на такую глубину, чеченцы переходят реку вплавь со своими пленниками, привязанными к хвосту лошадей; от самих несчастных зависит сумеют ли они удержать голову на поверхности воды.

От такого купания как говорила жена кизлярского губернатора, женщины заболевают насморком[64].

В ожидании нашей телеги и чтобы показать конвойному начальнику превосходство нашего оружия перед азиатским, я пустил из своего карабина (фабрики Девима, одной из лучших[65]) пулю в двух чаек, ловивших рыбу в шестистах шагах от нас. Пуля ударила между ними, в том самом месте, которое я указал заранее. В эту самую минуту Муане подстрелил на лету ржанку, что удивило нашего казака не менее расстояния и верности моего выстрела. Кавказские народы, как и арабы, стреляют хорошо только в неподвижную цель.

Между тем наша телега присоединилась к нам, и мы двинулись дальше по болотистой почве, окруженной Тереком, через который нам опять пришлось переправляться, но на этот раз вброд, одновременно с лошадьми, буйволами и верблюдами.

Переправа вброд — живописная картина, но наша переправа вместе с конвоем и караваном, который хотя и не имел к нам отношения, но переходил болото с нами, была из самых интересных. Все лошади и буйволы вступали в реку довольно охотно, но верблюды, которые имеют отвращение к воде, прежде, чем входили в реку, причиняли большие хлопоты. Крик, или лучше сказать, вой их, казалось, более принадлежал дикому зверю, чем животному, которого поэты назвали «кораблем пустыни», видимо, потому, что ходьба

---

63 В наших «Впечатлениях о путешествии по России» уже сообщал о взятом с нас маленьком обязательстве отправляться в путь лишь в сопровождении надежной охраны, способной на серьезное сопротивление.
Прим А. Дюма

64 Откуда взялся у г. автора губернатор в Кизляре? И что это за насморк, который получают дамы? Не можем сказать, шутит или дело говорит почтенный турист.
Прим. Н. Г. Берзенова.

65 Девим (Devisme) Луи Франсуа (1806–1873) — знаменитый французский оружейный мастер.

верблюда, похожая на покачивание корабля, вызывала у животного морскую болезнь, от которой он выл.

При всем нашем желании переправиться как можно скорее, мы не могли угадать, когда же она кончится.

Наконец — лошади, утоляя на ходу жажду, буйволы, плывя и держа только голову над водой, верблюды с сидящими на них погонщиками, едва касаясь брюхами воды, благодаря длинным ногам, — наконец все животные вышли на другой берег и отправились в путь.

Мы двинулись впереди их. Ничего более не мешало нам до следующей станции. Однако там не могли дать более четырех казаков для конвоя; на посту находилось всего шесть казаков и следовательно только двое могли остаться для его охраны.

Мы еще не были в опасном месте; но уже начиная отсюда, казачьи посты со сторожевой вышкой, служащей им вместо будки, на вершине которой день и ночь стоит часовой, были расположены на расстоянии пяти верст и господствовали над всей дорогой.

Эти часовые имеют при себе связки насмоленной соломы, которые зажигают ночью в случае тревоги. Такой сигнал, видимый на двадцать верст окрест, в одно мгновенье оповещает все соседние посты об угрожающей опасности.

Мы пустились в путь с четырьмя казаками. На всем протяжении дороги мы имели возможность охотиться, не выход я из тарантаса — множество ржанок сидело по обе стороны дороги. Только очень трудно было стрелять в них из-за тряски тарантаса на каменистой дороге.

Когда мы случайно убивали какую-нибудь птицу, один из наших казаков отправлялся искать ее, не слезая с лошади или даже пускаясь в галоп, — видно, что это все были опытные всадники. Потом птицу приносили в кладовую: так мы назвали два багажника нашего тарантаса.

Скоро мы лишились развлечения: погода, с самого утра мрачная, делалась все хуже и хуже; наконец густой туман расстелился по равнине так, что с трудом можно было видеть вокруг себя на расстоянии двадцати пяти шагов.

Такая погода была весьма кстати для разбойников, поэтому казаки еще теснее окружили наши экипажи и попросили вложить пули в охотничьи ружья, заряженные дробью. Мы не заставили их повторить то же самое; в пять минут совет был исполнен, и мы теперь уже могли противостоять двадцати нападающим, сделав по десять выстрелов, не перезаряжая ружья.

Впрочем, на каждой станции дано было приказание казакам и ямщикам (звание, которое они во мне предполагали, являлось гарантией безусловного их повиновения), чтобы они, лишь только заметят бандитов, остановили оба экипажа и поставили их в одну линию, через четыре шага; распряженные лошади должны были стоять в промежутках; таким образом, благодаря неодушевленной и живой баррикадам, мы могли бы отстреливаться, между тем как казаки выполняли бы функцию летучего отряда.

Так как при каждой смене конвоя я заботился о том, чтобы показать казакам верность и доброту нашего оружия, они испытывали к нам доверие, которое мы со своей стороны не всегда питали к ним, особенно когда защитниками нашими были «*гавриловичи* ».

Это слово требует пояснения: так называют донских казаков, которых не нужно смешивать с линейными казаками.

Линейный казак, родившийся в этой местности, постоянно соприкасающийся с неприятелем, с которым он неминуемо должен рано или поздно столкнуться в кровавой схватке, с детства сдружившийся с опасностью, — солдат с двенадцатилетнего возраста живущий только три месяца в году в своей станице, т. е. в своей деревне, а остальное время до пятидесяти лет на поле и под ружьем, — это единственный воин, который сражается как артист и находит удовольствие в опасности.

Из этих линейных казаков, сформированных, как выше было упомянуто, Екатериной и впоследствии слившихся с чеченцами и лезгинами, у которых они похищали женщин, — подобно римлянам, смешавшихся с сабинянами, — выросло племя пылкое, воинственное,

веселое, ловкое, всегда смеющееся, поющее, сражающееся. Рассказывают о невероятной храбрости этих людей.

Впрочем, мы увидим их в деле.

Напротив, донской казак, оторванный от его мирных равнин, перенесенный с берегов величественной и спокойной реки на шумные берега Терека и голые берега Кумы, отнятый от семейства, занимающегося хлебопашеством, привязанный к длинному копью, которое ему служит более помехой, нежели защитой, не умеющий искусно владеть ружьем и управлять конем — донской казак который представляет еще довольно хорошего солдата в поле, самый плохой воин в засадах, рвах, кустах и горах.

Линейные казаки и татарская милиция — превосходное войско для набегов, — вечно смеются над «*гавриловичами* ».

И вот почему.

Однажды донские казаки конвоировали кого-то или что-то. Чеченцы напали на них и обратили конвой в бегство.

Какой-то молодой казак, имевший прекрасного коня, бросив пику, пистолет, шашку, без папахи, в страшном испуге на полном скаку влетел на станционный двор и закричал что есть мочи:

— Заступись за нас, Гаврилович!

После такого страшного напряжения, лишившись чувств, он упал с лошади.

С того времени другие казаки и татарские милиционеры называют донских казаков «Гавриловичами».

Когда горцы выкупают своих товарищей, попавших в руки русских, они дают четырех донских казаков или двух татарских милиционеров за одного чеченца, или черкеса, либо лезгина; но они меняют только линейного казака на одного горца.

Никогда не выкупают горца, раненного пикой: если он ранен пикой, то ergo ранен донским казаком. Зачем выкупать его, если он имел глупость получить рану от такого неприятеля?

По этой же причине не выкупают и человека, раненного сзади. Эта мера объясняется сама собой: человек, раненный сзади, очевидно был ранен, когда убегал.

Итак, наш конвой состоял из «Гавриловичей» — это не утешало, особенно при тумане, который окружал нас со всех сторон.

В таком положении мы проехали с заряженными ружьями верст десять или двенадцать до следующей станции, встретив на пути две укрепленные и обнесенные палисадом деревни — Каргалинскую и Щербаковскую.

Главнейшее оборонительное сооружение этих деревень, ожидающих ежеминутно нападения чеченцев, состоит из широкого рва опоясывающего каждую из них со всех сторон. Забор из колючки заменяет стену и представляет большие трудности при взятии станицы приступом. Помимо этого, каждый дом, который легко может превратиться в крепость, окружен решетчатой стеной на шесть футов вышины: некоторые станичники, кроме того, устраивают еще и небольшую стену с бойницами. У ворот станицы, где стоит часовой, насыпан курган, откуда можно наблюдать днем и ночью на посту. Их сменяют каждые два часа. Ружья их всегда заряжены, лошади оседланы.

Каждый мужчина в этих станицах, с 12-ти до 50-летнего возраста, уже солдат. Он сам создает себе ореол, легенду о себе — кровавую, убийственную, страшную, могущую соперничать с теми, которые так поэтически рассказывал Купер.

Мы прибыли на станцию Сухой пост. Тут нас ожидало великолепное зрелище.

Солнце, некоторое время боровшееся с туманом, наконец пронзило его своими лучами. Широкие полосы тумана делались все более и более прозрачными, и сквозь них мы начали различать неподвижные силуэты. Только были ли это горы или облака, — мы еще несколько минут не понимали. Наконец солнце взяло свое, остаток тумана рассеялся клочками, и вся величественная горная линия Кавказа от Шат-Абруза до Эльбруса развернулась перед нами.

Казбек, поэтический эшафот Прометея, возвышался посредине своей снежной

вершиной.

Мы остановились на минуту в изумлении перед блестящей панорамой. Это не походило ни на Альпы, ни на Пиренеи, это было вовсе не то, что мы когда-то видали, что приходило на память и что представляло нам наше воображение. Это был Кавказ — театр, где первый драматический поэт древности поставил свою первую драму, героем которой был Титан, а актерами — боги.

Как я сожалел о моем томике Эсхила. Я бы снова прочел о моем Прометее от первого до последнего стиха.

Понятно, почему греки заставили мир сойти с этих великолепных вершин.

Вот преимущество стран с богатой историей перед странами неизвестными: Кавказ есть история богов и людей.

Гималаи же и Чимборасо не что иное, как только две горы, одна в двадцать семь тысяч футов вышины, а другая в двадцать пять тысяч. Самый высокий пункт Кавказа имеет только шестнадцать тысяч футов, но он послужил пьедесталом Эсхилу.

Я не мог упросить Муане срисовать то, что он видел. Как изобразить посредством карандаша и листа бумаги одно из самых величественных творений Создателя?

Впрочем, Муане сделал такую попытку, а всякая попытка — первое доказательство божественного свойства человеческого гения. Успех — последнее.

Глава IV
Русские офицеры на Кавказе

Когда лошади были запряжены и рисунок завершен, мы тронулись в путь. Мы не интересовались более ни чеченцами, ни черкесами; если бы нам даже не дали конвоя, то, вероятно, мы не заметили б этого, так мы были поражены величественным видом Кавказа.

Солнце словно гордилось победой над туманом и блистало во всем великолепии. Это была не осень, как в Кизляре: это было лето во всем его блеске, со всей его теплотой.

Орлы описывали необозримые круги в поднебесье. Их крылья не двигались, будто застыли. Двое поднялись с равнины и сели за версту от нас на дерево, где нынешней весной они свили себе гнездо.

Мы ехали по узкой и грязной дороге с огромными болотами по обеим сторонам; эти болота были населены всевозможными птицами. Пеликаны, стрепеты, бакланы, дикие утки — каждый вид имел там представителей. Опасность для человека была причиной безопасности животных в этих пустынных местах, населенных только пожирателями человеческого мяса; охотник подвергается опасности сделаться дичью, когда охотится за другими животными.

Все путники, которых мы встречали на дороге, были вооружены с головы до ног. Богатый татарин, который ездил осматривать свои стада с сыном, пятнадцатилетним мальчиком, и четырьмя нукерами, походил на средневекового феодала со свитой.

Пешеходы были редки. Все они имели при себе кинжал, пистолет за поясом и ружье на перевязи через плечо. Каждый смотрел на нас тем гордым взглядом, который придает человеку сознание храбрости. Какая разница между этими суровыми татарами и смиренными крестьянами, которых мы встречали от Твери до Астрахани!

На какой-то станции Калино поднял плеть на замешкавшегося ямщика.

— Берегись, — сказал тот, схватившись за кинжал, — ведь ты не в России!

Российский же мужик получил бы несколько ударов плетью и не осмелился бы даже голоса подать.

Эта уверенность или лучше сказать, эта гордость независимого человека очень ободряла нас. Благодаря этому нам стало легче двигаться навстречу опасности, наше сердце получило больше решимости противостоять ей.

Опасность порождает странные чувства: сначала ее боятся, потом презирают, а после желают ее и когда она удаляется от вас, после того, как вы были уже лицом к лицу с нею, то

будто вы расстаетесь со строгим другом, который советовал вам быть осторожнее.

Я подозреваю, что храбрость есть дело привычки.

На станции Новоучрежденной, т. е. на той, которая предшествовала опасному месту, нас могли снабдить только пятью казаками. Начальник после признался, что этого явно недостаточно, и предложил подождать возвращения других казаков. Я спросил его, не отправимся ли мы ночью, если дождемся их возвращения. Он отвечал отрицательно, добавив, что в таком случае мы бы заночевали на посту и поехали бы на следующий день утром в сопровождении пятнадцати или двадцати человек.

— Будут ли ваши пять человек хорошо драться в случае нападения? — спросил я начальника поста.

— Я отвечаю за них: эти люди раза по три в неделю имеют стычки с горцами; ни один из них не струсит.

— Значит, всех нас будет восемь, — больше и не нужно.

Я повторил своим спутникам наставления относительно экипажей, если на нас нападут, и сообщил план обороны.

Мы поехали крупной рысью.

Солнце быстро спускалось к горизонту. Кавказ был чудно освещен; Сальватор Роза[66] при всей своей гениальности не достиг бы того волшебного сочетания цветов, какое прощальные лучи солнца запечатлели на исполинской цепи гор. Основание гор было темно-голубого цвета, вершины — розовыми, средняя же часть переходила постепенно через все оттенки — от фиолетового до лилового.

Небо имело золотистый цвет.

Ни перо, ни кисть не могут уследить за стремительным изменением света. В то время, как взор падает на предмет, который вы хотите изобразить на бумаге, цвет этого предмета уже изменился.

На расстоянии трех четырех верст впереди нас мы заметили темные полосы леса, через который нам предстояло проехать. По ту сторону леса проходило две дороги. Одна, идущая на Моздок и Владикавказ, пересекает Кавказ и потом, следуя по Дарьяльскому ущелью, приводит в Тифлис. Это почтовый тракт, и хотя он опасен, но все-таки не в такой степени, чтобы опасность прерывала сообщение. Другая дорога, пересекающая часть Дагестана, проходит в двадцати верстах от резиденции Шамиля, соседствует с расположением непокорных племен, а потому и почтовое сообщение тут прервано на расстоянии 60 или 80 верст.

Вот по этой-то самой дороге я и решился ехать, дав себе слово уже по приезде в Тифлис съездить оттуда посмотреть на Дарьяльское ущелье и Терек. Дорога привела меня в столицу Грузии через Темир-Хан-Шуру, Дербент, Баку и Шемаху, т. е. через те самые места, по которым, как правило, никто не ездит из-за трудностей и, особенно, опасностей.

И действительно, на этом пути все грозит опасностью. Нельзя сказать, что неприятель вот здесь или там: он пребывает везде. Чаща леса, овраг, скала — все это неприятели; неприятель не находится в таком-то или ином месте, — самое место есть уже неприятель. И поэтому каждый пункт имеет характерное название: «Лес крови» — «Ров воров», — «Скала убийства».

Правда, эти опасности значительно уменьшались для нас благодаря открытому листу от князя Барятинского, по которому мы могли требовать столько конвойных людей, сколько обстоятельства делали это необходимым.

К несчастью, как я смог отметить, это позволение часто было нереальным: конвоя из двадцати человек действительно было бы достаточно; но откуда взять двадцать человек, когда на посту положено иметь всего только семь?

Мы быстро приближались к лесу. Казаки вытащили из чехлов ружья и пистолеты,

---

66 Сальватор Роза (1615–1673) — итальянский художник, поэт, музыкант.

осмотрели заряды и советовали нам принять те же предосторожности.

Наступили сумерки.

Едва мы въехали в лесную чащобу, как откуда ни возьмись появились куропатки: они сидели примерно в двадцати пяти метрах от нас. Инстинкт охотника взыграл во мне: я вытащил пули из моей винтовки системы Лефоше[67] и вставил два свинцовых патрона.

Остановив экипаж, я соскочил на землю.

Муане и Калино поднялись в тарантасе и приготовились прикрывать мое отступление, если бы в их помощи возникла необходимость. Оба они держали ружья, заряженные пулями.

Два казака с винтовками наперевес шли один справа, а другой слева от меня. Едва я сделал десять шагов, как поднялась прямо из-под ног куропатка, она оторвалась от стаи и села так, что мне было удобно в нее стрелять. После второго выстрела она упала и была присоединена к ржанкам, хранившимся в тарантасе. Затем я медленно поднялся в экипаж, и мы поехали быстрой рысью.

— По крайней мере теперь, — сказал один из казаков, — татары уже предупреждены о нас.

Татары были где-то в другом месте. Мы совершили опасный переход через лес, и хотя день сменился сумерками, а сумерки ночью, но мы здоровые и невредимые прибыли в Щуковую.

Казак, которого мы посылали к начальнику поста с просьбой отвести нам квартиру, прибыл туда ранее нас десятью минутами. Щуковая — военный пост, и потому следовало нам обратиться не к полицмейстеру, как в Кизляре, а к командиру.

Аванпосты оберегали селения, и хотя там был целый батальон, т. е. около тысячи человек, но понятно было, что здесь предпринимаются те же самые меры предосторожности, как и во всех казачьих станицах.

Нам отвели две комнаты, уже занятые двумя молодыми русскими офицерами. Один возвращался из Москвы, где он был в отпуску у своих родителей, — другой, поручик Нижегородского драгунского полка, прибывший из Чир-Юрта покупать лошадей для полка, ожидал солдат, отправившихся в окрестности за овсом.

Молодой отпускник очень торопился в Дербент. Не имея права на конвой, он, если б отправился один, не сделал бы и двадцати верст без того, чтобы не погибнуть. Поэтому он с нетерпением ожидал так называемой оказии.

Оказия есть соединение большого числа путников, едущих в одно и то же место в сопровождении достаточного конвоя, назначаемого местным военным начальником для такого каравана. Конвой состоит обычно из ста пятидесяти пехотинцев и из двадцати пяти кавалеристов. Среди отправляющихся в путь почти всегда бывает несколько пешеходов, и потому оказия движется очень медленно. Самые большие переходы — пять или шесть миль в день.

Молодой офицер должен был ехать от Щуковой до Баку почти пятнадцать дней. Он был в отчаянии тем более, что отпуск его давно уже кончился.

Наш приезд был для него истинным подарком судьбы. Теперь он воспользуется нашим конвоем и заставит свою кибитку тащиться между нашим тарантасом и нашей телегой.

Что же касается другого офицера, то и он был нам рад, тем более, что уже отведал вдоволь кизлярского вина, а это вино, как говорят, одно из тех, которые в высшей степени развивают филантропические чувства. Если бы можно было напоить весь свет кизлярским вином, то все люди вдруг сделались бы братьями.

Кавказ имеет такое же влияние на русских офицеров, как Атлас[68] на наших африканских офицеров: уединение способствует праздности, праздность скуке, а скука

---

67 Лефоше Казимир (1802–1852) — парижский оружейник, создавший свою модель огнестрельного оружия.

68 Атласские горы на Северо-Западе Африки (в пределах Марокко, Алжира и Туниса).

пьянству.

Что остается делать несчастному офицеру без общества, без женщин, без книг, на посту с двадцатью пятью казаками? Пьянствовать.

Только имеющие слишком богатое воображение сопровождают это занятие, неизменно состоящее в том, чтобы переливать вино или водку из бутылки в стакан и из стакана в глотку, какими-то более или менее живописными дополнениями.

Во время путешествия мы познакомились с капитаном и со старшим хирургом, которые развили перед нами самую обширную и оригинальную программу своих фантазий, связанных с пьянством.

Каждый офицер имеет в распоряжении солдата, этот солдат называется *денщиком.* Наш капитан, окончив утром служебные дела, ложился на походную постель и звал денщика. Фамилия денщика Брызгалов.

— Брызгалов, — говорил он ему, — ты знаешь, что мы сейчас поедем?

Денщик, который уже изучил свою роль, отвечал:

— Знаю, господин капитан.

— Ну, брат, так как нельзя ехать не закусив, то поедим сухарей да выпьем по чарке, а потом ступай за лошадьми и вели запрягать.

— Слушаюсь, господин капитан, — отвечал Брызгалов и приносил хлеба и сыру с бутылкой водки. Капитан, слишком добрый, чтобы одному воспользоваться божьими дарами, всегда угощал Брызгалова сухарем и стаканом водки, а сам выпивал два стакана, после чего говорил:

— Теперь, я думаю, уже время идти за лошадьми; не забудь, брат, что нам предстоит длинный путь.

— Как бы дорога ни была длинна, она будет мне приятна, если вы, господин капитан, возьмете и меня с собою, — отвечал любезный денщик.

— Вместе поедем, брат, вместе; разве люди не братья? Оставь мне водку и стакан, чтобы я не слишком скучал в ожидании тебя, и иди за лошадьми. Ступай, Брызгалов, ступай.

Брызгалов выходил, а капитан выпивал еще стакан или два. Потом денщик возвращался держа в руке колокольчик, который привязывают к дуге[69].

— Вот и лошади, господин капитан, — говорил он.

— Хорошо; вели запрягать и торопи ямщиков.

— Чтобы не скучать, пока они закладывают, выпейте, господин капитан, еще стаканчик.

— Ты прав, Брызгалов. Только я не люблю пить один: так пьяницы делают. Возьми, брат, стакан и пей.

— Эй, вы, запрягайте, запрягайте!

Когда стаканы опорожнялись, Брызгалов говорил:

— Все готово, господин капитан.

— Ну, так поедем.

И капитан лежит на своей постеле, Брызгалов садится около его ног звеня колокольчиком, будто оба мчатся на тройке. Капитан засыпает. Проходит полчаса.

— Господин капитан, — говорит Брызгалов, — мы прибыли на станцию.

— Гм, что? — отзывается капитан, просыпаясь.

— Я говорю, что мы прибыли на станцию.

— А, если так, то надо еще выпить чарку.

— Выпейте, господин капитан.

И оба спутника, братски чокаясь, вновь опустошают свои стаканы.

— Едем далее, едем, — говорил капитан, — надо поспешать.

---

69 Название деревянного круга, который носит над загривком средняя лошадь тройки. *Прим. А. Дюма.*

— Едем, — говорил Брызгалов.

Таким образом они приезжали на вторую станцию, где пили так же, как и на первой. На четвертой станции бутылка была уже пуста. Брызгалов приносил другую.

На последней станции капитан и денщик лежали рядом мертвецки пьяные. Путешествие возобновлялось на другой день. Старший хирург поступал иначе.

Он занимал дом, выстроенный по-восточному, с нишами в стене. В семь часов утра он оставлял свое жилище и отправлялся в госпиталь. Визит его был более или менее продолжителен, смотря по числу больных; потом он возвращался.

Во время своего отсутствия, он приучил денщика ставить по два стакана пуншу в каждой нише. Вот он начинал прохаживаться по своей комнате.

— Гм! — говорил он, останавливаясь перед первой нишей и как будто бы разговаривая с соседом. — Как ветрено сегодня утром!

— Дьявольский ветер, — отвечал он сам себе.

— Для здоровья очень вредно выходить натощак при таком ветре.

— Правда ваша; не хотите ли выпить чего-нибудь?

— Я охотно выпил бы стакан пуншу.

— Признаюсь, и я также. Кащенко, два стакана пуншу!

— Извольте, сударь.

И доктор, который сам себе задавал вопросы и отвечал на них, соответственно менял интонации голоса, брал по стакану пуншу в каждую руку и, пожелав себе всевозможного благополучия, выпивал оба стакана.

У второй ниши тема разговора менялась, но результат был тот же самый.

Возле последней ниши он выпивал двадцатый стакан пунша. К счастью, она, эта ниша, была у самой его постели.

Доктор ложился довольный, что посетил всех пациентов.

Мы познакомились в Темир-Хан-Шуре с батальонным командиром. В кампанию 1853 г. он имел дело в основном с турками и питал к ним страшную ненависть за пулю, которую они пустили ему в бок, и за сабельный удар в лицо.

Это был превосходный человек, храбрый до безрассудства, но дикий, предпочитавший уединение, не общавшийся ни с кем из своих сослуживцев. Он жил в маленьком доме, отдельно от других и вне города в обществе собаки и кошки. Собаке он дал кличку «Русский», а кошке — «Турок».

Первая была злая собачонка с белыми и черными пятнами на трех ногах, — четвертую она держала постоянно приподнятой; одно ее ухо отвисло, а другое стояло вертикально словно громоотвод. Кошка же была серого цвета и неопределенной породы.

До конца обеда «Турок» и «Русский» бывали в самых дружеских отношениях; один ел по правую сторону, а другой по левую от хозяина.

Но после обеда, закуривая трубку, он брал «Турка» и «Русского» за загривок и садился на стул, приготовленный ему денщиком у дверей.

Храбрый офицер говорил кошке:

— Ты знаешь, что ты «Турок»?

А собаке:

— Тебе ведомо, что ты «Русский»?

И обеим вместе:

— Вы знаете, что вы враги и что вы должны задать друг другу жару?

Предупредив их таким образом, он тер их морды одну о другую до тех пор, пока, несмотря на всю их дружбу, собака и кошка не приходили в остервенение. Тогда начиналась потасовка, о которой говорил батальонный командир. Сражение продолжалось, пока один противник не уступал поля другому. Почти всегда кончалось тем, что «Русский», т. е. собачонка, брала верх.

Когда мы имели честь познакомиться с батальонным командиром и с его кошкой и собакой, — «Турок» был уже без носа, а «Русский» совсем кривой.

С сожалением думаю, как пойдет жизнь этого храброго офицера, если он будет иметь несчастье, впрочем неизбежное, лишиться когда-нибудь «Русского» или «Турка». Вероятно, он застрелится, если только не начнет «делать визитов», подобно вышеупомянутому доктору или «путешествовать», как капитан.

Что касается простых казаков, то у них два любимых животных — петух и козел. Каждый эскадрон имеет своего козла, каждый казачий пост — своего петуха.

Козел приносит двойную пользу: запах его прогоняет в конюшне всех вредных гадин — скорпионов, фаланг, тысяченожек. Это — польза положительная, материальная. А вот польза и в поэтическом отношении: он удаляет всех тех домовых, которые ночью входят в конюшни, заплетают гривы у лошадей, вырывают у них волосы из хвоста, ползают по их спине и заставляют их с полуночи до рассвета скакать во сне, хотя они и не двигаются с места.

Козел это эскадронный начальник — он сознает свое достоинство. Если конь начинает пить или есть прежде его, он бьет дерзкого своими рогами, и лошадь, которая знает свою вину, не пытается даже защищаться.

Говоря о петухе, то он, так же, как и козел, полезен и в материальном и в поэтическом отношениях. Материальное назначение его состоит в том, чтобы возвещать время. Донской или линейный казак редко имеет карманные часы и еще реже настенные.

Мы были свидетелями радости всего казачьего поста, когда петух, потерявший было голос, снова начал петь. Казаки собрались на совет и стали обсуждать причины этого события. Более смышленый из них сказал: «Может быть, он перестал петь потому, что скучает без кур?»

На другой день, на рассвете, все казаки отправились искать кур, и мародеры принесли трех. Не успели спустить кур на землю, как петух запел. Это доказывает, что не всегда нужно торопиться рубить голову петуху, если он перестал петь.

Глава V
Абрек

По прибытии в Щуковую я прежде всего позаботился сообщить о своем приезде полковнику — командиру поста.

Щуковая по части грязи достойная соперница Кизляра.

Я возвратился, чтобы похлопотать об обеде. Но дело было сделано. Один из наших попутчиков-офицеров, тот, который возвращался в Дербент, привез слугу-армянина, весьма искусного в приготовлении шашлыка. Он накормил нас шашлыком не только из баранины, но и из ржанок и куропаток. О вине нечего было и хлопотать, — мы привезли с собою девять бутылок. К тому же, блаженное состояние, в котором находился наш молодой поручик, доказывало, что и до нас в Щуковой не было недостатка в вине.

К концу обеда вошел полковник — это был его ответный визит.

Прежде всего мы спросили его о дороге. На расстоянии ста пятидесяти верст почтовое сообщение прервано, ибо ни один станционный смотритель не хочет, чтобы каждую ночь воровали у него лошадей и чтобы самому лишиться головы.

Полковник уверял, что местные ямщики возьмутся отвезти нас за восемнадцать или двадцать рублей, и обещал прислать их к нам сегодня же, чтобы договориться с ними об условиях.

Наш дербентский офицер укрепил нас в этой надежде: он уже начал вести переговоры о трех лошадях для своей кибитки и условился за двенадцать рублей.

Действительно, через четверть часа после ухода полковника, показались два ямщика, с которыми мы и уговорились за восемнадцать рублей, что составляет семьдесят два франка. Для переезда в тридцать миль это была очень порядочная цена, тем более порядочная, что благодаря нашему конвою, с которым ямщики могли возвратиться, их лошадям не угрожало никакой опасности.

Положившись на данное двумя щуковцами слово, мы разлеглись на скамейках и заснули так сладко, как будто бы лежали на самых мягких перинах.

Проснувшись, мы велели сказать ямщикам, чтобы те привели лошадей. Но вместо лошадей заявились сами ямщики. Эти честные люди передумали: они не соглашались уже за восемнадцать рублей, а просили двадцать, т. е. сто франков. Они ссылались на то, что ночью был сильный мороз.

Ничего так не раздражает меня, как неискусное жульничество, а это был форменный грабеж средь бела дня. Не задумываясь о будущем, я начал с того, что выгнал ямщиков, сопровождая это русским выражением, которое освоил для экстренных случаев и, смею сказать, вследствие частых упражнений, выучился произносить весьма отчетливо.

— Что же нам теперь делать? — спросил Муане, когда те ушли.

— Мы сейчас отправимся смотреть прелестную вещь, которую нам не пришлось бы видеть, если бы мы не имели дела с двумя проходимцами.

— Что же это такое?

— Помните, друг мой, «Десятичасовой отпуск» нашего друга Жиро?[70]

— Помню.

— Так вот: есть на Кавказе премиленькая казацкая деревня, которая славится вежливостью и другими добрыми качествами жителей, но особенно красотой женщин, и поэтому нет ни одного офицера на Кавказе, который бы не попросил у своего начальника, по крайней мере раз в жизни, дозволения съездить туда на некоторое время.

— Не та ли это деревня, о которой нам говорил Д'Андре[71] и советовал посетить ее проездом?

— Та самая, а мы проезжаем, не повидав ее.

— Как он называл ее?

— Червленная.

— А далеко ли она отсюда?

— Вот здесь, под носом.

— Нет, в самом деле?

— В тридцати пяти верстах отсюда.

— Э, э! Почти девять миль.

— Девять миль туда, девять миль обратно — всего восемнадцать.

— Как же мы туда поедем?

— Верхом.

— Прекрасно! Но у нас нет лошадей?

— Верховых лошадей здесь сколько угодно. Калино, объясните офицеру, приехавшему за подкреплением и провизией, что мы желаем съездить в Червленную, и вы увидите, что он отдаст в наше распоряжение все, что у него имеется.

Калино передал нашу просьбу поручику.

— Можно, — отвечал Калино, — но он ставит условие.

— Какое?

— Взять и его с собою.

— Я и сам хотел его пригласить.

— А лошади под экипажи на завтрашний день? — сказал Муане как человек предусмотрительный.

---

70 Жиро Пьер-Франсуа-Эжен (1806–1881) — французский гравер и живописец, приятель Дюма.

71 Речь идет, вероятно, о бароне Д'Андре, который в течение многих лет был секретарем французского посольства в Петербурге. Дюма получил от него подробную информацию о России. В Государственном историческом архиве Груз. ССР мы обнаружили упоминания еще об одном Д'Андре (ф. 4, оп. 7, ед. хр. 996) — «Дело об определении дворянина Эмиля Д'Андре на службу в Эриванской губернии» (нач. 27.10.1849 г., зак. 30.9.1855). Где служил Э. Д'Андре в 1858–59 гг. и встречался ли с А. Дюма, неизвестно.

— До завтра наши ямщики еще подумают.
— Завтра они запросят тридцать рублей.
— Быть может.
— Итак?
— Итак мы будем иметь лошадей даром.
— Забавно.
— Вы можете наперед держать со мною пари.
— Едем в Червленную!
— Возьмите свой ящик с акварелью.
— А это зачем?
— Затем, что вам придется рисовать портрет.
— Кого?
— Прекрасной Авдотьи Догадихи.
— Откуда вы знаете об ее существовании?
— Я слыхивал о ней еще в Париже.
— Хорошо, прихвачу ящик с акварелью.
— Но это не помешает нам заодно взять и по двуствольному ружью. Калино, друг мой, потребуйте дюжину конвойных казаков.

Через полчаса пять лошадей были оседланы и дюжина казаков готовы.

— А теперь скажите, — обратился я к нашему поручику, — есть здесь, кроме начальника поста, и полковой командир?
— Да.
— Как его имя?
— Полковник Шатилов[72].
— Где он?
— В десяти шагах отсюда.
— Милый Калино, будьте добры, отнесите мою визитную карточку полковнику Шатилову и скажите его денщику, что по возвращении из Червленной я буду иметь честь нанести ему визит — нынче вечером, или завтра утром, если приеду сегодня слишком поздно.

Калино возвратился.

— Ну, как, нашли?
— Нет, он еще в постеле: вчера с женою пировал на свадьбе до трех часов утра. Его же малолетний сын уже встал и, когда услыхал ваше имя, произнес: «О, я знаю господина Дюма, он написал «Монте-Кристо»!
— Прелестное дитя! Эти несколько слов дадут нам завтра шестерку лошадей. Вы понимаете, Муане?
— Дай-то бог! — отвечал он.
— Бог даст, будьте спокойны. Ведь знаете мой девиз: Deus dadit, Deus dabit[73]. На коней!

Через полтора часа мы прибыли в Щедринскую крепость, где остановились, чтобы дать отдохнуть лошадям и переменить конвой.

Мы еще раз встретились с нашим другом Тереком. Прекрасная казачка, которую он принес старому Каспию в дар и которую Каспий принял с такой благодарностью, без сомнения была родом из Червленной.

---

72 Командир Белостокского пехотного полка полковник Павел Николаевич Шатилов (1822–1887), которого Дюма в некоторых случаях именует Шатиловым и Шатиковым. Чтобы каждый раз не оговариваться, в дальнейшем будем именовать полковника Шатиловым.

73 Бог дал — бог даст еще *(лат.).*

Возможно, я говорю с моими читателями языком почти непонятным, что вовсе не в моем нраве. Поспешу выразиться яснее.

Вы знаете о Лермонтове, любезные читатели? После Пушкина он первый поэт России. Его сослали на Кавказ за стихи, писанные им на смерть Пушкина, убитого на дуэли. Лермонтов и сам погиб здесь на поединке. Когда вышли первые его стихотворения, санкт-петербургский комендант Мартынов вызвал его к себе.

— Говорят, вы написали стихи? — спросил он строго.

Лермонтов признался в «преступлении».

— Милостивый государь, — произнес комендант, — неприлично дворянину и притом гвардейскому офицеру — сочинять стихи. Для этого ремесла есть люди, называемые авторами. Вы отправитесь на год на Кавказ.

Но он находился там пять или шесть лет, написал много прекрасных стихотворений, одно из них «Дары Терека».

До Червленной еще 21 верста, мы едем берегом Терека. Никакой аккомпанемент не соответствует поэтическому размеру стихотворения лучше, чем шум реки. Я прочту «Дары Терека», стремясь сохранить в переводе оригинальность подлинника. Этот перевод сделан мною накануне: я держал его в памяти и ехал, повторяя стихи — не отвлекаясь ни на дорогу, по которой мы следовали, ни на живописные пейзажи, ни на мой конвой, который, разделившись на три партии, составлял авангард, арьергард и центр[74].

С нами было, как я уже говорил, всего двенадцать человек; двое ехали впереди, двое позади и остальные со мной.

Мелкий кустарник, высотой в три фута, посреди которого в разных местах возвышались деревья разной породы, простирался по обеим сторонам дороги, с правой — на неопределенное пространство, а с левой — до Терека. Моя лошадь, которая почему-то стремилась больше в левую сторону, подняла в пятнадцати шагах от дороги стаю куропаток. Я невольно взялся за ружье и прицелился было, но вспомнил, что оно заряжено пулями и поэтому бесполезно было бы стрелять. Куропатки спустились в пятидесяти шагах на дерево. Приманка была не шуточная; я заменил пули дробью № 6 и спрыгнул с коня.

— Подождите меня, — сказал Муане, тоже слезая с лошади.

— Разве вы зарядили дробью?

— Да.

— Пойдем на расстоянии пятьдесят шагов один от другого и обойдем эту стаю.

— Знаете, в чем дело? — сказал Калино.

— В чем? — спросил я, оборачиваясь к нему.

— Начальник нашего конвоя говорит, что вы поступаете неблагоразумно.

— Да ведь куропатки почти в пятидесяти шагах: ведь они не дикие и едва ли тронутся с места на всякий случай, пусть пять или шесть казаков следуют за нами.

Четыре казака пошли с нами, а авангарду было приказано остановиться, арьергарду же поспешить присоединиться к нам. Мы поехали по тому направлению, где были куропатки, другие — по направлению Терека.

Куропатки находились в двадцати шагах от меня. Одна из них была сбита первым же выстрелом, но увидев, что она ранена лишь в ногу, я выстрелил вновь.

— Заметили ль вы, где она упала? — закричал я Муане. — Я стрелял на авось, знаю, что она где-то упала, вот и все.

— Погодите, я взгляну, — сказал Муане.

Едва он произнес эти слова, как в ста шагах послышался ружейный выстрел. В ту минуту когда я заметил дымок, мимо меня просвистела пуля и продолжая свой путь, скосила верхушки кустарника в котором мы завязли по пояс.

Сопровождавшие нас казаки двинулись вперед, чтобы прикрыть нас. Один рухнул

---

74 Далее следует стихотворение М. Ю. Лермонтова «Дары Терека» в переводе А. Дюма *(Ред.)*.

вместе со своим конем. Пуля задела бедро бедного животного, а также его переднюю ногу.

Отпрянув, я зарядил ружье двумя пулями.

Казак держал за узду мою лошадь, я сел на нее и приподнялся в стременах, чтобы посмотреть вдаль.

Меня удивила медлительность чеченцев — обычно нападение следует сразу же вслед за выстрелом.

Вдруг показались семь или восемь человек, со стороны Терека.

— Ура! — закричали казаки, атаковав их.

В то время, как все они обратились в бегство, еще один, невесть откуда взявшийся, выбрался из кустарника, откуда он стрелял в нас, и, размахивая своим ружьем, закричал:

— Абрек! абрек!

— Абрек! — подхватили казаки и остановились.

— Что значит абрек? — обратился я к Калино.

— Это человек, давший клятву идти навстречу всем опасностям и не избегать ни одной.

— Что же ему надобно? Не хочет ли он схватиться с пятнадцатью?

— Нет. Но, вероятно, он предлагает поединок.

И действительно, к крикам: «Абрек! абрек!» он добавил еще несколько слов.

— Слышите? — спросил меня Калино.

— Слышу, однако не понимаю.

— Он вызывает одного из наших казаков на поединок.

— Передайте им, что тот из казаков, кто согласится на поединок, получит двадцать рублей.

Калино передал мои слова нашим людям.

С минуту казаки переглядывались, как бы желая выбрать самого храброго.

А чеченец, гарцуя на своем коне шагах в двухстах от нас, продолжал выкрикивать: «Абрек! Абрек!»

— Черт подери! Калино, дайте-ка мой карабин, уж очень мне надоел этот детина!

— Нет-нет, бросьте, не лишайте нас любопытного зрелища. Казаки советуются, кого выставить на поединок. Они узнали чеченца — очень известный абрек. Да вот и один из наших людей.

Действительно, казак, лошадь которого была ранена в ногу, убедившись в невозможности поднять ее, пришел объясниться со мною: так в парламенте требуют позволения говорить по поводу какого-нибудь весьма приятного дела.

Казаки сами снабжают себя лошадьми и оружием; если у казака убита лошадь, начальство от имени правительства платит ему двадцать два рубля. Он теряет только рублей восемь или десять, ибо порядочная лошадь редко стоит менее тридцати рублей. Следовательно, двадцать рублей, предлагаемые мной, давали ему 10 рублей чистого барыша.

Его желание сразиться с человеком, который лишил его коня, мне показалось вполне естественным, и я всей душой был на его стороне.

А горец продолжал выделывать своим ружьем кренделя, он кружился, все более приближаясь к нам. Глаза казаков пылали огнем: они считали себя вызванными на поединок, но никто не выстрелил в неприятеля после сделанного вызова — кто решился бы на это, покрыл бы себя позором[75].

— Теперь ступай, — сказал казаку его конвойный начальник.

— У меня нет лошади, — отвечал казак, — кто даст мне свою?

В ответ молчание — никто не хотел видеть свою лошадь убитой, да к тому же под другим. Да заплатят ли обещанные двадцать два рубля?

---

[75] Или автор выдумал от себя на досуге эту сцену, или с ним сыграли невинную шутку, имея в виду его страсть к приключениям. Как бы то ни было, это импровизированная трагедия далека от действительности.

Прим. Н. Г. Берзенова.

Я соскочил со своего иноходца, отдал его казаку, который тотчас же оказался в седле.

Другой казак, казавшийся смышленее прочих и к которому я три-четыре раза уже обращался через Калино с вопросами, подошел ко мне и что-то сказал.

— Что он говорит? — поинтересовался я.

— Если случится несчастье с его товарищем, он просит заменить его собою.

— Мне кажется, он несколько поторопился; все-таки скажите ему, что я согласен.

Казак начал проверять оружие, словно настала его пора. Товарищ же его, отвечая гиканьем на вызов горца, поскакал к нему что есть мочи.

На полном скаку казак выстрелил. Абрек поднял свою лошадь на дыбы, и пуля угодила ему в плечо. И тут же горец выстрелил и сшиб папаху со своего противника.

Оба закинули ружья за плечо. Казак выхватил шашку, а горец — кинжал.

Горец с удивительной ловкостью маневрировал лошадью, несмотря на то, что она была ранена, и кровь ручьем стекала по ее груди. Она вовсе не казалась ослабевшей: седок поддерживал ее коленами, поощряя уздой и словом.

Вдруг горец разразился бранью. Они сошлись в схватке.

Сначала мне почудилось, будто казак заколол противника. Я видел, как шашка вонзилась в спину врага — но она только продырявила его белую черкеску.

Мы увидели, как оба они вступили в рукопашную. Один из них свалился с лошади — вернее, свалилось одно только туловище; голова же… осталась в руках соперника.

Им был горец. Дико и грозно он испустил победный клич, потряс окровавленной головой и прицепил ее к своему седлу.

Уже без всадника, лошадь еще продолжала мчаться, но описав полукруг, возвратилась к нам.

Обезглавленный труп плавал в крови.

Но за торжественным возгласом горца последовал другой возглас: вызов на бой.

Я обернулся к казаку, собиравшемуся занять место своего товарища. Он преспокойно попыхивал трубкой. Кивнув, он сказал:

— Еду.

Он тоже гикнул в знак согласия.

Гарцевавший на коне горец остановился, смерив взглядом нового противника.

— Ну, ступай, — сказал я ему, — прибавлю десятку.

Казак подмигнул мне, продолжая посасывать трубку. Казалось, он жаждал вобрать в себя весь табачный дым. Жаждал задохнуться им.

Он пустил коня в галоп и, прежде чем абрек успел зарядить ружье, остановился шагах в сорока от него и прицелилися. Дымок, застлавший его лицо, заставил всех нас подумать, что с ружьем что-то стряслось.

Абрек, сочтя себя в безопасности, бросился на врага с пистолетом и выстрелил с десяти шагов.

Казак увернулся от пули, молниеносно приложил ружье к плечу и, к нашему удивлению, выпалил из него: мы и не заметили, как он перезарядил ружье.

По неловкому движению горца мы поняли, что он ранен. Выпустив узду, он, стараясь удержаться в седле, вцепился обеими руками в гриву животного. Лошадь, почуяв свободу и разъярившись от боли, понесла горца через кустарник к Тереку.

Казак кинулся вслед. Поскакали и мы. И вдруг увидели: горец начал терять равновесие и повалился на землю. Лошадь замерла над всадником.

Не зная еще, была ли то хитрость и не притворяется ли горец мертвым, казак на всякий случай объехал его на значительном расстоянии, прежде чем приблизился.

Очевидно, он старался разглядеть лицо врага, но тот как назло упал лицом к земле.

Наконец казак решил приблизиться к нему — горец не шевелился.

Казак держал пистолет наготове. В десяти шагах от чеченца он остановился, прицелился и спустил курок. Чеченец не пошевелился — пуля попала в труп.

Казак спрыгнул с лошади, шагнул вперед; потом, выхватив кинжал, склонился над

мертвецом и тотчас поднялся — в руке его была голова чеченца.

Конвой одобрительно прокричал:

— Ура! Ура!

Молодец выиграл тридцать рублей, постоял за честь полка и отомстил за товарища.

Мгновенье — и горец был гол, как ладонь. Намотав его платье на руку, казак взял за узду раненую лошадь, которая не пыталась бежать, взгромоздил на ее спину свою добычу, сел на своего скакуна и, как ни в чем не бывало, вернулся к нам. Прежде всего мы осведомились:

— Как могло твое ружье выстрелить, если пыж уже сгорел?

Казак засмеялся.

— Пыж и не думал сгорать, — ответил он.

— Но мы видели дым?! — кричали товарищи.

— Это дым из моей трубки, а не из ружья, — пояснил казак.

— Тогда получай тридцать рублей, — сказал я ему, — хотя ты, по-моему, и сплутовал.

Глава VI
Изменник

Как тут водится, убитого оставили совсем голым, на растерзание хищным зверям и птицам. Труп же казака бережно подняли и положили поперек седла на лошадь врага. Взяв под уздцы казак повел ее в крепость, откуда выехал час назад. Что же до казачьей лошади, ногу которой раздробило пулей, предназначенной, кстати сказать, мне, то она встала и на трех ногах проковыляла к нам. Спасти ее мы не могли, и потому казак, отведя ее ко рву, ударом кинжала вскрыл ей шейную артерию. Кровь брызнула фонтаном. Животное почувствовало себя обреченным, корчась, поднялось на задние ноги, но, обессиленное, медленно повалилось на бок, бросив на нас полный укоризны взгляд.

Я отвернулся и, подойдя к начальнику конвоя, сказал, что, по моему мнению, жестоко оставлять орлам и шакалам тело храброго абрека, побежденного скорее хитростью, нежели отвагой, и настаивал, чтобы его предали земле.

Начальник ответил, что о погребении убитого должны позаботиться его товарищи. Если они захотят отдать ему священный долг, то ночью похитят несчастного, в чьей груди билось столь отважное сердце. Вероятно, они так и хотели сделать, ибо мы видели, что горцы собрались на другой стороне Терека, на небольшой возвышенности, угрожая нам жестами и словами, звуки которых только доносились до нас, однако содержание их было неясно.

Большим позором для них было оставить в беде своего товарища, еще более постыдно — бросить труп. Они уже не осмеливались возвратиться в свой аул без неприятельского трупа, добытого в отместку за убитого товарища.

И действительно, отправляясь в набег, горцы, если одного или нескольких из них убивают, приносят тела убитых на границу аула. Здесь они делают несколько выстрелов в воздух, предупреждая женщин о своем возвращении. Когда женщины выходят из аула, горцы опускают трупы на землю и уходят затем, чтоб возвратиться с таким же количеством неприятельских голов, сколько потеряно товарищей.

Если схватка случается далеко от деревни, они разрубают тела на четыре части, посыпают солью, чтобы предохранить от тления, и везут их домой.

Пшавы, тушины и хевсуры хранят такой же обычай. Они оказывают особое внимание своим предводителям, ни в коем случае не оставляя их трупы в руках неприятеля. Это порой бывает причиной довольно необычных ситуаций.

Приставом тушин был князь Челокаев. После его смерти прислали другого пристава; но этот не имел чести называться Челокаевым, а они требовали именно Челокаева[76].

---

[76] История рассказанная А. Дюма о князьях Челокаевых, показалась настолько неправдоподобной, что мы

Требования их были так упорны, что правительство начало отыскивать и с большим трудом нашло какого-то князя Челокаева — последнего представителя этой фамилии. Хотя он был хил — вот вот помрет — приставом его все ж назначили к великой радости тушин, которые заполучили наконец человека, соответствующего их представлениям об их начальнике.

Однажды намечалась экспедиция, в которой участвовали и тушины. Разумеется, их пристав возглавлял отряд; но так как трудности похода имели дурное влияние на его здоровье, и без того уже изрядно подорванное, то поддерживала в нем силы одна только отчаянная храбрость, столь естественная для грузин, и потому заслугой у них не считаемая.

Тушины видели, в сколь жалком положении он находится, — что того и гляди отдаст богу душу, и, собрав совет, принялись думать, как же им быть. И додумались — отправили к приставу депутацию.

Она явилась к начальнику. Один из делегатов почтительно произнес:

— Бог назначил тебе близкую смерть, начальник, — сказал он князю Челокаеву, — ты не можешь ехать дальше в таком состоянии.

Князь навострил уши. Оратор продолжал:

— Если ты умрешь через два-три дня, когда мы будем уже в горах, то станешь нам обузой, ибо, как ты знаешь, мы должны будем доставить труп твоим родичам; в случае же внезапного отступления, придется разрезать твое тело на части, и мы не можем поручиться, что не пропадет ни один кусочек твоей почтенной особы.

— Ну, а дальше? — спросил князь Челокаев. От изумления его зрачки стали огромными.

— Дальше? Мы предлагаем убить тебя сейчас, дабы плоть твоя не подвергалась всем этим неприятностям, которые не могут не тревожить тебя. Мы в пяти-шести днях хода от твоего дома, твой труп прибудет к твоему семейству в целости и сохранности.

Как ни лестно было такое предложение, князь на него не согласился. Но оно сотворило то, что было не по зубам хине — лихорадку как рукой сняло.

И здоровье князя пошло на поправку. Князь удачно завершил экспедицию, не получив ни царапинки, и взялся сам доставить семейству свою плоть совершенно невредимой.

Предложение тушин до такой степени тронуло его, что он не мог рассказывать об этом без умиления.

Каким образом чеченцы в таком меньшинстве осмелились напасть на нас?

Не будь у них абрека, они затаились бы или скрылись. Но с ними был абрек. Он считал бы себя обесчещенным, если б уклонился от опасности. Абреки, как известно, дают клятву не только не уклоняться от опасности, но даже идти ей навстречу. Вот поэтому-то он так дерзко вышел на поединок.

Я во что бы то ни стало хотел взглянуть на труп.

Абрек лежал спиной кверху. Пуля вошла пониже левой плечевой кости и вышла сквозь правую сторону груди. Судя по ранам, можно было подумать, будто его застрелили во время бегства. Это несколько огорчило меня; мне очень хотелось, чтобы отважного абрека не оклеветали после смерти.

Пистолетная же пуля раздробила ему руку.

Казак осмотрел свою добычу — превосходное ружье, шашку с медной рукоятью, отнятую, конечно, у какого-нибудь казака, дурной пистолет и довольно сносный кинжал.

Без сомнения, одним из обетов абрека был обет нестяжательства: у него не нашлось ни гроша.

даже решили ее и не проверять. Но в двухтомных мемуарах А. Л. Зиссермана «25 лет на Кавказе (1842–1867)», изданных в Петербурге в 1879 году, мы вдруг натолкнулись на знакомые фамилии. Действительно, начальником Тушино-Пшаво-Хевсурского округа служил майор князь Михаил Иванович Челокаев. После его смерти на его место назначили князя Левана Челокаева — прямого отношении к умершему не имевшего. Приключилась ли с кем-нибудь из них описанная Дюма история, А. Л. Зиссерман не упоминает.

Меж тем на нем оказался пожалованный Шамилем орден — круглый, величиной в шестифранковую монету, черненого серебра и с надписью: «Шамиль-эфенди». Между словами — сабля и секира[77].

Я купил у казака все эти вещи за 30 рублей. К несчастью, я потерял в болотах Мингрелии ружье и пистолет, хотя кинжал и орден уцелели.

Я уже сказал, что линейные казаки — бесподобные солдаты. Они вместе с покорными татарами[78] оберегают всю кавказскую дорогу. Линейные казаки разделяются на девять бригад, дополняющих уже сформированные восемнадцать полков. При мне формировалось еще два полка.

Эти бригады разделились следующим образом: на Кубань и Малку, т. е. на правый фланг, шесть бригад; на Терек и Сунжу, т. е. на левый фланг, три бригады.

Когда хотят составить новый полк, то прежде всего начинают подбирать шесть станиц, каждая из которых выделяет свою часть.

Основная единица формирования — сотня, хотя и состоит из 143 человек, кроме офицеров, или из 146 — с офицерами.

Новые станицы составляются из казаков прежних станиц, которых переселяют с Терека или Кубани в количестве ста пятидесяти семейств. К ним присоединяют еще сто семейств донских казаков и от пятидесяти до сотни из внутренней России, особенно из Малороссии. Каждый казак должен прослужить двадцать два года, но ему может зачесться два года за четыре, если он будет заменен кем-то из своих родных.

С двадцати лет казак начинает службу, которую оставляет на сорок втором году; в этом возрасте он переходит из действительной службы на службу станичную, т. е. он делается чем-то вроде солдата национальной гвардии. На пятьдесят пятом году он оставляет службу полностью и имеет право быть избранным церковным старостой или судьей станицы.

В каждой станице есть начальник, избранный станичниками, и два судьи. В выборах участвуют все жители.

Каждый казак — землевладелец: начальник имеет тысячу десятин земли, каждый офицер двести, а казак шестьдесят.

Станицы это колонии, — земледельческие и военные.

Каждый казак получает четыре рубля годового жалованья и сам себя кормит и одевает: мы уже сказали, что за убитую или раненую лошадь казак получает двадцать два рубля.

В случае нападения 143 человека идут на бой, а остальные станичники выдерживают осаду, укрывшись за заборами, служащими им как бы крепостной стеной.

Каждая женщина должна иметь при себе ведро воды на случай пожара. В пять минут, как только пушечный выстрел и колокол забьют тревогу, всякий занимает свой пост.

Судя по нашему рассказу о Червленной и о поездках молодых офицеров в ту станицу, можно подумать, что офицеры этого прелестного аула имеют в своей истории только страницы, достойные, как сказал бы Парни или кавалер Бертен[79] — «прикосновения

---

[77] В Махачкале в Дагестанском Объединенном краеведческом музее хранятся знаки отличия, учрежденные Шамилем. На них есть надписи: «Кто станет размышлять о последствиях, тот не может быть героем», или: «Это молодец, совершенна на войне его сила, в схватках он нападает, как лев». Либо: «Храброму и великодушному». Размеры орденов и внешний вид такие, как описал Дюма. Надписи с арабского ему перевели неверно. Если бы на этих орденах и упоминался Шамиль, то уж не как эффенди, коих несколько в любом мусульманском районе, а как всемогущий имам.

[78] Покорными, мирными горцами назывались те, кто не были сторонниками Шамиля. Они помогали русским бороться с непокорными, немирными, т. е. с восставшими. Последних иногда называли еще и хищниками — таковыми они были, естественно, с точки зрения колонизаторов.

[79] Парни Эварист (1753–1814) — французский поэт. Де Бертен Антуан (1752–1790) — французский поэт, друг и земляк Парни.

амуров».

Но не заблуждайтесь: явилась необходимость, и наши казачки делаются истинными амазонками.

Однажды, когда все мужчины станицы были в походе, и чеченцы, узнав, что в селе остались только женщины, приготовились напасть на Червленную, женщины собрали военный совет и решили до последней капли крови защищать станицу.

Собрали все оружие, весь порох и все заряды.

Хлеба и домашних животных было достаточно, чтобы не умереть с голоду.

Осада продолжалась пять дней: около тридцати горцев пало — не за валом, а у заборов. Три женщины были ранены, две убиты. Чеченцы были вынуждены снять осаду и с позором возвратиться в горы.

Червленная — самая древняя станица линейных гребенских казаков: они происходят от русской колонии, начало которой исторически не определено; легенда гласит, что когда Ермак отправился покорять Сибирь, кто-то из его сподвижников отделился от него с несколькими людьми и основал деревню Индре, — название, происходящее от его имени Андрей, — или Андрееву деревню[80]. Когда Петр I надумал учредить первую линию станиц, граф Апраксин, которому это было поручено, нашел здесь земляков, которых он и поселил в Червленной.

Вот почему в станице Червленная хранятся любопытные документы и знамена.

Что касается мужчин, то они почти все раскольники-фанатики, сохранившие древнерусский тип. Обратимся к женщинам.

Червлянки составляют особый тип, принадлежащий к русской и горской породам. Красота их дает обитаемой ими станице репутацию кавказской Капуи, они имеют овал лица русский, стан стройный, — стан женщины горных краев, как говорят в Шотландии. Когда казаки, их отцы, мужья, братья или любовники отправляются в поход, казачки встают на стремя, которое всадник оставляет свободным, и, обхватив всадника за шею или стан, имея в другой руке бутылку местного вина, которым они угощают их на всем скаку, мчатся таким образом три или четыре версты за деревню, делая всевозможные бешеные маневры. По окончании экспедиции, они выбегают навстречу казакам и таким же образом въезжают в станицу.

Эта легкость нравов червлянок странно контрастирует со строгостью русских обычаев и суровостью восточных.

Многие из них вызвали у офицеров такую любовь, что она кончилась супружеством, другие дали повод к весьма оригинальным ситуациям.

Например, одна жительница Червленной возбудила в обожавшем супруге дикую ревность, и он, не имея более сил оставаться свидетелем счастья чересчур уж многочисленных соперников, бежал с отчаяния в горы и сделался врагом русских. Потом он попал в плен, его узнали, судили и расстреляли. Мы были представлены его вдове, которая сама рассказала нам свою жалобную историю с подробностями, которые впрочем не могли бы быть более драматичными.

— Самое ужасное, — говорила она нам, — на допросе он не постыдился упомянуть мое имя. Во всем остальном, — добавила она, — он держался *молодцом.* Я присутствовала при его казни; он любил меня и поэтому хотел этого. Я же своим отказом боялась отравить последние его минуты. Смерть его была великолепна. Он просил не завязывать ему глаза, он умолял и получил, как милость, право приказать дать в него залп. Он упал замертво. Не знаю, отчего это произвело на меня такое впечатление — я упала без чувств, а когда пришла в себя, его уже почти совсем закопали — из-под земли виднелись только ноги в красных сафьяновых сапогах, совершенно новых; я так была потрясена, что мне и в голову не пришло снять их с ног, и они пропали.

---

80 Андрей-Аул существует и поныне.

Бедная вдова говорила об этих злополучных сапогах с великим сожалением.

Когда мы прибыли в станицу, подумалось, будто в ней никто не живет. Все население находилось на противоположной стороне, где происходило чрезвычайно важное событие, которое совпадало с вышеприведенным происшествием: только в хронологическом порядке оно предшествовало рассказу, который сейчас прочитаете, а должно бы следовать за ним. Это событие — смертная казнь.

Червленский казак, женатый и уже отец двух детей, был взят чеченцами два года назад в плен. Спасением он обязан был заступничеству одной горской красавицы, которая интересовалась его участью. Сделавшись свободным на слово и благодаря поручительству брата горянки, он влюбился в свою освободительницу, которая тоже платила ему взаимностью. Однажды казак, к своему великому сожалению, узнал, что вследствие переговоров, начатых между горцами и русскими его обменяют; эта новость, крайне обрадовавшая прочих пленников, его очень опечалила. Наконец он возвратился в станицу и вошел в свой дом. Однако, полный воспоминаний о возлюбленной, покинутой им в горах, он уже не мог снова привыкнуть к станичной жизни.

Ни с того ни с сего он оставил Червленную скрылся в горах, принял магометанство, женился на прелестной чеченке и скоро прославился смелостью своих набегов и жестокостью разбоев.

Однажды он обязался выдать новым сородичам Червленную, — девственную станицу, которая, как Перонна, никогда еще не была покорена. Для этого изменник проник вовнутрь укреплений, дав обещание сотоварищам отворить ворота станицы.

Пробравшись в станицу, он заинтересовался, что творится в его доме? Он перебрался через ограду и очутился во дворе своего дома. Приникнув к окну спальни жены, он увидел ее преклонившей колени перед иконой. Это произвело на него такое впечатление, что он тоже пал на колени и стал молиться. Окончив молитву, он почувствовал в себе угрызение совести и пошел в дом.

Жена, молившаяся о возвращении его, заметив мужа, испустила крик радости и кинулась в объятия. Он обнял ее и нежно прижал к груди, прося показать детей. Дети были в соседней комнате мать разбудила их и привела к отцу.

— Теперь, — сказал он, — оставь меня с ними и ступай за сотским[81].

Жена повиновалась и возвратилась с сотским — большим другом ее супруга.

Сотский крайне удивился, когда казак объявил ему, что ночью должно произойти нападение на станицу, и советовал принять меры к обороне. Потом он объявил, что бог внушил ему раскаянье в преступлении, и сдался в плен.

Процесс был непродолжителен, подсудимый признался во всем и потребовал себе смерти.

Военный трибунал приговорил его к расстрелу. Мы прибыли в самый день казни. Вот почему станица казалась опустевшей; все ее жители собрались там, где должна происходить казнь.

Часовой у ворот, крайне досадуя, что не может оставить пост, сообщил все эти подробности и советовал поспешить, чтобы прибыть вовремя.

Казнь была назначена на двенадцать часов дня, а было уже четверть первого. Впрочем, она еще не свершилась, потому что не слышно было ружейных выстрелов.

Мы пустили своих коней рысью и проехали вдоль станицы, защищенной обычными здесь укреплениями, состоящими из заборов, решеток и палисадов, но устроенной с таким изяществом, которого я не заметил в других казачьих селениях.

Мы достигли места казни: она должна была свершиться на поляне, прилегающей к кладбищу.

---

81 Сотский — начальник сотни.
Прим. А. Дюма.

Осужденный, мужчина тридцати — сорока лет, стоял на коленях на краю недавно вырытого рва. Руки у него были свободны, глаза не завязаны; из всего военного костюма на нем оставались одни панталоны. Он был обнажен до пояса. Священник стоял рядом и слушал его исповедь. Когда мы приехали, исповедь заканчивалась, и священник готовился дать осужденному отпущение грехов.

В четырех шагах стоял взвод из девяти человек с заряженными ружьями.

Сидя в седлах, мы видели все происходящее и хотя находились дальше других, но не упустили из виду ни одной подробности.

После отпущения грехов начальник станции подошел к осужденному и сказал:

— Григорий Григорьевич, ты жил как вероотступник и разбойник, умри как христианин и храбрый человек, и бог простит твое вероотступничество, а твои братья — измену.

Подняв голову и поклонившись своим товарищам, казак сказал:

— Братья мои, я уже просил у господа прощения, и господь простил меня; прошу прощения и у вас — простите и вы.

И он снова опустился на колени, чтобы получить прощение своих ближних подобно тому, как сделал это, прося прощения у бога.

Тогда началась сцена величественная и вместе с тем трогательная. Все те, которые имели что-либо против осужденного, по очереди подходили к нему.

Первым приблизился старик и сказал:

— Григорий Григорьевич, ты убил моего единственного сына, опору моей старости, но бог простил тебя, и я тебя прощаю. Умри с миром.

И старик обнял его.

Потом подошла молодая женщина:

— Ты убил моего мужа, Григорий Григорьевич, ты сделал меня вдовою и моих детей сиротами; но бог простил тебя — прощу и я. Пусть бог пошлет тебе смерть спокойную.

И, поклонившись ему, она удалилась.

К нему подошел казак и сказал:

— Ты убил моего брата, ты убил мою лошадь, ты сжег мой дом; но бог простил тебя, и я тебя прощаю. Умри спокойно, Григорий Григорьевич.

Таким же образом подходили к нему поодиночке все те, кто имел повод жаловаться на преступление или на ущерб, какие он им причинил.

Потом жена и двое детей тоже подошли к нему и простились. Меньшой из сыновей — двух лет от роду — неподалеку играл в камешки.

Наконец судья молвил:

— Григорий Григорьевич, пора.

Признаюсь, я не видал ничего страшнее этой сцены. Я из тех, кто безжалостен к охоте, но не могут видеть, как режут курицу.

Я повернул лошадь и поехал прочь.

Через десять минут послышался ружейный залп. Григорий Григорьевич перестал существовать, а народ молча воротился в станицу.

Одна группа двигалась медленнее и была гуще, нежели другие. Она сопровождала тех, кого человеческое правосудие сделало вдовою и сиротами.

Несмотря на то, что я был мало расположен к веселости, я спросил дом прекрасной Евдокии Догадихи. На меня посмотрели, как на прибывшего по меньшей мере из Китая.

Догадиха померла еще лет пять назад!

Что написано на гробнице отца Лашеза: «Его неутешная вдова продолжает свою деятельность», означено и на гробнице Авдотьи: «Ее юная сестра заменяет ее, и удачно».

— А их почтенный отец? — спросил я.

— Он жив еще, и благословение божие с ним.

И мы пошли просить у Ивана Ивановича Догадицкого, почтенного отца Авдотьи и Груши, гостеприимства, которое нам было оказано под условиями, напоминающими

гостеприимство, оказанное Антепору греческим философом Антифоном.

Возвращение наше совершилось без приключений. Тело абрека было похищено ночью, как предсказал конвойный начальник.

Глава VII
Русские и горцы

На следующий день после возвращения из Червленной я, прежде чем представиться полковнику Шатилову, послал за ямщиками.

Муане не ошибся: они теперь требовали уже тридцать рублей, потому что еще сильнее приморозило.

Я взял папаху, вооружился кинжалом — неразлучным спутником, если надо покинуть дом — и отправился с визитом к полковнику Шатилову.

Он ожидал меня с той самой минуты, когда ему передали мою визитную карточку. Полковник едва говорил по-французски, но его жена, предупрежденная о моем прибытии, взялась быть посредницей в нашей беседе. Вот вам еще доказательство превосходства образования женщин перед мужчинами в России.

Полковник не сомневался, что я имел к нему какую-нибудь просьбу, и сам предложил свои услуги. Я объяснил ему, что мне нужно шесть лошадей, чтобы доехать до Хасав-Юрта; а там князь Мирский[82], которому я был рекомендован, возьмет на себя труд отправить меня в Чир-Юрт, где я уже найду почтовых лошадей.

Я вполне угадал, — полковник предложил всю свою конюшню, предупредив лишь, что лошади будут подготовлены при условии, если я буду завтракать у него.

Я согласился, но в свою очередь тоже поставил условие, чтобы приглашение было повторено мне милым десятилетним мальчиком, который знал заочно г-на Дюма и читал «Монте-Кристо».

Отворили дверь в его комнату, откуда мальчик рассматривал нас в замочную скважину, и заставили его войти.

Всего необычнее было то, что он не говорил по-французски, а «Монте-Кристо» читал на русском языке.

Во время завтрака речь зашла об оружии. Полковник, заметив, что я большой любитель его, принес мне чеченский пистолет в серебряной оправе, который, кроме материальной ценности, имел еще и историческое значение: этот пистолет когда-то принадлежал лезгинскому наибу Мелкуму, убитому князем Шамизовым[83] на лезгинской линии.

Полковник отправил шесть лошадей за нашим тарантасом и телегой и велел снарядить конвой из пятнадцати человек, а именно из пяти донских казаков и десяти линейных. Тарантас и конвой ожидали у ворот.

Я простился с полковником, его женой и сыном, выразив им искреннюю благодарность. Русское гостеприимство не только не изменилось, но, по-видимому, делалось более широким и более предупредительным по мере того, как я приближался к Кавказу.

Полковник осведомился, вооружены ли мы и в каком состоянии находится наше оружие, потом дал краткое напутствие нашему конвою, и мы отправились в путь с пятью донскими казаками в авангарде и десятью линейными по обеим сторонам наших экипажей.

Наши несговорчивые ямщики печально смотрели на этот отъезд; они пришли с

---

[82] Подполковник князь Дмитрий Иванович Святополк-Мирский — командир Кабардинского полка. Муж княжны Софьи Яковлевны Орбелиани. Вращался в среде грузинской аристократии и интеллигенции.

[83] Вероятно, речь идет о Бата Шамурзове — чеченце, воспитывавшемся братом генерала Розена. Получив образование в российских учебных заведениях, Шамурзов служил в Варшаве, позже на Кавказе. Почему-то рассердившись на русских. Шамурзов перешел к Шамилю, стал у него могущественным наибом, но предав и его, вернулся к русским.

предложением отвезти нас за восемнадцать рублей и даже за шестнадцать. Но Калино повторил им на чисто русском языке то, что я уже сказал им на ломаном, и на этот раз они окончательно убедились, в чем было дело. Тогда они задумали облапошить молодого дербентского офицера, с которым сначала условились за двенадцать рублей, а теперь требовали восемнадцать. Но боясь потерять его, как и нас, они вернулись к первоначальной цене.

Следствием явилось то, что молодой офицер, поместивший свою кибитку между нашим тарантасом и телегой, сел вместе с Калино на переднюю скамью тарантаса, от чего наш конвой увеличился не только на одного офицера, но и на хорошего товарища, не считая армянского повара, который отлично приготовлял шашлык.

В пятистах шагах от последних домов Шуковой мы опять встретились с Тереком, который преградил нам путь в последний раз, обозначая границу русских покорных владений.

Противоположная сторона была, уже неприятельская, еще не покоренная страна, но которая скоро будет покорена.

Стоит нам переправиться через мост, находившийся рядом, — запросто можно стать мишенью для любого встречного, которому взбредет в голову угостить нас пулей. И стрелять он будет безо всякого зазрения совести.

На краю моста, построенного графом Воронцовым на чрезвычайно крутом скате, поставлен домик для стражи. Отсюда ни один путешественник не отпускается дальше без прикрытия: если это знатная особа, то придается конвой, если же из числа обыкновенных смертных — должен ожидать оказии.

По ту сторону моста нужно мысленно провести линию, обозначаемую Кубанью и Тереком двумя большими реками, которые вытекают с северного склона Кавказа и, имея почти одни и те же истоки, разделяются и впадают: Терек — в Каспийское, а Кубань — в Черное море.

Представьте себе огромную подкову, тянущуюся по основанию горной цепи; она начинается у подножья горы Кубань и оканчивается на востоке в Кизляре, а на западе — в Тамани.

По двойной линии на расстоянии четырех миль одна от другой построены крепости.

Посредине, т. е. в основании двойной скобы, образуемой двумя реками, находится Дарьяльское ущелье.

По мере того, как дело шло к победе, небольшие крепости, так сказать, отделяются от больших крепостей и подвигаются вперед, посты отделяются от маленьких крепостей и тоже уходят вперед. Наконец, и часовые отделяются от постов и обозначают эту сомнительную границу русского владычества, границу, которую какой-нибудь набег горцев ежеминутно превращает в подобие кровавого прилива и отлива.

От Шемахи, где лезгины к 1712 г. хватают триста торговцев, до Кизляра, где Кази-Мулла отрубает семь тысяч[84] голов в 1831 году — на всем огромном пространстве нет сажени, не пропитанной кровью.

Если татары пали там, где вы проезжаете и где рискуете тоже погибнуть, то увидите плоские продолговатые глыбы, увенчанные каменной чалмой и с арабскими надписями, восславляющими умершего и призывающие его семейство к отмщению.

Если это христиане, то над ними возвышается крест — символ прощения и забвения.

Но христианский крест и татарский могильный камень так часто встречаются по дороге, что все пространство от Кизляра до Дербента похоже на обширное кладбище. А там, где их нет, как, например, от Хасав-Юрта до Чир-Юрта, опасность так велика, что никто не осмелился пойти туда рыть могилы для убитых и поставить над ними камень или крест.

Там тела оставляются на пищу шакалам, орлам и коршунам; там человеческие кости

---

[84] На стр. 27 было 6000. Обе эти цифры значительно преувеличены. (М. Б.).

белеют посреди скелетов лошадей и верблюдов, и так как голова — отличительная принадлежность мыслящей породы — унесена убийцей, то не сразу, а только после беглого осмотра можно узнать, с чьими останками имеешь дело.

Нельзя сказать, чтобы горцы не брали в плен. Наоборот, изготовление кабардинских шашек, черкесских бурок, чеченских кинжалов и лезгинских сукон — их второстепенный промысел. На первом месте — пленные.

Они держат у себя пленников до тех пор, пока их семейства не заплатят выкуп; если пленники пытаются бежать, то у горцев есть верное средство предотвращать подобные попытки. Они прорезывают бритвою стопу ноги пленника и каждую рану набивают рубленым конским волосом.

Если семейство пленных отказывается заплатить выкуп или оно не так богато, чтобы удовлетворить требованиям горцев, тогда пленные отсылаются на трапезундский рынок и продаются как невольники. А потому в этой ожесточенной войне и те, и другие показывают примеры необыкновенного героизма.

На всех почтовых станциях можно найти картину, изображающую подвиг, который сделался столь же популярным в России, как во Франции защита Мазаграна. Эта картина изображает командира с сотней солдат за завалами из убитых лошадей, против пятисот горцев.

Генерал Суслов, еще подполковником, находился в станице Червленной. 24 мая 1846 г. дошли до него сведения, что полторы тысячи чеченцев спустились с гор и овладели деревней Акбулат-Юрт (дословный перевод: «деревня стальных клинков»).

Командующий левым флангом генерал Фрейтаг[85] находился в крепости Грозной (ныне Грозный — *М. Б.*), построенной генералом Ермоловым.

Когда горцы нападают в большом числе и малые казачьи посты не в состоянии сопротивляться, тогда обыкновенно извещают генерала и ожидают его приказаний.

Подполковник Суслов получил из Грозной приказание двинуться навстречу чеченцам с обещанием, что он будет подкреплен двумя батальонами пехоты с двумя пушками. Собрали семьдесят лошадей, и казаки были готовы.

Подполковник отправился с этим отрядом. По прибытии к Амир-Адъюртской переправе, после бешеной гонки на протяжении тридцати одной версты, у него оказалось налицо только тридцать казаков, имевших хороших коней. Остальные отсеялись по пути.

На переправе нашли семь донских казаков и сорок линейных. Все они присоединились к отряду.

Неприятель уже оставил деревню Акбулат-Юрт и увел пленных; когда же он расположился в версте от парома, то через Терек в него стали стрелять из пяти больших орудий.

Подполковник переправился на пароме на другой берег. Его отряд состоял из девяноста четырех человек, среди которых были семь офицеров, в том числе его адъютант Федюшкин со своим приятелем майором Камковым. Переправляться решили из-за слышанных подполковником пушечных выстрелов со стороны Куринска; предполагалось, что они были произведены двумя батальонами пехоты и двумя обещанными орудиями.

Подполковник Суслов бросился со своими казаками преследовать полторы тысячи чеченцев.

Видя, что пушки замолкли, отрядил двадцать пять человек на курган, господствующий над долиной, чтобы удостовериться в происходившем на другом пункте.

Чеченцы, лишь только заметили отряд на возвышенности, посылают против него восемьдесят человек. Они опрокидывают и преследуют русских вместе с командовавшим им офицером до главного отряда.

Тогда только преследовавшие узнали, с каким малым числом неприятеля они имеют

[85] Генерал-лейтенант Роберт Карлович Фрейтаг (1802–1851).

дело, и вернулись с этой вестью к своим товарищам.

Решено было истребить эту горсть русских; начальник чеченского отряда велел своим очистить равнину от этих чересчур неблагоразумных, но любопытных гостей.

Подполковник Суслов заметил приближение неприятеля. В ту же минуту он собрал военный совет; о бегстве не могло быть и речи, но девяносто четыре человека, ожидая нападения полутора тысяч, должны были подумать, как им умереть. Было решено образовать из лошадей большой круг, чтобы люди укрылись за ними.

Сказано — сделано. Тогда полковник приказал стрелять не раньше, чем чеченцы окажутся в пятидесяти шагах!

Чеченцы надвигались, подобно буре, и когда оказались на расстоянии пятидесяти шагов, подполковник скомандовал:

— Пли!

Грянул залп. Отряд окутало облаком дыма.

Когда же дым рассеялся, выяснилось: отряд окружен с трех сторон. Чеченцы никогда не лишают неприятеля возможности отойти, чтобы не привести его в отчаяние. К тому же, имея превосходных коней, они уверены, что настигнут беглецов и, пользуясь их паникой, доведут дело до конца.

Никто не двинулся, ведь было ясно: открытый выход сулит им неминуемую смерть.

Чеченцы имели дело с людьми, которые, несмотря на то, что могли спастись бегством, не хотели бежать. Оба противника открыли ожесточенную пальбу, но чеченские пули не наносили особого вреда казакам, так как лошади осажденных служили им надежной защитой.

Через полтора часа невредимыми остались только 20 лошадей.

Круг все смыкался, но люди, заключенные в нем, продолжали отстреливаться.

Тогда чеченцы ползком приблизились на расстояние двадцати или двадцати пяти шагов от казаков и начали целиться в ноги людей, мелькавших между ногами лошадей.

Адъютант Федюшкин был ранен пулей в бедро. Суслов понял, что тот ранен.

— Ты ранен? — спросил он его.

— Да, нога раздроблена, — отвечал адъютант.

— Эка важность! — сказал подполковник. — Уцепись за меня, за свою лошадь, цепляйся за что можешь, но не падай, тебя знают как самого храброго из нас; если ты упадешь, то подумают, что ты убит, а это обескуражит наших.

— Будьте спокойны, — отвечал раненый, — я не упаду.

И действительно, он остался на ногах; только нашел он точку опоры в себе — в своей храбрости[86].

В начале стычки неприятельская пуля попала в ружье Суслова; оно, расколовшись в его руках, сделалось уже бесполезным.

После двухчасовой перестрелки оставалось только по два патрона на человека и еще сорок патронов, кое-как сбереженных подполковником.

Взяли патроны у мертвых и раненых и разделили их между собой.

Каким-то чудом подполковник Суслов и майор Камков не получили ни царапины.

Чеченцы пришли в остервенение, что не могли захватить, расстрелять, истребить горстку людей.

---

86 Русский офицер в этом отношении служит образцом не только храбрости, но и воли. Мы читали недавно в превосходном сочинении Базанкура о Крымской кампании следующий факт: «Первый огонь этих батарей причинил страшный урон: расстояние было так мало, что хорошо видно было все происходившее в этой колонне и беспорядок который произвела в ней наша артиллерия. Некий неописуемо храбрый русский офицер, находясь в крайней опасности, бегал между рядами солдат, созывая их, разъединенных этой неожиданной атакой, схватывая их за руки и снова составляя взводы.

— Храбрый офицер! — вскричал генерал Боско с удивлением, которое всегда внушает солдату истинная храбрость — Если б я был поэтом, я обнял бы его».

Прим. А. Дюма.

Они приблизились к живому укреплению и схватив коней под уздцы, старались прорвать хотя бы одно звено этой живой и непобедимой цепи.

Урядник по фамилии Вилков отрубил шашкой руку чеченцу.

Подполковник Суслов, не имея другого оружия, кроме шашки, защищал не самого себя, ибо он совершенно забыл о себе, а своего любимого коня. Животное получило семь пуль. Подполковник поддерживал голову коня левой рукой, а правой, держа шашку, поражал все, что к нему ни приближалось. Это был чудный клинок, один из тех клинков, которые были завезены на Кавказ в шестнадцатом столетии венецианцами[87].

Из девяноста четырех казаков пять человек погибли, шестьдесят четыре были ранены; последние сами перевязывали себе раны собственными изорванными рубахами и держались на ногах, пока могли продолжать стрельбу.

После беспримерной борьбы, продолжавшейся два часа и восемь минут, за которой подполковник следил по часам, чтобы знать, на какое время у него доставало людей и лошадей, послышался пушечный выстрел со стороны Куринска — прискакали утомленные казаки, отставшие у парома Амир-Аджи-юрта.

Около сорока человек, услыхав эту пальбу и угадав в ней помощь, поспешили присоединиться к товарищам и бросились в железный круг или, лучше сказать, в пламенное горнило.

Пушечный выстрел был произведен отрядом генерала Мюделя[88], который до сих пор ошибочно шел в другом направлении.

— Не робейте, ребята! К нам идут на помощь с двух сторон, — закричал Суслов.

В самом деле, помощь приближалась, и в самый раз: из девяноста четырех человек, шестьдесят девять были уже не способны к сопротивлению.

Чеченцы, видя наступление колонны генерала Мюделя и слыша ободрительные пушечные выстрелы, все более и более приближающиеся, сделали последний натиск и, как стая коршунов, унеслись в свои горы.

Генерал Мюдель нашел казаков Суслова, облитых кровью и почти без пороха и пуль. Тогда только адъютант Федюшкин, который стоял на ногах три четверти часа с раздробленным коленом, не упал, а только прилег.

Из казачьих пик сделали носилки для тяжелораненых и отправились в Червленную.

Лошадь подполковника — его несчастная белая лошадь, столь им любимая, получила тринадцать пуль — была с грехом пополам найдена лишь через несколько дней.

Пятеро раненых умерли на другой день. Лошадь издохла только через три недели.

Подполковник Суслов получил за это блистательное дело[89] Георгиевский крест. Этим милости начальства не кончились, хотя в России орден св. Георгия — одна из самых высоких наград. Граф Воронцов, кавказский наместник, написал ему следующее письмо:

«Любезный Александр Алексеевич!

---

[87] Генерал Суслов подарил мне эту историческую шашку, — я позже расскажу где, как в по какому случаю. Любитель оружии, не зная ценности, какую она имела для меня и видя ее в моих руках, оценил ее в двести рублей серебром.

Прим. А. Дюма.

[88] Майдель Егор Иванович (1817–1881) — в описываемое время командовал Второй гвардейской резервной дивизией.

[89] А. Дюма точно и подробно описывает сражение, о котором историки горской войны обычно отзываются по-военному лаконично: «24 мая 1846 г. двухчасовое геройское сопротивление около укрепления Амир-Ажи-Юрта 82-х казаков Гребенского полка под начальством подполковника Суслова против конной партии чеченцев в 1500 человек» — так, например, сообщается в «Кавказском календаре» за 1859 год. В период пребывания Дюма в Тифлисе генерал-лейтенант А. А. Суслов состоял генералом по особым поручениям при Главнокомандующем кавказской армией князе А. И. Барятинском.

Позвольте мне поздравить вас с получением креста св. Георгия и просить Вас принять мой крест, пока Вы получите Ваш из Петербурга.

Вследствие рапорта генерала Фрейтага о Вашем геройском подвиге с гребенскими казаками, состоящими под Вашим начальством, радость и удивление распространились в Тифлисе; кавалеры ордена св. Георгия просили единодушно наградить Вас этим орденом, столь уважаемым в российской армии. Я постараюсь вознаградить всех бывших с Вами, особенно имея в виду почтенного майора Камкова.

Прощайте, любезный Александр Алексеевич. Моя жена сейчас вошла в комнату и, узнав, что я пишу Вам, просит меня засвидетельствовать Вам ее глубочайшее почтение».

Я собрал и записал эти подробности на месте происшествия! Я взбирался на небольшую гору, — единственный пункт, на тридцать верст в окружности, господствующий над равниной; наконец казаки, с благоговением вспоминавшие об этом геройстве, показали место этого второго Мазаграна.

Потом, когда, через левый фланг, я попал уже в Тифлис, проехав мимо Апшеронского мыса, посетив Баку, Шемаху и Царские Колодцы, — на одной из тифлисских улиц французский консул барон Фино, с которым я шел вместе, поздоровавшись с проходившим мимо нас военным, спросил меня:

— Знаете, с кем я раскланялся?

— Нет. Я только третьего дня сюда приехал; где мне знать кого-нибудь?

— О! Я уверен вы знаете этого человека хотя бы по имени: это знаменитый генерал Суслов.

— Как! Герой Щуковой?

— Вот видите, вы его знаете.

— А как же! Не знать его! Я записал всю его историю с чеченцами. Скажите…

— Что?

— Можем мы ему нанести визит? Могу я прочитать ему все, что я написал о нем, и просить его выслушать мой рассказ, вдруг я уклонился от истины?

— Разумеется, я велю спросить его, где и когда можно его видеть.

В тот же самый день барон получил ответ — генерал Суслов примет нас завтра в полдень.

Генералу сорок пять лет, он небольшого роста, плотный здоровяк с очень простыми манерами. Он чрезвычайно удивился, что я так заинтересовался таким ничтожным делом.

Мой рассказ был достаточно полный, генерал добавил к подробностям, которые я уже имел, только письмо графа Воронцова.

Собираясь покинуть генерала, я, по моей дурной привычке, подошел к военному трофею, привлекавшему мое внимание: этот трофей был составлен только из пяти шашек. Генерал снял их, чтобы показать мне.

— Какая из них была с вами в Щуковой, генерал? — спросил я его.

Генерал указал на самую простую из всех; я вынул ее из ножен — клинок поразил меня своей древностью. На нем был вырезан двойной девиз, почти стертый от времен: — Fide, sed cui vide[90] и с другой стороны: — Profide el patria![91]

Я, как археолог, мог разобрать эти восемь латинских слов и объяснил их генералу.

— Ну, так как вы разобрали то, что мне никогда не прочесть, — растрогался он, — шашка ваша.

Я хотел отказаться, даже упорствовал в этом, говоря, что я вовсе не достоин подобного подарка.

— Вы поставьте ее вместе с саблей вашего отца, — вот все, о чем я вас прошу.

---

90 Доверяй, но смотри, кому *(лат.)*

91 За веру и отчизну! *(лат.)*

Наконец я принужден был ее принять.

Горцы тоже складывают свои легенды столь же славные, как и легенды русских. Горцы считают своим подвигом битву при Ахульго, где Шамиль был разлучен со своим сыном Джемал-Эддином, которого мы увидим возвращающимся на Кавказ для обмена на княгинь Чавчавадзе и Орбелиани.

Живым и глубоким умом Шамиль постиг превосходство европейских укреплений перед азиатскими, которые, по-видимому, построены, чтобы служить мишенью для пушек. Он избрал резиденцией аул Ахульго, расположенный на уединенном утесе, окруженном головокружительными пропастями и скалами, вершины которых считались недоступными.

На этом уединенном утесе польские инженеры, отправившиеся на Кавказ для продолжения варшавской войны, установили фортификационную систему, которую одобрили бы Вобан или Гаксо[92].

Помимо этого в Ахульго было запасено большое количество продуктов и снарядов.

Генерал Граббе[93] решился в 1839 году атаковать Шамиля в его орлином гнезде. Все считали эту затею обреченной на неудачу. Тогда Граббе решился на то, на что решаются лишь отважные медики — принял на себя ответственность и поклялся своим именем (а Граббе [Grab — нем. — *М. Б.*] значит гроб), что возьмет Шамиля живым или мертвым. И двинулся в поход.

Шпионы донесли Шамилю о продвижении русской армии, и он велел чеченцам постоянно тревожить ее, аргванскому коменданту задержать русских как можно долее у своих стен, а аварским начальникам, на которых более всего он рассчитывал, мешать переходу через Койсу. Сам же он собирался ожидать неприятеля в своей крепости Ахульго, до которой русские, вероятно, не дойдут.

Шамиль ошибался: чеченцы не могли задержать армию; Аргвани заставил ее потерять только два дня, а переправа через Койсу, которую считали неодолимой, была совершена после первой атаки.

С вершины скалы Шамиль следил за приближением русских. Генерал Граббе блокировал крепость, надеясь голодом принудить Шамиля к сдаче.

Осада продолжалась уже два месяца, но тут генерал Граббе узнал, что Шамиль имеет съестных припасов еще на шесть месяцев. Пришлось идти на штурм.

Генерал Граббе не терял времени понапрасну: он заставил провести дороги, построил на скалистых уступах бастионы, которые считались неприступными, перекинул мосты через пропасти. Однако ни одно из укреплений, которыми русские овладели, не господствовало над цитаделью.

Наконец генерал обратил внимание на уступ, которого можно было достичь, только преодолев гору — с противоположной стороны спуская с помощью веревок пушки, фуры и артиллеристов.

Однажды утром эту платформу заняли русские, которые ознаменовали свое присутствие пушечными выстрелами против цитадели. Граббе приказал штурмовать, и 17 августа русские саперы взяли укрепления Старого Ахульго.

Русские потеряли у только что взятых укреплений четыре тысячи человек. Оставался Новый Ахульго, т. е. крепость.

Генерал Граббе приказал еще раз атаковать. Шамиль в белой своей черкеске был среди защитников крепости.

---

[92] Вобан Себастьян (1633–1707) — французский маршал, инженер и писатель эпохи Людовика XIV. Гаксо Франсуа (1774–1838) — известный французский военный инженер.

[93] Граббе Павел Христофорович (1789–1875) — русский военачальник. Был членом Союза Благоденствия. Привлекался по делу о восстании 14 декабря 1825 г. Граббе высоко ставил Лермонтова и Марлинского. Он представлял Лермонтова к наградам. Узнав о гибели Лермонтова, Граббе заявил: «Несчастная судьба нас, русских, только явится между нами человек с талантом, десять пошляков преследуют его до смерти».

Каждый жертвовал своей жизнью: генерал — по одну сторону, имам — по другую.

Сей день был днем кровавой сечи, какой ни орлы, ни коршуны, парившие над вершинами Кавказа, никогда еще не видывали. Противники буквально плавали в крови; лестницы, с помощью которых влезали на стены, были составлены из трупов. Не слышно было воинственной музыки для ободрения сражающихся, она умолкла. Хрипение умирающих заменяло ее.

Один батальон в полном составе пробирался по крутой тропинке. Неожиданно кто-то заметил, что огромная скала отделилась от своего гранитного основания, — словно гора хотела стать в ряды противников русских, — и с ревом и треском сорвавшись с вершины, унесла треть батальона.

Когда оставшиеся в живых, уцепившись за камни, за корни деревьев, подняли головы, они увидели на вершине горы, откуда свалилась гранитная лавина, полунагих женщин с растрепанными волосами, махающих саблями и пистолетами. Одна из них, не находя более камней чтобы скатить их на врагов, и видя, что они продолжают наступать, бросила в них своего ребенка, прежде разбив ему голову об скалу. Потом с прощальным проклятием ринулась вниз и сама…

Русские поднимались все выше и выше, и достигли вершины укрепления. Новый Ахульго был взят, как и старый[94].

Из трех батальонов полка генерала Паскевича который носит название графского, едва можно было составить один, да и то не полностью.

Русское знамя развевалось над Ахульго, Шамиль же не был взят. Искали его между мертвыми, но он не был убит. Шпионы уверяли, что он скрылся в указанной ими пещере. Проникли в пещеру, но Шамиля там уже не оказалось. Каким путем он бежал? Куда исчез? Какой орел унес его в облака? Какой подземный дух открыл ему дорогу сквозь недра земли?

Никто этого не знал.

Но вдруг каким-то чудом он появился во главе аварцев, и громче, нежели когда-либо, русские услышали вокруг себя: «У Аллаха только два пророка: первый — Магомет, другой — Шамиль».

Нечего и говорить, что кавказские народы, почти все без исключения, отличаются храбростью, доходящей до безрассудства; в этой вечной борьбе единственные расходы горца идут на оружие. Черкес, лезгин или чеченец, который одет почти в лохмотья, имеет ружье, шашку, кинжал и пистолет, стоящие две или три тысячи рублей. Ружейные стволы, клинки кинжалов и шашек всегда носят имя или шифр своего мастера.

Мне дарили кинжалы, стальной клинок коих стоил 20 рублей, серебряная же оправа их стоила только четыре или пять рублей. У меня есть шашка, которую я выменял у Магоммед-хана на револьвер; клинок ее был оценен в восемьдесят рублей, т. е. более трехсот франков.

Князь Тарханов подарил мне ружье, ствол которого без оправы стоит сто рублей, вдвое более, нежели двустволка Бернарда.

У некоторых горцев есть прямые клинки, которые существуют со времен крестоносцев; они носят также кольчуги, щиты и каски XIII столетия; они имеют на груди красный крест, с которым предки их взяли Иерусалим и Константинополь и о чем они вовсе не знают. Эти клинки высекают огонь не хуже огнива и бреют бороду как бритва.

Самое ценное богатство горца, для которого он ничего и никогда не пожалеет, — это его конь. Действительно, конь горца самое важное его оружие — оборонительное и наступательное.

Костюм горца, как бы ни был изодран, всегда если не изящен, то по крайней мере

---

[94] За взятие Ахульго генерал Граббе был награжден орденом Александра Невского. В 1848–49 гг. участвовал в подавлении восстания в Венгрии. В 1862 году — атаман войска Донского, с 1866 года — член Государственного совета. Уйдя в отставку поселился в Одессе. Умер возведенным в графское достоинство (Фонд П. Х. Граббе в ЦГВИА СССР (ф 62. д. 78).

живописен. Он состоит из черной или белой папахи, черкески с двойным рядом патронов на груди, из широких шаровар, стянутых узкими двухцветными штиблетами, из красных или желтых сапог с папушами тех же цветов, и из бурки — это разновидность накидки из шерсти, предохраняющая не только от дождя, но и от пуль.

Некоторые для щегольства выписывают из Ленкорани бурки из пуха пеликанов, которые обходятся в шестьдесят, восемьдесят и даже в сто рублей. Одна из таких бурок, изумительной выделки, была подарена мне князем Багратионом.

Когда одетый таким образом горец едет на своем низкорослом неутомимом коне, с виду напоминающем арабскую породу, то он действительно имеет великолепный вид.

Несколько раз случалось, что черкесские отряды пробегали за одну ночь сто двадцать, сто тридцать и сто пятьдесят верст. Их лошади поднимаются или спускаются всегда в галоп с покатостей, которые кажутся непроходимыми даже для пешехода. Поэтому преследуемый горец никогда не смотрит, что у него под ногами и что впереди. Если какой-нибудь ров пересекает ему дорогу, или даже пропасть такой глубины, что он боится, чтобы конь его не испугался ее, то он снимает с себя бурку, накидывает ее на голову коня и с криком: «Аллах! Иль Аллах!» бросается в пропасти глубиной в пятнадцать или двадцать метров, чаще всего без всяких дурных последствий для себя.

Хаджи-Мурад, историю которого мы расскажем позже, совершил такой прыжок с высоты в сто двадцать футов и поломал себе только ноги.

Горец, как и араб, защищает до последней возможности тело своего товарища, но напрасно утверждают, что он не оставляет его никогда. Мы видели близ аула Гелли, в яме, тело чеченского наиба и там же четырнадцать трупов его товарищей. Я храню ружье этого наиба, подаренное мне начальником местной горской дружины князем Багратионом.

Глава VIII
Татарские уши и волчьи хвосты

Вернемся к нашему мосту.

Благодаря конвою мы переехали мост безо всяких препятствий. Нас остановило только то, что Муане зарисовывал его. Казаки ожидали нас на самой верхней точке моста. Они выглядели очень эффектно, резко выделяясь на фоне снежных вершин Кавказа.

Этот мост построен с немыслимой смелостью; он возвышается не только над рекой, но и над обоими ее берегами более чем на десять метров. Это сделано на случай прилива воды; в мае, июне и августе все реки выходят из берегов и превращают равнины в огромные озера. В период наводнений горцы редко спускаются на равнину; впрочем, некоторые из них, более смелые, не прекращают и тут своих набегов.

Тогда они вместе с лошадьми переплывают реку на бурдюках. В бурдюк, к которому привязана лошадь, вкладывают сабли, пистолеты и кинжалы. Горец держит над головой ружье, которое он ни когда не оставляет. Этот момент самый опасный для пленников; привязанные к хвосту лошади и оставляемые горцем, который заботится только о своей собственной безопасности, они почти всегда тонут во время переправы через разлившуюся реку.

Переехав мост, мы очутились на обширной равнине. Никто не осмеливается возделать эту землю, которая уже не принадлежит горцам, но еще и не находится во власти русских.

Равнина изобиловала куропатками и ржанками. В день мы проезжали от силы тридцать пять — сорок верст, поэтому по пути часто охотились — Муане отправлялся в одну сторону, а я в другую, — каждого из нас сопровождали четыре линейных казака. Там мы в поте лица своего добывали себе обед. Обычно через полчаса у нас уже было четыре или пять штук куропаток и пять-шесть ржанок. На другом конце равнины показалась группа из десяти-двенадцати вооруженных человек. Двигалась она медленно и потому не была похожа на неприятельскую шайку, однако мы снова сели в тарантас, приняв необходимые предосторожности. Часто горцы, одежда которых совершенно схожа с одеждой татар,

живущих на плоскости, вовсе не заботятся о том, чтобы сесть в засаде, они продолжают свой путь и, сообразно обстоятельствам, нападают или спокойно проезжают мимо.

Группа, ехавшая нам навстречу, состояла из одного татарского князя и его свиты. Князю было лет около тридцати. Два нукера, следовавшие за ним, держали на руке по соколу. Впереди, но немного дальше мы заметили еще одну группу, направлявшуюся по той же самой дороге, по которой ехали и мы. А так как наш обоз состоял из телег и пеших солдат, идущих шагом, то мы скоро догнали ее и присоединились к ней.

Эта пехота служила конвоем для инженеров, отправлявшихся в Темир-Хан-Шуру для постройки крепости.

Шамиля окружают и стесняют все более и более, надеясь, что он будет задушен в каком-нибудь узком ущелье. По прибытии в Хасав-Юрт мы находились в полумиле от его аванпостов и в пяти милях от его резиденции.

После Кизляра дорога стала совсем иной; она уже не была гладкой и прямой как та, что привела нас из Астрахани в Кизляр, а была извилистой, благодаря холмистой местности, которая всегда встречается вблизи гор, и состояла почти только из подъемов и спусков, столь крутых и каменистых, что европейский кучер счел бы дорогу совершенно непроезжей и повернул бы назад, между тем как наш ямщик, вовсе не беспокоясь об оси нашего тарантаса и о наших костях, пускал на каждом спуске лошадей так быстро, что они мигом перевозили нас на другую сторону. Чем более был крут спуск, тем сильнее ямщик погонял лошадей. Человек должен иметь железные нервы, а тарантас стальные механизмы, чтобы выдержать подобную тряску.

Примерно в 2 часа дня мы увидели Хасав-Юрт. Ямщик поскакал во всю прыть. Мы переправились вброд через реку Карасу[95] и очутились в городе.

Не доезжая четырех или пяти верст до Хасав-Юрта, мы отправили казака, чтобы он отыскал нам жилье.

Казак ожидал нас при въезде в город с двумя офицерами Кабардинского полка, которые, узнав, что для меня искали помещение, не позволили казаку идти далее и объявили, что для нас нет квартиры, кроме их дома.

Нельзя было не принять такого любезного предложения. Они уже подготовили две самые лучшие комнаты для нашего помещения. Я поместился в одной комнате; Муане и Калино — в другой.

Офицеры крайне сожалели, что князь Мирский не был в Хасав-Юрте. Но они не сомневались, что в его отсутствие полковник сделает для нас то же самое, что сделал бы и князь.

Главное состояло в том, чтобы достать лошадей до Чир-Юрта. В Чир-Юрте жил князь Дондуков-Корсаков[96], имя и радушие которого мне были известны: во Франции я дрался на дуэли с его братом, умершим потом в Крыму, и это обстоятельство, благодаря рыцарскому характеру князя, заставляло меня быть еще более уверенным в добром приеме.

В сопровождении моего друга Калино я отправился к командиру, но его не было дома, и я оставил у него визитную карточку.

Я заметил перед домом полковника роскошный сад, который с населявшими его лебедями, цаплями, аистами и утками, показался мне ботаническим садом. Решетчатая дверь, поддерживаемая только подпорками, была не заперта. Я толкнул ее и вошел в сад.

В эту самую минуту подошел ко мне какой-то молодой человек, лет двадцати трех-двадцати четырех.

---

[95] Черная река.
Прим. А Дюма.

[96] Полковник Дондуков-Корсаков Александр Михайлович (1820–1893) — до 25 октября 1858 года командир Нижегородского драгунского полка, после него полком командовал граф Иван Григорьевич Ностиц. В 1882–90 годах князь Дондуков-Корсаков был главнокомандующим русской армией на Кавказе.

— Вы, кажется, господин Дюма? — спросил он.

— Да.

— А я сын генерала Граббе[97].

— Того самого генерала, что взял Ахульго?

— Того самого.

— Свидетельствую вам мое почтение.

— Ваш отец, насколько я знаю, сделал в Тироле[98] то же, что мой совершил на Кавказе, — это должно нас избавить от каких-либо церемоний.

Я протянул ему руку.

— Я вас искал, — сказал он мне. — Я сейчас только узнал о вашем прибытии. Князь Мирский будет крайне огорчен, что не увидел вас. В отсутствие его вы позволите нам предложить свои услуги?

Я рассказал ему о своих приключениях, о том, как я нашел себе квартиру, и что мне не удалось видеть полковника.

— А видели вы свою хозяйку? — спросил он, улыбаясь.

— Разве у меня есть хозяйка?

— Да, так вы ее еще не видали? Это миленькая черкешенка из Владикавказа.

— Слышите, Калино?

— Если вы ее увидите, — продолжал г-н Граббе, — постарайтесь заставить ее станцевать лезгинку: она прелестно танцует.

— Вероятно, тут ваша власть сильнее моей, — сказал я ему, — не буду ли я невежливым, если попрошу отдать в мое распоряжение эту власть?

— Я сделаю это с удовольствием. Куда же вы теперь идете?

— Домой.

— Позволите вас проводить?

— Буду рад.

Минут через пять нам доложили о приезде подполковника Коньяра[99]. Фамилия эта показалась мне счастливым предзнаменованием: так звались двое моих друзей. Я не ошибся. Если кто-нибудь мог утешить меня в отсутствие князя Мирского, о котором мне столько говорили хорошего, так это тот, кто его заменял. Он просил нас не беспокоиться о нашем отъезде на другой день: все от него зависело — и лошади и конвой.

Кабардинский полк, командуемый князем Мирским, как главным начальником, и подполковником Коньяром — его заместителем, — самый передовой пост русских на неприятельской земле.

Часто горцы, даже непокорные, спрашивают позволения приходить в Хасав-Юрт для продажи своих быков и баранов. Это позволение им всегда дается, но покупать запрещено. В день нашего приезда двое пришли с формальным дозволением полковника и продали

---

[97] У П. Х. Граббе было два сына, служивших в Кавказской армии: Александр (погиб в 1863 г. при подавлении польского восстания) и Михаил (убит в 1877 г. в боях за Карс). О ком из них идет речь в книге Дюма, мы не знаем.

[98] В битве с австрийцами возле городка Клаузен генерал Александр Дюма (1762–1806) у въезда из Бриксенский мост один задержал неприятельский эскадрон. За этот подвиг австрийцы прозвали его «черным дьяволом».

[99] Фамилия Коннар (Коньяр) в полку не значилась. Но в Тенгинском пехотном полку в эти годы служил майор Валерий Моисеевич Коньяр — потомок французских эмигрантов. Не исключено, что именно в те дни, когда Дюма был в Кабардинском полку, туда приехал и майор Коньяр. Двумя друзьями Дюма, о которых он вспоминает, были братья Карл-Теодор Коньяр (1806–1872) и Жан-Ипполит Коньяр (1807–1882) — популярные парижские драматурги. Какова судьба майора Коньяра? Точными сведениями мы не располагаем, но косвенные данные у нас есть. В книге Г. Хуцишвили «Приглашение в Грузию» (Тбилиси, 1982. с. 141) сообщается, что в селе Лыхны сохранилась часовня в память о генерале Коньяре. Скорее всего речь идет о В. М. Коньяре.

тридцать быков.

Кроме скота, они приносят в город мед, масло и фрукты. Разумеется, им платят наличными. Особенно их интересует чай, который запрещено им продавать. Поэтому при каждом выкупе пленных горцы просят, кроме обыкновенной цены, еще и десять, пятнадцать, двадцать фунтов чаю.

Случается, что горцы нападают даже в самом городе: редкую ночь они не похитят кого-нибудь.

В конце лета около трех часов дня солдаты и дети купались в Карасу, а подполковник прогуливался по укреплению. Около пятнадцати татарских всадников спускаются к реке и поят своих лошадей посреди купающихся. Вдруг четверо из них схватывают двух мальчиков и двух девочек и быстро скачут прочь. По крикам детей подполковник узнает о происшествии и велит стрелкам преследовать похитителей. Стрелки спрыгивают или просто скатываются с укреплений и гонятся за татарами, но те уже далеко.

Мальчик укусил своего похитителя в руку, и так сильно, что горец выпустил его. Ребенок упал, однако тотчас вскочив на ноги, он хватает камни и защищается. Татарин направляет на него лошадь, но мальчик змеей проскальзывает меж ее ног. Татарин стреляет из пистолета и промахивается. Мальчик, более ловкий, швыряет ему в лицо камень.

А стрелки все ближе. Горец видит — ему несдобровать и поворачивает коня, оставив ребенка в покое.

Трое других еще в плену. Горцы сначала просили за них тысячу рублей, несмотря на то, что мальчики были детьми солдат, а солдатам не дозволено выкупать пленников на государственные деньги. Хасав-Юртовские дамы собрали деньги для выкупа. Набралось сто пятьдесят рублей. Их вручат горцам, которые для этого спустились вниз. Подполковник уверен, что горцы для приличия поторгуются, но потом все же примут эту сумму.

В сделках подобного рода обыкновенно какой-то местный татарин служит посредником. Каждая сторона имеет также своих шпионов, которых расстреливают, если они уличены противной стороною. Не так давно один из лазутчиков подполковника по имени Салават был разоблачен горцами; его отвели на гору и раздробили череп из пистолета на глазах русского лагеря. Через два дня нашли его тело, растерзанное шакалами.

Из того же Хасав-Юрта был послан к Шамилю хирург Пиотровский[100]. В полумиле от укрепления происходил выкуп княгинь Орбелиани и Чавчавадзе.

Пока подполковник Коньяр рассказывал подробности, кто-то пришел к нему и что-то прошептал на ухо. Подполковник рассмеялся.

— Не позволите ли вы мне, — спросил он, — принять здесь одну особу? Вы станете свидетелем обычая, который вас заинтересует.

— Сделайте одолжение! — отвечал я.

Женщина-татарка, укутанная так, что оставались видными только глаза, сойдя у ворот с коня вскоре показалась в дверях нашей комнаты.

Узнав подполковника по мундиру, она направилась прямо к нему. Подполковник сидел за столом. Татарка остановилась по другую сторону стола, развязала небольшой мешок, висевший у ней за поясом, и извлекла из него два уха.

Концом трости подполковник удостоверился, что это были два правых уха. Он взял перо и бумагу и написал расписку на двадцать рублей. Затем, оттолкнув уши концом палки, сказал по-татарски:

— Ступай к казначею!

Опустив уши вместе с распиской в мешок, амазонка села на коня и поскакала к казначею для получения двадцати рублей.

За каждую отрубленную голову горца назначено вознаграждение в десять рублей.

---

[100] Воспоминания Пиотровского о поездке в стан Шамиля были напечатаны в газете «Кавказ» в 1858 году. Их перевели А. Дюма, и он включил их в «Кавказ». Дюма иногда называет Пиотровского Петровским. Чтобы всякий раз не объяснять это, мы везде даем Пиотровский.

Князь Мирский, питавший, разумеется, отвращение к этим кровавым трофеям, счел достаточным, чтобы доставляли только правое ухо. Но он никак не мог заставить своих охотников руководствоваться этим нововведением; с тех пор, как они воюют с татарами, они все равно отрубают головы, объясняя сие тем, что не могут отличить правое ухо от левого.

Это вознаграждение в десять рублей за каждое правое ухо неприятеля напомнило мне историю, которую рассказывали в Москве.

Из-за великого множества волков, причинявших вред некоторым русским губерниям, обещано вознаграждение в пять рублей за каждого убитого волка; оно выдавалось по представлении хвоста. При ревизии 1857 года оказалось, что израсходовано сто двадцать пять тысяч рублей на эту премию. Это составляет полмиллиона франков[101].

Итак, волков было неправдоподобно много. Начали следствие, и выяснилось, что в Москве есть фабрика фальшивых волчьих хвостов, до того хитро изготовляемых, что лица, решавшие давать премию или нет, запросто вводились в заблуждение. По сему премия понизилась до трех рублей и выдается только по предъявлении всей головы целиком.

Может быть, когда-нибудь вскроется, что в Кизляре, Дербенте или в Тифлисе существует фабрика фальшивых чеченских ушей.

Подполковник Коньяр пригласил нас отобедать в пять часов, а капитан Граббе — в свою комнату. Он пожелал показать свои рисунки, которые, как он уверял, могли нас заинтересовать.

Глава IX
Головорезы

Пока мы болтали с подполковником Коньяром, Калино, имевший перед нами два больших преимущества, а именно знание языка и молодость, разыскал нашу хозяйку-черкешенку и уговорил ее войти в зал. Это была прехорошенькая девушка, двадцати — двадцати трех лет, одетая по владикавказской моде. Она, кажется, поняла, что гораздо лучше кружить головы, нежели их резать.

Калино не знал, что мы были приглашены на обед к подполковнику, и просил прекрасную черкешенку отобедать с нами. Мы крайне сожалели, но слово уже было дано. К счастью, Калино и наш молодой дербентский офицер его не давали. Они могли остаться и, имея в своем распоряжении кухню, выгодно заменить нас.

Мы извинились перед красавицей Лейлой, пообещав ей возвратиться тотчас после обеда, если она для нас станцует. Заручившись ее словом, мы отправились с капитаном Граббе. Он жил в красивом домике, окна которого выходили в сад.

Граббе показал свои рисунки, которые характеризовали его как хорошего художника в первую очередь портретиста. Среди портретов были три-четыре поясных портрета, привлекшие особое внимание.

Головы — величиною с монету в десять су — и лица обращали на себя внимание своей необычностью. Одеждой они не отличались друг от друга.

— Вот славные бороды и великолепные фигуры, — сказал я, — но кто же они?

— Лучшие из детей земли, — отвечал он. — Впрочем, они имеют одну страсть…

— Какую?

— Поклялись отрубать каждую ночь, по крайней мере, по одной чеченской головушке и, подобно горским абрекам, строго исполняют обет.

— А! Вот это интересно. По десять рублей за голову, то бишь три тысячи шестьсот пятьдесят рублей в год.

— О, не из-за денег, а из удовольствия! Есть у нас общая касса, и, когда дело идет о

---

[101] Новое «Не любо — не слушай, а лгать не мешай».
Прим. Н. Г. Берзенова.

выкупе из плена, они всегда первыми вносят пожертвования.

— Ну, а горцы?

— Они отплачивают им как нельзя лучше; вот почему портретируемые носят такие красивые бороды и волосы — для того, как говорят они сами, чтобы чеченцы, отрезая им голову, знали, за что ее схватить.

— И у вас целый полк таких вояк?

— О, нет! Надо было обшарить всю русскую армию, чтоб собрать полк из подобных. У нас только одна такая рота, основанная князем Барятинским в бытность его командиром Кабардинского полка. Он вооружил их карабинами. Вы увидите, они превосходной тульской работы, простые двуствольные, со штыком, длиною в шестьдесят сантиметров.

— Штык — изрядная помеха меткому стрелку: глаз невольно скользит по нему и принимает неверное направление.

— Штык прячется под дуло ружья, а если нужно, с помощью пружины выпрямляется.

— Прекрасно! А эти портреты?

— Они сняты с Баженюка, Игнатьева и Михайлюка.

— Не увидим ли мы оригиналы?

— Кажется, подполковник хочет устроить сегодня вечером маленькое празднество в нашем клубе, а поскольку ни один праздник не проходит без охотников, вы их там и увидите.

— В таком случае они не успеют в эту ночь совершить свою экспедицию?

— Ничуть! Они совершат ее, только попозже, вот и все.

С этой минуты мною овладело желание, которое больше не покидало меня, а именно — отправиться с ними следующей ночью в экспедицию. Такая же идея пришла и Муане, ибо мы переглянулись и засмеялись. Впрочем, ни он, ни я не сказали пока ни слова.

Было уже пять часов.

— Я очень хотел бы снять копию с ваших рисунков, — сказал Муане, обращаясь к г-ну Граббе.

— В котором часу вы завтра поедете? — спросил капитан.

— Куда нам торопиться? — отвечал я. — Отсюда до Чир-Юрта остается только тридцать или тридцать пять верст.

— Итак, — сказал капитан Граббе, — вы увидите наших молодцев сегодня вечером; вы можете указать, кто из них вам понравился, и я пришлю их к вам поутру. Уверен, вам не приходилось видеть более выносливых и дисциплинированных людей: эти молодцы простоят перед вами час, не моргнув.

Успокоенный обещанием, Муане согласился воспользоваться приглашением подполковника.

На обеде мы разговаривали о местных нравах, обычаях и легендах: подполковник Коньяр, родом француз, как указывает его фамилия, отличается большим умом, человек он очень наблюдательный и говорит по-французски так, будто провел всю свою жизнь в Париже. Поэтому обед пролетел так же стремительно, как проходили те знаменитые обеды Скаррона, на которых красноречие его хозяйки заставляло забывать о жарком.

К восьми часам мы должны были прибыть в клуб офицеров Кабардинского полка. Обед закончился в шесть; мы просили позволения сдержать обещание, данное нашей хозяйке, провести с нею час, в течение которого она обещала познакомить нас с черкесским и лезгинским танцами.

Вернувшись к себе, мы нашли прекрасную Лейлу разодетой в пух и прах. На голове у нее красовалась шитая золотом шапочка с длинной газовой вуалью. Длинное платье черного атласа с золотой бахромою. Поверх она надела легкого шелка накидку бело-розового цвета, великолепно обрисовывавшую руки и талию до самых колен. Талию перехватывал серебряный пояс, на котором висел небольшой кривой кинжал из слоновой кости в золотой оправе. Туалет, походивший скорее на грузинский, нежели на черкесский, завершался остроконечными бархатными туфельками вишневого цвета, расшитыми золотом, которые

лишь изредка выглядывали из-под длинных складок черного атласного платья, чтобы выказать миленькую ножку.

Говорят, черкесы самый красивый народ в мире. Это справедливо лишь относительно мужчин, но спорно в отношении женщин. По моему мнению, грузин все-таки может поспорить с черкесом в красоте. У меня никогда не изгладится из памяти впечатление, которое произвела на меня посреди татарско-ногайских степей, внешность первого встреченного мною грузина.

Вид калмыков и монголов, через землю коих мы проезжали месяц назад, представлял нашим взорам два бесспорно самые резкие типа человеческого безобразия, по крайней мере для нас, европейцев: желтый цвет лица, лоснящаяся кожа, узкие глазки, приплюснутый или почти незаметный нос, редкая борода, жесткие волосы, неопрятность, вошедшая в пословицу, — вот все, что с утра до вечера услаждало наш взор.

Но на одной станции мы увидели молодого человека лет двадцати пяти или тридцати, который грациозно стоял, опершись на крыльцо, у дверей, в шапке, похожей на персидскую, но только не такой высокой. Лицо его было матово; с прекрасными волосами, мягкими как шелк, и черной бородой с красноватым отливом. Брови казались нарисованными кистью, агатовые глаза с неопределенным выражением прикрывались бархатными ресницами. Нос его мог послужить моделью для носа Аполлона. Губы, алые как коралл, при черной бороде, показывали перламутровые зубы, и при всем том, этот греческий бог, сошедший на землю, этот Диоскур, забывший взойти на Олимп, был в изорванной чохе и в таком же бешмете. Из-под широких панталон лезгинского сукна виднелись голые ноги.

Муане и я испустили невольный крик удивления; красота так ценится у цивилизованных народов, что бесполезно оспаривать ее. Невозможно не признать ее, независимо от того, кто ею обладает — мужчины или женщины.

Я спросил молодого человека о его происхождении и услышал: он — грузин.

Преимущество черкеса перед грузином состоит в такой красоте, какую всегда будет иметь горец по сравнению с городским жителем, т. е. в соединении полудикого развития с совершенством форм. Черкес со своим соколом на руке, с буркой на плечах, с башлыком на голове, с кинжалом за поясом, с шашкою на боку, с ружьем за плечом, представляет средние века, XV столетие посреди XIX-го.

В красивом своем костюме из шелка и бархата грузин олицетворяет цивилизацию XVII столетия, это Венеция, Сицилия, Грузия.

Что касается черкешенок, то молва об их слишком уж превозносимой красоте, может быть, вредит им, особенно на первый взгляд. Правда, мы видели черкесов, но не горных — вероятно, первобытная красота женщин, сойдя на равнину, переродилась. Кроме того, чтобы судить и оценить ее вполне, надо изучить красоту черкесских женщин так, как сделали это некоторые путешественники и среди них Ян Стрейс, на которого, как мне кажется, можно положиться, тем более, что он принадлежит к нации, которая отличается хладнокровием и нелегко воспламеняется. Ян Стрейс, как показывает его имя, — голландец. Мы сошлемся на то, что он говорит о черкешенках: ведь иногда менее трудно и тем более менее неловко ссылаться на другого, нежели писать самому.

«Все кавказские женщины, — говорит Ян Стрейс, — имеют в себе что-то приятное и нечто такое, что заставляет их любить. Они красивы и белотелы, и эта белизна смешана с таким прекрасным колоритом; что необходимо соединить лилию и розу для того, чтобы представить красоту совершеннее; чело их высокое и гладкое; без помощи искусства брови их так тонки, что они походят на загнутую шелковую нить. Глаза большие, кроткие, но полные страсти, нос правильный, уста алые, рот маленький и смеющийся, подбородок такой, какой свойственен только абсолютной красоте, шея и горло отличаются белизной и дородностью, которых требуют знатоки совершенства, а на плечи, полные и белые, как снег, падают длинные и черные, как смоль, волосы, то распущенные, то заплетенные, но всегда красиво обрисовывающие овал лица.

Когда я говорил об их персях, можно было подумать, что я считаю их чем-то

обыкновенным, между тем, нет ничего столь редкого и заслуживающего большего внимания, — я имею в виду изящно уложенные два шара твердости невероятной, о которых можно сказать, не преувеличивая, что ничего нет белее и чище.

Одна из главных их забот состоит в том, чтобы мыть их каждый день, боясь, как говорят они, сделаться недостойными из-за пренебрежения к тем прелестям, какие даровало им небо. Стан их прекрасный, величественный, роскошный, и все манеры свободные, раскрепощенные.

Имея такие прекрасные внешние данные, они не жестоки, не боятся любезностей мужчин, к какой бы нации он не принадлежал, и если даже он подходит к ним или касается их, они не только не отталкивают его, но сочли бы за обиду помешать ему сорвать с них столько лилий и роз, сколько нужно для приличного букета. Как женщины эти свободны, так же добродушны и их мужчины: они хладнокровно смотрят на внимание, оказываемое их женщинам, от которых они не сходят с ума и не делаются ревнивыми ссылаясь на то, что женщины подобны цветам, красота коих была бы бесполезна, если бы не было глаз, чтобы смотреть на них, и рук, чтобы дотрагиваться до них».

Вот как путешественник Ян Стрейс написал в Амстердаме в 1681 году[102], в начале царствования Людовика XIV, слогом, как видно достойным слога Жентиль-Бернарда — поклонника женского пола. Ясно, что исследования Яна Стрейса насчет черкешенок более глубокомысленны, чем мои — я удовлетворюсь тем, что присоединюсь к ним, и приглашаю моих читателей сделать то же самое.

Как бы там ни было, слава о красоте кавказских женщин распространена до такой степени, что на трапезундском и константинопольском базарах за черкешенку платят почти всегда вдвое, иногда втрое больше, чем за женщину, красота коей на первый взгляд показалась бы нам равной с первой или даже превосходящей.

Впрочем, это отступление не только не удалило нас от нашей хозяйки, а напротив, приблизило к ней. Она обещала нам станцевать и сдержала слово. Мы безуспешно искали музыканта, поэтому она была вынуждена плясать под аккомпанемент инструмента, на котором сама и играла. Увы, это лишало ее танцы участия рук.

Танец был так хорош, что мы условились привести какого-либо музыканта, чтоб прекрасная Лейла могла иметь успех более полный и достойный ее искусства.

В восемь часов капитан Граббе пришел за нами: все уже собрались в клубе.

Клуб, как нас уже предупредили, помещался в простой лавке торговца разной мелочью. На прилавке, простиравшемся во всю ее длину, были расставлены сыры разных сортов, свежие фрукты и варенья всех стран. Но что заставляло трепетать сердца, так это двойной ряд бутылок шампанского, выстроенный от одного конца прилавка до другого с правильностью, которая делала честь русской дисциплине. Действительно, ни одна из них не выдвигалась вперед, ни одна не прикасалась к другой. Я не считал их, но было, по всей видимости, от шестидесяти до восьмидесяти бутылок. Таким образом приходилось по две или по три бутылки на гостя при условии, что не потребуется подкрепления из погреба.

Нигде не пьют столько, сколько в России, кроме разве еще в Грузии. Было бы очень интересно увидеть состязание между русским и грузинским бражниками. Держу пари, что число выпитых бутылок будет по дюжине на человека, но я не берусь сказать заранее, за кем останется победа. Впрочем, я уже закалился в подобных боях. Вообще-то я пью только чуть подкрашенную воду; если вода хороша, я пью ее чистой. Будучи совершенным невеждой в оценке достоинства вин и не умея отличить бордоское от бургундского, я напротив, большой знаток воды. Когда я жил в Сен-Жермене и мой садовник по лености ходил черпать воду из фонтана, находившегося ближе того места, откуда обыкновенно доставлялась вода, я запросто разоблачал его. Подобно людям, пьющим мало, — это какой-то парадокс — я не скоро напиваюсь. Люди, пьющие много, быстро напиваются оттого, что у них всегда

---

[102] У Дюма 1661 год. — это явная опечатка.

остается похмелье от предыдущего дня. Я воздал должное восьмидесяти бутылкам шампанского, собранным на праздник, героем которого был. В соседней комнате все это время раздавались звуки татарского тамбурина и лезгинской флейты. Наши головорезы и охотники Кабардинского полка пришли показать свои хореографические таланты. Только дверь отворилась и мы вошли в комнату, как я тот час узнал оригиналы виденных портретов Баженюка, Игнатьева и Михайлюка. Они крайне удивились, когда я назвал их по имени, и это весьма способствовало нашему близкому знакомству. Минут через десять мы были уже самыми лучшими друзьями, и они качали нас на своих руках, как детей.

Каждый плясал, как умел, кабардинские охотники танцевали черкесский и лезгинский танцы. Калино, один из самых неутомимых плясунов, каких я когда-либо знавал, отвечал им трепаком. Еще немного, и я, быть может, тоже вспомнил бы дни юности и показал бы кавказцам образец нашего национального танца.

В десять часов пир кончился. Мы простились с подполковником, который назначил наш отъезд на другой день в 11 часов утра, чтобы успеть предупредить одного татарского князя, что мы заедем к нему обедать. Простились и с молодыми офицерами, из которых трое или четверо были в солдатских шинелях. Последние показались нам такими же веселыми и свободными в обращении со своими начальниками, как и все остальные. Это были молодые офицеры, за политические преступления разжалованные в солдаты. В глазах своих товарищей они совершенно ничего не теряют от этого унижения и пользуются на Кавказе таким же общественным положением, какого их лишили в Москве и Санкт-Петербурге.

Уходя, мы попросили у подполковника разрешения взять с собою Баженюка, Игнатьева и Михайлюка при условии, что к полуночи они будут свободны: ведь снаряжен был ночной секрет — так называется ночной поход против похитителей мужчин, женщин и детей.

Мы пообещали трем нашим кабардинцам отпустить их, когда они пожелают. Они тихо обменялись несколькими фразами, и мы все возвратились в свою квартиру, где нас ожидала хозяйка, которая своими танцами доставляла себе столько же удовольствия, сколько и своим зрителям.

Глава X
Секрет

Среди трех кабардинцев, которых мы привели с собой, один был замечательный плясун, а второй — Игнатьев — еще и отличный музыкант.

Игнатьев был одним из самых забавных и в то же время самых страшных типов, каких я когда-либо видел. Толстый, короткий, коренастый, геркулесовского сложения, с такой же широкой папахой, как и его плечи, закрывавшей своею шерстью ему лицо почти до самого носа, и с рыжей бородой до пояса. Он играл своими короткими и сильными руками на скрипке с таким неистовым самозабвением и страстью, что даже держал скрипку в правой, а смычок в левой руке. Смычком же он водил по струнам с такой энергией, какая была бы нужна для того, чтоб при распилке куска железа заставить пилу издавать звуки.

Наша хозяйка могла плясать не только ногами, но и, так сказать, руками. Сначала мы думали что она струсит при виде приведенных нами субъектов, но без сомнения, она знала их и прежде, ибо приняла их с милой улыбкой, пожала руку Баженюку и обменялась несколькими словами с Игнатьевым и Михайлюком.

Игнатьев вынул из-под черкески скрипку и стал играть лезгинку. Не заставляя себя еще просить, Лейла тотчас же начала плясать вместе с Баженюком.

Я уже говорил о глубоко грустном впечатлении, производимом на меня русской пляской: она похожа на те похоронные танцы, которые совершали греки на кладбищах. Восточные танцы тоже не веселы, разве что за исключением танцев баядерок. Кроме того, эти танцы очень свободны даже цинично-жалобны, но никогда не бывают веселы. Это, собственно, даже не танцы, а медленное хождение взад и вперед, ноги никогда не отрываются от земли, а руки — гораздо больше занятые, чем ноги — делают привлекающее

или отталкивающее движения. Мелодия всегда одна и та же и продолжается до бесконечности. Музыканты, плясуны и плясуньи могут производить такого рода телодвижения целую ночь, не чувствуя никакого утомления.

Бал продолжался до полуночи с той же самой танцовщицей при участии Баженюка, Михайлюка и Калино, который порой не мог удержаться, чтобы не затмить лезгинский или кабардинский танец русской пляской. Игнатьев же, который должен бы утомиться больше остальных, так как танцевал быстрее всех, был по-прежнему неутомим.

В полночь послышался какой-то шум на дворе, а потом и в коридоре: это были приятели наших охотников. Они были в походных костюмах, т. е. вместо парадных черкесок, в которых они совсем недавно нас принимали, на них были оборванные черкески. Они составляют боевой наряд, пострадавший от колючек и кустарников во время их отважных похождений. Не было ни одной черкески, на которой бы не было следов пули, или кинжала, или пятен крови. Если бы черкески могли говорить, то рассказали бы о смертельных боях, рукопашных схватках, криках раненых, о последних воплях умирающих. Боевая история черкесок, эти кровавые легенды ночи, могла бы стать символом этих людей.

У каждого охотника был двуствольный карабин и длинный кинжал за поясом; нет ни одного среди этих кабардинцев, пули которого не убили кого-то; нет ни одного кинжала, острие которого не отделило бы от туловища не одну, а десятки голов.

Другого оружия нет.

Приятели Баженюка, Михайлюка и Игнатьева принесли и им походные черкески и карабины. Что же касается кинжалов, то они никогда с ними не расстаются, а патронташи их всегда наполнены порохом и пулями.

Двое наших плясунов и музыкант облеклись в свое походное платье. Муане, Калино и я также вооружились.

Мы были готовы.

— *Пойдем!* — сказал я по-русски.

Охотники посмотрели на нас с удивлением.

— Объясните им, — сказал я Калино, — что мы отправляемся с ними и хотим участвовать в ночном секрете.

Муане утвердительно кивнул, Калино перевел мои слова.

Баженюк, который был фельдфебелем и привык командовать в подобных экспедициях, стал очень серьезен.

— Правду ли, — спросил он Калино, — говорят французский генерал и его адъютант?

Ничто не разуверило бы их в том, что я французский генерал, а Муане — мой адъютант.

— Совершеннейшая правда, — отвечал Калино.

— В таком случае, — продолжал Баженюк, — они должны знать наши обычаи, которым, впрочем, они могут и не следовать, так как они не из нашей компании.

— Обычаи? — спросил я. — В чем же они состоят?

— Два охотника никогда не нападают на одного чеченца: выходят один на один. Если на одного охотника напали два, три или четыре горца, то к нему приходят на помощь столько же охотников, сколько горцев, — ни больше, ни меньше. Если можно убить издали, тем лучше — собственно, карабин служит только для этой цели. Как теперь думают поступить французы, узнав наши правила?

Калино перевел вопрос.

— Точно так же, как поступаете и вы.

— Будете ли вы в засаде своей тройкой или вместе с нами?

— Я бы желал, — отвечал я, — и думаю, что мои товарищи желают того же, чтобы каждый из нас находился возле каждого из вас.

— Пусть будет так: со мной останется генерал, с Игнатьевым его адъютант, а так как вы русский, то делайте, как вам заблагорассудится.

Калино непременно хотел быть там, где более опасно. Ему не терпелось сразиться с

черкесом и убить его, за что он мог получить Георгиевский крест.

Мы отправились уже за полночь. Сначала ночь казалась такой мрачной, что ничего не было видно на расстоянии четырех шагов. Но мы сделали шагов сто, и наши глаза уже свыклись с темнотой.

Никого мы не встретили; только собаки приподнимались у порога домов, мимо которых мы проходили, или перебегали через дорогу, они подсознательно чувствовали, что имеют дело с друзьями, ибо ни одна из них не лаяла.

Мы вышли из селения и достигли правого берега реки Яраксу. Шум мелких камней, перекатывавшихся на дне бурной реки, перекрывал шум наших шагов.

Впереди виднелась гора, похожая на груду какой-то черной породы.

Ночь была превосходна, небо словно было покрыто алмазами; здесь как нельзя более была кстати прекрасная фраза Корнеля:

Cette obscure clarte qui tombe des etoiles[103].

Мы сделали почти четверть мили, когда Баженюк подал знак остановиться. Невозможно повиноваться с большей точностью, с какой мы это сделали.

Он прилег, припал ухом к земле и слушал. Потом, приподнявшись, сказал:

— Это мирные татары.

— Как он это может знать? — спросил я Калино.

Калино передал ему мой вопрос.

— Лошади их идут иноходью: горские же лошади вынуждены ходить обыкновенным шагом, посреди скал.

Действительно, через пять минут мимо нас в темноте проехало несколько всадников, человек семь или восемь. Нас не заметили. Баженюк велел нам спрятаться за пригорком правого берега Яраксу. Я спросил о причине такой предосторожности.

Среди жителей равнин горцы часто имеют своих шпионов, и один из этих проезжающих мог быть шпионом, потом он отделился бы от своих попутчиков и дал бы знать татарам. Поэтому мы переждал и, пока они не скрылись из виду, и только после этого снова пустились в путь.

Через полчаса ходьбы мы заметили слева какое-то белое строение. Это была русская крепость Внезапная — передовой пункт всей линии.

Горная покатость исчезала у основания этих стен, с которых доносился голос часового, изредка кричавшего: *«Слушай»!* Но этот голос, издаваемый сперва одним часовым, потом другим, наконец третьим, не имел четвертого — эхо исчезало в воздухе, как крик ночного духа.

Мы ехали еще минут десять, затем, почти не замочив ног, перешли Яраксу и продолжали идти по колючим кустарникам вдоль горной покатости до тех пор, пока не достигли другой реки, мелководной, как и первая. Переправившись и через нее, мы пустились по дорожке, протоптанной пастухами, которая привела нас к третьей реке, более широкой и очевидно более глубокой, чем две прежние. Это река Аксай — один из притоков Терека.

Другая, которую мы перешли почти у самых ее истоков, называлась Ямансу.

Пока я обдумывал, каким образом мы перейдем через реку, Баженюк сделал мне знак, чтобы я сел ему на плечи. То же самое приглашение было повторено — Игнатьевым и Михайлюком — и моим товарищам.

Мы сели на них верхом. Вода доходила выше колен. Носильщики спустили нас на другом берегу. Потом Баженюк все так же молчаливо отправился в путь, идя на этот раз вниз по течению реки и следуя по левому берегу Аксая. Хотя я и не понимал этого маневра, но молчал, предполагая необходимость молчания и собираясь спросить после. По мере того, как мы спускались, Аксай становился шире и, по-видимому, глубже.

---

103 «Тот мрачный блеск далеких звезд» *(франц.)*.

Один из наших вожатых сделал знак Баженюку и остановился. Находясь на сто шагов дальше нас, другой также остановился. Еще за сто шагов третий сделал то же самое. Я понял, что они готовились сторожить.

На всем протяжении горы реку можно было перейти вброд. Чеченцы, возвращаясь из своих ночных экспедиций, вовсе не заботились о поисках брода, а бросались со своими лошадьми откуда попало. Вот почему наши охотники разместились вдоль реки на расстоянии ста шагов друг от друга.

Баженюк, шедший во главе, разумеется, остановился последний, ну и я с ним. Он прилег к земле, давая мне знак сделать то же. Мы могли общаться только знаками, так как он не говорил по-французски, а я по-русски. Я последовал его примеру, спрятавшись за кустом.

В ущелье неслись, подобно детскому плачу, крики шакалов. Только эти крики и шум Аксая нарушали безмолвие ночи. Мы были слишком далеко от Хасав-Юрта, чтобы слышать бой часов, и от Внезапной, чтобы слышать голос часовых. Малейший шум, достигавший нас в этом месте, был шум неприятеля, производимый или людьми, или животными.

Я не знаю, что происходило в душе моих спутников, но меня сейчас поразила мысль о том, как мало времени требуется, чтобы все в жизни резко переменилось. Почти два часа назад мы находились в городе в очень теплой, освещенной комнате, в дружеском кругу. Лейла танцевала, как умела, кокетничая глазами и руками; Игнатьев играл на скрипке; Баженюк и Михайлюк плясали, мы били в ладоши и притопывали ногами; у нас не было ни одной мысли, которая бы не была веселой и радостной. И вдруг такой контраст!

Через два часа мы уже находились посреди холодной и мрачной ночи, на берегу какой-то неизвестной реки, на вражеской земле, лежа с карабином в руке, с кинжалом за поясом, не так, как мне случалось двадцать раз сторожить какого-нибудь дикого зверя, а в засаде, чтобы убить или быть убитыми от людей, подобных нам, созданных, как и мы, по образу божьему; и мы весело бросились в это предприятие, будто ничего не значило терять свою кровь или проливать чужую.

Правда эти люди, которых мы поджидали, были бандиты, люди, живущие грабежом и убийством, оставляющие за собой отчаяние и слезы.

Но эти люди родились за полторы тысячи миль от нас, с нравами вовсе непохожими на наши; они делали только то, чем занимались их отцы до них, прадеды до отцов, все другие предки до прадедов. Мог ли я просить у бога помощи в этой опасной ситуации, на которую я сам напросился так бесцельно и так неблагоразумно?

Но как бы то ни было, я находился за кустом на берегу Аксая, выжидал чеченцев, и в случае нападения жизнь моя зависела от меткости моего глаза или от силы моих рук.

Прошло два часа.

Потому ли, что ночь пошла на убыль и стало светлей, или оттого, что мои глаза привыкли к темноте, я уже смог хорошо различать противоположный берег реки.

Мне почудился слабый шум. Я посмотрел на своего товарища, но он не обратил на это никакого внимания, быть может, потому, что он и в самом деле ничего не слышал, или этот шум показался ему не заслуживающим внимания.

Шум нарастал; мне казалось, что это были шаги нескольких человек.

Я осторожно приблизился к Баженюку, взял его за руку и показал в ту сторону, откуда очень внятно до меня донесся шум.

— *Ничего,* — сказал он мне.

Я уже знал настолько русский, чтобы понимать — *«ничего».* Но все-таки не успокоился.

И вдруг я заметил в двадцати шагах от себя красавца оленя в сопровождении самки и двух оленят. Он спокойно подошел к воде и стал пить.

— *Ничего,* — повторил Баженюк.

Действительно, это была не та дичь, которую мы ожидали. Впрочем, я уже приготовился стрелять. О, если бы я мог сделать выстрел, — олень принадлежал бы мне.

Но вдруг он поднял голову, вытянул ноздри в сторону противоположного берега,

вдохнул в себя воздух, испустил нечто вроде крика тревоги и снова бросился в горы.

Хорошо знакомый с привычками диких зверей, я не сомневался: все поведение оленя говорило, что на другой стороне реки происходило что-то необычное.

Я обратился к Баженюку.

— *Смирно,* — произнес он.

Я не понял значения этого слова, однако понял жест — он показал мне, чтоб я не двигался с места и приник как можно плотнее к земле.

Я повиновался. А он проскользнул, как змея, вдоль берега реки, продолжая спускаться и следовательно, удаляясь от меня. Я следил за ним глазами, сколько мог. Когда же я потерял его из виду, взоры мои, естественно, перенеслись на другую сторону Аксая.

В ту же минуту послышался конский топот, и в темноте я увидел группу всадников. Она приближалась. По биению моего сердца — более чем глазами — я понял, что был перед нами враг.

Я посмотрел в сторону, где должен был находиться Игнатьев. Никто не шевелился — берег реки казался пустыней.

Я взглянул туда, где был Баженюк, но и он давно исчез из виду. Я глянул на другую сторону реки и у самого берега Аксая заметил всадника. Он тащил за собою человека, привязанного к хвосту лошади.

Это был пленник или пленница. И когда горец пустил коня в воду и пленник был вынужден следовать за ним, раздался жалобный крик. То был крик женщины.

Вся наша группа была в двухстах шагах ниже меня.

Что делать?

Пока я задавал себе этот вопрос, берег реки вдруг осветился, раздался выстрел, лошадь судорожно затопала в воде, и вся группа исчезла в водовороте, поднятом ими посреди реки. Раздался второй крик — крик отчаяния.

Я побежал туда, где совершалась драма. Посреди этого вихря, продолжавшего волновать реку, сверкнуло пламя и громыхнул еще один выстрел. Грянул третий выстрел, было слышно, как кто-то бросился в воду, и вслед за тем мелькнуло подобие тени, направляющейся к середине реки. Донеслись вопли и проклятия.

Внезапно шум смолк. Я посмотрел окрест себя, — за это время мои товарищи подошли ко мне и замерли, как и я. Наконец мы увидели что-то такое, чего невозможно было рассмотреть в темноте, но которое, однако, с каждой секундой обрисовывалось яснее и яснее.

Когда же группа была не более, чем в десяти шагах от нас, мы разглядели и поняли в чем дело.

Главным действующим лицом был Баженюк: держа в зубах кинжал, он нес на правом плече женщину, находившуюся хотя и в бесчувственном состоянии, но не выпускавшую ребенка, которого она стиснула в своих руках; левою же рукою храбрец нес голову чеченца, наполовину скрытую в воде.

Он бросил голову на берег, тут же посадил женщину и ребенка и голосом, в котором не было заметно ни малейшего волнения, произнес по-русски:

— *Братцы, водочки бы.*

Впрочем, не думайте, будто просил он это для себя — он просил для женщины и ребенка.

Спустя два часа мы с триумфом воротились в Хасав-Юрт с ребенком и матерью, совершенно уже пришедших в себя…

А я все еще спрашиваю, какое право имеют люди охотиться за человеком, подобно тому, как охотятся за оленем или кабаном?

Глава XI
Князь Али

На другой день, в 11 часов, как было условлено накануне, подполковник Коньяр пришел за нами.

Муане потратил все утро на рисование Баженюка, который в течение получаса стоял как статуя. Вдруг его забила лихорадка, и он объявил, что, несмотря на все свое желание, он уже не в состоянии держаться на ногах: Баженюк простудился.

Мы заставили его выпить стакан водки, пожали руку и услали спать.

Пока Муане рисовал, мы расспросили Баженюка через Калино о подробностях дела.

Это вот как происходило.

Едва заметив чеченца, он побежал, или, лучше сказать, проскользнул к месту, где, по его предположению, чеченец должен был перейти реку. Баженюк хорошо видел, что горец тащил за собой женщину привязанную к лошадиному хвосту. Тогда он рассчитал, что даже если бы ему удалось убить горца, лошадь, испугавшись, понеслась бы и неминуемо затоптала женщину. И он решил пристрелить сперва лошадь.

Первая пуля попала в грудь коня; это мы и видели, когда она била по воде передними ногами.

В эту минуту чеченец выстрелил из ружья и сшиб папаху с Баженюка, но не ранил его.

Баженюк вторично выпалил из карабина, убил или смертельно ранил чеченца и сразу же бросился в воду спасать женщину. Он достиг середины реки, где в судорогах билась лошадь. Одним ударом кинжала он обрезал веревку и вытащил женщину из воды. И только тут заметил, что она держит в руках ребенка.

Он ощутил острую боль в ноге, — умирающий горец впился в него зубами. Тогда Баженюк отрубил ему голову. Вот почему мы увидели его возвращавшимся с кинжалом в зубах, с женщиной и ребенком на плече и с головою горца в руке. Все это как видите, произошло очень просто, или, что ближе к истине, Баженюк рассказал нам об этом, как о самом обыденном деле.

Мы простились с нашей хозяйкой, унося с собой не только воспоминание об ее гостеприимстве, но еще и портрет, написанный Муане накануне, когда они с Баженюком плясали лезгинку под звуки игнатьевской скрипки.

Чтобы попасть на обед в аул татарского князя, мы должны были или проехать через владение Шамиля, или сделать большой полукруг. Подполковник Коньяр не скрывал от нас, что в первом случае мы имели бы десять шансов подвергнуться нападению, против одного — избегнуть его. Но он был так любезен, что дал нам конвой из пятидесяти человек и всех состоящих при нем молодых офицеров, которые накануне задали нам пир.

Выехав из Хасав-Юрта, мы вступили на великолепную кумыкскую равнину, где трава, которую никто не косит, по грудь лошади. Эта равнина, с правой стороны упирающаяся в подножье гор, за которыми находится Шамиль и с вершины которых его пикеты следили за нами, с левой стороны простирается на неизмеримое пространство и по линии столь горизонтальной, что я думал сначала, что она ограничивается только Каспийским морем.

Эта равнина, где царствует один лишь ветер, которую никто не засевает, не обрабатывает, наполнена дичью. Вдали мы видели прыгающих серн и важно ступающих оленей, а из-под копыт лошадей нашего конвоя, перед нашим тарантасом, вспархивали стаи куропаток и разбегались целые стада зайцев.

Князь Мирский, взяв с собой сотню людей, отправляется с ними сюда охотиться и убивает до двухсот штук дичи за один раз.

В двух милях от Хасав-Юрта, там, где дорога сворачивает куда-то в сторону, мы заметили приближающихся к нам по крайней мере шестьдесят всадников. Я сначала предположил, что нам придется вступить с ними в схватку. Но я ошибался. Подполковник поднес лорнет к глазам и преспокойно произнес: это Али Султан.

Действительно, татарский князь, думая, что мы изберем кратчайший путь, и предполагая, что на нас могут напасть, выехал нам навстречу со своей свитой.

Я не видел ничего живописнее этой вооруженной толпы.

Впереди скакал князь со своим сыном лет двенадцати — четырнадцати: оба в богатых

костюмах, с оружием, сверкающим на солнце. Немного позади ехал татарин дворянского роду по имени Кубан. Будучи двенадцатилетним мальчиком и находясь в крепости, осажденной черкесами, он заступил место капитана, который был убит в самом начале осады, и прогнал неприятеля. Император, узнав об этом, вызвал его и наградил Георгиевским крестом.

За ними следовали четыре всадника с соколами и шесть пажей, потом около шестидесяти татарских всадников в красивых воинских одеждах; они размахивали ружьями, гарцевали на конях и кричали: *«Ура!»*

Обе группы соединились, и у нас оказался конвой из полутораста человек. Признаюсь при этом зрелище удовольствие мое граничило с гордостью.

Умственный труд не есть труд тщетный, а репутация — звук пустой. Тридцать лет служения искусству могут быть по-царски вознаграждены. Сделали бы для какого-нибудь государя более того, что сделали здесь для меня?

О, боритесь, не падайте духом, братья! Для вас тоже настанет день, когда живущие в полутора тысячах миль от Франции люди другого племени, которые прочтут вас на неизвестном языке, оставят свои аулы, — эти орлиные гнезда на вершинах скал — и явятся с оружием в руках преклонить материальную силу пред мыслью.

Я много страдал в своей жизни; но великий и милосердный бог порой в одно мгновенье доставлял мне больше светлых радостей, нежели мои враги сделали мне зла, и даже друзья…

Мы галопом проскакали две или три мили. Экипаж катился по густой траве, как по ковру, объезжая скелеты людей и лошадей. Наконец мы достигли такого места, где, казалось, кончалась земля: открылось глубокое ущелье. На дне его шумела река Акташ; на вершине горы, напротив нас — аул князя; справа, вдали, в голубоватой дымке виднелись белые стены неприятельской деревни. Там же, где мы сейчас находились, возвышалась крепость, которую полковник Кубан защищал, когда ему было всего лишь двенадцать лет; это цитадель, воздвигнутая Петром I в период путешествия его по Кавказу.

Мы начали спускаться по крутому утесу. Деревня, которую мы видели на одной горе, но на самом деле построенная на другой, представлялась в самом чудесном виде. Мы ненадолго остановились, чтобы Муане мог срисовать ее.

Наш конвой смотрелся чрезвычайно живописно: одни из всадников спускались попарно, другие группами, третьи переходили реку вброд и поили своих коней; авангард уже поднимался на противоположную сторону.

Когда Муане кончил рисовать, мы снова тронулись, переправились через реку и взобрались по крутой тропинке в аул. Этот аул, чисто татарский, был первый подобный из посещенных нами.

Ничего нет красивее горских жителей; внешности неприглядной, племена монгольского происхождения, вторгнувшись на Кавказ, смешались с местными народами и получили в приданое, вместе с женщинами, и их красоту. Особенно замечательны глаза у женщин; видишь одни только глаза, они похожи на две сияющие точки — на две звезды, на два черных алмаза. Может быть, если бы была видна и остальная часть лица, глаза не имели бы этой прелести; но как бы то ни было, они очаровательны.

Дети также очень красивы и в своих огромных папахах и с большими кинжалами, которые прикрепляют им сбоку, лишь только они начинают ходить.

Часто мы останавливались перед группами мальчишек семи-двенадцати лет, игравших в бабки или затеявших что-то еще, и приходили от них в восхищение. Какая разница со степными татарами! Правда, степные татары могли быть чисто монгольского происхождения, а татары, живущие у подножья Кавказа — туркменского.

Я предоставляю ученым решить этот вопрос. К несчастью, ученые лишь рассуждают и спорят в своих кабинетах, и редко на месте, собственными глазами, хотят убедиться в содержании спора, чтобы решить его.

Мы въехали в аул князя Али Султана. В ауле, как и везде до этого, нас поразила красота природы и людей.

Но не менее нас поразило остервенение собак. Как будто эти четвероногие сорванцы понимали, что мы христиане.

Что еще нас поразило, так это забор из конских голов, которые были натыканы на шесты для устрашения лошадей.

Мы прибыли во дворец князя; дом был устроен как крепость. Хозяин дожидался на пороге. Он сам снял с нас оружие, что значило: «С этой минуты, как вы пришли ко мне, я отвечаю за вас».

Гостиная была скорее удлиненной, чем квадратной. По левую сторону, в специально встроенных в стену шкафах, были свернуты порознь с полдюжины матрацев, перин и одеял — этих принадлежностей домашней жизни мы не видели так давно, что они нам стали почти незнакомы. На стене висело разного рода оружие; наконец, прямо против входа красовались два зеркала и этажерки с фарфоровыми изделиями. Пространство между двумя зеркалами было затянуто сукном, вышитым золотом.

Аул носит европейское название Андрея. Это тот самый, о котором мы упоминали, расказывая о Червленной. В ожидании обеда князь предложил нам осмотреть аул.

За исключением княжеского дома, все другие дома здесь одноэтажные, с террасой, которая так же оживлена, как и улица; терраса является собственностью, владением и преимущественно местом прогулок женщин. Покрытые длинными чадрами, они поглядывают оттуда на проходящих сквозь подобное бойницам отверстие, охраняющее глаза.

Терраса служит еще и другой цели: на террасе складывают сено для скота, на ней обычно молотят кукурузу — ее развешивают гирляндами перед домом, на вертикальных шестах и горизонтальных веревках. Золотистые стебли кукурузы смотрятся очень эффектно.

Андрей-аул известен оружейными мастерами: они изготовляют кинжалы, клинки которых имеют особое клеймо и славятся по всему Кавказу. Когда ударят лезвием по медной монете, на ней от простого давления образуется столь глубокий нарез, что клинок поднимает с собой и монету.

Кавказские мастера не имеют в своих лавках никаких других вещей, кроме тех, которыми они занимаются — это вообще свойство кавказских ремесленников. Так, например, у оружейников есть клинки, но нет рукоятки; у «рукояточников» есть рукоятки, но нет клинков. Покупатель приобретает клинок у одного мастера, оправляет его у другого, ножны заказывает у третьего (мечта европейских мастеров осуществилась лишь в 1848 г., а здесь это свершилось давно и само собой).

Поэтому приезжий иностранец почти никогда ничего не успевает купить. Надо, чтобы он заказал и подождал, пока будет сделана заказанная вещь. И этого еще мало; если он заказывает такие вещи для производства которых мастеру необходимо иметь деньги, заказчик должен снабдить его ими. Предполагается, что у татарского ремесленника нет ни копейки.

Мы были у четырех или пяти оружейников и только у одного нашли кинжал, инкрустированный серебром с голубой и золотой эмалью. Я спросил хозяина о цене, хотя и не имел большой охоты купить эту вещь, так как оправа была незавидной работы. Он отвечал, что кинжал уже продан.

Мы продолжали прогулку по аулу, пока нас не позвали к обеду, и мы возвратились домой.

На столе было только четыре прибора, — для подполковника и для нас. Князь, его сын и свита стояли вокруг стола, в то время как слуги подавали кушанья.

Трудно было как-то определить эти яства: натуральные продукты, предназначенные для пищи, подвергаются в татарской кухне такой обработке, что всего благоразумнее, если вы голодны, спокойно кушать, не беспокоясь о том, что вы кушаете. Впрочем, я предполагаю (но не утверждаю!), что мы ели суп из курицы с яйцами. Потом были поданы медовые котлеты. Далее курица с вареньем. Дополнением обеду служили яблоки, груши, виноград, кипяченое молоко, сыр и еще одно кушанье — кажется, из рыбы, судя по косточке, которою

я чуть не подавился.

Обед кончился в два часа, мы встали и хотели откланяться, но князь очень вежливо сказал, что остается у нас в долгу, ибо считал недостаточным только выйти к нам навстречу и принять у себя. Ему надо было проводить нас.

Действительно, лошади не были расседланы. Князь с сыном, полковник Кубан, слуги и сокольники снова заняли свои места вокруг экипажа, и весь караван двинулся так же, как и прибыл, то есть галопом. В пяти или шести верстах мы остановились: настала минута прощания.

Новый конвой из пятидесяти человек, прибывших, вероятно, накануне вечером из Хасав-Юрта, ждал нас.

Прощание производит грустное впечатление. Столько радушия в приеме и столько чистосердечности в течение нескольких часов, проведенных вместе, что невольно спрашиваешь себя, как можно разлучаться после того, как все были так довольны друг другом!

Перед тем как проститься, молодой князь подошел ко мне и, протягивая кинжал, который я утром торговал у оружейника, предложил мне принять его от имени своего отца. Он был куплен князем для меня.

Мы обнялись: подполковник и я пожали друг другу руки, надавали друг другу тысячи обещаний увидеться снова в Париже или в Санкт-Петербурге. Так же простились с сопровождавшими его офицерами и расстались, чтобы, вероятно, больше никогда не встретиться.

Мы продолжали путь до Чир-Юрта, князь же вернулся в аул, а подполковник Коньяр в свою крепость. Только к вечеру мы увидели строения Чир-Юрта.

Довольно отчетливо заметили на вершине одной горы, в полуверсте или около этого, чеченского часового. Он был как коршун на дереве, готовый устремиться на добычу при первом удобном случае. Но с нашим конвоем из пятидесяти человек трудно было решиться на это.

Чеченец, исполнявший у своих обязанности часового и одновременно телеграфа, начал ходить на четвереньках, что, видимо, означало, что у нас-де есть кавалерия, и поднимая пять раз на воздух обе руки, что можно было перевести так: «эта кавалерия из пятидесяти человек».

Мы оставили чеченца с его сигналами и поторопили ямщика, который заставил своих коней бежать быстрее.

В семь часов вечера мы въехали в Чир-Юрт.

Глава XII
Татары и монголы

В предыдущей главе мы совершили значительную ошибку. Говоря о татарах и монголах и подчеркивая разницу, существующую между типами обоих племен, мы заметили, что, может быть, они происходят от одного и того же корня, но татарское племя, возможно, изменилось от соприкосновения с кавказским племенем, если только кавказские татары были туркмены, а не монголы.

Потом с небрежностью и почти презрением, от которого несло романистом за целую версту, выразились: «я предоставляю ученым решить этот вопрос».

Главная наша ошибка заключается в том, что ничего нельзя отдавать ученым на откуп, потому что они ничего не решают. Если бы Эдип предоставил беотийским мудрецам разгадку Сфинкса, то Сфинкс еще и до сих пор пожирал бы путешественников по дороге в Фивы. Если бы Александр позволил греческим мудрецам развязать Гордиев узел, то этот узел связывал бы еще и до сих пор ярмо колесницы Георгия, а Александр не покорил бы Азии.

Расскажем то, что знаем о татарах и монголах[104].

Еще в VIII столетии первые китайцы говорят о татарах, как дети, которые только начинают лепетать и нечетко произносят имена — они называют их тата. По мнению китайцев, эти тата есть разновидность великой монгольской семьи.

Менкунг (вы не знаете Менкунга, не правда ли, любезный читатель? Успокойтесь, я не сержусь на вас за это. Я бы и сам знал не больше вашего, не будь вынужден познакомиться с ним). Менкунг, подобно Ксенофонту и Цезарю, полководец и историк, умер в 1246 году. Он командовал китайским корпусом, посланным на помощь монголам против кинов.

По его словам, часть китайской орды, покоренной некогда хиганами, народом, обитавшим к северу от китайской провинции Чили и Шинг-Шинг — провинций весьма плодородных, орошаемых рекой Льяго и ее притоками, — оставила цепь гор Пишан, которая простирается от северного изгиба Желтой реки до истоков рек, впадающих в западную часть залива Пекинга, куда она удалилась, чтобы соединиться со своими соотечественниками — татарами белыми, татарами дикими и татарами черными.

Это не очень ясно, не правда ли? Но кто ж виноват? Вина лежит в этом случае на Менкунге, китайском историке и полководце.

Обратимся к Жану Дюплан де Карпену, младшему брату Святого Франциска, архиепископу Ольвуйскому. Это будет вернее; в 1246 году он послан Иннокентием IV в Хамисак к татарскому хану, чтобы просить его о прекращении преследования христиан. Вот что он рассказывает о монголах, или правильнее, монгалах.

«Есть земля в этой части Востока, называемая Монгал. Эта земля обитаема четырьмя народами: один ека-монгал, что значит великие монгалы, другой су-монгал, что значит болотные монголы, которые сами себя называют татарами, по имени реки, пересекающей их землю».

Далее начинает проясняться.

«Третий народ, продолжает он, называется меркит, четвертый мекрит. Эти народы представляют однообразный тип и говорят одним и тем же языком, хотя они разделены на разные провинции и управляемы разными государями».

Дюплан де Карпен приезжает в Хамисак восемь лет спустя после смерти Чингисхана. Он сейчас расскажет все, что знает об этом великом двигателе народов.

«В земле великих монголов родился некто по имени Чингис[105].

Он прежде всего сделался сильным ловчим перед богом. Он научил людей пользоваться добычей. Он вторгался в другие земли и все, что мог взять, брал, никогда не теряя взятое им; таким образом он привлек к себе соотечественников, которые охотно следовали за ним даже на заведомо дурное дело. Вскоре он вступил в борьбу с су-монголами, т. е. с татарами, и так как многие из них присоединились к нему, то он убил их предводителя и покорил всех татар. То же самое он сотворил с меркитами и мекритами».

А вот как решает этот вопрос современная наука. Ека-монгалы, — которых она называет монголами, — т. е. великие монголы, среди которых родился этот Чингис,

---

[104] Более полные сведения можно почерпнуть из превосходного сочинения о степях нашего соотечественника Омера де Галля.

Прим. А. Дюма.

Ксавье Омер де Гелль (1812–1848) — геолог, путешественник, автор трехтомной книги о степной части юга Российской империи. Открыл железную руду в районе нынешнего Днепропетровска. В России находился вместе со своей женой Жанной-Адель Эрио Омер де Гелль (1817–1871). Адель де Гелль прославилась тем, что П. П. Вяземский (сын выдающегося поэта) приписал ей придуманные им и выпущенные в 1887 году под ее фамилией «Письма и записки». В этой фальсификации речь шла, в частности, о Лермонтове и о многих деятелях русской культуры. По поводу «Писем и записок» Адели Омер де Гелль вспыхнула ожесточенная дискуссия, пока не была доказана их подложность.

[105] Он родился в 1164 году.

Прим. А. Дюма.

известный под именем Чингисхана, были черные татары, а су-монгалы белые татары. Всего любопытнее то, что ека-монгалы, уничтожая белых татар, сами начали носить имя побежденных и называться татарами или, лучше сказать, их стали называть татарами, хотя они всегда гнушались имени побежденного народа.

Татары неизвестны арабским историкам десятого столетия. Масуди[106] написавший в 950 году общую историю известнейших государств трех частей света, под названием «Золотоцветный луг и руды драгоценных камней», не говорит ни о татарах, ни о монголах.

Ибн-Гаукал, его современник, автор географии, именуемой «Китааб Мессаалек», только упоминает о них.

Д'Осон в своей «Истории монголов» ссылается на книги по персидской истории, в которых татары названы самым знаменитым народом в мире.

Что же общего имели между собой татары и монголы? То самое, что Дюплан де Карпен говорит нам в одной фразе и самым простым образом, начиная свою историю монголов следующими словами: «Incipit historia Mongolorum quos nos Tartaros appellamus», что значит: «так начинается история монголов, которых мы называем татарами». Из этой фразы следует, что в середине XIII столетия монголы уже назывались татарами, потому ли что монголы и татары составляли всегда одну и ту же нацию, или, лучше сказать, две ветви одной нации, как предполагает Дюплан де Карпен; или потому, что, образуя две разные нации, победившая нация приняла название побежденной.

С этим, вероятно, связано то, что имя монголов преимущественно распространилось в Азии, а имя татар в Европе, хотя после поражения су-монголов или белых татар ека-монголами оба народа составляли один.

Продвигаясь от востока к западу, из Китая в Персию, Чингисхан увлек за собой, разумеется, и народы Туркестана, которых он встретил на восточном берегу Каспийского моря. Эти народы, как волны, разбились у основания исполинской скалы, называемой Кавказом, между тем, как их отлив наводнял Астрахань и Казань с одной стороны, Баку и Ленкорань — с другой, вытекая двумя большими потоками, один к Крыму, другой к Армении. Само собой разумеется, что туркмены, пришедшие из менее дальних стран, должны были остановиться первые.

Но подвергнувшиеся вторжению народы не различали пришельцев. Все были для них монголами или татарами; и так как в Европе название татар одержало верх над названием монголов, то все и сделались татарами — по названию. Это были те татары, которые основали между Днестром и Эмбой Кипчакское государство, называвшееся Золотой Ордой, от слова орда, что значит палатка.

Вот почему тюркский язык остался господствующим во всем Кипчаке[107] у башкиров и чувашей; монгольский язык исчез, и потомки победителей не могут более ни говорить, ни читать на языке своих предков.

В 1463 году, когда Россия, в царствование Ивана III, начала противодействовать вторжению татар, тяготившему ее более двух веков, Кипчакское царство (или Золотая Орда) было разделено на пять ханств: на ханство Ногайских татар между Доном и Днестром (не нужно смешивать последнюю реку с Днепром); на Астраханское ханство — между Волгой, Доном и Кавказом; на Кипчакское ханство — между Уралом и Волгой; на Казанское ханство — между Самарой и Вяткой и, наконец, Крымское ханство. Последнее сделалось данником России при Иване III в 1474 году. Кипчакское ханство было разрушено тем же царем в 1481 году, Казанское — было покорено Иваном IV в 1552 году, Астраханское подчинилось тому

---

[106] Масуди (кон 9 в.–956 или 957) — арабский историк и путешественник. Опубликовал свыше двадцати книг.

[107] Территория, занимаемая половцами (кипчаками), тюрко-язычными племенами, позже распавшимися на множество ветвей. Половцы оставили много слов, которые органически влились в славянские и другие языки.

же царю в 1554 году. Наконец ханство Ногайских татар было покорено в XVIII столетии Екатериной II.

Впрочем, те из наших читателей, которые найдут неудовлетворительными наши объяснения, пусть обратятся к сочинениям: «L'Asia poliglotta, de Klaproth»; «Histoire de la Russie, de Leveque»; «Histoire des Cosaques, de Lesur»; «Histoire des Mongols, de D'Ohson»[108] и кроме того, как мы выше сказали, пусть прочтут «Степи» («Les Steppes») нашего соотечественника Омера де Галля.

Мы просим прощения за краткость этой главы: предмет этот довольно скучный, и мы полагаем, что, чем короче наш рассказ о нем, тем лучше.

Обратимся опять к Чир-Юрту, куда мы уже въезжали, когда вдруг появилась странная идея высказать наше мнение о монголах и татарах.

Глава XIII
Нижегородские драгуны

Когда мы спросили дом князя Дондукова-Корсакова, нам указали на верхний город, т. е. в сторону, противоположную той, через которую мы вступили в Чир-Юрт.

Начиная со Щуковой, мы постоянно слышали имя князя Дондукова-Корсакова: оно упоминалось в каждом разговоре и всегда с похвалой.

Есть названия рек, городов и людей, о которых знаешь, прежде чем их увидишь. Имя князя Дондукова-Корсакова — одно из таких имен.

Мы даже не посылали спросить его насчет квартиры. Уже привыкшие к русскому гостеприимству, самому широкому, самому блестящему из гостеприимств, мы направились прямо к нему.

Посреди казарм Нижегородского драгунского полка виднелось большое, великолепно освещенное строение; мы угадали, что это и есть жилище князя, и направились к подъезду. Слуги явились к нам, как будто нас ожидали, а мы вышли из экипажей, будто были уже приглашены.

К нам приблизился незнакомый штаб-офицер. По неведению я принял его за князя и начал приветствовать, но он, не дав мне договорить, объявил, что он не князь Дондуков-Корсаков, а граф Ностиц. Князь недавно был произведен в генералы, и граф Ностиц, как полковник Нижегородского драгунского полка, назначен на его место. Стало быть, мы были в гостях у графа.

Князя предупредили о нашем прибытии, и он вскоре с радушием присоединился к нам. Одна рука его была на перевязи: рана, полученная в последнем походе против чеченцев, обрекала его на бездействие.

Он оказался точно таким, каким я его себе представлял: гордый взгляд, улыбающееся открытое лицо.

Нас провели в зал, весь обвешанный замечательными персидскими коврами привезенными графом Ностицем из Тифлиса. Первое, что обратило на себя наше внимание в большой зале, была картина, изображающая черкесского начальника, защищающего вместе со своими людьми вершину одной горы. Я спросил, кто удостоился чести быть героем картины. Это был Хаджи-Мурад, тот самый Хаджи-Мурад, которого, — помните, любезные читатели? — мы видели действующим лицом в великой драме умерщвления Гамзат-бека.

Хаджи-Мурад — одно из самых известных имен на Кавказе. Он герой легенды. Чем больше минует времени, тем больше будет расти его слава.

---

[108] Клапрот Генрих Юлиус (1783–1835) — немецкий лингвист. В 1807–1808 годах путешествовал по Кавказу. В 1812–1814 гг. опубликовал дневник этого путешествия, в 1823 г. выпущенный в Париже. В 1823 году опубликовал «Asia polyglotta» с атласом, а через пять лет — «Историю Кавказа». Умер в Париже. Левек Пьер Шарль (1737–1812) — французский историк, жил в России до 1780 года. В 1782–1783 гг. издал в Париже «Историю России». Лесюр Шарль Луи (1770–1849) — французский историк.

Когда Шамиль сделался имамом, Хаджи-Мурад рассорился или сделал вид, что разошелся с ним, и переметнулся к русским. В 1835 и 1836 годах он был офицером милиции. Комендант крепости Хунзах полковник Лазарев[109] заметил тогда, что он тайно сносится с Шамилем. Велено было арестовать Хаджи-Мурада и под стражей сопроводить в Тифлис.

На вершине горы, где сделали привал на несколько минут, он подходит к лошади, навьюченной ружьями, выдергивает одно из них и патронташ у солдата и бросается в пропасть. Так он раздробил себе обе ноги.

Солдатам приказали преследовать Хаджи-Мурада. Четверо бросаются за ним; четырьмя выстрелами беглец убивает четырех солдат и ускользает к Шамилю. Только при его содействии Шамиль мог снова взять Хунзах и совершить славную кампанию 1843 года, столь несчастную для русских. Но в конце 1851 года, когда Шамиль обвинил Хаджи-Мурада в неудачном выполнении одной экспедиции, опять между ними начался раздор, и Хаджи-Мурад удалился в Тифлис под покровительство графа Воронцова. Но и здесь на него падают те же подозрения, что и в Хунзахе.

Граф Воронцов, убежденный, что он явился только с целью изучить местность, дает ему почетный конвой, который на самом деле был стражей. Всего вероятней, что Хаджи-Мурад, имевший связи с лезгинами, хотел пробраться в Закаталы и сделаться независимым как от русских, так и от Шамиля. В начале апреля 1852 года он прибыл в Нуху; князь Тарханов, комендант города, был предупрежден и потому велел бдительно следить за ним — строже, чем когда бы то ни было.

29 апреля Хаджи-Мурад выехал за город в сопровождении солдата, полицейского чиновника и трех казаков. Как только они очутились вне города, Хаджи-Мурад убил солдата из пистолета; чиновника закалывает кинжалом и наносит смертельную рану тем же оружием одному из казаков.

Остальные казаки спасаются и дают князю Тарханову знать о случившемся. Князь немедленно собирает всех своих людей и бросается преследовать Хаджи-Мурада. На следующий день он настигает его между Беляджиком и Кашом. Хаджи-Мурад остановился в лесу со своим нукером. Окружают лес и стреляют; после первого же выстрела нукер падает замертво. Остается Хаджи-Мурад. Он убивает четырех, ранит шестнадцать человек, ломает свою саблю о дерево и, получив шесть ран, падает. В Закаталах ему отрубили голову, эту голову положили в спирт и привезли в Тифлис. У меня есть рисунок этой головы, снятый с натуры.

А вот по какому случаю упомянутый портрет написан и находится в зале графа Ностица… Преследуемый русскими войсками, Хаджи-Мурад укрепился в Картматале, что на берегу Каспийского моря, с отрядом в восемьсот человек. С разных сторон были направлены туда войска, в том числе нижегородские драгуны; два эскадрона, не дожидаясь пехоты, спешились и под командой майора Золотухина атаковали редут. Из ста сорока человек восемьдесят пали прежде, чем вступили в рукопашный бой с горцами, и из семи офицеров шесть остались на месте.

Майор схватил знамя Хаджи-Мурада и при этом ранил его самого саблей, однако Хаджи-Мурад успел убить его из пистолета. Умирая, майор еще имел возможность перебросить знамя своим солдатам. Прибыла пехота; только пятьдесят драгун уцелели, но зато знамя осталось в их руках. У меня есть лоскут этого знамени, дали его мне граф Ностиц и князь Дондуков-Корсаков. Хаджи-Мурад, один из любимейших наибов Шамиля, получил от него в награду ту самую звезду, которой имам украшает своих лучших воинов. Этот орден был послан в Тифлис вместе с головой Хаджи-Мурада. Теперь его голова в Петербурге; звезда, оставшаяся в Тифлисе, подарена мне князем Барятинским. Картина, находившаяся в доме графа Ностица, показывает Хаджи-Мурада в тот момент, когда он защищает редут

---

[109] Лазарев Иван Давыдович (1820–1879) — военный начальник Среднего Дагестана, в дальнейшем генерал-адъютант. Похоронен и Ванкском соборе в Тифлисе.

Картматала от нападения нижегородских драгун.

Этот прославленный полк существует со времен Петра Великого. Он имеет в своих летописях факт, единственный в своем роде, а именно: после того как были убиты командир и все офицеры, полк вновь формировался еще восемь раз и столько же раз возобновлял участие в боевых действиях.

В 1704 году Петр I велел боярину Шеину сформировать драгунский полк на Украине. В 1708 году этот полк квартировал в Нижнем Новгороде, от которого и получил свое название. Он стал ядром русских кавалерийских войск, создавшихся с 1709 по 1856 годы. Он уже 46 лет находится на Кавказе.

Целая стена комнаты в доме князя украшена почетными знаками, пожалованными полку. Знамя его, или, правильнее сказать, знамена — все Георгиевские. Они пожалованы ему за турецкую кампанию в 1827, 1828 и 1829 годах.

За знаменами следуют каски. Каждый солдат носит на каске надпись: «За отличие». Потом за 1853 год ему пожалованы серебряные почетные трубы, украшенные крестом св. Георгия.

Наконец, в 1854 году император Николай, не зная уже, чем еще вознаградить полк, повелел, чтобы каждый солдат имел особое шитье на воротнике мундира.

Князь Дондуков-Корсаков и граф Ностиц показали нам все эти знаки отличия с истинно отеческой нежностью. Один был опечален более высоким назначением, заставлявшим его оставить начальство над такими храбрецами[110]; другой гордился тем, что его признали достойным преемником.

Пока мы осматривали музей, дом графа наполнился офицерами. Вечером, в восемь часов князь Дондуков-Корсаков имел привычку ужинать. Он всегда приглашал и всех офицеров: приходил кто хотел. Граф Ностиц продолжил эту традицию.

Доложили, что ужин готов, и мы отправились в столовую, где был накрыт стол на двадцать пять — тридцать персон. На протяжении всего ужина гремела полковая музыка.

После того, как музыканты поужинали, начались танцы. Собственно, это сделано было только для нас. Были приглашены лучшие плясуны полка и исполнены все национальные пляски: кабардинка, лезгинка и русский танец.

В этот же вечер граф Ностиц показал Муане фотоальбом видов Кавказа, сделанный им самим[111]. Из Тифлиса, в котором граф Ностиц жил до прибытия в Чир-Юрт, он привез коллекцию живописных видов и портретов прекрасных женщин. Не было ни одной красавицы грузинки, с которой мы не познакомились бы за три недели до нашего приезда в столицу Грузии.

Именно здесь я заметил разницу между русским солдатом в России и тем же солдатом на Кавказе. Солдат в России имеет печальный вид; звание это его тяготит, расстояние, отделяющее от начальников, унижает его. Русский солдат на Кавказе — веселый, живой, шутник, даже проказник и имеет много сходства с нашим солдатом; мундир для него предмет гордости; у него есть шансы к повышению, отличию. Опасность облагораживает, сближает его с начальниками, образуя некоторую фамильярность между ним и офицерами; наконец, опасность веселит его, заставляя чувствовать цену жизни.

Если бы наши французские читатели знали подробности горской войны, они удивились бы тем лишениям, которые может переносить русский солдат. Он ест черный и сырой хлеб,

---

[110] Приводимые Дюма данные подтверждаются многотомной «Историей 44-го Нижегородского драгунского полка», изданной В. А. Потто в 1890-х годах в Петербурге.

[111] Что это за фотоальбом, мы пока не знаем. В 1858–59 годах в Тифлисе жил лишь один профессиональный фотограф (как тогда говорили — фотографист), это был некто Мориц, проживавший на Головинском проспекте в доме Попейко. Его работы не зарегистрированы в Историко-этнографическом музее гор. Тбилиси им. И. Гришашвили. О фотографиях Ностица упоминает В. Ф. Тимм (1820–1895), оставивший массу зарисовок кавказской жизни времен Дюма.

спит на снегу, переходит с артиллерией, багажом и пушками по дорогам, где никогда не ступала нога человека, куда не доходил ни один охотник и где только орел парит над снежными и гранитными утесами.

И все это для какой войны? Для войны беспощадной, войны, не признающей плена, где каждый раненый считается уже мертвым, где самый жестокий из врагов отрубает голову, а самый кроткий довольствуется рукой.

У нас в Африке на протяжении двух-трех лет тоже было нечто похожее, кроме, естественно, природных условий, но наши солдаты получали достойную пищу и одежду. Помимо этого, у них была практически неограниченная возможность продвижения по службе, хотя для некоторых это оставалось пустым звуком. Повторяю, что у нас такое положение отмечалось два-три года — у русских же оно продолжается сорок лет.

У нас тоже невозможно обокрасть солдата — так он беден. Но в России солдата рассматривают как самое несчастное существо.

Военное ведомство отпускает каждый месяц на одного солдата всего тридцать два фунта муки и семь фунтов крупы. Начальник (обычно капитан) получает эти продукты как с воинского склада, так и добывает их у местных крестьян. Потом эти продукты или деньги за них возвращаются этим крестьянам.

Каждый месяц в момент расчета с деревенскими жителями, капитан приглашает к себе так называемый мир, т. е. наиболее уважаемых представителей общины, их, что ли, высший совет. Гостям приносят кувшины знаменитой русской *водки* , так горячо любимой крестьянами.

Пьют.

Капитан предпочитает не пить (особенно если он непьющий), а подливать водку. Когда народ уже охмелел, капитан берет с них расписку, нужную ему. Таким образом крупа и мука превращены в несколько кувшинов скверной водки. Вот и вся выгода для крестьянина.

На следующий день капитан несет эту расписку своему командиру. На деле солдат дьявольски скудно питался за счет купленного у крестьянина, крестьянин же уверен, что ему никто и никогда не возместит убытки. Зато командир, увидав расписку, видит в ней доказательство, что солдат купается как сыр в масле.

Если солдат участвует в походе, ему ежедневно обязаны давать щи и кусок мяса в полтора фунта. Эти щи варятся на много дней и похожи на наши консервы.

Одному дельцу пришла мысль заменить мясо коровы или быка мясом вороны, дескать, не все ли равно солдату, хотя мясо коровы или быка составляет самую питательную часть солдатских щей.

Надо сказать, что ворон в России видимо-невидимо, они летают тысячами, миллионами, миллиардами. Вороны со временем превратились чуть ли не в домашних птиц, как, например, голуби, мясо которых в России почему-то не едят. Вороны толкутся на улицах, накидываются на детишек, выхватывая из их рук хлеб. Кое-где в Малороссии ворон сажают на куриные яйца — подкладывают в их гнезда вместо их яиц.

В противоположность голубю, считаемому священной птицей, ворона рассматривается русским народом как поганая тварь. Однако любой охотник знает, что из вороньего мяса можно приготовить превосходный суп: я так думаю, что щи из вороны могли бы быть получше, чем из коровы или быка. Вот об этом-то и пронюхали какие-то интенданты и стали готовить щи из вороньего мяса, к которому испытывают такое предубеждение русские люди. Солдаты узнали, что за мясо они едят, и стали выливать вороньи щи.

А вот как обстоят дела с теми полутора фунтами мяса, которые ежедневно должен получать солдат в походный период. Об этом мне поведал молодой офицер, дравшийся в Крымской войне.

Одним быком можно накормить 400–500 человек. В Калужской губернии капитан купил быка, которого погнал к месту военных действий.

Увидав быка, командир спросил:

— Это что еще такое?

— Это бык для сегодняшнего меню, — отвечал капитан.

Бык добирался из Калужской губернии до Херсонской два с половиной месяца. Вы, наверное, подумаете, что он все же дошел до солдатских желудков? Ничего подобного: капитан его продал, а поскольку бык в отличие от солдат по пути хорошо питался, то капитан сорвал хороший куш.

Впереди каждой маршевой роты примерно за два-три перегона идет офицер, которому выдаются деньги на покупку дров, муки, выпечки хлеба. Этого офицера иногда именуют *хлебопеком* . Моему молодому офицеру поручили однажды — только на один день — сделаться хлебопеком. Приобретение такой должности, приносящей немалый барыш, которое, как утверждают в России, есть одолжение без греха, т. е. не связано с грубым нарушением законов, принесло моему знакомому в этот день сто рублей (четыреста франков).

Интендантство закупает в Сибири сливочного масла изрядно. Предназначенное Кавказской армии, оно стоит шестьдесят франков за сорок фунтов. В руках торговца оно имеет замечательные свойства. Поставщик же в Таганроге продает его по большой цене и заменяет маслом самого низкого качества. До солдата, естественно, полноценное масло и не доходит.

Вот так поживает русский солдат. Потому вообразите радость солдат, которые имеют счастье служить под командой таких людей, как князь Дондуков-Корсаков и граф Ностиц.

В ту ночь я спал в постеле — впервые за последние два месяца.

Глава XIV
Песчаная гора

К нашему великому прискорбию, мы должны были на другое утро расстаться с милыми хозяевами. Считаю своим долгом повторить и здесь, что гостеприимство в России оказывается с какой-то особенной прелестью и свободой, которых не встретишь ни у одного народа.

Муане увозил с собой пять-шесть фотографий, а я портрет Хаджи-Мурада — живого. Я знал, что в Тифлисе найду копию его отрубленной головы.

Кроме этого, мне подарили на память от имени нижегородских драгун лоскут знамени, отбитого ими у любимого Шамилева наиба. К тому же мы отправились на казенных лошадях, так как почтовое сообщение доходило только до Унтер-кале, т. е. почти в сорока верстах от Чир-Юрта. У нас был конвой из двадцати пяти человек, но они стоили пятидесяти: ведь это были линейные казаки.

Лошади мчали нас вихрем. Через час мы были уже в крепости.

Татары, входившие в эту крепость, оставляли свое оружие у ворот.

В крепости царило некоторое беспокойство.

Все находившиеся в крепости линейные казаки приготовились к нападению: лазутчики, прибывшие утром, сообщили, что до шестидесяти лезгин, — а здесь граница Чечни и Лезгистана, — выступили из Буртуная с намерением совершить набег.

В какую сторону направились хищники, никто не знал, но было точно известно, что они уже спустились с гор.

Нам дали шесть донских казаков: в сравнении с легкими ружьями линейных казаков эти несчастные имели самый жалкий вид со своими длинными пиками.

Мы снова осмотрели наше оружие: все было в порядке.

Поехали.

Наши лошади, отдохнувшие у Али Султана, накормленные там овсом, скакали в галоп по обширной равнине. Без сомнения, бег их был слишком быстр для казачьих лошадей, одна из них скоро отстала, потом две другие последовали ее примеру, наконец, еще три оставили нас. С какой-то возвышенности мы увидели, что эти лошади, которые снова нашли силы двинуться, чтобы дойти до своих конюшен, галопом возвращались в крепость.

Мы были предоставлены сами себе, хотя и знали, что найдем лошадей и казачий пост в селении Унтер-кале. Кроме этих лошадей и казаков, мы надеялись повстречать по правую сторону дороги один весьма любопытный феномен: на этой равнине, где нет ни песчинки, высится Песчаная гора, высотой в шестьсот-семьсот метров.

Вскоре мы заметили желто-золотистую вершину, выделяющуюся на сероватом фоне. По мере нашего приближения она словно выходила из земли, а затем будто понижалась; она росла на наших глазах, простиралась подобно небольшой цепи, служащей опорой последним склонам Кавказа, почти на две версты в длину.

Гора имела три или четыре вершины, из которых одна выше остальных — та самая, что поднималась примерно на шестьсот-семьсот метров. Впрочем, надо быть вблизи ее, чтобы иметь представление о высоте горы. Пока она не заслоняет собой Кавказа, она кажется крохотной.

Я вышел из экипажа: песок был самым мелким и самым красивым, каким только можно было бы снабдить письменный стол дивизионного командира. После каждой бури гора меняет форму, но буря, как бы сильна ни была, не развевает песка по равнине, гора сохраняет свою обычную высоту.

Татары, которые не могли объяснить себе этот феномен, будучи незнакомы с вулканическими теориями Эли де Бомона[112] нашли более удобным выдумать легенду, нежели отыскивать настоящую причину явления — у них, как и у нас, поэт опережает мудреца.

Вот что они рассказывают: два брата влюбились в принцессу; она жила в замке, построенном посреди озера. Она не могла выбраться из своего дома иначе, чем на лодке; принцесса любила верховую езду и соколиную охоту. Однажды она объявила, что вступит в брак с тем из братьев, который превратит озеро в твердую землю.

Братья пошли в разные стороны, но цель у них была одна. Первый отправился в Кубачи заказать саблю, которая могла бы рассечь утесы. Второй пошел к морю с мешком такой величины, чтобы, наполнив его песком, засыпать им озеро.

Старшему посчастливилось найти желанную саблю. От замка принцессы ближе до Кубачей, нежели до моря, и он быстро возвратился, далеко опередив младшего брата, который прошел лишь половину пути от Каспийского моря до замка. Вдруг младший, согнувшийся под мешком, запыхавшийся, весь в поту, услышал страшный шум, словно сто тысяч коней бросились во всю прыть в море. Это брат рассек скалу, которая низверглась в озеро с сильным грохотом, разнесшимся по горам.

Потрясенный этим, младший брат упал, мешок лопнул, песок высыпался и придавил несчастного, образовав над ним гору.

Объяснение ученого было бы гораздо логичнее, но будет ли оно лучше?

Да, — скажут ученые.

Нет, — ответят поэты.

За горой, по мере нашего удаления от нее, поднимался и вырастал Унтер-кале — татарский аул.

Подобно Константине[113], он построен на вершине огромной скалы. Небольшой ручей, почти высохший, но грозный при таянии снегов, образуя приток Сулака, катил у подножья этого гигантского укрепления прозрачную воду — это был Озен[114].

---

[112] Эли де Бомон (1798–1874) — выдающийся французский геолог, с 1835 года член Парижской академии. Создатель ряда не устаревших по сей день теорий горообразования и выявления возраста горных складок.

[113] Константина — город в Алжире — в древности славилась как неприступная крепость. Французские колонизаторы с большим трудом захватили в войне 1837 года Константину. Она стала символом сопротивления иноземным захватчикам.

[114] Река во Франции недалеко от города Труа.

Мы сделали остановку на кремнистом острове. Бесполезно было подниматься к станции, остававшейся далеко в стороне; лошади сами к нам прибудут, и мы отправимся на ночлег в деревню Гелли, а быть может, успеем и в Темир-Хан-Шуру.

Ямщики отпрягли лошадей, которые привезли нас и должны были возвратиться в Хасав-Юрт без конвоя, — вспомните, что казаки нас оставили, — получили *на водку* и быстро ускакали. Очевидно, экспедиция лезгин, о которой ходила молва, весьма обеспокоила их.

Мы остановились у русла ручья. Нас было пятеро: Муане, молодой офицер по имени Виктор Иванович, поручик Троицкий, инженер из Темир-Хан-Шуры, с которым мы познакомились в Хасав-Юрте, Калино и я. Вокруг нас крутилось несколько татар подозрительного вида, разглядывавших наш багаж с какой-то алчностью, не предвещавшей ничего хорошего.

Мы решили, что Калино и инженер должны отправиться на станцию за лошадьми, а Муане, Виктор Иванович и я будем стеречь наш багаж.

Несколько минут мы любовались татарскими женщинами и девушками, спускавшимися по скалистой тропинке к ручью за водой и с трудом поднимавшимися с кувшинами на спине или на голове.

Калино и Троицкий не возвращались.

Чтобы убить время, я начал рисовать Песчаную гору; но так как я никогда не злоупотребляю своим талантом пейзажиста, то скоро закрыл альбом и, спрятав его под подушку в тарантасе, направился к аулу.

— Оставьте ружье и кинжал, — сказал мне Муане, — а то вы походите на Марко Спада.

— Любезный друг, — отвечал я ему, — мне не слишком-то льстит сходство с героем моего собрата Скриба, но я всегда вспоминаю слова г-жи Полнобоковой: «Никогда не выходите без оружия; если оно не защитит, то, по крайней мере, заставит уважать вас». Поэтому я оставлю при себе ружье и кинжал.

— А я, — сказал Муане, — ограничусь альбомом и карандашом.

Я уже ушел вперед; у меня правило — оставлять каждому всю свободу не только мышления, но и действия. Муане снял с себя ружье и кинжал, извлек из-за пазухи альбом, из альбома — карандаш и последовал за мной.

Мы вышли на какую-то улицу, похожую на ущелье, и вступили в некий двор. Я обнаружил, что ошибся, и потому поспешил возвратиться. Мы разыскали еще одну дорогу, но также приведшую нас в другой двор.

Собаки, ворча, следили за нами (татарские собаки, благодаря непонятному нам инстинкту, быстро узнают христиан), к ним присоединились другие собаки и уже не ограничились ворчанием, а начали лаять. Этот лай заставил хозяина выйти из сакли. Мы были виноваты, это правда, но мы же заблудились.

Я вспомнил, как называется по-русски почтовая станция и спросил его:

— *Почтовая станция?*

Татарин не понял или прикинулся не понимающим русский язык. Он отвечал ворча, как собака, и если бы он мог лаять, то и залаял бы; если бы мог укусить, укусил бы. Я столько же понял его ответ, сколько и он мой вопрос, но я угадал по жесту, что он показывает нам дорогу, — чтобы уйти.

Я воспользовался указанием, но собаки решили, что я обратился в бегство, и бросились за мною вслед. Я обернулся, снял ружье и прицелился в собак. Они попятились, но хозяин шагнул ко мне. Тогда я вынужден был держать на почтительном расстоянии хозяина вместо собак. Он воротился в саклю.

Мы начали отступать в указанном направлении. Действительно, оно выходило на улицу; но улицы татарского аула образуют лабиринт, который хуже Критского. Чтобы

выбраться из него, надо иметь Ариаднину нить. У нас не было нити, я не был Тезеем, и вместо сражения с Минотавром, мы должны были схватиться с целой стаей собак. Признаюсь, плачевная участь Иезабели пришла мне на память.

Муане оставался позади, шагах в четырех.

— О, черт побери! — сказал он мне. — Стреляйте же, стреляйте. Меня укусили.

Я сделал шаг вперед — собаки отступили, скаля зубы.

— Слушайте же, — произнес я, — сейчас, обшарив карманы, я нашел только две картуши, столько же в моем ружье, значит, всего четыре. Дело в том, что можно убить четырех человек или четырех собак. Вот кинжал, распорите брюхо первому животному, которое вас тронет; ручаюсь, что убью татарина, которому вздумается посягнуть на вас.

Муане взял кинжал и повернулся к собакам. Теперь я не прочь бы походить на Марко Спада.

Наша несчастливая звезда привела нас к мяснику. Татарские мясники выставляют свой товар на ветвях некоего подобия дерева, вокруг которого собираются собаки, с алчностью смотрящие на мясо. Здесь уже была дюжина собак, которые присоединились к десяти — двенадцати из нашего конвоя. Положение становилось нешуточным. Мясник, который, разумеется, принял сторону собак, насмешливо смотрел на нас, сжав кулаки. Его поза раздражала меня больше, нежели лай собак. Я понял, если будем продолжать отступление, мы погибнем.

— Сядем, — сказал я Муане.

— Думаю, вы правы, — отвечал он.

Мы сели у ворот на скамью: подобно Фемистоклу, пришли отдохнуть у очага своих врагов.

Вышел хозяин сакли. Я протянул ему руку.

— *Кунак* , — сказал я ему, зная, что это слово означает «друг».

Он заколебался было, потом, тоже протянув руку, повторил: «Кунак».

С этой минуты нам нечего бояться; мы находились под его покровительством.

— *Почтовая станция?* — спросил я его.

— *Хорошо,* — отвечал он.

И, разгоняя собак, пошел впереди нас. Теперь татары и собаки на нас уже не ворчали.

Мы добрались до станции. Калино и поручик уже побывали там и ушли со смотрителем.

Хотя дорога к станции была уже нам известна, я сделал знак татарину, чтобы он следовал за нами. На изгибе дороги мы заметили в глубине оврага своих спутников и присоединились к ним.

Мне хотелось что-нибудь подарить своему кунаку за оказанную им услугу, и я поручил Калино спросить его, — что он пожелает. Тот ответил без запинки:

— Пороху и пуль.

Я высыпал в его папаху из своей пороховницы весь запас, а Муане, порывшись в мешке, вынул из него горсть пуль.

Мой кунак был в восхищении; он приложил руку к сердцу и, как нельзя более довольный, отправился домой, по пути два или три раза обернувшись и пожелав нам доброго пути.

Смотритель объявил, что у него налицо только одна тройка, а нам нужно девять лошадей.

Слухи о набеге лезгин просочились и сюда. Милиционеры забрали лошадей и двинулись в поход. Не ясно было, когда они возвратятся.

Я предложил разбить палатку, развести огонь и ожидать, когда нам дадут лошадей. Однако мое предложение было единодушно отвергнуто Муане, спешившим ехать вперед, г-ном Троицким торопившимся в Темир-Хан-Шуру, и Калино, которому не терпелось приехать в какой бы то ни было город по причинам, изложение которых я считаю немного тривиальным.

Один лишь Виктор Иванович хранил молчание, сказав, впрочем, что он сделает так как решит большинство.

Большинство же решило: взять имевшуюся тройку под мой тарантас — Муане, Троицкий, Калино и я поедем в тарантасе; Виктор Иванович и его слуга-армянин, который так хорошо готовил шашлык, останутся охранять наш багаж и свой собственный экипаж до возвращения лошадей; они присоединятся к нам в Темир-Хан-Шуре, где мы будем их ожидать; конвой из четырех казаков последует за нами.

Пришлось уступить. Лошади были запряжены; мы сели в тарантас и отправились.

Уже ночью мы прибыли на казачий пост. Конвой, сопровождавший нас от этого несчастного Унтер-Кале, поспешно возвратился, а Калино направился в крепость к казачьему офицеру с требованием нового конвоя.

Офицер вышел к нам с Калино, чтобы самому говорить с французским генералом. Он был в отчаянии, но не мог дать для конвоя более четырех человек. Все казаки были в поле; только шестеро оставалось при нем, да и из них надо было двоих оставить для охраны поста. Конечно, этого было недостаточно в пору, когда лезгины грозили нападением.

Мы согласились взять четырех человек; хмурясь, они сели на коней, и мы поскакали. Приближалась ночь, накрапывал мелкий дождик.

За четверть версты справа от казачьего поста мы встретили небольшую рощу, в которой насчитали двадцать пять крестов. До сих пор мы привыкли видеть татарские камни, а не христианские кресты. От темноты и дождя эти кресты казались еще более мрачными и будто преграждали нам путь.

— Спросите историю этих крестов, — сказал я Калино.

Калино подозвал казака и перевел ему мой вопрос.

Бог мой, история этих крестов была очень проста.

Двадцать пять русских солдат конвоировали оказию. Был жаркий полдень; кавказское солнце, дающее с северной стороны тридцать градусов тепла, а с полуденной все пятьдесят, сильно припекло головы солдат и унтер-офицера, который их вел. Они нашли эту прелестную рощицу и устроили перекур. Выставили одного часового, а двадцать три солдата и унтер-офицер прилегли в тени и уснули.

Что и как затем происходило, этого никто не знал, хотя дело было днем да еще в полуверсте от поста. Через несколько часов были найдены двадцать пять обезглавленных трупов. Русские были застигнуты врасплох чеченцами — в результате чего и стоят теперь двадцать пять крестов.

Мы продвинулись еще шагов на сто по направлению к Темир-Хан-Шуре, но без сомнения, мрачная история запала в душу казаку, рассказавшему эти подробности, и ямщику, ибо последний, ничего не говоря нам, остановил тарантас и стал о чем-то совещаться с первым. После секретного совещания они заявили, что дорога ночью неудобна для экипажа и очень опасна для путешественников, особенно, если имеется только четыре конвоира. Разумеется, наши казаки пожертвовали бы своей жизнью; безусловно, мы со своим вооружением могли бы долго защищаться, но опасность увеличилась бы, потому что тогда мы имели бы дело с людьми, доведенными до ожесточения.

В таком случае казак и ямщик не позволили бы себе сделать подобное замечание моему превосходительству; но ведь мне и самому небезызвестно, что лезгины замышляют набег, поэтому их слова я принял без гнева.

— Ты не уедешь ночью с казачьего поста, и мы завтра на рассвете поедем? — спросил я ямщика.

— *Будьте покойны* , — отвечал он.

Я велел поворотить, и мы двинулись обратно, к казачьему посту.

Глава XV
Аул Шамхала Тарковского

Спустя десять минут мы въехали в укрепление[115], у ворот которого стоял часовой. Мы были вне опасности — это правда; но мы находились на простом казачьем посту, и надо не забывать, что такое для цивилизованных людей пост на Кавказе. Это дом, построенный из земли и выбеленный известью, в щелях его летом обитают фаланги, тарантулы и скорпионы. О них мы еще будем иметь счастье говорить подробнее. Зимою эти умные гады, которые для столь сурового времени имеют слишком неудобное помещение, удаляются в места, им одним ведомые, и там приятно пережидают дурное время года, чтоб весною показаться снова. Зимой остаются здесь блохи да клопы; на протяжении четырех месяцев бедные насекомые вынуждены сосать только окаменевшую кожу линейных или изредка немного менее жесткую кожу донских казаков. Дни или, лучше сказать, ночи, когда они нападают на донского казака, для них праздники. Но коль они случайно нападут на европейца, это для них свадебный пир, масляничное говенье, пышное торжество. Своими особами мы готовили им одно из таких торжеств.

Нас ввели в самую лучшую комнату поста. В ней были камин и печка. Мебель состояла из стола двух табуреток и из доски, приставленной к стене и служащей походной постелью.

Надо было подумать и о пище. Рассчитывая ночевать в Гелли[116]или Темир-Хан-Шуре, мы не взяли никакой провизии. Мы могли послать казака в аул; но чтоб доставить нам удовольствие получить к ужину двенадцать яиц и четыре котлетки, он рисковал потерять голову.

Как русский, Калино был бы доволен судьбой, если б имел два стакана чаю (в России только женщины пьют чай из чашек), лишь бы только, говорю я, он имел два стакана чаю: напиток, который во французских животах одолевает даже несварение желудка и достаточен для усыпления или, точнее, для утоления голода. То же самое сделал и поручик Троицкий, благо у нас был дорожный несессер с чаем, самоваром и сахаром. С нами была и кухня, состоящая из сковороды, рашпера, горшка для бульона, из четырех жестяных тарелок и из такого же количества вилок и ложек. Однако ж кухонный прибор хорош тогда, когда есть, что в нем варить или жарить, а у нас решительно не оказалось никакой провизии.

Калино, имевший перед нами преимущество и вместе с тем несчастье говорить по-местному, отправился добывать съестное. Он имел кредит от одного до десяти рублей.

Все оказалось тщетно: ни за золото, ни за серебро не найти было ни дюжины яиц, ни килограмма картошки. Он успел добыть лишь немного черного хлеба и бутылку плохого вина. Мы, Муане и я, переглянулись, отлично поняв друг друга: в ночной темноте нам почудилось, будто на лестнице, ведущей в сарай, сидел петух.

Муане ушел и через десять минут воротился.

— Не хотят продать петуха ни в какую, — сказал он, — птица заменяет им на посту часы.

— Часы? Прекрасно! Но в моем желудке другие часы, а они возвещают голод, вместо того, чтоб указывать время. Ричард III предлагал за коня корону.

Калино хотел выменять мои часы на петуха. Я собрался было достать часы из кармана.

— Не трудитесь, — остановил меня Муане, — вот он.

— Кто?

— Петух. — И Муане извлек из-под пальто великолепного петуха с подвернутой под

---

115 Подготавливая «Кавказ», я в некоторых случаях консультировался с уже упоминавшимся Б. Гаджиевым. В частности, я просил его сообщить, как называется аул шамхала Тарковского и как правильно писать название другого аула, который Дюма будет вспоминать. На первый вопрос Б. Гаджиев ответил: Кумторкала, этот аул существует по сей день. На второй вопрос: Гелли (А. А. Бестужев-Марлинский называл — Билли).

116 В Центральном государственном военно-историческом архиве СССР (ЦГВИА СССР), где собраны все документы о событиях на Кавказе в описываемое Дюма время, мы обнаружили «Карту Кавказского края на 1854 год» (далее «Карта…») ф. 482. оп. 1. ед. хр. 172. Все названия в «Кавказ» выверены по этой «Карте…» На ней есть Гели, но нет Гелли, как у Дюма. Ну, что ж, тут немудрено ошибиться.

крыло головой. — Я усыпил его, чтоб не кричал, — сказал Муане, — теперь остается окончательно свернуть ему шею.

— Пренеприятная операция: увольте, я за нее не берусь; из ружья убью кого угодно, но ножом или руками… нет, нет.

— Вот и я тоже, — отвечал Муане. — Пусть делают с петухом, что угодно. — И он бросил его на землю — птица даже не шелохнулась.

— Э, да не магнетизирован ли ваш петух? — спросил я Муане.

Калино пнул петуха ногой; тот распустил крылья и вытянул шею; но эта способность к движению появилась у петуха только после пинка.

— Э, нет, сие более чем магнетизм — сие столбняк. Воспользуемся же его летаргическим сном, ощиплем, он проснется жареный, если и тогда вздумает жаловаться, будет поздно.

Я взял петуха за лапки: он не был ни усыплен, ни магнетизирован, ни в каталепсии, а попросту издох. Муане, заворачивая ему голову, вероятно, перестарался, повернул лишний разок и…

В считанные минуты он был ощиплен, выпотрошен, опален. Но вот беда: у нас ни масла, ни угля, хотя и есть огонь.

Тогда посреди камина мы вбили гвоздь, перевязали петуху ноги шнурком, повесили его на гвоздь и подложили тарелку, чтобы не потерять сока, на случай, если таковой оказался бы, стали всяко-разно поворачивать птицу, подставляя под огонь все части тела. Через три четверти часа она была кое-как изжарена.

На дне бутылочки из чайного прибора мы нашли немного оливкового масла и облили им жаркое. Оно было бесподобно. Не имея сожительниц, петух разжирел и напоминал знаменитого девственного петуха, о котором упоминает Брийя-Саварен[117].

Вот что значит слава! Вот что такое гений! Мы произнесли имя достойного судьи за полторы тысячи миль от Франции, у подножья Кавказа, и все знали это имя — даже Калино.

В России нет истинных гастрономов; но поскольку русские очень просвещенные люди, то знают иностранных гастрономов. Да внушит им небо мысль сделаться гастрономами — тогда гостеприимство их будет много совершеннее!

Поужинав, мы приступили к обсуждению другого, не менее важного вопроса, а именно, где мы будем спать. Трое с грехом пополам могли лечь на печке. Четвертый получил бы, разумеется, походную постель.

Нечего и говорить, что походная постель единодушно была предоставлена мне, иначе я один занял бы половину печи.

Влезли на печку, помогая друг другу, двое потом подняли третьего. Дело нелегкое: между лежанкой и потолком едва восемнадцать дюймов. Я подложил пучок соломы под голову моих сотоварищей: это было общим изголовьем. Потом я и сам закутался в шубу и бросился на скамью.

Не прошло и часу, как мои спутники захрапели один громче другого. Они, вероятно, были на такой высоте, куда не доходили блохи при всей своей прыткости. Тем более при такой температуре, которая вызвала в клопиных мозгах накопление мокроты. Но я, пребывавший в умеренной температуре, не сомкнул глаз; я чувствовал, буквально, что мех моей шубы приходил в движение от вторжения всевозможных насекомых, коими было напичкано наше жилище.

Я вскочил с постели, зажег свечу и стал писать одной рукой, а другой чесаться. На протяжении всей ночи я не мог следить за ходом времени. Мои часы остановились, а петух не существовал.

Но какая бы ночь ни была и какой бы ни казалась долгой, все-таки должна она когда нибудь кончиться.

---

117 Брийя-Саварен Ансельм (1755–1826) французский поэт и гастроном, автор поэмы «Физиология вкуса».

Начало светать, и я стал звать моих товарищей. Первый, кто проснулся, ударился головой о потолок и тем самым предостерег двух других. Все трое ловко перевернулись на живот и без приключений спустились на пол.

Наконец разбудили казаков, разбудили ямщика, запрягли лошадей и поехали. Никто, кажется, и не заметил, что с петухом случилось несчастье и что часы ночью не били.

Постоянно была туманная погода. Моросил мелкий дождь, грозивший перейти в снег. Я обвернул голову башлыком, попросив разбудить меня только на следующей станции или в случае нападения чеченцев.

Я проспал почти два часа, когда меня разбудили. А так как тарантас уже остановился, я вообразил, что мы прибыли на станцию.

— Ну, — сказал я, — надобно купить одного петуха и четырех кур и отдать их этим добрым людям взамен съеденного нами петуха.

— Э! — произнес Муане. — Время ли думать о петухе и о курах?

— Уж не лезгины ли? — воскликнул я.

— Это бы еще ничего.

— Так что же?

— Разве вы не видите: мы застряли в грязи.

И в самом деле, наш тарантас погрузился в глину по самую ось. Шел проливной дождь.

Муане, который не боялся чеченцев, невыразимо страшился дождя. Из-за простуды.

Он два раза перенес лихорадку; один раз в Санкт-Петербурге, другой в Москве, и хотя мы имели с собой всякого рода предохранительные и даже исцеляющие средства от лихорадки, он все ж опасался снова захворать.

Я посмотрел вокруг себя. Это была великолепная картина — однако ж в эту минуту было некстати говорить с Муане о пейзажах. Мы находились в центре восьми или десяти караванов, как и мы, погрузившихся в грязь. По крайней мере, двадцать пять экипажей, запряженных большей частью буйволами, были в одинаковом с нами положении. Видно, я спал богатырским сном, ибо раздававшиеся вокруг дикие крики не в состоянии были разбудить меня. Крики эти испускали татары. Я сожалел, что не владел языком Чингисхана. Думается, я обогатил бы словарь французских ругательств некоторым числом выражений, замечательных по своей энергии.

Хуже всего было то, что мы находились у подножья горы, которая, казалось, стала таять от основания до вершины, и я пешком, в своих длинных сапогах, вряд ли смог бы избавиться от беды. Калино же взирал на все это с философским спокойствием:

— Я не то еще видал при оттепелях в Москве.

— Но как поступают в таком случае в Москве? — спросил Муане.

— Никак, — спокойно отвечал Калино.

Между тем дождь постепенно превратился в снег, и следовало ожидать, что на следующее утро снежный покров будет высотой футов на шесть.

— Остается одно, — сказал я Калино, — а именно, предложить рубль или два этим молодцам, если они согласятся заложить в тарантас четырех буйволов; если не хватит четырех, пусть запрягут шесть; если мало и шесть, пусть запрягут восемь.

Наше предложение приняли.

Запрягли сначала четырех буйволов потом шесть, потом восемь, — все тщетно: несчастные животные скользили по грязи раздвоенными копытами и, издавая жалобные стоны, падали на колена. Через полчаса безуспешных попыток пришлось отказаться от этого.

Буря увеличивалась, и поднялась настоящая метель. Несмотря на страшную погоду, я не мог оторвать глаз от аула, возвышающегося на другом конце равнины. Сквозь снежный занавес мне предстало нечто удивительное. Я хотел поделиться своим открытием с Муане, но это было бесполезно: он дрожал, ощущая холод до мозга костей, и ему было не до этого.

Нечего делать — буйволов выпрягли; все их усилия ни на шаг не подвинули тарантас вперед. Вдруг меня осенило:

— Калино, спросите, как далеко отсюда до Темир-Хан-Шуры.

Мой вопрос был передан ямщику.

— Две версты, — отвечал тот.

— Так пусть один казак поскачет как можно скорее на Темир-Хан-Шуринский пост с нашей подорожной и приведет пять лошадей.

Мысль была так проста, что каждый подивился, как она не возникла раньше. Не правда ли, что везде можно натолкнуться на яйцо Христофора Колумба?

Казак поскакал галопом. Теперь волей-неволей приходилось его ожидать.

Между тем немного прояснилось, и я умолял Муане взглянуть хотя бы на чудесный вид аула.

— Не хотите ли, чтобы я вам срисовал аул? — вопросил он. — Я не чувствую пальцев на руках; скорее вы заставите морского рака поднять клешню, нежели меня — держать карандаш.

Возражать не приходилось; сравнение, которое ничего не оставляло желать в отношении живописи, не оставляло никакой надежды и относительно исполнения.

Однако, после раздумья, он прибавил:

— Какая досада! Я знаю, что при освещении это должно быть восхитительно; замечательная страна Кавказ, если бы только снег не был так холоден и дороги не так дурны. Бррр!

Действительно, посреди домов видневшегося вдали аула возвышалась неприступная скала, и на вершине ее был выстроен дом-крепость, владелец которого, стоя на пороге у дверей, спокойно смотрел на наши муки в непролазной грязи.

— Поинтересуйтесь, — сказал я Калино, — кто этот господин, который решился поселиться там, на скале.

Калино передал вопрос ямщику.

— Шамхал Тарковский, — бросил тот.

— Слышите, Муане? Потомок персидского халифа Шах-Аббаса.

— Я знать не желаю ни Шах-Аббаса, ни его халифов; надо быть большим чудаком, чтоб заинтересоваться подобными вещами в этакую погоду.

— Муане, вот и лошади!

Муане повернулся. Пять лошадей действительно стремительно приближались к нам.

— Какое счастье! — сказал он.

— Гей! Кони, гей! Проворней, — кричал я.

Отпрягли прежних лошадей и запрягли новых; они вмиг сдвинули тарантас и понесли его, словно перышко.

Через четверть часа мы были в Темир-Хан-Шуре, а наш конвой — на обратном пути, увозя с собой петуха и четырех живых кур, взамен той бедной птицы, которую мы у них скушали.

Здесь мы нашли большой огонь, который был разложен нарочно для нас. Поручик Троицкий жил в Темир-Хан-Шуре с другом, которого он предупредил о нашем приезде через казака, отправленного за лошадьми, и друг распорядился затопить печку и камин.

Муане согрелся. По мере того, как он согревался и приходил в себя, он все больше оживал, и в нем все больше обнаруживался художник:

— Аул ваш в самом деле прекрасен.

— Не правда ли?

— Что это за господин, который смотрел на нас, стоя у порога?

— Шамхал Тарковский.

— У него славное жилище. Калино, подайте сюда мой картон. Надо поспешить зарисовать его голубятню, прежде чем меня опять начнет трясти лихорадка.

И он вновь стал рисовать, приговаривая:

— Я чувствую тебя, проклятая лихоманка, вот ты приходишь и не даешь мне закончить рисунок.

И, словно по волшебству, рисунок получался все более точным, более величественным

и оригинальным, чем если бы он был сделан с одной лишь натуры.

Время от времени рисовальщик считал пульс.

— Все равно, — говорил он, — я думаю, что успею. Точно, успею — это я вам ручаюсь. Кстати, есть ли врач в этом городе?

— За ним уже послали.

— Только бы хинин не остался в телеге.

— Будьте *покойны* , хинин был в тарантасе.

— Ну, что ж, рисунок все же я завершил, он не будет худшим из прочих моих. И он стоит того, чтобы его подписали.

И он подписался: Муане.

— Есть ли, лейтенант, — спросил он, — у вас кровать? У меня зуб на зуб не попадает.

Муане помогли раздеться и уложили в постель. Едва он лег, как объявился врач.

— Где пациент? — спросил он.

— Покажите ему вначале мой рисунок, — попросил Муане, — посмотрим, узнает ли он его.

— Узнаете ли вы этот пейзаж, доктор, — спросил я врача.

Он скользнул по нему взглядом:

— Еще бы — это аул шамхала Тарковского.

— Да, теперь я удовлетворен, — произнес Муане, — посмотрите мой пульс, доктор.

— Черт побери! Ну и пульс: сто двадцать.

Несмотря на эти сто двадцать ударов, или, быть может, именно из-за них, Муане создал свой самый совершенный рисунок из всех сделанных в путешествии. Вот какая замечательная вещь искусство!

Глава XVI
Лезгины

Большая доза хинина, принятая Муане вскоре после приступа лихорадки, волшебным образом прервала его болезнь. Лихорадки не было ни вечером, ни ночью, ни утром.

Я осведомился, что есть примечательного в Темир-Хан-Шуре; но на это мне отвечали отрицательно.

Действительно, Темир-Хан-Шура или, как называют сокращенно, Шура, лишь недавно отстроенное поселение. Это местопребывание Апшеронского полка.

Князь Аргутинский [118] , видя, что место это находится среди непокорных и воинственных народов, сделал из него штаб-квартиру Дагестана. Командовал штаб-квартирой во время нашего сюда приезда барон Врангель.

К сожалению, барон находился в Тифлисе.

Шура была осаждаема Шамилем, но генерал Скролов[119] успел прийти на помощь, и Шамиль был вынужден снять осаду.

Однажды ночью Хаджи-Мурад ворвался в ее улицы; вовремя была произведена тревога, и Хаджи-Мурад — отбитый, возвратился в горы.

Предание гласит, что место, на котором в настоящее время находится Шура, было прежде озером.

На другой же день после нашего прибытия предание почти осуществилось. Весь город

---

[118] Князь Моисей Захарович Аргутинский-Долгорукий (1798–1855) — представитель древнего армянского рода. За взятие аула Гергебиль в 1848 году получил звание генерал-адъютанта. По его приказу в 1833–41 гг. была построена в поселке военная крепость, после чего поселок постепенно стал преобразовываться в город Темир-Хан-Шуру.

[119] Генерал с этой фамилией в списках кавказской армии нами не обнаружен.

буквально превратился в огромную лужу.

С той минуты, поскольку нам нечего было делать в Шуре и лихорадка покинула Муане, оставалось только проститься с нашим хозяином, поблагодарить доктора, спрятать хинин для другого случая и уехать. Мы потребовали лошадей с конвоем и в восьмом часу утра выехали.

Я забыл сказать, что в эту ночь Виктор Иванович со своим багажом присоединился к нам.

Около десяти утра туман рассеялся и погода совершенно исправилась. Снег, который вызвал у Муане жар, исчез сам по себе, как и его лихорадка. Солнце взошло в полном своем блеске, и хотя октябрь[120] был уже на исходе и мы находились на северном склоне Кавказа, но в воздухе чувствовалась какая-то благотворная теплота.

Почти в полдень мы прибыли в Параул: простую почтовую станцию, на которой не доставало только одного — лошадей. Разумеется, мы не стали на сей счет вести переговоры со смотрителем; мы сразу пошли в конюшни, но они оказались пусты. На нет и суда нет.

Весьма неприятно проехать в день только двадцать верст.

Из несессера вынули перья, бумагу и чернила; вынули карандаши, бристольский картон и принялись за работу. В подобных случаях это служило нам развлечением.

Ночью лошади возвратились, но это были только две тройки. Наш бедный Виктор Иванович снова должен был остаться.

Мы выехали в десять часов утра.

Ночью была тревога, о которой мы ничего не ведали. Два человека, подойдя к воротам селения, объявили, что они бежали от лезгин; так как лезгины часто прибегают ко всевозможным хитростям, чтобы проникнуть в аулы, часовые пригрозили начать стрелять в них, и те удалились.

Нам дали конвой из десяти человек. Осмотрев все наше оружие, мы двинулись. Через час езды в редеющем тумане мы остановились за четверть мили от деревни Гелли. Она полностью походила на аул шамхала Тарковского.

Перед деревней росла прелестная роща, состоявшая из великолепных деревьев, между ними протекал настоящий пастушеский ручеек Вульсия бедного Эжезиппа Моро[121]. В теплые летние дни все это должно быть сущим оазисом. Под лучами солнца, проникающими сквозь туман, который уже стал рассеиваться, обрисовалась деревня Гелли — великолепный татарский аул, расположенный на высоком холме между двумя высокими горами, основания которых отделялись от основания холма двумя очаровательными долинами.

Жители этой деревни, расположенной в виде амфитеатра, были очень возбуждены. Платформ минарета, возвышавшегося над аулом, вершина горы, господствовавшая над минаретом — все было заполнено множеством людей, которые, будто по сигналу, устремили глаза в одну и ту же точку. Мы остановились на несколько минут для того, чтобы Муане мог набросать эскиз, потом крупной рысью двинулись в Гелли.

Там происходило нечто чрезвычайное, и мы немедленно узнали причины этого волнения.

Речь шла о лезгинской экспедиции, о которой уже три дня толковали, как о чем-то неопределенном, но угрожающем.

В это время милиционеры Гелли должны были иметь дело с лезгинами. Вот, собственно чем и исчерпывались все наши сведения; остальное было еще менее известно.

На рассвете двое пастухов пришли в Гелли со связанными руками и рассказали жителям, что отряд из пятидесяти лезгин под предводительством известного абрека Гобдана,

---

[120] Датировка Дюма пребывания на Кавказе весьма запутана из-за разницы в двенадцать дней в календарях, принятых в Европе и в Россия.

[121] Псевдоним Пьера Жака Руно (1810–1838) — популярного революционного поэта 30-х годов XIX века. Моро жил и закончил свои дни в крайней нищете. Его повести и стихотворения проникнуты тоской.

именуемого Таимас Гумыш-Бурун, забрав накануне в одном *кутане* [122] баранов и охранявших их двух пастухов, заблудился в тумане и ночью прошел вблизи Параула, где мы ночевали. Лезгины быстро удалились, но наткнулись на другую деревню, называемую Гвилей. Тогда горцы, видя опасность своего положения, бросили животных и людей и направились в лесистые горы, соединяющие Гелли с Карабадакентом.

В Гелли, состоящем из трех тысяч жителей, обратили внимание на этот рассказ. В ту же минуту *есаул* [123] Магомет-Иман Газальев собрал всю свою татарскую милицию — около двухсот человек — и привлек еще сто человек охотников. Уже три часа прошло со времени их отъезда утром. Настал полдень, и лишь тогда кто-то заметил большой дым со стороны ущелья Зилли-Кака, находящегося в двух милях от города, направо от дороги в Карабадакент.

Это была та самая дорога, по которой мы ехали.

Лошадей переменили с удивительной быстротой. Двенадцать человек конвойных уже были готовы, прежде чем мы успели их потребовать; в нашем распоряжении была бы вся деревня, женщины и дети. Женщины находились в невероятном раздражении, невыразимо дико жестикулировали и неистово кричали.

Дети, которым у нас не позволяют брать нож в руки, из опасения, как бы они себя не ранили, держали обнаженные кинжалы и, казалось, были готовы нанести удар.

Мы быстро поскакали, сопровождаемые завыванием словно целого стада гиен.

Выезжая из Гелли, увидели равнину с цепью гор, где совершалось какое-то событие. Нам показалось, будто в данном направлении двигались какие-то существа с большой скоростью; на таком расстоянии невозможно было отличить, были ли это люди или животные, толпа всадников или стадо баранов, либо быков, — виднелись только черные точки.

Совершенно гладкая равнина у подножья гор почти на милю простиралась от дороги, по которой мы ехали. С согласия моих попутчиков я велел ямщику направить наши экипажи по этой равнине, прямо на ущелье Зилли-Кака. Наш конвой громкими криками выразил свое удовольствие, узнав о таком решении: конвойные имели своих братьев и друзей в деле с лезгинами и спешили узнать об их участи.

Тарантас и телега съехали с дороги и пустились равниной. По естественному закону перспективы по мере нашего приближения первая гора вырастала, между тем как вторая — напротив, по-видимому понижалась за первой. Достигнув подножья первой горы, мы совершенно потеряли из виду, что происходило на вершине второй. Более всего меня удивило, что не слышно было ни одного выстрела, не заметно ни малейшего дыма. Наши татары объяснили это тем, что горцы и милиционеры стреляют из ружья и пистолетов один в другого только при встрече лицом к лицу, потом берутся за кинжалы и шашки, и все это заканчивается рукопашной схваткой.

Раздались выстрелы, показался дым, после чего настала очередь кинжалов и шашек.

Оба экипажа остановились у подножья горы и не могли продвигаться дальше.

Мы предложили татарам снабдить нас тремя верховыми лошадьми, чтобы остальные девять всадников отправились на гору вместе с нами, трое же сторожили экипажи. В случае, если бы борьба продлилась, подкрепление из девяти человек, — мы были настолько скромны, что не считали себя — могло быть полезным милиционерам.

Трое сошли и дали нам своих коней. Как генерал, я назначил собственной своей властью командиром того, кто показался мне посмышленнее, и мы отправились с ружьями

---

[122] Кутан — отгонное пастбище.
Прим. А. Дюма.

[123] Так именуется командир сотни казаков или милиционеров.
Прим. А. Дюма.

наготове.

Прибыв на первое плато, мы заметили верхушки папах отряда, ехавшего нам навстречу. Наши люди тотчас узнали своих и с громкими возгласами пустили коней вскачь. Наши лошади не отставали от них, но мы еще не совсем знали, куда направляемся, да и не ведали, были ли то друзья или враги.

Люди в папахах также узнали нас или, лучше сказать, узнали своих друзей. Они кричали *«ура!»,* а некоторые подняли руки с ношей — нам уже понятной.

Раздались крики: *«Головы! Головы!»* Не стоило расспрашивать, что это были за трофеи. Они приближались к нам с такой быстротой, что уже без объяснения все было понятно.

Обе группы соединились, третья же, несколько отставшая, двигалась медленно. Она не торжествовала победу — она несла мертвых и раненых.

Сначала невозможно было разобрать слов, произносимых вокруг нас. К тому же разговор шел на татарском языке, и Калино, наш русский переводчик, решительно ничего не понимал. Красноречивей всего выглядели четыре или пять отрубленных и окровавленных голов, еще более живописными были уши, вздетые на рукоятки нагаек.

Но вот прибыл и арьергард; он вез трех мертвых и пять пленных. Еще трое раненых едва могли держаться на своих конях и ехали шагом. Пятнадцать лезгин были убиты, трупы их находились в полумиле от нас, в овраге Зилли-Кака.

— Попросите сотника, чтобы он дал нам милиционера, который проводил бы нас на поле сражения, и спросите его о подробностях, — обратился я к Калино.

Начальник сам взялся отвести нас туда. Он был украшен Георгиевским крестом и в рукопашной битве собственноручно убил двух лезгин. В пылу сражения он отрубил им головы и вез их с собой. Кровь текла с них ручьем.

Всякий, убивший горца, имел право, кроме головы и ушей, обобрать его дочиста. Одному из них досталось великолепное ружье, которое мне очень понравилось, но я не осмелился, при всем том, просить о продаже его мне[124].

Отряд продолжал двигаться к аулу. Я уполномочил сотника располагать нашими двумя экипажами, если нужно для раненых и даже для мертвых. Он объявил об этом своим людям.

Потом ратники возвратились в деревню — мы же направились на поле сражения.

Вот что рассказал Магомет-Иман Газальев.

Собрав свою сотню, он направился по Геллийской дороге с проводниками-пастухами. Возле Гелли он нашел стадо баранов, которое горцы бросили, чтобы не задерживаться в пути.

Он поручил пастухам загнать баранов, а сам стал отыскивать следы горцев и быстро нашел их.

Проскакав с проводниками, умеющими легко находить следы, три версты, они наконец прибыли к оврагу Зилли-Кака, покрытому в это время густым туманом. Вдруг в глубине оврага они заметили лихорадочно перемещающихся людей, и тут град пуль посыпался на милиционеров; от этого залпа один человек и две лошади были убиты.

Иман Газальев скомандовал тогда:

— Ружья отставить! В шашки, в кинжалы!

И прежде чем горцы, находившиеся в овраге, успели сесть на своих коней, милиционеры ринулись на них, и завязался рукопашный бой.

С этой минуты Иман Газальев, старавшийся во всю мочь, не видел, что происходило вокруг него. Он дрался в одиночку с двумя горцами и убил обоих. Борьба была страшная, ибо когда он взглянул вокруг себя, то насчитал тринадцать мертвых горцев и двух своих, что составило пятнадцать. Другие обратились в бегство.

---

124 Ружье это уже принадлежало мне. Я скажу позже, каким образом оно мне досталось.
Прим. А. Дюма.

Все шло согласно его приказанию: милиционеры дрались холодным оружием и не сделали ни одного выстрела.

Он передал нам историю эту по-русски. Калино переводил ее по мере возможности на французский.

К концу рассказа мы были уже далеко. Широкая лужа крови показала нам, что мы прибыли на поле сражения. Направо, в лощине, лежали голые или почти обнаженные трупы. Пять человек были обезглавлены; у всех же других недоставало правого уха.

Страшно было смотреть на раны, вызванные ударами кинжалов. Пуля проходит насквозь или остается в теле, образуя рану, в которую можно просунуть только мизинец, — она посинеет вокруг, и только. Но кинжальные раны — это настоящая бойня: у некоторых были раскроены черепа, руки почти отделены от туловища, груди поражены так глубоко, что даже виднелись сердца.

Почему ужасное имеет такую странную притягательную силу, что, начав смотреть на него, хочешь видеть все?

Иман Газальев показал два трупа, которые он узнал по нанесенным им ранам. Я просил его продемонстрировать и оружие, которым он так хорошо поработал. Это был самый простой кинжал с костяной рукояткой. Только клинок был куплен им у хорошего мастера и прочно отделан. Все это ему стоило восемь рублей. Я спросил его, не согласится ли он уступить мне это оружие и за какую цену.

— За ту же цену, какую он мне стоил, — отвечал Газальев — Я взял два кинжала у убитых мною лезгин, теперь у меня их три, и я не нуждаюсь в этом.

Я дал ему десятирублевую бумажку, а он мне — кинжал, который вошел в коллекцию оружия, собранную мной на Кавказе.

Мы подождали, пока Муане зарисует овраг с лежавшими в нем трупами, и, уступив место стае орлов, которая, по-видимому, с нетерпением ожидала нашего отъезда, пустились обратно.

Под горой по-прежнему стояли наши экипажи, их не нашли нужным употребить в дело.

Мы простились с Иманом Газальевым и, видя, что по случаю этого наши татары желают возвратиться с ним в Гелли, отпустили их.

Сомнительно было, чтобы горцы, после полученного ими урока, снова показались в окрестностях аула Гелли.

Без приключений мы прибыли в Карабадакент.

Там нам сказали, что князь Багратион[125] только что проехал, спрашивая нас. Нам ничего не оставалось, как отправиться вслед за князем Багратионом.

В Буйнаки мы увидели у подъезда господина, по-видимому, лет тридцати-тридцати пяти, в изящном черкесском платье.

Это был князь Багратион.

Глава XVII
Каранай

И в самом деле: он отыскивал нас.

Я уже знал князя заочно, как одного из самых храбрых офицеров русской армии. Было совершенно справедливо, что именно он командует конной горской милицией.

Грузин, т. е. житель равнины, командующий горцами, должен быть храбрее самого храброго из своих солдат. Что же касается происхождения, то Багратион — потомок древних грузинских государей, царствовавших с 885 по 1079 год. Следы его фамилии определяются в

---

[125] Командир Дагестанского конно-иррегулярного полка подполковник князь Иван Романович Багратион. Будучи майором, принял этот полк 28 апреля 1854 года. Прослужил в этой должности до 1 марта 1859 года, когда в чине полковника стал командиром Северского драгунского полка. Через год был убит горцами.

кавказской хронологии за 700 лет до н.э. Из этого видно, что древность рода герцога Леви далеко не идет в сравнение с его фамилией[126].

Итак, я сказал, что Багратион искал нас. Он заметил, что имеет право упрекнуть меня: я проезжал через Шуру и не предупредил его об этом. Но у меня была на то серьезная причина: я решительно не знал, что он находится в Шуре.

Потом я рассказал ему все, что с нами случилось, т. е. о вьюге, о городе, превратившемся в озеро, и, наконец, о болезни Муане и о его желании поскорее оставить этот город, где его пульс бился сто двадцать раз в минуту.

— Жаль, — сказал князь, — но вы вновь возвратитесь туда.

— Куда? В Шуру? — спросил я.

— Нет, нет, нет, — возразил Муане, — благодарю, я уже там кое-что приобрел.

— Но вы, господин Муане, — сказал князь, — не знакомы с панорамой Караная?

— Что такое Каранай? — спросил я князя.

— Это нечто столь интересное, что подобное ему вы едва ли встретите во время всего вашего путешествия.

— Муане, слышите?

— Представьте себе гору… Но нет, не представляйте себе ничего. Я вас повезу, и вы увидите.

Муане покачал головой.

— Поедемте, господин Муане, и вы будете благодарить меня за этот принудительный вояж.

— Очень далеко отсюда, князь? — поинтересовался я.

— Сорок верст, т. е. десять миль. Вы оставьте здесь тарантас и телегу, мой слуга будет их караулить. Поедем в моем экипаже. Через два с половиной часа мы будем на месте, там поужинаем, вы ляжете спать тотчас после ужина. Вас разбудят в пять часов, мы поднимемся на высоту две тысячи метров на добрых конях, — это сущая безделица. А тогда… тогда вы увидите чудеса.

— Этак мы никогда не доедем до Тифлиса, — сказал Муане со вздохом.

— Друг мой, мы опоздаем на одни только сутки, но зато насладимся прекрасными видами, каких мы никогда не видали. Князь же проводит нас до Дербента.

— Да, решено, если вы возвратитесь со мной в Шуру и пробудете у меня завтрашний день, обещаю доставить вас завтра же вечером на ночлег в Каракент.

— Вы же знаете, князь, что нам не дадут лошадей после шести часов вечера.

— Со мной вам будут давать лошадей до полуночи.

— Будем ли мы ночевать завтра в Каракенте? — спросил Муане.

— Конечно, — ответил князь.

— Едем, Муане, едем!

— Едем, но объявляю вам, что ненавижу панорамы.

— Это понравится вам, господин Муане.

— А коли так, время потеряно не будет; вы говорили, князь, об ужине: у меня сейчас разыгрался аппетит.

— В таком случае не будем тратить время по пустякам. Пятерку заложим в тарантас, и в путь.

Пока закладывали лошадей, я любовался оружием князя.

— У вас, князь, великолепный кинжал.

Никогда не говорите ничего подобного грузину, ибо он в ту же минуту сделает то, что сделал князь.

---

126 Корни генеалогического древа герцога Леви идут от самой богоматери, приказавшей одному из его предков стоящему перед ней без шапки:

— Накройтесь, любезный братец.

Прим. А. Дюма.

Он снял кинжал с пояса.

— А! Я очень рад, что он вам нравится, возьмите его, он работы Муртазада — первого оружейного мастера на Кавказе, который сделал его для меня. Посмотрите, вот татарская надпись: «Муртазад сделал этот кинжал для князя Багратиона».

— Но, князь…

— Берите, берите! Для меня сделают другой.

Я посмотрел на свой кинжал, который тоже был из прекрасного дагестанского клинка, но рукоятка из слоновой кости зеленого цвета, с золотой насечкой вовсе не годилась для князя. При том кинжал за кинжал — неловкий был бы обмен подарками, без сюрприза. Я вспомнил о своем штуцерном карабине. Как я уже, кажется, рассказывал, Девим, наш великий артист в оружейном искусстве, принес накануне моего отъезда из Парижа этот карабин вместе с револьвером.

— Вы едете на Кавказ? — спросил он меня.

Я кивнул.

— Это такая страна, откуда не возвращаются, не постреляв. Вы любитель хорошего оружия: возьмите у меня эти вещи. — И он предложил мне в подарок, как я уже сказал, карабин и револьвер.

Я взял свой карабин и передал его князю, объяснив ему механизм. Он много слышал об этом новом изобретении, но не знал его.

— Хорошо, — сказал он, осматривая оружие, — мы теперь кунаки, как говорят на Кавказе: вы не имеете более права отказать мне в чем бы то ни было, и поскольку я теперь ваш должник, то вы мне позволите расквитаться с вами…

Доложили, что лошади готовы.

Кучер князя остался, как мы условились, для охраны наших вещей.

Мы сели в тарантас и понеслись во всю мочь.

— Эге! Видно, что вас здесь все знают, князь.

— Иначе и быть не может, — отвечал он. — Я постоянно курсирую между Шурой и Дербентом.

Действительно, князя знали все, даже маленькие дети. В Карабадакенте, пока перепрягали лошадей, он обратился к детям с вопросами по-татарски и, уезжая, бросил им горсть абазов[127].

Дорогой я рассказал ему, что случилось с нами утром и как за час перед тем мы попали в суматоху. Я показал ему и кинжал, купленный у Имана Газальева, и выразил сожаление, что не попытался купить у последнего и ружье, снятое им с лезгинского начальника.

— Оно уже куплено, — сказал князь.

— Кем?

— Мною. Это вдобавок к моему кинжалу — считайте его вашим.

— Но оно, вероятно, теперь уже далеко.

— Может быть, но во всяком случае оно будет у вас. Говорю вам, считайте, что оно у вас в руках. Поверьте, князь Багратион не бросает слов на ветер. Вы видите, — добавил он смеясь, — что мы едем довольно быстро, чтобы нагнать ружье.

— Я думаю, так и должно, в противном случае нас нагнала бы пуля.

В восемь часов вечера мы были в Шуре, которую оставили накануне в десять часов утра. За три с половиной или четыре часа мы совершили то же путешествие, на которое ушло полтора дня.

Через десять минут после нашего прибытия был подан ужин. Ужин на французский лад! Это сразу навело на разговор о Париже. Князь оставил его только два года назад. Он знал там всех. Если бы сказали дамам, о которых мы разговаривали, что вблизи Каспийского

---

127 Татарская монета, соответствующая нашим двадцати су.
Прим. А. Дюма.

моря, у подножья Караная, между Дербентом и Кизляром речь шла о них, то они, конечно, крайне удивились бы.

Мы легли в настоящую постель. Я почувствовал себя как дома. Прежде это было у князя Дондукова-Корсакова в Чир-Юрте.

В пять часов утра нас разбудили.

Была еще ночь, небо блистало звездами. Слышно было топанье и ржанье коней у ворот.

Князь вошел в нашу комнату.

— Пора, господа, — сказал он. — Не угодно ли чашку кофе или чаю — на выбор. Мы увидим восход солнца на Каспийском море, позавтракаем в крепости Ишкарты, куда мы приедем со зверским аппетитом, и потом вы увидите… Я не хочу заранее лишать вас удовольствия от сюрприза.

Мы выпили по чашке кофе. Сто человек дружины князя Багратиона ожидали нас у ворот. Мы уже сказали, что эта дружина составлена из местных горцев.

Вы думаете, что эти горцы — покорившиеся лезгины, чеченцы и черкесы? Ошибаетесь. Местные горцы это те несчастные, которые, как говорят на Корсике, «сделали дыру в коже». Когда горцу угрожает мщение, он покидает свою местность и вливается в дружину Багратиона. Можете судить, как эти молодцы должны драться; им никогда не представится случай быть в плену. Сколько пленных — столько же отрубленных голов. Лишь кабардинских стрелков, которых я тоже видел, можно сравнить с этими отчаянными мужчинами.

Мы ехали почти полчаса через лесистые холмы.

Стало понемногу светать. Только часть одной горы препятствовала нам видеть море, которое было в трех верстах от Темир-Хан-Шуры и представилось, как громадное глубокое зеркало; по другую сторону белелись в первых лучах солнца казармы Ишкарты, которые можно было принять за беломраморные дворцы.

Мы проехали по небольшой долине, где встретили великое множество куропаток и фазанов. В половине восьмого утра прибыли в Ишкарты, проскакав пятнадцать верст. Комендант крепости, предупрежденный накануне Багратионом, ожидал нас — завтрак был готов. Пятьсот человек, которые должны были сопровождать нас, были уже под ружьем.

На скорую руку, но тем не менее хорошо позавтракав, мы поехали дальше. Было девять часов.

Мы поднимались все выше и выше до самого полудня; пехота трижды останавливалась отдыхать, каждый раз на десять минут. По приказанию князя солдатам отпускалось по чарке *водки;* для этого сопровождала экспедицию целая бочка *водки.*

На пространстве восьми или десяти верст не было лесу; он сменился зелеными холмами, следовавшими один за другим беспрерывно и бесконечно. Взбираясь на вершину какого-либо холма, мы думали, что это будет последний, но ошибались: возникал новый подъем, на который так же следовало взбираться, как и на другие.

Впрочем, до развалин огромной деревни, разрушенной русскими в 1842 году, мы ехали по почти протоптанной дороге. От домов сохранились лишь жалкие остатки, хотя полуразрушенный минарет выглядел очень живописно. Отсюда уже нет тропинки, лишь непрерывная цепь холмов.

Наконец мы взобрались на последний холм. Там каждый из нас невольно попятил свою лошадь назад. Казалось, будто под ногами нет земли. Остроконечная скала возвышалась на семь тысяч футов. Я спешился — чтобы не было головокружения, лучше стоять на ногах и чувствовать землю под собой. Но этого оказалось недостаточно — я лег на землю и закрыл руками глаза. Надо испытать это неизъяснимое ощущение головокружения, чтобы иметь понятие о страданиях, причиняемых им. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли — земля словно была жива, двигалась, билась подо мною: на самом деле это так билось мое сердце.

Наконец я поднял голову. Нужно было сделать немалое усилие, чтобы заглянуть в пропасть. Сначала я заметил только одну долину, простирающуюся на беспредельное

расстояние, в глубине которой змеились две серебряные нити. Эта долина и была вся Авария; две серебряные нити — Койсу Андийское и Койсу Аварское, соединение которых образует Сулак. На правом берегу Аварского Койсу, внизу, обрисовывались, подобно точке, Гимры, место рождения Шамиля, со своими великолепными садами, фруктами, которыми русские лакомились только однажды. Здесь, защищая аул, Кази-Мулла был убит, здесь же появился Шамиль.

С другой стороны Аварского Койсу, на довольно возвышенном плато, выдвигалось, так сказать, в уровень с нами, селение Унцукуль, в котором каждый дом укреплен и которое окружено каменной стеной. На горизонте были видны развалины Ахульго, хотя деревня уже совершенно опустела. В этой самой деревне был взят молодой Джемал-Эддин. Позже мы расскажем его историю, связанную с по хищением грузинских княгинь.

На левой стороне чуть заметно возвышается деревня Хунзах, едва видимая отсюда. По ту сторону, в глубине долины, у истоков Аварского Койсу, виднеется почти незаметная точка: это аул Кабада, куда, вероятно, удалится Шамиль, если он будет вынужден оставить Веден. Направо от Кабады по направлению Андийского Койсу сквозь узкое отверстие видно синеватое ущелье, где в тумане все уже смешивается. Это страна тушинов-христиан, союзников России в ее долгой войне с Шамилем.

Кое-где поднимавшийся дым окутывал невидимые селения, названия которых никто не мог мне сказать. Только с вершины Караная можно видеть это ужасное разрушение, это неслыханное опустошение, которое представляет цепь Кавказа. Ни одна страна в мире не была так изувечена вулканическими извержениями, как Дагестан. Горы, подобно людям, кажутся истерзанными от беспрерывной и отчаянной борьбы.

Древняя легенда гласит, что дьявол постоянно приходил мучить любимого богом отшельника, жившего на самой высокой горе Кавказа в ту эпоху, когда Кавказ еще представлял ряд плодоносных, покрытых зеленью и доступных гор. Отшельник испросил у бога позволения заставить сатану раз и навсегда раскаяться за причиняемые им соблазны. Бог разрешил, не спрашивая даже о средствах, какие будут им приняты для достижения цели.

Отшельник раскалил щипцы, и когда, по своему обыкновению, дьявол просунул голову в дверь, святой человек призвал имя божье и схватил сатану за нос раскаленными щипцами. Сатана почувствовал нестерпимую боль, отчего совершенно растерялся и принялся плясать на горе, ударяя своим хвостом по Кавказу от Анапы до Баку. От ударов хвоста сатаны и образовались эти долины, ущелья, овраги, перекрещивающиеся таким многосложным и безалаберным образом, что остается — и это всего благоразумнее — согласиться с легендой и приписать это дело упоминаемым в ней лицам.

Примерно час мы пробыли на вершине Караная. Постепенно я мало-помалу пригляделся к этому страшному величию природы и, признаюсь, как и Багратион, что ничего не видел подобного ни с вершины Воллорна, ни с Риги, ни с Этны, ни с пика Гаварни. Сознаюсь, однако что я испытал невыразимое чувство удовольствия, когда отвернулся от этой великолепной пропасти.

Но нам готовился еще сюрприз. С русской точностью наши пятьсот пехотинцев сделали залп из своих пятисот ружей. Ни буря, ни гром, ни вулкан никогда не производили такого страшного оглушительного громыхания. Меня подвели — против моей воли — еще ближе к пропасти. Я мог видеть на глубине семи тысяч футов подо мною жителей Гимры, копошившихся наподобие роя муравьев, выбежавших из своих жилищ в тревоге. Они должны бы вообразить, что Каранай готов обрушиться на них.

Этот залп был сигналом нашего возвращения. Мы начали спускаться. К счастью, спуск не был трудным, а оказался приятным от начала и до конца.

Это наслаждение было вызвано сознанием того, что каждый шаг лошади удалял меня на целый метр от вершины Караная. Говоря «каждый шаг лошади», я ошибаюсь, ибо мы спустились до разрушенного селения, держа лошадей за поводья, и только отсюда мы решились снова сесть на коней. Мы обедали в крепости Ишкарта и могли бы по-настоящему

ехать ночевать в Буйнаки, но были так утомлены, что сами предложили князю Багратиону остаться до утра.

Когда мы пили чай, меня пригласили пройти в комнату, где, как сказали, находится особа, желающая меня видеть. Это был военный портной, пришедший снять мерку для полного офицерского платья: по предложению командира я был единогласно избран солдатами почетным членом полка местных горцев.

Торжественная музыка гремела весь вечер в зале по случаю принятия меня в полк.

Глава XVIII
Дербент

Мы выехали на рассвете; погода обещала быть превосходной; снег и гололедица исчезли, и нас предупредили, что мы встретим на дербентской дороге лето.

Мы снова проехали через Гелли. Князь обменялся несколькими словами по-татарски с начальником наших милиционеров Иманом Газальевым и, казалось, был удовлетворен его ответом. Я был уверен, что речь шла о моем ружье, и потому не сказал ни слова. В Карабадакенте мы позавтракали. Тарантас был полон провизии. Муане сделал три рисунка.

Местность была столь живописной, и все вокруг столь обращало на себя внимание, что поминутно хотелось остановиться.

В Буйнаках мы нашли свои экипажи и слугу князя. Я сел с Багратионом в его тарантас; Муане и Калино поместились в моем. В пять минут лошади были запряжены, и мы поехали. В двухстах шагах от аула мы подняли целую стаю куропаток, которая снова приземлилась шагах в пятидесяти от нас. Мы стали их преследовать. Я убил одну. Стая взметнулась ввысь и скрылась. Я следовал за ними.

Взобравшись на вершину холма, я забыл куропаток: предо мной открылось Каспийское море. Оно имело цвет синего яхонта. Ни одной рябинки не было на его поверхности.

Море было пустынно, как степь, выглядевшая его продолжением. Ничего не казалось мне более величественным и печальным, как это море Иркании, как называли его древние, море почти мифическое до Геродота, море, пространство и границы которого первый обозначил Геродот, и которое сейчас не намного более известно чем раньше. Таинственное море, принимающее в себя все реки севера, запада и юга, с востока получает только песок, поглощает все, не отвергая ничего, и имеет такое течение, что никто не знает, каким подземным путем уходит его вода.

Когда-нибудь море, которое мало-помалу засоряется, превратится наконец в большое песчаное озеро или, по крайней мере, в одно из тех соленых болот, какие мы встретили в киргизских и ногайских степях. По положению дороги понятно, что мы не потеряем его из виду до самого Дербента.

Мы спустились с холма, опять сели в тарантас, пронеслись по этой гористой местности и очутились снова в степи. Здесь начали исчезать эти трудные подъемы, эти дурацкие спуски, на которые даже кавказские ямщики не обращают внимания, поднимаясь или спускаясь во всю прыть на своих конях не замечая, что между подъемом и спуском протекает река.

Правда, на шесть месяцев река исчезает, но зато она оставляет своими представителями мелкие камни; на них экипажи пляшут и совершают такие прыжки, о каких не имеют понятия во Франции, но о которых можно судить лишь по выносливости тарантасов.

Это символ борьбы человека с невозможным. Наконец человек одолевает невозможное и достигает своей цели: правда, человек всегда разбит и тарантас часто изломан, но что за беда, когда путь закончен, расстояние преодолено, цель достигнута!

Нашей целью — на этот раз — был Каракент[128]. Мы прибыли туда около четырех

---

[128] На «Карте…» есть Каякент, Каракента нет вообще.

часов пополудни, достали из тарантаса провизию и пообедали. В дороге, особенно в таких путешествиях, обед — преважное занятие. По правде сказать, оно большей частью не удается.

Я говорю и повторяю всем тем, кто захочет предпринимать путешествие от Астрахани до Кизляра, и рекомендую это всем народам: надо возить с собой все и от Кизляра до Дербента запасаться всем без исключения, проезжая через город или аул.

В Италии кормят плохо; в Италии же и кушают мало, но в степях совершенно ничего не едят. Впрочем, русские, по-видимому, вовсе не нуждаются в пище. Судя по тому, что они употребляют в пищу, можно заключить, что еде они не придают большого значения, что процесс этот они отнюдь не относят к виду искусства — для них все равно, лишь бы только кипел самовар и дымился чай в стаканах. Какая разница, будет ли это желтый чай китайского императора или калмыцкий чай князя Тюменя. Они делают то же, что делают арабы, отведав финики утром и финики вечером.

Но с князем Багратионом, который жил во Франции, любил Францию и так хорошо оценил ее растительный и животный мир, четвероногих и двуногих, нельзя было страшиться голода. Я еще до сих пор спрашиваю себя, где он раздобыл печеночный паштет, который мы начали в Каракенте и кончили только в Дербенте. И это на расстоянии по крайней мере тысячи двухсот миль от Страсбурга. Правда, мы были еще дальше от Китая, хотя и пили отличный чай.

Главное преимущество русских постелей состоит в том, что они не приучают человека к лености. Мало в мире сибаритов, склонных нежиться на еловой доске, на которой нет перины для уже избитых тарантасом костей.

Первый утренний луч беспрепятственно проникает, не встречая ни ставней, ни занавесок, и, как выражаются поэты, играет на ваших ресницах. Вы открываете глаза, испускаете стон или брань, судя по тому, имеете ли вы характер меланхолический или зверский, и наконец соскакиваете со своей доски, и все кончено: вы обуты, одеты, вычищены, даже вымыты.

Я купил в Казани три медные лоханки. Когда мы вытаскивали их из тарантаса, они были предметом удивления смотрителей, которые, вплоть до наступления самой минуты вашего омовения, тщетно спрашивали себя, для чего они могли понадобиться.

Но князь имел свою кухню, свой чайный прибор и свой туалетный несессер. Вот что значит путешествовать по Франции, где на каждой станции находятся и кувшины с водой, и лоханки!

Мы встали, лишь только начало светать. Покрытый туманом аул Каракент, первый план которого был ярко освещен, между тем, как другие планы отражались то в розовом, то в фиолетовом цветах и, наконец, терялись в синеватой дали, представлял столь восхитительную картину, что Муане не только срисовал ее карандашом, но даже употребил в дело акварель.

У нас было свободное время; Дербент был всего лишь в пятидесяти верстах, и мы надеялись, если не случится непредвиденное происшествие, приехать туда в течение дня. В дороге, особенно на Кавказе, всегда можно рассчитывать на какое-нибудь приключение.

Так и случилось в восемнадцати верстах от Дербента — на Хан-Мамедкалинской станции не оказалось лошадей. В обществе Багратиона это небольшое несчастье: он стал посреди дороги, остановил шесть или восемь первых проходивших ароб и шутками, угрозами и деньгами обратил аробщиков в ямщиков, а их клячи в почтовых лошадей.

Мы снова двинулись вперед.

По мере того, как нам попадались возвращающиеся лошади, мы отпускали арбы и их владельцев и теперь уже ехали более быстрым шагом.

Около двух часов дня показалось татарское кладбище, которое служило признаком близости Дербента, скрывающегося за горой. Весь холм в виде амфитеатра, с версту длиной, украшен был надгробными камнями, обращенными к востоку и господствующими над морем. Среди этого леса надгробных камней Багратион выделил небольшой памятник,

легкомысленно окрашенный розовой и зеленой краской.

— Вот могила Селтанеты[129], — сказал он.

— Я стыжусь своего невежества, — отвечал я, — но кто она — Селтанета?

— Любовница или жена — как вам угодно — шамхала Тарковского. Помните этот дом на вершине скалы?

— Как не помнить. И Муане также не забыл его, не правда ли, Муане?

— Что? — донесся голос Муане с другой повозки.

— Ничего.

И я обратился к Багратиону.

— Вы сказали, князь, что существует некое предание, легенда?

— Даже лучше, целая история — вам расскажут ее в Дербенте. Это происшествие самое романтическое.

— Хорошо, я напишу об этом целую книгу.

— Вы напишете четыре, шесть, восемь книг — сколько пожелаете. Но неужели вы думаете, что парижских читателей заинтересует любовь аварской ханши и татарского бека, хотя, впрочем, он и потомок персидских халифов?

— Почему бы и нет? Сердце везде сердце — во всех частях света.

— Да но страсти проявляются разно. Не надо судить всех жителей Азии по Оросману, который не хотел, чтобы Нерестан[130] превзошел его в щедрости, Аммалат-Бек — любовник Селтанеты, — убивший полковника Верховского, который спас его от виселицы, вырывший труп Верховского из земли чтобы отрубить голову, и принесший эту голову Ахмет-Хану, своему тестю, который лишь за такую цену отдал ему руку дочери — вряд ли все это будет понято графинями Сен-Жерменского предместья, банкирами Монбланской улицы и княгинями улицы Бреда[131].

— Это будет ново, любезный князь, и на это я надеюсь. Но что я вижу?

— А! Это Дербент.

И в самом деле это был Дербент — огромная пелазгическая[132] стена, которая загораживала дорогу, простираясь от горной вершины до моря. Перед нами находились лишь массивные ворота, принадлежащие, судя по контурам, к могущественной восточной архитектуре, предназначенной презирать века. Возле этих ворот возвышался фонтан, построенный, по-видимому, еще пелазгами. Татарские женщины, в своих длинных и ярких чадрах приходили туда черпать воду. Мужчины, вооруженные с ног до головы, прислонившись к стене, стояли неподвижно и важно, как статуи. Они не говорили меж собой, не смотрели на проходивших мимо женщин: они парили в мечтах.

По другую сторону дороги тянулась одна из тех разрушенных стен, какие всегда находятся возле ворот и фонтанов в восточных городах и кажутся оставленными для эффекта. Внутри стены, там где без сомнения стояло некогда какое-нибудь жилище, росли огромные деревья — дубы и орешник.

Мы велели остановить экипажи.

Трудно найти город, который по происшествиям, в нем совершившимся, полностью соответствовал идее его возникновения. Дербент был действительно таков; это город с

---

[129] У Дюма везде «Султанетта». Многие современники А. А. Бестужева-Марлинского произносили Селтанета — это реальное историческое лицо, и история, рассказанная писателем, широко известна.

[130] Персонажи трагедии Вольтера «Заира».

[131] Бреда — район увеселительных заведений в старом Париже.

[132] Пелазги — предшественники древних греков, жившие на территории Греции. Пелазгический — значит, чрезвычайно древний.

железными вратами, но сам он — весь, целиком, не что иное, как железные ворота; это большая стена, призванная отделять Азию от Европы и остановить своим гранитом и своей медью вторжение скифов — страшилищ древнего мира, в глазах которого они представляли живое варварство, скифов, название которых заимствовано от свиста их стрел.

Мы въехали в Дербент. Это был поистине пограничный город, выстроенный между Европой и Азией, одновременно полуевропейский и полу азиатский. В верхней его части находятся мечети, базары, дома с плоскими кровлями, крутые лестницы, ведущие в крепость. Внизу же располагались дома с зелеными кровлями, казармы, дрожки, телеги. Толпа на улицах представляла смесь персидских, татарских, черкесских, армянских, грузинских костюмов. И посреди всего этого ленивая, отрешенная ото всех, ледяная, белая, как привидение в саване, армянка под длинным покрывалом, словно древняя весталка.

И как же это было восхитительно!

Бедный Луи Буланже[133], любезный Жиро, отчего вас не было с нами! Мы — Муане и я — звали вас к себе.

Экипажи остановились перед домом губернатора — генерала Асеева[134]. Он ожидал нас: Багратион распростер свой магический жезл от Темир-Хан-Шуры до Дербента, и все было в порядке.

Мы поспешили с обедом, ибо хотели воспользоваться последними лучами дня, чтобы спуститься и к морю, которое было от нас на расстоянии двух-или трех сот шагов.

Багратион взялся быть нашим проводником. Дербент это его город или, лучше сказать, его царство; его все знали, приветствовали его, улыбаясь ему. Видно было, что все жители любили его, как любят все щедрое и благодетельное, подобно тому, как любят фонтан, извергающий свои воды, как любят дерево, обильное плодами или дающее людям тень. Нельзя себе лучше представить, как легко сильному быть добрым.

Первый предмет, поразивший нас — небольшое земляное строение; оно было защищено двумя пушками, окружено решеткой, на двух каменных столбах виднелись две даты: 1722 и 1848 и надпись:

«Первое отдохновение великаго Петра» .

Петр посетил Дербент в 1722 году, а в 1848 году была поставлена вокруг землянки, в которой он жил, эта ограда.

Третья пушка защищает хижину со стороны моря. Эти пушки привезены им самим; они были вылиты в Воронеже, на Дону, и датируются 1715 годом. А пушка, стоящая позади хижины, имеет и лафет того времени.

Вот еще одно из мест пребывания этого гения, освещенное признательностью народов. Русские заслуживают удивления в том отношении, что полтора столетия, истекших со времени смерти Петра, ни сколько не уменьшили почтения, которое они питают к его памяти.

Он был в отчаянии, что нашел море и взморье, но не порт. Дербент не имеет даже рейда, лодки и корабли входят в канал шириною в пятнадцать футов. За исключением этого узкого прохода, море везде окружено скалами.

Часто, когда оно немного штормит, люди вынуждены бросаться в воду, чтобы направить свою барку в этот узкий проход; вода в нем доходит только по пояс.

Нечто похожее на насыпь, которую море перекрывает при малейшем шторме, выдается шагов на пятьдесят в море. Насыпь служит пристанью за пределами подводных камней. С одной стороны город защищается стеной, которая тянется от этой насыпи до самого моря.

---

133 Буланже Людовик (1806–1867) — французский живописец, автор многочисленных полотен на исторические темы, входил в кружок В. Гюго. Дюма был дружен с этим художником, и когда в 1846 году отправился путешествовать по Испании, взял с собою и Буланже.

134 В описываемый период военным губернатором Дербента был генерал-майор Дмитрий Кузьмич Асеев, до того командовавший Апшеронским полком.

Для сопротивления волнам в основании насыпи проделаны, подобно огромным бойницам, отверстия: через них в бурное время вода может входить и выходить; мы не говорим о приливе и отливе, так как Каспийское море не имеет ни того, ни другого.

С берега очень хорошо просматривается весь город. Он похож, так сказать, на каскад из домов, спадающий с верхней цепи холмов до плоского берега, и чем дома ближе к берегу, тем они становятся более европейскими. Верхняя часть города похожа на татарский аул, нижняя — на русские казармы. С берега город представляется в виде длинного квадрата, подобного развернутому ковру, сгибающемуся посередине. С южной стороны стена становится как бы выпуклой, будто она невольно уступила сопротивлению города.

Везде, где стена не разрушена, видно, что она пелазгической постройки. В местах, где стена пострадала, она возобновлена из обыкновенного камня и по правилам новейшей архитектуры.

Однако я сомневаюсь, чтобы стены остались от пелазгов; если б я осмелился изложить мое мнение касательно этого щекотливого предмета, то я сказал бы, что Хозрой Великий, которого мы называем Хосров, укрепил их, согласно пелазгическим преданиям, около 562 года во время своих войн с Юстинианом. Южные ворота служат, кажется, доказательством правоты моего мнения; над ними виднеется знаменитый персидский лев, послуживший сыну Кобада [135] эмблемой. Среди различных пород львов, изобретенных скульпторами, персидский лев выделяется тем, что его голова имеет вид гремушки. Пониже льва виднеется надпись на древнеперсидском языке, которую никто из нынешних персиян не может разобрать. Багратион обещал дать мне текст этой надписи, а я заверил его, что заставлю моего ученого друга Саси[136] сделать перевод.

Ночь вынудила нас возвратиться в наш дом или, лучше сказать, в наш дворец, и мы умоляли ночь, чтобы она прошла так же скоро, как проходят летние ночи.

Мы жаждали обозреть Дербент, который казался волшебным в ночном сумраке и, конечно, должен был представлять самое любопытное зрелище из всех, виденных прежде.

Глава XIX
Ольга Нестерцова

С рассветом мы были уже на ногах.

Не будем, однако, неблагодарны к постелям дербентского губернатора и подтвердим, что уже в третий раз — на сей раз в Дербенте — мы имели нечто похожее на тюфяк и на постельное белье.

Русское гостеприимство опередило наше пробуждение; коляска, вероятно, запряженная еще с вечера, ожидала у ворот. Я не устаю поминутно повторять, и этого все равно будет недостаточно, что ни один народ не следует так всем тонкостям гостеприимства, как русский.

Подобно латинским церквам, Дербент перерезан крестообразно двумя большими улицами, из которых одна продольная, другая поперечная. Продольная улица идет от моря к персидско-татарскому городу; она вынуждена остановиться у базара из-за особенностей грунта, препятствующего подниматься выше. Поперечная улица идет от южных ворот к северным или, выражаясь другими словами, от ворот льва к воротам фонтана. Обе стороны восходящей улицы застроены лавками, почти все они — лавки медников и кузнецов. В глубине каждой из них выдолблена ниша, а в ней с неподвижной важностью, свойственной его породе, сидит сокол. В праздничные или свободные дни кузнец или медник, как важный

---

[135] Кобад — персидский царь из династии Сасанидов, царствовал в 488–531 годах.

[136] Де Саси Самюэль-Юстазад (1801–1879) — член французской академии, главный хранитель Парижской библиотеки Мазарини, известный переводчик и востоковед.

господин, доставляет себе удовольствие охотиться с соколом на жаворонков и других птиц.

Осмотрев базар, мы отправились в мечеть. Мулла уже приготовился принять нас. Я хотел по восточному обычаю снять сапоги, он не позволил это сделать; нам постелили священные ковры, по которым мы вошли в мечеть. Когда же мы ее покидали, мне бросилось в глаза нечто похожее на могильный столб. Мне показалось, что эта колонна должна быть как-то связана с какой-нибудь легендой.

Я не ошибся или, лучше сказать, я ошибся: это была не легенда, а историческая реальность.

Около ста тридцати лет тому, когда персидский город Дербент находился под владычеством Надир-шаха, жители восстали против данного им правителя, который между прочим случайно оказался очень кротким и мирным, и выгнали его из города.

Надир-шах был не таков, чтобы позволить себе, властителю Азии, запереть врата в Европу; взамен кроткого губернатора он прислал самого лютого из своих любимцев, повелев ему взять город во что бы то ни стало и предоставив самому выбрать вид наказания для мятежников.

Новый хан двинулся к Дербенту, разбил его ворота и овладел городом. На другой день после штурма хан приказал всем правоверным отправиться в мечеть. Благомыслящие мусульмане явились туда, неблагонамеренные — отказались. Каждому из тех, кто послушался приказания, хан повелел выколоть один глаз при входе в мечеть. Тем же, которые остались дома, — оба глаза.

Взвесили глаза кривых и слепых; по персидскому счету оказалось семь батманов, на русский счет — три пуда с половиной, на французский — сто десять фунтов. Все эти глаза похоронены под колонной, возвышающейся перед воротами между двумя чинарами.

Выслушав до конца эту историю, похожую на повесть о Шехерезаде, я вдруг увидел перед собой толпу из двадцати персов, причем один из них смахивал на их начальника. Я вовсе не думал, чтобы предметом их розысков был я, но вскоре оказалось противное. Видно было, что они имели ко мне какое-то дело.

— Что это значит, дорогой князь? — спросил я Багратиона.

— Это похоже, — сказал он, — на депутацию.

— Не думаете ли вы, что эти люди идут для того, чтоб вырвать у меня глаз? Я вовсе не хочу быть предводителем царства слепых.

— Не думаю, чтобы вы имели повод опасаться чего-либо подобного; впрочем, мы готовы защищать вас: нельзя же вырвать глаза ни с того ни с сего у почетного члена дружины горских жителей. Во всяком случае, я знаю главу этой делегации, он превосходный человек, сын того, кто в свое время отдал русскому императору ключи от города. Его имя Кавус-бек Али-бен. Сейчас я справлюсь, зачем они пришли.

— Так и есть, — произнес князь, возвращаясь, — этот добрый человек, который, кстати, объясняется по-русски, читал ваши сочинения в русском переводе: он рассказал их, — вы знаете, что персы большие рассказчики, — своим товарищам, и все те, кого вы там видите — почитатели «Мушкетеров», «Королевы Марго» и «Монте-Кристо».

— Послушайте, — сказал я князю, — я прибыл из Парижа в Дербент совсем не для того, чтобы показать себя. Скажите откровенно, чего желают господа?

— Да я уже говорил вам! Бога ради, не показывайте, что вы даже сомневаетесь. Вы поставите их в затруднительное положение. Примите важный вид и слушайте.

Действительно, глава делегации приблизился ко мне и, положа руку на сердце, произнес по-русски: «Знаменитый путешественник!..»

Мне перевели это вступление, и я поклонился с важностью, на какую только был способен.

Кавус-бек продолжал:

«Знаменитый путешественник!

Имя ваше весьма известно. Ваши сочинения переведены на русский язык. Уже давно газеты возвестили, что вы удостоите наш город посещением. Мы ждем вас давно. Теперь,

видя вас, мы счастливы. Позвольте, ваше превосходительство, сообщить о радости и признательности дербентского персидского населения и надеяться, что вы не позабудете наш город, как никогда не забудет ни один из его жителей день вашего прибытия к нам».

Я поклонился.

— Примите, — сказал я ему, — искреннюю благодарность человека, посвятившего всю жизнь тому, чтобы стать собратом Саади, никогда не имея надежды сделаться его соперником.

Князь перевел ему мой ответ; он повторил его всей делегации, которая осталась, по-видимому, очень довольна.

— Теперь, — сказал князь, — я думаю, не мешало бы пригласить оратора на обед.

— Вы полагаете, что этой шутки недостаточно?

— Но, клянусь вам, это вовсе не шутка.

— Куда же мне пригласить его на обед? В парижскую кофейню?

— Нет, в свой дом.

— Но я не у себя дома, я в доме генерала Асеева, дербентского губернатора.

— Нет. Вы у себя дома. Слушайте и не забывайте того, что я скажу: знайте, всюду на Кавказе вы можете войти в любой дом и сказать: «Я иностранец и прошу гостеприимства». Тот, кого вы осчастливите, уступит вам свой дом, а сам со всем семейством удалится в самую маленькую из комнат. Он будет заботиться непрестанно, чтоб у вас ни в чем не было недостатка. И когда через неделю, две недели, через месяц, вы будете покидать его дом, хозяин станет у порога и скажет: «Продлите еще хотя бы на день оказанную мне честь, поезжайте завтра».

— В таком случае, пригласите его от моего имени, любезный князь, но с условием.

— Каким?

— Что он подарит мне текст своей персидской речи, которую я хочу вставить в рамку.

— Это для него большое удовольствие. Он доставит вам ее к обеду. — И князь передал мое приглашение Кавус-бек Али-бену, — тот будет к обеду.

А пока привели четырех лошадей.

— К чему они? — спросил я Багратиона. — Быть может, тоже прочли мои произведения?

— Нет, на них мы отправимся в цитадель, куда нельзя ехать в экипаже.

— А нельзя ли пешком?

— Если вам не терпится оставить свои сапоги в грязи, а с сапогами и носки, то можно; но коли вы намерены прибыть туда, чтоб познакомиться с комендантом крепости, с его женой и дочерью, ожидающими вас к себе на завтрак, то извольте ехать верхом.

— Как! Комендант ждет меня к завтраку?

— По крайней мере, он дал мне знать об этом. Но если вам недосуг, можете отказаться.

— Напротив! Но поручитесь ли вы, что все эти люди не принимают меня за потомка Александра Великого, воздвигшего, по их мнению, сей город?

— Более того, мой друг, они принимают вас за самого Александра Великого. Победителя при Арбелле! А вот и ваш Буцефал. Садитесь.

Я повиновался и, попросив Багратиона следовать во главе колонны, двинулся за ним.

Мы прибыли в крепость. Вероятно, достойный комендант наблюдал за нашим движением с помощью подзорной трубы: он и его адъютант уже ждали нас у ворот. Обменявшись первыми приветствиями, я поспешил возвратиться в город. С высоты крепости он представлялся совсем другим, нежели тем, каким я видел его накануне, и мне хотелось познакомиться с ним и с этой стороны.

Вместо того, чтобы подниматься в гору, Дербент, как теперь выяснилось, спускался к морю, шириною в один километр, а длиною в три; оттуда, где мы стояли, видны лишь кровли домов, и на всем пространстве города только две зеленые чащи. Это были общественный сад и чинары мечети, под тенью которых погребены глаза дербентских жителей.

Муане срисовал город в самом микроскопическом виде, чтобы потом увеличить его раз в десять.

Редко мне случалось видеть что-нибудь величественнее картины, расстилавшейся перед взором.

Багратион заметил, что завтрак может остыть, и лучше бы возвратиться в крепость.

Мы нашли все прекрасное семейство в ожидании; жена коменданта, дочь, сестра — все они говорили по-французски. На берегу Каспийского моря — чувствуете?

За завтраком комендант рассказал, что Бестужев-Марлинский жил в крепости по возвращении из Сибири.

— А знаете ли вы, — поведала супруга коменданта, — что в пятистах шагах отсюда похоронена Ольга[137] Нестерцова.

— Нет, — отвечал я, — не знаю.

Я абсолютно точно знал, кто такой Бестужев.

Бестужев-Марлинский приходился братом тому самому Бестужеву, которого повесили в одной Санкт-Петербургской крепости вместе с Пестелем, Каховским, Рылеевым и Муравьевым за участие в событиях 14 декабря. Так же, как и его брат, Бестужев был приговорен к смертной казни, но император Николай заменил ее ссылкой в Сибирь. Через два года Бестужев был переведен сюда простым солдатом, дабы принять участие в войне с Персией. Он служил в этой крепости.

Когда мне довелось побывать в Нижнем Новгороде, я беседовал о нем с Анненковым и его женой — героями моего романа «Учитель фехтования», они, после того декабря, были на тридцать лет сосланы в Сибирь и лишь недавно воротились в Россию. Графиня Анненкова — наша соотечественница Паулина Ксавье — показала крест и браслет, выкованные Бестужевым из кандалов ее мужа. Эти два сокровища — я говорю так потому, что в руках искусного кузнеца эти куски железа превратились в истинные сокровища — были естественным символом поэзии, созданной настоящим художником.

Итак, я знал Бестужева-Марлинского как декабриста, изгнанника, как золотых и серебряных дел мастера, как поэта и романиста[138]. Но — повторяю — никогда не слышал об Ольге Нестерцовой, могила которой всего лишь в пятистах шагах от крепости. Я попросил рассказать ее историю.

— Сначала мы покажем вам ее могилу, — возразила супруга коменданта, — а потом расскажем о ней.

С этой минуты я желал только одного: чтобы завтрак кончился как можно скорее. Я большой охотник до отменных завтраков, но предпочитаю им отменные истории, и если бы я жил во времена Скаррона и участвовал в его обедах, то всем блюдам предпочел бы жаркое, поданное его женой.

---

[137] Дюма называет ее Олин. (М.Б.)

[138] Эти сведения о Бестужеве-Марлинском, как и многие иные малоприятные для царского правительства, не приведены в тифлисском издании 1861 года. И хотя в отрывке есть ряд неточностей, тем не менее нельзя приуменьшать значение его в историческом и художественном плане. В частности, тут Дюма еще раз дает высокую оценку Бестужеву-Марлинскому, ни словом не обмолвившись против декабристов: доброжелательное отношение к ним никогда не покидало французского писателя.

Теперь о неточностях: Анненков никогда не был графом. Девичья фамилия его жены Гебль. В Петропавловской крепости казнен М. П. Бестужев-Рюмин (1803–1826) — родственник Марлинского, но не его брат. У Марлинского было множество братьев, трое из них (помимо писателя) стали декабристами. Крест и браслет, упоминаемые Дюма, сделал Николай Бестужев — брат А. А. Бестужева-Марлинского. «До глубокой старости она (Полина Гебль-Анненкова. — М. Б.) носила браслет. Н. Бестужев надел ей его на руку с тем, чтобы она с ним не расставалась до самой смерти. Браслет и крест, на нем висевший, были окованы железным кольцом из цепей, которые носил ее муж» («Воспоминания Полины Анненковой». Красноярск, 1977, с. 25).

Знаменательно, что Александр Дюма употребляет слово декабрист — употребляет одним из первых писателей.

Завтрак кончился, и дамы собрались проводить нас на христианское кладбище.

Выйдя из крепости, мы поднялись еще шагов на сто и очутились на плоскости, которая господствует с одной стороны над страшным обрывом, а с другой образует отлогость горы.

В одном месте крепостные стены были пробиты пулями; блокированная в 1831 году Кази-Муллою крепость устояла, но сильно пострадала от соседства башни, взятой горцами. Башня теперь срыта, чтобы не повторилось подобное. Она являлась частью системы укреплений, связывающих первую крепость со второй. Помимо этого, она соединяется с той знаменитой стеной — соперницей Китайской стены которая, по словам историков, простиралась от Дербента до Тамани, пересекала весь Кавказ и отделяла Европу от Азии. Не будем долго распространяться об этой стене — камня преткновения стольких научных изысканий, — а скажем то, что увидели своими глазами.

Мы проехали вдоль стены верхом от первой крепости до второй, т. е. на расстоянии шести верст, до места, где она прерывается непроходимой пропастью, за ней стена вновь показывается, и ехали вдоль нее все так же верхом верст двадцать; вот все, что мы сочли своим долгом сделать в честь науки.

Татарский князь Хасай Уцмиев, с которым мы познакомились в Баку, проследил стену еще на двадцать верст дальше нас, т. е. всего сорок верст, и нигде не терял из виду ее следов. Местные жители уверяли его, что она простирается бесконечно.

Мне известно, что мой ученый друг г-н Жомар[139] занимался этим вопросом; если я найду его, как и надеюсь, в добром здравии по возвращении в Париж, — доставлю ему об этой знаменитой стене все сведения, какие он ни пожелает.

Но тогда занимала меня более всего не эта древняя стена, столь протяженная и такая спорная, а могила Ольги Нестерцовой.

Мы направились к ней, повернув налево при выходе из ворот. Немного в стороне от небольшого кладбища, возвышающегося над морем, красуется надгробный камень самой простой формы. С одной стороны его надпись: «Здесь покоится прах девицы Ольги Нестерцовой, родившейся в 1814 году, умершей в 1833 г.». С обратной стороны вырезана роза; но роза увядшая, без листьев, уничтоженная молнией. Сверху начертано: «Судьба».

Вот история бедной девушки, или, по крайней мере, вот что рассказывают.

Она была возлюбленной Бестужева. Около года они жили счастливо, и ничто не нарушало их союза. Но однажды на пирушке, продлившейся за полночь, на которой веселились Бестужев и трое его друзей, речь зашла о бедной Ольге Нестерцовой. Уверенный в ней Бестужев восхвалял донельзя ее верность. Один из собутыльников предложил пари — он-де соблазнит юную девушку, которую так боготворит Бестужев.

Бестужев принял пари. Ольга, как говорят, была покорена; Бестужеву представили доказательства.

На следующий день Ольга вошла в комнату поэта; что там произошло, не знает никто. Вдруг раздался выстрел, потом крик, наконец увидели Бестужева выбежавшим из комнаты, бледного и расстроенного. Ольга лежала на полу, вся в крови и при последнем издыхании — пуля пронзила грудь насквозь. Рядом валялся разряженный пистолет. Умирающая могла еще говорить; послали за священником.

Через два часа она умерла.

Священник подтвердил под присягой, что Ольга Нестерцова объявила ему, будто пистолет выстрелил случайно в тот момент, когда она попыталась вырвать его из рук Бестужева. Умирая, она простила Бестужеву невольное убийство. Бестужева предали суду; но он был освобожден благодаря свидетельству священника[140].

---

139 Жомар Эдмон-Франсуа (1777–1862) французский археолог и геолог.

140 Это пятно, наложенное слухами на память поэта, теперь совершенно смыто его письмами, помещенными в нескольким книжках «Отечественных записок» 1860 года. Из них ясна невинность Бестужева в этом деле.
Прим. Н. Г. Берзенова.

Поэт поставил над могилой Ольги памятник, о котором мы говорили выше. Но с той минуты он совершенно переменился: впал в мрачную меланхолию, искал опасностей и смерти.

Он участвовал во всех походах и, что очень странно, будучи всегда первым и последним в огне, непременно возвращался невредимым. Наконец в 1841 году предприняли экспедицию против абадзехов и двинулись к деревне Адлер; перед самым вступлением в лес дано было знать, что лес занят горцами, которых было втрое больше, нежели русских. Позиция горцев была много выгоднее, ибо они прорыли в лесу траншеи.

Командир велел трубить отступление.

Вместе с другим офицером — капитаном Албрандом[141] Бестужев командовал стрелками. Вместо того, чтобы повиноваться сигналу, оба углубились в лес, преследуя горцев.

Капитан Албранд возвратился один, без Бестужева.

Князь Тарханов, который рассказывал мне эти подробности, снова послал г-на Албранда в сопровождении пятидесяти мингрельских стрелков разыскивать Бестужева.

Между тем генералу Эспехо[142] принесены были часы, принадлежавшие знаменитому романисту.

Вот все, что нашли, и все, что узнали о нем.

Я оставил Багратиону стихотворение с просьбой вырезать его на память о моем пребывании в Дербенте на нижней части надгробного камня несчастной Ольги Нестерцовой:

Двадцать лет ей было —
Она любила
И была прекрасна.
Но вот промчалась буря,
И в сумраке однажды
Она опала, подобно нежной розе.
О ты, Земля, приют умерших
Не мучай деву —
Ведь при жизни
Она так мало
Была всем в тягость.

Глава XX
Великая Кавказская стена

Я хотел было писать о нашей поездке вдоль этой стены, как вспомнил, что Тарханов, у которого мы жили в Нухе, дал мне прочитать одно произведение Бестужева, содержащее в себе все подробности того же самого путешествия, совершенного им за двадцать лет до меня.

То, что я рассказал в предыдущей главе о поэте и романисте, должно было внушить читателям некоторое к нему любопытство. Поэтому я представлю его рассказ взамен моего.

Это рассказ человека, который вместо того, чтоб прожить на Кавказе три месяца, как

---

141 Албранд Лев Львович — скончался в 1849 году в Эриване. С 1819 года находился на военной службе, в основном, на Черноморском театре военных действий. Не следует путать его с братом генерал-майором Албрандом Петром Львовичем (1810–1864), известным инженером, служившим на Кавказе.

142 Эспехо Яким Михайлович, генерал, испанский дворянин, в 1818 году перешедший на службу к русским.

сделал я, прожил там целых пять лет. Вот письмо отважного офицера[143].

«Сейчас из седла пишу к вам. Я ездил осматривать отрывок той славной стены, которая делила древний мир с миром неведомым, т. е. с Европою, которая построена была персами, а может быть, и медами, от набегов нас, варваров… Какое чудное превращение мыслей и событий!!

Если вы охотники чихать от пыли старинных рукописей и корпеть над грудами ненужных книг, то советую вам выучиться по-татарски и пробежать «Дербент-Наме»; вспомнить латынь и прочесть «De muro Caucaseo» Баера[144]; заглянуть в Гмелина; пожалеть, что Клапрот ничего не писал об этом, и вдвое пожалеть, что шевалье Гамба написал о том чепуху — наконец, сличить еще дюжину авторов, которых я забыл или не знаю, но которые знали и упоминали о Кавказской стене, и потом, основываясь на неоспоримых доказательствах, сознаться, что время построения этой стены неизвестно. Что ее выстроил, однако ж, Хозрев или Нуширван, или Исфендиар или Искендер, т.е. Александр Македонский… это ясно, как солнце в час затмения! — Наконец, что стена эта соединяла два моря (Каспий с Эвксином) и разделяла два мира, защищая Азию от набегов хазаров, как говорят европейцы — урусов, как толкуют фарсийские летописи. Дело в том, что благодаря разладице исторических показаний, достоверного про Кавказскую стену можно сказать одно: она существовала. Но строители, хранители, обновители, рушители ее — когда-то знаменитые, а теперь безымянные — спят давным-давно сном богатырским, не заботясь, что про них бредят. Я не потревожу ни их пепла, ни вашей лени; я не потащу вас сквозь туманную ночь древности отыскивать пустую кубышку… Нет! Я приглашаю вас только прогуляться со мной прекрасным утром сего июня, чтобы посмотреть почтенные или, если угодно, даже почтеннейшие развалины Кавказской стены. Опояшьте саблю, бросьте за спину ружье, крякните, опускаясь в седло, махните нагайкой — и марш в горы.

Железные ворота Дербентские распахнулись, едва заря бросила на барабан свои розовые перстики, и наш поезд загремел под древними сводами. Я прикомандировался для этого живописного путешествия к дербентскому коменданту майору Шнитникову. С нами был еще один капитан Куринского полка, и этим исчерпывалось число русских любопытных, и мудрено ли? Со времени Петра Великого, знаете ли, сколько раз русские осматривали Кавказскую стену? Только трижды! Первый был Петр Первый в 1722 году. Второй, полковник Верховский, тот самый, которого изменнически убил Аммалат-Бек[145] в 1819 году; третья очередь выпала нам. Может быть, вы подумаете, что путь до нее многотруден, далек, опасен? Ничуть не бывало: стоит взять с собой десяток вооруженных татар, сесть с левой стороны на коня и поехать, как сделали мы — вот и едем.

Утро было будто нарочно выдумано для пути. Туманы раскинули над нами дымку свою, и палящие лучи солнца, сквозь нее просеянные, лились на нас тихою теплотой и светом, не оскорбляющим глаз. Дорога вздымалась в гору и опять ныряла на дно ущелий. Поезд наш, огибая какой-нибудь дикий обрыв Кавказа, стоил кисти Сальватора. Выразительные физиономии татар под нахлобученными шапками, оружие, блестящее серебром, лихие кони их, и горы, и скалы, и море вдали, все было так ново, так дико, так живописно — хоть сейчас на картину. Комендант хотел сначала осмотреть все достойное замечания в окрестности, и мы начали розыски пещеры дивов, верстах в пяти от Дербента к

---

143 Далее идет вольный перевод очерка А. Марлинского «Кавказская стена», представляющего в наши дни библиографическую редкость. (Второе полное собрание сочинений А. Марлинского. Четвертое издание, т. 2, 6, СПб. 1847, с. 233–234).

144 «О стене Кавказа» — работа Готлиба Зигфрида Байера (1694–1738), члена Петербургской академии наук, автора публикаций об истории России и ее южных соседей.

145 А. Дюма перевел повесть А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек» на французский язык, с этого перевода был сделан в 1859 году перевод на немецкий язык. Дюма назван редактором перевода.

югу, в ущелье, называемом по-старинному когекаф (каф — теснина, коге — духи).

Невдалеке от урочища Даш-Кессен (каменоломня), горные воды, пробив громады, вырыли себе уютную дорогу, по дну которой струится теперь скромный ручеек. В этом-то ущелье поселило предание дивов (татары выговаривают дев) для домашнего обихода дербентских сказочников. Дивы, как вы знаете, исполины, чада ангелов и людей — а не женщин, ибо теогония Востока предполагала самих ангелов женщинами (о блаженные времена!). Магомет очень вооружился против сего верования, но сам выдумал почти то же; населил рай свой вечно девственными гуриями зеленого, синего и розового цветов. Сколько волшебных замков построила индийская и фарсийская поэзия из туманов басни! В какие живые краски облекло, в какую радужную, очаровательную атмосферу погрузило восточное воображение этот исполинский, хоть мыльный, шар поэзии! Не сытая былью, подавленная существенностью, лишенная надежды на завтра, она кинулась в бездну невероятного, несбыточного, и создала из ничего мир небывалый, невозможный, но пышный и пленительный. Как Мильтонов[146] сатана, которого одно крыло просекло уже свод ада, а другое было еще в небе — она связала рай и ад на земле, населила ее существами дивными, изумляющими, коих лица и дела имеют одно земное лишь то, что они осуществились в уме человека. Этого мало: поэзия семитическая, скучая землей, как золотой клеткой, ударяла пятой в темя гор и дерзко ринулась в пространство; облетела поднебесье и занебесье, облекаясь то в синеву дали то в радугу дождей, веялась, как опахалом, облаками, освежала чело свое в лоне бурь, пила росу со звезд, рвала солнцы как ягоды, и снова, подобно райской птице, утомленная полетом, свивала крылья свои и отдыхала на земле, изукрашенной чудесами. Для нас непонятны красоты поэм арабских, где простота восходит до ребячества, страсти до бешенства, жестокость до бесчеловечия, и между тем все дышит высокой девственной природой!.. От чего это? Мы вылощены и округлены потоком веков, подобно валунам речным; но разве от того менее красив зубристый обломок гранита! Для нас, поклонников логики и арифметики, не существует и чудесного мира Гиндустана и Фарсистана; нибелунги и саги Севера, наши бабы-яги и богатыри-полканы нам кажутся только любопытными карикатурами; мы потеряли чувство, которое в старину оживляло народам образы их — у нас нет веры в чудесное! В волшебной поэзии мы видим лишь прекрасного мертвеца, и разбор красот ее для нас урок анатомии — ни больше, ни меньше. Искусственное удивление не заменит нам тех порывов восторга, когда у людей сердце и ум значило одно и то же, когда самая наука была плодом вдохновения, а не вдохновение плод науки. Творец даровал дитяти-человечеству какое-то предугадание всего, что истинно и прекрасно, дозволил ему, пользуясь всеми причудами младенчества, занимать в долг у будущего мужества, а нас лишил способности отпрядывать в минувшее и облекаться в верования по произволу.

Со всем тем воображение, не вовсе простылое, любит и старается хоть в половину обманывать себя и воздвигать из обломков если не целые дворцы, то живописные развалины дворцов.

Так было и со мной, когда, отстав от поезда, съезжал я по обрывистому ущелью. Я не мог закружить мечтаний моих до того, чтобы наяву видеть кругом себя создания причудливого воображения восточных поэтов: по крайней мере, я припоминал известные мне из переводов отрывки восточных поэм, как прелестный балет, как игру калейдоскопа, как испаряющиеся призраки обаятельного сна.

Надо мной широкими кругами плавал орел; горный ключ невидимо журчал под ногами, и на востоке синелось необъятное море, облитое морем туманов… и кругом утесы, опоясанные зеленью, венчанные гранатником с пламенными цветами… какие рамы для фантазии!

Проводник заблудился — так мало любопытны татары до подручных мест,

---

[146] Мильтон Джон (1608–1674) — английский поэт и политический деятель.

освященных преданием! Наконец, устав продираться верхом сквозь дубняк и колючку и терны, мы бросили коней и по крутизне спустились на дно ручья — это единственный ход к дому дивов (девын — эв), который иначе называют гибель визиря (визирь-гран), убитого тут во время какого-то нашествия персиян. Мы шли под сводом ветвей, по мшистым каменьям — и вот пещера пред нами. Ручей образовал тут широкое колено, и огромная скала, упавшая с вышины отвесных берегов ущелья, стоймя стоит у входа, словно на страже. Жерло этой пещеры, закопченное дымом, не более восьми шагов поперек и двух с половиной в вышину… Входим: пещера немного расширяется овалом, сзади ее другая поменьше, в боках выбиты ясли для коней… помост усеян тысячами костей — ибо это место всегдашний притон разбойников и плотоядных зверей. Один из бывших с нами есаулов рассказывал, что он в прошлом году убил тут гиену. Вообще должно признаться, что пещера дивов обманула наше ожидание: в ней тесно и душно жить не только великанам да и обыкновенным смертным; одно лишь преддверие ее, заключенное утесами, заросшее деревами, заплетенное кружевом плюща и дикого винограда, стоило взгляда, даже избалованного красотами природы.

Вперед!

За горной деревней Джалганны взялись нам показать еще диковинку: это пещерка, известная под именем эмджекляр-пир, т. е. «святых сосцов». За крутизной надо было слезть опять с коней и, хватаясь за корни дерев, спуститься в глубокую долину… спустились, огляделись: при подошве скалы, под шатром тутовых дерев, указали нам небольшую впадину, разве сажень в диаметре, с округлого потолка висели каменные сосцы, весьма похожие на женские груди, и из каждого ниспадали капли воды, звуча по чаше, выбитой ими. Дождевая влага, растворяя известковые слои и потом процеживаясь сквозь трещины пластов, более твердых, мало-помалу образовала эти натеки, оставляя по закону сцепления добычу свою кругами около скважин. Впрочем, я видал тысячу разновидных сталактитов и — никогда подобного. Вероятно, особенная клейкость составных частей раствора была виной этой странной игры случая. Женшины окрестных гор веруют крепко в целительную силу воды, истекающей из сосцов матери-природы. Когда в груди их иссякнет молоко, они издалека приходят сюда пешком, приносят в жертву барана, мешают с землей воду каменных сосцов и набожно пьют ее. Если вера не всегда спасает, зато всегда утешает, а это разве безделица!

И мы напились чудесной воды и мы полюбовались диким удольем; вскарабкались вверх, и снова проехав деревню, ударились прямо к западу; нам должно было объехать недоступную коням крутизну, по которой спускалась дагбари (горная стена) от четырехугольной крепостцы на самом обрыве ее стоящей; но прежде чем приблизиться к желанным развалинам, нас повели на северную сторону горы — посмотреть чем-то знаменитый ключ.

— Вот он, вот урус-булах (русский родник), — сказал татарский бек, наш бородатый чичероне, привстав на стременах и подымая папах свой — Из него пил падишах Петер, когда впервые взял Дербент!

Мы спрыгнули с коней и с благоговением черпали горстью воду. Сколько лет протекло с тех пор, как он утолил жажду величайшего из царей и величайшего из людей (две доблести, редко между собой смежные). Но он все еще журчит неизменно — зато как сильно изменились с тех пор русские! С каким самосознанием нравственной и политической силы попирали мы Кавказ, на который первый наложил пяту преобразователь России! Я воображал себе державного великана, в толпе его сподвижников и кавказских наездников, дивящих друг друга и еще более дивящихся быть вместе! О как бы дорого дал я, чтобы угадать, какие мысли звездились во всеобъемлющей голове Петра в ту минуту, когда, припав к этому ключу, глотал он кровавым потом своим купленную влагу! Сомнение ли волновалось в душе его об успехе зачатого им дела, или великая мысль величия России и тогда явилась в его уме, как Минерва из головы Юпитера, в полной силе и в полном вооружении?..

Правда ли, что

…Заране слышит гений
Рукоплескания грядущих поколений!

Князь Дмитрий Кантемир[147] был в поезде Петра Великого и передал рассказ о Кавказской стене Баеру.

И наконец мы приблизились к развалинам Кавказской стены, примыкающей к крутизне. Какое величавое, и с тем вместе, какое печальное явление предстало очам нашим… победа природы над искусством, времени над трудом человека! Там виделась постепенность разрушения a priori u a posteriori[148], так сказать, поколение веков, работающих на судьбу. Слабое зерно, запав в трещинку, в спай камней, и разрастаясь деревцом, инде выдвинуло корнями плиты вон из средины стены, раскололо другие, разорвало, сбросило их долой… и вот воздух, питатель жизни, грызет их; дожди, живители злаков, точат их, и разрушение не щадит лежащих во прахе. Ветер засыпает, растение дробит самые останки, застилает коварной зеленью листов раны, прорезанные его корнями.

Лишь один сострадательный плющ, как песня боянов, свивает две половины времени, вяжет, будто узами родства, стоящих и падших — еще целые и уже разбитые громады. Дубы, грецкие орешники, тут и чинары шумят внизу, торчат из боков, гнездятся наверху развалин, сидят на них, опустив крылья подобно орлам, вцепясь когтистыми корнями, и нередко, опрокинутые бурей, держат на воздухе свою добычу. Но не везде время победило твердыню. Во многих местах, сбросив с чела зубчатую корону бойниц, она еще гордо вздымается над народом дерев, ее осаждающих отовсюду, и лишь столповидные тополи помахивают наравне с ней кудрявыми головами, гордясь одним ростом, не крепостью. Мелкие поросли и седой мох, эта пена столетий, лепятся на груди великанов древности и наводят на нее свою мрачную краску. Инде зелень проседает по швам камней узорчатой вышивкой. Инде плющ распустил с башни свое зеленое знамя, но верх стены даже с целыми бойницами всегда увенчан кустарником, и между него стоят молодые деревья, будто на страже. Глядя на свежесть этой стены, подумаешь, что она сто лет назад построена и едва ль пятьдесят назад брошена на съедение пустыне. Дожди не размыли, а только выгладили ее, и перуны будто сплавили ее в одну толщу. И какая тишь, какая глушь в окрестности! Изредка разве прощебечет птичка. Роскошная трава ложится на корень нетронутая, и только копыто коня табасаранских разбойников топчет поляны, багряные земляникой!

Но к делу.

Кавказская стена начиналась у южного угла крепости Нарын-Кале и шла от востока на запад, по холмам и оврагам непрерывно. До обрыва, который мы объехали (это верст пять от Дербента), видны еще развалины четырех небольших крепостей, из коих крайняя цела. Таких крепостец впоследствии мы проехали много. Они стоят друг от друга на неровном расстоянии (вероятно, для воды), и сами разной величины, от 120 до 80 шагов длиной; шириной всегда менее. Иногда с четырьмя круглыми наугольными башнями, иногда с шестью. Укрепления сии, примыкающие к стене, вероятно,служили главными караульнями, складочными местами для оружия и запасов, местом жительства начальников и точками сбора и опоры в случае прорыва. Самая стена, вышиной и толщиной и образом кладки, совершенно сходная с дербентской. Первая, правда, изменяется иногда, смотря по игре почвы, ибо старались, сколь возможно, сохранить горизонтальность короны. Но там, где

---

[147] Кантемир Дмитрий Константинович (1673–1723) — ученый, в течение года молдавский господарь. С 1711 года жил в России, участник персидского похода 1722–23 годов. Отец русского поэта Антиоха Кантемира.

[148] A posteriori (лат.) — на основании опыта, в противоположность a priori — на основании умозрительных рассуждений, вне опыта.

стена должна идти по наклону, верхние и прочие ряды идут уступами, так что каждая плита вырублена наугольником. Плиты почти все два с половиной футов длины, одна три четверти ширины, а толщиной около одного. Кладены две плиты вдоль стены, а третья между ними ребром и вовсе без цементу; зато внутренность стены обита из булыжника и обломков, связанных глиной с примесью известки. Башни маленькие и всегда набиты землей, и всегда головой своей в уровень со стеной — отличительная черта азиатской фортификации от готической, в которой башни высоко вздымаются над стеной, пусты и потому в несколько рядов прорезаны стрельницами (meurtrieres). Но всего замечательнее и всего более доказывающее незапамятную древность этой стены есть неизвестность сводов: явление, которое заметил Депон[149] в пирамидах фараонов. С опасностью сломать голову или задохнуться в ямах, ползал я по всем тайникам, в каждой крепостце к воде ведшим, я уверился, что сводный замок строителям Кавказской стены был неведом, хотя в Дербентских воротах, вероятно, после и в разные времена, выведены своды, и не острые (en ogive), но всегда круглые (pleincintre), вопреки арабской архитектуре, распространившейся вместе с исламизмом. Коридоры накрыты или широкими плоскими плитами, или плитами в выступ, или наконец кровлей из плит, сложенных, как на карточном домике, треугольником. Кровли в выступ иногда снизу округлены, что и дает им ложный вид свода, но малейшее рассмотрение разуверяет, тем скорее, что они почти все от тягости, на них лежащей, треснули и расщепились веером. Камень сечен был, вероятно, в близких каменоломнях, теперь забытых и заросших дебрями; но предание уверяет, что его возили с морского берега. Отсутствие в нем раковин, составляющих основу приморского каспийского известняка, опровергает это лучше трудности перевозки в бездорожные горы.

Посмотрев и осмотрев Кеджал-Кале, крепостцу, отстоящую верст на двадцать от Дербента, и подивившись ее целости, несмотря на то, что вековые дерева завладели ее верхом и внутренностью, мы воротились по другой стороне стены, чтобы выехать на аробную дорогу. Кази-Мулла, нынешний пророк гор, отбитый в прошлом году от Дербента, хотел укрепиться в Кеджал-Кале. Когда я был еще мальчиком, сказал он, я лазил в ней за грушами; но оказалось, что родник, в средине ее бывший, засорился, и потому держаться в ней было бы невозможно.

Мы отобедали в деревне Метаги, расположенной на высокой горе, на самом прелестном местоположении, и потом, через Сабнаву, счастливо доехали до Дербента, только искоса взглянув на башни исторического, теперь исчезнувшего города Камака, на высоком каменном мысу виднеющегося. Старинная слава его заменилась теперь другой: камакли (т. е. житель деревни Камака), значит, в окрестности, *«дурак».* Уверяют, что между ними, как меж абдеритами, нет ни одного умного человека.

Но где, но как, но далеко ли шла Кавказская стена? Далеко ли остались ее развалины, не расхищенные на постройку деревень, как во многих местах очевидно? Вот вопрос, который, может быть, век останется задачей. Весть между двумя намазами (т. е. около шести часов) перелетала по этой стене от моря до моря! — говорили мне татары. Теперь мы не знаем вести о ней самой — и признаться, это не много делает чести русской любознательности[150].

Как бы то ни было, этот образчик огромной силы древних властей существовал и теперь дивит нас и мыслей и исполнением. Подумаешь, это замыслили полубоги, а построили великаны. И сколь многолюдны долженствовали быть древле горы Кавказа! Если скудные граниты Скандинавии названы officina gentium, как же не дать Кавказу имени колыбели рода человеческого? На его хребтах бродили первенцы мира; его ущелья кипели

---

[149] Барон Депон — французский исследователь, участвовал в экспедиции в Египет.

[150] Этот очерк, датированный 1832 годом, написан до появления электрического телеграфа. *Прим. А. Дюма.*

племенами, которые по ветвям гор сходили ниже и ниже и наконец разошлись по девственному лицу земли, куда глаза глядят, завоевывая у природы землю, а потом землю у прежних пришельцев с гор, вытесняли, истребляли друг друга и обливали потоками крови почву, над которой недавно плавали рыбы и бушевал океан[151]. Положим, что персидские или мидийские цари могли волей своей двинуть целые народы для постройки этой стены; но вероятно ли, чтобы сии народы могли жить несколько лет в пустыне малонаселенной, лишенной избыточного землепашества? Вероятно ли, чтобы гарнизоны крепостей и стража стены, всегда ее охранявшие, имели продовольствие из Персии? Не правдоподобнее ли положить, что горы сии, тогда мало покрытые лесом, были заселены многолюдными деревнями, золотились роскошными жатвами и что для сооружения этого оплота от северных горных и степных варваров употреблены были туземцы? Не правдоподобнее ли… но что такое подобие правды, когда мы не знаем — что такое сама правда?.. Я кончил».

Через двадцать лет после Бестужева мы совершили такую же поездку с той только разницей, что мы проехали семью верстами далее его. Мы так же, как и он, посетили пещеру дивов, грот священных сосцов, откуда гарнизоны, находившиеся в башнях, брали воду. Наконец, перечитывая его описание, мы нашли его таким точным, что решили передать его вместо нашего, в уверенности, что читатель нисколько от этого не потеряет. И теперь, когда прах его соединился с прахом Искандеров, хозроев и нуширванов, узнал ли он о великой стене больше, нежели знал о ней при жизни? Или душа его слишком занята ответом на вопрос Создателя: «что ты сделал со своей сестрой Ольгой Нестерцовой»? Надеемся, что на небе, как и на земле, кроткое существо молится за него.

Глава XXI
Караван-сарай Шах-Аббаса[152]

Наступило время расставания — самый тяжкий час в путешествиях.

Уже четыре дня ездили мы вместе с Багратионом, не разлучаясь с ним ни на час; он был для нас все — наш чичероне, наш переводчик, наш хозяин. Он знал цену и название всякого предмета; идя мимо сокола, он узнавал его породу; смотря на кинжал, он сразу оценивал его достоинство; при каждом изъявлении желания он ограничивался ответом: «Хорошо, будет сделано», поэтому при нем уже не осмеливались вторично выражать желание; одним словом, это был тип грузинского князя — храброго, гостеприимного, щедрого, восторженного и прекрасного.

Перед самым отъездом я хотел, по обыкновению, запастись какой-нибудь провизией, но Багратион ответил:

— Вы имеете в своем тарантасе курицу, фазанов, печеные яйца, хлеб, вино, соль и перец, и сверх того завтрак и обед заказаны для вас по всему пути до Баку.

— А в Баку? — спросил я, смеясь и не предполагая, что предусмотрительность князя шла далее Баку.

— В Баку вы будете жить в доме уездного начальника Пигулевского. Сам он прекрасный человек, жена его дама прелюбезная, а дочка просто очаровательна.

— Не смею более спрашивать, что будет дальше!

— Дальше? В Шемахе вы остановитесь в прекрасном казенном доме, у коменданта — отличного человека. В Нухе найдете Тарханова, он — то, что во Франции вы называете, если

---

151 Когда одни выси Кавказа были видимы из-под воды — они необходимо походили на цепь островов, и вот почему, полагаю я, кабардинцы, древнейшее племя Кавказа, называют себя адеге — т. е. островитяне.

Прим. А. А. Бестужева-Марлинского.

Почему они себя так называли, мы уже рассказали в начале этой книги.

Прим. А. Дюма.

152 В Парижских трехтомниках «Кавказа» 1859 и 1865 годов с этой главы начинается второй том.

не ошибаюсь, парень, что надо. Он покажет вам алмазный перстень, подаренный ему императором в вознаграждение за двадцать две головы разбойников, которые он имел честь представить.

Чего же больше: первая красавица в свете не может дать свыше того, что имеет. Поцелуйте за меня мимоходом его сына, ребенка 12 лет, говорящего по-французски, как вы; вы увидите, какое чудо ума этот прелестный ребенок.

В Царских Колодцах вы встретите князя Меликова и графа Толя, которые дадут вам лошадей, чтобы видеть хотя бы одну из разрушенных крепостей времен царицы Тамары.

Наконец в Тифлисе вы остановитесь у вашего консула — барона Фино. Не знаю, первый ли он консул, которого Франция имеет в Тифлисе, но, наверное, он единственный. Там вы будете, как на Гентском бульваре. Ну, а как вас будут встречать за пределами Тифлиса, это уже не мое дело, а дело других.

— И все эти господа предупреждены?

— Уже три дня, как отправился курьер. Помимо этого, вы имеете с собой до Баку нукера, которому поручено заботиться, чтоб не было у вас в дороге недостатка ни в чем. В Баку вам будет дан новый нукер до Шемахи, а в Шемахе до Нухи.

Поистине ничем нельзя отплатить за подобную заботу, разве только, как философски выражается наш друг Нестор Рокплан[153], заплатить за это неблагодарностью. Я дождусь другого случая, чтобы воспользоваться этим советом.

Мы поехали. Наши папахи прощались между собой еще довольно долго, когда наши голоса уже не могли обмениваться больше словами.

Когда мы увидимся? Увидимся ли когда-нибудь? Лишь бог ведает!

Повернули за угол одного дома, и я устремил взоры на себя самих, на улицы, на великолепные ворота Дербента, построенные, по всей вероятности, Хозроем Великим. Это врата Азии. Через них мы вступали во вторую часть света.

Калино, который и не подозревал предстоявшего поэтического перехода, читал с большим вниманием книгу, которая, по-видимому, поглощала его внимание. Разыскивая все, что могло бы дополнить путешествие и доставить о дороге исторические, научные или художественные сведения, я позволил себе спросить его, что он читает?

— Ничего, — отвечал он.

— Как ничего?

— Одну легенду.

— Легенду! О ком?

— О знаменитом разбойнике.

— Как! Легенду о знаменитом разбойнике, и вы называете это ничем?

— Да здесь их множество и без того.

— Легенд?

— Нет, разбойников.

— Так вот, друг мой, собственно потому, что здесь много разбойников и мало легенд, я и отыскиваю легенды. Что же касается разбойников, то о них я не так забочусь, ибо я всегда уверен, что встречу их. Как же называется эта легенда?

— «Снег горы Шах-дага».

— Что же это за снег горы Шах-дага?

— Сначала вы должны были спросить меня, что такое гора Шах-даг?

— Вы правы. Так что же это такое?

— Это небольшая гора, немного выше Монблана, на которую даже не обращают внимания, потому что она составляет часть Кавказа. Мы увидим ее на пути в Кубу.

(Она незаметно выросла в одно прекрасное утро между источниками Кусара и Кудьют-чая; высота ее 13 950 футов).

---

[153] Рокплан Луи-Виктор Нестор (1804–1870) — французский журналист.

— Ну, а снег, которым она покрыта?

— Это совершенно другое дело: татары придают ему большое значение. Когда лето слишком сухое, когда долго не бывает дождя, выбирают татарина, который слывет за самого храброго во всей округе, и, несмотря на пропасти и разбойников, посылают его с медным кувшином за фунтом или двумя этого снега. Он приносит снег в Дербент, находит в мечети мулл, и оттуда они торжественно, с молитвами идут к морю и бросают в него снег.

— А дальше что?

— Дальше начинает идти дождь.

— Идиоты, — сказал Муане, — это такая же чепуха, как и мощи Святой Женевьевы.

— Нет, это все истина. Но вы читаете историю горы, или историю снега?

— Нет, повесть о молодом человеке, отправившемся за снегом, и об опасностях, которым он подвергался[154].

— Кто же вам дал эту книгу?

— Разумеется, князь. Он даже сказал: «Вы переведите это для Дюма: уверен, он найдет здесь кое-что интересное».

— Милый князь! Он не ограничился заботами о пропитании тела, но еще заботится о пище для ума. Калино, читайте и переводите скорей. Если Багратион сказал, что это хорошая книга, значит, она действительно хороша.

— Да, недурна.

— Вы довольны?

— Очень.

— Это-то и нужно. Ну, ямщик, *айда, айда!* (айда татарское слово и значит: «скорей-скорей»)

Нашему ямщику тем более было непростительно засыпать, так как дорога, слева от которой была степь, а справа подножье гор, была великолепна.

Огромная стая пеликанов играла на море, с грацией, свойственной этой породе птиц. Вдруг что-то сильно встревожило этих почтенных крылатых: поведение, прежде солидное, сделалось беспорядочным; вместо того, чтобы лететь над самой водой, они с громким криком устремились в поднебесье. Этот маневр привлек мое внимание. Я пристально следил за ними и, как охотник, обнаружил почти незаметные две или три черные точки: они-то и были причиной всего шума.

То были соколы, вдвоем или втроем преследовавшие целую сотню пеликанов, возымевших дурную мысль направиться на восток. Вскоре черные точки исчезли, и между двойной лазурью неба и моря опять виднелись только белые пятна. Еще некоторое время они летели, уменьшаясь, как клочья падавшего снега, и наконец исчезли в воздухе.

Наш конвой сделал почти то же самое, что и пеликаны.

При выезде из Дербента с нами было пятьдесят милиционеров и шесть линейных казаков. Некоторые из милиционеров оделись не в форменное, а в какое-то фантастическое платье, и выглядели в высшей степени живописно. У татар же вся пышность заключается в оружии: некоторые из нашего конвоя были в рубище, но имели на себе пояс ценой в пятьдесят рублей, кинжал и шашку по четыреста рублей и патронташ стоимостью двадцать пять рублей.

На второй станции, т. е. в Кулазе, наш конвой состоял уже из пятнадцати милиционеров и трех казаков. Впрочем, первый конвой был ничем иным, как почетным эскортом. От Дербента до Баку дорога пролегает вдоль всей лезгинской линии, но никакой опасности тут нет. Однако это не мешает местным жителям путешествовать в полном вооружении, а не местным, если они не снабжены конвоем, выжидать так называемой оказии.

---

154 Услышав легенды, связанные с Шах-дагом, Дюма загорелся идеей литературно обработать их, и вскоре Мишель Леви издал его роман «Снежный ком».

Выехав с третьей станции, мы скоро прибыли на берег Самура. Этот опасный ручей, — мы не хотим возвышать его, называя рекой, — обильно разливается в мае и покрывает на 8–10 футов глубины пространство в полверсты. Сейчас он был не шире обыкновенного ручья, что, впрочем, не мешало ему шуметь и создавать препятствия путникам.

Мы дерзко перерезали его тарантасом и телегой.

Он кипел, выл, пытался взять приступом наши экипажи, но тщетно. Троекратно подкрепляя коней ударами кнута, мы во весь дух выскочили на противоположный берег, который представлял собой почти отвесный скат на двадцать или двадцать пять футов.

Мы уже обращали внимание читателей, что только на Кавказе умеют побеждать местные препятствия. Если бы лошади споткнулись, спускаясь, то можно было бы убиться; если бы они попятились, поднимаясь, тоже, разумеется, было б не лучше. Но лошади не спотыкаются и не пятятся, и седоки остаются целы и невредимы. Да если бы это и случилось, человеческая жизнь на Востоке так мало ценится. В Константинополе мне говорили, что человек это самый дешевый товар.

Вечером мы прибыли в Кубу. Уже было темно, когда мы въехали в еврейскую слободу, служащую предместьем города. Евреи здесь, что очень примечательно, занимаются больше земледелием, чем торговлей. Они происходят, как и воинственные евреи Лазистана, от пленников Сеннахериба.

Предместье ведет к мосту, перекинутому через ручей Кудьют-чай, над которым город возвышается более чем на сто футов. Этот подъем без парапета был одним из самых страшных, да и ночь придавала ему фантастический вид.

Мы проехали через узкие ворота и оказались в Кубе. Подумалось, что мы вступили в озеро, в котором дома уподобились островам; улицы немного походили на каналы Венеции.

Наш тарантас погрузился в воду по самый кузов. Я предпочел бы оказаться лучше в Самуре со всем его гневом и шумом: по крайней мере, сквозь чистую как хрусталь воду Самура виднелись катившиеся голыши.

Начальник конвоя повел нас прямо в квартиру, где уже приготовили ужин.

Кубинское ханство когда-то было одним из самых значительных в Дагестане. Оно включает в себя примерно десять тысяч семейств, составляющих шестьдесят пять тысяч человек. В самом городе насчитывается до одной тысячи семейств, т. е. около пяти тысяч жителей.

Климат Кубы имеет самую дурную репутацию. Это нечто вроде Террачино[155] Каспийского моря. Русские солдаты считают осуждением на смерть трехлетнее пребывание в кубинском гарнизоне: на вскрытиях почти всех трупов обнаруживаются печенки и легкие, зараженные гангреной: это доказывает что несчастные умирают от ядовитых болотных испарений[156].

Есть одно странное явление, не укладывающееся в выводы ученых. Это евреи, живущие на равнине и, следовательно, дышащие более вредным воздухом, нежели жители города Кубы, живущие на горе: первые не знают лихорадок, от которых умирают соседи на правом берегу Кудьют-чая[157].

В Кубе торгуют главным образом коврами, изготовляемыми женщинами, и кинжалами, приготовляемыми тамошними искусными оружейными мастерами. Я хотел купить один или

---

[155] Город недалеко от Рима.

[156] «Климат здесь гибелен только для новичков, но впоследствии очень сносен. Окружающие Кубу леса поглощают вредные испарении и охлаждают знойную атмосферу» (А. А. Бестужев-Марлинскнй, Соч. в 2-х томах, т 2, М., 1958, с. 194).

[157] Куба расположена на правом берегу реки Кудиал-чай в 28 км от Каспийского моря. Дюма неоднократно упоминает эту реку под разными хотя и сходными названиями.

два кинжала, но щедрость князя Багратиона и князя Али Султана настолько избаловала меня, что я стал довольно привередлив и уже не находил достаточно красивых или интересных в историческом отношении кинжалов, способных достойно пополнить мою коллекцию.

Из Кубы виднеются многие кавказские вершины, в том числе и вершина Шах-дага, этого снежного великана [158], известного по легендам и рекомендованного князем Багратионом.

В восемь часов утра лошади были запряжены, конвой готов: уездный начальник г-н Коциевский [159] отвел нам превосходное помещение и не переставал оказывать особое внимание до тех пор, пока не усадил нас в тарантас.

Некая маленькая девочка, которая, подобно Галатее Вергилия, пряталась только для того, чтобы быть больше на виду, сопровождала нас более чем на пятьдесят шагов, перебегая с кровли на кровлю. Кубинские кровли заменяют улицы других городов; только на кровлях можно ходить, не замочив ноги. Выезжая из Кубы, мы снова встретили ряд русских гор[160], по которым надлежало спускаться и подыматься под аккомпанемент криков и хлопанья кнутом.

Среди этих подъемов и спусков были три реки: Карачай (Черная река), Ак-чай (Белая река) и третья — Вельвеле (Шумная река).

По мере того, как мы подвигались вперед, огромный Апшеронский мыс уходил вправо от нас; с каждой верстой мы надеялись увидеть его оконечность, но мыс все вытягивался дальше и дальше. Впрочем, мы наслаждались великолепной, чисто летней атмосферой. С каждым шагом вперед деревья словно распускались.

Ночью мы прибыли на станцию Сумгаит. В пятистах шагах от нас слышался жалобный стон Каспийского моря. Я взобрался на песчаный бугор, чтобы при свете звезд полюбоваться им. С моря — спокойного и гладкого, как зеркало — взоры мои перенеслись на степь, простиравшуюся между нами и оконечностью Апшеронского мыса. Огни, видневшиеся в нескольких местах в двух или трех верстах от станции, обозначали татарское кочевье.

Я спустился с бугра и побежал на станцию.

Лошади еще не были запряжены.

Я предложил Муане и Калино проехать еще версты две и воспользоваться этой прекрасной ночью, чтобы полежать еще раз в нашей палатке, сделавшейся бесполезной со времени поездки к киргизским соленым озерам, и посмотреть поближе на татарский лагерь. Предложение было принято.

Затем пообещали ямщику рубль на водку. Второе предложение было принято с большим энтузиазмом, чем первое.

Мы сели в тарантас и в сопровождении одного татарина в качестве переводчика поехали объясняться с новыми знакомыми. Это был тот самый татарин, которого нам дали в Дербенте для наблюдения за исполнением наших желаний. Надо сказать правду, что поручение было важное, и он исполнял его добросовестно.

Весь день он мчался галопом во главе конвоя. За три версты от станции, где мы должны были остановиться, он удваивал галоп и исчезал, потом мы снова находили его у ворот станции с известием, что стол для нас уже готов. После этого он опять исчезал, и мы видели его только на другой день, на лошади и снова во главе конвоя.

Где и как он ужинал?

---

[158] В этом районе хорошо видны вершины Базардюзю (4466 м), Шалбуз-дага (4142 м), Баба-дага (3629 ч), Шах-дага и некоторые другие.

[159] Майор Леонтий Петрович Коциевский

[160] Под русскими горами Дюма подразумевает распространенное наименование аттракциона, когда нужно поочередно высоко взлетать и неожиданно устремляться вниз.

Где и как ночевал?

Это была тайна, которая, впрочем, в то время не занимала нас. Мгновенно, как бес, он показывался, лишь только мы поднимали окно экипажа.

Минут через десять мы увидели с правой стороны татарское кочевье. Оно было расположено вокруг развалин большого здания, которое при свете луны представлялось вдвое более обширным, возвышаясь посреди пустыни. Мы прежде всего спросили об этом строении, и оказалось, что это караван-сарай, оставленный Шах-Аббасом.

Развалины состояли из большой стены, с башнями по углам, которые, обрушившись, образовали террасы. При трепетном блеске бивуачных огней можно было отличить на стене нечто вроде иероглифических фигур, вырезанных на камне; они, вероятно, служили, архитектурным украшением. Кроме большой стены и башен, оставались еще три свода, дугообразные отверстия которых пришлись почти вровень с землей; туда спускались по отлогости, покрытой обломками.

Несколько татар поселились под сводом, освещая свое помещение зажженным хворостом.

О нашем прибытии было возвещено лаем собак; начиная от аула Унтер-кале, Муане решительно уже не доверял этим четвероногим, так несправедливо называемых друзьями человека. А потому мы вышли из тарантаса только тогда, когда кочевые соотечественники нашего татарина, представившего нас им как своих друзей, отозвали и успокоили собак.

Когда мы выехали на дорогу, вооруженные на этот раз ружьями и кинжалами, в чем, как потом выяснилось, не было никакой необходимости, то спросили у татар две вещи. Во-первых, можем ли мы стать лагерем возле них, на что они отвечали, что мы вправе поместиться, где пожелаем, ведь степь принадлежит всем без исключения. Во-вторых, можем ли посетить их в самом кочевье. На что они также отозвались, что наше посещение им будет очень приятно.

Пока четыре казака вытаскивали нашу палатку из телеги и разбивали ее по другую сторону дороги, близ засохшего колодца, камни которого были украшены такими же фигурами, какие мы уже заметили на стенах караван-сарая, мы подошли к ближайшим группкам людей.

Эта часть лагеря казалась главной. Ее обитатели сидели на мешках с мукой, перевозимой из Баку для Кавказской армии. Они пекли хлеб для ужина.

Эта операция производилась быстро: отрезали из огромного теста кусок, величиною с кулак, клали его на нечто типа железного барабана, разогретого углями, проводили по тесту деревянным катком, как делают наши кухарки, приготовляя сухари или лепешки, через минуту переворачивали на другую сторону — хлеб был готов. Эти горячие лепешки имели форму тех хрустящих пряников, которые продаются на наших деревенских праздниках.

Едва мы приблизились, один, казавшийся главным лицом, встал из круга и подошел к нам с хлебом и куском соли — символом предлагаемого нам гостеприимства. Мы взяли хлеб и соль и сели вокруг очага на мешках с мукой.

Без сомнения, они решили, будто гостеприимство, оказываемое хлебом и солью, было недостаточно.

Вот почему один из них снял висевший на стене кусок конины, отрезал от него часть, разделал на маленькие куски и положил их на тот железный барабан, на котором пекли хлеб; мясо начало дымиться, трещать и свертываться; через пять минут оно было изжарено, и нам дали знак, что это было сделано для нас. Мы вытащили из чехлов небольшие ножики и стали брать ими кусочки изжаренного мяса и есть с хлебом и солью. Как часто мы с куда меньшим аппетитом ужинали за столом, на котором было куда больше еды!

Бивак представлялся мне необыкновенно многозначительным. Ужинать с потомками Чингисхана и Тимура Хромого, в Прикаспийских степях, возле развалин караван-сарая, построенного Шах-Аббасом; видеть с одной стороны горизонт из гор Дагестана, откуда каждую минуту могут выйти разбойники, от которых надо защитить свою свободу и свою жизнь; с другой стороны, это великое озеро, посещаемое так мало, что оно почти так же

неизвестно в Европе еще и поныне, несмотря на Клапрота, как и некогда в Греции, при Геродоте; слышать вокруг себя звон колокольчиков полусотни верблюдов, которые щиплют иссохшую траву или спят на песке, вытянув головы; быть одному или почти одному в стране, враждебной Европе; видеть свою одинокую палатку, как малую точку в безмерном пространстве; развернуть, быть может, в первый раз, при веянии ночного ветерка, трехцветное знамя[161] над палаткой. Это ведь не каждый день случается, все это оставляет неизгладимое впечатление на всю жизнь, все это можно снова видеть, закрыв глаза каждый раз, когда захочешь видеть — до такой степени рамка подобной картины величественна, даль поэтична, фигуры живописны, очертания определенны и контрастны.

Мы оставили своих хозяев, пожав им руки. Главное лицо, которое поднесло нам хлеб при нашем прибытии, предложило его еще и при отъезде. Эти номады[162] не довольствуются тем, что угощают ужином, они еще снабжают и завтраком для следующего дня.

Я спросил подносителя, как его зовут. Оказалось, Абдель-Азим.

Сохрани, господь, Абдель-Азима!

Глава XXII
Баку

Мы проснулись с зарею и посмотрели вокруг себя, надеясь увидеть татар и их верблюдов. Все они снялись ночью; степь была так же пустынна, как и море.

Я не знаю ничего печальнее моря без кораблей.

Пока мы еще спали, наш татарин привел лошадей.

Оставалось запрячь их и ехать.

Синеватый туман, носившийся над землей, предсказывал великолепный день. Сквозь туман проходили, почти не дотрагиваясь до земли, стада диких коз, столь беспокойных, столь диких, столь боязливых, что я никак не мог приблизиться к ним на ружейный выстрел. Вершины гор были розового цвета, их склоны фиолетового с лазуревой тенью, степь — золотистого, море — синего цвета.

С этим бедным Каспием, пустынным, затерянным, забытым, неизвестным и, вероятно, оклеветанным, мы должны были скоро проститься, чтобы снова увидеть его только в Баку.

Мы прибыли в тот пункт Апшеронского мыса, где дорога вдоль морского берега от Кызил-Буруна круто поворачивает направо, углубляется в степь и покидает мыс, высящийся, как железное копье, на Каспийском море.

Первые пять или шесть верст совершенно ровной дороги проходили по степи; потом мы начали иногда попадать на твердые ухабы, свидетельствующие, что мы ехали по гористой местности.

Со временем подъемы и спуски сделались чувствительнее и чаще: мы пересекали последние отроги Кавказа.

На этих развалинах, в этих долинах, вид которых схож с пейзажами Бургонии[163], расстилались деревушки, очаги которых спокойно дымились, и мирно паслись стада. Пшеница только что проросла из земли и время от времени на сером фоне горы раскидывала неправильно обрезанный зеленый свой ковер. Не каприз ли обрезать ее таким образом? Не притязание ли соседа вызвало эту форму? Во всяком случае цивилизация давала о себе знать. Я удовлетворенно вздохнул: так давно не слыхал о ее существовании, и мне стало так хорошо.

---

161 Французский флаг после революции 1789 г.

162 Кочевники (древнегреч.).

163 Устаревшее наименование французской провинции (когда-то герцогство) Бургундии.

Завершили ли мы наконец самую живописную и опасную часть путешествия? Наш татарин отвечал утвердительно.

На другом склоне Кавказа, между Шемахой и Нухой, мы опять были удовлетворены в двояком отношении — по части живописности и опасности.

Опасность — странный спутник в дороге; сначала боятся ее, всячески стараются избегнуть, потом привыкают к ее соседству и, наконец, желают ее. Это стимулирующее средство, удваивающее всему цену. Является опасность, и мы очень рады ей; потом мало-помалу она удаляется, оставляет нас, исчезает, и тогда вы сожалеете, непрестанно вспоминаете о ней, и если даже вынуждены свернуть с дороги, — готовы идти в место ее пребывания. Нам бы хотелось не прощаться с ней совсем, но только сказать ей «до свидания».

Дорога тянулась почти та же, пролегая между подъемом и спусками, до тех пор, пока нам не представился подъем более крутой и скалистый, нежели все прежние; мы выпрыгнули из тарантаса не столько для облегчения лошадей, сколько для того, чтобы поскорей достигнуть вершины последнего холма, скрывавшего от нас Баку.

Взобравшись своим ходом на самую высшую его точку, мы увидели Каспийское море. Между нами и морем, видневшимся только на некотором расстоянии от берега, раскинулся город, закрытый изгибами местности.

Скоро Баку предстал перед нами во всей своей красе; мы как будто сходили с неба.

На первый взгляд есть как будто два Баку: Баку белый и Баку черный.

Белый Баку, — предместье, расположенное вне города, — почти целиком застроилось с того времени, как Баку стал принадлежать русским.

Черный Баку, — это старый Баку, персидский город, местопребывание ханов, окруженный стенами менее прекрасными, менее живописными, чем стены Дербента, но, впрочем, вполне характерными.

Разумеется, все эти стены воздвигнуты против холодного оружия, а не против артиллерии.

Посреди города красовались дворец ханов, разрушенный минарет, старая мечеть и Девичья Башня, подножье которой омывается морем. С этой башней связана легенда, которая дала ей странное название Девичьей.

Один из бакинских ханов имел красавицу дочь. Если древняя Мирра [164] была влюблена в своего отца, то здесь отец был влюблен в свою дочь. Преследуемая виновником своего существования, и не зная, как отделаться от его кровосмесительной страсти, она поставила ему следующее условие: девушка ответит на желание отца, если в доказательство своей любви он велит выстроить самую высокую и крепкую башню для ее проживания.

В ту же минуту хан собрал своих разбойников, и они принялись за дело. Башня строилась с молниеносной быстротой, хан не жалел ни камней, ни людей.

Однако, по мнению девушки, башня все была еще недостаточно высока. «Еще один этаж», — говорила она всякий раз, когда ее отец считал работу законченной. И хотя башня возводилась на берегу моря, т.е. в нижней части города, но высотой она уже сровнялась с минаретом, что был в верхней части. Настала, наконец, минута, когда ничего не оставалось делать, как признать, что башня окончена. Ее принялись убирать и украшать тканями и коврами. Когда разостлан был последний ковер, дочь хана в сопровождении придворных дам взошла на вершину башни, будто желая насладиться живописным видом. Там она помолилась, поручила свою душу Аллаху и бросилась с зубчатой стены в море.

Неподалеку от этого памятника девического целомудрия стоит другой памятник — напоминающий об измене. Это памятник русскому генералу Цицианову. Этот генерал, управлявший Грузией, осаждал Баку. Хан просил свидание с генералом Цициановым.

---

[164] Мирра — героиня пьесы итальянского драматурга Витторио Альфиери (1749–1803). Исполнением этой роли прославились многие актрисы, например, А. Ристори.

Армяне, друзья русских, предупредили генерала, что во время свидания хан намерен убить его. Он ответил, как Цезарь: «Они не осмелятся», отправился на свидание и был убит. Жители Баку, страшась возмездия, которое неминуемо должно было разразиться над ними за эту измену, возмутились и решили выдать убийцу русским.

Баку, первые стены которого были построены Аббасом Вторым, с самых древних времен считался священным местом. В начале независимое ханство гебров[165] сделалось вассалом Персии, которая уступила его в 1723 году России. Персия снова возвратила его себе в 1735 году, но окончательно потеряла из-за измены последнего хана, приказавшего убить Цицианова.

Памятник генералу Цицианову воздвигнут на склоне холма — между городом и предместьем. Он построен на том самом месте, где был убит генерал. Его прах покоится в Тифлисе.

Въезжая в Баку, думаешь, что попадаешь в одну из самых неприступных средневековых крепостей. Тройные стены имеют столь узкий проход, что приходится отпрягать пристяжных лошадей тройки и пустить их гуськом. Проехав через северные ворота, вы очутились на площади, где архитектура домов тотчас же выдает присутствие европейцев. Христианская церковь возвышается на первом плане площади.

Мы велели отвести нас к г-ну Пигулевскому.

Он принял нас у самого подъезда и пригласил к себе в тот же день на второй обед. Мы не могли быть на первом обеде, на который должны были пожаловать две татарские княгини — мать и дочь; по религиозному обычаю и общественным правилам магометанские женщины не могли поднять свои покрывала перед иностранцами. Даже сам г-н Пигулевский не был допущен к своему столу, за которым присутствовали его жена и дочь.

Нас отвезли в клуб, расположенный возле католической церкви, — это самое лучшее помещение в городе. Члены клуба отдали его в мое полное распоряжение. Благодарить за это я не в силах; я заявляю, что на протяжении всего путешествия мы пользовались таким же великолепным гостеприимством, как и в Баку.

Мы крайне были довольны отсрочкой, данной нам г-ном Пигулевским, чтобы немного помыться.

Лишь только мы привели себя в порядок, как явился г-н Пигулевский.

Обе татарские княгини решились нарушить свои национальные и религиозные обычаи. Они желали непременно видеть меня. Поэтому два экипажа г-на Пигулевского ожидали нас с хозяином у ворот.

Скажу несколько слов собственно о Пигулевском — он этого заслуживает. Полицмейстер, он же, вероятно, и судья, г-н Пигулевский имеет от роду сорок лет, ростом пять футов десять вершков, с талией, пропорциональной величине, носит русский мундир и татарскую папаху. Трудно увидеть из-под косм папахи глаза более умные и более выразительные. Остальная часть лица, — полные щеки, белые зубы, сластолюбивые губы, все это удивительно идет к нему. Ни слова не говоря по-французски, г-н Пигулевский произносит каждое русское слово с таким выражением откровенности, с такой выразительной интонацией, что понимаешь все, что он хочет сказать. Благодаря своей веселой и откровенной душе он нашел первые элементы алфавита всемирного языка, отыскиваемого нашими учеными со времени разрушения вавилонской башни.

Мы сели в карету и отправились в путь. Только я вошел в дом, как разгадал причину счастливого выражения на радостном лице нашего хозяина: дочь 16 лет, мать ее около 34-х, которая кажется сестрой своей дочери, обе восхитительные красавицы, еще два или три ребенка, едва делавшие первые шаги в жизни, — вот семейство, которое вышло навстречу и протянуло нам руки.

Две татарские княгини и супруг младшей из них дополняли круг, в который мы были

---

[165] Гебры (в Индии их именуют пирсами) — приверженцы зороастризма.

допущены с радушием и, скажу без ложной скромности, в котором нас ожидали с нетерпением. Одна из княгинь была жена, а другая дочь Мехти-Кули-Хана, последнего карабахского хана.

Матери можно было дать не более сорока лет, а дочери двадцать. Обе были в национальных одеяниях.

Дочь была очаровательна в этом костюме, впрочем, более богатом, нежели грациозном.

Девочка трех или четырех лет, одетая в такое же платье, как и ее мать, с удивлением смотрела на нас большими черными глазами. На коленях бабушки сидел мальчик пяти-шести лет, который, на всякий случай и по инстинкту, держался за рукоятку своего кинжала. К моему удивлению это настоящий кинжал, обоюдоострый, который мать-француженка никогда не оставила бы в руках своего ребенка, а у матерей-татарок он считается первой детской игрушкой.

Отец мальчика — князь Хасар Уцмиев[166], родившийся в Андрей-ауле, который мы посетили в добром и милом обществе, был мужчина лет тридцати пяти, красивый, важный, говорящий по-французски как истый парижанин, одетый в прекрасный черный костюм, шитый золотом, в грузинской остроконечной шапке; на боку висел кинжал с рукояткой из слоновой кости и в вызолоченных ножнах. Признаюсь я содрогнулся, услышав это чистое и безукоризненное французское произношение. Кажется, в Санкт-Петербурге князь познакомился с моим добрым приятелем Мармье[167], о котором и на этот раз он начал отзываться с самой хорошей стороны, прося меня по возвращении в Париж напомнить о нем ученому путешественнику.

Мне не известно, где проживает ныне Мармье: в Танжере или в Томбукту, в Мексике или в Дамаске. Ясно, что этот непоседливый человек не находится при библиотеке министерства народного просвещения. Поэтому я начинаю уже на этих страницах исполнение возложенного на меня поручения, тем более, что спешу еще раз вспомнить своего друга.

Дамы не покидали нас на протяжении всего обеда.

Дочь г-на Пигулевского, прекрасная голубая гурия, как назвал бы ее Магомет, прекрасный лазурный ангел, как назовет ее когда-нибудь всевышний, была нашим переводчиком.

Когда обед кончился, экипажи уже были готовы.

Нам предлагалось увидеть бакинские огни, которые известны всему свету, за исключением разве французов, как народа менее всех путешествующего.

В двадцати шести верстах от Баку находится знаменитое святилище огня Атешгах, где пылает вечный огонь. Этот огонь поддерживается нефтью, т. е. горнокаменным маслом, удобовоспламеняющимся, легким и прозрачным, когда оно очищается, но которое даже в очищенном виде испускает густой дым с неприятным запахом, что, впрочем, не мешает употреблению нефти в житейском быту.

В Ленкорани и Дербенте ею смазывают бурдюки для перевозки вина, что дает вину вкус совершенно особенный, очень ценимый знатоками, но к которому я никогда не мог привыкнуть. Смазывают ею также колеса телег, и это избавляет извозчика от использования жира, к которому они, как мусульмане, питают отвращение.

Наконец, из нее выделывают тот самый материал, который был родоначальником римского цемента и употреблялся, как уверяют, при постройке Вавилона и Ниневии. Нефть — результат разложения подземными огнями плотной горной смолы.

---

166 Полковник в Управлении дежурного генерала при наместнике, член Кавказского общества сельского хозяйства. В «Кавказском календаре на 1859 г.» его имя — Хасай.

167 Мармье Ксавье (1809–1892) — французский путешественник и литератор. В 1848 году выпустил «Письма о России, Финляндии и Польше».

Во многих пунктах земного шара существует нефть, но в таком изобилье она обнаруживается лишь в Баку и его окрестностях. По всему берегу Каспийского моря вырыты колодцы, глубиной от трех до двадцати метров. Сквозь глинистый рухляк, напитанный нефтью, отделяется черная и белая нефть. Ежегодно извлекается почти сто тысяч центнеров нефти. Ее отправляют в Персию, Тифлис и Астрахань.

Бросьте взгляд на карту Каспийского моря и проведите прямую линию параллельно Баку до противоположного берега. Возле самого берега, где кочуют туркмены, вы увидите остров Челекен или «Остров нефти». Выдвигаясь в море с противоположной стороны, Апшеронский полуостров образует на той же линии большое количество нефтяных и кировых источников. Там, где Апшерон образует пролив, находится остров, называемый гебрами и персами святым, потому что в нем также есть газовые и нефтяные колодцы. Есть основания полагать, что огромный нефтяной слой проходит под морем, простираясь до туркменской области.

В настоящее время создается большая компания для приготовления свечей из нефти[168]. Фунт свечей самых чистых, подобных нашим солнечным свечам, обошелся бы в пятнадцать копеек серебром, вместо пятидесяти копеек за фунт стеариновых свечей в Тифлисе и тридцати трех копеек в Москве. Поэтому вовсе не удивительно, что парсы, маджу и гебры избрали Баку своим священным местом.

Скажем, если читателям угодно, несколько слов об этих добрых людях, самых безвредных и все-таки преследуемых более всех других сектантов какой-нибудь религии.

Слово гебр происходит от слова «гяур», что по-турецки значит неверный. Маджу — от слова маг, — означает имя жрецов зароастрийской религии. Перс — от слова Фарс или Фарсистан (древняя Персида)[169] — тут нужно обратить внимание на то, что в отличие от многих специалистов по этимологии мы излагаем суть предмета коротко и ясно.

Зороастр (по-пехлевийски Зарадог, по-синдски Заретоштро, по-персидски Зердуст) основатель или точнее преобразователь религии парсов. Он родился в Мидии или в Азербайджане, или в Атропатене, по всей вероятности, в царствование Гиштаспа, отца Дария Первого.

Видя, что религия мидийцев преисполнена суеверия, он решил преобразовать ее: двадцать лет странствовал, чтобы воспользоваться учением знаменитейших мудрецов своей эпохи. По возвращении из странствий он заперся в одном гроте, потом был взят на небо, как Моисей, узрел бога и получил от него повеление проповедовать религию в Иране, т.е. в Персии.

Первым сотворенным им чудом было обращение в новую веру государя Гиштаспа и сына его Исфендиара, а с ними и всего западного Ирана. Это обращение возмутило восточный Иран, который отрядил против Зороастра целую армию брам — говорят, до тридцати тысяч.

Зороастр их разгромил, после чего весь Синд[170] принял его учение.

Зороастр умер на горе Адорджи (если только он умер), в самых преклонных летах, оставив двадцать одно сочинение по имени «Носх», из отрывков которого составили Зендавесту («Живое слово»).

Огнепоклонство господствовало в Персии до Александра. В царствование его преемников — селевкидов и парфян — аршакидов, оно было изгнано. Через 225 лет его

---

168 Такая компания действительно в те годы создавалась в Баку. Во главе ее стоял богатый московский откупщик В. А. Кокорев.

169 Персида — греческое наименование провинции Парс (Фарс), в которой жили парсы.

170 Синд — территория в бассейне реки Инд у Аравийского моря. Нынешней столицей этого региона является город Карачи.

вновь восстановил Ардашир Бабухан, основатель сассанидской династии в Персии. Но в 623 году — со времени вторжения арабов и распространения исламизма — огнепоклонство было окончательно изгнано, и его последователи рассеялись по свету: одни перешли в Гудаарат и на берега Синда, другие поселились на берегах Каспийского моря.

Ныне несчастные парсы имеют два главных отечества: Бомбей, где они живут под покровительством англичан, и Баку — под покровительством русских.

Они утверждают, что у них сохранилось истинное предание о вере Митры, освященной и усовершенствованной Зороастром, что они хранят истинную Зендавесту, написанную рукой самого основателя, и что они согреваются тем же огнем, каким согревался Зороастр. Из этого ясно, что мало религий столь невинных, как религия парсов. Зато и мало людей, столь кротких и покорных, как парсы.

К этим-то людям мы и отправились, чтобы посетить их в священном месте — в святилище огня Атешгах.

После двухчасовой езды (первая половина дороги шла по берегу моря) мы прибыли на вершину холма, откуда нашим взорам представилось море огней.

Вообразите себе равнину почти в квадратную милю, откуда через сотню неправильных отверстий вылетают снопы пламени. Ветер развевает их, разбрасывает, сгибает, выпрямляет, наклоняет до земли, уносит в небо и никогда не в состоянии погасить.

Средь островков огня выделяется квадратное здание, освещенное колышущимся пламенем. Оно покрыто белой известью, окружено зубцами, из коих каждый горит как огромный газовый рожок. Позади зубцов возвышается купол, в четырех углах которого пылает огонь.

Мы прибыли с западной стороны и потому вынуждены были объехать кругом монастырь, в который можно войти только с востока.

Зрелище было неописуемым, захватывающим, такая иллюминация бывает только в самые праздничные дни.

Г-н Пигулевский сообщил о нашем прибытии, это и послужило поводом к празднику для этих бедняков, которые привыкли подвергаться преследованиям на протяжении двух тысяч лет и поэтому спешат повиноваться властям.

Увы, те из моих соотечественников, которые захотели бы видеть после меня гебров, парсов и маджу, должны поспешить: в монастыре живут только три огнепоклонника — один старец и двое молодых людей тридцати-тридцати пяти лет. Один из этих молодых людей прибыл из Индии всего лишь пять-шесть месяцев назад. А до него обожателей солнца было всего лишь двое.

Мы вошли во внутреннюю часть здания. Она состоит из огромного квадратного двора, посреди которого возвышается алтарь с куполом. В центре алтаря горит вечный огонь. В четырех углах купола, как на четырех гигантских треножниках, пылают четыре очага, поддерживаемые рвущимся из-под земли огнем. К алтарю поднимаются по пяти или шести ступеням. К внешней стене пристроено до двадцати келий, двери их отворяются изнутри. Они предназначены для учеников Зороастра.

В одной из келий в стене ниша, а в ней помещены два маленьких индийских идола.

Один из парсов надел свое жреческое платье, другой, совершенно нагой, накинул на себя нечто вроде рубашки, и индусское богослужение началось. Оно состояло из пения, построенного на не более чем четырех-пяти нотах хроматической гаммы, почти от sol до mi, в котором имя Брамы повторялось довольно часто.

Иногда жрец припадал лицом к земле, служитель тут же бряцал двумя тарелками — одну об другую, производя ими резкий, дрожащий звук.

По окончании священнодействия жрец дал каждому из нас по маленькому куску леденца, взамен которого мы наградили его деньгами.

Потом мы отправились осматривать большие колодцы.

Самый глубокий имеет около 60 футов глубины; из него некогда черпали воду. Вода была солоновата, но вдруг она исчезла. Бросили туда зажженную паклю, чтобы узнать, что

стряслось; колодец тотчас воспламенился, и с тех пор огонь не погасает.

Опасно слишком наклоняться над этим колодцем, чтобы посмотреть на дно; от паров может закружиться голова, а потеряв голову, в свою очередь, ноги могут потерять землю, и тогда послужишь горючим веществом для подземного огня. По этой причине колодец окружен перилами.

Другие колодцы вровень с землей.

Над их отверстием кладут решетку, а на решетку камни, которые превращаются в гипс менее чем за двенадцать часов.

Пока мы смотрели на это превращение, офицер — комендант селения Сураханы, отстоящего на версту от монастыря — явился с приглашением пожаловать к нему на чай.

Мы отправились.

Чай был только предлогом.

Он угостил нас в прекрасной комнате, убранной так, что она могла служить для нас вместо спальни, превосходным татарским ужином, составленным из плова, шашлыка, груш, винограда и арбузов. Мы задержались у него до одиннадцати часов. Мне очень хотелось остаться до следующего утра, но неловко было отпустить г-на Пигулевского одного в Баку.

Мы возвратились с ним через эту Solfaterra[171], которая имеет то важное преимущество перед неаполитанской Solfaterra, что никогда не гаснет.

Глава XXIII
Город, базары, мечеть, воды, огни

На другой день после нашей поездки к парсам, в девять часов утра нас известили о приезде князя Хасара Уцмиева — с аккуратностью, более чем европейской, он явился сделать нам визит и предложил свои услуги.

Говорить парижанам о каком-нибудь татарском князе, значит говорить им о дикаре, наполовину закутанном в овчину или, лучше сказать, в две овчины, из коих одна составляет папаху, а другая бурку, о дикаре, объясняющемся на языке суровом, гортанном и непонятном, не имеющем понятия о нашей политике, литературе и цивилизации, и вооруженном саблями, кинжалами, шашками и пистолетами.

На деле все совсем не так: татарский князь Хасар Уцмиев совершенно не имеет ничего общего с вышеизложенным.

О наружности князя я уже говорил. Князь очень красивый мужчина тридцати пяти лет, с правильными чертами лица, с живыми и умными глазами, в глубине которых блестит почти незаметный луч беспокойства и тревоги, с белыми прекрасными зубами, с черно-красноватой бородой от хинной краски, которой татары и персы имеют обыкновение красить бороду.

Он носит легкий и изящный колпак из смушек, остроконечной формы, на грузинский лад; длинную черную черкеску с простой тесемкой вместо всякого украшения; на груди украшенные золотым позументом газыри с серебряными патронами, пояс из золотого галуна. Такой пояс делается только на Востоке, ибо нигде так хорошо не прядут его, как в этой части света, — пояс, на котором висит изящный кинжал со слоновой рукояткой и с золотой насечкой на ножнах и на клинке.

На князе черные панталоны из персидского сукна, стянутые пониже колена горскими штиблетами, из-под которых виднеются узкие и тонкие сапоги, — заключающие в себе те кавалерийские ноги, на которые земля не имела никакого влияния, ибо она почти никогда не касалась их, и которые можно принять за детские ноги, — дополняют этот костюм или,

---

171 Сольфатари — вулканы, длительное время, без всяких извержений, выделяющие струи горячего сернистого и сероводородного газов. Названы по имени находящегося у Неаполя вулкана Сольфатара (итальянцы называют этот вулкан так же, какой назван в «Кавказе»).

лучше сказать, эту форму.

Князь Уцмиев[172], как и все жители Востока, большой любитель оружия, не только местного оружия с блестящими рукоятками и почерневшими клинками, но и нашего европейского, простого, прочного и верного в своем ударе.

Он осмотрел мои четыре или пять ружей, отличил ружья Девима от тех, которые случайно попали в их компанию, и наконец обратился ко мне с просьбой выслать ему в Баку, если возможно, револьвер фабрики нашего оружейного мастера.

Накануне моего отъезда из Парижа Девим принес мне, как я уже говорил, штуцерный карабин и револьвер — разумеется, его собственного изготовления. Карабин я подарил князю Багратиону, а теперь нашел удобный случай отдать в добрые руки и револьвер, — я предложил его князю Хасару Уцмиев. Час спустя я получил от него безупречно написанную по-французски записку следующего содержания.

«Вы владеете, милостивый государь, слишком хорошим оружием, чтобы позволить себе прибавить что-нибудь к вашей коллекции; но вот один кошелек и два архалука, которые княгиня просит вас принять. Кошелек вышит ее руками.

Князь Хасар Уцмиев»

Я получил этот прелестный подарок в ту минуту, как собирался идти к г-же Фрейганг.

Во время пиров, данных в мою честь князем Тюменем в его степном дворце, я отправился, между прочим, на пароходе адмирала Машина из Астрахани на дачу князя Тюменя, с двумя премиленькими дамами, по фамилии Петреенкова[173] и Давыдова, и с молоденькой барышней Врубель.

Бедная девушка была в трауре, несмотря на празднества: ее отец, казачий атаман, умер за восемь месяцев до того. Г-жа Петреенкова, жена морского офицера, жила два года в Астрабаде, что в Персии, и около полугода в Баку, ныне русском городе, но оставшемся совершенно персидским, похожим на Астрабад.

В Баку она познакомилась с г-жой Фрейганг и наговорила мне много хорошего о ней; поэтому накануне, когда я встретил у г-жи Пигулевской г-жу Фрейганг, которая удивительно хорошо говорила по-французски, то вступил с ней в разговор, как со старой знакомой.

Узнав от г-жи Пигулевской о моем прибытии, она воспользовалась случаем увидеться со мной и пришла к ней со своим мужем — начальником порта. Мы условились, что на другой день г-н Фрейганг[174] приедет за мной в экипаже, чтобы вместе отправиться на базар.

Население Баку состоит преимущественно из персов, армян и татар.

Да будет нам позволено несколькими словами охарактеризовать эти три типа настолько, насколько один тип может представлять целый народ, один человек — несколько личностей.

А так как мы прежде всего упомянули о персах, то и начнем с них.

Но да будет известно, что мы имеем в виду не коренного уроженца Персии, которого знаем только по одному из самых блистательных образов, какие только можно встретить, —

---

[172] Этот персонаж «Кавказа» упоминается в обширной монографии А. Л. Зиссермана «Фельдмаршал князь А. И. Барятинский» (первый том вышел в Москве в 1889 году, второй — там же в следующем году). «Подполковник князь Хасай Уцмиев, кумык, довольно образованный человек, говоривший, кажется, по-французски» (т. 1, с. 135).

[173] В издании 1859 года — Петреченкова. Как читатель уже знает из донесения астраханского жандарма полковника Сиверикова, Дюма «обедал у лейтенанта Петриченко». Стало быть, Петреченкова ближе к истине, чем Петреенкова.

[174] Командир гренадерского стрелкового батальона полковник Александр Васильевич Фрейганг (не путать с его братом Андреем адмиралом, проживавшим в то время в Петербурге). Других людей с такой фамилией в период пребывания Дюма на Кавказе нам пока обнаружить не удалось.

я говорю о персидском консуле в Тифлисе[175], — а персов, покоренных русскими провинций.

Перс — имеет смуглый цвет лица, роста более высокого, нежели низкого, с довольно стройной талией; лицо его продолговатое и кажущееся еще более длинным сверху от остроконечного и кудрявого колпака, а снизу от бороды, постоянно выкрашенной черной краской, какого бы цвета ни создала ее природа; походка более развязная, нежели живая; он ходит иногда скоро и в случае нужды даже бегает, чего я никогда не замечал за турками.

Уже более столетия кавказский перс, привыкший видеть свою страну, покоряемую по очереди туркменами, татарами и русскими, проникнутый идеями предопределения, которому учит мусульманская религия, стал смотреть на себя, как на жертву, оказавшуюся в неволе и угнетении. Древние воспоминания за неимением исторических книг изгладились; новые воспоминания тяжелы и постыдны; сопротивление кажется ему неблагоразумным и бесполезным, потому что оно всякий раз, сколько ему помнится, было наказываемо: он видел, как были разграблены его города, имущество уничтожено, соотечественники перерезаны.

Для спасения жизни и сохранения имущества он вынужден был употреблять все средства и не гнушался ничем. Из этого следует, что первые слова, которые вам говорят при въезде в Дербент, — авангард персидских городов, наход ящихся на пути от Астрахани до Баку: «Не вверяйтесь персу, не верьте ни его слову, ни клятве; слово, которое он всегда готов взять назад, зависит от степени личного интереса; клятва, которой он всегда готов изменить, может быть прочной, если только она способствует какой-нибудь его собственной выгоде в политическом или торговом отношении; клятва станет легче соломы, если ему для ее исполнения придется перепрыгнуть через ров или перескочить через барьер; униженный перед сильным, он жесток и суров перед слабым. В делах с персом будьте неизменно осторожны; одна его подпись не даст гарантий, она говорит лишь о возможном, вероятном ее исполнении».

Армянин почти такого же телосложения, как и перс, но он быстро толстеет, чего никогда не случается с персом. Черты лица его, как и у перса, удивительно правильны: глаза чудные, взгляд, свойственный только ему, заключает в себе в одно и то же время смышленость, важность, печаль или покорность — иногда и то и другое вместе.

Он сохранил нравы патриархов. Для него Авраам умер вчера, а Яков все еще жив. Отец — неограниченный глава семейства; за ним власть принадлежит старшему сыну, младшие братья его служители, сестры его приятельницы. Все безоговорочно покоряются неоспоримой и неумолимой воле отца. Они редко садятся при нем; для этого им нужно не приглашение отца, а приказание.

Если придет рекомендованный или достойный уважения гость (это для армянина все равно), тогда в доме наступает празднество; режут не теленка — эта живность в Армении сейчас редкость — а барана, топят баню и приглашают всех друзей на пир; с помощью небольшого воображения можно представить, что Яков и Рахиль сейчас же сядут за стол и будут праздновать свою помолвку.

Такова внешняя сторона армянского быта — при строгой экономии, удивительной склонности к порядку и огромной смышлености в торговых делах.

Другая же сторона, остающаяся в тени, требующая наглядного изучения, сближает армянскую нацию с иудейской, с которой она связана — согласно преданиям — историческими воспоминаниями, восходящими к началу мира. Как предполагают, в Армении находился земной рай. В Армении брали свое начало четыре первобытные реки, орошавшие землю. На высочайшей горе Армении остановился ковчег. В Армении началось обновление разрушенного мира. Наконец, в Армении Ной посадил виноградник и впервые испытал могущество вина. Подобно иудеям, армяне были рассеяны, но не по всему свету, а

---

[175] Консулом Персии в Тифлисе в 1858–59 годах был Сартин Мирза-Хусейн-хан.

лишь по всей Азии. Там они находились под всякого рода владычеством, но неизменно деспотическим, всегда иноверным и варварским, всегда руководившимся прихотью вместо правил, произволом вместо законов.

Видя, что преследователи всегда стремились забрать их богатства, армяне стали скрывать их.

Убедившись, что откровенное слово не ведет ни к чему, кроме гибели, они сделались скрытными.

Они рисковали головой, если бы продолжали оказывать благодарность вчерашнему покровителю, впавшему сегодня в немилость.

Наконец, не имея возможности быть честолюбивыми, ибо всякое поприще, исключая торговлю, было для них закрыто, они сделались торговцами со всеми качествами, свойственными этому классу. Слово армянина почти всегда верно, его коммерческая подпись почти священна.

Что касается татарина, о типе которого мы уже говорили, то смешение его с кавказскими племенами украсило его первобытную угловатость. Он был победителем и остался воинственным и сейчас; был кочевником и сохранил страсть к передвижениям; он охотно трудится табунщиком, пастухом, скотоводом. Он любит горы, длинные дороги, степи, наконец, свободу; в отсутствие татарина в деревне с весны до осени его жена занимается пряжей шерсти овец, которых сама же и пасет, изготовлением кубинских шемахинских и нухинских ковриков, которые наивностью украшений цветов и прочностью соперничают с персидскими коврами и имеют перед последними то преимущество, что продаются наполовину дешевле.

Татары делают также кинжалы с тончайшим лезвием, ножны с богатыми украшениями и такие ружья, оправленные в слоновую кость и серебро, за которые горский вельможа дает четырех лошадей и двух жен. От татарина не нужно требовать собственноручной подписи: достаточно одного его слова.

В обществе представителей этих трех наций, которых уже много было в Дербенте мы должны отныне проводить жизнь. Я не говорю о грузинской нации, которой не встретишь нигде вне Грузии и которой надо посвятить — так она прекрасна, благородна, честна, отважна, расточительна и воинственна, — отдельные страницы.

Предметы бакинской торговли состоят из шелка, ковров, сахара, шафрана, персидских тканей и нефти. О последней мы уже говорили.

Торговля шелком весьма значительна, хотя не может сравниться с нухинской. В Баку собирают от пяти до шести тысяч фунтов шелка, который продается, в зависимости от качества, от десяти до двадцати франков за фунт (русский фунт состоит из двенадцати унций).

За шелком следует шафран; собирается от шестнадцати до восемнадцати тысяч фунтов в год. Он продается от восьми до двенадцати и даже до четырнадцати франков за фунт. Шафран месят с кунжутным маслом и делают из него плоские сухари, полезные в дороге.

В Баку можно приобрести два сорта сахара: один сорт превосходного качества и ввозится из Европы; другой, делаемый в Мазандеране, продается маленькими головками по цене нашего.

Нечего и говорить, что из всех этих товаров меня больше всего интересовали ковры, персидские ткани и разного рода оружие.

Но г-жа Фрейганг, как истая дочь Евы, прежде всего повела к своему ювелиру по имени Юсуф. Он перс, мастер финифтяных дел и очень искусный специалист.

Какое раздолье воображению художника при виде всех этих драгоценностей, тканей, ковров, восточного оружия! Я имел твердость не соблазниться и купил только коралловые и сердоликовые четки и ожерелье из татарских монет. Затем я убежал от волшебника с золотым прутиком, не беспокоясь о том, следовала ли за мной г-жа Фрейганг. Самое

любопытное, что эти владельцы перлов и алмазов, эти Бенвенуто Челлини[176] с остроконечными колпаками, живут в хижинах, куда надо взбираться по изломанным лестницам, и в которых сквозь разбитые стекла окон уличный ветер раздувает их плавильники.

Г-жа Фрейганг догнала меня; она подумала, что я укушен какой-нибудь фалангой.

— На базар, на базар! — сказал я ей.

Иным способом было невозможно избавиться от нашего гения финифтяных дел. И, действительно, он показал нам чаши, какие можно видеть только в «Тысяче и одной ночи», головные уборы султанш, поясы райских красавиц. Все это сделано удивительно искусно при помощи простых инструментов: молотка, шила и ножниц.

Конечно, эта работа по части изящества не может сравниться с произведениями из магазинов Жаниссе и Лемонье[177], но зато сколько в ней своеобразия!

Среди этой нечистоты, бегающих тараканов, мышей и ползающих детей поднимается благовонный дым из медного сосуда, и воображение переносит вас в эпоху Шардена.

Таков Восток: благовония, драгоценности, оружие, грязь и пыль.

Мы отправились на базар.

Там искушение другого рода.

Персидские шелковые ткани, турецкие бархаты, карабахские ковры, ленкоранские подушки, грузинское шитье, армянские епанчи, тифлисские галуны и другие бог весть какие вещи, — все это вас привлекает, соблазняет и завораживает.

Милые мои парижские друзья, будь я богач, сколько сокровищ повесил бы на стенах ваших мастерских, сколько чудес положил бы к вашим ногам!

Я явился к г-же Пигулевской к самому обеду. Все утро дул неистовый ветер, и море сильно волновалось; потом ветер прекратился, море, утихло, поэтому г-н Фрейганг надеялся показать нам сказочное зрелище, какое только можно видеть в Баку. Это — морские огни. Да еще надо было отправиться в мечеть Фатьмы.

Мы торопились, так как одно можно было видеть днем, а другое ночью.

Днем предстояло осмотреть развалины караван-сарая, покрытого в настоящее время морем, и башни которого в тихую погоду выступают на целый фут над поверхностью воды. Башни связаны между собой еще сохранившейся стеной. Эти развалины погружены на двадцать или пятнадцать футов в море, — проблема, которую не могут пока разрешить.

Ученые полагают, что Каспийское море с каждым годом убывает, что убыль его в 1821 году была от восемнадцати до двадцати футов, а ныне от двенадцати до пятнадцати футов. На сколько же футов в общей сложности Каспийское море опустилось, если этот караван-сарай, башни которого приходятся сейчас почти на уровень с поверхностью воды, когда-то не был покрыт морем?

Разумеется, его могли построить на дне морском; простираясь более чем на версту, он ясно свидетельствует, что море, омывающее ныне Баку, некогда было значительно удалено от города. Не происходит ли это оттого, что пески, наносимые ветром, и камни Терека, Урала и Куры мало-помалу поднимают его уровень? В таком случае оно не должно иметь подземного канала, с помощью которого будто бы сообщается с Черным морем и Персидским заливом? Для меня все равно; но бедные ученые! Они должны прикусить языки.

Мы зажгли нечто типа Конгревовой ракеты[178], приготовленной из нефти и пакли и набитой свинцом, и бросили ее в одну из башен; дно башни мгновенно осветилось, к великому ужасу поселившихся там рыб которые в испуге бились носами о стену, не находя

---

[176] Челлини Бенвенуто (1500–1571) — итальянский скульптор и ювелир.

[177] Лемонье Элиза (1805–1865) — одна из основательниц профессионального обучения молодых девушек.

[178] Вильям Конгрив (1772–1828) — английский инженер.

выхода на волю. Этот греческий огонь приготовили татары. Он напомнил мне рассказ Жуанвиля[179] о том огне, который турки бросали в крестоносцев, приводя их в страх и поджигая их в водах Нила.

Мимоходом скажем, что наши матросы напрасно пытались посредством крюков и багров вырвать хоть частичку от башен или стены.

Мы спустились в открытое море, имея на штирборде шхуну капитана Фрейганга. Она построена в Або, и чтобы дать нам понятие о разности цены, существующей между финляндскими и нашими подобными сооружениями, надо сказать, что эта шхуна, обшитая медью, с двойным рядом парусов стоила во время спуска в море три тысячи рублей (двенадцать тысяч франков).

Минут десять спустя, мы обогнули Байков мыс и приплыли к мысу Шикову. Капитан обратил наше внимание на кипение воды — море, тихое и гладкое, как зеркало, дрожало, словно от подземного горнила.

Высадившись на берег, мы очутились на расстоянии ста шагов от мечети. Мы распознали ее еще ночью по изящному минарету, с вершины которого муэдзин сзывает правоверных на молитву.

Хотя было уже шесть часов вечера и очень темно, но мечеть нам отворили. Несколько абазов заставили зажечь для нас нефтяные лампы древней формы.

Впереди шли два дервиша. У дверей мы собрались снять сапоги, но, как и в Дербенте, нам не позволили это сделать наши проводники удовлетворились тем, что приподняли священные ковры, дабы они не осквернились от прикосновения ног гяуров.

Нас привели к гробнице Фатьмы, давшей свое имя фатимидам и во время преследований Езида добровольно пришедшей умереть в окрестностях Баку.

В память об этом событии ежегодно происходит один из любопытнейших праздников, о котором несколько позже обязательно расскажем.

Мечеть — место поклонения бесплодных женщин, они приходят сюда пешком, молятся и в течение года получают способность рожать. Княгиня Хасар Уцмиева, с которой мы обедали накануне, находилась в этом самом положении. Она сходила на поклонение в святую мечеть — и в тот же год родила. Князь в благодарность за этот небесный дар провел за свой счет дорогу — от Баку до мечети.

Несмотря на эту огромную славу и драгоценное преимущество, мечеть Фатьмы показалась нам не очень богатой. Ведь татарки, живущие в Баку и окрестностях, в силу своей плодовитости редко нуждаются в благодати, которую во имя Аллаха дарует внука Магомету.

Мы снова сели в барку и направились к мысу Байкову. Ночь была тихая и чрезвычайно темная. Несмотря на эту тишину, началась небольшая зыбь, предвещавшая близость шторма. Это должно было увеличить красоту зрелища, но мы поспешили убраться, потому что ветер мог появиться скорее, чем его ожидали, и лишить нас всякого зрелища.

Стали отыскивать место, где замечено было кипение воды. Впрочем, его легко найти по запаху нефти.

Вскоре один из матросов сказал г-ну Фрейгангу: «Вот здесь, капитан».

— Ну, хорошо, делай, что надобно, — отвечал капитан, желая доставить нам приятный сюрприз.

Матрос взял в обе руки по пучку пакли, зажег его от фонаря и бросил в море. В ту же самую минуту на пространстве в четверть версты море вокруг нас воспламенилось.

Воображаю, какой страх напал бы на новичка, который, проходя этим местом, зажег сигару бумажкой и, бросив эту бумажку в море, увидел, что море разгорелось, как огромная пуншевая чаша.

Наша барка походила на лодку Харона, переправляющегося через реку ада; море

---

[179] Жуанвиль Жан (1223–1318) — один из первых французских историков, участник Крестовых походов, советник короля Людовика IX.

сделалось настоящим Флегетоном[180]. Мы плавали буквально посреди пламени.

К счастью, это чудно-золотистого цвета пламя походило на пламя спирта, и мы едва чувствовали его приятную теплоту. Успокоившись, мы могли смотреть еще с большим вниманием на это фантастическое зрелище.

Море горело островками, более или менее обширными; некоторые были шириной в круглый стол на двенадцать приборов, другие величиной с тюльерийский бассейн.

Мы плавали в проливах, хотя иногда гребцы, по приказанию капитана, перевозили нас по этим горящим островкам. Это было, конечно, самое любопытное и самое магическое зрелище, какое только можно себе представить, и какого, я думаю, не найдешь нигде, разве только в этом уголке света.

Мы провели бы здесь всю ночь, если б не заметили, что волны и ветер стали постепенно усиливаться. Сначала погасли маленькие острова, потом средние и наконец большие. Только один все еще не угасал.

— Пора, — сказал капитан, — возвращаться в Баку а то, пожалуй, нам придется отыскивать на дне моря причины загадочного явления на его поверхности.

Мы стали удаляться. Вскоре сильный северный ветер увлек наше судно от мечети Фатьмы. Но руки наших гребцов преодолели силу ветра, как он преодолел силу огня, и погасил его.

«Скачи, неси меня, мой ретивый конь, — говорит Марлинский, — на тебе сидит животное, более лютое, чем ты, и которое обуздает тебя».

То же самое можно было сказать и о ветре. Он покорил и погасил даже последний остров огня, который на наших глазах долго боролся с ним, исчезал в жидких равнинах, поднимался на вершины волн, снова исчезал, снова показывался и, наконец, как душа, воспарившая в небо, покинул поверхность моря и исчез в воздухе. Но мы, в свою очередь, укротили ветер. Действительно, как говорит Марлинский, человек есть самое лютое из всех животных, а я добавлю, — самое лютое из всех стихий.

Когда мы приблизились к порту, один из наших матросов зажег факел. По этому сигналу шхуна капитана Фрейганга покрылась иллюминацией. Это было сигналом, к тому же, для всех военных судов стоявших на якоре в Бакинском порту. Они тотчас же осветились, и мы прошли сквозь настоящий лес факелов.

Г-жа Пигулевская поджидала нас с десертом из персидских вареньев.

Нет сомнения, что самый богатый владыка в целом свете, за исключением императора Александра Второго, не в состоянии устроить в своем государстве такой исключительный, необычный вечер, какой был дан нам, простым артистам. Да, действительно, искусство есть царь над императорами и император над царями.

Глава XXIV
Тигры, барсы, шакалы, змеи, фаланги, скорпионы, москиты, саранча

Баку, название которого означает «обитель ветров», напрасно старался бы присоединиться к семье европейских городов: этот город вполне азиатский, преимущественно персидский, судя по его почве, местоположению, строениям, продукции, животным, ревущим в его лесах, гадам, ползающим в его степях, насекомым, живущим под его скалами, атомам, наполняющим его атмосферу.

По поговорке: «всякому барину своя честь», начнем с тигра.

Там, где живет тигр, не видно львов; редко два тирана управляют одним и тем же государством.

Кура, называемая древними Кирус, кажется границей, которую тигр назначил для

---

180 Флегетон (правильнее Пирифлегетон) — в древнегреческой мифологии река в подземном царстве, извергающая огонь.

самого себя.

Редко можно встретить тигра на левом берегу Куры, которая берет свое начало в Ахалцихских горах, проходит через Тифлис, Шемаху, Аксабар, соединяется с Араксом в северном углу Муганской степи и потом, обогнув эту степь, тремя рукавами впадает в Каспийское море, в Кызылагачской бухте. Четвертая ветвь отделяется от Куры в Сальяне, идет на восток и теряется в море.

Тигр, часто попадающийся в Ленкорани и в соседних лесах, переплывает Аракс, появляется в Карабахе, иногда отваживается посещать даже Грузию; но, повторяю, редко переходит через Куру. Однако тигров встречали и на Кавказе; несколько этих зверей были убиты в Аварии шесть лет назад.

Один ленкоранский тигр прославился грабежами. Обычно он находился между Ленкораном и Астарой на дороге, которая тянется по берегу моря и вдоль подножья Гилянских гор.

Однажды, следуя из одного города в другой, какой-то казак увидел зверя, лежащего у дороги; он подошел к нему, не зная, что это было за животное. Зверь поднял голову, заревел и оскалил зубы. Оказалось, что это был тигр.

Казак имел с собой хлеб. Он бросил его тигру, который протянул лапу, придвинул его к себе и стал есть.

Прибыв в Астару, казак предупредил своих товарищей о случившемся и советовал им ходить по ленкоранской дороге не иначе, как с каким-нибудь съестным для хранителя дороги.

На другой день тигр был на том же самом месте.

Армянский купец избавился от гибели только потому, что тигр бросился на его собаку. С тех пор ни один путешественник не ходил ни из Ленкорана в Астару, ни обратно без того чтобы не взять собой, подобно Энею, спускающемуся в ад[181], чего-нибудь съестного для стража дороги.

Сначала запасались хлебом, но скоро хлеб показался тигру пищей явно недостаточной. Каким-то особенным ворчанием он давал понять, что не совсем готов отказаться от хлеба, но при условии, чтобы клали на него сверху еще что-нибудь. Подразумевалось не что иное, как сырое мясо. С тех пор приносили ему кур, индеек, куски мяса, и тигр, как добрый властелин, пропускал путешественника, лишь бы только он в точности платил контрибуцию. Слух об этом дошел до русского правительства.

Начальство, какое бы оно ни было, не может допустить, чтобы какой-нибудь сборщик налогов поселился на большой дороге, не имея в своем кармане соответствующего удостоверения за подписью министра финансов. Тигр забыл снабдить себя нужным документом от кавказского наместника.

Снарядили охотников; тигр сначала не поверил, что против него составлен заговор, но когда полученная в бок пуля заставила его в этом убедиться, он бросился на неблагоразумных, пришедших нарушить его мирные занятия, и загрыз двух охотников. Третий был только ранен и едва унес ноги.

Назначена была еще одна облава, составленная уже не из любителей-охотников, а из целой воинской роты.

Тигр, получив девять пуль, совершил еще прыжок на тринадцать футов вверх, чтобы достать казака который, усевшись на дереве, пустил в него последнюю пулю; чтобы увеличить по возможности расстояние между собой и зверем, казак уцепился за ветку, находившуюся над его головой, и хотел подняться, но когти тигра остановили его, распоров ему брюхо и вырвав половину внутренностей. Тигр сдох, но за это поплатились жизнью пять человек.

---

181 Эней — сын Афродиты, одни из троянских героев. После падения Трои отправился искать новое отечество. Описанию его приключений посвящена поэма римского поэта Вергилия «Энеида».

Четыре года назад некая женщина одним махом сделала то, что с трудом могли сделать сначала двенадцать охотников, а потом целая рота солдат.

Это случилось в деревне Джемчамиран, расположенной в лесу.

Самая малюсенькая русская или обрусевшая деревня располагает баней. Русский, как бы он не был беден, не может обойтись без двух вещей: без чаю два раза в день и без бани раз в неделю.

Муж с женой содержали деревенскую баню на самой окраине села — почти в самом лесу.

В субботу — в день всеобщего омовения — крестьянин и жена его начали разогревать банный котел и колоть дрова на дворе. В это время они заметили тигра, который преспокойно шел в баню тихим шагом существа, уверенного в собственной силе. Он разлегся на верхней полке.

Тигры обожают тепло.

Банщик, вовсе не ожидавший такого посетителя, побежал туда, чтобы согнать его, будто имел дело с кошкой. Он нашел зверя лежащим на сказанном месте и наслаждающимся приятным бездельем. Банщик схватил ведро, наполнил его кипятком и окатил им голову тигра.

Тигры любят теплоту, но не терпят кипятка: всему же есть мера. Зверь бросился на банщика.

К счастью, жена его шла за ним, держа в руке топор, которым она колола дрова. Видя, что тигр бросился на мужа, она инстинктивно хватила зверя топором. Удар пришелся в лоб и раскроил ему череп, словно яблоко. Тигр упал мертвым, опрокинув при падении обоих супругов, но не причинив им никакого вреда, кроме боли от ушиба при падении.

Князь Воронцов — тогдашний наместник на Кавказе — вызвал отважную женщину в Тифлис.

Сначала ее приняла княгиня, которая, притворившись разгневанной, сказала ей:

— Как ты, несчастная, осмелилась убить царского тигра!

— Ах, барыня! — вскричала добрая женщина, перепуганная строгим вопросом княгини. — Ей богу, я не знала, что он был царский.

Княгиня разразилась смехом, успокоившим бедную женщину. Потом вошел князь и окончательно успокоил ее.

Но этим не кончилось: наместник подарил ей тысячу рублей и медаль, которую она носит на груди, как солдат.

Она сама рассказала нам об этом приключении и говорила, что не может прийти в себя от удивления и внимания, которое ей оказали. Она не испытала столько волнения даже тогда, когда стукнула тигра по лбу, а муж выплеснул на тигра ведро кипятка.

Тигры приняли это обстоятельство к сведению и больше не появлялись в русских банях.

Другой тигр в деревне Шанака еще более замечателен своим поступком.

Женщина стирала белье у колодца, вместе с ней был ребенок четырнадцати-пятнадцати месяцев.

У нее кончилось мыло. Она пошла домой за мылом и, считая лишним брать с собой ребенка, оставила его играть на траве у колодца. Доставая мыло, она выглянула из окна, чтобы удостовериться, не случилось ли что с ребенком. Представьте себе ее состояние, когда она увидела, что из леса вышел тигр, пересек дорогу и, приблизившись к ребенку, положил на него свою широкую лапу. Мать остолбенела и побледнела, стала как полотно. Ребенок принял свирепое животное за большую собаку. Он схватил его ручонками за уши и начал играть с ним. Тигр не остался в долгу: будучи веселого нрава, он сам стал заигрывать с дитятей. Эта страшная игра продолжалась минут десять; потом тигр потерял интерес к ребенку, снова перешел через дорогу и исчез в лесу. Мать в беспамятстве бросилась к ребенку и нашла его улыбающимся и без царапинки.

Рассказанные мной три происшествия так же популярны на Кавказе, как история

Андроклова льва в Риме[182].

Барсы находятся в большом количестве на берегах Куры и, особенно, как было уже сказано касаемо тигров, на правом ее берегу. Они живут в тростниках, кустарниках, хворостниках, откуда бросаются на баранов, на диких коз и даже на буйволов, которые приходят утолить жажду. В прежние времена барсов дрессировали, как дрессируют еще и ныне соколов; только вместо охоты за фазанами, с ними охотились за сайгаками: вместо того, чтобы носить на руке, их привязывали к седельной луке.

С уничтожением персидского господства в южной части Грузии и с присоединением разных ханств к России эта охота, — забава ханов — вышла из употребления.

Г-н Чиляев, управляющий тифлисской таможней[183], рассказывал нам, что он еще в детстве был на этой охоте с карабахским ханом. Потом он участвовал в двух или трех охотах на барсов. Как-то охотник, стоявший возле, выстрелил в барса и ранил его; животное кинулось на охотника и, прежде чем он успел сделать второй выстрел, буквально сорвало ему взмахом лапы голову с плеч.

Шакалы водятся в большом изобилии, особенно в деревнях, немного углубленных в горы; там их такое множество, что они мешают спать тем, кто еще не привык к их крику. Хотя это животное безвредно или, лучше сказать, трусливо, крик его несет в себе что-то страшное. Это приводит на память историю, рассказываемую Олеарием[184].

Почтенный немец, посланный голштинским герцогом к персидскому шаху, потерпел кораблекрушение у берегов Дагестана. Секретарь его, собирая травы заблудился в лесу и, опасаясь быть съеденным хищниками, влез на дерево, намереваясь провести там ночь. На следующий день встревоженные спутники, видя, что он долго не возвращается, стали искать и нашли его на дереве. Он совершенно потерял рассудок и больше уже не приходил в себя.

Из его ответов можно было понять только, что причиной его жалкого состояния был страх вызванный шакалами. Он утверждал, что около сотни этих животных собрались под деревом, на котором он сидел и важно беседовали по-немецки — как существа разумные — о своих частных делах.

Что касается змей, весьма частых в окрестностях Баку, то нельзя сделать шагу без того чтобы не наступить ногой на эту гадину или не быть укушенным ею, что гораздо неприятнее, лишь только вступишь в Муганскую степь.

Мой добрый друг, барон Фино, консул в Тифлисе, который проезжал по этой степи с казачьим конвоем, видел змей целыми сотнями; один казак приколол своим копьем змею чудесного золотистого цвета. Наиболее распространены змеи — черные и зеленые.

Граф Зубов в 1800 году, осаждая Сальяны, к отделенный от степи только Курой, решился провести зиму на Мугани. Солдаты, копая землю для палаток, нашли тысячи змей, оцепеневших от холода.

Сама древность подтверждает этот факт. Вот слова Плутарха: «После этого последнего сражения, происходившего у реки Абас, Помпей двинулся вперед, чтобы проникнуть в

---

182 Андрокл — имя римского раба. Бежав от господина, он, блуждая по Ливийской пустыне, увидел хромающего льва. Андрокл извлек занозу из его лапы. Лев выздоровел и привязался к своему спасителю. Андрокла и льва изловили, разлучили, привезли в Рим. Андрокла отдали на растерзание льву. Когда льва выпустили из клетки, он бросился к Андроклу и, вместо того, чтобы сожрать его, стал защищать от других хищников. Андрокла и льва освободили.

183 Управляющим Закавказским карантинно-таможенным округом в период пребывания Дюма в Тифлисе был действительный статский советник И. А. Даспик-Дюкруаси. Его помощником значился статский советник Михаил Егорович Чиляев.

184 Олеарий Адам (1603–1671) — немецкий путешественник. В 1635–39 годах участвовал в посольстве в Персию. В 1646 году опубликовал «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно», переведенное позже на многие европейские языки (русский пер. 1906. СПб).

Ирканию и достигнуть Каспийского моря, но вынужден был оставить свой план и воротиться по причине огромного количества ядовитых и смертоносных змей, найденных им там почти на трехдневном пространстве. Поэтому он возвратился в Малую Армению».

К счастью, укус этих змей, хотя и смертельный, если позволить яду свободно проникнуть в кровь, делается почти безвредным, если облить рану маслом или даже просто натереть ее чем-нибудь жирным. Весной бывает очень странное, необъяснимое явление — целые стада кочующих змей идут из Персии, переплывают Аракс и вторгаются в Мугань. Что их приводит? Ненависть или любовь? Любовь змеи очень похожа на ненависть.

На протяжении одного или двух месяцев по степи раздается свист, похожий на шум Эвмениды, местами возвышаются целые горы золотистого или изумрудного цвета, поминутно приход ящие в движение. Это горы из змей, которые пляшут на холмах нечто типа польки, поражая друг друга своим тройным жалом, — черным у одних, огненного цвета у других. В это время никто не смеет ездить по степи, укус змеи бывает почти неизлечим.

Теперь да позволено мне будет сообщить один факт скептически настроенным читателям.

Некоторые семейства — главным образом княжеские или находящиеся в родстве с грузинскими князьями или ханскими фамилиями Баку, Кубы, Карабаха и пр. — владеют камнем, обладающим свойством волшебного индийского безоара. Этот камень — отцы передавали его своим детям в числе самых драгоценных камней своей сокровищницы — обладает свойством исцелять от укуса змей, ехидн, фаланг, скорпионов. Стоит только приложить его к ране, и он втягивает в себя яд, как магнит железо.

Полковник Давыдов, состоящий в родстве с герцогиней де Граммон во Франции и женившийся в Тифлисе на княжне Орбелиани, владеет таким камнем. Он величиной с яйцо дрозда, ноздреватый, синеватый, безвкусный и почерневший в некоторых местах наподобие поджаренного боба. В случае укуса змеи к полковнику Давыдову приходят за этим камнем и прикладывают его к ране: от этого цвет камня изменяется, делаясь серо-багровым. После процедуры камень погружают в молоко; при этом он выпускает из себя яд и опять принимает обычный цвет.

Я советовал полковнику Давыдову взять с собой этот камень в случае его поездки в Париж и подвергнуть его исследованию ученых.

Что касается меня, то мне не верится, чтобы он был природным. Я скорее считаю его противоядием, искусно приготовленным древними персидскими медиками.

Мы сказали, что упомянутый камень исцеляет не только от жала змей, но и от укусов фаланги и скорпиона. Теперь сообщим некоторые подробности насчет этих двух страшных гадов.

Фаланга, phalangium araneola, весьма распространенный паук в Баку и его окрестностях. Она имеет странную наружность. С первого же взгляда видно, что этот гад, так сказать, плебей, в цепи творения. Туловище фаланги толщиной с большой палец, поддерживается короткими ножками; но несмотря на их малость, она бегает очень быстро. Шея у нее длинная, пасть вооружена клещами, которыми она с невероятной яростью схватывает добычу.

Без сомнения, дурная о ней молва была виновницей ее дурного характера, ибо я не знаю другого животного, более раздражительного. Две фаланги, посаженные вместе в сосуд, бросаются тотчас одна на другую и не перестают драться, пока одна из них не только не убита, но даже и не истерзана в куски. То же самое бывает, если запереть фалангу со скорпионом. Скорпион сопротивляется, но под конец почти всегда делается жертвой.

Скорпион на Кавказе такой же, как и в Европе. Красные скорпионы опаснее желтых, а черные опаснее красных.

Во время нашего пребывания в Баку, — хотя это было в ноябре и, следовательно, погода стояла относительно холодная, можно было всегда найти скорпионов под большими камнями на южной стороне подножья городской стены.

Самое верное предохранительное средство от скорпиона, фаланги и даже от змеи, для

путешественников, вынужденных жить на биваках под открытым небом или в палатке, — это ложиться на баранью шкуру. Дело в том, что баран наиболее жестокий враг этих гадин. Бараны очень охочи до скорпионов и фаланг; они уничтожают всех, сколько бы их ни встретили. Летом перед пасущимися стадами баранов они обращаются в бегство в таком количестве, что трава от них шуршит и колышется.

Есть еще одно насекомое, не только почти такое же опасное, но еще более назойливое и несносное, чем скорпионы, фаланги и змеи, — это комары. На протяжении пяти месяцев — с мая до конца сентября — воздух от Казани до Астрабада переполнен комарами и москитами. Неуловимые для глаз, неосязаемые для рук, летающие с помощью двух вертикальных крыльев, они проникают сквозь самые тонкие ткани, углубляются в самую кожу, причиняют зуд, такой же болезненный, как ожог, и оставляют на теле почти такие же следы, как оспа.

Есть одна персидская деревня, где никогда не останавливаются путешественники; эта деревня называется Меана. Там водятся клопы, укус которых смертелен для иностранцев. Но странно, что местные жители не чувствуют никакой боли от этих насекомых, кроме той, которая бывает от обыкновенного укуса.

Теперь скажем несколько слов о саранче — седьмом и последнем биче Египта. Саранча совершает настоящее нашествие на Грузию и Персию. Среди ясного неба вдруг показывается на горизонте черное облако. Вам кажется, что это гроза. Но облако приближается так скоро, что ни один тифон не двигался так стремительно, даже при сильном порыве. Оно синеватого цвета и состоит из миллиардов саранчи. Везде, где она ни нападает, жатвы как не бывало. На полях не остается ни единого зернышка, в лесах ни одного листочка на деревьях. К счастью, эти тучи саранчи, как бы они густы ни были, скоро исчезают; их преследуют стаи птиц, которых персы и грузины чтят так же, как голландцы аистов, а египтяне ибиса. Этот истребитель саранчи называется по местному тарби и есть paradisea tristis наших музеев.

Наконец, как будто для того, чтобы и животные подвергались таким же бедствиям, как человек, произрастает по всему пространству между двумя морями растение, смертельное для лошадей и называемое понтийской полынью (absinthium ponticum).

Часто табун в пятьдесят, в сто лошадей, попав на луг, где находится это растение, начисто погибает. Генерал Цицианов, о трагической смерти которого мы уже рассказывали, потерял таким образом всех своих артиллерийских лошадей. Овцы и быки едят эту траву без вреда. Кровопускание, кислое молоко и масло служат хорошим, но не всегда действенным средством против этого.

Мы приглашаем туристов, которые бы предприняли подобное нашему путешествие, запастись в Санкт-Петербурге или в Москве персидским порошком. Этот порошок имеет свойство отгонять большую часть насекомых, известных уже нам своими вредными побуждениями. Впрочем, я везу во Францию мешочек этого порошка, который там смогут проанализировать. Мои слабые ботанические познания заставляют меня до сих пор думать, что персидский порошок составляется просто из листиков ромашки.

Глава XXV
Шах-Хусейн

При посещении мечети Фатьмы мы уже упоминали о татарском празднике в Дербенте, Баку и Шемахе по случаю смерти Хусейна — сына Али и той самой Фатьмы, мечеть которой мы посетили. Смерть Хусейна отмечается десятого октября. Случайно нам удалось присутствовать на этом ежегодном празднике.

Не зная языка, я вынужден был по своему разумению толковать виденное мною зрелище или опираться на слова услужливых и непонятно говоривших по-французски соседей.

Что касается Калино, то благодаря недостаточному образованию в русских

университетах[185], он еще менее других имел представление о происходящей драме.

Впрочем, была не была: по крайней мере, при всем своем несовершенстве, мой рассказ покажет читателям, на какой ступени развито драматическое искусство у потомков Чингисхана и Тимурленга.

Знаете ли вы обо всем этом или не знаете, любезные читатели, но хочу начать так, будто не знаете ничего.

Итак мусульманская религия разделяется на две секты — на секту Абу-Бекра и Омара-сунни и секту Али-шии.

Турки большей частью принадлежат к первой, т. е. они сунниты; персы — ко второй: шииты. Из-за этого религиозного различия оба народа ненавидят друг друга так же искренне и глубоко, как в XVI столетии католики и гугеноты.

Шииты отличаются особой нетерпимостью: ненависть их ко всем христианам так велика, что шиит ни за что не сядет за один стол с христианином, даже если бы ему пришлось умереть с голоду, а христианину от жажды, потому что из опасения осквернить свою чашку, шиит никогда не предложит ему воды. Шииты самые настоящие и самые древние правоверные, т. е. наиболее ортодоксальные последователи Магомета. Татары, живущие в Дербенте, Баку и Шемахе, в основном принадлежат к этой любимой ими секте, и они с большим жаром и ревностью отмечают печальную для них годовщину смерти сына Фатьмы.

Скажем несколько слов о Хусейне, чтобы сделать, если возможно, наш рассказ более понятным. Али — двоюродный брат Магомета — женился на его дочери Фатьме и сделался с тех пор не только двоюродным братом, но еще и зятем пророка. У Али было два сына: Хусейн и Хасан. После смерти своего старшего брата Хасана в 669 году Хусейн был признан имамом или законным главой религии. 11 лет жил он в этом звании тихо и мирно. Но вот после смерти Моавия в 680 году жители Куфа призвали его в качестве халифа; он отправился из Мекки в город Куф, неблагоразумно взяв с собой отряд только из ста человек.

Езид же, сын Моавия, справедливо или несправедливо подозревая Хусейна в соучастии в убийстве своего отца, решил отомстить кровью за кровь. Он напал на Хусейна недалеко от Багдада на равнине Кербелы, в месте, именуемом ныне Мешед-Хусейн, или Гробница Хусейна. Вот так без всяких живописных прикрас выглядят факты.

Теперь рассмотрим это событие со всеми добавлениями, которыми наделило его татарское воображение.

За несколько дней до начала представлений, — мы говорим представлений, ибо спектакль продолжается не два дня, как «Монте-Кристо», и не три дня, как «Валленштейн», а десять дней, — на главной улице города строят театр, он располагается таким образом, что улица служит партером, вход в дома — место для оркестра, окна — ложами, а террасы — галереями.

С девяти часов первого дня праздника татарские мальчишки раскладывают большие костры и пляшут вокруг них до одиннадцати часов, крича со всех сил: — Али! Али!

Тем временем мечети украшаются зеркалами, коврами, тканями, шитыми золотом и серебром, которые для этого берутся из самых богатых домов города.

Когда мы прибыли в Дербент, в главной мечети была выставлена лубочная картинка, представляющая Рустама — легендарного основателя Дербента, оспаривающего у Александра Великого честь сооружения городской стены — на поединке с сатаной.

Разумеется Рустам одет по-татарски или почти по-татарски; сатана носит свой обычный классический костюм, с когтями и хвостом и сверх того с кабаньими клыками, которые нам показались местным символом обороны. На палице, которой вооружен сатана, четыре мельничных жернова, и между рогами его — колокол.

---

[185] Совершенно неосновательное обвинение против русских университетов; неужели можно требовать такого знания от человека, получившего общее образование? Можно требовать его, пожалуй, от ориенталиста.
Прим. Н. Г. Берзенова.

Борьба кончается тем, что Рустам одолел сатану, несмотря на колокол, четыре жернова и кабаньи клыки, и принудил его построить город Дербент, который, если верить легенде, есть образец сатанинской архитектуры.

В одиннадцатом часу ночи начинается представление.

Шествие открывают дети, несущие зажженные свечи. Для роли Хусейна избирается самый красивый мужчина, на него надевается великолепный костюм — с богатой атласной накидкой. Он шествует в сопровождении двух своих жен, сына, сестер, родственников и свиты. Вызванный в Куф, он пускается в путь; но узнав о приближении неприятельских войск, останавливается в деревне Банья-сал.

Сцена изображает эту деревню, где почетные лица представляют ему баранов и поздравляют с прибытием. Этот прием нарушается появлением Омара — полководца Езида. Начинается сражение, которое длится десять дней.

Согласно легенде, бой продолжался от восхода солнца до полудня.

Для татар война — самое любимое и самое развлекательное зрелище, поэтому они разыгрывают сражение, в котором каждый старается выказать всю свою ловкость искусного всадника. Зрители наслаждаются этим представлением, так сказать, по капле, растягивают удовольствие, развязка его обычно наступает только на десятый день. Тогда освещение делается ярче прежнего: толпа шумит, как рой пчел.

Плоские кровли домов наполняются зрителями; толпами бегают дети в лохмотьях, за ними следуют группы татар, каждый из которых держит своего соседа левой рукой за пояс, а правой бьет его в грудь кулаком.

Все участники этого спектакля поют арабские стихи, выбранными образованными суфлерами.

В этой суматохе приносят из мечети заранее приготовленную гробницу Хусейна — копию мечети с двумя минаретами, украшенную живописью и позолотой, стоящую иногда до девяти тысяч рублей.

Появляется еще один кортеж. Он представляет модель мечети, в которой Мусселим, двоюродный брат Хусейна, вступает в брак с его дочерью.

В состав каждого кортежа входит лошадь в богатой сбруе, но израненная стрелами и окровавленная. На бедное животное навьючено с одного боку вооружение Хасана, сына Хусейна; с другого — Мусселима, его зятя, которые оба убиты в сражении. Когда кортежи сходятся, удары в грудь делаются чаще и сильнее, и крик превращается в вопль.

Сопровождаемые грохотом ружейных выстрелов, кортежи отправляются вместе в главную мечеть, там на дворе ставят обе гробницы — одну против другой. Затем разворачиваются дикие, страшные, уродливые сцены, такие ужасные, какие трудно себе представить.

Вообразите тысячи беснующихся бритоголовых татар, совершающих странные телодвижения, наносящих удары при свете нефтяных огней, красноватый блеск которых отражается на правильных, но мрачных лицах этих азиатов, на многоцветных материях, на развевающихся флагах, на стенах мечети; где красуется толпа женщин, сидящих на корточках или стоящих под длинными покрывалами, имеющими отверстия только для глаз. Все это резко выделяется на фоне зелени плюща, покрывающего стены, и листьев огромных чинар у балконов.

Галерея, устроенная вокруг двора, блистает зеркалами и люстрами.

Фонтан посреди двора окружен разноцветной толпой людей, которые, жадно черпая воду пригоршнями, стараются утолить мучительную жажду.

Наконец, присоедините ко всему этому меланхолический серп луны, — символ исламизма — показывающийся из-за облаков, сквозь дым нефти, и как будто глядящий с видом удивленным и более обыкновенного бледным и печальным на своих поклонников, смешанных с христианами.

Все это имеет фантастически живописный вид, ни с чем не сравнимый в своей необычности.

Такова общая схема, сюжет этого праздника, частности же его могут быть, например, такими: из непокрытой головы ребенка струится кровь — в знак покаяния отец надрезает ему кожу черепа. Возле ребенка семидесятилетний старик с крашеной бородой, размахивающий кинжалом; далее татарин, покрытый пылью и грязью, кокетливо окропляет себя розовой водой.

Вдруг представление, длившееся десять дней, как одна непрерывная битва, возобновляется с большим оживлением: сражение было только прелюдией.

Хусейн призывает Аллаха в свидетели своей правоты. Напрасно его жены и сын стараются укротить его ярость; он никого не слушает, выхватывает саблю и бросается на Омара. В эту минуту Мусселим, зять Хусейна, падает мертвым. Хусейн взваливает его труп на коня и привозит его женам — их играют переодетые мужчины, — которые принимаются неистово реветь. Вопль их вызывает рыдания из всех рядов зрителей.

Наконец, Хусейн, убив своей рукой 1940 неприятелей, крайне утомляется. Он сам нуждается в отдыхе и спешит напоить водой из целебного фонтана своего сына, страдающего болями в груди. Чахотка юного Хасана, конечно, выдумана татарскими авторами.

Хусейн берет Хасана на руки и пускается верхом во весь опор к фонтану; но не успел он достигнуть цели, как раздается страшный залп из ружей, и Хасан смертельно ранен на руках своего отца. При этом несчастье крики, слезы и рыдания удваиваются, прекращаясь только на минуту — по случаю прибытия нового совершенно незнакомого лица. Это посланец из Медины с письмом. Он пришел справиться о здоровье Хусейна. Минута, как видите, избрана довольно неудачно, а потому Хусейн в ответ показывает ему на трупы несчастных Хасана и Мусселима.

Неожиданно на сцене появляются двенадцать мальчиков с черными лицами, они раздражены жестокостью врагов Хусейна и пришли с предложением своих услуг несчастному отцу. Хусейн — слишком благочестивый магометанин, чтобы якшаться с чертями, — отвечает, что благодаря Магомету он не нуждается ни в чьей помощи, кроме своей правоты и сабли. Едва он произнес этот гордый ответ, как выстрел сваливает его с коня.

Если печаль была велика по случаю смерти сына и зятя, то вообразите, что должно происходить при смерти отца. Сверху, снизу, справа, слева, из центра, со всех сторон раздались неописуемые рыдания, стоны, вопли, и всего любопытнее то, что из всех глаз текут непритворные слезы, трогающие до того, что даже барс спускается с соседних скал и также приходит оплакивать смерть Хусейна.

За ним идут ангелы, облаченные в белую одежду, с большими крыльями и в папахах. Ангелы спускаются по ступеням двух лестниц, чтобы унести на небо душу праведника.

В эту минуту в глубине сцены начинают бурно колыхаться веера из павлиньих перьев. Впрочем, это небесное явление не мешает Омару овладеть богатой атласной мантией мертвеца и увести в плен жен Хусейна.

Вот как заканчивается необыкновенная драма, которая на протяжении десяти дней занимает народ до такой степени, что оставляются все дела.

Мужчины, женщины, дети и старики проводят всю ночь на спектакле и отправляются спать только под утро. Разумеется, в эти десять дней, благодаря кинжальным ударам и выстрелам из ружей образуется порядочное количество убитых в честь Хусейна и его сына. Эти люди считаются мучениками, которые одним прыжком воспаряют с этой жалкой земли в неизреченный рай Магомета.

Глава XXVI
Прощание с Каспийским морем

Нам осталось ознакомиться с двумя местами: одно в самом Баку, другое в его окрестностях. Речь идет о ханском дворце, построенном Шах-Аббасом Вторым, и о Волчьих

воротах.

Ханский дворец — творение арабской архитектуры — лучшей ее эпохи — построен в 1650 году тем самым Аббасом Вторым, который, завоевав Кандагар и после этого приняв с почестями в своем государстве Шардена и Тавернье[186], без которых он был бы у нас совершенно неизвестен, умер тридцати шести лет от роду.

Дворец совершенно заброшен, сохранилась лишь одна передняя с великолепными украшениями и один очень любопытный зал. Он называется залом Суда. В центре зала вырыта подземная темница. Говорят, что ее отверстие — восемнадцать футов в поперечнике — когда-то закрывалось колонной. Если кого-либо приговаривали к смерти и желали, чтобы казнь совершилась втайне, то приговоренного приводили в зал Суда, сдвигали колонну, ставили осужденного на колени и одним взмахом меча сносили ему голову, которая, если палач был искусен, скатывалась прямо в яму. Затем туловище уносили, колонну ставили на прежнее место, и дело с концом. Уверяют, что эта тюрьма соединялась подземным ходом с мечетью Фатьмы.

Что касается Волчьих ворот, то это — странное отверстие в пяти верстах от Баку, образовавшееся в скале и выходящее на долину, имеет большое сходство с одним из уголков Сицилии, опустошенным Этной. Лишь только Этна со своими лавами, расходящимися по всем направлениям, может дать представление об этой грустной картине. Лужи стоячей воды, пропасть между двумя высокими горами без всяких следов растительности — это вид Волчьих ворот…

После маленького путешествия, о котором мы рассказали, мы покидали Баку. Наши экипажи ожидали у ворот дома г-на Пигулевского.

Позавтракав, простились со всеми нашими знакомыми, собравшимися проводить нас, и поехали. Оставляя Баку, мы повернулись спиной к Каспийскому морю, которое я вовсе и не предполагал увидеть, читая описание его в сочинениях Геродота, самого верного из всех древних авторов, говоривших о нем, а также Страбона, Птоломея, Марко Поло, Дженкенсона[187], Шардена и Стрейса.

Мы повернулись спиной к этому морю, о котором во всяком случае я никогда не намеревался сожалеть и с которым, однако, мнежаль было расстаться, ибо море имеет в моих глазах невыразимую прелесть, оно привлекает улыбкой своих волн, прозрачностью голубых вод. Оно часто сердилось на меня, и я видел его во гневе, но тогда-то я и находил его более прекрасным и улыбался ему, как улыбаются любимой женщине, даже когда она в исступлении. Но я никогда не проклинал его; если бы я даже был царем царей, и оно разрушило бы мой флот, то я все равно не решился бы наказывать его. Вот почему я вверялся ему иногда полностью, будучи убежден, что оно мне тоже не изменит.

Не все Далилы обрезают волосы любовнику, засыпающему на их коленях.

Сколько раз между морем и мною была только доска, на которую опирались мои ноги и редко случалось, чтобы я, наклонясь за борт лодки, носившей меня по беспредельному и движущемуся горизонту, не мог ласкать рукой кудрявые вершины его волн.

Сицилия, Калабрия, Африка, острова Эльба, Монте-Кристо, Корсика, Тосканский архипелаг, весь Липариотский архипелаг видели меня пристающим к их берегам на лодках, принимаемых за ладьи моего судна, и когда принимавшие меня, вопросительно озирая пустой горизонт, с удивлением спрашивали: «На каком корабле вы прибыли?», когда я указывал им на мою лодку — слабую морскую птицу, качающуюся на волнах — не было никого, кто бы не сказал мне: «Вы более чем неблагоразумны — вы безумец».

---

186 Тавернье Жан-Батист (1605–1689), французский путешественник, побывал в Закавказье, Персии, Индии, Индонезии и т. д.

187 Английский мореплаватель Антоний Дженкинсон (Дженкенсон) в 1561–63 годах отправился из Москвы в Астрахань и Персию. Подробно описал свое пребывание в Дербенте.

Видно, они не знают, что в природе не существует абсолютной бесчувственности; греческие поэты, воспевавшие все чувственные удовольствия, очень хорошо поняли это, когда заставили нимф похитить Гелу, а Феба каждый вечер спускаться в перламутровый дворец Амфитриды.

В лице Каспийского моря я приобрел нового друга. Мы провели вместе почти целый месяц; мне говорили только о его бурях, а оно показало лишь улыбку. Один только раз в Дербенте, как кокетка, хмурящая брови, оно заволновалось своей широкой грудью и обложило себя пеной, как бахромой; но на другой день оно сделалось еще красивее, приятнее, тише, прозрачнее и чище.

О, море Иркании! Немногие поэты видели тебя: Орфей остановился в Колхиде; Гомер не дошел до тебя; Аполлоний Родосский никогда не переступал Лесбоса; Эсхил приковывает своего Прометея к Кавказу; Вергилий останавливается у входа в Дарданеллы; Гораций бросает свой щит, чтобы бежать, кратчайшим путем возвращается в Рим, воспевая Августа и Мецената; Овидий едва видит в своей ссылке Эвксинский понт; Данте, Ариосто, Тасс, Ронсар, Корнель не имели о тебе понятия, Расин воздвигает алтарь своей Ифигении в Авлиде, а Гимон де ла Тушь своей Ифигении храм в Тавриде; Байрон бросает якорь в Константинополе; Шатобриан черпает из Иордана воду, которая освежит чело последнего наследника Людовика Святого; пилигримство Ламартина оканчивается только на берегах Азии, у подножья креста, но не Христова; Гюго, неподвижный, как скала, уходит в море во время бури, но останавливается на первом обрыве, встречаемом им на пути. Марлинский — первый поэт, который видит и влюбляется в тебя; ты становишься пламенем для него, вышедшего из ледников Байкальского озера; он так же, как и в минуту разлуки с тобой сожалеет и оплакивает тебя; твои берега оказали ему гостеприимство, он любил и страдал на них; он смотрел на тебя с могилы Ольги Нестерцовой глазами, полными слез; подобно мне, расставаясь с тобой, он прощался навеки; он отправлялся умереть, — кто знает, может быть, очиститься — в лесах Адлера, где не отыскался даже его труп.

Ты, море Аттилы, Чингисхана, Тамерлана, Петра Великого и Надир-Шаха, сохранило ли воспоминание о его прощальных речах? Я сейчас перескажу тебе их на языке, который ты редко слышишь. Я перескажу их потому, что он принадлежит поэту, неизвестному у нас[188].

…Подумаешь, что эти страницы написаны Байроном.

Сколько будет зависеть от меня, я постараюсь устранить это забвение, которое, по моему мнению, выглядит почти святотатством.

Глава XXVII[189]
Шемаха

11 ноября русского стиля (нашего 23 ноября) почти в восьми верстах от Баку, обернувшись в экипаже, я окончательно простился с Каспийским морем.

Мы решили проехать в день сто двадцать верст — а по кавказским масштабам это огромное расстояние — и ночевать в Шемахе — этой древней Шумаки.

Проехав полпути, мы встретили офицера, который по приказу шемахинского вице-губернатора (губернатор[190] был в Тифлисе) ехал нам навстречу с конвоем.

---

[188] Далее следует на французском языке полный текст очерка А. А. Бестужева-Марлинского «Прощание с Каспием» (без постраничных примечаний автора) См.: А. А. Бестужев-Марлинский. Сочинения в двух томах, т. 2. М., 1958, с. 172–178 *(Ред).*

[189] В тифлисском двухтомнике 1861 года с этой главы начинался второй том *(М. Б.).*

[190] Шемахинским военным губернатором был генерал майор, князь Константин Давидович Тархан-Моурави.

Уже несколько дней лезгины стали чаще спускаться с гор.

Для нас опять наступили прекрасные дни Хасав-Юрта, Чир-Юрта и Кизляра. Этот офицер, в распоряжении которого были станционные смотрители, заставил их давать нам лошадей, невзирая на ночное время. Без него мы были бы вынуждены прекращать путь в шесть часов вечера; но мы продолжали его и прибыли в Шемаху в полночь. Здесь нас ожидал дом с камином и с зажженными свечами, освещавшими превосходные канапе, отличные ковры и ужин на столе.

После ужина меня отвели в комнату, где уже стоял письменный стол с бумагой, свечами, перьями и острым ножичком. Даже те, которые меня знают двадцать лет, не распорядились бы лучше или, по крайней мере, так кстати.

Три картины украшали эту комнату: «Прощание в Фонтенбло», «Чумные в Яффе», «Сражение при Монтеро»[191]. Я спал не в постели, как у Дондукова-Корсакова и Багратиона, а на прекрасном ковре.

На рассвете следующего дня явился с визитом полицмейстер. Он предложил свои услуги. Я уже прежде знал, что в городе много любопытного и потому просил полицмейстера показать Шемаху.

Мы вышли вместе.

Первое, что поразило, это стадо баранов, пасшихся на крыше. Крыша была покрыта землей, и ее участки, заросшие травой, были похожи на — ни более, ни менее — лужайку в Версале. Бараны щипали траву; как они влезали туда и спускались обратно, я не представляю.

Город разделен на нижний и верхний.

Мало найдется городов, которые бы так страдали, как Шемаха. На протяжении трех месяцев в низменной части царствует жестокая лихорадка, от которой умирают.

Чем выше, тем падает ее заразность.

Прибавим к этому частые землетрясения.

Шемаха никогда не может сказать сегодня, будет ли она существовать завтра. Между лихорадкой и землетрясением та лишь разница, что лихорадка перемежается, а землетрясение почти беспрерывное.

Однако лихорадка и землетрясение не самые главные враги Шемахи: из всех ее бичей человек был ужаснейшим. Шемаха была столицей Ширвана, который слыл некогда богатым ханством, приносившим своему хану несколько миллионов дохода. Она имела сто тысяч жителей вместо нынешних десяти тысяч.

— Слыхал ли ты, — спросил я однажды Эль-Мокрани, арабского вождя, слывшего среди алжирских племен за ученого, — о древних и благородных городах, построенных из бронзы и гранита: о Сузе, Персеполисе, Вавилоне, Мемфисе, Бальбеке и Пальмире?

— Веревка, поддерживающая мою палатку, — заметил он, — всего-навсего только веревка, но и она пережила их: вот все, что я о них знаю.

Невозможно лучше выразить смысл этих слов, заключающих в себе прославление кочевой жизни и осуждение — оседлой.

Вольтер в своей «Истории Петра Великого» — жалком сочинении посредственного автора — уверяет, что Шумаки была древней столицей Мидии и резиденцией того самого Кира, сына Камбила и Манданы, который возвратил Персии независимость, покорил мидийцев, заставил побежденных провозгласить себя государем, разбил Креза в Тимбрее, овладел Сардами и всей Малой Азией, взял Вавилон, отвел Евфрат и сделался столь могущественным после того, как наследовал своему дяде Киаксару, что он и преемники его приняли название «великих государей». Его империя в то время включала в себя Вавилон, Сирию, Мидию, Малую Азию и Персию.

191 Автор этих картин Гро Антуан-Жан (1771–1835) — французский живописец, ученик Давида, официальный живописец Наполеона Первого.

Как умер победитель? Куда исчез этот колосс?

Ксенофонт говорит, что он скончался в глубокой старости на руках своих детей. Геродот же — сын басни и отец истории — рассказывает, что при вторжении в пределы массагетской царицы Томиры и после убийства ее сына, Кир был взят ею в плен, и эта женщина, играя роль древней Немезиды, в отмщенье велела отрубить ему голову и потом сама погрузила ее в вазу, наполненную кровью, говоря: «Насыться, наконец, кровью, ты, который всю жизнь жаждал ее».

Если это действительно было, то имя Кира, даваемое древними Куре, может послужить историческим свидетельством в пользу сочинения Вольтера.

Д'Анвилль [192], больше ученый, чем автор «Философского словаря», более положительный, нежели Геродот, полагает, что Шумака, — мы держимся татарского произношения, — как по своему географическому положению, так и по тождеству названия это древняя Мамашия Птоломея.

Олеарий находился в этой стране с 1635 года в составе того самого знаменитого голштинского посольства, секретарь которого сошел с ума, просидев на дереве всю ночь под вой шакалов. Тогда Шумака была во всем своем блеске; она, как транзитный город, служила пунктом соединения с западом, югом и востоком.

К несчастью, в результате какой-то ссоры русские купцы были перерезаны ее жителями. Это происшествие подало повод к войне между Россией и Персией.

Петр Великий двинулся на Шумаку, взял город, опустошил и превратил его со всеми окрестностями в развалины.

Потом следуют вторжения, театром коих была Персия, междоусобные войны, моровая язва, требующая своего права гражданства в распадающихся империях и разрушающихся городах — из-за всего этого в 1815 или 1816 годах древнее и прежде цветущее население Шумаки состояло только из двадцати пяти — тридцати тысяч человек.

Видя непрерывное ослабление населения, частые землетрясения и жестокую лихорадку, последний хан принудил всех жителей Шумаки бросить остатки города и следовать за ним в крепость Фитай, — род орлиного гнезда, где он надеялся, что ни один из упомянутых врагов не может на него напасть.

Город совершенно опустел; во время посещения его кавалером Гамба в 1817 году, в нем не оказалось ни одного потомка тех ста тысяч жителей, которые видели вступление Петра Первого в Шумаку — их заменили шакалы. Зато Гамба отведал барана, за которого заплатил четыре франка, да и того с трудом привели откуда-то за восемь верст.

В конце 1819 года хан, который с вершины своей скалы Фитая еще беспокоил Россию, был обвинен в интригах против нее и получил от генерала Ермолова приказание отправиться в Тифлис. Считая недостойным своего княжеского звания вступить в объяснения или действительно чувствуя, что совесть его нечиста, хан бежал в Персию, оставив русским свое ханство, свою крепость и своих подданных.

Тогда генерал Ермолов дозволил последним поселиться в покинутом городе. Караван эмигрантов вступил в его стены. Уцелевшие дома были заняты: остальные продолжали спокойно рушиться.

Но если город пострадал от всех этих треволнений, то еще больше пострадали окружавшие его плодоносные равнины, которые по словам очевидца, немца Гюльденштедта [193], были некогда покрыты виноградными садами и шелковичными деревьями. Не осталось дерева, на которое виноградная лоза могла бы опереться и питательные листы которого могли бы кормить драгоценных червей, составляющих ныне

---

[192] Д'Анвиль Жан-Батист Бургильон (1697–1782) — французский географ и путешественник.

[193] Гюльденштедт Иоганн-Антон (1745–1781), российский академик, врач, с 1768 по 1775 год путешествовал по России (три с половиной года по Кавказу).

почти единственное богатство Шемахи.

Мы осмотрели базар: он занимает целую улицу. Там продают прекрасные ковры и шелковые ткани, хотя и первобытного вкуса.

Я забыл сказать, что утром, вступая в верхний город, мы встретили коменданта возле развалившегося фонтана, срисованного Муане. Узнав о нашем прибытии, он шел пригласить нас к себе.

Нас приняли его жена и сестра. Жена молодая и хорошенькая, сестра премилая особа, объясняющаяся очень хорошо по-французски. Не странно ли, в полутора тысячах миль от Парижа жить в доме, украшенном картинами, изображающими Монтеро, Яффу и Фонтенбло, и завтракать в кругу русского семейства, говорящего по-французски?

С нас взяли слово возвратиться к ним на обед, и мы, верные обещанию, явились в три часа.

Потом комендант, г-н Охицинский, превосходный человек, веселый и здоровый шестидесятилетний старик, водил нас по городу.

Во время прогулки по базару богатый шемахинский татарин Махмуд-бек позвал нас на персидский ужин и на вечер с баядерками. Шемахинские баядерки сохранили известность и славу не только в Ширване, но и во всех кавказских провинциях. Давно уже нам говорили об этих прекрасных жрицах отправляющих разом два служения.

— Не забудьте взглянуть на баядерок в Шемахе, — напомнил князь Дондуков-Корсаков.

— Не забудьте взглянуть на баядерок в Шемахе, — продолжил Багратион.

— Не забудьте взглянуть на баядерок в Шемахе, — повторяли в Баку.

Баядерки — остаток владычества ханов. Это придворные танцовщицы. К несчастью, подобно персам, в целой Шемахе остались лишь три баядерки: две женщины и один мальчик. Четвертая — красавица — оставила город после происшествия, наделавшего много шуму в Шемахе.

Ее звали Сона.

В ночь с 1 на 2 марта лезгины пробрались в дом прекрасной Соны с намерением обокрасть ее. Она очень любила свое искусство, поэтому и ночью вместо сна неутомимая танцовщица повторяла любимые па, которыми всегда производила большой фурор. Репетитором был ее двоюродный брат по имени Наджиф Исмаил оглы.

Оба они, несмотря на то, что были крайне заняты хореографией, услыхали громкий шум в соседней комнате. Храбрец Наджиф бросился туда с кинжалом в руке. Сона, услышав крик — один из тех криков, которые испускает душа, покидая тело, бросилась в комнату, споткнулась о труп Наджифа и была схвачена четырьмя лезгинами. Один из них был опасно ранен.

Они отняли все драгоценности и дорогие украшения, сорвали с прекрасной Соны одежду, оставив только рубашку с шароварами. Потом несчастную связали и, заткнув рот, бросили в постель.

На другой день дверь баядерки не отворялась. Соседи тоже слышали возню и крики у милой Соны, но соседи баядерки не обращают на это особого внимания.

В одиннадцать часов утра дверь, остававшаяся запертой, стала их тревожить. Они дали знать полиции: дверь взломали. В первой комнате нашли Наджифа, убитого тремя ударами кинжала, во второй на постели Сону, связанную и с заткнутым ртом.

По отрезанной правой руке Наджифа тотчас узнали, что убийство совершено лезгинами, которые имеют обыкновение отрубать не головы, как это делают чеченцы и черкесы, а только руки, которые удобнее класть в карман. Мы уже говорили об этом обычае лезгин и почти всех племен, живущих на южном склоне Кавказа, как, например, тушин — подданных России и притом христиан.

Пока полиция собирала у Соны показания о происшествии, на улице вдруг раздались крики «Лезгины! Лезгины!» В одно мгновенье татарская милиция была на ногах.

(Эта милиция и лезгины напоминают рассказанную уже историю о собаке и кошке,

изображавших турок и русских, и которых русский офицер в свободное от занятий время натравливал друг на друга, чтобы насладиться их ожесточенной дракой.)

Татары вскочили на коней, схватив ружья, шашки и кинжалы, и пустились, как голодные борзые, преследовать своих смертельных врагов.

Они их обнаружили за версту от города в пещере горы Дашкесан. Лезгин же, тяжело раненный Наджифом, не мог добраться даже до пещеры и тем самым навел татар на следы своих товарищей. Разбойники отчаянно защищались, потом пошли в атаку и отразили нападающих но когда их оттеснили, они вынуждены были бежать в другую пещеру, называемую Кизе-кала в трех верстах от города.

Там началась методичная осада, продолжавшаяся шесть часов; десять или двенадцать милиционеров были убиты и ранены.

Наконец у лезгин кончились патроны, завязался рукопашный бой, и они были взяты. Все ими похищенное было найдено.

Популярность, которую доставило красавице Соне это происшествие, сильно повредила ее репутации. Она имела в городе многих учеников: каждый думал, что он один упражняется с ней. Но двоюродный брат, убитый у нее в столь поздний час ночи, не оставлял никакого сомнения насчет ее особенного к нему расположения, так дорого стоившему бедному Наджифу.

Прелестная Сона, обесславившая себя, вынуждена была оставить город. В одно прекрасное утро дверь ее дома так же долго не отворялась, как и в первый раз: полиция явилась освидетельствовать ее жилище, но в нем не оказалось ни души: никто не знал, что случилось с очаровательной Соной.

Так как после нее труппа оставалась в составе трех женщин, — а это число, особенно в персидских, танцах, считается кабалистическим и священным, — то восхитительная Сона была заменена мальчиком, переодетым в женское платье. Таким образом труппа баядерок была пополнена и, странное дело, эта реформа не только не повредила ее хореографическому искусству, но оживила и сделала его более привлекательным.

Какой смешной народ эти татары!

Вечер был назначен на восемь часов. Между тем, у г-на Охицинского с нас взяли слово, что в каком бы часу не кончился этот вечер, мы возвратимся в крепость, где нас ожидал бал не в персидском духе, а во французском.

Мы явились к Махмуд-беку.

Дом его одно из самых очаровательных персидских зданий, какие я видел от Дербента до Тифлиса, а я видел их много, не считая даже, в этом последнем городе, дома г-на Аршакуни, откупщика Каспийской рыбной ловли, который уже потратил на постройку два миллиона рублей, а дом все еще не завершен.

Мы вошли в залу, полностью убранную в восточном духе. Ее простые, но богатые украшения невозможно описать.

Все гости сидели на атласных подушках с золотыми цветами, покрытых тюлевыми наволочками, что придавало самым ярким краскам чрезвычайную приятность и нежность; в глубине, во всю длину огромного окна, сидели три танцовщицы и пять музыкантов. Понятно, что для местного танца нужна особая музыка.

Внешность одной из баядерок была малопривлекательной; другая же, по-видимому, когда-то славилась красотой, но красота ее могла сравниться лишь с чрезмерной красотой осенних цветов; она очень напоминала мадемуазель Жорж[194], с которой я познакомился в 1826 или 1827 году и которая соблазнила многих коронованных особ. Правда, мадемуазель Жорж много путешествовала, а прекрасная Ниса, напротив, постоянно оставалась в Шемахе.

Ниса была разрисована, как все женщины Востока: брови ее были похожи на два мрачных великолепных свода, под которыми блестели восхитительные глаза. Правильный

---

194 Жорж Маргарита (1786–1867) — знаменитая трагическая актриса.

нос идеально покоился на ротике со сладострастными губками, красными как коралл и скрывавшими маленькие и белые, как жемчуг, зубы. Густые пряди роскошных черных волос выбивались из-под бархатной шапочки. Сотни татарских монет украшали шапочку и ниспадали каскадами по волосам, осыпая плечи и грудь новой Данаи золотым дождем. На ней был шитый золотом жакет из красного бархата, длинное газовое покрывало и атласное белое платье. Ножек не было видно.

Вторая баядерка, уступавшая первой в красоте, уступала ей и в наряде. Третью — заменял мальчик, хорошенький, как девочка.

Музыканты подали знак. Оркестр составлялся из барабана на железных ножках, похожего на исполинское яйцо, разрезанное пополам; из бубна, имеющего сходство с нашим; из флейты, похожей на древнюю тибицину; из мандолины с металлическими струнами, на которых играют пером; наконец, из чонгура на железной ножке, с шейкой, двигавшейся в левой руке музыканта, поэтому чонгур водит струнами по смычку, а не наоборот.

Все это производит бешеный шум, не очень мелодичный, но довольно оригинальный.

Первым встал мальчик с медными кастаньетами и начал танцевать. Он имел большой успех у татар и персов, т. е. у большинства публики.

Затем поднялась вторая баядерка и, наконец, Ниса.

Восточный танец одинаков везде. Я видел его в Алжире, Константине, Тунисе, Триполи, Шумаке. Всюду одно и то же более или менее быстрое топанье ногами, движение колен — качества, которые у прекрасной Нисы показались мне доведенными до совершенства. Я имел нескромность просить, чтобы исполнили «танец пчелы»: но мне заявили, что он исполняется только в небольшом приятельском кругу. Я взял назад свое предложение, которое, впрочем, нисколько не оскорбило Нису.

Балет был прерван ужином. Самое оригинальное кушанье было — плов с цыпленком и гранатами, с сахаром и салом. Несчастье всякой кухни, за исключением французской, состоит в том, что они имеют вид кухни случайной. Одна только французская кухня есть нечто продуманное, научное, гармоничное. Как и всякая гармония, кухня имеет свои общие законы. Лишь варвары не знают и не пользуются нашими музыкальными законами. По моему мнению, самая дикая музыка это калмыцкая. Но самая ужасная кухня — русская, потому что внешне она цивилизованная, а фундамент ее варварский. Русская кухня не только не настраивает в пользу блюд, но маскирует их и обезображивает. Вы думаете, что едите мясо, а оказывается, что это — рыба; вы думаете, что кушаете рыбу, а это каша или крем.

Ученый г-н Греч составил грамматику русского языка, который до Греча не имел грамматики. Я бы желал, чтобы какой-нибудь гастроном, своего рода Греч, составил словарь русской кухни.

После ужина, изобиловавшего разного рода винами (хозяин дома и несколько строгих блюстителей закона Магомета пили только воду), снова начался балет. Впрочем, спешу оговориться, что он не выходил за пределы правил приличия. Я бывал в Париже на маклерских балах, которые по окончании ужина в три часа утра более оживлялись, чем наш бал с баядерками в Шемахе.

Правда, в Париже все пьют вино — даже гурии.

Уже за полночь мы явились к коменданту. Бал был в разгаре, но казался скучным: за исключением двух безбородых кавалеров, девицы танцевали одна с другой. Мы привезли с собой несколько кавалеров и в том числе прекрасного грузинского князя — брата отсутствующего губернатора.

Грузины, по моему мнению, не только первые красавцы на свете, но еще и костюм их восхитителен. Он состоит из остроконечной черной бараньей шапки, верх которой загибается внутрь она имеет форму персидской, но наполовину ниже ее; из чохи до колен, с открытыми и висячими рукавами которые застегиваются у кисти руки, из вышитого золотом атласного бешмета, рукава которого выходят из открытых рукавов чохи: из широких шелковых шароваров, края которых заложены за сапоги a la paulaine, с бархатными и

золотыми узорами, соответствующими костюму.

На нашем князе была чоха гранатового цвета, подбитая светло-голубой тафтой; белый атласный бешмет, обшитый золотым позументом, и шаровары неопределенного цвета. Пояс с золотой чешуей сжимал его стан, кинжал с рукояткой из слоновой кости, оправленной в серебро с золотой насечкой и в ножнах с такой же оправой под чернью, висел на поясе. Прибавьте к этому волосы, брови и глаза, черные как смоль, цвет лица нежный, зубы глазуревые.

Князь рекомендовал нам своего дядю и двоюродного брата, живущих в Нухе. Впрочем, мы были уже им рекомендованы. Дядя — полковник князь Тарханов, нухинский начальник[195], гроза лезгин. Двоюродный брат — князь Иван Тарханов.

Багратион, если припомните, уже говорил о них.

В три часа утра я ускользнул из залы в переднюю, а оттуда на улицу и опрометью, опасаясь преследований, направился в свою казенную квартиру. Уже давно мне не случалось возвращаться с бала в три часа утра и, думаю, что Шемаха в первый раз видела европейца, так запоздавшего.

Глава XXVIII
Шамиль, его жены и дети

Конечно, возвращаясь с такой поспешностью, я не бежал из дома, где так хорошо был принят, и от хозяев, к которым питаю глубокую признательность; но, как предводитель нашей путешествующей группы, я думал о следующем дне.

На другой день, если выехать пораньше, загонять коней и принуждать всевозможными способами ямщиков, можно было прибыть в Нуху ночью.

Человек предполагает — бог располагает.

Едва я вступил в комнату, как начали стучаться ко мне в дверь.

Я вспомнил о лезгинах прекрасной Соны, думая, что только они могли решиться нанести визит в этакую пору. Я схватил кинжал, осмотрел карабин и стал ждать.

Оказалось, что это был наш комендант, который, заметив мое отсутствие, бросился за мной. Он явился упрашивать от имени своей жены и сестры, чтобы я не уезжал, не позавтракав с ними.

Я настаивал на своем желании прибыть в Нуху как можно скорее, но ему удалось отговорить меня обещанием познакомить с офицером, побывавшем в плену у горцев. Этот офицер мог дать подробные сведения — точные и неоспоримые — о Шамиле, которого хорошо знал. Я не мог не уступить такому искушению.

Кроме этого, было еще одно обстоятельство: Махмуд-бек, которому я говорил о моей страсти к соколиной охоте, тайком предупредил губернатора, чтобы он снарядил на следующий день двух лучших сокольников с такими же соколами.

В двадцати верстах от Шемахи было место, богатое фазанами и зайцами; там мы могли поохотиться часа два.

Наш достойный и добрый комендант не знал, что еще придумать, чтобы удержать гостей хотя бы на день. Однако мешало некое обстоятельство. Я ссылался на желание Муане прибыть в Тифлис как можно скорее, хотя, признаюсь, предложение коменданта было мне по сердцу; но он отвечал, что дело с Муане уже улажено.

С тех пор нечего было более возражать. Мы условились позавтракать в девять часов, отправиться в одиннадцать и поохотиться с часу до трех. Затем в этот же день мы могли добраться до Турманчая, где и заночевать.

---

[195] Управляющим уездной и военной частью в Нухе был полковник князь Рамаз Дмитриевич Тархан-Моурави (Тарханов).

Вот почему в девять часов утра мы уже были у коменданта. Там нашли обещанного русского офицера, прекрасно говорившего по-французски; ему лет сорок-сорок пять.

Взятый в плен около Кубы, он был уведен в горы и доставлен к Шамилю. Сначала за него требовали двенадцать тысяч рублей, а потом снизили до семи тысяч. Семейство и друзья офицера собрали три с половиной тысячи рублей, а граф Воронцов — тогдашний кавказский наместник — добавил остальное.

На протяжении пятимесячного плена офицер видел Шамиля почти два раза в неделю.

Вот что он рассказал об имаме.

Шамилю 50–58 лет. Как все мусульмане, которые, за неимением метрических свидетельств, считают свои лета только приблизительно, руководствуясь воспоминанием о важных происшествиях в своей жизни, Шамиль также не ведает своего настоящего возраста. На вид ему можно дать меньше сорока.

Рост высокий, лицо кроткое, спокойное, важное, чаще имеющее меланхолический вид. Впрочем, черты его лица доказывают, что они могут выражать самую сильную энергию. Цвет лица его бледный, резко обозначающий брови и почти черные глаза, которые, по азиатскому обычаю (наподобие отдыхающего льва) он держит полузакрытыми; у него рыжая, лоснящаяся борода, красные губы и правильные маленькие зубы, белые и острые, как у шакала; руки его, о которых, по-видимому, он очень заботится — небольшие и белые; походка медленная, степенная.

С первого взгляда можно угадать в нем человека высшего достоинства, человека, созданного повелевать.

Его обычный костюм составляет черкеска из зеленого или белого лезгинского сукна. На голове он носит папаху из белой, как снег, овчины. Папаха обвита тюрбаном из белой кисеи, конец которой висит сзади. Верхняя половина папахи покрыта красным сукном с черной верхушкой.

На его ногах нечто типа штиблетов из красного или желтого сафьяна. Помимо этого костюма он надевает в холодную погоду шубу малинового сукна, подбитую черными смушками. Торжественно отправляясь в мечеть по пятницам, он облачался в длинное белое или зеленое платье; остальная часть его костюма ничем не примечательна.

Он красиво сидит на коне и смело преодолевает даже наиболее трудные места, способные вызвать у самых отважных всадников головокружение.

Отправляясь на сражение, он вооружается кинжалом, шашкой, двумя заряженными пистолетами и одним заряженным ружьем. При нем постоянно находятся два мюрида — каждый с двумя заряженными пистолетами и одним ружьем; в случае смерти одного из них новый мюрид заступает его место.

Шамиль отличается чрезвычайно высокой нравственностью и строго наказывает других за слабости.

Рассказывают историю, которая подтверждает изложенное выше. Бездетная вдова-татарка и, следовательно, совершенно свободная в своих поступках, жила с лезгином, обещавшим на ней жениться. Она забеременела; Шамиль, узнав об этом, велел отрубить голову обоим. Я видел у кавказского наместника князя Барятинского секиру, использовавшуюся в этой экзекуции и захваченную в плен в последнем походе.

Воздержанность Шамиля в пище доходит до невероятности. Он питается только пшеничным хлебом, молоком, плодами, рисом и чаем, редко ест мясо.

У него три жены. Была еще одна, мать старшего его сына Джемал-Эддина, но по взятии ребенка русскими в аманаты[196], при осаде Ахульго, в 1839 году мать умерла от печали. Она называлась Патимат; после нее остались дети: Хаджи-Магомет, которому теперь около двадцати трех лет; Магомет-Шафи — двадцати пяти лет; Нанизета — одиннадцати лет и дочь, названная по имени матери, Патимат — двенадцати лет.

---

196 Аманат — заложник.

Три другие его жены — Зайде, Шуанета и Аминета (с последней он недавно развелся из-за ее бесплодия).

Зайде — дочь престарелого татарина, который, как говорят, воспитал Шамиля и к которому Шамиль питает особую привязанность. Этот старик называется Джемал-Эддин. Шамиль дал его имя своему любимому сыну.

Зайде двадцать девять лет. После смерти Патимат она сделалась первой женой Шамиля и следовательно, старшей над остальными. Все дети имама и служители повинуются ей, как самому имаму. Она хранит ключи и раздает съестные припасы и платье.

Шамиль имеет от нее двенадцатилетнюю дочь удивительной красоты с чрезвычайно развитым умом, но у нее кривые и безобразные ноги; она называется Наваджат. Имам любит всех своих детей до беспамятства, но к Наваджат он питает более нежную и сострадальческую любовь, нежели ко всем другим. Хотя она бегает как мальчик и скачет на своих кривых ногах с необыкновенной ловкостью, Шамиль носит ее всегда на руках. Наваджат когда-нибудь подожжет аул, потому что она получает особое удовольствие в том, чтобы утащить из очага или из печки пылающую головешку и бегать с ней по балкону.

Когда Зайде бранит ее, Шамиль удерживает мать, говоря: «Оставь ее, бог неразлучен с теми, на которых он запечатлевает какой-нибудь знак, и если эти им отмеченные люди непорочны, то с ними не случается несчастий».

Шуанете, второй жене Шамиля, тридцать шесть лет; она среднего роста, очень миленькая, нос обыкновенными формами; у нее прелестный ротик, прекрасные волосы, белое тело, но руки толстые, а ноги неуклюжие. Она дочь богатого моздокского армянина. Двадцать лет назад Шамиль напал на Моздок похитил Шуанету со всем семейством[197] и привез ее с отцом, матерью, братьями и сестрами в Дарго, где тогда была его резиденция. Потом Дарго был взят и разрушен графом Воронцовым, и Шамиль удалился в Веден (ныне Ведено — *М. Б.*). Армянский купец предлагал за себя и за свое семейство выкуп в сто тысяч рублей.

Шамиль влюбился в Шуанету, которая до того называлась Анной. Он не согласился даже на полмиллиона, но предложил свою руку девушке и свободу ее семейству. Анна со своей стороны вовсе не питала отвращения к имаму и ответила согласием на его предложение. Тогда ей было шестнадцать лет.

Семейство было освобождено.

За два года она изучила Коран, отказалась от армянской религии и сделалась женой Шамиля, давшего ей имя Шуанета. Потеряв отца и мать, она вытребовала часть принадлежавшего ей наследства и отдала его Шамилю.

Шуанета служит ангелом-хранителем пленникам и особенно пленницам Шамиля; знаменитые пленницы — княгини Чавчавадзе и Орбелиани — нашли в ней покровительницу, ей они обязаны всеми утешениями, какие только власть Шуанеты могла доставить в их положении.

Третья жена Шамиля Аминета; ей двадцать пять лет; она бездетна. Это вменяли в вину бедной женщине, более красивой и более молодой, чем две другие; она сделалась объектом их ревности — особенно со стороны Зайде, которая беспрерывно упрекала ее в бесплодии, из злости приписывая его недостатку ее любви к Шамилю.

У нее круглое лицо, большой рот, украшенный настоящими перлами, ямочки на щеках и подбородке типа тех, которые поэт восемнадцатого столетия не преминул бы сравнить с «гнездами любви», — все это придает ее вздернутому носику еще более лукавое выражение.

Родом она татарка и похищена в пятилетнем возрасте; мать, не имея возможности выкупить ее, просила дозволения разделить неволю своего ребенка; эта милость ей была оказана.

---

[197] Это неверно. Шуанета, рожденная Улуханова, была захвачена горцами в плен одна, во время какого-то переезда, в окрестностях Моздока.

Прим. Н. Г. Берзенова.

Гарем имама включает в себя, помимо указанных жен, старуху по имени Бакко, бабушку Джемал-Эддина, которого Шамиль потерял ныне во второй раз, и мать Патимат. Она имеет отдельное помещение, отдельный стол и хозяйство, между тем как другие женщины едят вместе.

Три супруги Шамиля не только не имеют никакого отличия между собой, но ничем даже не отличаются от жен наибов. Лишь им одним позволено тревожить Шамиля, когда он на молитве или на совете со своими мюридами.

Последние приходят со всех концов Кавказа на совещание с имамом, гостят у него, сколько им заблагорассудится, но он не разделяет с ними трапезы.

Само собой разумеется, что гость, кто бы он ни был, не осмелится переступить порог гарема.

Любовь трех жен — это название на Востоке более подходяще, чем название супруги, — к своему господину простирается до крайности, хотя она обнаруживается сообразно различным характерам.

Зайде ревнива, как европейка, никогда не могла привыкнуть к разделению любви, она ненавидит двух своих подруг и сделала бы их несчастными, если бы любовь или, правильнее, правосудие имама не оберегало их.

Что касается Шуанеты, то ее любовь и есть истинная любовь и доходит до беспредельной преданности: когда Шамиль входит, ее глаза воспламеняются; когда он говорит, ее сердце кажется повисшим на его устах; когда она произносит его имя, ее лицо сияет.

Шамиль старше Аминеты лет на тридцать пять, и эта значительная возрастная разница между ними заставила Шамиля любить Аминету не как жену, а как свою дочь: в основном, к ней из-за ее молодости и красоты ревновала Зайде, беспрестанно угрожавшая ей заставить имама развестись с ней из-за бесплодия. Аминета смеялась над этой угрозой, но тем не менее она исполнилась; строгий имам, хотя крайне было больно его сердцу, тревожился, чтобы его любовь к бесплодной женщине не была сочтена за распутство, и несколько месяцев тому назад удалил ее от себя.

Шамиль в точности следовал правилу Магомета, который повелевает всякому доброму мусульманину посещать свою жену по крайней мере раз в неделю. Этот визит обычно происходит вечером. Шамиль дает знать Зайде или Шуанете либо Аминете, что придет в такой-то вечер. Людовик XIV, менее нескромный, довольствовался тем, что втыкал булавку в бархатную, шитую золотом подушечку, которую клали для этого на ночном столике дамы. Следующие за визитом день и ночь Шамиль проводит в молитвах.

Аминета, взятая пяти лет, как мы уже сказали, воспитывалась с детьми Шамиля; разлучившись на восьмом году с Джемал-Эдди-ном, с которым она была в большой дружбе, она подружилась со своим ровесником Хаджи-Магометом. Хаджи-Магомет женился два года тому назад на прелестной девушке, которую он обожает: это дочь Даниэль-бека — племянника его мы встретим в Нухе.

Благородное происхождение заметно в манерах, в походке и даже голосе Карнауты; она любит роскошь, и это вызывает большие упреки со стороны Шамиля, который, то смеясь, то сердясь каждый раз, как только она приходит к нему, бросает в огонь некоторые из ее нарядов.

Когда Хаджи-Магомет приезжает в Веден он живет и спит в комнате отца, а Карнаута переходит к Зайде или к Шуанете; все это время Шамиль не посещает своих жен, не видится со своей и Хаджи-Магомет; это взаимно принимаемая жертва отеческой стыдливости и сыновьего почтения.

Хаджи-Магомет слывет за самого красивого и искусного наездника на всем Кавказе. Может быть, не уступает даже и Шамилю, слава которого в этом отношении неоспорима. Уверяют, что ничего не может быть красивее (я уже упоминал об этом), чем Шамиль, когда он отправляется в поход.

Аул окружен тремя оградами; каждая из них образует оборонительную линию,

имеющую только одни ворота, через которые невозможно проехать всаднику с поднятой головой. Шамиль проезжает через эти ограды галопом, мгновенно наклоняясь перед каждыми воротами, далее он тотчас же выпрямляется, чтобы нагибаться при новом препятствии, и наоборот. Таким образом в одну минуту он оказывается вне Ведена.

Во время приезда Хаджи-Магомета в гости к отцу, для оказания ему чести, созываются все всадники Ведена. Обычно сбор происходит на ближайшей к аулу поляне. Там все упражнения, какие только могла изобрести восточная фантазия, упражнения красивые, ловкие и трудные, исполняются черкесскими, чеченскими и лезгинскими всадниками с таким искусством и ловкостью, что привели бы в изумление и возбудили бы зависть самых искусных наездников наших цирков. Эти праздники продолжаются 2–3 дня; лучшее ружье, дорогая лошадь или богатое седло являются призами для отличившихся в трудных походах. Все призы доставались бы Хаджи-Магомету, если бы он по своей щедрости не предоставлял их сотоварищам, которых он, однако, превосходит. Несмотря на недостаток денег и редкость боевых припасов порох и пули истребляются на этих праздниках в большом количестве. Впрочем, с некоторого времени Шамиль устроил в горах пороховой завод[198].

Когда одна из девушек, принадлежавших к свите жен Шамиля, выходит замуж, это празднуют не только в гареме, но и в ауле. Вся домашняя женская прислуга получает при этом серьги, коралловые четки или браслеты и полностью платье.

Что касается свадебных церемоний, то вот что рассказал нам бывший пленник, находившийся на одном из таких праздников.

На невесту надевают новые шальвары, рубашку, покрывало и красные сафьяновые сапожки на высоких каблуках. Потом начинается угощение. Невеста не принимает в нем участия, а спрятавшись, сидит за толстым ковром. Она, как и жених, постится три дня.

Угощенье происходит на ковре, раскинутом на полу и заключается в шашлыке — других мясных блюд не бывает, — в плове с кишмишом, меде, лепешках, шербете и чистой воде. Хлеб пшеничный, который часто замешивают на молоке.

Мы уже говорили, что такое шашлык и как приготовляется это блюдо — самое лучшее, какое я только нашел во время моего путешествия и которое заслуживает того, чтобы быть присоединенным к числу блюд, уже известных во Франции. Шашлык будет драгоценным нововведением для охотников.

Вернемся к татарской свадьбе. Кушанье берут и едят пальцами — с выкрашенными хной ногтями. Обычай этот существует как в северных, так и в горных азиатских странах. Впрочем многие женщины с невероятной ловкостью едят рис маленькими палочками наподобие китайских.

Угощение начинается в шесть часов вечера. В десять часов подруги невесты принимают подарки жениха состоящие из кувшина, с которым ходят за водой, медной чашки для черпания воды, шерстяного ковра, заменяющего матрац, из чана для воды, маленького красного сундука горской работы с примитивным изображением цветов; если же этот сундук привезен с макарьевской ярмарки[199], то он бывает из лакированного листа железа, желтого или белого цвета, с жестяными обручами, похожими на серебряные.

Обычно к этому еще добавляют покрывало, зеркало, две или три фаянсовые чашки, фуляр, разные виды шелка для шитья и вышивания. Невеста садится на коня, женщины с

---

198 Весь этот рассказ относится, конечно к минувшему времени, когда Шамиль еще не был взят. Известно, что Дюма путешествовал незадолго до этого события, на исходе 1858 года.

Прим. Н. Г. Берзенова.

199 Напротив нижегородского села Лысково, на другом берегу Волги, находится старинное село Макарьево со знаменитым монастырем, возведенным в середине XVII столетия. Вскоре после открытия монастыря в Макарьево стали проводиться ярмарки. В 1816 году пожар уничтожил ярмарочные постройки: ярмарка была перенесена в Нижний Новгород. Дюма посетил Макарьево, когда был в Нижнем Новгороде. (О селе Лыко во повествуется в ст. Б. Андроникашвили «Волжское село». Жури. «Литературная Грузия». № 9. 1982, с. 183–212.)

фонарями освещают процессию и провожают ее в новое жилище; на пороге ее принимает муж.

Невеста оставляет родительский дом только когда получит приданое, составляющее ее полную собственность. Это приданое, если невеста — девушка, состоит из двадцати пяти рублей; если вдова после первого брака, — из двадцати; а если после второго брака, то из шести рублей. Разумеется, в этом случае нет ничего строго окончательного, и цена зависит от богатства и красоты невесты.

Когда речь идет о вдове, то о приданом обычно торгуются.

Шамиль обожает детей, и во все время пребывания у него в плену княгинь Чавчавадзе и Орбелиани он каждое утро собирал маленьких князей и княжон, целый час забавлялся с ними и никогда не отпускал их от себя без каких-нибудь подарков. В свою очередь дети тоже привыкли к Шамилю и плакали, прощаясь с ним.

О Джемал-Эддине наш офицер не мог сообщить никаких сведений. Джемал-Эддин был в то время пленником русских и потому офицер не видел его. Что же касается нас, то мы, будьте уверены, увидим его, когда станем рассказывать о похищении и пленении грузинских княгинь.

Глава XXIX
Дорога из Шемахи в Нуху

Как было условлено накануне, ровно в полдень мы откланялись нашему почтенному коменданту и его семейству. Он снабдил нас конвоем из двадцати человек под командой храбрейшего из его есаулов — Нурмат-Мата. Нурмат-Мат должен был сопровождать нас до Нухи. Лезгины уже начали тревожить мирных обитателей. Рассказывали о похищении скота, об уводе в горы жителей равнин. Нурмат-Мат отвечал за нас головой.

Наше отправление из Шемахи, предшествуемое двумя охотниками с соколами в руках, некоторым образом напоминало обычаи средних веков, которые доставили бы большое удовольствие еще сохранившимся во Франции приверженцам исторической школы 1830 года.

От Шемахи до Оксуса — новой Шумахи — дорога немного походит на шоссе, и потому нельзя сказать, чтобы она была слишком дурна: по обеим сторонам дороги изредка появляется «держи-дерево», т. е. те знаменитые колючие кусты, которым противостоят лишь одни лезгинские сукна.

По дороге из Баку мы не встречали ни одного дерева. На шемахинской же дороге снова показались деревья — даже с листьями. Воздух был теплый, небо чистое, и горизонт прекрасно голубого цвета. За полтора часа мы проехали двадцать верст, которые отделяли нас от условленного места охоты.

Мы узнали его издали. Два татарина ожидали с двумя охотничьими лошадьми и тремя собаками.

Мы слезли с коней, но так как вдоль всей дороги шмыгали по разным направлениям зайцы, то я через кустарники в сопровождении моего татарина пустился пешком их преследовать. Муане присоединился ко мне. Не успели сделать и ста шагов, как мы вдвоем убили по зайцу. Кроме того, я поднял стаю фазанов и следил за ее полетом.

Потом я сел на коня и подозвал к себе людей с соколами и собаками. Я указал им место, где сели фазаны. Мы пустили собак, и сами двинулись вперед. Скоро мы очутились посреди летавших вокруг нас фазанов. Были спущены два сокола.

Не прошел я и двести шагов, как фазан, за которым я наблюдал, очутился в когтях моего сокола. Я успел вырвать у него фазана еще живого. Этот великолепный самец был только слегка ранен в голову. Сокольник вытащил из кожаного мешка кусочек сырого мяса и дал его своему соколу в награду. Хотя бедная птица была ограблена, но тем не менее казалась совершенно довольной и готова была снова начать охоту на тех же условиях.

Муане также был счастлив и возвращался с самцом еще живым, но пострадавшим

больше моего. Ему сразу же свернули шею и бросили в ящик экипажа с двумя убитыми зайцами. Потом, взобравшись на самое высокое место, господствующее над всей равниной, мы остановились там, как две конные статуи, а сокольников послали на поиски. Они поскакали через кустарник с соколами и сворой собак.

Вот взлетел фазан. Сокольник бросил на него свою птицу, но фазан ускользнул. Поднялся другой фазан; второй сокол устремился на него. Фазан летел прямо на нас, как вдруг сокол, которому оставалось сделать крыльями несколько взмахов, чтобы настигнуть добычу, быстро спустился в кустарник, словно ружейный выстрел переломил ему оба крыла.

Я поднял глаза, чтобы отыскать причину этого внезапного падения. Большой орел парил в ста метрах над моей головой. Сокол заметил его и, без сомнения, считая себя несостоятельным перед столь могущественным соперником, поспешил скрыться в кустах. Орел спокойно продолжал свой путь.

Я побежал туда, где упал сокол, и с трудом отыскал его; он спрятался в траве и весь дрожал. Я с трудом вытащил его, но лапы его так сжались, что он не мог держаться на ногах и с ужасом озирался во все стороны. Орел был уже далеко. Сокольник взял его с моей руки и успокоил, но только через полчаса он решился снова преследовать внезапно оставленного им фазана.

Несмотря на это неожиданное приключение, которое в нравственном отношении было даже приятно, в течение двух часов мы поймали трех фазанов.

Нам еще оставалось проехать тридцать верст до Турманчая, где мы намеревались заночевать. Правда, нам еще предстоял подъем на большую гору и спуск с нее. Это следовало успеть сделать днем; поэтому мы прервали охоту, дали несколько рублей сокольничим и простились с ними, унося с собой дневную добычу, обеспечившую нас пищей на остальную часть дороги.

Нам дали новый конвой, но Нурмат-Мат остался с нами. Приняв команду над двадцатью казаками, он двух из них послал вперед, двух оставил позади, а с остальными скакал возле нашего тарантаса. Такого рода предосторожности принимаются всегда, так как дорога не совсем безопасна.

Мы осмотрели наш арсенал, который уменьшился карабином, подаренным Багратиону, и револьвером, отданным князю Хасару Уцмиеву, заряды дробью заменены были пулями, и мы отправились в дорогу. У подъема тарантас замедлил ход. Мы воспользовались этим, чтобы снова переменить заряды, и пустились пешком в сопровождении двух казаков по обеим сторонам дороги. Один фазан и один турач тут же сделались нашей жертвой.

Неожиданный выстрел, раздавшийся с одного неприступного места, и пуля, просвистевшая мимо нас, были сигналом необходимости возвратиться в тарантас и быть бдительнее.

Продолжения этого приключения не было, и мы после часового подъема на гору достигли вершины.

Гора поднималась отвесно; дорога, подобно огромной змее, как бывает в некоторых местах горы Сени, извивалась по крутому скату. Дорога была опасная, хотя и достаточно широкая, чтобы два экипажа могли разъехаться; горизонт был великолепный и занимал нас более чем сама дорога.

Мы спускались между двух кавказских хребтов: правый хребет с лесистым основанием, обнаженным и сухим центром и снежной вершиной; левый более низкий, с лазуревым основанием и золотой вершиной; между обоими хребтами раскинулась обширная долина или более точно — равнина.

Вид был великолепный.

Глядя вниз и измеряя расстояние, отделявшее нас от этой равнины, при каждом повороте дороги, я не мог не почувствовать дрожи, пробегавшей по всем моим жилам.

Что же касается нашего ямщика, то, казалось, в его теле сидел черт; в самом начале спуска он возбуждаемый еще слышанным нашим выстрелом, пустился вниз рысью, так что казаки из арьергарда пропали из виду, сопровождавшие нас остались позади, а авангард был

настигнут нами и даже обогнан. Напрасно мы кричали ему, чтобы он придерживал лошадей, — он даже не отвечал нам а напротив удвоил удары, чтобы заставить их ехать тем же шагом, и даже скорее, если можно. Он, как Нерон управлял своей колесницей, держась середины дороги с математической точностью и, что всего утешительнее, если бы он имел несчастье убить нас одним разом, то, судя по его седалищу, неминуемо должен был бы прикончить себя не менее десятка раз.

Этот бешеный спуск, на который мы употребили бы два часа, был совершен за полчаса. Наконец мы очутились почти наравне с основанием равнины, имея под собой вместо змеистых извилин длинную прямую линию, оканчивавшуюся у первых домов Аксуса.

Вдруг, в ту минуту, когда мы решили, что опасность миновала, ямщик закричал Калино, сидевшему рядом с ним на козлах:

— Возьмите вожжи и правьте: *сил нет, мочи нет* !

Мы не понимали, что хотел сказать ямщик, но видели, что лицо его приняло самое тревожное выражение.

Лошади, вместо того, чтобы идти под тупым углом по прямой линии, продолжали свой бег прямо по направлению к оврагу, склон которого казался совершенно вертикальным.

Калино выхватил вожжи из рук ямщика, но уже было поздно. Все это случилось быстро, можно даже сказать молниеносно.

Ямщику досталось первому; он скользнул или, лучше сказать, провалился и исчез между лошадьми. Калино, напротив, был отброшен в сторону. Тарантас задел за скалу. Этот толчок выбросил Муане из экипажа, но нежно, даже деликатно — на мягкую траву, увлажненную ручейком. Мне же удалось ухватиться обеими руками за ветвь какого-то дерева, и потом я был вытащен из тарантаса, как вынимается клинок из ножен. Ветвь согнулась под моей тяжестью, я повис на фут от земли и наконец упал, когда Муане был уже на ногах.

Калино был выброшен на вспаханную землю, это не причинило ему большого вреда, но его озадачила одна вещь. На нем были мои часы, довольно ценное изделие Рудольфа, так как ему было поручено каждый раз извещать о ходе времени. Из щегольства он вместо того, чтобы прикрепить конец цепочки к пуговице жилета прицепил его к сюртуку. Во время воздушного пируэта гибкая ветвь, задев за цепочку, вырвала часы из кармана и забросила их черт-те куда. На пуговице осталась разорванная цепочка, часы же исчезли.

Двое других так легко не отделались: ямщик оставался под ногами лошадей. Голова и руки у него были окровавлены.

Он объяснил мне свое затруднительное положение.

— Сначала поможем ямщику, — сказал я ему — потом займемся часами.

Муане держал лошадей и распрягал их.

Лошади на Кавказе запрягаются не так, как везде: то, что у нас ремень, то — здесь веревка; то, что у нас пряжка, то — здесь узел.

Я вытащил кинжал и отрубил постромки.

В ту же минуту прибыли казаки. Они издали видели наши прыжки и, не ведая, каким упражнениям мы предавались, бросились на помощь. Мы были очень рады казакам, так как очень в них нуждались. Видя что вытащить человека из-под лошадей невозможно, попытались стащить лошадей с человека, и это удалось. Голова и руки у него были разбиты. Вода из родника и наши карманные платки послужили могучим бальзамом для этих ран, впрочем, не слишком опасных.

Пока я перевязывал раны ямщика, Калино искал часы. Окончив перевязку, я захотел узнать, какая муха укусила ямщика, что он допустил такую оплошность. Я довел свой допрос до того момента, когда он пустил лошадей вскачь и перестал отвечать нам. Он сознался, что голова у него закружилась, что инстинктивно он продолжал править лошадьми, направляя их по середине дороги, или лучше сказать, лошади сами направлялись. Провидению было угодно, чтобы все шло хорошо до подножья горы; но тут он почувствовал, что сила и твердость вдруг изменили ему; вот тогда-то он закричал: «Калино, возьмите вожжи, мочи

нет!»

Объяснение удовлетворяло меня, и нам не оставалось ничего боле, как благодарить бога за свершение чуда. Бог удовольствовался одним этим чудом, которого, впрочем, было достаточно. К великому отчаянию Калино, отыскать часы он не дал нам возможности.

С помощью всех наших казаков тарантас был опять приведен в нормальное положение: он удивительно стойко выдержал катастрофу и готов был совершить второй скачок вдвое выше прежнего. Запрягли лошадей и вытащили тарантас на середину дороги. Мы сели в экипаж, ямщик и Калино снова расположились на козлах, но так, чтобы правил Калино, и мы пустились дальше.

Четверть часа спустя мы были на Аксусе — в новой Шемахе.

Аксус, населенный некогда сорока тысячью жителями, ныне, имеет едва три-четыре тысячи жителей.

Здесь мы только переменили лошадей.

В восемь часов вечера мы прибыли на станцию Турманчай, где в комнате смотрителя я заметил одеяло, на котором была вышита картина Конье, изображающая «Ревекку, похищаемую рыцарем Буа-Гильбером из ордена тамплиеров».

Отсюда мы выехали в семь часов. Чем дальше мы подвигались, тем чаще становилась растительность. Восхитительное солнце обдавало нас нежаркими своими лучами; мы ехали по одной из самых живописнейших дорог, в прекрасный летний день. И это было в ноябре.

В одиннадцать часов мы прибыли на почтовую станцию. Что нам оставалось делать? Ночевать ли и на другой день проехать через Нуху, не останавливаясь? Или ночевать в Нухе и пробыть там день у князя Тарханова.

Я настоял, чтобы ночевать в Нухе и выехать на другой день независимо от того, удастся ли видеть князя Тарханова или нет.

Я велел ямщикам продолжать путь, несмотря на поздний час. Тарантас двинулся быстро, и через четверть часа, после нескольких переправ через реки и ручьи, замечая с обеих сторон мелькающие деревья, дома, мельницы, фабрики, мы очутились между двойным забором и остановились перед строением с угрюмыми окнами и запертой дверью. Это не обещало нам щедрого гостеприимства.

Глава XXX
Казенный дом

Наш ямщик отправился в большой дом, расположенный напротив особняка, который, как он говорил, предназначен для нашего приема, чтобы дать знать о нашем приезде и потребовать ключи.

Я не велел называть мое имя, чтобы не потревожить князя в такой поздний час.

Ямщик возвратился с княжеским нукером, который не спал и был одет, как исправный часовой. На нем был полный костюм с шашкой, кинжалом и пистолетом. Увидя наши ружья, он спросил, заряжены ли они и чем; мы отвечали, что два ружья заряжены крупной дробью, а три — пулями. Этот ответ доставил ему нескрываемое удовольствие.

— *Хорошо, хорошо* , — сказал он, повторяя несколько раз.

Я поклонился в знак согласия, не имея никакой причины противоречить этому доброму человеку, который в ту самую минуту, как мой желудок доложил о себе, спросил меня, не нуждаемся ли мы в чем-нибудь.

Три голоса разом ответили утвердительно.

Нукер вышел, чтобы принести поужинать — мы же тем временем занялись осмотром нашего нового жилища.

Оно состояло из пяти или шести комнат; но не было мебели, кроме трех досок на каких-то двух подставках. Зато оно имело архитектурное украшение, о существовании которого в свое время сообщил мне г-н Дондуков-Корсаков, рассказав историю доктора, по возвращении из госпиталя наносившего визиты нишам и бравшего из каждой по стакану

пуншу. К несчастью, на этот раз ни одна из ниш не была снабжена этим атрибутом.

За неимением стульев мы сели на постель и стали ждать.

Слуга, или точнее нукер (между этими названиями есть большая разница) вошел с блюдами копченой рыбы и мяса, с вином и водкой. Дрожа от стужи, мы начали есть. Тем временем в печку подкладывались дрова, которые, однако, отказывались гореть, потому что были наколоты в тот же день. Но и это препятствие, как и всякое другое, было преодолено.

Неизбежный самовар также кипел и со своей стороны помогал согревать дом.

Словом, эти пустые и безжизненные комнаты постепенно одушевлялись и населялись.

Чай — это горячая жидкость, которую безжалостно глотают в России, — чай, которому, кажется, суждено вводить свою теплоту в окоченелые члены северных народов, придя с востока через пустыни только с этой целью, явно содействовал нашему физическому и нравственному оживлению, и мы то и дело начали произносить: «А! а! э! э!» и тому подобные восклицания, служащие внешним доказательством того, что человек начинает входить в спокойное и радостное расположение духа, оканчивающееся следующей фразой, произнесенной довольным тоном:

— Ах, как хорошо!

Все шло как нельзя лучше; разойдясь по комнатам, мы нашли войлоки на постелях и свечи в нишах, между тем как из печей разливалась приятная и нежная теплота по всему дому. Теперь мы вспомнили, что, едучи в темноте, заметили дома с огромными садами, обсаженные великолепными деревьями улицы, воды, текущие в разных направлениях с приятным шумом, свойственным природным каскадам.

— А ведь Нуха, должно быть, хорошая сторонка? — дерзнул я сказать.

— Да, летом, — отвечал Муане.

Я привык к его ответам. Это было проявление его зябкого характера, — чтобы лучше выразить свою мысль я хочу применить этот эпитет, чисто физический, к предмету чисто нравственному — зябкий характер Муане на все мои похвалы пройденным нами местностям отзывался возражением. Правда, он говорил как пейзажист, и в этой постоянной жалобе, выражаемой им со времени приезда его в Петербург и притом извинительной, — если только она имела нужду в извинении, вследствие трех или четырех приступов лихорадки, — слышалось столько же сожаления, относящегося к недостатку зелени сколько беспокойства, причиняемого ему холодом.

В отношении нас была проявлена максимальная забота, какую только может оказать гостеприимство при посещении, столь неожиданном и позднем, как наш визит.

Нукер вошел в нашу комнату и спросил, довольны ли мы своим положением.

— Совершенно довольны, — отвечал я, — мы здесь как во дворце Махмуд-бека.

— Недостает только баядерки, — ухмыльнулся Муане.

Нукер просил объяснить слова француза. Калино повторил ему их по-русски.

— *Сейчас,* — отвечал нукер и вышел.

Мы не обратили внимания на этот лаконизм, который на русском языке и преимущественно на Кавказе сделался эхом всякого вопроса.

После ухода нукера мы стали готовиться ко сну: Муане и Калино заняли большую комнату, а я самую маленькую. Луна только что начинала подниматься, и лучи ее глянули в мои окна. Вокруг всего дома был большой балкон, и я вышел, чтобы полюбоваться пейзажем. К моему великому удовольствию, первый поразивший меня предмет был часовой, прохаживавшийся под нашими окнами. Он не мог быть поставлен для охраны наших вещей, потому что все они были внесены в дом, — ни для оказания почести моему чину, ибо в Нухе еще никто не видал моей подорожной, в которой, как изволите помнить, значится мое генеральское звание.

Неужели я был арестован и уже нахожусь в плену, не зная даже за что?

Это предположение было менее вероятно, нежели все прочие. Так как это было единственное беспокойство, да и оно не было вероятным, то я вошел в комнату, лег и, погасив свечу, заснул крепким сном. Я спал минут десять или, может быть, с четверть часа,

как вдруг моя дверь растворилась; шум, как бы он легок ни был, тотчас разбудил меня. Я посмотрел в ту сторону, откуда доносился шум, и увидел нукера со свечой в руке и с женщиной под большим татарским покрывалом, глаза которой блистали как два черных алмаза.

— Баядерка! — произнес нукер.

Сначала я решительно не понял, в чем дело.

— Баядерка, — повторил он, — баядерка!

Тут только я вспомнил шутку Муане и лаконичный ответ нукера. Он принял ее за серьезное требование и привел к нам скорее, чем обещало знаменитое «сейчас», единственный предмет, которого нам недоставало, чтобы вообразить себя во дворце Махмуд-бека или в мусульманском раю.

Я не требовал баядерки, значит, не имел никакого права на нее. Я поблагодарил нукера и изо всех сил закричал:

— Кто желает баядерку?

— Я! — отозвался Калино.

— Отворите дверь и бросайтесь в объятья.

Дверь напротив растворилась, а моя затворилась. Я снова повернулся к стене и заснул.

В первом часу ночи я был разбужен криком петуха. Не было б ничего удивительного если бы пение раздалось у самых моих ушей; тогда я мог бы подумать, что петух сидел в нише, к которой прислонялось изголовье моей постели. Или нукер, возымевший идею впустить баядерку в мою комнату, не забыл выпустить из нее петуха, который, видя пустое жилище, водворился в нем, и я уже думал, каким бы образом мне выжить беспокойного соседа; но сколько можно было разглядеть при свете луны, комната была совершенно пуста. Если бы в моей комнате были шкафы вместо ниш, я подумал бы, что тот или другой из моих товарищей возложили на меня поручение запереть петуха в один из шкафов; но и тут предположение было еще невероятнее моего воображаемого ареста.

В эту минуту вновь послышалось пение и повторилось несколько раз все дальше и дальше, пока наконец пропало где-то вдали. Крик был снаружи, но очень близко от моего окна. Не часовой ли выражал таким образом точность, с которой он выполнял обязанность стража? И эти отзывные не были ли ответом сотоварищей его, которые, как дети природы, признавая петуха символом бдительности, выражали свою бдительность петушьим пением? Каждое из предположений казалось мне все менее вероятным.

Я погрузился в грезы. Есть некоторые минуты, некое душевное состояние, когда ничего не представляется в истинном свете; я был в подобном расположении духа. В одну из таких минут я решился вникнуть в вопрос поглубже и, соскочив с постели, в платье, — сон в полном костюме имеет по крайней мере ту выгоду, что не отнимает у движений самопроизвольности, — вышел на балкон.

Часовой, завернувшись в бурку и нахлобучив папаху до подбородка, прислонился к дереву и, казалось, вовсе не был расположен подражать пению петуха. К тому же, это пение послышалось под самым моим изголовьем. Я поднял глаза на дерево, возвышавшееся над домом, и тут сразу же раскрылась вся тайна.

Певец — превосходный бас, спал или, лучше сказать, бодрствовал, усевшись на дерево со всем своим гаремом. Курятники не были еще изобретены в Нухе. Каждый петух выбирает себе одно из деревьев, окружающих дома, располагается там со своими курицами на ночь и спускается оттуда только утром. Уж не читали ли они басню Лафонтена «Лиса и виноград» и поэтому заняли место винограда, чтобы самим стать зелеными?

Нухинские жители привыкли к этому пению, которое разбудило меня, точно так же, как жители предместья Сен-Дени и улицы Сен-Мартен привыкли к шуму экипажей и нисколько на них не реагируют.

Я снова лег, решив подражать последним. Не знаю, приписать ли это моей решительности, но я уже больше не слыхал пения петуха, или, по крайней мере, пение его слышалось мне лишь во сне.

Уже было светло, когда я открыл глаза и от удивления мгновенно поднялся на ноги — поблизости было много воды. Начиная от Москвы, спальные комнаты питают большую антипатию к этой жидкости. Отсутствие воды и борьба, которую я каждый день вынужден был начинать, продолжать и вести до конца, чтобы добыть воды от Москвы до Поти, за исключением нескольких домов, составляли мою главную заботу и приводили меня в большое утомление и постоянное отчаяние. Я несколько раз возвращусь еще к этому предмету, ибо всячески стараюсь предостеречь моих читателей на случай, если придет им охота совершить путешествие, подобное моему, относительно некоторых потребностей нашей цивилизации, совершенно неизвестных в России, за исключением разве больших городов.

В Испании у меня был испанский словарь. Я отыскал в нем слово вертел, который тщетно искал и не нашел на кухнях. Правда, на кухнях я искал вещь, а не слово. У меня не было русского словаря. Но я приглашаю тех, которые имеют счастье владеть им, чтобы они поискали в нем слово лоханка.

Если они даже найдут его, то все-таки это не помешает им в случае путешествия обогатить свою дорожную шкатулку одной лоханкой. Впрочем, я нашел одну у князя Тюменя; лоханка и кувшин были серебряные. Их вытащили из погребца, в котором они были заперты, и поставили со всей тщательностью на мой стол; не было в кувшине только воды.

Вечером, ложась спать, я потребовал ее, но слуги будто не поняли меня. На другой день утром я уже настоятельно потребовал, и один калмык, взяв кувшин, отправился на Волгу за водой. Минут через десять он принес полный кувшин воды, но я употреблял его со всевозможной экономией, чтобы не утруждать этого доброго человека идти еще два или три раза за водой в четыреста или триста шагах от дома.

Да будет вам известно, что в России, за исключением Санкт-Петербурга и Москвы, вода существует только в реках, а некоторые из них, как, например, Кума, пользуются этой привилегией лишь когда тает снег, что, впрочем, не мешает им значиться на картах в звании настоящих рек. И примите еще к сведению, что я говорю почти то же самое и о знаменитой Волге, текущей на пространстве в три тысячи шестьсот верст, имеющей от трех до четырех-пяти верст в ширину и семь — в устье: эта река обманчива, надо измерять ее глубину каждую минуту, нельзя плавать по ней ночью из опасения стать на мель, ни через одно из этих семидесяти двух устьев не могут проходить суда в шестьсот тонн из Астрахани в Каспийское море.

Некоторые русские реки можно сравнить с русской цивилизацией: они широки, но не глубоки. Кто-то сказал, что Турецкая империя есть только фасад. Россия есть только наружность.

Может быть, русские, путая страну с жителями, скажут, что с моей стороны очень неблагодарно так отзываться о стране, которая столь радушно приняла меня. Я отвечу на это, что приняли меня хорошо люди, а не государство. Я обязан русским, а не России.

Необходимо также видеть различия между людьми, которые так хорошо чувствуют истину сказанных нами слов, что для своего образования они отправляются за границу и усваивают иностранный язык, как будто бы недостаточно им своего собственного, для того, чтобы получить образование до уровня риторики и просвещения, которое бы научило их комфорту и чистоте.

Очень мало стоило бы правительству, если бы оно обязало все почтовые станции иметь по два деревянных дивана, один стол, два табурета и одни стенные часы, и вдобавок к этому, кувшин, таз и воду для умывания. Лет через пять или шесть можно было бы ввести в употребление и полотенца; нельзя же требовать всего сразу.

Я должен сказать, отдавая должную дань истине, что стоило только сделать знак нашему нукеру, бывшему уже наготове в шесть часов утра, как и в одиннадцать вечера, чтобы он принес воды в медном кувшине прекрасной формы, но вмещавшем едва четыре или пять стаканов. Для того, чтобы воспользоваться этим кувшином, нужно протянуть руки; слуга льет вам воду на руки и вы трете их под этим импровизированным краном. Если у вас

есть платок, то вы им вытираете руки: нет его — вы оставляете их обсохнуть естественным образом.

Вы меня спросите, как же моют лицо? Простолюдины поступают следующим образом: они набирают воды в рот, выпускают ее в горсти и руками трут себе лицо несколько раз. Об утирании и не думают, это уже дело воздуха. Так поступают простолюдины.

Ну, а порядочные люди? Порядочные люди, обыкновенно проникнутые стыдливостью, запираются, когда заняты своим туалетом, а потому я и не знаю, как они поступают в этом случае.

А иностранцы? Иностранцы дожидаются дождя, и когда идет дождь, они снимают шапки и поднимают носы вверх.

Теперь, как приступить к другому вопросу? А, была не была! Прочь эта напрасная застенчивость в выражениях.

Как сказал Монтень, она в конечном итоге приводит к тому, что путешественник, который хотел бы получить нужные сведения из описания нашего путешествия, беспрестанно бросает книгу в сторону, говоря: «Разве мне нужно знать, под какой широтой я нахожусь? Мне необходимо знать, что под этой широтой я не найду ни таза, ни…».

Ну так вот, несмотря на цитату из Монтеня, я смутился из-за этой напрасной робости. Она не остановила Монтеня, позволяя ему рассказывать, как он сам после того, что велел приготовить себе петлю из золота и шелка, чтобы повеситься, просверлить изумруд для хранения в нем яда, сковать меч с золотой насечкой, чтобы заколоть им себя, вымостить двор мрамором и порфиром, чтобы разбиться об него, — все это на случай победоносного восстания против него, — был застигнут врасплох, не имея при себе ни одного из этих убийственных средств в ватерклозете и вынужден удавиться губкой, которую, — так говорит Монтень, а не я, — римляне употребляют для задней части тела.

Процитировав это выражение Монтеня, я полагаю возможным приступить к одному щекотливому вопросу.

Нет никого из числа моих читателей во Франции, который не имел бы у изголовья своей постели — не только для того, чтобы поставить свечу, отходя ко сну, но еще и с другой целью — пикантный предмет неопределенной формы, округлый в одних случаях, квадратный в других, имеющий вид рабочего столика, или удобоносимой библиотечки из орехового дерева, либо фиолетового, лимонного или дубового дерева, наконец причудливую как в сущности, так и по форме. Не правда ли, любезные читатели, вам знаком этот предмет?

Я не обращаюсь к вам, прекрасные читательницы — разумеется, вы вовсе не нуждаетесь в такой мебели, и если она находится в ваших спальнях, то это уже предмет роскоши. Словом, у вас эта мебель есть не что иное, как футляр, шкаф, иногда даже ларчик, потому что предмет, заключающийся в ней, если он к тому же творение севрских фабрик прежних времен, может быть, очаровательной формы и с богатыми украшениями.

Эта мебель имеет и другую функцию, которая, хотя она и сокрыта, но способствует доставлению вам спокойного сна, благодаря сознанию, что она возле вас, что стоит только протянуть руки и взять ее.

Увы! Этой мебели, содержащей и содержимой, вовсе не существует в России, так же как ватерклозета, с тех пор, как случилось там несчастье с одной очень важной особой: приходится выходить на открытый воздух для совершения астрономическо-метеорологических наблюдений, несмотря ни на время, ни на погоду.

Но надо, однако, отдать полную справедливость московским торговцам скобяных товаров, ибо они в этом нисколько не виноваты. Лавки их содержат целые кучи медных емкостей такой сомнительной формы, что, покупая самовар с одной хорошо знакомой мне дамой, живущей в России уже пятнадцать лет, я просил ее осведомиться у купца, какие это вазы и для чего они предназначаются.

Она обратилась с вопросом на русском языке и начала смеяться, немного покраснев от данного ей купцом ответа. Видя, что она не передает мне его, я спросил: что это за кофейники?

— Не знаю, как вам назвать эти вещи, — отвечала она, — но могу дать вам совет купить одну или, точнее, один из них.

— Разве предмет мужского рода?

— Как нельзя более мужского, любезный друг.

— И вы не можете сказать его название?

— Я могу написать его, с условием, что вы прочтете его без меня. Это sine qua non[200].

— Пусть будет так, пишите.

— Дайте карандаш и листочек из вашего альбома.

Я взял карандаш, оторвал листок из альбома и подал ей. Дама начертала несколько слов, свернула бумажку и возвратила мне. Я спрятал ее между двумя неисписанными страницами альбома. Потом мы делали покупки, бегали из магазина в магазин, и у меня вышла из головы эта бумажка, и, следовательно, я не купил вещи, о которой идет речь. Только месяца через два, в Саратове, раскрыв случайно страницу, где находилась записка, я нашел ее, не зная ее содержания, потому что я совершенно забыл о разговоре в лавке скобяных товаров. Бумажка содержала следующие простые слова: «Это дорожные горшки: не забудьте купить один из них». Увы! Уже было слишком поздно. В Саратове они не продаются. Подобными вещами запасаются в Каире или Александрии, когда предпринимают путешествие по Нилу или отваживаются странствовать по пустыне.

Что бы ни говорили русские, но есть большая дистанция между их цивилизацией и цивилизацией народа который сто лет назад, не желая упустить ни слова из проповедей отца Бурдалу[201], славных в то время и чрезвычайно длинных, изобрел для хождения в церковь предметы, — правда, другой формы, но с назначением подобным тому, какое они изобрели для следования из Москвы в Астрахань.

Я привожу этот курьез для этимологов, которые через пятьсот, тысячу, две тысячи лет будут искать этимологию имен Бурдалу и Рамбюто[202]; примените одно к вазе, другое к будке. Первое будет для них проводником ко второму.

Но мы очень удалились от Нухи — возвратимся же туда. Жалко было бы покинуть этот город, не сказав вам того, что я считаю своей обязанностью сообщить о нем.

Глава XXXI
Князь Тарханов

Пришел нукер, чтобы сообщить: князь Тарханов очень сожалел, что накануне не разбудили его, из-за чего мы вынуждены были ночевать в казенном доме. Ему хотелось, чтобы наши вещи тотчас же были перенесены к нему, а мы все разместились в его доме. Он ждал нас на чай.

Я уже сказал, что дом князя находился как раз напротив казенного дома. Поэтому наше переселение не было ни продолжительно, ни трудно. Впрочем, мы начали с переселения своих личностей, предоставив нукерам и слугам позаботиться о переселении багажа.

Вход в особняк князя очень-очень живописен: высокие ворота, поставленные наискосок, чтобы создать удобства для обороны дома, узкая калитка в воротах, устроенная так, чтобы только один человек мог пройти через проход — все это были меры предосторожности на случай неожиданного нападения. Ворота вели в обширный двор, украшенный гигантскими чинарами: у каждого из этих деревьев стояли по две или по три лошади, готовые к бою. Около двадцати кавалеристов прохаживались взад и вперед между

---

[200] Обязательное условие (лат.).

[201] Бурдалу Луи (1632–1704) — французский иезуит, проповедник.

[202] Граф Клод-Фелибер Рамбюто (1781–1869) — французский государственный и общественный деятель.

лошадьми, имея на себе бурку, остроконечную папаху, кинжал с левого боку и пистолет с правого. Командир этих всадников, мужчина лет сорока, небольшого роста, но крепкого сложения, разговаривал с двенадцатилетним мальчиком в черкесском платье и с кинжалом.

У мальчика был сказочный облик, он олицетворял грузинский тип во всей его чистоте и совершенстве: черные волосы, спереди опущенные до бровей, похожие на волосы Антиноя, брови и ресницы черные, глаза бархатные и сладострастные, великолепные зубы. Увидев меня, он направился прямо ко мне.

— Не вы ли господин Александр Дюма? — произнес он на чистом французском языке.

— Да, — отвечал я, — а не князь ли вы Иван Тарханов?

Я знал его по описанию Багратиона. Он обернулся к командиру всадников и живо что-то проговорил ему по-грузински.

— Могу ли я вас спросить, князь, что вы сообщили этому офицеру?

— Конечно. Я сказал ему, что узнал вас по сделанному мне описанию. Нынешним утром нас известили, что путешественники остановились в казенном доме, и я сказал бабушке: — Я уверен, что это господин Александр Дюма. Нас предупредили о вашем прибытии, но так как вы очень запоздали, то мы боялись, чтобы вы не предпочли елисаветпольскую дорогу.

— Отец, отец! — закричал он пятидесятилетнему мужчине могучего телосложения в вицмундире русского полковника, — Отец, вот господин Александр Дюма!

Тот сделал знак головой и начал спускаться по лестнице балкона, выходящего на двор.

— Позвольте мне обнять молодого хозяина, который так сердечно меня принимает? — сказал я мальчику.

— Разумеется, — отвечал он и бросился мне на шею. — По своей лености я еще не читал ваших произведений, но теперь, познакомившись с вами, я перечитаю все, что вы написали.

Между тем, его отец уже сошел во двор и приближался к нам. Иван побежал к нему навстречу, прыгая и хлопая в ладоши в знак радости.

— Ведь я тебе говорил, отец, что это господин Александр Дюма! Так и вышло, он останется у нас на целую неделю.

Я улыбнулся:

— Мы едем сегодня вечером, князь, или, по крайней мере, завтра утром.

— Нет, сегодня же вечером, если можно, — сказал Муане.

— Прежде всего, мы не позволим вам ехать вечером потому, что мы вовсе не желаем, чтобы вы оба были зарезаны лезгинами. Что касается завтрашнего дня, то посмотрим.

Я приветствовал отца молодого человека. Он обратился ко мне по-русски.

— Мой отец не говорит по-французски, — сказал мальчик, — вашим толмачом буду я. Отец говорит, что он очень рад видеть вас в своем доме. Я же отвечаю за вас, что вы принимаете гостеприимство, которое он вам предлагает. Димитрий говорил, что у вас превосходные ружья. Я большой любитель ружей. Надеюсь, вы их покажете.

— С величайшим удовольствием, милый князь.

— Итак, пожалуйте, — чай вас ожидает.

Он проговорил несколько слов по-грузински своему отцу, который, указав нам дорогу, настаивал, чтобы мы были впереди. Мы дошли до лестницы, по левую и правую сторону которой шла открытая галерея.

— Вот комната для этих господ, — сказал мальчик, — а ваша там наверху. Вещи будут сложены в третьей комнате, так что они не будут вас стеснять. Проходите же, мой отец ни за что не пойдет впереди вас.

Я поднялся по лестнице на балкон. Мальчик побежал вперед, чтобы отворить дверь в залу.

— Теперь, — сказал он, приветствуя нас, — вы у себя дома.

И все это было сказано с милыми оборотами речи, которые я стараюсь сохранить, с

невероятным в ребенке галлицизмом, — ребенке, рожденном за полторы тысячи миль от Парижа, в Персии, в каком-то уголке Ширвана, ребенке, который никогда не оставлял своей родной стороны.

Я был удивлен, и действительно, в своем роде это было чудо.

Мы сели за стол, на котором кипел самовар. Взяв стакан чаю, — кажется, я уже говорил, что в России, а следовательно и во всех ей подвластных странах, мужчины пьют чай из стаканов, и только женщины имеют право пить его из чашек, — взяв стакан чаю, я выразил князю свою благодарность и обратился к нему с некоторыми вежливыми вопросами. Сын переводил отцу слова по мере того, как я их произносил, с удивительной легкостью, как будто всю жизнь свою служил переводчиком. Вдруг я вспомнил о часовом.

— Кстати, — сказал я князю Ивану, — объясните, для чего поставили в эту ночь часового у наших дверей? Не боялись ли, что мы обратимся в бегство!

— Нет, — отвечал смеясь молодой человек (не смею более называть его ребенком), — нет, это для нашей безопасности. Нам дали знать, что лезгины собираются напасть на здешнюю шелковичную фабрику, и добавили…

— Кто дали знать? — прервал я речь юного князя.

— Наши лазутчики. Мы имеем лазутчиков из горцев, так же, как и они имеют их с нашей стороны.

— Что же они добавили? — спросил я.

— Что им приятно было бы похитить и меня. Мой отец сделал им много вреда: собственноручно отрубил у них до тридцати голов. За это пожалован ему перстень. Батюшка, покажи свой перстень господину Дюма.

Последняя фраза была произнесена по-грузински.

Полковник, улыбаясь, встал и вышел. Видно было, что он, старый лев, считал за счастье повиноваться этому молодому голосу и этим свежим губкам.

— Как, неужели эти разбойники хотят похитить вас, милый князь?

— Кажется, да, — отвечал он.

— И из мщения отрезать эту миленькую головку?

Я поцеловал его от всего сердца, невольно задрожав при последней мысли.

— О! Отрезать мне голову? Они не так глупы. Для них лучше хороший выкуп, и они знают, что если бы меня взяли, то мой отец продал бы все до последней пуговицы своего мундира, чтобы выкупить меня. При этом лезгины не режут голов — это обычай чеченцев.

— Что же они делают? Ведь невозможно, чтобы хищники что-нибудь да не резали?

— Они отрезают правую руку.

— Что же они делают с отрезанными руками?

— Прибивают их к своим дверям. У кого на дверях больше таких рук, тот и считается самым уважаемым лицом.

Полковник принес перстень. Эта драгоценность состоит из четырех превосходных алмазов с императорским вензелем посередине.

— Когда я отрежу три головы, — сказал юный князь таким тоном, словно бы говорил: «Когда я сорву три ореха», — отец обещал подарить мне этот перстень.

— Подождите, пока отрубите двадцать две головы, милый князь, тогда само собой получите такой же перстень, каким награжден ваш отец, и в семействе будут два таких перстня.

— О, кто знает! — говорил мальчик так же хладнокровно, как и прежде. — Кто знает, представится ли мне такой случай? Теперь день ото дня становится все тише, и многие аулы уже покорились. Наверное, я удовольствуюсь только тремя головами. Я уверен, что за свою жизнь убью по крайней мере трех лезгин. Да и кто же не убивал столько лезгин?

— Я, например, милый князь.

— Ну, вы не местный житель, это вас не касается. Вот тот, с кем я разговаривал, когда вы вошли во двор, уже дошел до одиннадцати и надеется через три-четыре дня, если только шпионы не солгали ему, дойти до дюжины. За то он имеет Георгиевский крест, какой есть и

у моего отца. Я также со временем буду иметь Георгиевский крест.

И глаза ребенка воспламенились. Наши дети, в возрасте этого князька, которому каждую минуту угрожают разбойники, говорившего о рубке голов, как о самой простой вещи, наши дети еще играют с куклами и убегают под защиту своих матерей, когда возвещают им о каком-нибудь страшилище.

Правда, детям Кавказа прицепляют кинжал сбоку в том возрасте, когда нашим режут куски на тарелках, чтобы не дать им дотрагиваться до ножика.

Я видел сына князя Меликова в белой папахе, которая была длиннее его самого, в безукоризненном черкесском костюме с патронами на груди, наполненными порохом и пулями, и кинжалом острым, как бритва. Ему не было еще и двух лет, а он уже свободно вынимал кинжал, чтобы показать клинок с клеймом знаменитого Муртазада, имя которого ребенок произносил с гордостью. Французская мать упала бы в обморок, видя такое оружие в руках дитяти, которое едва способно произносить «папа» и «мама».

Княгиня же Меликова улыбалась и сама говорила ему:

— Покажи свой кинжал, Георгий.

После этого мудрено ли, что в десять лет дети здесь уже как взрослые.

Вернемся к забытым на время лезгинам. Подробности насчет отрубаемых рук были для меня совершенно новы. Князь сказал, что в Нухе было человек двадцать, у которых недоставало правой руки, как у трех слепых отшельников из «Тысячи и одной ночи» не было правого глаза. Для лезгина левая рука не имеет значения, разве только по несчастью он встретит врага без правой руки.

Как-то раз лезгины спустились в Шильду и напали на дом местного начальника Додаева, помощником у него служил армянин Ефрем Сукиасов. Во время резни, желая спастись, он упал и притворился мертвым. Один лезгин впотьмах наткнулся на его тело и отрубил по ошибке ему левую руку. Армянин, к несчастью, имел, не скажу мужество, но силу перенести эту операцию без малейшего крика. Лезгин, выйдя вон, тотчас заметил свою ошибку, отрубленная им рука служила символом стыда, а не почета. Он воротился и отрезал у несчастного армянина и другую руку. Ефрем Сукиасов пережил эту двойную ампутацию. В настоящее время он служит полицмейстером в Телаве.

К концу этой истории, рассказанной молодым князем, в комнату вошел высокий, худощавый, бледный мужчина. Князь Тарханов принял его ласково, как принимают близкого друга или домашнего человека.

Я вопросительно посмотрел на Ивана; он сразу понял меня.

— Это Мирза-Али, — сказал он, — татарский переводчик при моем отце. Вы любите истории, не правда ли?

— Особенно, когда их рассказываете вы, милый князь.

— Спросите-ка его, почему он дрожит.

Действительно, я заметил, что рука Мирза-Али, когда он протянул ее князю, заметно дрожала.

— Говорит ли он по-французски? — спросил я Ивана.

— Нет.

— Как же вы хотите, чтобы я задал ему этот вопрос?

— Я от вашего имени спрошу его.

— А ответ?

— Не беспокойтесь, я к вашим услугам и тут.

— Соглашаюсь, только при условии.

— Каком?

— Возьмите карандаш и ваш альбом.

— Стало быть, тут целый роман?

— Нет, не роман, а быль. Не правда ли, Мирза-Али?

Татарин обернулся и, посмотрев на ребенка с печальной улыбкой, произнес несколько слов, очевидно с намерением узнать от него смысл слов, сказанных на иностранном языке.

Ребенок объяснил ему мое желание, или, лучше сказать, внушенное им мне желание узнать, почему Мирза-Али дрожал. Татарин повиновался без всяких околичностей, предисловий и прекословия.

Вот что он рассказал.

Генерал Розен блокировал Гимры — родину Шамиля (в начале нашего повествования мы уже рассказывали о блокаде и осаде этого аула). У барона было тридцать шесть тысяч человек, у Кази-Муллы четыреста. Блокада продолжалась три недели, приступ — двенадцать часов. Кази-Мулла и его четыреста человек были убиты. Только один Шамиль спасся чудесным образом. (Мы уже сказали, что с тех пор начинается влияние его на горцев).

Когда осаждали Гимры, Кази-Мулла, который был шутливого нрава, послал спросить генерала Розена, не пропустит ли он его в Мекку, куда он дал обет отправиться на поклонение. Генерал Розен отвечал, что он не может принять на себя разрешение этого вопроса, а советует обратиться к князю Паскевичу, кавказскому наместнику.

На другой день прибыл другой посланец Кази-Муллы, который интересовался, в случае, если ему дозволено будет совершить паломничество, может ли он предпринять его вместе с конвоем.

На третий день — третий посланец. На сей раз Кази-Мулла вопрошал, что если конвой его будет состоять из пятидесяти тысяч человек, то русское правительство примет ли на свой счет расходы по их содержанию.

Генерал Розен, не поняв вначале ни цели, ни тонкости насмешки, видел только, что Кази-Мулла шутил. Он послал к нему своего переводчика Мирзу-Али, чтобы окончательно узнать желание противника. Мирза-Али — мусульманин суннитского толка. Он был приведен к Кази-Мулле и передал ему просьбу генерала Розена. Кази-Мулла, не давая никакого ответа, призвал двух палачей, велел им стать с топорами в руках — одному по правую, а другому по левую сторону Мирзы-Али, раскрыл Коран и прочитал ему статью закона, где сказано, что всякий мусульманин, подымающий оружие против мусульманина, наказывается смертью. Этой-то самой статье и подлежал Мирза-Али, служа христианскому генералу против имама Кази-Муллы.

Мирза-Али начал дрожать, защищая свою несчастную голову всевозможными доказательствами, объясняя, что он — бедный татарин, от которого не зависело служить, кому бы хотелось, а лишь тому, кому назначила судьба. Он попал в руки русских и поневоле служил русским.

Кази-Мулла ничего не отвечал, но без сомнения все эти доводы казались ему не убедительными, ибо он все более хмурил брови, и чем более он их хмурил, тем более увеличивался трепет Мирзы-Али.

Мирза-Али усилил свое красноречие. Его защитительная речь продолжалась четверть часа. Тогда Кази-Мулла нашел показания достаточными и объявил несчастному переводчику, что в этот раз он его прощает, но чтобы он не смел впредь являться к нему. Мирза-Али отделался только страхом, но это был страх такого рода, что дрожание, появившееся при виде грозно нахмуренных бровей кавказского Юпитера, сохранилось в нем до сих пор и, вероятно, останется до самой смерти.

Эта история, видимо, доставляла Ивану большое удовольствие, и он воспользовался представившимся случаем, чтобы возобновить страх и удвоить трепет бедного Мирзы-Али.

Затем были рассказаны еще две истории. Я счел обязанностью вознаградить моего милого переводчика и предложил ему не только осмотреть мои ружья, но и испытать их. Тогда он снова сделался ребенком, кричал от радости, бил в ладоши и первый спустился бегом с лестницы.

Из шести ружей у меня осталось только четыре: одно было подарено, другое выменено. Два были простые двустволки: одна — мастера Зауе из Марселя, другая Иеррен-Лепажа. Остальные два были превосходные ружья Девима. То, которое я пользую уже более тридцати лет, одно из первых, сделанных Девимом по системе Лефоше, а другое — карабин, ни в чем не уступающий тому, который согласно «Охотничьей газете» был сделан для

Жерара, истребителя львов. Меткость карабина удивительна.

Моему юному князю хорошо были известны обыкновенные двуствольные карабины и ружья. Но чего он еще не знал и что привело его в изумление, так это ружье, которое заряжалось казенным винтом. С удивительной сметливостью он немедленно понял механизм коромысла и выделку патронов. Всего любопытнее было то, что он слушал мои объяснения, опершись на большого ручного оленя, который тоже как будто интересовался этим. Огромный черный баран, лежавший в четырех шагах от него, менее любопытный, обращал на наш разговор значительно меньше внимания, довольствуясь иногда поднятием головы и устремленным на нас взглядом.

Опасаясь, чтобы с молодым князем не приключилось какой-нибудь беды, я хотел прежде него испытать ружье с коромыслом. Я велел подставить доску, или, лучше сказать, бревно на противоположном конце двора, вложил пули в оба дула, запер коромысло и, желая видеть одним глазом скачок, который сделают олень и черный баран, я сделал два выстрела разом. К моему великому удивлению, ни олень, ни баран не тронулись с места. Оба уже давно привыкли к ружейным выстрелам, и если бы я постарался еще немного с целью дополнить их военное воспитание, то они, подобно тем зайцам, которых показывают на ярмарках, били бы в барабан и стреляли из пистолета.

Пока я дивился смелости животных, Иван испускал крики радости. Он побежал к бревну: одна из пуль попала в его боковую сторону, а другая прямо в середину.

— Теперь моя очередь, — закричал он.

Тогда я дал ему патроны и предоставил самому зарядить ружья. Он сделал это не только без ошибки, но даже ничуть не колеблясь. Для него достаточно было видеть единожды, чтобы воспроизвести мои движения с пунктуальной точностью.

Зарядив ружье, он хотел иметь точку опоры. Я отсоветовал ему стрелять таким образом, но он не послушался. Жители Азии стреляют хорошо, но почти всегда с этим условием.

Он нашел бочку, оперся на нее, выстрелил, но неудачно. Он покраснел от досады.

— Позвольте выстрелить еще?

— Сделайте одолжение, сколько вам угодно, патроны и ружье в вашем распоряжении: только позвольте мне поставить для вас мишень так чтобы ваш глаз был устремлен на одну точку.

— Это вы советуете, чтобы утешить меня?

— Нет, я говорю потому, что это так и нужно.

— Как же вы попали тогда, не имея точки опоры?

— А очень просто: я смотрел в одну точку.

— Куда же?

— Вот на тот гвоздь, который вы едва замечаете, а я вижу отчетливо.

— И я тоже его вижу.

— Вот и поглядите: сейчас привяжу к этому гвоздю лоскуток бумаги и на этот раз ручаюсь — вы попадете хотя бы в доску.

Он покачал головой, как стрелок, которого первый неудачный опыт сделал недоверчивым. Пока он вытаскивал из дула старые патроны и вкладывал в него новые, я прицепил к доске кружок бумаги величиной в ладонь, потом отошел шагов на десять и сказал ему:

— Стреляйте!

Он снова сел на колени, оперся на бочку, долго целился и выстрелил из первого ствола. Пуля попала прямо в доску, на шесть дюймов ниже бумаги.

— Браво! — закричал я. — Но маленькая неустойчивость в момент выстрела немного отклонила удар от цели.

— Действительно, — сказал он, — на этот раз я буду осторожнее.

Он выстрелил еще — и пуля ударила прямо в бумажку.

— Не говорил ли я вам! — вскричал я.

— Разве я попал в бумажку? — спросил он.

— В самый центр. Посмотрите.

Он бросил ружье и побежал. Я никогда не забуду этой прекрасной детской фигуры принявшей вдруг мужественное и горделивое выражение. Он обернулся к князю, который следил за малейшими деталями этой сцены.

— Отец, — кричал он, — ты можешь взять меня с собой в поход, ведь я теперь умею стрелять из ружья!

— Через три или четыре месяца, милый князь, — сказал я ему, — вы получите из Парижа точно такое же ружье, какое у меня.

Ребенок протянул мне руку.

— Неужели?

— Даю вам честное слово.

— Я уже любил вас прежде, — сказал он мне, — но еще более полюбил вас с той минуты, как познакомился с вами.

И он прыгнул мне на шею.

Милое дитя! Непременно ты получишь ружье, и пусть оно принесет тебе счастье.

Глава XXXII
Нуха: улицы, базар, серебряники, седельщики, ханский дворец

После завтрака я спросил молодого князя, не может ли он показать мне город и, в первую очередь, базар.

Он взглянул на отца, который в знак согласия кивнул ему головой. Между этими двумя созданиями было удивительное взаимопонимание. Заметно было, что они сердечно любили друг друга.

Князь отдал приказание Николаю, — это есаул при молодом князе, — и четыре нукера, кроме Николая, стянули свои пояса, поправили кинжалы, надвинули папахи и приготовились сопровождать нас. Молодой князь, кроме своего кинжала, взял пистолет, осмотрел, хорошо ли он заряжен, и воткнул его за пояс. Человек двенадцать-пятнадцать всадников под командой своего начальника Бадридзе[203], обменялись друг с другом несколькими словами, и Бадридзе заверил князя Тарханова, что сыну его не будет угрожать никакая опасность.

Уже две ночи Бадридзе со своими людьми наблюдал в окрестных нухинских лесах, и ничего не заметил. Да и казалось невероятным, чтобы днем лезгины осмелились решиться на какое-нибудь хищничество в городе, состоящем из двенадцати-четырнадцати тысяч жителей.

Мы вышли. Николай — впереди, в десяти шагах от нас; за ним мы с князем, Муане и Калино, наконец, позади нас, четыре нукера. Таким образом мы были как бы армией, которая не может быть застигнута врасплох, имея авангард и арьергард. Безопасность, которую внушало нам это стратегическое расположение, позволила исследовать город по нашему желанию.

Нуха очаровательная деревня довольно обширных размеров. За исключением центра города и торговых улиц, каждый дом имеет свою ограду, свои великолепные деревья, свои ручьи. Многие из этих источников, бушуя, вырывались из садов на улицу.

Князь жил в загородном доме, потому и вынужден был принимать большие предосторожности.

Мы прошли почти целую версту до главной улицы; эта улица служила руслом речки, покрывавшей песчаную почву на два дюйма. Жители ходили по этой улице по тротуару, устроенному с обеих сторон, но оказавшемуся годным только для диких коз и акробатов; по камням, прыгая через них подобно журавлям, или смело направляя стопы свои по самой

---

[203] В это время участковым заседателем уездного правлении в Шемахе был Христофор Пантелеевич Бадридзе.

воде. Обыкновенные мученики решались на последнее. Люди утонченные выбирали или тротуар, или камни.

Далее речка шла между двумя довольно высокими берегами. Левый берег был занят домами, фундамент которых большей частью омывался водой; правый берег — возвышенный и украшенный лавками бульвар.

Оба берега покрыты деревьями, которые, сплетаясь между собой, представляли навес над бушующей водой. С одного берега на другой переходили по мосткам из штучных досок или из поваленных деревьев, основание которых выходило на один берег, а вершина на другой, у которых одни ветки обрезаны, чтобы не мешать ходьбе, а другие, благодаря корням, остающимся в почве, продолжали зеленеть, несмотря на горизонтальное положение питавшего их ствола.

Утесистые, живописно изрытые горы составляли один из тех отдаленных очаровательных пейзажей, свойственных лишь только природе. Я не видел ничего прелестнее этой картины, которая в более обширных размерах немного напоминала Кизляр.

Наконец, круто повернув налево по склону или, лучше сказать, по недостроенной лестнице, по которой никогда не проезжал экипаж, мы вошли на настоящий базар. Толпились прохожие, любопытные зеваки, покупатели и продавцы.

В этих жалких, но экзотичных восточных лавочках по обеим сторонам улицы помещались, если можно так выразиться, непривилегированные торговцы, лоточники; каждый продавал вещь одного какого-либо рода, но никогда двух родов: одни торговали саблями, кинжалами или пистолетами и кубинскими ружьями; другие — шемахинскими коврами; третьи — шелком-сырцом и в мотках, полученных с гор.

Посреди всех этих продавцов прохаживались лезгины с сукнами домашнего производства. Эти сукна белого, светло-желтого или желтоватого цвета пользуются большим спросом на Кавказе. Они долго не изнашиваются и особенно хороши в борьбе с растениями, иглы которых они срывают со стеблей быстрее, нежели позволят оставить на себе их следы. Штука сукна, из которой можно сделать черкеску и панталоны для человека обыкновенного роста, продается от 6 до 12 рублей, т. е. от 28 до 98 франков, смотря по качеству. Сукна эти непромокаемы и, несмотря на свою гибкость, похожи скорее на трико, нежели на ткань. Вода скользит по ним, никогда не проходя сквозь них. Я купил две штуки этого сукна. Может быть, наши негоцианты, изучив его пряжу, извлекут для себя какую-нибудь пользу.

В отличие от бродячих торговцев, униженно предлагающих свои товары, лавочники, чем бы они ни торговали, важно сидят и ожидают покупателей, нисколько не заботясь о том, чтобы привлечь или удержать их. Каждый из них держится так, будто ни один из этих спесивых торговцев не имеет охоты продавать. — «Вот мой товар, возьмите его, заплатите за него и берите, если он вам нравится; в противном случае проходите мимо, я могу совершенно обойтись без вас, и если я открываю лавку на улице, то это для того, чтобы побыть на воздухе и солнце и спокойно курить свою трубку, разглядывая прохожих». Хотя вслух эти мысли и не высказываются, но они слово в слово написаны на их физиономиях.

На здешних базарах все производится и все продается. Три самых великолепных базара, какие я когда-либо видал — дербентский, бакинский и нухинский; даже тифлисский во многом им уступает. Если я говорю: здесь все делается и все продается, то из этого следует заключить, что все делается и продается сообразно потребностям города персидского, недавно только русского, и который никогда не будет вполне европейским.

Делают и продают ковры, оружие, седла, патронташи, подушки, скатерти, папахи, черкески, обувь всякого рода — от горской туфли до грузинского сапога a la paulaine. Там делают и продают кольца, браслеты, ожерелья в один, два и три ряда татарских монет, головные уборы, которым позавидовали бы наши театральные красавицы и которые соблазнили бы даже прекрасную Нису, булавки, корсажи, из-под которых висят золотые или серебряные фрукты, эмблемы фруктов еще более драгоценных, которые им суждено заключать в себе. И все это блестит, отсвечивается, шевелится, спорит, дерется, вынимает ножи, хлопает плетью, кричит, угрожает, бранится, сложа руки на груди, обнимаясь, живя

между спором и смертью, между пистолетом и кинжалом.

Мы были свидетелями такой сцены: трое или четверо покорных лезгин, из тех, которые приходят продавать свои сукна, остановили одного всадника, схватив коня за узду. Чего они хотели, не знаю; что он им сделал, тоже не ведаю. Он произносил угрозы, те кричали. Он замахнулся плетью и ударил ею по голове одного так, что тот упал: в ту же минуту его лошадь споткнулась, и он исчез в этом вихре, как вдруг откуда-то взялся его нукер и вмешался в дело: от каждого его удара кулаками кто-нибудь падал; тогда всадник приподнялся, снова показался на коне, стал раздаривать удары направо и налево, размахивая страшной нагайкой, как цепом, и когда толпа расступилась, его нукер вскочил сзади на коня, уселся, и оба ускакали, оставив после себя двух или трех окровавленных, почти изувеченных лезгин.

— Кто это и чего хотели от него эти лезгины? — спросил я у молодого князя.

— Не знаю, — отвечал он.

— И вы не желаете узнать причину?

— Зачем? Такое случается каждую минуту. Лезгины обидели его, а он поколотил их. Теперь ему надо быть осторожнее. Лишь только он будет за городом, должен беречься кинжала и ружейных выстрелов.

— А в городе разве они не употребляют в дело оружия?

— О, нет, они хорошо знают, что того, кто бы нанес удар кинжалом или выстрелил из пистолета в Нухе, мой отец велел бы расстрелять.

— Но если один убивает другого ударом нагайки?

— Нагайка другое дело. Она не запрещенное оружие. Тем лучше для того, кому природа дала добрые кулаки: он пользуется ими, и ничего нельзя сказать против этого. Смотрите, вот прекрасные седла; советую вам — если вы намерены приобрести седла, купите здесь: вы их достанете дешевле, чем в других местах.

Я купил два вышитых седла за 24 рубля. Во Франции нельзя иметь их даже за 200 франков, или, вернее, у нас их нельзя достать ни за какую цену.

В это время к нам присоединился один красивый офицер в черкесском платье. Он приветствовал молодого князя. Князь обернулся ко мне и рекомендовал его.

— Мохаммед-хан, — произнес он.

Имя было незнакомо.

Я поклонился.

Молодой офицер носил Георгиевский крест и великолепное оружие. Георгиевский крест всегда служит большой личной рекомендацией для его обладателя.

— Скажите, князь, кто это Мохаммед-хан? — спросил я Ивана.

Он обратился к Мохаммед-хану, и из разговора я понял, что речь шла о моем оружии; потом он воротился ко мне, а Мохаммед-хан шел позади нас.

— Не правда ли, князь, речь шла о моих ружьях?

— Да, ему знаком оружейник, который делал их, у нас он известен под именем Керима. Вы позволите ему осмотреть их?

— С большим удовольствием.

— Теперь я расскажу вам о Мохаммед-хане. Прежде всего, он внук последнего нухинского хана. Если бы город и провинция не принадлежали русским, они находились бы в его владении. Он получает пенсию и заслужил чин майора. Он племянник известного Даниэль-бека.

— Как! Любимого шамилева наиба, тестя Хаджи-Магомета?

— Так точно.

— Выходит, дядя служит Шамилю, а племянник русским?

— Всему этому виной нелепое недоразумение. Даниэль-бек был на службе у русских, как хан Элису. Генерал Шварц[204], командовавший лезгинской линией, обошелся с ним, по

[204] Генерал-лейтенант Григорий Ефимович Шварц — начальник Джаро-Белоканского военного округа.

видимому, несколько сурово. Даниэль-бек пожаловался на него, и не исключено, что и угрожал генералу. Вы, конечно, отдаете себе отчет, что в таких случаях всегда бывает трудно остановиться и проявить благоразумие. Ну, так вот. У Даниэль-бека служил секретарь — армянин. Он донес генералу Шварцу, что его хозяин намерен перейти к Шамилю. Письмо не попало к адресату, а было доставлено Даниэль-беку. Тот убил секретаря ударом кинжала, вскочил на коня и действительно перешел к Шамилю. Это произошло в 1845 году. Если верить ему, то он вынужден был изменить России. Находясь в Тифлисе, он попросил отпуск, чтобы отправиться в Санкт-Петербург и получить аудиенцию у государя императора. Ему дали конвой, но вовсе не для того, чтобы оказать ему честь, а чтобы за ним следить. Он и перешел к Шамилю. В 1852 году сделал попытку вернуться к нам, и с этой целью приехал в Гарнау-Магалли. Через посредничество барона Врангеля он передал свою просьбу князю Воронцову принять его вновь на русскую службу, поставив единственным условием, разрешение остаться в Магалли. Власти захотели даже вернуть ему прежний чин, если только он будет постоянно проживать в Тифлисе или Карабахе. Ведь Магалли совсем рядом с расположением войск Шамиля, и Даниэль-бек мог иметь с ним контакты. Даниэль-бек отказался от условий, предложенных князем Воронцовым, и вернулся к Шамилю. С тех пор он один из шамилевых наибов и причинил нам слишком много зла.

— Случалось ли дяде и племяннику встречаться в битвах один против другого?

— Такое бывало дважды.

— Что же они делали в таком случае?

— Они обменивались приветствием, после чего каждый исполнял свой долг[205].

Участливо смотрел я на прекрасного молодого человека 28 или 30 лет, напоминавшего мне «Аммалат-бека» Марлинского, за исключением, разумеется, его преступления.

Он появился на свет во дворце, который мы шли осматривать; во власти русских дворец только с 1827 года.

Я предложил молодому князю, из опасения пробудить в Мохаммед-хане печальные воспоминания, до поры отложить посещение. Он сообщил это Мохаммед-хану. Поклонившись, тот сказал:

— Я стал бывать в этом дворце после приезда сюда великих князей.

И он продолжал рассказ о своих странствиях.

Ханский дворец, как обыкновенно все такого рода постройки, расположен на самом возвышенном месте города. Он новейшей архитектуры и построен в 1792 году Мохаммед-Гасан-ханом. Династия, к которой этот хан принадлежал, зародилась в 1710 году. Самый замечательный человек из всей династии был ее основатель — Хаджи-Джелаби-хан. Он правил в 1735–1740 годах и несколько раз сражался с Надир-ханом, побеждая его во всех битвах. Он полностью покорил Ширван, дошел до Тавриза, взял его, оставил там своего наместника и распространил свое владычество до самого Тифлиса.

Когда два брата, грузинские царевичи Александр и Георгий, оспаривали друг у друга в 1798 году корону своего царственного отца Ираклия, тогда еще живого, Александр проиграл и удалился в Нуху.

Мохаммед-Гасан-хан заключил его в крепость, где Гасан-хан, несмотря на то, что был фанатичным мусульманином, позволил ему иметь греческого священника для религиозных отправлений. Эта терпимость заставила татар заподозрить, что хан намерен заделаться христианином. Они восстали против него, и Александр вынужден был бежать в Персию.

В 1825 году он возвратился Гасан-хан, племянник Мохаммед-хана, верный семейным

---

[205] Дюма описывает эту историю так, как она излагается в двенадцатом томе «Актов Кавказской археографической комиссии» (Тифлис, 1904, с. V) Из этого источника следует, что 7 августа 1857 года Даниэль-бек, изменив Шамилю, вернулся под покровительство Российской империи, ему возвратили генеральский чин, ордена, назначили большую пенсию. Даниэль-бек возлагал надежды на возвращение ему родового султанства Элису, но не получил его и в 1869 году уехал в Турцию, где его следы затерялись.

преданиям, принял его к себе. Он признал его царем Грузии, хотя Грузия уже больше двадцати лет как вошла в состав Российской империи. В 1826 году победы русских над персами вынудили хана и князя, которому он покровительствовал, бежать в Эривань — тогда еще персидский город. Александр умер там в 1827 году, а в 1828 году русские заняли Нуху и с тех пор уже не оставляли ее.

Дворец очаровательной постройки. Только кисть может изобразить это строение с его чудесными арабесками. Интерьер восстановлен по древним рисункам к приезду великих князей, которые в нем останавливались. Правда, восстановлено не все здание, а лишь нижние жилые помещения.

Вот так все и делается в России: никогда начатое дело не доводится до конца, не простирается за пределы абсолютной необходимости конкретного момента. Когда же нужда миновала, начатое дело бросается на пол пути, на произвол судьбы вместо того, чтобы поддержать, довести до конца, пополнить, продолжить, завершить. Россия является неуправляемой стихией, она вторгается, чтобы уничтожать. В ее современных завоеваниях есть отголоски варварства скифов, гуннов и татар. Нельзя понять — тем более при современном уровне цивилизации и культуры — эту одновременную и равную потребность в захвате чужого и беспечность в сохранении и улучшении собственного.

В один прекрасный день Россия покорит Константинополь — это неизбежно. Белая раса всегда была склонна к постоянному завоеванию — у темнокожих это стремление является кратковременным импульсом, случайной реакцией. Захватив Константинополь, Россия развалится не как Римская империя на множество частей, а на четыре части, на четыре территории.

Северная империя останется подлинной российской государственностью.

На западе сформируется Польша со столицей в Варшаве.

Южная часть со столицей в Тифлисе включит в себя Кавказ, а восточная империя вместит в себя западную и восточную Сибирь.

Если позволительно было бы продолжить наши фантазии на сей счет, то можно предположить, что подлинный российский трон сохранится за тем императором, который в момент распада России будет владеть Санкт-Петербургом и Москвой. Главой Польши станет тот, кого будет поддерживать Франция. Какой-то лейтенант, имя которого невозможно сейчас предугадать, устроит в армии мятеж и, пользуясь своим авторитетом, захватит власть в Тифлисе. И, наконец, никому не ведомый изгнанник, гениальный человек, установит федеративную республику от Курска до Тобольска.

Немыслимо, чтобы государство, охватывающее в наши дни седьмую часть территории планеты, долго оставалось в одних руках. Если руки будут слишком тверды и жестки, то против них когда-нибудь начнется война, и они будут разбиты. Если же руки будут слишком слабы, то они упустят власть сами. И в том, и в другом случае Россия вынуждена будет отдать то, чем она сейчас владеет.

Вот пример куда меньшего масштаба: король Вильгельм вынужден был дать ускользнуть Бельгии из своих рук, а ведь его девизом всегда было — «Я сохраню».

А пока пусть бог хранит от вандалов очаровательный ханский дворец в Нухе.

Мы возвратились через базар. Нет другой дороги для сообщения города с дворцом и наоборот. Есть одна улица, по которой надо идти, или обойти кругом города.

Мохаммед-хан сопровождал нас до квартиры князя Тарханова. То, что сказано было ему князем Иваном о моих ружьях, как видно, постоянно вертелось у него на языке, и как только мы прибыли, это был первый вопрос, который он задал.

Принесли ружья, и они снова превратились в предмет долгого и любопытного исследования. Чтобы дать представление князю о нашей стрельбе на лету, я взял ружье, бросил в воздух копейку и, выстрелив, попал в нее несколькими дробинами. Думая, что я попал случайно, меня просили повторить выстрел. В этот раз я взял две монеты, бросил их вместе на воздух и сделал по ним два выстрела. Бедный ребенок был просто изумлен. Он

был готов верить, что мое ружье было заколдовано, как клинок Астольфа[206], и что успех зависел более от ружья, чем от стрелка.

Он беспрестанно повторял:

— У меня будет такое же ружье, как это? У меня будет ружье, подобное вашему?..

— Да, милый князь, — отвечал я ему, улыбаясь, будьте покойны.

Это ободрило Мохаммед-хана. Он отвел молодого князя в сторону и сказал ему несколько слов на ухо. Иван возвратился ко мне.

— Мохаммед-хан, — произнес он, — очень желал бы иметь пару револьверов, но только Девима. Он спрашивает, каким способом можно приобрести их.

— Очень просто, милый князь! Мохаммед-хану стоит только сказать, что он желает их, и я тотчас их ему вышлю.

Мой ответ был немедленно передан Мохаммед-хану, он подошел ко мне и осведомился, сколько может стоить пара револьверов Девима. Я просил его не беспокоиться и заверил, что он получит револьверы, а в свою очередь, взамен французского оружия пусть пришлет мне какое-нибудь кавказское. Он поклонился в знак согласия и, отстегнув свою шашку и вытащив пистолет, протянул их мне, извиняясь, что не может присоединить к ним кинжала, который дан ему такой особой, которой он обещал хранить его постоянно.

Обмен был столь выгоден для меня, что я смутился, не решаясь принять его, однако Иван сказал, что своим отказом я разгневаю Мохаммед-хана. Тогда поклонился и я, взял шашку и пистолет.

И то и другое воплощение вкуса и изящества. Но шашка пользовалась особенной известностью, и так как с этой минуты и до прибытия в Тифлис я постоянно носил ее, она обращала на себя внимание татарских офицеров всюду, где бы я не встречал их. Когда у сабли такая известность, это служит отличной рекомендацией хозяину.

Дюрандаль был известен потому, что служил шпагою Роланду, и наоборот.

Глава XXXIII
Удийцы. Бой барабанов, пляска и борьба татар, послание от Бадридзе

За завтраком разговор зашел об удийцах[207].

Что такое удьюхи? — спросите вы меня.

Хотя и я подробно не знаю о них, но расскажу, что мне ведомо.

Удьюхи одно из кавказских племен, но столь малочисленное, что сомневаюсь, чтобы оно значилось, в официальном перечне местного населения. Племя же это заслуживает внимания не менее всех других.

Происхождение удийцев неизвестно; язык их, которого никто не понимает, не имеет сходства ни с каким иным языком. Сами они теряются во мраке, который их окружает.

Они называются уди в единственном числе, удийцы во множественном. Мовсес Хоренаци в своей «Истории» говорит об удийцах, но не знает их происхождения, ни того, к какому виду следует отнести это племя.

Армянский историк Чамчянц[208] упоминает об них в своей «Истории Армении», изданной в Венеции.

Наконец, в прошлом году, один из членов русской Академии наук послан был из

---

[206] Астольф — легендарный английский принц, один из паладинов Роланда — героя рыцарской поэмы итальянца Лудовико Ариосто (1474–1533) «Неистовый Роланд».

[207] Современное название этого народа — удины.

[208] Чамчянц Михаил (1738–1823) — жил в Венеции, автор «Истории Армении» с древнейших времен до 1780 года.

Санкт-Петербурга на Кавказ для сбора по возможности всех песен и памятников удийского языка; но он, сколько ни трудился, возвратился в Санкт-Петербург, не открыв ничего, заслуживающего внимания[209].

Удийцы состоят почти из трех тысяч душ; они сами не помнят, чтобы их было когда-нибудь более или менее. Они живут в двух деревнях: одна (называется Варташен) в сорока верстах от Нухи и состоит из ста двадцати грузинских домов, из ста армянских и шестидесяти девяти татарских. Вторая — в тридцати верстах от Варташена, по направлению к Шемахе. В ней триста армянских семейств.

Мы обозначаем население по религии, которую оно исповедует. Удийцы, не имея собственной религии, исповедуют одни греческую, другие мусульманскую.

Я пожелал видеть хоть одного уди. Князь Тарханов немедленно распорядился отыскать, его и привести ко мне. Это был мужчина небольшого роста, смуглый, с живыми глазами, черной бородой, лет тридцати, по имени Сорги Бежанов. Он состоял школьным учителем в Нухе. Я спросил его что думают сами удийцы относительно своего происхождения, и получил в ответ, что по общему их мнению они происходят от одного из внуков Ноя, оставшегося в Армении после потопа, и что язык, которым они пользуются, неизвестен современным народам по причине его древности, — он был, вероятно, языком патриархов.

Я просил его сказать на удийском языке несколько первобытных слов, которые почти всегда имеют корни языков или предшествовавших или соседних, и начал словом бог. Бог, — я пишу не по орфографии, а согласно удийскому произношению, — называется бихаджух, хлеб — шум, вода — хе, земля — кул. У них нет названия неба, для чего пользуются татарским гег. Звезда значит — хабун, солнце — бег, луна — хаш.

Оставшиеся от первых индийских войн единственные два слова, произносимые по-индийски — линг в мужском роде, жуни — в женском, выговариваются по-удийски в мужском роде кол, в женском — кут. Человек называется адамар, женщина — чубух. Как профан я сделал свое дело; я сорвал орех, а моему ученому другу Саси придется раскусить его.

Я продержал у себя этого уди до обеда, но ничего не смог извлечь из него, кроме вышеприведенного.

После обеда, два или три раза прерываемого свиданиями, которые князь имел с приезжавшими к нему всадниками, мы хотели было еще прогуляться по базару, но князь просил нас, если бы мы пошли, не брать с собой его сына.

— Впрочем, — прибавил он, — было бы лучше, если бы вы отложили, по многим причинам, которых я не могу вам открыть, свою прогулку до завтрашнего дня. Я приготовил для вас вечер совершенно в татарском вкусе.

Мы не сомневались, что эти гонцы, беспокоившие князя, являлись с известиями о лезгинах, а потому и не настаивали больше.

К концу обеда приехал и Бадридзе, он казался очень веселым и довольно потирал руки. По его зову князь отправился с ним в соседнюю комнату и через несколько минут появился уже один: Бадридзе же ушел в другую дверь, выходящую на балкон. Мы встали из-за стола и направились на террасу пить чай.

На дворе стоял какой-то человек с огромным рыжим бараном, около которого вертелся, как будто вызывая на бой, черный баран князя. Выяснилось, что татарский вечер должен был начаться боем баранов. Не скрывая дольше секретов своего отца, Иван предупредил нас, что за боем должны последовать татарские пляски и борьба, за борьбой — бал, на который приглашены самые почетные дамы города, — они будут танцевать лезгинку.

---

[209] Сколько можно догадываться, Дюма говорить здесь о племени удинов, населяющих окрестности Нухи. Меры к изучению этого племени в одно время были приняли, но не Академией наук, а Кавказским географическим обществом. Был даже представлен словарь удинского языка, но чем все кончилось, неизвестно. *Прим. Н. Г. Берзенова.*

И действительно, гости начали собираться: соседи пришли пешком, а другие приехали в экипажах.

Пять или шесть человек приехали верхом и остановились в ста шагах от князя. Азиаты ходят пешком лишь тогда, когда не имеют иной возможности.

Все гости, как мужчины, так и женщины — после обычных приветствий — поместились на балконе, который начинал принимать вид театральной галереи.

Некоторые дамы были красавицы — все они грузинки и армянки.

К шести часам почти все приглашенные собрались.

Тогда вошло сорок милиционеров. Это была стража, которая всякий вечер окружает и охраняет дом князя. Расставлены были часовые; другие столпились вокруг человека, державшего барана.

Подали сигнал. Толпа раздвинулась, чтобы оставить бойцам свободное поле.

Николай, слуга молодого князя или, лучше сказать, его нукер, никогда его не оставлявший (ночью ложится у его дверей, и с утра до вечера не теряет его из виду), схватил черного барана за рога и оттащил его почти на десять шагов от рыжего соперника. Хозяин рыжего долго ласкал, гладил, обнимал его, потом поставил напротив черного барана.

«Бойцов» принялись воодушевлять криками. Но они не нуждались в одобрениях: почувствовав себя на свободе, они бросились друг на друга, как два рыцаря, коим ратные судьи открыли барьер. Они сошлись в центре арены и сшиблись лбами, раздался сильный и глухой удар, похожий на тот, какой, вероятно, производила древняя машина, носившая также имя «барана». Оба бойца присели на задние ноги, но не отступили ни на шаг. Потом сами возвратились на прежние места, оберегаемые их хозяевами, — черный — подняв голову, рыжий — потрясая ушами.

Нижний круг, состоявший из милиционеров, всех слуг этого дома и посторонних зрителей, стал сдвигаться к хозяину рыжего барана: это движение ушами показалось им дурным предзнаменованием. Двор с того места, где мы находились, т. е. с господствующей точки, выглядел очень живописно.

Среди прохожих, случайно забредших сюда, находился и погонщик с тремя верблюдами; верблюды, вообразив, будто прибыли в караван-сарай, разлеглись, вытянув шеи, а их погонщик, взобравшись на один из вьюков, нашел себе таким образом самое лучшее место для обозрения столь дорогого представления.

Другие въезжали во двор на конях и, приветствуя князя, оставались в седле, наклоняясь иногда, чтобы лучше видеть. Татарские женщины, заключенные в покрывала, армянские — в длинных платьях, стояли молча, как статуи. Человек тридцать милиционеров в живописных костюмах, с ярко сверкавшим в лучах заходящего солнца оружием, застыв в наивно-артистических позах, составили цепь, за которую проскользнуло несколько детей и из-за которой кое-где выглядывала женская головка, более других любопытная.

Всего собралось около сотни зрителей — более, чем достаточно, чтобы прославить победителя и осмеять побежденного.

Говоря о побежденном, должен предупредить, что рыжий баран далеко не был посрамлен. Он тряс ушами, только и всего. Ведь можно затрясти ушами и не от столь сильного удара. Победа над черным бараном была весьма проблематична, баран рвался в бой так, что хозяину стоило большого труда удержать его.

Последовала новая схватка, раздался новый удар, сильнее первого. Рыжий пал на колени, но поднялся и попятился на шаг.

Превосходство и впрямь было на стороне черного.

Третья стычка убедила зрителей, что это превосходство стало бесспорным: рыжий баран затряс не только ушами, но и головой.

Тогда черный бросился на него и с невыразимой яростью наносил противнику удары в крестец, в бока, в лоб, когда тот поворачивался, и сбивая его с ног при каждом ударе рогами. Побежденный, утратив всю спесь, казалось, потерял и равновесие. Он метался во все стороны и ухитрился-таки выбиться из круга, но черный баран и там его достал. Партер

приветствовал победителя громкими восклицаниями.

Толпа волновалась, следя за сражением или, лучше сказать, за поражением.

Но вот рыжий баран юркнул под какой-то экипаж. Этим он не только признал себя побежденным, но даже запросил пощады. В эту минуту на улице послышались первые звуки татарского барабана и грузинской зурны.

Настало гробовое молчание: каждый хотел убедиться, музыка ли это. Прислушавшись к мелодии, все удостоверились, что музыка приближалась. И бросились за ворота на улицу — двор мгновенно опустел.

Но скоро он набился пуще прежнего. У ворот показались два человека с факелами, сопровождаемые четырьмя музыкантами, а за ними еще два человека — тоже с факелами. Вслед шли три плясуна. И тут хлынула толпа, не только присутствовавшая при бое баранов, но и собравшаяся по пути следования плясунов по городу в дом князя. Плясуны, приблизившись к балкону, поклонились князю. Толпа прокричала «ура!» и обступила их.

Четыре факельщика расположились на самых удобных для освещения арены местах. Два плясуна держали в руках нечто, похожее на короткую, но тяжелую булаву, третий держал лук, натянутый посредством веревки в виде полумесяца, украшенной железными кольцами. Артисты своим бренчаньем аккомпанировали музыкантам. Два музыканта играли на зурне, остальные — на барабане.

Нет, я ошибся, говоря, что музыканты играли на зурне: играли-то оба, это правда, но играли по очереди.

Эта волынка страшно утомляет музыканта, дующего в нее; только одна грузинская грудь не устает дуть в свой национальный инструмент. Мы имели дело с татарской грудью, и хотя она тоже прочна, но все же зурначи вынуждены были сменяться.

Первые звуки музыки, первые движения танцев вдруг были прерваны беспорядочной ружейной пальбой, раздавшейся, по-видимому, не далее как в полуверсте от нас. Плясуны застыли с поднятыми ногами, у игравших на зурне прервалось дыхание, барабаны умолкли, милиционеры вышли из рядов и бросились к оружию, всадники вскочили на своих всегда оседланных коней, зрители переглядывались между собой, будто вопрошая друг друга взглядами.

— Ничего, дети мои, ничего, — закричал князь, — это Бадридзе обучает милиционеров стрельбе. Эй, вы, плясуны, пляшите!

— Не лезгины ли это? — спросил я молодого князя.

— Вероятно, — отвечал он, — но Бадридзе там, и нам опасаться нечего.

И он, в свою очередь, произнес несколько ободрительных слов плясунам и музыкантам. Музыканты снова заиграли на зурне и забили в барабаны, плясуны заплясали.

Каждый занял свое место, и хотя в ответ на пальбу раздалось несколько ружейных выстрелов, никто уже, по-видимому, не беспокоился.

Татарская пляска довольно оригинальна и заслуживает внимания: два плясуна, вооруженные булавами, поместились на противоположных концах круга, в центре которого находился человек с натянутым луком. Они с быстротой и ловкостью, не уступающей акробатам Елисейских полей, вертели булавами вокруг своих голов, ловко перебрасывая их между рук и ног, тогда как третий плясун вытворял своим луком всякого рода движения, бряцал кольцами, сопровождая музыку, и без того достаточно дикую, еще более диким аккомпанементом.

Игравшие на зурне производили пискливые и раздражающие звуки, которые, однако, приводят в восхищение грузин, так же, как звуки волынки вызывают восторг шотландских горцев. Эта музыка будто удваивала силы плясунов, заставляя их делать сверхъестественные усилия. Движение, которое самый сильный из нас не мог бы продолжать и две-три минуты, длилось более четверти часа и, при всем том, плясуны, благодаря привычке или ловкости, казалось, не чувствовали ни малейшего утомления. Наконец и музыканты и плясуны остановились.

Как и вся восточная хореография, танец с булавами очень прост; он заключается в

передвижении назад и вперед, но не по условленному рисунку или по каким-то правилам, а по капризу плясуна. Никогда, как у нас, актер не старается подняться от земли, и вообще руки играют в этом упражнении такую же важную роль, что и ноги.

После танца должна предстоять борьба. Двое из наших плясунов сняли с себя верхнее платье, оставив только широкие панталоны, поклонились князю, натерли ладони пылью и приняли позу диких зверей, собравшихся броситься друг на друга. Впрочем, борьба — зрелище совершенно первобытное и одно из самых однообразных. Кто видал Магвета и Рабассона, тот может представить себе Алкидима и Милона Кротонского.

Это зрелище нисколько нас не поразило б, если бы не приключение — совершенно местное — не придало ему кошмарного характера.

Борьба была в самом разгаре, когда к сгрудившейся под балконом толпе зрителей, внимательно следившей за борцами, приблизился неизвестный, неся какой-то безобразный предмет на конце палки. По мере его приближения при мерцании факелов, бросавших на двор слабый блеск от каждого дуновения ветра, мы начали различать контур человеческой головы, которая словно шла самостоятельно, без туловища, чтобы принять участие в зрелище. Неизвестный вошел в круг и, позабыв о своем трофее, двинулся вперед.

И тогда все стало ясно. Человек был покрыт кровью, и на конце его палки красовалась только что отрубленная голова с открытыми глазами и искаженным ртом. Выбритый череп указывал, что это голова лезгина; глубокая рана рассекала череп.

Муане молча толкнул меня локтем, указывая на голову.

— Вижу как нельзя лучше, — сказал я и в свою очередь потянул за руку молодого князя. — Что это такое? — спросил я.

— Бадридзе посылает нам свою визитную карточку через своего нукера Халима, — отвечал он.

Между тем эту голову заметили уже все. Женщины сделали шаг назад, мужчины шаг вперед.

— Эй, Халим! — вскричал князь Тарханов по-татарски. — Что ты там принес?

Халим поднял голову.

— Голову предводителя хищных лезгин, которую посылает вам Бадридзе, — отвечал он. — Бадридзе просит извинить его, что не явился к вам; впрочем, он сейчас прибудет. Там было очень жарко, и он пошел сменить белье.

— Не говорил ли я вам, что он скоро дополнит дюжину голов? — сказал молодой князь.

— Так как отрубил голову этому разбойнику я, — продолжал Халим, — то господин Бадридзе дал мне ее, чтобы получить с вас, князь, полагающиеся за нее десять рублей.

— Хорошо, хорошо, — сказал князь, — подожди до вечера. Положи голову в таком месте, где ее не сожрут собаки; завтра выставим ее на нашем базаре.

— Слушаюсь, князь.

Халим исчез, взбежав по лестнице, ведущей на балкон.

Вскоре он вышел с пустыми руками, как видно припрятав голову в безопасном месте. Минут через пять явился и Бадридзе в безукоризненном костюме.

Лезгины угодили в приготовленную для них засаду; Бадридзе велел своим людям стрелять в них, и трое пали замертво — вот эту-то пальбу мы и слышали. Лезгины отвечали тем же, но Бадридзе ринулся на их начальника, и завязался рукопашный бой, в котором одним ударом кинжала Бадридзе раскроил череп своему противнику. Лезгины обратились в бегство.

Теперь ничто не препятствовало празднику идти своим чередом, а дамам — танцевать лезгинку.

Однако около одиннадцати часов вечера случилось еще одно событие. Мы заметили, что Халим пребывает в каком-то неспокойном расположении духа, лихорадочно ходит взад-вперед. Очевидно, он искал что-то и, казалось, очень сожалел о потерянном.

— Что ищет Халим? — обратился я к молодому князю.

Он допросил нукера и возвратился со смехом.

— Не припомнит, куда положил голову, — сказал молодой князь, смеясь, — и думает, что ее стащили.

Потом, обратившись к нукеру, он произнес, будто приказывал своей собаке:

— Ищи, Халим, ищи!

И Халим отправился искать голову и наконец с большим трудом нашел ее. Он положил ее на скамью в передней в темном углу; гости, не замечая головы, побросали на скамью свои плащи и шубы. Голова оказалась под шубами и плащами. Каждый, уходя, брал шубу или плащ. И наконец под последней шубой Халим нашел злополучную голову.

— Весело ли вы провели время? — спросил Иван, провожая меня в мою комнату.

— Вы и не можете представить себе, князь, — отвечал я.

На другой день голова лезгинского предводителя была выставлена на базарной улице, с надписью, сообщающей его имя и обстоятельства, при которых голова отрублена.

Глава XXXIV
Отъезд

Нуха, как мы сказали, очаровательный город или, с нашей точки зрения восхитительная деревня. С апреля до октября население ее возрастает от двенадцати до шестидесяти тысяч человек. Все ищут здесь убежища под прохладной тенью, близ прелестных ручейков.

Главная торговля Нухи состоит в шелке. В городе есть шелкомотальная фабрика: в год продается на шесть миллионов шелка-сырца.

Прекрасные деревья, окружающие нухинские дома, это, как выяснилось, тутовые деревья, листья которых служат кормом для червей, составляющих своими коконами богатство страны. Год с небольшим назад сюда прибыли несколько итальянских негоциантов (из-за эпидемии, уничтожившей три четверти шелковичных червей в южной части Пьемонта и в Милане) для закупки шелковичных червей в Нухе; здесь им отказали в продаже во избежание соперничества, и они вынуждены были обратиться к лезгинам.

Молодой декоратор тифлисского театра по фамилии Феррари, который изъяснялся почти на всех кавказских наречиях, решился совершить отважную поездку: нарядился горцем и поехал с двумястами тысячами франков золотом и серебром (непокорные лезгины признают только золото и серебро и ни во что не ценят бумажные рубли). Он преуспел в своих переговорах, и итальянцы покинули Кавказ, увезя с собой достаточное количество шелковичных червей для вознаграждения — даже с избытком — потерь, понесенных ими в Европе.

Нет сомнения, что в числе покоренных лезгин, являющихся в Нуху для продажи сукон, шелковичных червей и баранов, незаметно пробираются и непокорные лезгины. Жители равнин и гор легко признают друг друга между собой, но не доносят кому следует. Эти непокорные лезгины спускаются разбойничать, грабить, убивать, иногда для общего набега на город типа того, что мы недавно были свидетелями.

Голова, на этот раз выставленная на площади в Нухе, была пятая в течение года. К несчастью, лезгины — мусульмане, а следовательно, фаталисты. Какое же впечатление может произвести на фаталистов отрубленная голова?

Так на роду написано, — говорят они, — вот и все.

На другой день, когда мы прогуливались по базару, на эту голову никто уже не обращал внимания.

Извечное смешение на улицах Нухи немирных лезгин с мирными постоянно заставляло князя Тарханова опасаться за сына. В самом деле, драка, подобная той, которую мы видели, может быть розыгрышем: среди неизбежно производимого ею смятения сильный человек может схватить ребенка за шиворот, бросить его на коня и стремглав ускакать с ним.

Мальчик стоил сто тысяч рублей, а такие разбойники, как лезгины, рискнут за такую сумму всем.

Среди лавочников на нухинских улицах я забыл упомянуть о торговцах шашлыком, почти соответствующих нашим продавцам жареного картофеля. Как бы хорошо ни приготовили его у себя дома, — я говорю о жареном картофеле, — он не может сравниться с тем, который продается на Новом Мосту.

То же можно сказать о нухинском шашлыке. Этот проклятый шашлык источал такой чудесный аромат, что я не мог преодолеть искушения и испросил у князя позволения взять несколько кусков в дополнение к завтраку.

Путешественники, проезжающие через Нуху! Лакомьтесь шашлыком на свежем воздухе; на Кавказе вообще едят небрежно, но вы не пренебрегайте случаем хорошо покушать. О, если б у меня был теперь, когда я пишу эти строчки в Поти, в отвратительной комнате здания мясной лавки, кусочек нухинского шашлыка, как бы я торжествовал! К несчастью, его нет.

Наконец решено было отправиться в час дня. Мы предполагали сделать только одну остановку, в крайнем случае две, и ночевать на другой день в Царских Колодцах — на последней станции до Тифлиса; времени у нас было достаточно, и мы совершили продолжительную прогулку по базару. Предчувствие говорило, что мы ничего прелестнее Нухи уже не увидим. И притом с такими хозяевами, как князь и его сын, встреченные нами случайно, среди которых проведенные сутки оставили сладкое воспоминание на всю жизнь!

Я хотел купить на базаре скатерть для стола, но молодой князь воспротивился моему намерению, говоря, что его отец уже приготовил для меня превосходную скатерть. Я знал, что подарок ожидал меня по возвращении с базара. Действительно, я нашел на своей постели великолепную скатерть, а возле нее татарское ружье красивой отделки: это было знаком благодарности на маловажный подарок, обещанный мною его сыну, или лучше сказать, это означало грузинский характер.

Грузинская нация любит давать столько же, сколь другие народы любят получать.

— Какого вы мнения о грузинах? — спросил я барона Фино — нашего консула в Тифлисе проживающего среди них уже три года.

— Это народ без недостатков, со всеми добрыми качествами, — отвечал он.

Каково сие похвальное слово в устах француза, порицающего, разумеется, все чужое и предпочитающего себя всем, как и все мы!

Один русский, известный своею храбростью, по фамилии Шереметев, говорил мне: «Надо видеть их в сражении: когда они слышат звуки своей проклятой зурны, которая не годится даже для пляски кукол, они больше не люди, а титаны, готовые взять приступом небо».

— Их надо видеть за столом, — говорил мне достойный немец, с гордостью вспоминавший о том, как он выпивал в гейдельбергском трактире двенадцать кружек пива в полдень. — Они проглотят пятнадцать, восемнадцать, двадцать бутылок вина как ни в чем не бывало.

И Фино говорил правду, и русский говорил правду, и немец говорил правду.

В Тифлисе я торговал кинжал в оружейной лавке. Князь Эристов проходил с четырьмя слугами. Я не знал его, и он никогда не видал меня.

Ему сказали, кто я.

Тогда он подошел ко мне и обратился к моему молодому русскому переводчику:

— Скажите господину Дюма, чтобы он не покупал у этих людей: они надуют его и дадут дурной товар.

Я поблагодарил князя Эристова за совет и пошел прочь, бросив взгляд на кинжал, висевший у него на поясе. Возвратившись домой, я нашел визитную карточку и кинжал князя Эристова. Кинжал стоил восемьдесят рублей, карточка была еще драгоценнее. И заметьте, грузину, предлагающему что-либо — в противоположность испанцам — невозможно отказать: отказ считается оскорблением.

Во всяком случае, я вовсе не думал отказаться от скатерти и ружья князя Тарханова, тем более, что эти прекрасные вещи были предложены от слишком доброго сердца.

Мы позавтракали.

Увы! Время шло…

Уже был полдень а мы должны были ехать в час дня. Князь не знал, что еще обещать и предложить нам, чтобы только заставить нас остаться. Наслаждения Санкт-Петербурга и Москвы были для меня тем же, чем были наслаждения Капуи для Ганнибала, т. е. они испортили нас. Я уподоблялся Вечному Еврею, осужденному на беспрерывную перемену места; какой-то голос кричал нам беспрестанно: вперед, вперед!

Князь пригласил на прощальный завтрак всех виденных нами со времени прибытия в Нуху лиц, в том числе молодого любезного доктора, имя которого я имел неблагодарность забыть, и офицера, который при первом же знакомстве умолял доставить ему охотничье ружье Девима. Если бы я захотел позавидовать популярности чьего-либо имени на Кавказе, то, конечно, это было бы имя Девима. Но я боюсь этого: очень люблю Девима и считаю его слишком значительным художником, чтобы не признать популярности, вполне им заслуженной. Если я вновь побываю на Кавказе, что, надеюсь, сделаю на своем собственном судне, то привезу с собой груз ружей Девима и непременно возвращусь во Францию миллионером.

Встали из-за стола; тарантас и телега были готовы. Помимо этого, запрягли лошадей под экипаж князя. Против своего обыкновения Иван отказался ехать верхом и согласился сесть в экипаж, и все это для того, чтобы провести со мной еще немного времени. Этот милый ребенок питал ко мне большую дружбу, — я платил ему взаимностью.

Все всадники и нукеры были на ногах. Бадридзе с пятнадцатью милиционерами должен был конвоировать нас до следующей станции. Я сел в коляску с князем и его сыном; Муане, Калино и молодой медик — в тарантас, остальные поехали верхом. Караван тронулся. Коляска, как более легкая, поехала вперед и скоро опередила другие экипажи, тяжело груженные.

По пути мы проехали ту часть города, называемую Кинтак, где накануне происходила стычка с лезгинами. В некоторых местах еще виднелась кровь, как на бойне.

Бадридзе рассказал о сражении со всеми его подробностями, которые были уже известны.

Я начал с беспокойством оглядываться: тарантас не показывался. Я сообщил об этом Ивану, а он сказал несколько слов Николаю. Тот, сломя голову, ускакал и через пять минут возвратился с известием, что у тарантаса сломалось колесо и что господа остановились на дороге. В то же самое время прискакали верхом Муане и Калино и подтвердили это.

К счастью, пострадал только экипаж. Починка колеса заняла бы целые сутки. Иван крайне обрадовался этому обстоятельству, вынуждавшему нас продлить пребывание в Нухе. Я, напротив, был очень раздосадован, а Муане просто в отчаянии. Князь Тарханов, заметив это, таинственно сказал что-то Николаю. Тот поскакал во всю прыть.

Когда все собрались, из коляски достали бутылки и стаканы. В бутылках находилось, разумеется, шампанское. На Кавказе и в России этим вином обычно провожают в путь и поздравляют с приездом. В России потребляется несчетное количество шампанского, настоящего или поддельного: даже если бы вся Франция превратилась в Шампань с ее виноградниками, то и в этом случае она не могла бы доставить России то количество этого вина, какое в ней потребляется.

В течение получаса мы пили болтая, и опустошили до тридцати бутылок шампанского (заметьте бутылка стоит три рубля).

Через полчаса показался тарантас, который торжественно несся к нам как вихрь.

Не чудо ли совершилось?

Нет, все оказалось очень просто: князь велел снять колесо со своей коляски и заменить им разбитое колесо нашего тарантаса. Обмен был выгоден для нас: решительно грузинские князья не рождены для спекуляций.

Наступила тяжелая минута. Я протянул обе руки молодому князю, он заплакал. Отец смотрел на него почти с ревностью.

— Он куда меньше тужит, когда уезжаю я, — произнес он.

— Очень может быть, отвечал сын, — но ведь я же уверен, что скоро увижу тебя, что ты никогда не оставишь меня, а вот господин Дюма!..

Слезы прервали его слова. Я взял его за руку и от души обнял, как своего сына.

— О! Без сомнения, я снова увижу тебя, милое дитя, обниму и прижму еще раз к моему сердцу. Сколько человек, — эта ветряная мельница, — может обещать что-либо, столько и я обещаю тебе это.

Потом мы обнялись с князем, с Бадридзе, с Иваном, сели в тарантас и поехали.

На протяжении всего великолепного путешествия по России сердце у меня сжималось только дважды при двух прощаниях. Пусть милый князь Иван возьмет на свой счет одно из них, а у кого есть память, возьмет на себя другое.

Долго мы делали друг другу знаки, до тех пор, пока не скрылись из виду. Потом дорога повернула, и мы простились окончательно. Я уносил от всех их на память что-нибудь: от князя Тарханова ружье и ковер; от Мохаммед-хана шашку и пистолет; от князя Ивана чугунные фигурки и одеяло; наконец, от Бадридзе шаровары и от молодого медика — пояс.

Остановимся на этом последнем факте, очень любопытном. О расточительном человеке у нас говорят: «Он отдаст даже свою шляпу».

Но это метафора[210]. Впрочем, эта французская метафора в Грузии превращается в реальность.

Я уже сказал, что в Нухе я купил два отреза лезгинского сукна. Этому сукну назначено, тотчас по прибытии во Францию, преобразиться в грузинские шаровары. Я не беспокоился о черкеске и бешмете, ибо князь Багратион обещал мне прислать их в Тифлис; но мы упустили из виду шаровары. И как заказать в Париже грузинские панталоны без образца? Эта мысль меня очень занимала.

Бадридзе носил грузинские панталоны при черкеске.

— Попросите Бадридзе, — сказал я князю Ивану, — чтобы он позволил мне рассмотреть его панталоны; я хочу заказать себе такие же точно по возвращении во Францию, и потому мне нужно детально изучить его панталоны.

Князь передал мою просьбу Бадридзе, тот мгновенно развязал пояс, которым стягиваются панталоны, приподнялся на правой ноге и вытащил левую из панталон, потом привстал на левой, освободил правую и, окончательно вытащив нижнюю часть панталон из седла, представил их мне. Я следил за его движениями с возрастающим недоумением.

— Что это он делает? — спросил я молодого князя.

— Он вам предлагает…

— Что?

— Свои штаны.

— Он предлагает мне свои панталоны!!!

— Да, ведь вы желали их видеть? Возьмите, если уж он вам их предлагает.

— Нет, нет, любезный князь, я не возьму панталоны бравого Бадридзе.

— Знайте, отказ крайне огорчит его.

— Шутки в сторону, князь, не могу же я взять панталоны!

Бадридзе, застегнув черкеску и снова оправившись в седле, вмешался в спор, произнеся несколько слов.

— Что он говорит? — спросил я.

— Он говорит, что эти панталоны совершенно новые, они сшиты его супругой и надеты им в первый раз нынешним утром; он сожалеет только, что пояс старый.

---

[210] Еще говорят: он ничего не щадит — даже своей рубашки. Я убежден, что святой Мартин — он был канонизирован за то, что отдал какому-то бедняку половину своего пальто — был французом. Это не ахти какая заслуга, наверняка у святого была какая-нибудь и другая одежда, ведь не случайно художники изображают его одетым, эта одежда виднеется из-под его пальто.

Прим. А. Дюма.

— О! Пусть он будет спокоен, — вмешался молодой медик, — у меня есть новый пояс, вчера купил его на базаре.

— Берите, берите, — сказал мне князь, — не огорчайте его.

И действительно, лицо Бадридзе начинало принимать недовольное выражение.

— Не может же он, воскликнул я, — воротиться в Нуху без штанов.

— Да кто же заметит это при его сапогах и черкеске? — воскликнул князь.

Я колебался.

— Может быть, господин Дюма отказывается от моих панталон потому, что я надевал их? — сказал глубоко опечаленный Бадридзе. — Скажите ему, что у нас считается за честь пить из стакана, из которого пил друг.

— В таком случае, — сказал я Бадридзе, — я выпью из твоего стакана, дружище!

Я взял панталоны, украшенные поясом молодого медика, и отъехал. Только когда я хотел надеть их, они оказались короткими — на шесть дюймов. Поэтому на долю Калино выпала честь пить вместо меня из стакана Бадридзе. Кстати, не лишне добавить, что Бадридзе, оставшись без штанов, уступил командование нашим конвоем младшему офицеру.

Глава XXXV
Замок царицы Тамар

По мере удаления от Нухи панорама природы становилась шире, представляясь во всем своем величии.

Нуха, которую едва видно посреди окружающих и затеняющих ее деревьев, расположена в углу, образуемом цепью Кавказских гор, на которую она опирается. Эти горы имели великолепный, восхитительный вид, особенно когда их вершины покрыты снегом.

Мы катились вдоль одной из красивейших долин Кавказа и два раза переезжали вброд реку Алазань, которая ее орошает. Раньше лезгины не осмеливались переходить реку, так было до того, когда они спустились в Цинондал и взяли в плен княгинь Чавчавадзе и Орбелиани. Мы расскажем скоро об этом страшном, неожиданном эпизоде, когда презренные бандиты угнали двух княгинь царской крови, привязав их к хвостам лошадей, подобно тем древним пленницам, которых упоминает Гомер и воспевает Еврипид.

По левую сторону от нас была Кахетия — сад Кавказа, виноградник Грузии, где выделываются вина, не уступающие кизлярскому и могущие соперничать с французским, если бы только жители умели настаивать их как следует и, особенно, сохранять. Вино держится в козьих или буйволиных бурдюках, которые дают ему вкус, как говорят, очень ценимый знатоками, но который я нахожу отвратительным. Вино же, не вливаемое в бурдюки, сохраняется в огромных кувшинах, зарываемых в землю, как будто в подражание арабам, которые держат пшеницу в ямах. Рассказывают, что под ногами одного русского драгуна провалилась земля, и он упал в кувшин, где и утонул, как Кларенс в бочке мальвазии.

По правую сторону растянулась цепь сухих и бесплодных гор со снежными вершинами и неприступными склонами, в которых скрываются непокорные лезгины; чтобы отыскать их, надо идти туда. Ни в Алжире, ни даже в Атласе не имеют понятия о трудностях и опасностях, какие представляет со стороны природы экспедиция на Кавказе, не говоря об опасностях со стороны неприятелей. Я видел в ущелье Музая тропу, проложенную через Сен-Бернард: но это царская дорога по сравнению с военными тропинками лезгинской линии.

Мы сделали огромный крюк, благодаря Алазани, которая принимает излучистое направление, поэтому ее приходится переезжать почти на каждой версте. После трехчасовой езды мы с трудом проехали две мили по прямой линии.

Остановились на станции. Отсюда Нуха представилась такой прекрасной, что Муане не преминул зарисовать ее: этот рисунок находится ныне у князя Барятинского.

Около трех часов пополудни мы снова пустились в путь и после четырех или пяти

часов езды по прелестной Алазанской долине — уже ночью — прибыли на станцию Барабатлинскую. Там мы нашли только два деревянных табурета.

Хотя к подобным вещам мы уже привыкли, но никак не могли привыкнуть к тому, чтобы оставаться без пищи, которой там вовсе не оказалось. К счастью, у нас еще был запас провизии из двух фазанов и одного жареного зайца — остатков нашей охоты близ Шумахи.

Мы выехали чрезвычайно рано и хотели во что бы то ни стало добраться к вечеру до Царских Колодцев. В моем альбоме было написано несколько слов рукой генерала Дондукова-Корсакова командиру Переяславского полка графу Толю.

Большую часть дня мы катились по Усадайским степям, захватив даже уголок Кахетии, и наконец, в седьмом часу вечера достигли Царских Колодцев. Этот город недавно построен и походит скорее на военный лагерь.

На возвышенном месте мы заметили массивный дом, остановились у ворот и спросили полковника Толя. Слуга, к которому обратился Калино, доложил хозяину дома и возвратился с приглашением войти.

Мы вошли.

Красивый и ловкий штаб-офицер вышел к нам навстречу.

— Вы господин Дюма? — спросил он меня.

Я поклонился и представил ему свой альбом, в котором было несколько строк от князя Дондукова-Корсакова.

— Вы граф Толь? — спросил я его, по прочтении им этих строк.

— Нет, — отвечал он, — я князь Меликов и сочту за счастье оказать вам гостеприимство, не позволив, чтобы вы остановились у кого-нибудь другого. Вы увидите графа Толя, но у меня; сейчас приглашу его к себе на ужин.

Все это было сказано столь вежливо, что нельзя было отказаться.

Вещи перенесли в переднюю, а нас отвели в прекрасные комнаты — уже нагретые, будто нас ожидали.

Через полчаса прибыл граф Толь. Он долго жил в Париже и отлично говорит по-французски — князь Меликов говорит не очень свободно.

Записка князя Дондукова-Корсакова заканчивалась словами: «Покажите г-ну Дюма замок царицы Тамар».

Царица Тамар, пользующаяся всеобщей популярностью в Грузии, была современница Людовика Святого и подобно ему, но счастливее его, вела самую ожесточенную войну с мусульманами. Как в Нормандии все древние замки приписываются Роберту Дьяволу, так в Грузии все подобные древности приписываются царице Тамар. Таким образом в Грузии можно насчитать до полутора сотен царских замков, которые превратились в наши дни в жилища орлов и шакалов. Все эти замки обращают на себя внимание тем, что имеют живописный вид и восхитительное месторасположение.

Я искал везде и спрашивал у всех историю царицы Тамар, но ничего не мог найти, кроме малодостоверных преданий и нескольких стихотворений Лермонтова, несмотря на то, что замки царицы Тамар встречались нам чуть ли не на каждой версте.

В девять часов мы кончили завтрак; лошади уже были оседланы.

Утро прошло в рассматривании рисунков старого художника, прекрасно говорящего по-французски. К какой нации он принадлежит, не знаю; что же касается его религии, то, безусловно, он был тамарист. Довольно большой альбом его состоял из трех цветов — желтого, голубого и зеленого, которые, по-видимому, соответствовали его намерению — собрать рисунки всевозможных видов замков Тамар. Он зарисовал с различных сторон замок, который мы собирались осмотреть.

Мы сели на коней и за двадцать минут проехали четыре или пять верст, отделявших нас от царских развалин. На повороте одной из гор замок неожиданно предстал перед нашими взорами. Он величественно возвышался на уединенном пике, господствующем над Алазанской долиной, имея горизонтом ту великолепную цепь Кавказских гор, вдоль которой мы ехали накануне. Мы находились выше его подножья, но вершина его возвышалась над

нами. Невольно приходила мысль, что сквозь его проломы прошли не только эпохи, но и революции.

Муане срисовал его с того места, где мы находились, — возможно, это была единственная точка, забытая кистью старого художника.

В шести верстах от замка царицы Тамар возвышается другая гора, не менее оригинальная. Проезжая мимо горы перед закатом мы заметили ее по прекрасной форме и великолепному освещению. Она называется «Ильинской горой». Соленое озеро омывает ее основание. Часовня, часто посещаемая жителями, построена в небольшом гроте, вырытом в центре горы. Предание гласит, что в этом гроте пророк Илья получал пищу, приносимую ему вороном, и что с вершины этой горы он вознесся на небо, оставив мантию своему ученику Елисею. Вот первое библейское предание, с которым мы встретились в пути, было заметно, что мы приближались к Армении.

Воротясь домой, мы нашли княжеского адъютанта, ожидавшего нас со своим альбомом. Он также рисовал и, участвуя в последней лезгинской экспедиции, запечатлел многие очень любопытные пейзажи. Один из них был вид Горук-Меера, т. е. горы, на которую во время последнего похода должны были подняться, чтобы добраться до лезгин. На другом рисунке был изображен Беджит-аул, взятый после осады каждой его сакли порознь. Чтобы войти в него, надо разрушить все сакли по очереди. Когда же взяли последнюю саклю, аул был срыт до основания.

Третий был вид аула Китури, объятого пламенем. Перед этим аулом, взятым 21 августа 1858 года, генерал Вревский получил рану двумя пулями в грудь и в ногу. Через десять дней он скончался. Полковник Карганов занял его место командира экспедиции и, продолжая ее, взял приступом и срыл Дидо. Все жители (тысяча человек) покорились.

На четвертом рисунке были показаны лезгинские ворота, украшенные отрубленными руками; руки были пригвождены, подобно волчьим лапам на воротах наших ферм. Эти кровавые трофеи долго сохраняются, и руки походят на живые благодаря одному составу, в котором их предварительно кипятят. Эти ворота, принадлежащие аулу Дидо, были украшены пятнадцатью руками. Другие, более благочестивые, прибивают их к стенам мечетей. В Дидойской мечети было, может быть, до двухсот пригвожденных рук.

Впрочем, тушины, христианское племя, — непримиримые враги лезгин и вообще всех магометан, оказывающих большие услуги в экспедициях, имеют — при всех своих христианских чувствах — тот же самый обычай: сколько неприятелей, взятых тушинами, столько и отрезанных рук.

Во время последнего похода у тушинского вождя, находившегося в русских рядах вместе с тремя сыновьями, был ранен старший сын. Он боготворил этого молодого человека, но счел за бесчестье выказать свою слабость, хотя в сущности сердце его надрывалось. Отец называется Шет[211].

Может быть, это имя есть испорченное «шайтан», что значит дьявол.

Сына звали Григорием. Отцу указали дом, куда раненый был перенесен. Шет отправился туда. Юноша жаловался на сильную боль. Шет подошел к ковру, на котором лежал раненый, оперся на свое ружье и, нахмурив брови, спросил:

— Кого это я произвел на свет, мужчину или женщину?

— Мужчину, батюшка, — отвечал Григорий.

— А если так, — возразил Шет, — то зачем этот мужчина жалуется?

Раненый замолчал и испустил дух без стонов.

Отец взял труп, обнажил его и положил на стол; потом концом своего кинжала сделал семьдесят пять меток на стене, после чего разрубил тело своего сына на семьдесят пять кусков — по числу родственников и друзей, способных носить оружие.

---

211 Речь идет о знаменитом тушинском наезднике Шете Глухакадзе, которого теперь уже нет в живых. *Прим. А. Дюма.*

— Что ты делаешь? — спросил полковник, увидевший его за этой страшной работой.

— Я отомщу за Григория, — отвечал он, — через месяц мне будет доставлено столько же лезгинских рук, сколько здесь кусков.

И действительно, спустя месяц он получил от своих родственников и друзей семьдесят пять рук, к которым он присоединил от себя еще пятнадцать, добытых им самим, всего девяносто рук: Григорий был отомщен.

В сражении тушинец никогда не согласится на помощь единоплеменника, разве только по зову последнего; но редко случается, чтобы тушинец звал на помощь, даже если он был один против трех.

Некий тушинец влюбился в молодую девушку деревни Тианет и просил ее стать его женой.

— Сколько лезгинских рук ты можешь принести в приданое? — спросила девушка.

Молодой тушинец удаляется со стыдом: он еще ни разу не сражался. Он отправляется к Шету и рассказывает ему о своем несчастье.

— Спроси ее сначала, сколько рук она хочет, — сказал ему Шет.

— По крайней мере три, — отвечала девушка.

Тушинец передал ответ Шету.

— Пойдем со мной в следующую экспедицию, — сказал ему Шет.

— Но, может быть, придется долго ждать, — отвечал молодой человек.

— Ну так пойдем теперь же, я готов всегда.

Они отправились и недели через две возвратились с двенадцатью руками: Шет отрубил семь, а влюбленный — пять рук. Он принес две лишних руки против обещанного, а потому женитьба и праздновалась с большим торжеством, в котором принимала участие вся деревня.

В числе рук, принесенных Шетом, была одна детская. Как же она к нему попала?

Шет — рубака. Лезгинские матери, чтобы заставить замолчать детей, говорят: «Вот я сейчас позову Шета». И дети со страху умолкают. Один из них, более других упорный или, может быть, не веривший в Шета, продолжал плакать. Это было ночью. Мать взяла ребенка и открыла окно.

— Шет! Шет! — крикнула она. — Отрежь руку этому плаксе.

И чтобы устрашить ребенка, она высунула его в окно. Ребенок испустил отчаянный крик. Мать тотчас же заметила, что этот крик произошел от боли, а не от страха, и потому немедленно втащила ребенка назад: правая рука у него была отрублена.

Случилось же так, что Шет засел в засаду около этого дома и, услышав неблагоразумный зов матери, воспользовался им. Какие кровожадные звери, эти люди!

До Тифлиса оставалось сто двадцать верст. Видя, что за дорога нас ожидала, становилось ясно, что мы доберемся до Тифлиса ранее 12 или первого часа пополудни на другой день, если, конечно, нигде не застрянем на ночь.

На первых двух станциях, т. е. на Череской и Сигнахской, все шло хорошо — лошадей нам давали. Со второй станции мы не взяли конвой, потому что начиналась безопасная дорога.

Отсутствие конвоя заставило станционного смотрителя третьей станции, именуемой Магорская, принять нас за людей недостойных внимания; в результате, несмотря на подорожную, он даже не взглянул на нас и отвечал, что нет лошадей. Ответы эти были уже ведомы нам; но так как мы хотели пообедать прежде, чем пуститься в путь, что должно было отнять у нас целый час, мы отвечали, что подождем.

— Ждите, — сказал смотритель с прежней наглостью, — но все-таки лошадей и к ночи не будет.

На это заявление нечего было ответить, кроме как обратиться к помощи плети.

— Возьмите плеть, — сказал я Калино, — она в моем чемодане.

— Зачем вы ее туда положили?

— Потому что, как вы знаете, эта славная плеть дана мне генералом Ланом, и я очень дорожу ею.

— Что же мне делать с вашей плетью?

— То же, что волшебники делают своей палочкой: я заставлю добыть лошадей хоть из-под земли.

— Все таки я думаю, что сегодня это будет совершенно бесполезно: лошадей действительно нет.

— Это мы увидим после обеда, а теперь на всякий случай достаньте плеть из чемодана.

Пока Калино вытаскивал плеть, Муане и я вошли в комнату, которая была наполнена проезжими.

Всем был дан тот же самый ответ, как и нам, и все ожидали.

Какой-то грузинский князь с сыном, сидя за столом, ели вареную курицу и пили водку. Увидев нас, они встали, подошли и предложили принять участие в их ужине. Мы согласились, но с условием, что и они не откажутся от нашего. С их стороны было куда справедливее отказаться.

Наш ужин состоял из зайца и пары жареных фазанов, оставшихся от шемахинской охоты и приготовленных для нас поваром князя Меликова. Помимо этого, у нас была огромная тыквенная бутылка с вином. Два или три господина, не думавшие останавливаться на Магорской, печально распивали чай, — только это они и смогли достать на станции. Мы испросили у новых знакомцев позволения пригласить их разделить с нами трапезу.

Гостеприимство есть до того простая вещь на Кавказе, что все приглашенные без церемонии сели за один стол с нами, ели как нельзя более наши припасы и пили из нашей тыквенной бутылки, пока не выпили ее до дна. Зайца, трех фазанов и восемь бутылок кахетинского вина как не бывало, — съестное исчезло до последней крошки, а жидкость до последней капли. После этого Калино, голова которого благодаря винным излияниям была именно на той точке, выше которой ей быть не следовало, получил приглашение вооружиться плетью и следовать за мной.

Смотритель стоял на крыльце, опершись на одну из деревянных колонн, поддерживающих навес станционного дома. Мы остановились возле него.

Он косо посмотрел на нас.

— Калино, — сказал я, — требуйте лошадей.

Калино передал требование. Смотритель раздраженно ответил:

— Разве я уже не говорил, что их нет?

— Калино, скажите ему, что мы очень хорошо это слышали, но все таки уверены в его лжи.

Калино перевел ответ смотрителю — тот даже не пошевельнулся.

— Не поколотить ли его? — спросил Калино.

— Нет, сначала надо удостовериться, что он лжет, а там можно и поколотить.

— Как же мы удостоверимся?

— Нет ничего проще, Калино, стоит только осмотреть конюшни.

— Я пойду с вами, — сказал Муане.

Я остался подле смотрителя, который не двигался с места. Минут через пять Калино возвратился — в ярости и с поднятой плетью.

— В конюшне четырнадцать лошадей, — сказал он, вот теперь его надо бить.

— Нет еще. Спросите, любезный Калино, почему он говорит, что нет лошадей, тогда как в конюшне их порядочное количество?

Калино перевел мой вопрос смотрителю.

— Эти лошади с других станций, — отвечал он.

— Ступайте, Калино, и освидетельствуйте лошадей; если они в поту, то смотритель говорит правду; в противном случае он лжец.

Примчался Калино.

— Он врет, лошади совершенно сухие.

— Ну, теперь бейте его.

После третьего удара смотритель спросил:

— Сколько нужно лошадей?

— Шесть.

— Сейчас они будут готовы, только другим ничего не говорите.

К несчастью для него, было у же слишком поздно: другие, слыша шумный спор между нами, сбежались и узнали секрет почтового смотрителя. Проезжие овладели лошадьми по праву старшинства.

Через пять минут наш тарантас и телега были готовы; мы выпили еще, в последний раз, на дорогу; грузинский князь и его сын обещались видеться со мной в Тифлисе. Мы сели в свои колесницы и быстро понеслись.

Мы ехали всю ночь, за исключением двух часов, проведенных на станции Сартичальской — из нее мы выехали на рассвете. Оставалось еще тридцать пять верст до столицы Грузии; но дорога была такая гнусная, что только к двум часам дня, с вершины одной горы, ямщик указал нам на синеватый туман, сквозь который виднелось несколько небольших белых точек, и прибавил:

— Вот Тифлис.

Эта новость была такого рода, как если бы нам сказали:

— Вот Сатурн, или: вот Меркурий.

Ведь мы уже думали, что Тифлис это какое-то небесное тело и что мы никогда не достигнем этой планеты. Тем более, что пока еще ничто не возвещало близости города, да еще столицы: не было ни одного дома, ни одного обработанного поля — земля голая и опаленная, как пустыня.

Однако по мере нашего приближения находившаяся перед нами гора покрывалась зубцами, похожими на развалины. Потом нашим взорам представилось второе доказательство того, что мы вступили в просвещенную страну.

По правую сторону виднелись три виселицы. Средняя была пустая, две другие заняты: они были заняты мешками. Мы долго спорили, что бы такое могло быть на них повешено.

Муане утверждал, что это не люди.

Я утверждал, что это не мешки.

Наш ямщик решил спор: это были люди в мешках.

Что же это за люди? Ямщик был такой же невежда, как и мы. Во всяком случае было очевидно, что эти люди не могли быть из разряда тех, коим присуждают премии Монтиона.

Мы продолжали ехать, предполагая, что в Тифлисе тайна объяснится.

Город открывался очень постепенно. Первые здания, попавшиеся нам на глаза, были, как и при въезде в Санкт-Петербург, два дурные строения по всей вероятности казармы, вид которых заставил нас печально покачать головами.

Неужели этот Тифлис, так давно ожидаемый и обетованный, как грузинский рай, на самом деле не более, чем напрасная мечта?

Мы невольно вздохнули.

И вдруг вскрикнули от радости: на краю дороги, в глубине пропасти бушевала Кура; сам же город, расположенный ярусами по склонам горы, спускался до дна пропасти с домами, похожими на стаю распуганных птиц, которые расселись где и как попало.

Каким образом мы спустимся в эту пропасть, если не видно дороги?

Наконец она показалась… если только могла называться дорогой.

Это нас не трогало, ведь на каждом шагу мы испускали крики радости.

— Смотрите вот сюда! Видите вон там башню! Вот мост! А вот крепость! А там, а там!..

И действительно, перед нами раскрывалась великолепная панорама.

Наш тарантас катился словно гром, сопровождаемый криком ямщиков: «Хабарда, хабарда!».[212]

---

[212] Берегись!
Прим. А. Дюма.

Без сомнения, утром было празднество, ибо улицы были наполнены народом: повесили двух человек.

Мы переехали через деревянный мост, висящий, не знаю как, на шестьдесят футов над рекой. Под нами, на большой песчаной отмели, образуемой Курой, лежало около сотни верблюдов.

Мы въезжали из предместья.

Наконец, мы были в Тифлисе; теперь, судя по тому, что мы видели, Тифлис отвечал составленному нами о нем представлению.

— Куда везти господ? — спросил ямщик.

— К барону Фино, французскому консулу, — отвечал я.

И невзирая на столпотворение, тарантас понесся вперед так же быстро, как перед тем спустился.

Глава XXXVI
Тифлис: о тех, кого здесь вешают[213]

Барон Фино жил в верхней части города на Царской улице под горой Святого Давида.

Он обедал у княгини Чавчавадзе, но так как нас ожидали каждый день, то, уходя, он велел своему слуге проводить нас прямо на квартиру, для нас приготовленную.

Нас привели в прекрасный дом около самого театра. Две комнаты и огромный зал были отданы в наше распоряжение богатым грузином Иваном Зубаловым. Муане и Калино поместились в одной комнате, я в другой. Зал был общим.

Из окна комнаты Муане я видел как нельзя лучше две виселицы и качавшиеся на них мешки. Действительно, это были повешенные, как я уже имел смелость намекнуть прежде, и даже совершенно свежие; их казнили в этот самый день.

Я осведомился за какое преступление они были казнены. Оказалось, что они зарезали двух приказчиков часового мастера Жоржаева с целью обокрасть его магазин. Преступники были армяне. Неслыханное дело! Армяне, при всем своем послушном и кротком характере, порою бывают ворами, иногда мошенниками, но почти никогда убийцами.

Судьба распорядилась так, что из одного и того же окна я мог видеть налево двух повешенных, направо лавку Жоржаева.

Вот как обстояло дело: Жоржаев имел двух приказчиков, которые днем оставались в магазине, а вечером уходили для собственного удовольствия или по делам, унося с собой ключи от магазина. Они подружились с двумя армянами, Шубашевым и Исмаилом, которые и вознамерились обокрасть Жоржаева[214]. План их состоял в том, чтобы пригласить друзей на ужин, напоить допьяна, убить, взять ключи и проникнуть в магазин.

Все произошло согласно замыслу, за исключением одного обстоятельства. Оба приказчика были уведены, напоены, убиты, но разбойники, сколько не обыскивали их,

---

213 Названия XXXVI и XXXVII глав даются так, как в оригинале, а не в тифлисском издании 1861 года. Точный перевод их затруднителен, мы сохраняем смысловое значение. XXXVII глава звучит примерно так: «Тифлис: о тех, кого здесь еще не вешают, но уже вешают у нас (во Франции)». Ознакомившись с этой главой, читатель поймет, что дало Дюма повод так мрачно иронизировать.

214 Здесь наш почтенный автор отважился на такой вопиющий анахронизм, который мог бы быть прощен ему лишь в качестве отчаянного романиста, но уж никак не туриста в лучшем значении этого слова. Мы знаем, что г-н Дюма удостоил Тифлис своим посещением в декабре 1859 года, а происшествие которое он рассказывает с такими мелочными и, признался, довольно скучными подробностями, случилось в мае того же года. Зачем же выставлять современным то, что происходило за полгода перед тем? Ведь в благоприятную минуту можно дописаться, без зазрения совести, и до римского огурца? Но, видно, привычка — подлинно вторая натура.

Прим. Н. Г. Берзенова.

ключей не нашли. Тогда они решились на другое — отправиться в лавку Жоржаева и постучаться.

Ночь была темная; тот, кто будет отворять им дверь, вероятно, без свечи, примет их за приказчиков, они войдут и — дело с концом. Но прежде надо было сбыть трупы. Они разбудили одного бедного мушу, спавшего в своей конуре, привели к трупам и обещали четыре рубля, если он зароет их куда-нибудь подальше. Муша (так в Тифлисе зовут переносчика тяжестей) не всегда зарабатывает четыре рубля в день. Он взвалил оба трупа на спину, спустился к Куре, перешел через Михайловский мост, поднялся на склон холма в предместье Чугурети и зарыл их в месте, называемом Красной Горкой. Потом муша возвратился восвояси, надеясь, что те придут к нему сами.

Между тем, убийцы явились к магазину Жоржаева и постучались; но Жоржаев сам взялся отворить дверь и притом со свечой в руке. Самого хозяина нельзя было обмануть, и потому Шубашев и Исмаил кинулись наутек. Мастер подумал, что это розыгрыш, снова запер дверь и лег в дурном расположении духа вследствие неуместной шутки. На другой день приказчики не явились; а так как они в первый раз не пришли на работу, Жоржаев стал беспокоиться.

Около полудни пастух, пасший быков на горе, заметил в одном месте, где земля казалась ему свежевскопанной, ногу, высунувшуюся из-под земли. Он потянул ее. За ней вышла и другая, потом еще две ноги, а с ними два туловища. Он побежал в город и объявил об этом. При осмотре трупов оказалось, что это были приказчики Жоржаева, а так как накануне видели, что они вышли с упомянутыми армянами, то, разумеется, подозрение пало на последних. Их арестовали вместе с мушой, предали суду и осудили на смерть — Шубашева и Исмаила, как виновников преступления, а мушу как их сообщника.

Преступление наделало много шуму и вселило большой страх; кавказский наместник князь Барятинский предписал как можно скорее произвести следствие; оно было окончено немедленно; доказательства были бесспорны.

Как наместник императора, князь Барятинский имеет право даровать жизнь или смерть. Он один судья — помимо государя. Никакое чрезвычайное обстоятельство не требовало отсрочки казни; правосудие лишь требовало облегчить наказание муши, частично оказавшегося лишь невольным участником преступления. Ему присудили тысячу палочных ударов и ссылку на каторжные работы в Сибирь на восемь лет.

Не будет ничего удивительного, если он после этого срока воротится оттуда; грузин, армянин, перс могут вынести тысячу палок, горец — пятьсот, русский — две тысячи. Но ни один преступник, какой бы нации он не был, не мог перенести три тысячи ударов, что уже равняется смертной казни. Да и приговор был оформлен так, чтобы оставить мушу до последней минуты в убеждении, что и он осужден на смерть.

Три виселицы воздвигли на том самом месте, где нашли трупы приказчиков. Местность представляла двоякую выгоду; во-первых, казнь происходила на месте преступления, во-вторых, весь город видел эту священную, но в тот раз позорную горку.

В день нашего прибытия, ровно в полдень, трех осужденных повезли на телеге к месту казни: на них были надеты белые штаны, арестантская куртка, руки были связаны на груди, головы открыты. На шее висела дощечка с кратким содержанием приговора. Возле виселиц им прочли приговор. Затем палач и его помощник схватили одного из них, накинули ему на голову мешок, доходивший до ног, которые одни и виднелись и не были связаны.

На девятой ступеньке лестницы осужденный остановился. Здесь палач надел на него (помимо мешка) петлю вокруг шеи, заставил подняться еще на две ступеньки и, толкнув рукой, отправил в вечность. Такая же церемония повторилась и над вторым осужденным. Первый не успел еще принять вертикальное положение, как второй уже качался в воздухе.

Смерть была медленная, во-первых, по причине мешков, которые мешали веревке плотно сжать шею, во-вторых, потому, что палач, неопытный в своем искусстве, разумеется, не тянул страдальцев за ноги и не садился им на плечи. Эта тонкость Запада не в употреблении на Востоке. Заметно было, как на протяжении трех минут они судорожно

двигали локтями, потом движения сделались реже и, наконец, совсем прекратились.

Тогда подошла очередь муши. Это был молодой человек девятнадцати лет, смуглый, тонкий и слабого сложения; когда сняли с него рубаху, все тело его дрожало. От холода ли, как у Бальи[215]. Не думаю, не думаю.

Тысяча солдат стояли в два ряда, по пятьсот человек в каждом; у каждого солдата в руках по тонкой гибкой палочке, толщиной в мизинец; промежуток между двумя рядами пять шагов. Руки осужденного привязали к прикладу ружья; унтер-офицер взял это ружье и собрался идти пятясь, чтобы направить шаги осужденного по своим; два солдата, обязанные идти так же пятясь, приставили штыки к его груди, а два других стали позади, упершись штыками в поясницу. Таким образом со связанными руками и между четырьмя штыками он не мог ни ускорить шаг, ни замедлить его.

По первому сигналу тысяча солдат, с точностью маневра, приподняли прутики вверх, отчего в воздухе пронесся шум, похожий на свист. Этот свист, как говорят, составляет если не самую страшную, то уж наверняка самую мучительную часть операции. На сотом ударе кровь брызнула из кожи, на пятисотом спина превратилась в сплошную рану. Если боль превышает силы осужденного и он падает в обморок, то, приостановив наказание, дают ему какое-нибудь тонизирующее средство и затем продолжают экзекуцию. Муша выдержал тысячу ударов стойко, без обморока. Кричал ли он? Неизвестно: барабаны, сопровождающие с боем осужденного, мешают слышать его крики.

Наконец на него набросили рубашку, и он возвратился в Тифлис пешком. Недели через две он уже более не думал об этом и отправился на восьмилетнюю каторжную работу в Сибирь. Из всего этого ему бы следовало сделать хотя бы такой вывод если он когда-либо опять будет хоронить труп, то должен постараться чтобы нога не высовывалась из-под земли.

Глава XXXVII
Тифлис: о тех, кого здесь еще не вешают

Пока мы устраивались у княгини Чавчавадзе, барон Фино узнал о нашем прибытии. Он пришел с тем веселым расположением духа, которое известно всем знавшим его во Франции.

Консульство сделало его серьезным в государственных делах, важным, когда речь идет об интересах своих соотечественников; в обыденной же жизни у него самое открытое сердце и ироничный ум. Я не встречал его с 1848 года. Он нашел меня потолстевшим, а я его поседевшим.

В Тифлисе его обожают. Из стапятидесяти трех француженок и французов, составляющих здешнюю колонию, не найдется ни одного или одной, кто бы не отзывался о нем с похвалой — не с пустой похвалой, требуемой приличием, а от всего сердца. Что касается грузин, то они только боятся, чтобы у них не отняли барона Фино. Я мало прожил в Тифлисе и потому не смог узнать, что думают о нем грузинки.

Он явился предупредить, чтобы мы не искали другого стола, кроме как у него, пока будем жить в Тифлисе.

Я хотел отговориться.

— Сколько времени вы намерены пробыть здесь? — спросил он.

— Целый месяц.

— Имеете ли вы три тысячи рублей на расходы в этот месяц?

— Нет.

— Тогда советую вам принять мой стол, как вы приняли гостеприимство Зубалова. Я

---

215 Бальи Жан Сильван (1736–1796) — художник, астроном, в 1789 году президент Национального собрания, в 1789–91 и мэр Парижа. Казнен как «друг короля»; всходя на эшафот, проявил необыкновенную твердость духа.

держу хозяйство, и все у меня в порядке, так что я едва почувствую ваше присутствие, исключая удовольствие, которое оно мне доставит. Если бы вы захотели иметь свой стол, вы кушали бы только хлеб и масло, — и масло довольно дурное, — и все-таки разорились бы.

Видя, что я продолжаю сомневаться, он в доказательство извлек из кармана какую-то бумагу.

— Смотрите, вот что издержала за шестьдесят шесть дней одна из наших соотечественниц, счета которой я устроил третьего дня. Она в качестве служанки привезена сюда княгиней Гагариной. Оставив княгиню, она не захотела из-за дороговизны жить в гостинице. Чтобы жить как можно экономнее, она поселилась у французского колбасника. И тем не менее она за шестьдесят шесть дней издержала сто тридцать два рубля или пятьсот двадцать восемь франков.

Все это пока не произвело на меня особого впечатления. Но тут пожаловал парикмахер, которого я заказал.

— Зачем вы позвали его? — поинтересовался Фино.

— Чтобы постричься и побриться.

— Сколько вы платите в Париже за то и другое? — не унимался Фино.

— Один или в особых случаях полтора франка.

— Ну, теперь вы увидите, что это стоит в Тифлисе.

Парикмахер слегка постриг волосы и выбрил меня и Муане; что касается Калино, который, имея звание студента, еще не вправе носить бороду, поэтому его волосы острижены под гребенку, то парикмахер до него даже не дотрагивался.

— Сколько мы должны? — спросил я своего соотечественника, когда все было кончено.

— Как сколько? Три рубля.

Я заставил его повторить.

— Три рубля, — бессовестно повторил он.

— Как три рубля? Серебром?

— Три рубля серебром. Конечно, вы изволите знать, что счет на ассигнации в России уже прекращен.

Я вынул из дорожной сумки три рубля (это составляет двенадцать франков) и отдал их ему. Парикмахер поклонился и вышел, вырвав из меня согласие сделать из моих волос булавочный клубок для своей жены — моей великой обожательницы.

— А если бы его жена не была великой обожательницей, — спросил я Фино, когда парикмахер вышел, — сколько бы это мне стоило?

— Трудно предположить, — отвечал Фино. Угадайте, сколько парикмахер просил с меня за то, что посылает ко мне три раза в неделю своего помощника; не забудьте, что я ношу бороду, растущую из всех мест, из которых ей положено расти.

— В Париже у меня есть цирюльник, который за шесть франков из Монмартра ходит ко мне три раза в неделю…

— Полторы тысячи франков в год!

— О, милый Фино, в таком случае столуюсь у вас!

— Теперь, — произнес Фино, — поскольку мое желание исполнилось и я пришел сюда только с этой целью, то возвращаюсь доканчивать обед у княгини Чавчавадзе. А вас я представлю ей завтра.

Фино не мог доставить мне большей чести и большего удовольствия. Во первых, потому что князь Чавчавадзе происходит от Андроника, византийского императора[216], и, во-вторых, княгиня Чавчавадзе, урожденная грузинская царица — та самая, которая была похищена Шамилем и выменена в Чир-Юрте на его сына Джемал-Эддина.

— Кстати, — сказал Фино, быстро возвращаясь, — сегодня вечером я приду за вами и

---

216 Андроник Первый — император Византии с 1182 г. по 1185 г.

за вашими спутниками. Мы пойдем в театр; у нас есть итальянская труппа, играют «Ломбардцев», и вы увидите наш зрительный зал.

— Ваш зал? — спросил я, смеясь. — Неужели вы сделались провинциалом до такой степени, что говорите наш зал в Тифлисе, как говорят наш зал в Туре, в Клуа?

— Вы видали, друг мой, много залов в своей жизни?

— Да, я видал все залы во Франции, Испании, Италии, Англии и России; оставалось только видеть зал и в Тифлисе.

— Ну, так увидите его сегодня вечером и будьте уверены, что он произведет на вас большое впечатление. Однако парикмахер остриг вам волосы слишком коротко. Впрочем это ничего: решат, что вы острижены по последней моде. До встречи в восемь часов.

Слова Фино заставили меня посмотреться в зеркало: любопытно, что можно сделать из моей головы за три рубля? Я вскричал от ужаса: волосы мои были острижены в виде щетки, но не той щетки, которой чистят платье, а той, которой натирают пол!

Я кликнул Муане и Калино, чтобы они насладились моей внешностью в новом ее воплощении. Взглянув на меня, они расхохотались.

— Вот это находка, — сказал Муане, — если у нас не хватит денег, то мы станем показывать вас в Константинополе как тюленя, пойманного в Каспийском море.

Как живописец Муане с одного взгляда угадал мое настоящее сходство; я не могу отрицать, чтобы моя физиономия не походила на это интересное животное, особенно когда волосы были острижены очень коротко.

Каждый человек, как говорят, имеет сходство с каким-нибудь животным. Размышляя об этом, я решил, что лучше быть похожим на тюленя, чем на какую-нибудь амфибию; по крайней мере тюлень очень кроткого, безвредного и нежного нрава, притом из него добывают жир. Не знаю, отличаюсь ли я перечисленными свойствами, но знаю, что еще при моей жизни добыли из моего тела немалое количество жира.

— Вы, любезный виконт, настоящая просверленная корзина, — сказал Карл Десятый Шатобриану.

— Это правда, ваше величество, отвечал знаменитый автор «Гения христианства», — но только не сам я делаю дыры в корзине…

В условленный час барон пришел за мной.

— Вы готовы?

— Вполне.

— Тогда берите шляпу и пойдем.

— Мою шляпу? Я подарил ее Волге, любезный друг, между Саратовым и Царицыным. Шляпа приняла такие фантастические формы, что напомнила мне складную шляпу Жиро в Испании; пусть это вас не смущает, сейчас пойду покупать новую.

— А знаете ли, сколько здесь стоит шляпа?

— Полагаю, шестнадцать или восемнадцать франков?

— Поднимайте выше.

— Может, вы имеете в виду касторовую высшего сорта?

— Нет, простая шелковая шляпа: ничего так скоро не распространяется по свету, как дурное изобретение.

— Значит, двадцать-двадцать три франка?

— Поднимайте выше.

— Ну так тридцать, тридцать пять, сорок?

— Семьдесят турских ливров, друг мой, или восемнадцать рублей.

— Это плохая шутка, барон.

— Друг мой, с тех пор, как я стал консулом, я уже перестал шутить; да притом, можно ли шутить с четырьмя тысячами рублей жалованья, когда одна только шляпа стоит восемнадцать рублей?

— Так вот почему вы носите фуражку?

— Именно по этой причине я сделал из формы дипломатический вопрос; повсюду, за

исключением нескольких домов, я хожу в фуражке. Благодаря этому уповаю, что одна шляпа прослужит мне три года.

— Поэтому и я могу воспользоваться вашей шляпой?

— Просите у меня все, что хотите: мой дом, стол, мое сердце, все к вашим услугам; но не просите у меня шляпы: моя шляпа для меня то же, что жалованье для маршала Сульта[217], я расстанусь с ней разве только тогда, когда расстанусь с жизнью.

— В таком случае разве я не могу идти в фуражке?

— По какому праву, скажите? Разве что в качестве консула?

— Не имею этой чести.

— Разве вы секретарь первого, второго или третьего класса?

— О! Никогда не имел никаких классов.

— В таком случае шляпу…

— Но, — робко перебил я, — не могу ли я надеть папаху? У меня есть папаха.

— Есть у вас какое-нибудь форменное платье?

— Никакого, даже академического.

— Очень жаль, потому что при академической форме папаха произвела бы большой фурор.

— Друг мой, я лучше откажусь от театра.

— Но я не отказываюсь от вас. Я обещал вас всем моим знакомым женщинам, все уже знают, что в Тифлисе с вами случилось несчастье; знают, что вы преуморительный человек — как вы догадываетесь, я люблю немного преувеличивать. Короче говоря, вас ждут. Впрочем, знаете, как это произошло?

— Что?

— Обнажение вашего черепа.

— Нет.

— Так знайте, что это ваша вина: уже целый месяц ждут вас в Тифлисе наши княгини — как и жена недавнего вашего парикмахера, величайшие обожательницы ваших сочинений. Вот они и подумали, что после продолжительного путешествия вам не избежать стрижки волос. Вы очутились в положении Пипеле[218], любезный друг; вы попали в руки того, кто больше всех имел прав на ваши волосы, поэтому он не подрезал их чуть-чуть, а просто состриг до последней крайности. Берите же восемнадцать рублей и идемте покупать шляпу.

— Нет, нет и нет, тысячу раз нет; я предпочитаю заказать себе форменное платье и носить папаху, в папахе люди не увидят, что у меня нет волос.

— Тогда другое дело: форменное платье вам будет стоить двести рублей.

— Ну, как я теперь вижу, нет средств избавиться от этого; вы логичны как Тройное правило.

— О! Есть идея, — Фино указал на вошедшего хозяина, — Зубалов большой щеголь, и у него целая коллекция шляп, он вас снабдит одной из них, вместо того, чтобы покупать какую-нибудь дрянь за восемнадцать рублей.

— С удовольствием, — сказал Зубалов, — но у господина Дюма голова больше моей.

— Была, хотите вы сказать, любезный друг; но с тех пор, как ее постигло несчастье, на нее можно надевать всякие шляпы.

— Однако… — произнес я, не решаясь еще принять предложение.

— Да соглашайтесь же, — сказал Фино, — шляпа, которую вы будете носить, сделается святыней, будет переходить от отца к сыну, останется в семействе и будет висеть на стене между «Сожалением» и «Воспоминанием» Дюбуфа.

— С этой точки зрения, я не могу отказать столь любезному хозяину в

---

217 Дье Сульт Никола-Жан (1763–1851) — наполеоновский маршал.

218 Пипеле — персонаж романа Эжена Сю «Парижские тайны» (1842). Имя Пипеле стало нарицательным.

засвидетельствовании моей признательности.

И в самом деле, г-н Зубалов принес такую, которая мне шла как нельзя лучше, словно была сделана специально для меня.

— Теперь, — заявил Фино, — на дрожки и в театр.

— Как? Нужны дрожки, чтобы переехать улицу?

— Во первых, вы забываете, что я приехал из дому; во-вторых, разве вы не замечали переселяясь в дом Зубалова, что шел небольшой дождь? Этого достаточно, чтобы грязь была по щиколотки; если дождь продолжится, то завтра грязь будет по колено; если же он будет упорствовать, то послезавтра грязь станет по пояс. Вы еще не имеете понятия о тифлисской грязи; прежде, чем вы покинете столицу Грузии, вы обязательно познакомитесь с нею; случается, что она достигает рессор экипажа и тогда вы вынуждены подниматься на скамью, как Автомедон.

Когда вы подъезжаете к нужному дому, вам перебрасывают доску, и таким образом вы наносите свои визиты, переходя по висячему мосту. Представьте себе, что 28 августа 1855 г.,[219] была буря: о ней говорю потому, что она самая крупная за эти годы. Грязь сошла с горы такими водопадами, — здесь, кроме обыкновенной грязи, принадлежащей собственно улицам, есть грязь путешествующая, — сошла такими водопадами, что около тридцати домов было разрушено, шестьдесят два человека потонуло и несколько дрожек унесено в реку. Однако посмотрим, существуют ли еще наши у ворот.

Дрожки стояли на месте; мы сели на них и через десяток секунд входили в фойе театра.

Глава XXVIII
Театр. Базары. Сирота

Признаюсь, начиная с самого вестибюля, я был поражен простотой и в то же время характерностью орнаментов: можно было подумать, что входишь в коридор театра Помпеи. В верхнем коридоре орнамент изменяется, делается арабским.

Наконец мы вошли в зрительный зал. Зал — это дворец волшебниц — не по богатству, но по вкусу; в нем, может быть, нет и на сто рублей позолоты; но без зазрения совести скажу, что зал тифлисского театра — один из самых прелестных залов, какие я когда-либо видел за мою жизнь. Правда, миленькие женщины еще более украшают прекрасный зал, и с этой стороны, как и в отношении архитектуры и других украшений, тифлисскому залу, благодарение богу, желать уже нечего.

Занавес очарователен: в центре рисунка возвышается основание статуи, на котором нарисована группа, представляющая с левой стороны от зрителя Россию, а с правой — Грузию. Со стороны России Санкт-Петербург и Нева, Москва и Кремль, мосты, железные дороги, пароходы, цивилизация, — все эти образы потом теряются в так называемой мантии Арлекина.

Со стороны Грузии виднеется Тифлис со своими развалинами крепостей, базарами, откосами скал, с яростной и непокорной Курой, чистым небом и, наконец, со всем своим очарованием.

У основания пьедестала, со стороны России, — крест Константина, рака св. Владимира, сибирские меха, волжские рыбы, украинские хлебные продукты, крымские фрукты, т.е. религия, земледелие, торговля, изобилие.

Со стороны Грузии — роскошные ткани, великолепное оружие, ружья с серебряной оправой, отделанные слоновой костью и золотом кинжалы, шашки с золотой или серебряной насечкой, кулы из позолоченного серебра, мандолины (род лютни), украшенные

---

[219] 1 сентября 1857 года газета «Кавказ» (№ 68, с. 34) сообщила: «28 августа вечером в восемь часов над нашим городом разрешилась гроза со страшным ливнем и градом… под развалинами домов, смытых потоками ливня, стремившегося с Мтацминды, погребено больше пятнадцати человек… нескольких еще не находят и продолжают еще до сих пор откапывать занесенные илом и грязью дворы и строения».

перламутром, барабаны с медными бубенчиками, зурны из черного дерева, т. е. парады, война, вино, танцы, музыка.

Признаюсь, лестно быть потомком Рюрика, иметь самодержавных предков, царствовавших в Стародубе, производить свое имя от Гагара Великого, являться при дворе и в салонах под именем князя Гагарина; но если бы сказали князю Гагарину: «Вам надо отказаться или от вашего княжества с коронованными предками, или от вашей кисти», — думаю, что князь Гагарин сохранил бы за собой кисть, называясь г-ном Гагариным безо всякого титула. Художники такого дарования трудятся для того только, чтобы называли их просто Микельанджело, Рафаэль, Рубенс.

Этот очаровательный занавес взвился при первом акте оперы «Ломбардцы»[220], посредственной и скучной, но прекрасно исполненной девицей Штольц, молодой примадонной двадцати лет от роду, которая дебютирует в тифлисском театре, чтобы перейти потом на сцену театров Неаполя, Флоренции, Милана, Венеции, Парижа и Лондона, а также артистами Массини и Бриани. Существование подобной труппы в Тифлисе приводит в удивление. Я сожалел только о двух вещах: о том, что не играли «Вильгельма Телля» вместо «Ломбардцев» и что князь Гагарин, в бытность свою здесь, сам не занялся декорациями в одно время с возведением зрительного зала.

После отделки передней ада, как называют театр, князь Гагарин принялся за портик рая, называемый церковью. Кафедральный собор в Тифлисе украшен живописью этого великого художника подобно тифлисскому театру, если не лучшему, то по крайней мере одному из самых лучших театров мира.

Сионский собор, конечно, один из элегантнейших храмов в России. Слово «элегантный» покажется, может быть, странным нашим читателям, привыкшим к мрачному и таинственному величию католических церквей; но греческие церкви, все украшенные золотом, серебром, малахитом и лазуревыми камнями, не могут иметь притязания на важную и печальную сторону католического богослужения.

В Тифлисе не делают, как в Италии, визитов в ложи; это связано с тем, что — за исключением авансцены и трех первостепенных лож, находящихся посредине галереи и обращенных лицевой стороной к театру — все ложи открыты. Это единственный недостаток — не архитектуры, но услужливости благородного художника: женщина делается еще красивее, когда ее лик виден на красном или гранатовом фоне в золотой раме; но, конечно, артист думал, что грузинские дамы не нуждаются в этой искусственности.

Фино, по окончании спектакля, привел меня домой. Он был прав: мелкий дождь продолжался, и грязь увеличивалась. Он оставил меня, предупредив, что на другой день заедет за мной, чтобы показать базары и представить в двух или трех домах.

На другой день в десять часов утра, Фино, точный как пушка, возвещающая в Тифлисе полдень, прибыл на дрожках к подъезду дома Зубалова. Накануне вечером мы записали свои имена у князя Барятинского, и наместник его императорского величества на Кавказе велел сказать, что он примет нас на следующий день в три часа. Посланец добавил, что князь Барятинский имеет передать г-ну Дюма очень важное письмо. Поэтому у нас еще была возможность осмотреть караван-сарай, пройтись по базарам, сделать два или три визита и возвратиться на квартиру, чтобы, переодевшись, потом отправиться к князю.

Главный караван-сарай в Тифлисе построен армянином[221], который за одну землю, шириной в восемь, длиной в сорок саженей заплатил восемьдесят тысяч франков. Из этого видно, что в Тифлисе, где впрочем земли довольно, она нисколько не дешевле других

---

220 Дюма мог слушать оперу «Ломбардцы» только 14 декабря 1858 года — в другие дни в период его пребывания в Тифлисе ее не давали.

221 Владельцем караван-сарая был Габриэль Тамамшев, построивший его в 1847–51 годах. В 1930-х годах караван-сарай был разрушен.

предметов.

Этот караван-сарай представляет интересное зрелище. Через все его ворота входят и выходят с верблюдами, лошадьми и ослами представители всех наций Востока: турки, армяне, персияне, арабы, индийцы, китайцы, калмыки, туркмены, татары, черкесы, грузины, мингрельцы, сибиряки и бог знает кто еще! У каждого свой тип, свой костюм, свое оружие, свой характер, своя физиономия и, особенно, свой головной убор — предмет, который менее всего затрагивает изменения моды.

Два здания караван-сарая являются вспомогательными и имеют гораздо меньшее значение; за проживание в этих гостиницах ничего не платится: там живут вместе и сибиряк из Иркутска, и перс из Багдада; все торговые представители восточных народов там составляют один класс, одну общину; хозяева взимают по одному проценту с товаров, сложенных в магазины, в случае продажи. К этим базарам сходится сеть торговых улиц, совершено отделенных от аристократической части города.

Каждая такая улица имеет как бы свою специализацию. Не знаю, как эти улицы называются в Тифлисе, да и имеют ли они названия, но я назвал бы их порознь улицей серебряников, улицей скорняков, улицей оружейников, овощников, медников, портных, сапожников, мастеров по изготовлению папах и туфель. Особенность тифлисской туземной торговли, — так я называю торговлю татарскую, армянскую, персидскую, грузинскую, заключается в том, что сапожник не шьет башмаков, башмачник не делает туфель, туфельщик не шьет папахи, а мастер папушник производит одни только папуши. Кроме того, сапожник, выделывающий грузинские сапоги, не шьет черкесских. Почти для каждой части одежды каждого народа существует своя промышленность. Таким образом, если вы хотите заказать шашку, сперва достаньте клинок, заказывайте рукоятку и ножны, покупайте для них кожу или сафьян, наконец делайте серебряную оправу для рукоятки; и все это отдельно, все это у разных торговцев, для чего надо ходить из магазина в магазин.

Восток решил великую торговую проблему запрещения посредничества; без сомнения это дешевле, но эта экономия существует только в стране, где время не имеет никакой цены. Американец не дожил бы от нетерпения даже до конца первой недели своего пребывания в Тифлисе.

Внешняя сторона всех лавок открыта, купцы работают на виду у прохожих. Мастера, которые имели бы секреты какого-либо искусства, были бы очень несчастны на Востоке.

Нет ничего любопытнее, чем путешествовать по этим улицам; чужеземцу это не надоедает. Я ходил туда почти ежедневно. Вот почему наша живописная прогулка продолжалась долее, чем мы предполагали — было уже почти два часа, когда мы вспомнили о наших визитах.

Мы возвратились переменить сапоги и панталоны (рекомендую мой костюм с большими сапогами путешественникам, которые посетят Тифлис после меня) и потом отправились к князю Дмитрию Орбелиани.

Я уже говорил о происхождении Орбелиани; они князья не Священной империи, а Поднебесной[222] предки их пришли из Китая в Грузию, если не ошибаюсь, в V столетии. Начало истории семьи восходит к великому потопу. Какой-то человек плывет по поверхности безмерного водяного пространства и показывает Ною огромный свиток, чтобы быть принятым в ковчег. То — предок князя Орбелиани. Свиток означает патент на его благородное происхождение. Князь Дмитрий Орбелиани знает молитву, заколдовывающую змей, и владеет тем знаменитым камнем или, лучше сказать, талисманом, который делает правдоподобной молву о чудесном индийском безоаре. Этот камень перешел к нему от предпоследнего грузинского царя Ираклия, дочерью которого была его мать, это драгоценное наследство, которым он спас многих.

---

[222] Имеется в виду Священная Римская империя. Поднебесной же империей назывались различные крупные китайские царства.

Княгине Орбелиани сорок лет; она была, как видно, одной из первых красавиц в Тифлисе; пудра, которую она употребляет, как я полагаю, из кокетства, придает ее облику вид аристократки XVIII столетия. Мне никогда не случалось встречать знатную даму с такой важной наружностью, какую имеет она. Если вы встретите княгиню Орбелиани на улице и пешком, то вы невольно поклонитесь ей, не будучи с ней знакомы. Один ее вид заставляет вас оказывать ей должное почтение. Она мать одной из самых милых, резвых, остроумных и очаровательных молодых дам в Тифлисе, — госпожи Давыдовой-Граммон.

Среди представителей этой прекрасной княжеской семьи бегала девочка, с которой обходились как с членом семьи.

— Посмотрите на эту девочку, — тихо сказал мне Фино, я расскажу о ней любопытную историю.

Может быть желание поскорей узнать эти любопытные вещи сократило мой визит. Я встал, напомнив, Фино, что мы должны в три часа быть у князя, и вышел.

— Итак, — спросил я барона, — что же это за девочка?

— Вы хорошо рассмотрели ее?

— Да, это милый ребенок; но она показалась мне простого происхождения.

— Да, простого, если только простое происхождение не уравновешивается некоторыми высокими качествами.

— Любезный друг! Вы крайне заинтриговали меня этим, поскорее же расскажите историю ребенка.

— Тогда слушайте: история коротка и должна быть изложена с самой безыскусной простотой.

Мать девочки, беременная ею, и ее семидесятилетняя бабушка были взяты в плен лезгинами. Благодаря усилиям всего семейства успели собрать сумму, требуемую Шамилем за выкуп. Обе женщины отправились на родину: мать была уже с четырехмесячным грудным ребенком, которым она разрешилась еще в плену; но бабушка на пути по неприятельской стране умерла и перед смертью умоляла дочь не оставлять ее тела в неверной земле. Ее дочь думала, что дело это чрезвычайно простое и что, выкупив мать живой, она имела право унести ее с собой и мертвую.

Горцы же имели на сей счет иное мнение и оценили труп старухи в шестьсот рублей. Дочь, сколько ни просила, сколько ни умоляла их, не получила желаемого. Тогда она, поклявшись всем, что есть святого, обещала горцам доставить требуемый выкуп или возвратиться к ним невольницей. Те отказались, объявив, что они согласятся отдать ей тело матери только с тем условием, если она оставит им в залог своего ребенка. Любовь дочери превозмогла материнскую любовь. Она покидала своего ребенка с горькими слезами и с глубокой тоской, но наконец все-таки оставила его, прибыла в Тифлис, похоронила мать в родной земле, согласно желанию старухи, и так как ее семейство совершенно разорилось от первого выкупа, она, одевшись в траур, стала ходить из дома в дом и просить подаяния, чтобы таким образом собрать шестьсот рублей, которые требовали от нее лезгины для возвращения дочери.

Эта сумма была собрана в одну неделю. Она не хотела медлить ни одного часа и, отправившись пешком, прибыла в аул, где находился ребенок. Но там от глубокой душевной печали и сильного телесного изнурения она упала, чтобы больше никогда уже не встать. Мученица скончалась на третий день. Лезгины, верные своему обещанию, взяли шестьсот рублей и возвратили мать и дочь русскому кордонному начальнику. Мать была похоронена, а ребенок передан экзарху[223].

Вот это — та самая сиротка, которую вы видели у княгини Орбелиани, взявшей ее к себе в дочери.

---

223 Экзархом Грузии в этот период был Евсевий.

Глава XXXIX
Письмо

Ровно в три часа мы явились к князю Барятинскому. Князь носит одно из самых славных русских имен; он ведет свой род от святого Михаила Черниговского — Рюрикова потомка в двенадцатом колене и святого Владимира — в восьмом.

Но князь Барятинский всем обязан самому себе.

При императоре Николае он впал в немилость — может быть, из-за особой дружбы с наследником престола.

В звании поручика Барятинский прибыл на Кавказ, где ему было предназначено судьбой со временем сделаться полномочным правителем, командовал сотней линейных казаков, потом батальоном, а после Кабардинским полком. В бытность свою командиром этого полка, он выучил тех знаменитых кабардинских охотников, с которыми в Хасав-Юрте мы предприняли уже рассказанную нами ночную экспедицию — сделался начальником штаба при Муравьеве[224], затем уехал в Санкт-Петербург и наконец, с восшествием на престол нового государя, возвратился в Тифлис полным генералом и кавказским наместником.

Ему сорок два года, у него красивая внешность и чрезвычайно приятный голос, которым он очень остроумно рассказывал нам, как свои собственные воспоминания, так и всякие анекдоты; он приветлив и милостив, хотя и очень большой боярин, — я должен это подчеркнуть, потому что он на самом деле большой боярин. Эта кротость не исключает в нем громадной энергии, когда представляется к тому случай, как сейчас это увидим.

Еще полковником князь Барятинский предпринял экспедицию против одного аула. Как правило, эти походы планируют на лето, но тут князь отправился в поход зимой при пятнадцати градусах мороза, и он имел на то свои причины. Летом горцы удаляются в лес и спокойно выжидают, пока русские очистят их аулы, что русские всегда в таких случаях делают; потом горцы снова возвращаются и восстанавливают аул, если русские сожгли или разрушили его. Зимой же при пятнадцатиградусном морозе случилось иначе. Горцы, побыв с неделю на биваках в лесу, пришли в крайнее изнеможение и заявили о своей покорности.

Князь Барятинский принял их предложение. На площади аула горцы сложили ружья, кинжалы и шашки — получилась здоровенная куча. Потом горцев, этих непримиримых дотоле врагов, собрали вместе и предложили им принять присягу на верность русскому императору. После этого князь велел возвратить им оружие, что и было выполнено.

Но это еще не все; князь произнес такую речь «Вот уже целая неделя, как по вашей милости ни мои солдаты, ни я не спим; я хочу спать, а так как мои люди утомлены, то вы будете охранять меня». И князь Барятинский отпускает русских часовых, ставит чеченских часовых у входа и внутри своего жилища и спит или притворяется спящим на протяжении шести часов, под защитой своих врагов. Ни один из них не осмелился изменить данной клятве.

Князь принял нас в небольшом зале, убранном по-персидски с необыкновенным вкусом одним из лучших русских писателей графом Соллогубом, зале, украшенном чудным оружием, серебряными вазами самой красивой формы и дорогой цены, грузинскими музыкальными инструментами, оправленными в золото и серебро, и притом все это сияет подушками и коврами, вышитыми грузинскими дамами, теми прелестными ленивицами, которые берут иглу в руки только для того, чтобы украсить золотыми и серебряными звездами седла и пистолетные чехлы своих мужей.

Князь давно ожидал меня. Я уже сказал, что было дано приказание по всему краю

---

224 Николай Николаевич Муравьев-Карский (1794–1866) — генерал от инфантерии. В 1854–56 годах — кавказский наместник, руководил взятием Карса (1855). Сторонник отмены крепостного права. Брат декабриста Александра Муравьева (1792–1863) и графа Михаила Муравьева (1796–1866), прозванного за жестокое усмирение польского восстания 1863 года «вешателем».

принимать меня либо как аристократа царских кровей, либо как артиста — как заблагорассудится. Когда мы прибыли к князю, то были еще более вознесены в глазах окружающих графинею Ростопчиной, от которой он передал мне письмо или, лучше сказать, целый пакет. Князь продержал нас у себя целый час и пригласил к себе на обед на тот же день.

Было уже четыре часа, — а обед должен был начаться в шесть. Я едва имел время прийти домой и прочитать то, что писала несчастная графиня. Я находился в творческой переписке с графиней еще до моего знакомства с ней в Москве. Когда ей сообщили о моем приезде, она специально прибыла из деревни и прислала сказать мне, что ожидает меня. Я поспешил к ней и нашел ее очень больной и в мрачном расположении духа, в первую очередь из-за того, что болезнь, которой она страдала, была смертельна. Признаюсь, что она произвела на меня грустное впечатление: ее лицо, всегда прелестное, уже несло первый отпечаток, которым смерть заранее обозначает свои жертвы, — жертвы, к которым она, по-видимому, питает тем большую жадность, чем драгоценнее их жизнь.

Я пришел к ней с альбомом и карандашом, желая записать политические и литературные воспоминания: политические — о ее свекре, знаменитом графе Ростопчине, который всю жизнь боролся с обвинением в сожжении Москвы, обвинением, которое, хотя он его постоянно отражал, вновь, как Сизифов камень, обрушивалось на него. Однако я не получил никаких заметок, а проговорил с ней все свидание. Разговор почтенной больной был увлекателен. Она обещала прислать мне все, что считала достойным моего любопытства; и так как я по прошествии почти двух часов хотел удалиться, видя, что она утомлена этим продолжительным разговором, она взяла мой альбом и на первой странице написала следующие слова:

«Никогда не забывайте русских друзей и в числе их Евдокию Ростопчину. Москва. 14/26 августа 1858».

И на самом деле, через несколько дней она прислала мне свои записки из деревни, куда она возвратилась на другой день после нашего свидания. Эти записки сопровождались письмом, которое привожу полностью, дабы дать представление об уме этой доброй, тонкой и поэтичной души, с которой я общался всего лишь день, но которую не забуду никогда.

Она писала по-французски в стихах и в прозе, как наши самые известные писательницы.

«Вороново, понедельник, 18/30 августа 1858.

Душечка моя, Дюма! (что означает это маленькое сугубо русское слово, я вам, разумеется, не скажу хотя бы для того, чтобы заставить вас поискать его в словарях.)

Вы видите, что я женщина, которая держит слово и владеет пером, ибо сообщаю вам новости о себе и повторяю слова в оправдание моего свекра касательно пожара Москвы, пламя которого так жестоко жгло его в этом мире, что, надеюсь, через это он удостоился права избавиться от пламени ада. Остальное придет в свое время.

При моем возвращении сюда, я была принята почти как Каин после приключения с Авелем. Семейство бросилось ко мне, спрашивая меня, где вы были, что я с вами сделала и почему не привезла к себе — до такой степени все были убеждены, что это желанное похищение непременно должно было совершиться. Муж и дочь крайне сожалеют, что не могли видеться с вами; мне позволили ехать только с условием, что я возвращусь с вами, — признаюсь вам в этом теперь: так было плачевно состояние моего здоровья.

У меня просили всевозможных подробностей о вашей личности: хотят знать, похожи ли вы на свои портреты, свои книги и на образ, который они составили о вас; в общем, все мое семейство, подобно мне, очень занято нашим знаменитым и дорогим путешественником.

Дорога очень расстроила меня, и лихорадка идет своим чередом, что, однако, не мешает мне сжать всеми моими слабыми силами ту могучую руку, которая в открытом состоянии сделала столько добра, а в закрытом написала столько прекрасного, и возвратить собрату, и даже брату, поцелуй, который он запечатлел на моем челе.

До непременного свидания, если не на этом свете, то в будущем.

Ваш друг с тридцатилетним стажем. *Евдокия Ростопчина* ».

Письмо, которое она мне обещала, записки, которые она в свое время должна была прислать мне передал мне с очаровательной простотой князь Барятинский императорский наместник, взявшийся быть посредником между двумя художниками.

Второе письмо было еще более меланхолическим, нежели первое. Между 18/30 августа и 27/10 сентября несчастная графиня еще на несколько шагов приблизилась к могиле.

«Вороново, 27/10 сентября 1858 г.

Вот, милый Дюма, обещанные записки: во всякое другое время для меня было бы очень приятно составить их для вас и передать новому другу мои воспоминания о двух старых друзьях; но в эту минуту нужны особые усилия, чтобы я могла окончить это маранье. Вообразите, что я более чем когда-либо не здорова, чувствую такую слабость, что не могу вставать с постели и ощущаю такой хаос в голове, что едва сознаю себя. Впрочем, не сомневайтесь в правдивости даже малейших подробностей, сообщаемых мной — они были продиктованы памятью сердца, которая, поверьте мне, переживет память ума. Рука, которая передаст вам это письмо, будет служить вам доказательством того, что я вас отрекомендовала.

Прощайте! Не забывайте меня. *Евдокия.*

Я перечитываю свое письмо и нахожу его глупым. Можно ли писать вам о таких незначительных вещах? Вероятно, вы найдете меня достойной извинения, а именно потому, что не буду более существовать или буду при смерти, когда вы получите это письмо».

Признаюсь, что это письмо болезненно сжало мое сердце. Входя к добрым друзьям, у которых я жил в Петровском парке, я сказал: «Бедная графиня Ростопчина! Через два месяца она умрет».

Горестное пророчество! Не знаю, сбылось ли оно в точности?

Я тяжело и печально вздохнул о несчастной графине и стал читать присланные ею записки, которые касались преимущественно Лермонтова — первого русского поэта после Пушкина, некоторые даже ставят его выше Пушкина. Так как Лермонтов, в основном, поэт Кавказа, куда он был сослан, где он писал, сражался и, наконец, был убит, то мы воспользуемся этим случаем, чтобы сказать несколько слов об гениальном человеке, которого я первый познакомил с моими соотечественниками во Франции, издав в «Мушкетере» перевод его лучшего романа: «Печорин, или Герой нашего времени»[225].

Вот текст записок, присланных мне в Тифлис графиней Ростопчиной: стихи же, помещенные там, будут переведены мной позже.

«Михаил Юрьевич Лермонтов.

Лермонтов родился в 1814 или 1815 году в богатом и почтенном семействе. Потеряв в малолетстве отца и мать, он был воспитан бабушкой со стороны матери; г-жа Арсеньева женщина умная и достойная, питала к своему внуку самую безграничную любовь; она ничего не жалела для его образования; четырнадцати или пятнадцати лет он уже писал стихи, которые далеко еще не предвещали будущего блестящего и могучего таланта.

Созрев рано, как и все современное ему поколение, он уже имел умозрительные представления о жизни, не зная о ней ничего реального: вот пример, когда теория вредила практике. Он не пользовался ни прелестями, ни счастьем молодости. Помимо этого, одно обстоятельство оказало влияние на его характер и продолжало иметь печальное и огромное влияние на всю его будущность. Он был очень безобразен собой и это внешнее безобразие, которое позже уступило власти внутренней сущности личности и почти исчезало, когда вдохновение озаряло его простые черты, было главнейшим фактором, повлиявшим на него в отрочестве. Это же безобразие дало направление уму, вкусу и манерам молодого человека с пылкой головой и с безмерным честолюбием. Зная, что он не может нравиться, он хотел

---

225 В 1855 году в издаваемом Дюма «Мушкетере» (№ 23–49) был напечатан «Герой нашего времени» в переводе Э. Шефтера. В 1856 году уже упоминавшийся Ксавье Мармье, побывавший в 1842 году в России, выпустил свой перевод «Героя…» (но без предисловия и «Фаталиста»).

прельстить или устрашить, и представлял себя Байроном, бывшим тогда в моде. Дон Жуан был не только его героем, но и образцом: таинственное, мрачное, саркастическое было предметом его стремлений. Эта детская забава оставила неизгладимые следы в его стремительном, впечатлительном воображении; постоянно мня себя Ларой и Манфредом, он свыкся с этим положением. Я два раза видела его в то время на детских балах, где я прыгала, как настоящий ребенок, между тем, как он, в моем возрасте или даже моложе меня, любезничал с моей кузиной, большой кокеткой, с которой он находился, как говорят, в игре вдвоем.

Никогда не забуду еще то страшное впечатление, какое произвел на меня этот мальчик, морщившийся, как старик, и опередивший возраст страстей посредством трудолюбивого подражания им. Я была наперсницей этой кузины[226], которая показывала мне стихи, написанные Лермонтовым в ее альбом. Я находила их дурными, в первую очередь потому, что они были несправедливы.

Я была тогда в восторге от Шиллера, Жуковского, Байрона, Пушкина, и сама делала попытки в поэзии. Я написала оду Шарлотте Корде[227], но имела благоразумие спустя некоторое время сжечь ее.

Тогда я вовсе не искала знакомства с Лермонтовым, который казался мне мало симпатичным. Он значился в благородном пансионе, фактически являвшимся приготовительной школой при Московском университете. Потом он вступил в школу гвардейских подпрапорщиков. Там его жизнь приняла другой оборот.

Будучи колким, насмешливым и хитроумным, он усердно занимался всякого рода проказами, шутками и насмешками. Вместе с тем, одаренный самым блистательным умом в разговоре, богатый и независимый, он сделался душой общества знатной молодежи. Он был затейником удовольствий, веселой болтовни, сумасбродных гуляний и всего того, что составляет жизнь в этом возрасте.

Из школы он поступил в гвардейский стрелковый полк, один из самых блистательных и отборных. И там живость, ум, пыл, озорство вновь поставили Лермонтова во главе его сотоварищей. Он легко сочинял стихи о самых обыкновенных предметах своей лагерной или казарменной жизни. Эти сочинения, которых я не читала, так как они писались не для женщин, отличаются всей горячностью и всем сверкающим пылом. Так как он давал всем прозвища, то справедливо было, чтобы и он имел свое: общеизвестный тип, с которым он имел большое сходство, прибыл к нам из Парижа, откуда все к нам приходит. Этот тип был горбатый Майо. Лермонтова назвали Майо по причине его маленького роста и большой головы, что придавало ему некоторое сходство с горбуном.

Веселая молодецкая жизнь, которую он вел довольно размашисто, не препятствовала ему бывать в обществах, где он получал удовольствие кружить головки, оставлять их, расстраивать будущие браки, вмешиваясь в них с притворной страстью. Казалось, он старался доказать самому себе, что женщины могли любить его, несмотря на его малый рост и безобразие. Я имела случай слышать признания многих из его жертв и не могла не смеяться даже в лицо над словами моих подруг, над оригинальным оборотом и комической развязкой, которые он давал своим дон-жуанским и даже злодейским экспериментам.

Однажды, помнится мне, вздумалось ему отбить одного богатого жениха, и когда, по отъезде последнего, думали, что Лермонтов готов заступить его место, родственники невесты вдруг получили анонимное письмо, которое заклинало их не пускать в будущем к себе Лермонтова в дом и рассказывало о нем тысячи мерзостей. Это письмо было написано им самим и с тех пор он не показывался в этом доме.

Тем временем Пушкина не стало. Лермонтов, раздраженный, как и вся русская

---

[226] Речь идет о Екатерине Александровне Сушковой (Хвостовой) (1812–1868).

[227] Шарлотта Корде (1768–1793) — убийца Марата.

молодежь, против дурной части света, натравливавшей соперников друг на друга, написал стихотворение, посредственное, но очень горячее, и адресовал его самому императору. В это время умы были возбуждены и поэтому поступок, естественный для этого молодого человека, был истолкован предосудительно. В результате начинающий поэт, вступившийся за погибшего собрата по перу, был посажен на гауптвахту, а затем переведен в полк на Кавказе. В конечном итоге, это несчастье, вызвавшее столько переживаний у лермонтовских друзей, принесло ему пользу.

Вырванный из среды бесцельной петербургской жизни, имевший перед собой строгую обязанность и постоянную опасность, перенесенный на театр постоянной войны, в новую страну, прекрасную до великолепия, принужденный погрузиться в самого себя, поэт вырос вдруг и сильно развился. До тех пор его опыты, хотя и многочисленные, не выходили из ряда обыкновенных; с этой минуты он трудился и по вдохновению и из честолюбия для того, чтобы представить свету что-либо капитальное, — свету, знавшему его только по ссылке, и который еще ничего не читал из его творений. Здесь надо провести параллель между Пушкиным и Лермонтовым — поэтами.

Пушкин — весь порыв, весь — всплеск; мысль, вполне оформившаяся, выходит или лучше сказать, брызжет из его души и мозга. Потом он ее переделывает, исправляет и очищает, но она все-таки остается целой и совершенно определенной. Лермонтов же ищет, составляет, изобретает; рассудок, вкус, искусство указывают ему способы округлить свою фразу, усовершенствовать свои стихи, но первая мысль его всегда нестройная, неполная и истерзанная; даже ныне, в полном издании его стихотворений, встречается один и тот же стих, одна и та же идея, одно и то же четверостишие, вставленное в два совершенно различные произведения.

Пушкин сразу же отдавал себе отчет в подробностях и в целом самой короткой из отдельных пьес. Лермонтов же набрасывал на бумагу один или два стиха, какие ему приходили в голову, не зная, какое сделать из них употребление, и помещал их потом в сочинение, которому они, по его мнению, более соответствовали. Всего более он любил описание пейзажей; будучи сам хорошим пейзажистом, он дополнял живопись поэзией, но долгое время обилие предметов, производивших брожение в его мыслях, мешало ему привести их в порядок; только свободное время, и то урывками, на Кавказе доставило ему возможность совершенно владеть самим собой, а также — знание своих сил и стратегическую, так сказать, разработку своих разнообразных способностей; каждый раз как только он оканчивал, пересматривал и исправлял тетрадь своих стихотворений, он посылал ее к своим друзьям в Санкт-Петербург. Эта пересылка была причиной того, что мы должны оплакивать потерю некоторых из его лучших сочинений. Тифлисский курьер, часто преследуемый чеченцами или кабардинцами, подвергаясь опасности упасть в поток или в пропасть, переправляясь вброд, где иногда для спасения самого себя он бросает вверенные ему пакеты, утратил две или три таких тетради Лермонтова. В частности, это случилось с последней, которую Лермонтов послал было к своему издателю, но она затерялась, и у нас остались только наброски стихотворений, содержащихся в этой тетради.

На Кавказе юношеская веселость Лермонтова сменилась признаками мрачной меланхолии, которые, еще глубже тревожа его мысль, отметили все его стихотворения печатью еще более задушевной.

В 1838 году ему было дозволено возвратиться в Санкт-Петербург, и так как его талант уже соорудил ему пьедестал, то все поспешили оказать ему радушный прием. Несколько побед над женщинами, несколько салонных флиртов[228] накликали на него вражду мужчин; спор о смерти Пушкина поссорил его с г-ном Барантом, сыном французского посла.

[228] Наши читатели недостаточно представляют смысл глагола «флиртовать» и кому он адресован. Поначалу он касался молодых англичанок и американок в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет, потом возрастные границы расширились и сейчас стали очень неопределенными.

Прим. А. Дюма.

Назначена была дуэль, вторая между французом и русским за столь непродолжительное время; вследствие болтливости женщин, узнали о дуэли прежде ее осуществления, и чтобы прекратить эту международную вражду, Лермонтов был снова отправлен на Кавказ.

Самые лучшие и самые зрелые произведения нашего поэта начинаются со времени его второго пребывания в этой стране, воинственной и исполненной величественных красок. Непостижимым образом он вдруг превзошел самого себя и его великолепные версификации, его глубокие, великие мысли 1840 года, по-видимому, не принадлежат более молодому человеку, который еще только испытывал себя в предшествующем году. В нем он показывается всем более истинным и куда более уверенным в самом себе. Он знает себя и понимает лучше, чем прежде; мелочное тщеславие исчезает, и если поэт сожалеет о большом свете, то только потому, что оставил в нем друзей.

В начале 1841 года его бабушка г-жа Арсеньева исходатайствовала ему дозволение приехать в Санкт-Петербург для свидания с ней и принятия благословения, коим она, по причине своих престарелых лет и недугов, спешила наделить своего возлюбленного внука. Лермонтов прибыл в Санкт-Петербург 7 или 8 февраля, но по горькой иронии судьбы родственница его г-жа Арсеньева, жившая в отдаленной губернии, не могла встретиться с ним вследствие дурного состояния дорог, испортившихся от внезапной оттепели.

В это время я познакомилась с Лермонтовым, и в течение двух дней мы успели подружиться. Я имела одним другом больше, любезнейший Дюма; однако не будьте ревнивы: мы принадлежали к одной и той же партии, а потому встречались беспрестанно, с утра до вечера; это крайне сблизило нас, и я открыла ему все, что знала о шалостях его юности, и поэтому, вдоволь насмеявшись этому вместе, мы вдруг сделались такими друзьями, как будто были знакомы с самых молодых лет.

Три месяца, проведенные на этот раз Лермонтовым в столице, были, мне кажется, самыми счастливыми и блистательными в его жизни. В высшем обществе его принимали радушно, в кругу коротких знакомых любили его и лелеяли, утром он писал какие-нибудь прекрасные стихи, а вечером приходил к нам их читать. Его веселый характер пробуждался в этой дружеской сфере, каждый день он изобретал какие-нибудь проказы или какую-нибудь шутку, и мы проводили целые часы, помирая со смеху, благодаря его неиссякаемой живости.

Однажды он объявил нам, что прочтет нам новый роман, под названием «Штос». Лермонтов предполагал, что на это потребуется по крайней мере четыре часа. Он просит, чтобы все собрались пораньше вечером и чтобы дверь была заперта — прежде всего для чужих. Все поспешили повиноваться его желанию; избранных было тридцать человек. Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, лампа поставлена, дверь заперта, чтение начинается; через четверть часа оно было кончено. Неисправимый мистификатор завлек нас первой главой какой-то страшной истории, начатой им накануне и написанной на двадцати страницах. Остальная часть тетради состояла из белой бумаги. Роман на этом и остановился и никогда не был окончен.

Между тем срок его отпуска приближался к концу, а бабушка не приезжала. За него ходатайствовали об отсрочке, в которой сначала ему было отказано, но потом взято приступом высокими лицами. Лермонтову крайне не хотелось ехать; он испытывал дурные предчувствия.

Наконец, в конце апреля или в начале мая, мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему благополучного путешествия. Я была одна из последних, которые пожали ему руку.

Мы ужинали втроем за маленьким столом, с ним и с другим близким знакомым, который также погиб жестокой смертью в последней войне. На протяжении всего ужина и при расставании с нами Лермонтов только и твердил о своем близком конце. Я заставляла его молчать, стараясь смеяться над его необоснованными предчувствиями, но они против моей воли овладели мной и тяготили мое сердце.

Два месяца спустя они осуществились, и пистолетный выстрел похитил у России — во второй раз — одну из самых дорогих ее национальных знаменитостей. Всего прискорбнее

было то, что смертельный удар был нанесен на этот раз дружеской рукой.

По прибытии на Кавказ, в ожидании экспедиции, он отправился на воды в Пятигорск и встретился там с одним из друзей, которого он уже давно сделал жертвою своих насмешек и мистификаций. Он возобновил их, и в течение нескольких недель Мартынов был мишенью всех сумасбродных выдумок поэта. Однажды, в присутствии дам, увидав Мартынова вооруженным по черкесскому обычаю двумя кинжалами, что не шло к кавалергардскому мундиру, Лермонтов подошел к нему и вскричал со смехом: «Ах, Мартынов, как вы хороши в таком виде! Вы похожи на двух горцев».

Слова эти послужили каплей, которая переполнила чашу терпения; последовал вызов на дуэль, и на другой день оба друга были уже к ней готовы.

Напрасно свидетели пытались уладить дело; в него вмешалось предопределение.

Лермонтов не хотел верить что сражается с Мартыновым. «Неужели, — сказал он свидетелям, когда они передавали ему заряженный пистолет, — я должен целиться в этого молодого человека»?

Целился ли он или нет, но последовало два выстрела, и пуля противника смертельно поразила Лермонтова. Так кончил в возрасте 28 лет, и одинаковой смертью, поэт, который один мог вознаградить нас за безмерную потерю, понесенную нами в Пушкине. Странная вещь! Дантес и Мартынов, оба служили в кавалергардском полку… *Евдокия Ростопчина* .»

Я окончил чтение, когда за мной пришел Фино.

Было шесть часов. Мы сели на дрожки и отправились к князю. Общество наше было небольшое.

— Князь, — сказал я, вытаскивая письмо графини Ростопчиной из своего кармана, — прошу вас помочь мне прочитать название деревни нашего друга.

— Для чего? — спросил меня князь.

— Для того, чтобы ответить ей, князь; она написала мне премилое письмо.

— Как, вы не знаете?.. — удивился царский наместник.

— Что?

— Ведь она же умерла.

Глава XL
Цитаты

Теперь дадим читателю представление об одаренности человека, физический и нравственный портрет которого начертало живописное перо бедной графини Ростопчиной. Мужчины могут быть оценяемы и передаваемы мужчинами же, но они должны быть всегда рассказываемы женщинами.

Мы не будем долго выбирать, а просто возьмем наудачу из стихотворений Лермонтова некоторые, сожалея, что не можем познакомить наших читателей с его крупной поэмой «Демон», как познакомили их с его лучшим романом «Печорин», но гений его проявляется везде, и он может быть оценен лучше, благодаря переменчивости; которой он может подвергнуться, и формам, которые он может принять.

Вот стихотворение «Дума»: «Печально я гляжу на наше поколенье!..» Это плач, где, может быть, Лермонтов весьма мизантропически оценивает поколение, к которому принадлежал он сам[229].

Оставьте в стороне слабость перевода и увидите, что Байрон и де Мюссе не написали ничего более горького.

А вот стихотворение совершенно иного содержания: это разговор двух гор:

---

[229] Следует перевод названного стихотворения, интересный только для французских читателей и лишь на их языке.

Прим. Н. Г. Берзенова.

Шат-Эльбруса и Казбека — двух самых высоких вершин Кавказа после Эльбруса, если не ошибаюсь.

Шат-Эльбрус, расположенный в самой неприступной части Дагестана, уклонялся до сих пор от владычества России. Казбек, напротив, покорен ей с самого начала. Он ворота Дарьяла.

Владетели его в течение семисот лет брали дань с разных держав, последовательно владевших Кавказом, открывали и запирали им проход, смотря по тому, исправно или неисправно платили им дань. Отсюда начинается спор Шат-Эльбруса с Казбеком, спор, который без этого объяснения был бы, может быть, непонятен большинству наших читателей[230].

Здесь поэт находит способ быть в одно и то же время насмешливым и величавым, что чрезвычайно трудно, так как насмешливость и величие — качества, почти всегда взаимоисключающие одно другое.

В стихотворениях, которые мы сейчас приведем, бросается в глаза одна только меланхолия. Все эти стихотворения написаны им незадолго до смерти. Графиня Ростопчина обратила наше внимание на то, что Лермонтов предчувствовал свою скорую смерть; этим предчувствием проникнуто почти каждое его стихотворение[231].

Мы выписали из одного альбома стихотворение, которого нет в собрании сочинений Лермонтова, возможно, оно составляло часть той, последней посылки, которую потерял курьер:

LE BLESSE
Voyez-vous ce blesse qul se tord sur la terre?
Il va movrir ici? pres du bois solitaire?
Sans que de sa souffrance in seal coeur ait pitie?
Mais ce qui doublement fait saigner sa blessure?
Ce qui lui fait au coeur la plus apre morsure?
S' est qu'en se souvenant? il se sent oublie[232].

В том альбоме хранится стихотворение «Моя мольба», которое мы цитируем по памяти[233].

Многие стихотворения Лермонтова пользуются такой популярностью в России, что их можно увидеть на каждом рояле, и не найдется, быть может, ни одной девицы, ни одного молодого человека в России, который не знал бы их наизусть. Они написаны в подражание Гете или Гейне. Одно называется «Горные вершины». Его завершают такие строки:

---

230 Далее следует стихотворение М. Ю. Лермонтова «Спор» в переводе А. Дюма.

231 Далее следует стихотворение М. Ю. Лермонтова «Утес» и «Тучи» в переводе А. Дюма.

232 Вот подстрочный перевод этого стихотворения:
Раненый
Узрели ль вы несчастного,
Что в корчах пал на землю
Пред лесом опустевшим?
Никто не облегчит его печали,
А кровь сочится из больного сердца.
И он ушел в свои воспоминанья,
Поняв, что всеми позабыт давно.

233 Далее следует стихотворение М. Ю. Лермонтова «Моя мольба» в переводе А. Дюма.

Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Действительно, поэт скоро заснул, но поскольку желанная смерть довольно долго не являлась за ним, он искал ее, подобно древним рыцарям, которые, истосковавшись по родному делу, трубили в рог, чтобы вызвать противника. Один из этих вызовов именуется «Благодарность»[234], но его скорее можно называть «Благоговением»[235].

Мольба поэта была, наконец, услышана: через восемь дней его убили, эти стихи, в числе других бумаг, были найдены у него в столе после смерти.

Глава XLI
Бани

Целый день Фино твердил, что готовит к вечеру сюрприз. Только что полученное известие о смерти графини Ростопчиной не очень располагало меня к сюрпризам, и я желал бы иметь их в другое время. Но я был не один и предоставил Фино располагать остатком вечера. Мы сели на дрожки.

— *В баню!* — сказал он по-русски.

Я уже настолько знал по-русски, что понял Фино.

— *В баню?* — удивился я. — Мы едем *в баню?*

— Да, — отвечал он, — однако разве вы против этого?

— Против бани? За кого вы меня принимаете? Но вы говорили мне о сюрпризе, и я нахожу довольно дерзким, что, по вашему мнению, для меня будет сюрпризом — побывать в бане.

— Знакомы ли вы с персидскими банями?

— Только по слухам.

— Бывали когда-нибудь в них?

— Нет.

— Вот в этом-то и кроется сюрприз.

…Как ветер, мы неслись по ухабистым улицам. Они освещались ровно настолько, чтобы не дать рассеянным полуночникам свалиться в лужу.

На протяжении шестинедельного пребывания моего в Тифлисе случилось видеть не менее пятнадцати человек или хромых, или с перебинтованными руками, которых я встречал накануне с совершенно здоровыми ногами и руками.

— Что приключилось с вами? — спрашивал я.

— Представьте, вчера вечером, возвращаясь домой, мне пришлось ехать по мостовой, и я был выброшен из дрожек.

Таков неизменный ответ. Под конец я уже спрашивал об этом только из учтивости, и когда вопрошаемая особа отвечала: «Представьте, вчера вечером, возвращаясь домой…» — я прерывал ее:

— Вы ехали по мостовой?

— Да.

— И были выброшены из дрожек.

— Совершенно верно! Откуда вы знаете об этом?

---

[234] «Благодарность» датирована 1840 годом и не могла быть написана незадолго до гибели поэта. Стихотворение напечатано еще при жизни М. Ю. Лермонтова («Отечественные записки». № 6 за 1840 год). Что написал Лермонтов за восемь дней до роковой дуэли, неизвестна. В последние недели и месяцы перед смертью он создал несколько шедевров, среди которых «Пророк» и «Выхожу один я на дорогу».

[235] Далее следует стихотворение М. Ю. Лермонтова «Благодарность» в переводе А. Дюма.

— Догадываюсь…

И все поражались моей прозорливости…

Мы неслись как ветер, тоже рискуя подвергнуться позже роковому вопросу.

К счастью, перед тем местом, где крутой спуск больше всего беспокоил меня, мы обнаружили, что оно загромождено верблюдами, и поэтому извозчик поневоле должен был ехать шагом. Такая быстрота езды ночью по тифлисским улицам имеет неудобство для тех, кто на дрожках; но она имеет другое, большее неудобство для тех, кто идет пешком. Так как ни улицы, ни дрожки не освещены, и мостовая летом покрывается слоем пыли, а зимой слоем более или менее густой грязи, то пешеход, если он не снабжен фонарем, попадает под дрожки прежде, чем заподозрит это, а так как дрожки запряжены парой, то если он избавится от толчка одной лошади, так уж наверняка никак не избавится от толчка другой.

Мы потратили целую четверть часа, чтобы пробраться между верблюдами, которые имели ночью фантастический вид, свойственный только им одним.

Потом, минут через пять, мы прибыли к воротам бани. Нас ожидали: Фино еще с утра дал знать, чтобы нам приготовили номер.

Перс в остроконечной шапке повел по галерее, висевшей над пропастью, и потом через комнату, наполненную моющимися мужчинами. По крайней мере мне показалось так с первого раза, но, вглядевшись в них хорошенько, я заметил свою ошибку. Эта комната была полна моющимися женщинами.

— Я выбрал вторник — женский день, — сказал Фино: — Если готовить сюрприз друзьям, то надо сделать его в полном смысле слова.

В самом деле, сюрприз был не для этих дам, которые, казалось, вовсе не удивлялись, но для нас. Я с некоторой горечью заметил, что наше шествие посреди их решительно их не встревожило; две или три, к несчастью, старые и отвратительные, схватили простыню, получаемую каждым моющимся при входе в баню, и закрыли ею свое лицо. Я должен сказать, что они произвели на меня впечатление жутких ведьм.

В этой общей комнате было около пятидесяти женщин в рубашках и без рубашек, стоявших и сидевших, одевавшихся и раздевавшихся; все это исчезало в парах, подобных тому облаку, которое мешало Энею узнать свою мать. Неблагоразумно было бы остановиться, и притом я вовсе не желал этого.

Дверь в нашу комнату была отворена, и человек в остроконечной шапке просил нас войти.

Мы вошли.

Наша баня состояла из двух комнат: первая с тремя ложами, довольно большими, чтобы было можно лечь на них вшестером; вторая…

Но мы сейчас войдем во вторую.

Первая комната это предбанник, где раздеваются прежде, чем входить в баню, где ложатся, выход я из нее, и где снова одеваются, когда должны уходить отсюда.

Наш номер был великолепно освещен шестью свечами, вставленными в большой деревянный канделябр, стоявший на полу. Мы разделились и, взяв покрывала (конечно для того, чтобы закрыть ими свое лицо в случае, если бы пришлось проходить мимо женщин), вошли в баню.

Признаюсь, я вынужден был немедленно выйти оттуда; мои легкие были не в состоянии вдыхать эти пары. Я должен был привыкать к ним постепенно, притворив дверь предбанника и создав себе таким образом смешанную атмосферу.

Внутренность бани отличалась библейской простотой; она вся каменная, безо всякой выкладки с тремя квадратными каменными ваннами, различно нагретыми или, лучше сказать, получающими природно-горячие воды трех разных температур. Для моющихся устроены три деревянных ложа. В эту минуту я вообразил себя приехавшим на почтовую станцию.

Отчаянные любители прямо бросаются в ванну, нагретую до сорока градусов и храбро погружаются в нее. Умеренные любители идут в ванну, нагретую до тридцати пяти градусов.

Наконец новички боязливо и стыдливо погружаются в ванну, нагретую до тридцати градусов. Потом последовательно переходят от тридцати градусов к тридцати пяти, от тридцати пяти градусов до сорока. Таким образом, они едва замечают постепенное повышение температуры.

На Кавказе есть минеральные воды, температура которых доходит до шестидесяти пяти градусов; они полезны от ревматизма и употребляются только в виде паров. Моющийся лежит над ванной на простыне, четыре угла которой поддерживаются таким же числом людей. Мытье продолжается от шести до восьми-десяти минут; десять минут может выдержать только самый здоровый любитель бани.

В этом году самым плачевным образом погиб в одной из ванн армянский епископ. Стыдливость не дозволила ему поручить держать простыню, на которой он лежал, привычным к этому упражнению людям. Он заменил их четырьмя дьяконами. Один из них по неловкости или рассеянности выпустил из рук доверенный ему угол, епископ скатился вниз и упал в кипящую ванну. Слуги, громко закричав, пытались вытащить его оттуда, но при этом обожгли себе пальцы. На их крик прибежали банщики; они успели вытащить епископа из ванны; но уже было поздно: епископ сварился.[236]

Рискуя свариться, как епископ, Фино бросился в сорокаградусную ванну.

Да будет ведомо сатане: приготовить особый котел к тому дню, в который французский консул в Тифлисе будет принят в аду.

Я направил свои стопы к тридцатиградусной ванне и боязливо спустился туда. Потом я последовательно перешел без всякого опасения к тридцати пяти и сорока градусам. Когда я вышел из последней ванны, меня уже поджидали банщики. Они овладели мной в то время, как я менее всего этого ожидал. Я намеревался защищаться.

— Не сопротивляйтесь, — закричал Фино, — а то они переломают вам что-нибудь.

Если бы я это знал, то, может быть, стал бы сопротивляться; но не зная, в чем дело, я легко предал себя в их руки.

Два истязателя, уложили меня на одной из деревянных лавок, позаботившись подложить под голову специальную подушечку, и заставили протянуть обе ноги и руки во всю длину тела. Тогда они взяли меня за руки и начали ломать суставы. Эта операция началась с последнего сустава пальцев. Потом от рук они перешли к ногам; затем дошла очередь до затылка, позвоночника и поясницы. Это упражнение, которое, по-видимому, должно бы было наверняка вывихнуть члены, совершалось удивительно естественно, не только без боли, но даже с некоторым чувством удовольствия. Мои суставы, с которыми никогда не случалось ничего подобного, держались так, будто до того постоянно подвергались подобной ломке. Мне казалось, что меня можно было согнуть как салфетку и положить между двумя полками шкафа, и это нисколько бы не причинило мне боли. Окончив эту первую часть разглаживания членов, банные служители повернули меня, и в то время, как один вытягивал мне руки изо всей силы, другой плясал на моей спине, иногда скользя по ней ногами, с шумом хлопавшими об пол. Странно, что этот человек, который мог весить сто двадцать фунтов, на мне казался легким, как бабочка. Он снова влезал на спину, сходил с нее, потом опять влезал — и все это вызывало ощущение невероятного блаженства. Я дышал, как ни когда; мои мускулы нисколько не были утомлены, а напротив, приобрели или по крайней мере так казалось что приобрели, гибкость; я готов был держать пари, что могу поднять распростертыми руками весь Кавказ. Далее банщики стали хлопать меня ладонью по пояснице, по плечам, по бокам, ляжкам и икрам. Я сделался похожим на инструмент, на котором они исполняли арию, и эта ария мне казалась гораздо приятнее всех арий «Вильгельма Телля» и «Роберта-Дьявола». К тому же она имела большее преимущество

---

[236] Весь этот рассказ мы вправе отнести к числу небылиц, выдуманных необузданным воображением г-на автора. Или над ним пошутил кто-либо, он сам хотел без церемония надуть своих европейских читателей и состряпал небывалый анекдот.

Прим. Н. Г. Берзенова.

перед ариями из упомянутых мною двух почтенных опер: дело в том, что я никогда не мог спеть куплет «Мальбрука» без того, чтобы не сбиться десять раз с тону, между тем, в такт банной арии я качал головой и ни разу не сбивался. Я решительно был в состоянии человека, который грезит, хотя настолько уже пробудился, что знает, что он грезит, но, находя свой сон приятным, всячески старается полностью не пробуждаться.

Наконец, к моему великому сожалению, ломанье членов прекратилось, и банщики приступили к последнему этапу, который можно назвать мыльным. Один терщик взял меня под мышки и привел в сидячее положение, как делает Арлекин с Пьеро, когда он думает, что убил его. Другой же, надев на свою руку волосяную перчатку, стал натирать ею все мое тело, причем первый, черпая ведром воду из ванны с сорока градусами, выливал мне на поясницу и затылок.

Находя, что обыкновенной воды было недостаточно, человек с перчаткой вдруг взял какой-то мешочек; я вскоре увидел, что мешочек надулся и испустил мыльную пену, которой я покрылся с головы до пят. За исключением глаз, которые мне немного жгло, я никогда не испытывал более приятного чувства, как то, которое было произведено этой пеной, текущей по всему телу.

Почему Париж, этот город чувственных наслаждений, не имеет подобных бань? Почему ни один делец не выпишет хотя бы двух банщиков из Тифлиса? Тут, конечно, и польза была бы и барыши.

Когда я весь был покрыт горячей белой пеной, как молоком, легкой и текучей, как воздух, — меня свели в бассейн, куда я сошел с таким непреодолимым влечением, словно он был населен нимфами, похитившими Гиля.

Вышеописанным образом поступили и с каждым из моих товарищей порознь, но я был занят только собой. Уже только в ванне мне казалось, что я пробудился и снова вступил, не без некоторого отвращения, в соприкосновение с внешним миром.

Мы оставались около пяти минут в ваннах и потом вышли.

Длинные простыни, совершенно белые, были разостланы на лавках предбанника, холодный воздух которого мгновенно охватил нас как бы для того, чтобы доставить нам новое ощущение блаженства. Мы легли на эти постели.

Вскоре принесли трубки. Теперь я понимаю, почему курят на Востоке; там табак это благовоние, там дым проходит сквозь благоуханную воду и сквозь стволы амбры; но наш «капрал» в земляной трубке, но наша поддельная гаванская сигара, получаемая из Алжира или из Бельгии, которую жуют по крайней мере столько же, сколько курят, — фи!

Нам подали кальян, чубук, гуку и каждый, по своей фантазии, сделался турком, персом или индийцем. Тогда, чтобы вечер не имел ни в чем недостатка, один из банщиков взял нечто, похожее на гитару на одной ножке, вертевшуюся на ней так, что струны искали смычок, а не наоборот, и начал играть жалобную арию, служившую аккомпанементом к стихам Саади. Эта мелодия убаюкала нас так хорошо и сладко, что глаза наши закрылись, кальян, чубук и гука выпали из рук, и мы, поправде сказать, заснули.

На протяжении шести недель, проведенных в Тифлисе, я ходил в персидскую баню каждый третий день.

Глава XLII
Княгиня Чавчавадзе

Фино обещал проводить меня к княгине Чавчавадзе, которую мы не застали дома при первом посещении. Он явился за нами на другой день после нашего посещения персидской бани, в два часа пополудни. В этот раз княгиня была дома и приняла нас.

Княгиня Чавчавадзе слывет за женщину, имеющую самые чудные глаза во всей Грузии, вообще славящейся прекрасными глазами; но что поражает прежде всего при первом взгляде на нее, так это профиль греческой чистоты, или лучше сказать, грузинской чистоты, т. е. греческой чистоты, но сдобренной жизнью.

Греция — это Галатея, но мраморная. Грузия — это Галатея одушевленная, сделавшаяся женщиной.

И несмотря на этот восхитительный профиль лицо княгини имеет отпечаток глубокой меланхолии. Отчего эта меланхолия? Ведь она счастливая супруга, плодовитая мать. Не потому ли, что природе угодно было наделить ее слишком большой красотой, подобно тому, как она снабжает благовонием некоторые цветы, достаточно красивые для того, чтобы обойтись без благовония? Или это продолжение, воспоминание, результат страшного приключения, разлучившего ее почти на целый год с ее семейством?

И что примечательно, знаменитая пленница сохранила действительное уважение к Шамилю.

— Это человек высоких качеств, — говорила она мне, — и репутация его скорее преуменьшена, чем преувеличена.

Расскажем со всеми подробностями об этом похищении, задуманном с давних пор Шамилем, чтобы возвратить своего сына Джемал-Эддина — пленника, как мы уже сказали в начале этой книги, при русском дворе. Но он считал за счастье быть пленником; бедный молодой человек умер от печали, когда снова сделался свободным.

В сорока-сорока пяти верстах от Тбилиси княгиня Чавчавадзе имеет великолепное поместье, называемое Цинандал. Это княжеское имение расположено на правом берегу Алазани, той самой реки, вдоль берегов которой мы проехали от Нухи до Царских Колодцев, в одной из превосходнейших местностей Кахетии, в нескольких верстах от Телава. Каждый год княгиня имела привычку переселяться в мае из Тифлиса в Цинандалы и возвращаться оттуда только в октябре.

В 1854 году слухи о спуске лезгин с гор удержали княгиню долее обыкновенного в Тифлисе. Князь просил повременить, пока будут собраны точные сведения; полученные данные, которые он считал достоверными, успокоили его, и поэтому было решено ехать 18 июня (30 июня по французскому календарю).

Перемена жилища — важное дело в Азии, где у самых богатых все, кажется, сделано только для нужд настоящего времени; они не имеют в городском доме и в загородном поместье помещений, одинаково хорошо меблированных для нормальной жизни. Если оставляют город с целью отправиться в деревню, то дом пустеет, и его мебель перевозят в поместье; если оставляют поместье, то снова перевозят мебель в город. Нужно не забывать и то, что если с трудом можно найти необходимые продукты в Тифлисе, то тем более в деревне. Надо все вывозить из Тифлиса: чай, сахар, пряности, ткани для прислуги, и все это нагружается на арбы. Вот отчего одни тарантасы да арбы и снуют по кавказским дорогам.

Днем отправления выбрали воскресенье, но на станции не было лошадей. На почтовых станциях в России никогда не бывает лошадей. На протяжении четырехмесячного путешествия я убедился, что мы в общей сложности потеряли месяц в ожидании лошадей.

Итак, в воскресенье лошадей не достали. Можно было бы ехать в понедельник, но русский понедельник то же, что французская пятница: несчастливый день. Поэтому выехали только во вторник.

В первый день сломались две арбы; во второй день такая же участь постигла тарантас. Тогда телегу набили сеном, покрыли коврами, и княгиня поместилась на ней с тремя маленькими детьми: Тамарой — четырех лет, Александром — четырнадцати лет и Лидией — трех месяцев. Двое старших детей, Саломе и Мария, ехали на второй телеге с французской гувернанткой г-жой Дрансей[237]. Князь на коне наблюдал за караваном.

На другой день, в два часа, прибыли в свою загородную резиденцию, а точнее в замок, расположенный на высоте, доступной с одной стороны по довольно крутому склону, но

---

[237] Г-жа Дрансей описала в сочинении под заглавием «Souvenirs d’une Francais captive de Schamyle» это происшествие с той поразительной простотой, точностью и деталями, на что способны лишь женщины из-за их удивительной способности быть наблюдательными. Мы многое заимствовали из этой книги мадам Дрансей.

Прим. А. Дюма.

неприступной с другой стороны, из-за отвесной пропасти.

Пусть судят о столь восхваляемой быстроте сообщения в России: княгиня потратила восемнадцать часов на переезд в одиннадцать миль.

Вы мне скажете, быть может, что Грузия это не Россия.

Отвечаю: в России на это понадобилось бы не восемнадцать, а тридцать шесть часов.

Цинандал в июне месяце — волшебное место цветы, виноград, гранаты, лимоны, апельсины, жимолость, розы растут, распускаются и созревают там в беспорядке; воздух превращается в безмерное благовоние, составленное из двадцати соединенных благовоний.

Дети и женщины рассеялись с жадностью по этому прекрасному огромному саду, подобно городским цветам и фруктам, смешавшимся с цветами и фруктами деревни. В Цинандале предполагалось свидание княгини Анны Чавчавадзе с ее сестрой, княгиней Варварой Орбелиани. Два дня спустя она прибыла со своим семилетним сыном князем Георгием и своей племянницей княжной Баратовой. Княгиня Варвара Орбелиани привезла с собой двух кормилиц и двух служанок. Она была в глубоком трауре: ее муж, князь Илико Орбелиани, недавно только был убит в сражении с турками. Старая тетка княгини Чавчавадзе, княгиня Тина, сопровождала их.

Князь получил приказ принять командование над крепостью, расположенной в двух днях пути от Цинандал. Это приказание, разлучавшее княгиню с мужем, вселило в нее некоторую тревогу; но он успокоил ее известием, что дан приказ отправить из Тифлиса войска в Телав. К тому же на протяжении нескольких дней шел проливной дождь: Алазань вышла из берегов, и лезгинам невозможно было перебраться через реку.

Князь уехал.

Через три дня княгиня получила письмо от супруга: пять-шесть тысяч лезгинов напали на крепость, которую он защищал; он советовал ей быть совершенно спокойной: крепость была надежная, гарнизон храбрый, опасаться было нечего. Если бы он был уверен, что ей необходимо оставить Цинандалы, он дал бы знать об этом.

Опасность, которой мог подвергнуться ее муж, заставила княгиню забыть о той, которая угрожала ей самой.

Все шло хорошо до 1-го (13) июля.

Вечером показалось огромное зарево по направлению к Телаву. Осмотрев местность, убедились, что этот большой пожар был делом рук лезгин. Все думали, что, несмотря на предусмотрительность князя, они переправились через Алазань.

Около одиннадцати часов крестьяне пришли в замок. Они были в полном вооружении и хотели убедить княгиню удалиться вместе с ними в лес. Княгиня отказалась на том основании, что ее муж приказал, чтобы она оставила Цинандалы, только посоветовавшись с ним.

Утром крестьяне скрылись.

Около двух часов пришли и соседние деревенские жители, умоляя княгиню покинуть поместье и следовать за ними в лес. Они считали даже, что им не хватит времени спасти свои пожитки; они бросали все, считая жизнь драгоценней того, что покидали.

Вечером пошли на террасу оттуда пожар показался ближе и сильнее. Кольцо пламени было страшно. Княгиня уступила настояниям окружающих и приказала укладывать серебро, бриллианты и наиболее ценные вещи.

Около полуночи крестьянин князя, по имени Зурка, предложил отправить его на разведку, чтобы узнать, что же происходит на самом деле. Княгиня согласилась; он пошел и воротился через три часа; лезгины стреляли в него: четыре или пять пуль пробили его платье.

Однако вопреки предположениям, лезгины не переходили реку. Они стояли лагерем по другую сторону Алазани. Горевшие стога сена находились на левом берегу. В рассказе этого человека были вести и хорошие и дурные, ведь князь сказал, что лезгины не смогут перейти Алазань, но они ее действительно не переходили.

Почти за час до возвращения Зурки какой-то купец, по-видимому, армянский, явился в поместье, говоря, что он, имея с собой значительную денежную сумму, не решился

продолжать путь, говорил этот человек с таким произношением, которое доказывало, что он горский житель. Княгиня велела слугам обезоружить его и, если б он вознамерился бежать, стрелять в него; одновременно, во избежание ошибки, она приказала заботиться о нем и дать ему ужинать.

К двум часам утра решено было покинуть поместье. Отправили одного за другим двух посланцев в Телав за лошадьми; но каждый из них получил в ответ — лошадей-де вовсе нет, они-де будут только на другой день, в воскресенье, в семь часов утра.

Весь день занимались укладыванием вещей в сундуки.

Зурка настаивал, чтобы княгиня немедленно отправилась даже пешком; вещи же повезут на другой день и догонят ее. На протяжении дня два или три крестьянина выходили из леса, чтобы убедить княгиню присоединиться к ним. Она отвечала, что утром у нее будут лошади и что тотчас по прибытии этих лошадей она отправится.

Было бы величайшим несчастьем, если бы именно в эту ночь лезгины напали на замок.

Вечером все было приготовлено к отъезду. Все чувствовали необходимость быть вместе, не разлучаться и в уединении ожидать, что будет.

Собрались в комнате княгини Варвары, уложили детей на ковры и загасили свечи. Потом, почувствовав, что невозможно оставаться долее из-за духоты в этом заточении и мраке, они вышли на балкон, откуда можно было видеть все более и более приближавшийся огонь. Свет от пожара был столь велик, что в случае нападения лезгин княгиня никоим образом уже не могла бы бежать.

В четвертом часу утра со стороны сада послышался ружейный выстрел, потом наступила гробовая тишина. Это было не нападение, так как раздался только один выстрел, но это могло служить сигналом налета. Француженка-гувернантка г-жа Дрансей пустилась куда глаза глядят; она сбежала в сад и достигла часовни, построенной далеко в винограднике.

Оттуда она увидела в роще на краю пропасти человека, державшего в руке ружье. Очевидно, это он выстрелил. Был ли он друг или враг, г-жа Дрансей сказать не могла, но она заметила, что человек не походил ни на одного из служителей князя.

Он проскользнул к замку. Тогда она добралась до края ущелья, оттуда обзор был значительно лучше. Сначала она ничего не заметила, но потом, приглядевшись, увидела, что ручей, который несся у подножья скалы, явно уменьшился. Два незнакомца, ведя лошадей в поводу, шли по другому берегу, и по их взглядам легко было понять, что они искали места, где бы можно было перейти через ручей.

Г-жа Дрансей возвратилась в замок с сердцем, преисполненным страдания: не было никаких сомнений, что все эти признаки означали близкое нападение. Она решила поделиться своими опасениями с княгиней Анной, но та от крайнего утомления уснула.

Г-жа Дрансей вошла к княгине Варваре и нашла ее молящейся. Бедная вдова ничего более не могла предпринять.

— Что делать, моя милая? — произнесла она. — Надо ожидать лошадей, и как только они прибудут, мы поедем.

В пять часов служанки княгини стали готовить чай. Это — важное занятие для всякого русского, пламя самовара первое блистает во всех домах; самовар — это то первое слово, которое произносит слуга, просыпаясь. На пути из Санкт-Петербурга до Тифлиса можно обойтись без завтрака, лишь бы только утром было два стакана чая; обойтись без обеда, лишь бы было столько же стаканов чая вечером.

В пятом часу прибыл телавский медик (он же домашний врач княгини). Доктор примчался, чтобы посоветовать княгине бежать, и бежать как можно скорее; если на лошади, то он отдавал ей свою лошадь; если пешком, он предлагал ей свою руку, но бежать непременно.

Но как бежать верхом или пешком с шестью или семью детьми, из коих трое грудных, и старухой теткой, княгиней Тиной, которая при всем своем желании не могла со страха пройти пешком и версты!

Тем не менее погрузка экипажей подходила к концу, уже отнесли туда алмазы княгини, как вдруг послышался страшный крик: «Лезгины!».

Эту минуту страха и отчаяния невозможно описать. Доктор взял ружье и бросился с несколькими слугами, оставшимися при княгине, навстречу неприятелю. Женщины заперлись на чердаке в надежде, что лезгины ограничатся лишь грабежом в нижних этажах и не подумают подняться наверх. Все собрались в кучу в самом темном углу, только слышен был голос княгини:

— Помолимся, смерть приближается.

Действительно, лезгины уже вошли в поместье.

Вы знаете теперь, какие это люди, животные, гиены, тигры, рукорезы, которых называют лезгинами. Вообразите же себе сгрудившихся в углу чердака трех княгинь, из которых одна шестидесяти летняя, десять или двенадцать женщин, из коих одна столетняя (бывшая кормилицей отца князя Чавчавадзе), семь или восемь детей, в том числе трое грудных. Вспомните «Убиение невинных» Коанье, где матери прижимают детей к своей груди.

Одни молились, другие плакали, третьи рыдали. Дети, уже довольно взрослые для того, чтобы понимать, — подобно той девочке из «Страшного суда» Микельанджело, которая от ужаса хочет войти в чрево своей матери — прижимались к княгиням, а другие с детской наивностью и неведением смотрели своими большими удивленными глазами. Послышались крики лезгин, треск разбитых стекол и зеркал, звон серебряной посуды, катившейся по паркету, грохот ломаемой мебели. Два рояля застонали под руками дикарей, словно испуганные их антиартистическими нежностями.

Через слуховое окно можно было видеть сад. Он наполнился свирепыми лицами в тюрбанах, папахах и башлыках; видно было, как по склону пропасти, считавшейся до тех пор неприступной, поднимались люди, таща за собой коней. Лошади, как и люди, казались демонами.

Все стояли на коленях: княгиня Чавчавадзе держала на руках и прижимала к сердцу младшую дочь Лидию, трехмесячного ребенка, самого любимого, так как он был всех слабее. Некоторые женщины, услышав шаги шедших наверх лезгин, подбежали к двери чердака и приперли ее собой. Тогда княгиня Орбелиани поднялась, благословила своего сына князя Георгия и с удивительной торжественностью стала перед самой дверью будучи ближе всех к выходу, она должна была быть убитой первой. Подобно древним мученицам, она хотела показать своей сестре и другим женщинам, как умирают, призывая имя божье. Ей было легче пойти на это, чем кому-нибудь другому: за три месяца перед тем она разлучилась с мужем, который ее обожал, и последний час для нее был не смертью, а соединением с ним.

Шаги лезгин приближались — все более и более. Вскоре под их ногами затрещали деревянные лестницы, которые вели на чердак. Вот удары их кулаков сотрясают дверь; она сопротивляется; те удивляются этому, догадываются, в чем причина, два-три раза стреляют из пистолета в это укрытие из досок, одна из женщин падает окровавленная, другие бросаются в противоположную сторону, — дверь растворяется.

Все они очутились перед лицом смерти, — нет, еще хуже: перед перспективой рабства. Тогда каждый лезгин выбирает себе наудачу пленницу, хватает ее как попало — за руки, за волосы, за горло — и тащит за собой; лестница, по которой ведут княгинь, трещит под их тяжестью, проваливается; множество лезгин, женщин и детей падают вниз со второго этажа на первый.

Там завязывается драка: люди, оставшиеся грабить внизу, понимают, что лучшую долю получат те, которые взяли пленников: живая добыча самая драгоценная, ведь лезгины знают, что ее составят княгини, стоящие пятьдесят, сто, двести тысяч рублей. Кинжалы блестят, пистолеты воспламеняются, хищники грабят, убийцы убивают друг друга.

Когда действующие лица этой страшной сцены — похитители, убийцы и жертвы — осмотрелись вокруг себя, то вот что они увидели: княгиня Чавчавадзе, распростертая на земле, с распущенными, как у древней Кассандры, волосами, с великолепными черными,

мягкими, шелковистыми волосами, прижала к груди малютку Лидию, трехмесячного ребенка. Мать, почти голая, — все ее платье разорвано, кроме юбки, ребенок в одной рубашонке, без покрывала, без пеленок. Лошади лезгин окружали ее так близко, что каждую минуту казалось: вот-вот они затопчут ее. Гувернантка, тоже пленница татарина, переданная двум нукерам, бросилась к бедной женщине, крича:

— Княгиня! Княгиня!

Та в отчаянии подняла голову.

— Дети! Дети! — кричала она.

— Мария уже на лошади, — отвечала г-жа Дрансей, — Саломе далеко.

В эту минуту один из нукеров, под стражу которого она была отдана, взял ее за руки и силой оттащил назад. Благодаря крику гувернантки: «Княгиня, княгиня!» лезгины узнали, какая важная пленница лежит на земле. Несколько человек бросились, чтобы овладеть ею. Кинжалы сверкнули и вонзились в их груди. Два лезгина упали.

Какой-то третий лезгин спросил по-грузински:

— Кто ты? Княгиня?

— Да, — отвечала она и закричала: — Сын мой! Сын мой!

Лезгин показал ей сына, который сидел на лошади. Тогда бедная мать, обрадованная, что видит его живым, сняла с себя бриллиантовые серьги и отдала их этому лезгину. Потом она упала навзничь в обмороке, почти мертвая.

В другом углу двора княжна Нина Баратова, прекрасная восемнадцатилетняя девушка, сидела на коне. Ничего не изменилось в ее туалете — и платье, и грузинская шапочка, и вуаль остались нетронутыми, будто она только что вышла из церкви.

Старая тетка, княгиня Тина, была, напротив, в самом жалком состоянии. С нее сорвали почти все платье, а волосы ее растрепались по лицу. Что касается столетней старухи, кормилицы отца князя, то она, полунагая, привязана была к дереву, от которого ее отвязали только на другой день. Старая княгиня Тина была также оставлена. Подобно ей, у этих диких и совершенно первобытных людей старость, вероятно, не имела большой цены.

После страшного и свирепого последовало смешное.

Начался грабеж: каждый уносил, что мог, не зная цены того, что уносил: один шали, другой посуду, тот серебро, этот кружевные уборы. Грабители ели все, что попадалось, даже мелки, назначенные для игры в карты, помаду; они пили из бутылок — розовое масло и клещевинное, для них было все равно. Один лезгин ломал великолепные серебряные блюда, чтобы свободно уложить их в свой мешок; другой запасался сахаром, кофе и чаем, упуская из виду для этих малоценных предметов вещи более драгоценные; третий заботливо прятал медный подсвечник и пару старых перчаток. Все это представляло в одно и то же время сцены варварские, ужасные и забавные.

Наконец, почти час спустя, главари подали сигнал к отъезду. Женщин посадили на лошадей позади себя. Княгиня Чавчавадзе, неизвестно как, осталась одна с маленькой Лидией на руках.

Они покидали поместье.

Глава XLIII
Пленницы

Выехав из поместья, похитители спустились по узкой дороге, ведущей к ручью. Княжеские экипажи они подожгли, те запылали. Через ручей переправились верхом все, за исключением княгини Чавчавадзе, — она по-прежнему шла, бережно неся малютку. Посреди реки сильное течение сбило ее с ног. Она барахталась в воде, но не выпускала ребенка из рук. Двое всадников сжалились над ней, помогли ей встать на ноги, потом посадили на коня позади одного из лезгин. Этого-то она и страшилась: чтобы не свалиться она должна была одной рукой обхватить всадника, а другой держать маленькую Лидию, она чувствовала, как рука начала неметь и наконец совершенно обессилела, поникла, и малютку ударяло о седло

при каждом шаге лошади.

— Бога ради! Во имя Аллаха, — кричала бедная мать, дайте веревку, мой ребенок падает!

Между тем старший брат Лидии — Александр, тринадцати или четырнадцати месяцев, был вырван из рук кормилицы и брошен посреди двора: но молодая и крепкая служанка по имени Луция подхватила его и, не зная, чем покормить, дала младенцу воды и снега. Несмотря на то, что оба эти вещества были малопитательны, они не позволили ребенку умереть с голоду. Что касается маленького князя Георгия Орбелиани, то его оставили у кормилицы. Он был силен и крепок и поэтому пришелся по душе лезгинам. Кормилица выпросила веревку и привязала ребенка к себе.

Саломе и Марию отняли у гувернантки г-жи Дрансей. Характеры этих двух малюток явно определились: горячая и гордая Саломе грозилась, даже колотила ручонкой похитителя; Мария, напротив, — кроткая и робкая, плакала, чувствуя голод. Юный лезгин, лет четырнадцати, сжалился.

— На, возьми, — сказал он и протянул ей яблоко. — Вы, грузины, привыкли есть каждый день.

Девочка взяла яблоко и съела его мигом. Крестьянский мальчик Эло был взят в плен одновременно с госпожами. Случай сблизил детей. Эло сидел на лошади позади какого-то лезгина: он звал Марию, она у знала его и принялась с ним болтать и смеяться. Трехлетняя Тамара, привыкшая к княгине Орбелиани, сделавшейся ей второй матерью, кричала и плакала, постоянно призывая свою добрую Варвару. Ее крики надоели лезгинам: сунув ребенка головой в мешок, они привязали мешок к седлу одного из всадников. Ребенок наконец затих и заснул.

Отряд состоял почти из трех тысяч лезгин — целое войско! Всадники не придерживались определенной дороги, а ехали куда глаза глядят через виноградники и поля.

Наконец достигли берега реки, полноводье которой так успокоило князя. Вода была все еще высока. У пленных появилась было надежда, что лезгины не осмелятся переправиться на другую сторону: но авангард, нисколько не колеблясь, вошел в реку с удивительной смелостью и ловкостью. Всадники, управляя лошадьми одной рукой, другой поддерживали детишек над водой. Женщинам было лишь наказано держаться покрепче. Лошади находились по шею в воде и уже пустились вплавь к противоположному берегу. В это время маленькая Мария закричала своей гувернантке:

— Дрансей, милая, ты потеряешь свою юбку!

Так и случилось: на берегу бедная женщина очутилась в нижней сорочке и корсете, трясясь от холода, так как вода Алазани рождалась талыми снегами. Кто-то из лезгин дал ей свою бурку.

Переправившись через Алазань, горцы сделали привал, но отдых был непродолжителен. Раздались ружейные выстрелы. Горсть грузин с необузданной храбростью, характерной для них, появилась с намерением напасть на лезгин, коих было вдесятеро больше. Грузины хотели отбить княгинь; но вместо того, чтобы отражать нападение, лезгины, опасаясь, что горсть эта могла быть и авангардом, понеслась во весь дух по лугам, пашням, рвам и скалам с криками: «Шамиль-имам! Шамиль-имам!» и, понуждая коней ударами плети, мчались с такой быстротой, что у пленных дух захватывало. Этот час оказался самым страшным для княгини Анны. Последующие подробности сама она досказать не могла.

Сестра ее продолжала рассказ — и, как в Дантовом аду Паоло рыдает, слушая рассказ Франчески, так рыдала и княгиня Чавчавадзе, когда рассказывала княгиня Орбелиани.

С тех пор, как случилась тревога и началось это стремительное бегство, княгиня Анна с трудом поддерживала затекшей рукой дочь. Собрав все свои силы, напрягши всю волю, издавая невнятные звуки, не зная более, что говорить и что делать, она пыталась приблизить ребенка ко рту, чтобы поддержать его хоть зубами, и наконец пришла в полное изнеможение.

Вдруг от сильного толчка ребенок выпал из ее рук. Спрыгнуть с лошади ей не позволили. От резкого удара плетью лошадь шарахнулась в сторону, и мать очутилась в нескольких шагах от своего ребенка. Она в отчаянии вырывала его. Но тщетно — было поздно: лошади мчались одна за другой, ребенок метался под их ногами и кричал. Чеченец пронзил ему грудь кинжалом. Ребенок замолк.

Только спустя некоторое время княгиня узнала страшную правду. Тело малютки было найдено, узнано и принесено к отцу.

Не одна только Лидия сделалась жертвою. Предпочтя сопротивление бегству, лезгины решили избавиться от всего, что мешало им. Из сотни захваченных пленных шестьдесят, которых они считали менее ценными, были убиты. Трупы их нашли на дороге, по которой горцы возвращались. Только трое убитых принадлежали к дому Чавчавадзе: дочь княгини, жена управляющего домом князя и жена священника.

По пути лезгины сжигали грузинские деревни, захватывали новых пленных, но и те были зарезаны для облегчения бегства.

К ночи оказались у леса, какие обычно покрывают подножья гор, — о них я уже много раз пытался создать у читателей хоть какое-то представление. Эти леса, поросшие колючими кустарниками, непроходимы, без шашки и кинжала продраться через них невозможно. Это ничего не значило для горцев, одетых в лезгинское сукно, но женщинам досталось — они были исцарапаны, их волосы цеплялись за ветви.

Но разве для горцев это важно? Они спешили. Опасаясь погони, ехали, не останавливаясь.

Эта ночь была ужасна.

Часу в десятом начался подъем в гору. В полночь заметили огни и направились к ним. Слышались только возгласы, испускаемые вконец измученными людьми: «Воды, воды, воды!»

Невдалеке от огней остановились передохнуть, часа на два. Пленные утолили немного жажду.

Снова пустились в путь. Дороги уже практически не было: надо быть горцем и иметь горских коней, чтобы ездить по таким, с позволения сказать, дорогам. Пешие быстро сбили ноги. Какая-то женщина сама валилась на землю, предпочитая смерть таким мукам; но плеть поднимала ее на ноги и заставляла продолжать путь.

Спустя какое-то время прибыли в долину, и всадники, удерживаемые до тех пор слишком крутым подъемом, поскакали по-прежнему. Кое-где на дороге встречались пастухи. Это были лазутчики, говорившие по-грузински только одну фразу: — «Можете ехать, дорога безопасна».

И горцы двигались дальше.

Часов в одиннадцать сделали второй привал. Всадники бросили четыре бурки на землю и посадили на них княгинь. Наиб по имени Хаджи-Керат сбросил с себя изодранную черкеску и отдал ее княгине Варваре починить. И тут появилась гувернантка.

— Где Георгий? — спросила ее княгиня Орбелиани.

— Пока мы не вступили в лес, — отвечала та, — он был с кормилицей.

Княгиня Анна с усилием подняла голову, словно мертвец, шевелящийся в гробу.

— А Лидия? — спросила она.

— Ее не видела, — отвечала француженка.

Княгиня Чавчавадзе поникла головой.

— Чем вы так заняты? — спросила гувернантка княгиню Варвару.

— Да вот, моя милая Дрансей, чиню черкеску моего повелителя, — отвечала та с печальной улыбкой.

Француженка чуть ли не силой взяла у нее из рук черкеску и принялась за работу сама. Привели няньку детей княгини Анны, грузинку Нануку. Несчастная получила три удара шашкой по голове. Только чрезвычайно густые волосы спасли ее. Она была в крови, которая стекала с плеч по спине. Она ранена и в руку: один палец повис, держась только на

сухожилии. Княгиня Орбелиани оторвала свой воротник и рукава и перевязала руку бедной Нануки. К голове же ее лучше было не прикасаться: образовавшиеся струпья остановили кровь — сама природа позаботилась о перевязке.

Снова двинулись в путь. На этот раз обеих княгинь посадили на лошадей и разлучили. Остальные пленницы шли пешком. Гувернантка и Нанука шли рядом: Нанука, раненная и обессиленная от потери крови, передвигалась медленно и с трудом; но каждый раз, когда она останавливалась, вконец обессилев, лезгин возвращал ей силы плетью. Чувствуя себя не в состоянии идти дальше и предвидя, что вот-вот падет под ударами, она начала отчаянно звать княгиню Орбелиани.

Княгиня услышала крики, узнала голос и, несмотря на находившегося около нее лезгина, остановила лошадь. Ее звание все же заставляло оказывать ей некоторое почтение, которого лишены были другие. Она усадила Нануку на свою лошадь, а сама пошла пешком. Она шла так два-три часа. Грязь мешала ей идти быстро, несмотря на понукания проводников, поэтому они заставили ее снова сесть на коня, милостиво позволив Нануке примоститься сзади. Через несколько минут княгиня упала в обморок от крайнего утомления. Тогда дали лошадь и Нануке.

На дороге плененные княгини встречали и опережали толпы пленных; в толпе княгиня Чавчавадзе узнала молодую девушку из деревни Цинандал. Ее умирающая мать была брошена на дороге; она была со своей бабушкой и братом, который нес на руках четырехмесячную сестренку Еву. С вечера до полудня у младенца не было во рту и капли молока.

Наконец подъехали к потоку, преграждавшему дорогу. Раненая едва удерживалась на лошади и на обычной дороге, а тут переправа: ясно, ей не достичь противоположного берега. Княгиня Орбелиани, остановив коня, сказала, чтобы ее пересадили к ней, сзади.

Лезгины сделали вид, что ничего не понимают.

— Я так хочу, — настойчиво повторила княгиня. Состояние несчастной придало ей сил.

Нануку посадили позади княгини. Она направила своего коня в воду; но на краю берега животное заупрямилось, намереваясь освободиться от ноши. Разумеется, если б обе женщины упали в воду, они погибли бы: ручей был с крутыми берегами.

Кто-то из горцев поспешно схватил коня княгини за удила и заставил его идти; но на другом берегу, во избежание подобного препятствия, Нануку заставили спешиться.

Горцы направились к крепости Тохальской, где они намеревались найти Шамиля, прибывшего из Ведена для наблюдения с вершины скалы за экспедицией. Места, по которым они до тех пор карабкались, спускались и поднимались, были лишь первыми ступенями к Орлиному гнезду.

Подъем занял пять часов. Все шли пешком. Княгиня Орбелиани, по причине крайней своей слабости, принуждена была оставаться на лошади и каждую минуту могла свалиться вместе с нею в пропасть. Однако княгиня казалась нечувствительной к опасности и усталости. Не помышлять о своем собственном бедствии — результат тяжкой печали: княгиня сожалела только о других. Она чрезмерно исполняла правило Евангелия: любила своих близких больше себя самой.

Пределы Грузии кончились, сменившись неприятельской землей, населенной горцами.

Наконец показалась крепость, но на такой высоте, что нельзя было понять, как можно до нее добраться; со всех сторон, чтобы поглазеть на пленных, сбегались лезгинские пастухи, перескакивая с одной скалы на другую, несмотря на ущелья, от которых закружится голова даже у диких коз.

Достигли того пункта горы, где склоны покрыты зеленью словно роскошным ковром; казалось, эта зелень столь же вечна, как вечен снег, простирающийся над ней. Только дорога становилась все тяжелее и тяжелее: каждую минуту приходилось останавливаться, пленные беспрестанно падали, не в силах подняться, даже вынуждаемые ударами. Со всех сторон стекались лезгины, они окружили пленных, с любопытством разглядывая их. Один протянул

руку к француженке и, ни слова не говоря, потащил за собой. Г-жа Дран сей закричала, опасаясь, что сделается вещью, которой всякий будет считать себя вправе располагать; но тот, кто первый схватил ее в поместье, вмешался и оттолкнул лезгина.

— Умеет ли она шить и кроить рубахи? — спросил похититель.

— Да, — отвечала какая-то русская женщина, знавшая, что окажет ей своим ответом дурную услугу и не желавшая ей добра потому только, что она француженка.

— В таком случае я дам за нее три рубля, — сказал лезгин.

Княгиня Орбелиани вступилась, сказав, что мадемуазель Дрансей жена французского генерала и может уплатить за себя хороший выкуп.

— Если так, — сказал первый лезгин, — то лучше отдам ее имаму Шамилю.

При упоминании этого имени всякие споры прекратились.

Крепость была уже недалеко; на платформе, перед лестницей, туда ведущей, находилось около десяти тысяч местных жителей, выстроившихся в две шеренги. Люди были почти голые. Пленницы должны были пройти сквозь эти ряды. Горцы бросали на пленниц взгляды, в которых не было ничего утешительного; они впервые видели женщин с открытыми лицами, и каких женщин! Грузинок!

Они испускали хриплые крики, походившие на крики разгоряченных любовным желанием волков; женщины прикрывались руками, чтобы никого не видеть и не быть видимыми. Среди этих людей выделялись своими орденами (в виде звезды) наибы Шамиля. Они удерживали горцев, которые, не будь их, бросились бы на женщин; они беспрестанно загоняли в строй кого-нибудь из них, нанося им удары кулаком, либо плетью, или угрожая кинжалом.

Наконец Хаджи, интендант Шамиля, прибыл, чтобы по приказанию имама забрать княгинь, детей и их свиту. Княгиня Орбелиани первой поднялась по лестнице, ведущей в крепость. Войдя туда, пленницы должны были спуститься на несколько ступенек ниже. Они очутились в каком-то едва освещенном подземелье. Среди полумрака они скоро начали различать друг друга. Здесь было четверо детей: Георгий Орбелиани, Саломе и маленькие Тамара и Александр. Через полчаса спустилась полуживая княгиня Чавчавадзе. Первыми ее словами было:

— Где Лидия? Кто видел Лидию?

Ей никто не отвечал, и она рухнула без чувств. В эту минуту чей-то ребенок одного возраста с Лидией заплакал.

— Моя дочь! — вскричала княгиня. — Это моя дочь!

— Нет, — послышался голос, — это не ваша дочь, княгиня, это моя сестренка, которой также четыре месяца: она со вчерашнего утра голодна и вот-вот умрет.

— Дайте ее мне, — сказала княгиня.

Взяв маленькую Еву, она, рыдая, стала кормить ее грудью.

Тут вошел Хаджи Керат.

— Шамиль спрашивает княгиню Чавчавадзе, — произнес он.

— Что ему угодно? — спросила княгиня.

— Он хочет говорить с ней.

— Так пусть он придет сам. Я не пойду.

— Но ведь он имам, — сказал Хаджи Керат.

— А я княгиня.

Хаджи Керат доложил об этом имаму. Поразмыслив, имам сказал:

— Хорошо, отведите их в Веден: там я их увижу.

Глава XLIV
Князь Илико Орбелиани[238]

---

[238] Этой главой начинается третий том французского издания «Кавказа». *(М. Б.)*

Подземелье забилось зеваками. Пуще всего привлекал их распространившийся слух, будто вдова и сын князя Илико Орбелиани также доставлены в Тохальскую крепость. Это значило, что князь Илико Орбелиани некогда приобрел популярность у лезгин. В их глазах он был врагом, которых боятся, уважают и которым дивятся.

Задолго до описываемого события, сделавшись также пленником Шамиля, он был отведен в Веден и представлен имаму, который крайне обрадовался такому приобретению: в каждом знатном пленнике видел он средство возвратить сына — Джемал-Эддина.

Потому Шамиль сказал князю Илико:

— Твоя свобода зависит от тебя.

— Назначь за нее цену, — отвечал князь, — и если сумма не превысит моего состояния, ты получишь ее.

— Дело не в деньгах.

— В чем же?

— В человеке.

— Не понимаю.

— Отпиши императору Николаю, чтоб он возвратил мне в обмен на тебя моего сына, и я отпущу тебя.

— Ты безумец, — отвечал князь, — разве императору пишут такое?

И он отвернулся от Шамиля.

Шамиль велел отвести князя в темницу, не сказав более ни слова.

Прошло полгода. Шамиль снова призвал его к себе и возобновил предложение. Князь дал тот же ответ.

— Хорошо, — сказал Шамиль, — посадите его в яму.

Яма в Ведене походит некоторым образом на Мамертинскую тюрьму в Риме. В нее спускаются по приставной лестнице, и когда ее убирают, из темницы выйти уже невозможно, даже если отверстие открыто. Кувшин воды и черный хлеб дополняют сходство с Мамертинской тюрьмой. Как в той, так и в другой, смерть рано или поздно неизбежна даже без всякого вмешательства палача: для этого достаточно сырости.

Время от времени Шамиль посылал людей к князю — спрашивать, согласен ли он написать императору. Князь на вопрос не отвечал, хотя слабость его достигла уже такой степени, что он едва мог говорить.

Наконец Шамилю донесли, что князь умрет, если пробудет еще неделю в страшном заточении. Шамиль приказал вывести его из ямы.

Князя привели на площадь перед гаремом. Находясь в одном из домов, окружающих площадь. Шамиль мог видеть все происходящее. Один из наибов, сопровождаемый девятью тысячами вооруженных воинов, встретил князя Илико.

— Илико Орбелиани! — сказал наиб. — Шамиль, раздраженный твоим отказом, приговорил тебя к смерти. Но он предоставляет тебе самому выбрать вид казни.

— Я выбираю ту, которая избавит меня — и как можно скорее — от скуки быть его пленником. У тебя много воинов, пусть они застрелят меня.

После этих слов князя поставили у стены напротив дома, из которого за ним наблюдал Шамиль, зарядили ружья и прицелились, готовясь дать залп. И в эту минуту показался Шамиль, подал знак. Ружья опустились.

— Илико, — сказал Шамиль, — я наслышан о твоей храбрости, теперь же я своими глазами убедился в истине этих слухов. Я не требую от тебя ничего, кроме обещания, что ты не сбежишь. При этом условии ты свободен в своих действиях.

Князь дал слово. Вскоре его выменяли на татарских пленников, и Шамиль выказал себя весьма уступчивым в этой сделке.

Князь Илико покинул Веден после девятимесячного пребывания в плену, оставив среди горцев о себе хорошую память. Поэтому было нисколько не удивительно, что лезгины, зная, что он убит в сражении с турками, хотели взглянуть на его вдову и ребенка. Помимо всего

прочего, эти лишенные сентиментальности люди даже растрогались при воспоминании о неслыханном мужестве князя, старались по-своему утешать его вдову. Одни говорили, что Георгий — портрет своего отца, и что они узнали бы его, даже если б им не назвали его имени. Другие утверждали, будто наверняка знают, что муж ее не убит, а только находится в плену и что когда-нибудь они увидятся с ним.

Наконец ей, женщине, в течение двух дней терпевшей усталость, голод и дурное обращение, все оказывали царские почести.

Княгиня Орбелиани воспользовалась этим, чтобы расспросить о цене, какую назначил Шамиль за выкуп ее сестры и всех членов семейства, взятых вместе с ними. Один из наибов пошел к имаму осведомиться и возвратился с ответом, что Шамилю угодно, чтобы император Николай возвратил ему сына и чтобы князь Чавчавадзе прислал ему арбу, полную золота. Несчастные княгини опустили головы: они посчитали оба условия почти невыполнимыми.

Что теперь с ними станется? Им еще ничего не было известно о приказе Шамиля отправить их в Веден. Даниэль-бек, дядя Мохаммед хана, некогда находившийся на русской службе, о чем я уже упоминал, знал отца князя Давида Чавчавадзе. Живя в Тифлисе, он познакомился с потребностями в роскоши, свойственными знатным грузинским дамам, которые делаются необходимостью. Он понимал, как должны были страдать обе княгини, имевшие среди своих диковатых хозяев недостаток во всем. Он предложил Шамилю отвести их к себе, поручившись за них головой. Имам не согласился.

— Они поживут у меня, — сказал он, — и с ними будут обходиться как с моими собственными женами.

Чего же еще могли ждать княгини? С ними будут обходиться как с женами пророка.

Ответ этот передали обеим пленницам — с приглашением написать в Тифлис об условиях выкупа. Княгиня Чавчавадзе написала два письма, из коих одно своему супругу, а другое — кавказскому наместнику. Письма были предварительно показаны Шамилю, который велел их перевести, долго взвешивая каждую фразу, и наконец отправил их с татарином в Тифлис. В ожидании ответа он все-таки приказал ехать в Веден.

Княгини просили снабдить их какой-нибудь одеждой, так как были почти наги. Им принесли женские панталоны, шейный платок и старое кучерское платье; вскоре явилось и мужское пальто. Княгиня взяла себе панталоны, дала шейный платок и пальто сестре, а кучерское платье гувернантке.

Княжна Нина Баратова ни в чем не имела нужды. За исключением вуали, изорванной в кустарниках, она была в том же одеянии, в каком взята в Цинандал. Как женщина, она должна была страдать от всех невзгод и неудобств, но девичья стыдливость ее не была ущемлена.

Утром следующего дня пленницы вышли из крепости тем же способом, каким они туда вошли, т. е. по лестнице. Шамиль приказал вести их по самой безопасной дороге, т. е. по самой тяжелой. Речь шла о том, чтобы лишить их всякой попытки к освобождению. Сам же он поехал другим путем, не повидав их.

Не будем следовать за бедными женщинами в этом путешествии, где они проходили такими тропинками, которые перепугали бы даже диких коз, где в июле они шли по снегу, доходившему по грудь лошади, где, наконец, они топтали роскошные долины, испещренные розовыми и белыми рододендронами и маргаритками, где им надо было спускаться по склонам на 300 и 400 футов, с помощью рук карабкаться на кручи, опираясь на шаткие камни и хватаясь за кустарники, которые раздирали им их ладони.

По дороге к каравану присоединился новый пленник. Это был молодой князь Нико Чавчавадзе, троюродный брат князя Давида. Он был взят в крепости, где с тридцатью грузинами выдерживал трехдневную осаду против пятисот лезгин. Не имея больше пороха, он вынужден был сдаться. Ему вверили одну из дочерей княгини, маленькую Марию, которую посадили на лошадь позади него.

Несмотря на приказание Шамиля, несмотря на требование муллы, провожавшего

пленниц, их порой отказывались принимать в аулах, мимо которых они держали путь. Фанатизм запрещал правоверным мусульманам всякое общение с гяурами. Тогда они отдыхали, где могли: в развалившемся доме, если имели счастье найти хотя бы такой приют, или под открытым небом, в воде или в снегу. Обе кормилицы изнемогали от истощения и усталости. Княгиня Чавчавадзе кормила грудью попеременно Александра и Еву — того самого ребенка, мать которого умерла в день похищения, на дороге, во время первого привала. Шествие их было столь утомительно, что и сами провожатые видели, что им надо дать немного покоя.

Остановились в каком-то ауле, где их приняли много приветливее. Старый мулла проводил княгинь и сопровождавших их женщин к себе, отведя им маленькую комнату; здесь, по крайней мере, они были защищены от ненастья и мужских взглядов. Роскошь приема дошла до того, что пленницам разостлали камышовые рогожки на полу. Старый мулла был хорошим человеком. Он велел зарезать барана, и пленницы в первый раз после похищения отведали мясную пищу.

Мулла девять лет жил в плену у русских и сносно изъяснялся по-русски. Дети стали предметом особого его попечения и нежности.

Однажды, когда маленький Александр плакал от голода на коленях матери, у которой молоко иссякло после пятнадцатимесячного кормления, а он не мог есть ни полусырой баранины, ни черного хлеба, мулла приблизился к ребенку и вложил в его ручонку двадцатипятикопеечную монету. Княгиня залилась краской и хотела было возвратить ее, но мулла остановил княгиню, посоветовав на эти деньги купить курицу и сварить бульон. Княгиня пожала руку доброму человеку.

На другой день, вместо забот и внимания, последовали оскорбления и угрозы, особенно от женщин. Старая татарка, у которой русские убили сына, в сопровождении толпы женщин подошла к княгине Орбелиани, потрясая кулаками.

— День отмщения, — сказала она, — самый прекрасный день. У меня был единственный сын, моя любовь и гордость. Русские убили его. Аллах велик, Аллах справедлив, Аллах отомстит за меня.

Княгиня Орбелиани спросила, что говорит старуха. Ей перевели.

— Хорошо, передайте ей мой ответ, — сказала княгиня: — Смерть не может воротить к жизни, ты можешь убить меня, но сына твоего это не воскресит. Турки лишили жизни моего мужа, он был сердцем моего сердца.

— Мой сын в плену.

— Моя сестра, мои племянники и я сама находимся во власти Шамиля: кто из нас, ты или я, вправе более роптать на судьбу? Ступай же, несчастная, забудь свой гнев и оставь свою ненависть: мы уповаем не на твоего аллаха, а на того, который есть Аллах матерей: он милосерден и великодушен[239].

Слово в слово было переведено старой татарке сказанное княгиней. Та, выслушав ее, надвинула на глаза покрывало, чтобы скрыть свои слезы, и молча медленно удалилась.

Через две недели после выезда из крепости Тохальской, когда караван остановился у тех оазисов, которые скрываются в изгибах гор, на зеленом ковре, усеянном желтыми и фиолетовыми цветами, испещренном белыми маргаритками, показался татарский всадник, по-видимому, разыскивавший княгинь. Лишь только заметив их, он что есть духу поскакал навстречу. Действительно, это был посланец, отправленный с письмами в Тифлис; он вез ответ от князя Орбелиани. Письмо было утешительным и даже радостным. «Ждите и надейтесь! Все возможное будет сделано для возвращения вам свободы». Это письмо возвращало силы.

---

239 Еще раз рекомендую читателям более подробный рассказ о плене княгинь, написанный г-жой Дрансей.

— Если вы не запомните всего, — сказала княгиня Чавчавадзе, — обратитесь к книге г-жи Дрансей: она нее излагает точно и верно.

Прим. А. Дюма.

Наконец, вечером, прибыли в аул в десяти или двенадцати верстах от Ведена. Жительница аула, приведенная муллой, объявила княгине, что на другой день они прибудут к Шамилю, и что тогда же он посетит их. Имам приглашал их явиться с закрытыми лицами, так как закон Магомета запрещает женщине показываться с открытым лицом перед мужчиной, если этот мужчина не ее муж. В то же время мулла велел принести княгиням кисею, иголок и шерсти для шитья. Княгини провели часть ночи в приготовлении своих вуалей. Им приказали, чтобы для предстоящего путешествия у каждой из пленниц, к какому бы сословию она ни принадлежала, были лошадь и проводник.

Переезд длился два часа. Когда проехали две или три версты, число сопровождавших резко увеличилось за счет любопытных местных жителей, особенно женщин.

Княгини пытались разглядеть жилище имама, как вдруг очутились перед строением высотой в шесть или семь футов и окруженным палисадами и похожем более на кутан, нежели на человеческое жилище. Миновали трое ворот и столько же дворов.

На третьем дворе был гарем; перед тем, как войти в него, все сняли обувь. Огромный костер был разложен для пленниц, в нем они имели крайнюю нужду после того, как их сильно вымочил дождь. Стены были вымазаны желтоватой глиной. Сквозь занавесь из старых изношенных ковров виднелись небрежно сложенные доски пола; потолок был столь низок, что человек высокого роста должен был бы согнуться в три погибели. Вся комната длиной в восемнадцать футов, а шириной почти в двенадцать, освещалась только отверстием величиной с карманный платок.

Принесли плов — самое уважаемое татарское кушанье. Блюдо сопровождалось медом и фруктами. Был подан хлеб без соли и чистая вода. Это настоящее пиршество в сравнении с обедами, которые приготовлялись для пленниц.

Шамиль велел извинить его: глава бедной страны, который беднее, чем сама страна, не мог предложить им ничего лучшего.

Три жены Шамиля угощали их[240].

По окончании обеда княгиням объявили, чтобы они тщательно закутались вуалями: пророк должен скоро пожаловать. Для него поставили перед дверью нечто вроде трона, сооруженного из дерева и камыша. Три татарских переводчика разместились на пороге, не входя в комнату; один из них был Хаджи — доверенное лицо Шамиля; два других переводили на русский и на грузинский.

Появился Шамиль. На нем была длинная белая накидка, под ней еще одна — зеленоватая, на голове тюрбан белого и зеленого цветов (мы уже попытались начертать его портрет в начале книги и теперь не стоит повторяться). Он сел не на трон, а на стул. Слуга держал над его головой зонтик.

Шамиль обратился к княгине Орбелиани первой, не глядя на нее, как равно и на других, и полураскрыл, по своей привычке, глаза, подобно отдыхающему льву.

— Варвара, — сказал он, не давая княгине никакого титула, — говорят, что ты жена Илико, которого я знал и любил. Он был моим пленником; он имел благородное и мужественное сердце и был неспособен лгать. Говорю так потому, что и сам питаю отвращение к лукавству. Не старайтесь обмануть меня; вы навлечете на себя беду.

Русский султан отнял у меня моего сына; я хочу, чтобы сын возвратился; говорят, что вы, Анна и Варвара, внучки султана Грузии; так напишите русскому султану, чтоб он возвратил мне Джемал-Эддина, а я возвращу вас вашим родственникам и друзьям. Кроме того, надо еще дать моему народу денег, я же для себя требую только своего сына.

Переводчик передал слова Шамиля.

Имам добавил:

— У меня есть письма для вас, одно из этих писем писано ни по-русски, ни

---

240 Читатели уже знают трех жен благодаря сведениям, сообщенным шемахинским офицером. *Прим. А. Дюма.*

по-татарски, ни по-грузински, а буквами, здесь никому не известными. Напрасно пишут вам на иностранном языке. Я заставляю переводить все, а то, что не сумеют перевести мне, не будет читано вовсе. Аллах советует человеку хранить благоразумие, я последую совету Аллаха.

Княгиня Варвара отвечала:

— Шамиль, тебя не хотели обмануть. Среди нас есть одна француженка, она принадлежит к народу, с которым ты не в войне, но который, напротив, в войне с Россией. Отпусти же ее.

— Хорошо, — отвечал Шамиль, — если ее деревня недалеко от Тифлиса, то я велю отправить ее туда.

— Ее деревня — большой прекрасный город, в котором полтора миллиона жителей, — отвечала княгиня Варвара, — и надо долго плыть по морям, прежде чем достигнешь его.

— В таком случае она освободится в одно время с вами, и от нее будет зависеть, каким способом вернуться домой.

Затем имам, встав, произнес:

— Сейчас вам передадут письма, написанные по-русски; помните, всякая ложь есть оскорбление Аллаха и верного слуги его Шамиля. Я наделен правом казнить, и казню каждого, кто осмелится обмануть меня.

После этих слов он важно удалился.

Глава XLV
Джемал-Эддин

Мы сказали, что сын Шамиля Джемал-Эддин был взят при осаде Ахульго: правильнее было бы сказать, что он отдан аманатом. Его мать Патимат, как вы помните, угасла от печали. Ребенок был увезен в Санкт-Петербург, представлен императору Николаю, который приказал воспитать его по-княжески и дать ему самое лучшее образование.

Джемал-Эддин долгое время оставался диким и пугливым, как серна его гор; но на седьмом году жизни, наконец, он пообвык и уже стал отличным наездником, и потому воспитание его дополнилось другими физическими упражнениями. Джемал-Эддин быстро выучился читать и писать и изъяснялся по-французски и по-немецки как на своем родном языке. Молодой горец, флигель-адъютант, полковник, походил уже на настоящего русского.

И вот однажды он позван во дворец. Он нашел императора Николая озабоченным и даже печальным.

— Джемал-Эддин, — молвил российский самодержец, — вы свободны принять или отвергнуть предложение, которое я вам сделаю. Не стану ни в чем принуждать вашу волю, но думаю, что вы совершили бы похвальный поступок, приняв предложение, которое сейчас услышите. Две грузинские княгини находятся в плену у вашего отца. Он согласен освободить их, но с условием, чтобы вы возвратились к нему. Ваш отказ оставит их пленницами навечно. Не поддавайтесь первому порыву, я даю вам три дня на размышление.

Молодой человек печально улыбнулся.

— Государь, — ответил он, — не надо трех дней, чтобы сын Шамиля и питомец императора Николая три дня раздумывал, что ему следует сделать. Горец родом, я русский сердцем. Я кончу свои дни там, в горах, где ничто не будет соответствовать полученному мной образованию, но умру с сознанием, что исполнил долг. Три дня, подаренные мне вашим величеством, послужат не для принятия какого-либо решения, но для того, чтоб проститься. С этой минуты я жду приказа вашего величества и поеду, когда получу его.

В начале февраля он выехал из Петербурга с князем Давидом Чавчавадзе, супругом одной из пленных княгинь. К концу того же месяца оба они уже были в Хасав-Юрте. Немедленно отправили нарочного с письмом молодого князя в Веден; письмо было написано из Владикавказа. Все это время сын Шамиля жил в Хасав-Юрте в доме князя Чавчавадзе, в одной с ним комнате, но совершенно свободно: он дал слово, которому все верили. Он

обедал у генерала барона Николаи.

В честь выкупа княгинь был дан бал, на котором он присутствовал и был его героем. Он остался в Хасав-Юрте до дня, назначенного Шамилем для обмена. Когда наступил этот день, вдруг возникли непредвиденные затруднения. Князь должен был уплатить сорок тысяч рублей Шамиль требовал, чтобы эта сумма была уплачена не только серебром, но еще и мелкой монетой. Требовалось время, чтобы добыть мелкой монеты в пятьдесят, двадцать пять и десять копеек; в канун обмена ее раздобыли только на пять тысяч рублей. Князь просил, чтобы Джемал-Эддин уговорил отца принять пять тысяч рублей золотом. Джемал-Эддин согласился.

10 марта генерал Николаи, взяв один батальон, два дивизиона пехоты, десять сотен казаков и шесть пушек, ступил на берега реки Мичик, где намечался обмен.

Правый берег реки, принадлежащий русским, открыт; по левому же берегу, составляющему непокорную землю, леса простираются до самых гор. Хорошо просматривается только пространство в одну версту между рекой и лесом в 500 сажень. Шамиль дал знак барону Николаи остановиться в версте от правого берега Мичика, а сам расположился на таком же расстоянии от левого берега.

Когда барон Николаи прибыл на условленное место, Шамиль уже был на своем посту; издали виднелась его палатка и возвышавшееся над ней черное знамя, поставленное позади. Сразу послали к Шамилю армянина по фамилии Грамов[241] в качестве переводчика. Ему надлежало узнать, как именно будет происходить обмен.

Вот что предложил Шамиль.

Его сын Хаджи-Магомет, в сопровождении тридцати двух чеченцев, приведет дам к дереву, находящемуся на правом, т. е. на русском берегу. Там он найдет своего брата и сорок тысяч рублей, привезенных конвоем под командой русского офицера. Русский офицер оставит Джемал-Эддина только после того, как передаст его отцу.

Итак, офицер, тридцать два солдата, сундуки с деньгами, шестнадцать горских пленников и Джемал-Эддин в сопровождении барона Николаи и князя Чавчавадзе, следовавших за ним шагах в пятидесяти, двинулись к Мичику. С ними был экипаж для княгинь.

По мере того, как они приближались, с противоположной стороны двигались сын Шамиля. Хаджи-Магомет со своим конвоем и арбы, на которых везли дам. Хаджи-Магомет и его конвой выехали вперед и поджидали арбы, которые вскоре к ним и присоединились. Потом они доехали до дерева, к которому русские прибыли в одно время с ними.

Во главе отряда неприятелей гарцевал на белом коне прекрасный молодой человек с бледным лицом; на нем была белоснежная черкеска и такая же папаха. Это был Хаджи-Магомет. За ним следовали двумя рядами тридцать два богато одетых и великолепно вооруженных чеченца.

Оба конвоя остановились в десяти шагах один от другого. Тогда Хаджи-Магомет и Джемал-Эддин соскочили с коней и бросились друг другу в объятия. Увидев обнимающихся братьев, все мюриды Хаджи-Магомета закричали: «Аллах! Иль Аллах!».

Князь Чавчавадзе и барон Николаи также присоединились к братьям. Княгини, их дети и женщины из свиты княгинь были сразу же переданы Хаджи-Магометом князю Чавчавадзе. Сундуки с сорока тысячами рублей перешли к мюридам.

Джемал-Эддин был представлен княгиням, они благодарили его, как своего избавителя. Потом, простившись с князем и бароном и смахнув последнюю слезу, которую он пролил, вспоминая Россию, усыновившую его, он отправился к Шамилю в сопровождении офицеров, которые, согласно уговору, должны были вручить его отцу.

За полверсты от Шамиля они сделали привал в роще. До сих пор Джемал-Эддин был в

---

241 Грамов Исай Иванович (1821–1886) — переводчик в Управлении кавказского наместника. Дважды ездил к Шамилю для переговоров об освобождении цинандальских княгинь. После пленения Шамиля служил у него переводчиком в Калуге.

русском военном платье. Здесь он снял свой мундир и облачился в черкеску, присланную Шамилем. Черная лошадь, покрытая красным чепраком и ведомая двумя нукерами, стояла в нескольких шагах. Джемал-Эддин вскочил на нее как истый горский всадник, и они пустились вскачь — к Шамилю.

Едва они успели сделать несколько шагов, как мальчик лет тринадцати, выбежав из свиты Шамиля, пустился во весь дух и с распростертыми объятиями бросился на шею Джемал-Эддину. Это был его младший брат Магомет-Шафи.

Наконец прибыли к самому Шамилю. Его восточное достоинство, его религиозное бесстрастие не позволяли ему — несмотря на все его желания — выйти навстречу сыну. Он ждал, неподвижно восседая между двумя старыми мюридами. Над головой Шамиля держали зонтик. Его красота была так своеобразна и величественна, что русские офицеры остановились в изумлении.

Джемал-Эддин приблизился к родителю и хотел поцеловать у него руку. Но имам был уже не в силах более притворяться — он принял его в свои объятия, прижал к сердцу, и из его груди, готовой разорваться от волнения, вырвались рыдания.

После этого первого порыва чувств Джемал-Эддин сел по правую сторону от отца; Шамиль не спускал с него глаз, все держал его руку. Пылающий его взор будто наверстывал время, в которое он не видел сына. Два офицера — свидетели этого зрелища — стояли неподвижно и безмолвно — столь сильное впечатление произвела на них эта трогательная сцена.

Однако, поскольку слишком долгое отсутствие их могло обеспокоить генерала, они просили сказать Шамилю, что их прислали для передачи ему сына, и так как они исполнили поручение, то просят отпустить их.

Шамиль приветствовал их.

— До сих пор я сомневался, что русские сдержат слово. Теперь я изменил свое мнение; поблагодарите от моего имени барона Николаи и скажите князю Чавчавадзе, что я обращался с его женой и свояченицей как с собственными дочерьми.

Потом он поблагодарил офицеров. Они приблизились к Джемал-Эддину, чтобы проститься с ним. Он обнял их и, по русскому обычаю, трижды расцеловал каждого. Шамиль не только не сердился на это трогательное прощание, но, напротив, благосклонно наблюдал за ним. Тогда офицеры поклонились Шамилю в последний раз; им подвели лошадей, и они в сопровождении пятидесяти мюридов достигли берегов Мичика. Там они услышали пальбу, но пальба была совершенно мирная: люди Шамиля выражали радость по случаю вторичного появления Джемал-Эддина среди них после столь долгого отсутствия…

В феврале 1858 года полковнику князю Мирскому, командиру Кабардинского полка, дислоцированного в Хасав-Юрте, доложили, что какой-то горец, называющий себя посланцем Шамиля, желает говорить с ним. Князь велел впустить горца. Незнакомец вошел и сообщил, что и в самом деле он послан Шамилем. Оказалось, что сын имама Джемал-Эддин, страдавший болезнью, неизвестной татарским медикам, находился при смерти. Шамиль призывал на помощь европейскую науку.

Князь Мирский пригласил лучшего полкового хирурга, доктора Пиотровского, который и обратился к горцу с расспросами о болезни. По признакам, какие старался передать ему чеченец, доктор предположил, что Джемал-Эддин страдает чахоткой. Он приготовил необходимые лекарства. Подписав над каждым из них, как его следует употреблять, он передал все это посланцу. Помимо этого, ему же поручили сказать имаму, что в случае, если он пожелает, чтобы медик лично отправился к нему, князь Мирский согласен и на это, но только с некоторыми условиями.

10 июня тот же самый посланец явился вновь. Болезнь Джемал-Эддина катастрофически нарастала. Шамиль соглашался на все условия князя Мирского лишь бы как можно скорее прислали доктора. Речь шла о том, чтобы оставить трех наибов в залог за медика. Это условие было немедленно принято. Князь вызвал доктора Пиотровского и

сообщил просьбу Шамиля, предупредив, что он нисколько не принуждает его к этому путешествию и что он имеет полное право отказаться. Доктор не колебался. Он взял с собой аптечку с необходимыми медикаментами и в семь часов утра 12 июня в сопровождении двух наибов выехал из Хасав-Юрта.

Сначала дорога тянулась вдоль правого берега Яраксу. Поднявшись на высоты Жундбаха, в земле Анк, недалеко от реки Ахты, на левом ее берегу они заметили две сотни донских казаков, направлявшихся к крепости Внезапной, вероятно, после конвоирования.

В полдень они въехали в небольшую долину, заросшую колючими кустарниками, и остановились, чтобы дать отдохнуть лошадям. Один из наибов снял бурку, разостлал ее и посадил на нее доктора. Другие расселись на траве и стали завтракать.

Доктор пригласил проводников к своей трапезе, но они не взяли ничего, кроме куска хлеба. Они отказались даже от сыра, ссылаясь на то, что не знают, что это такое и никогда не едали ничего подобного.

Отсюда были видны чеченские пикеты возле леса, доходившего до берегов реки Акташа. В лагере горцев поднялся переполох. С ружьями наготове они бежали к месту, где поднимался густой столб дыма.

Едва доктор кончил завтракать, как какой-то чеченец вышел из-за кустов с ружьем в руке. Он остановился шагах в пятидесяти и на чеченском языке обменялся несколькими словами с наибами. Он возвестил им, что казаки, которых они видели, убили одного горца и увели двух лошадей: дым служил сигналом тревоги; но уже было поздно.

В то время, как чеченцы собирались, казаки вступили в крепость.

Пока чеченец и наибы рассуждали об этом происшествии, доктор хотел было пробраться дальше, чтобы нарвать малины, но наибы попросили его не отходить от них; появление его в горах содержалось в тайне, и одежда могла его выдать, тогда ему несдобровать, — по доктору могли и выстрелить.

В четыре часа пополудни они снова пустились в путь и переправились через Акташ, минуя два аула, из которых один называется по имени этой же реки, а другой Юрт-Анк. Почти за версту от последнего аула в Акташ впадает река Саласу и делает крутой поворот к северо-западу. В центре поворота возвышается гора, на склонах которой построены два аула — Аргар-Юрт и Белларт-Гарганш[242].

Дорога до Аргар-Юрта, более или менее удобная, за этой деревней практически исчезла: пришлось спуститься в реку и следовать по ней.

Уже вечером они оставили русло Акташа и въехали в лес, что на левом берегу. В десять часов во мраке показалось несколько огней, это были огни аула Оньек. Ориентируясь на огни, направились в аул и скоро въехали в него. Главная улица была полна народу. Лазутчик известил, что какой-то русский, сопровождаемый тремя горцами, приближается к аулу, и все жители были на ногах. Тотчас раздались крики: «Гяур! Гяур!». Лица горцев приняли грозное выражение, но наибы успели объяснить жителям, что путешествие доктора совершенно мирное.

Прибыли в дом, где предполагали провести ночь; хозяин вышел навстречу доктору и, переговорив с наибами, сделал г-ну Пиотровскому знак следовать за ним. Он ввел его в комнату и, указав на угол, приветливо сказал ему: «Сядь там». Затем он вышел, заперев дверь и унося с собой ключ. В этой комнате оказалась, к великому удивлению доктора, женщина с ребенком лет четырех. Благодаря огню, у которого она сидела, доктор разглядел, что женщина молода и красива. Доктор оставался почти час в обществе этой женщины. Но потому ли, что она не понимала по-русски, или потому что ей велено было оставаться немой, она не отвечала ни на один из вопросов доктора.

Наконец воротился хозяин дома с одним из наибов. Они сделали знак доктору, чтобы

---

242 Само собой разумеется, что мы не можем поручиться за верность как этих, так и многих других собственных имен.

Прим. Н. Г. Берзенова.

шел за ними. Складывалось впечатление, что эти люди говорили только тогда, когда это было необходимо. Миновав какую-то дверь, доктор оказался в другой комнате, которая не была освещена. Хозяин опять запер дверь, на этот раз изнутри, и, подойдя к камину, где заранее были приготовлены дрова, развел огонь, при ярком свете которого доктор догадался, что он находился в комнате, где азиатцы принимают гостей. Здесь была и постель; доктор, крайне утомленный, лег и тотчас заснул.

Проснувшись утром, он увидел, что один из его наибов разговаривал с другим наибом, ему неизвестным. Последний имел на себе две звезды, пожалованные ему Шамилем. Действительно, вновь прибывший был прислан имамом для сопровождения доктора на всем остальном отрезке пути. Он советовал доктору надеть другой костюм, чтобы из военного медика превратиться в простого горца; впрочем, особых затруднений в этом не было — платье было уже приготовлено.

Завтрак состоял из чая, сыра и татарских лепешек. В девять часов утра привели лошадей с проводником: и лошади и проводник были новые. Дорога до деревни Амави тянулась вдоль берега Акташа. В Амави снова переменили проводника; этот сопровождал доктора пешком. Из Амави поднялись на Гумбетский хребет, куда прибыли после получасовой ходьбы. По дороге путешественникам встречались большие стада баранов и быков.

С Гумбетского хребта заметны были Каспийское море и Кавказская линия до Георгиевска, где-то в тумане виднелся Моздок. Панорама была великолепная и заставила доктора на минуту забыть утомительность путешествия.

Перебираясь с одной вершины на другую, достигли наконец высшей точки хребта. Там доктор невольно попятился: гора была отвесная — и это над пропастью в две тысячи футов!

— Где дорога? — испуганно промолвил доктор.

Горец, наклонившись над пропастью, так, что верхней половиной своего тела почти повис над пустым пространством, сказал:

— Вот здесь, — и показал на тропинку, извивавшуюся под ним вдоль скалы. Не было никакой возможности следить глазом за тропинкой; в некоторых местах она совершенно терялась из виду. Нечего было думать и о том, чтобы спуститься по такой дороге верхом; доктор оставил своего коня, пустив его пастись на траву; и, собрав все свое мужество, решился спуститься в пропасть. Его била дрожь даже тогда, когда впоследствии он рассказывал об этом страшном спуске.

Проводник шел впереди, за ним доктор, за доктором наиб. Во избежание головокружения доктор иногда оборачивался.

Глаза доктора беспрерывно и невольно устремлялись на узкую дорожку, усеянную голышами, катящимися из-под его ног и падающих с глухим шумом в бездонную глубину.

На протяжении всего спуска доктор не нашел ни одной точки опоры, ни одного местечка, где бы он мог присесть — и эта пытка продолжалась шесть часов!

Когда доктор достиг подножья горы, он обливался потом, а его ноги дрожали как тростник, обдуваемый сильным ветром. Наконец прибыли к так называемым Андийским воротам. На всем пути не было видно ни одного куста, но встречались иногда желтые и белые цветы.

Юго-восточная сторона этого гребня вертикальна; на вершине ее красуется группа скал, которую русские солдаты называют «Чертовой свадьбой».

Налево, в версте от Андийских ворот, виден аул Фелики, а на таком же расстоянии от него — аул Агаллы, за ним еще аул — Унг. Дома деревень построены из камня без извести.

В полуверсте от Унга большое селение — Андия, дающее свое название хребту, по которому дорога вьется змеей. Наконец за Андией находится последний аул, на который проводник указал доктору, как на конечную цель их путешествия; аул назывался Сул-Кади.

Доктор, едва не рухнувший без чувств, сел или, вернее сказать, повалился ничком на землю. Но через несколько минут поднялся и снова пустился в путь, хотя ноги его не переставали дрожать от нервного перенапряжения, и эта дрожь уже не подчинялась его воле.

В Сул-Кади они прибыли поздно ночью. Дома этого аула каменные, в два и три этажа; нижний этаж предназначен для лошадей и рогатого скота, следующий — для хозяина дома, а прочие этажи, как и в городах, сдаются внаем. В центре аула возвышается мечеть.

У входа в дом Джемал-Эддина стоял часовой. По узкой лестнице доктор поднялся на большое крыльцо, с которого можно было попасть в комнату больного. Свеча высветила железную кровать, на которой лежал больной, а на полу другую постель, приготовленную для доктора, которого, как видно, здесь ожидали.

Джемал-Эддин спал; его разбудили. Он был рад видеть доктора, но пригласил его прежде всего отдохнуть: доктор задал больному несколько вопросов, но будучи крайне утомленным, уступил его настояниям и лег спать.

Комната сына Шамиля имела жалкий вид — она была почти без мебели, и все ее убранство составляли ружья, револьвер, шашка в серебряной оправе да чайный погребец.

На другой день, пробудившись, доктор расспросил больного о состоянии здоровья.

Болезнь молодого человека была более душевная, нежели физическая. Удаление от городской жизни, отсутствие удовольствий юности убивали его. Суровые и дикие горы не могли возвратить ему петербургских и варшавских друзей. Прелестные чеченки и кабардинки, слывущие за первых красавиц на свете, не могли заставить его забыть русских красавиц с берегов Невы и милых полек с берегов Вислы. Он угасал потому, что предпочитал смерть такой доле. Впрочем, физические силы уже оставили его: он не поднимался с постели.

Снадобья татарских лекарей, на попечение которых был отдан Джемал-Эддин, когда болезнь уже начала принимать серьезный оборот не только не остановили ее развитие, но, напротив, ускорили его. Развлечения могли бы встряхнуть его, поддержать силы, но — увы — развлечения, по крайней мере те, которые прежде питали его ум, были ему запрещены; ему не позволили иметь ни одной книги, ни одного русского журнала. Это считалось позором для чеченца, который смотрит на все приходящее из России, как на физический или нравственный ад.

Три дня оставался доктор при Джемал-Эддине. Он сделал все, что было в его силах, но как врач уже знал, что попечение его бесполезно, что болезнь смертельна.

Оставляя Джемал-Эддина, он наказал соблюдать все его предписания. Самое бесспорное убеждение доктора заключалось в том, что больной сам не стремился к выздоровлению. Впрочем ни слова жалобы, ни укора не было произнесено несчастным молодым человеком. Жертва приносилась безропотно: самоотречение было полное. 17 июня доктор простился с Джемал-Эддином.

В начале сентября пришло известие о его смерти.

Шамиль вернул себе сына с тем, чтобы снова потерять его, теперь уже безвозвратно.

Глава XLVI
Тифлис

Увлеченные этим нашим рассказом, мы едва не забыли о Тифлисе.

Истинное название Тифлиса — «Тбили-калаки», т. е. Теплый город. Это название происходит от теплых вод, благодаря которым путешественникам известны те знаменитые персидские бани, о которых мы уже мимоходом говорили. Любопытна благозвучная аналогия, которую имеют некоторые города, известные своими теплыми водами. В древности был в Нумидии город Тобилис, а в наше время, кроме грузинского Тифлиса, существует в Богемии город Теплиц, корень которого, очень может быть, тоже тепло.

В эпоху, когда начинается христианская эра, Тифлис был только деревней Мцхет, столицей Грузии; но в 469 году царь Вахтанг Гургаслан, «волк-лев», заложил город Тбилиси — мать нового Тифлиса. Недавно построенный город был опустошен хазарами, восстановлен эмиром Агарьяном и после разрушения Мцхета сделался резиденцией Багратидов, предков нынешних Багратионов.

Кура отделяет собственно город от его предместий: Авлабара, Песков и Немецкой колонии.

В сентябре 1795 года город был полностью разрушен Ага-Магометом. В эту пору город был так тесен, — сообщает Клапрот, — что одна арба едва могла проехать по его самым широким улицам. Тифлис имел тогда пятнадцать тысяч жителей.

В 1820 году, когда шевалье Гамба, французский консул в Тифлисе, прибыл сюда, все улицы были покрыты развалинами, — следами последнего персидского вторжения; через них перепрыгивали, рискуя сломать себе шею, чтобы добраться до землянок, в которых ютились коренные жители.

Конечно, тот, кому известен Тифлис только по описаниям Клапрота и шевалье Гамба, не догадается, входя в нынешний Тифлис, что вступает в тот самый город, который описан этими путешественниками. В настоящее время в Тифлисе насчитывается от шестидесяти до семидесяти пяти тысяч жителей; улицы его в шестьдесят футов шириной: тут великолепные здания, площади, караван-сараи базары и, наконец, театр и церковь, которые, благодаря деятельности князя Гагарина, превратились в самые изящные произведения искусства.

С тех пор, как Тифлис поступил под русское владычество, избавившее его от вторжения персов и турок, три лица особенно много сделали для Тифлиса: это генерал Ермолов, граф Воронцов[243] и князь Барятинский.

Генерал Ермолов в настоящее время может быть назван старейшим из русских генералов. Ему восемьдесят лет от роду: это один из героев двенадцатого года. Он отнял у нас, а мы отняли у него главный редут. Подобно Конде, бросившему свой жезл в испанские ряды, он швырнул во французские ряды горсть Георгиевских крестов, которые и были немедленно собраны находившимися под его командованием солдатами.

В одном из романов из кавказской жизни Марлинский пишет о Ермолове:

— Беги, чеченец, — блещет меч
Карателя Кубани;
Его дыханье — град картечь,
Глагол — перуны брани!
Окрест угрюмого чела
Толпятся роки боя…
Взглянул, — и гибель протекла
За манием героя[244].

Эти стихи прекрасно передают восприятие горцами Ермолова. Он высоченного роста, прекрасно сложен, силен, как житель севера, легок и ловок, как житель юга. Горцы были очевидцами, как ударом шашки он сносил голову буйволу, как в несколько минут усмирял необъезженного коня, как попадал пулей в монету, подброшенную в воздух; этого было достаточно, чтобы произвести должное впечатление на горцев. Ермолов на Кавказе олицетворял собою терроризм, но то было в эпоху, когда терроризм мог оказаться спасительным, так как священная война не соединяла еще всех горских племен воедино. Ермолов был самой могущественной личностью, какую только будут помнить на Кавказе.

В начале войны с Портой, вместо того, чтобы возглавить отряд, идущий в бой, он предоставил командование им генералу Паскевичу и тем заложил первый камень в

---

243 Дюма именует Воронцова то графом, то князем. — *(М.Б.)*

244 В оригинале приводятся двенадцать зарифмованных строк, которые не зафиксированы в полном собрании стихотворений А. Бестужева-Марлинского («Большая серия «Библиотеки поэта», 2-е издание, Л., 1961), но они есть в «Аммалат-беке» в пятой главе: «Письмо полковника Верховского к его невесте из Дербента в Смоленск» цитируется по двухтомному собранию сочинений А. А. Бестужева-Марлинского (т. 1, М., 1958, с. 472).

фундамент его счастья. Сам же остался в Тифлисе в вызывавшем всеобщее недоумение каком-то состоянии нерешительности. Что за слабость одолела это большое сердце?

Следующий эпизод дает представление о проницательности азиатцев. Один из мелких султанов покорных татарских провинций явился к генералу. Ермолов принял его очень любезно, — даже слишком любезно. Султан сел и сразу же принялся успокаивать главнокомандующего насчет случайностей войны. Тогда Ермолов, как ужаленный пчелою лев, поднял голову.

— Почему думаешь ты, — спросил он султана, — что я неспокоен?

— О! — отвечал султан. — Если б ты был спокоен, то никогда не позволил бы мне сесть рядом с тобой.

Ермолов еще жив. Я видел его портрет у князя Барятинского. Длинные, густые белые волосы придают ему вид дряхлого льва. Он пребывает в оппозиции, цепляется за свою былую популярность и не удовлетворен тем, что его фантастическая карьера прервалась на полпути.

Ведь когда император Александр опочил, на престол взошел император Николай, и все переменилось. Среди великих людей встречается чрезмерная экзальтированность, слишком раздражающая нас. Император Николай обладал многими различными свойствами, превозносимыми прежде, но оспариваемыми ныне; основное из них — склонность к деспотизму, и эту склонность он стремился реализовать любой ценой: всей Европе пришлось в течение тридцати лет покоряться его капризам. Именно склонность к деспотизму, между прочим, была одним из недостатков Луи-Филиппа, который всем навязывал себя.

Самое любопытное, что российскому самодержавцу приписывали завоевательные планы, которые он никогда не строил, ведь вся его непреклонность имела целью лишь удовлетворение собственной спеси и чванства. Любое сопротивление власти Николая было в его глазах непростительным преступлением. Поэтому при императоре Николае горцы уже не считались врагами — они были для него мятежниками. Как только он вступил на трон, с ними было запрещено вступать в любые переговоры. Они должны были безоговорочно подчиняться. Их благополучие зависело от их благонамеренности — с того момента, когда горцы признали Николая императором. Но далеко не все, кто смирился, обрел покой. Случилось совсем даже наоборот: невежественные, грубые чиновники, взяточники сделали русское господство ненавистным. Отсюда измены Хаджи-Мурада, Даниэль-бека и многих других. Отсюда и восстания Большой и Малой Чечни и Аварии — целой части Дагестана. Если народ однажды добровольно покорился, а потом восстал, значит, причиной тут — дурное управление, на которое он было согласился, а потом осознал, что оно душит народ.

Огромным несчастьем России на Кавказе было отсутствие единой политической линии, направленной к строго определенной цели. Каждый новый наместник прибывал с новым планом, никак не согласующимся с предыдущим и зависящим лишь от фантазии очередного начальника. Иными словами, в реальных кавказских проблемах России существует столько же анархии и безалаберщины, что и в кавказской природе.

Ермолова заменил Паскевич, но он вершил здешними делами недолго. Потом пришел генерал Розен — прекрасный администратор. Он смотрел на вещи удивительно тонко, и следы его заботливости видны во всем, что было начато истинно-мудрого для усмирения края.

Надо бы написать целую историю Кавказа или, точнее сказать, правителей Кавказа, от князя Цицианова до князя Барятинского, чтобы дать объяснение той бедственной войны, которую Россия поддерживает безо всякого результата на протяжении шестидесяти лет.

Закавказье было населено тридцатью христианскими племенами, составляющими меньшую часть населения, среди них грузины, армяне и другие. Остальная часть края разделялась на татарские ханства: Ганжу (Елизаветполь), Шеки (Нуха), Карабах, Шемаху и Баку. У самых ворот Тифлиса мелкие территории тоже татарские, как Борчалы и Шамшадил, сохраняли вместе с кочевой жизнью разбойничьи привычки, которые нетерпимы в благоустроенном государстве.

Все Закавказье состояло из равнин и гор. Обширные долины Куры, Аракса и Алазани представляли собой плодородную почву для разведения виноградников и тутовых деревьев, марены и всякого рода хлебных растений. Здесь могло быть куда больше промышленности, чем ныне, ведь промышленность, создавая благосостояние, ведет за собою цивилизацию, а вслед за ней и мир.

Составить программу было легко, но следовать ей трудно.

Легче убивать людей, нежели просвещать их: чтобы убивать их, надо иметь только порох и свинец; чтобы просвещать их, нужна некоторая социальная философия, которая не всем правительствам доступна.

Покорение равнин было совершено за короткое время, но равнина не смирилась, а просто приняла иго, оставаясь враждебной в своей сущности. Права и условия собственности не были в ней определены. Ненависть, бессильная на плоскости, нашла неприступное убежище в горах; тайна сопротивления гор служит в утешение равнины; война горцев — только отголосок вздохов и ропота жителей равнины.

Найдите средство слить материальные интересы мусульман с христианским правлением, осчастливьте равнину возвращением потерянного ею мира, и все горцы сами сойдут с предложением своей покорности. Вот какой системе начал следовать генерал Розен.

К несчастью, император Николай имел непоколебимое намерение совершить путешествие на Кавказ. Он прибыл в самое неподходящее время, был постоянно болен и пребывал в дурном расположении духа.

Он жестоко оскорбил генерала Розена, грубо сорвав во время смотра войск с князя Дадиана, его зятя, аксельбанты императорского адъютанта. Местные жители, ожидавшие встретить ослепительное солнце, готовые отдать за императора жизнь, отдать ему свой свет и свое тепло, обнаружили всего лишь хмурого и недалекого капрала. Эта вспыльчивость императора оставила неприятный осадок. Генерал Розен умер в Москве, недовольный и непонятый. Будущее показало, как велика была потеря.

Генерал Нейдгардт[245] стал его преемником. Этот немец был педантом, формалистом, без определенной социальной программы. Удачи ему не сопутствовали, и он не пользовался доверием общества. Управление его было кратковременно и бедственно: русские войска понесли большие потери — в частности, восстали Чечня и Авария. Всему краю угрожало общее возмущение. Вот тогда-то император Николай и вспомнил о графе Воронцове, который имел все, чего недоставало генералу Нейдгардту знатное имя, огромную популярность и аристократическую осанку.

Скажем несколько слов о князе М. С. Воронцове — фельдмаршале, кавказском наместнике, новороссийском и бессарабском генерал-губернаторе.

Это был — вместе с князем Барятинским, но первому было тяжелее, — это был, можно сказать, один из тех государственных русских деятелей, которые умели сохранить, при занимаемых ими высоких должностях, некоторую независимость. Три причины доставили ему эту независимость: богатство, образование и характер.

Он был сыном князя Семена Воронцова, русского посла в Лондоне, воспитывался в Англии и на протяжении всей жизни сохранил тот мелочный аккуратизм, ту привычку к порядку, ту рассудительность и хладнокровие в суете каждодневной жизни, ту заботу о личном достоинстве, в которых англичане черпают свое величие. Уже имея богатое родовое имение, граф Воронцов стал наследником еще и своего дяди Александра, знатного государственного деятеля.

В двадцатилетнем возрасте Михаил Воронцов был гвардейским поручиком и камергером. Его отец и дядя хотели, чтобы он получил закалку, достойную мужчины, и послали его для этого на Кавказ. Это было в тот период, когда Грузия лишь совсем недавно

---

245 После Розена в 1837–49 годах командовал русскими войсками на Кавказе генерал Головин, а затем, в течение двух лет, генерал Нейдгардт.

вошла в состав империи Александра I.

Князь Цицианов тогда правил Кавказом.

Это был человек вспыльчивый и капризный, но одаренный настоящим талантом — военным и административным. Не очень льстило ему назначение к нему молодого камергера, которого он считал кавалером гостиных, салонным львом. Чтобы избавиться от него, он написал письмо, которое должно было предупредить прибытие молодого человека подобно письму Агамемнона, встретившемуся в пути с Клитемнестрой — письмо князя Цицианова встретило графа Михаила уже в пути. Когда же он прибыл, то его нельзя было уже отправить обратно. Происходило это в 1803 году.

Новичок начал военное поприще с того, что принял участие в осаде столицы Ганжинского ханства. Он проявил особую храбрость, вынеся из битвы молодого Котляревского[246], который был ранен и позже стал героем Кавказа.

Князь Цицианов с первого же взгляда понял, что этот молодой камергер муж и такой муж, которого надо сохранить для России. Опасаясь, чтобы он не погиб при осаде Ганжи, он отправил его на лезгинскую линию, поручив его храброму генералу Гулякову, командовавшему там отрядом. Спустя несколько дней после прибытия молодого человека произошла несчастная стычка с лезгинами в долине близ Закатал. Гуляков был убит, часть русских войск была опрокинута в пропасть. Михаил Воронцов подвергся общей участи с другими и потерял при падении компас со своим шифром; он был возвращен ему уже по прошествии пятидесяти лет, когда граф стал кавказским наместником.

После закатальской операции, в которой Михаил Воронцов спасся чудом, он в чине бригадир-майора принял участие в экспедиции против Эривани.

Князь Цицианов, наконец, расположился к Воронцову, дал ему щекотливое поручение к имеретинскому царю Соломону, то слагавшему с себя корону в пользу России, то открыто поднимавшему против нее оружие.

Когда князя Цицианова убили, граф Воронцов возвратился в Россию. На Кавказ он не скоро вернется.

При Бородине он командовал дивизией, которая была разбита, сам же он был ранен и удалился в свое поместье, которое превратил в большой госпиталь и где лечился вместе с другими русскими ранеными.

В 1815 году он командовал корпусом, оставшимся во Франции, и заплатил из собственных денег два миллиона за долги его офицеров. Неизвестно, возвращены ли были ему эти деньги императором Александром.

Он женился на дочери графини Браницкой — племяннице знаменитого Потемкина, умершего на ее руках на краю одного оврага, и благодаря этому браку стал одним из самых богатых помещиков в России.

В 1826 году, — пишу по памяти и поэтому, может быть, ошибаюсь двумя или тремя годами, — в 1826 году он был назначен новороссийским генерал-губернатором и воцарился в Одессе, созданной герцогом Ришелье. Он привел Одессу в такое цветущее состояние, в каком мы видим этот город в настоящее время. Он устроил великолепные винодельческие заведения в южной России, которую превратил в обширный сад с прелестными дачами.

Граф Воронцов, отвлеченный от своих административных занятий командованием войсками в продолжение турецкой войны, заступил на место раненного под Варной князя Меньшикова, взял Варну, в 1845 году назначен кавказским наместником — вся Россия приветствовала это назначение. На Кавказ он прибыл морем, высадившись в Редут-кале, и был принят с энтузиазмом живописным населением берегов Черного моря.

Первым его словом по прибытии сюда было обещание устроить дороги. Он повторил то, что обещал каждый новый наместник, но ни один, к несчастью, не исполнял обещанное.

---

[246] Котляревский Петр Степанович (1782–1852) — генерал от инфантерии. Особенно отличился в период русско-турецкой войны 1804–13 гг.

Два обстоятельства мешают устройству здесь дорог. Первое, во Франции это не было бы причиной безобразного строительства дорог, — особенности почвы. Второе — исключительное занятие военной стороной дела. Конечно, стремительность горных рек на Кавказе — страшный бич. Гранитный мост, первый камень которого торжественно был заложен наследником престола — нынешним императором, гранитный мост, который строили три года, истратив на него пятьсот тысяч рублей, был воздвигнут в Дарьяльском ущелье и торжественно освящен. В одно прекрасное утро он был снесен как соломинка.

Два других моста — в Горийском уезде — постигла та же участь. Постройка этих мостов была поручена англичанину Кейлю, который был наполовину столяр — наполовину механик. Когда мы побывали в Гори по пути из Тифлиса в Поти, то не обнаружили даже и следов этого моста. Добавим, что правительство ассигновало на пути сообщения довольно значительную сумму — шестьдесят или восемьдесят тысяч рублей. Работают много, но без результата, и я слышал почти от всех в Тифлисе, что если собрать серебро, потраченное в течение пятидесяти лет на строительство дороги от Владикавказа до Тифлиса, то можно было бы вымостить всю дорогу рублями. Впрочем, мы скоро отправимся по этой дороге, и наши читатели узнают о состоянии, в коем она пребывает. А до этого упомянем, что каждый год завалы трех родов покрывают эту дорогу: снежные, каменные и водяные.

На равнине наводнения всегда переменчивы; они разводят почву и затопляют целые провинции. Я буквально бросил лошадь в мингрельской грязи, и чуть было сам в ней не остался.

Чтобы устроить сообщения в такой стране, нужны римский размах и циклопические сооружения, необходимы огромные фонды, инженеры, отчетливо понимающие свое дело и, самое главное, отличающиеся самой безукоризненной честностью. Все хотели покорения, но все удалились от истинного, единственного к тому средства. Война стоила России более ста миллионов, а на пути сообщения ассигновано только триста тысяч франков — потому и нет дорог.

Граф Воронцов считал проложение дорог первой необходимостью, но войну рассматривал как еще более необходимую. Он получил приказ воевать с непокорными с большей энергией и по плану, составленному в Санкт-Петербурге под наблюдением самого императора. Предполагалось совершить экспедицию, чтобы окружить Шамиля, проникнуть в его резиденцию, подавить восстание и окончательно покорить всех горцев Дагестана. На бумаге этот план был фантастически прост, однако не была принята в расчет природа Кавказа.

— Скажите Шамилю, — промолвил император Николай перед началом экспедиции, — что я сотру его в порошок.

Сие бахвальство привело лишь к одному эффекту: Шамиль рассмеялся.

Император всегда стремился к тому, чтобы его не уличали в неразумности, но он, тем не менее, приказал начать абсурдную, заранее обреченную экспедицию, получившую позже название экспедиции в Дарго. Она была тем более безрассудна, что граф Воронцов никогда не бывал в той стороне Кавказа, и пункты, где ему приходилось действовать, были ему совершенно неизвестны. Эта экспедиция — целая Илиада, которая имела бы своего Гомера, если бы Пушкин и Лермонтов были еще живы.

Штурм Гергебиля и Салтов, поход в непроходимые леса Аварии, занятие Дарго, — резиденции Шамиля — истребление полка из трех тысяч человек, посланного за сухарями, наконец спасение войска в ту минуту, когда оно должно было погибнуть до последнего человека, все это составляет фазы страшной и удивительной эпопеи.

Результатом экспедиции в Дарго было только то, что она заставила понять и оценить характер князя Воронцова: солдаты, которые называли его порто-франко вследствие его либеральных и прогрессивных идей, сделавшихся известными по поводу порто-франко в Одессе, не зная, кстати, смысла этого слова, повторяемого ими только по слухам, проникались энтузиазмом, когда видели этого благородного старца всегда спокойным, ровным, ласковым, переносящим всевозможные лишения и подвергающимся неминуемым

опасностям, и все это с видом не только бесстрастным, но и смеющимся.

Горцы застигли его с конвоем на опушке леса, и тот, кто под Москвой противостоял Наполеону I, был вынужден взять шашку, чтобы отразить чеченских бандитов. На бивакax, окруженных неприятелем, среди ружейных выстрелов, ежеминутно раздававшихся и убивавших солдат в десяти шагах от него, он диктовал письма своему секретарю, поддерживая по обыкновению обширную корреспонденцию; он писал в это время во Францию, чтобы ему прислали виноградных лоз из Бургундии, заказывал платья и шляпы для своей жены, приказывал играть музыку, чтобы заглушить шум стрельбы и заставить солдат забыть голод, наконец, велел сжечь весь багаж армии, начиная с его собственного и, как Карл XII, питался куском черного черствого хлеба. Все войско его уже погибало от голода, но благодаря сверхчеловеческим усилиям он успел соединиться с отрядом генерала Фрейтага, доставившим съестные припасы, а вместе с тем и спасение.

Его рапорт начинался словами:

«Приказ Вашего Величества исполнен…» Затем шло описание разгрома русских войск в результате исполнения этого приказа.

Граф Воронцов был особенно обожаем французской колонией. Он знал имена, знал занятия всех наших соотечественников и никогда не встречал ни одного из них без того, чтобы не остановить и не спросить с участием, трогавшим сердце бедного изгнанника, о его торговых и семейных делах. А потому, как мы сказали, имя графа Воронцова известно на Кавказе всем и каждому.

Я слишком хорошо был принят князем Барятинским, чтобы восхвалять его или даже сказать о нем сущую правду: некоторые подумают, что я пытаюсь расплатиться с ним, между тем, как, напротив, эта воздержанность есть прямое следствие моей к нему благодарности.

Глава XLVII
Грузия и грузины

Когда я ехал в Тифлис, признаюсь, мне представлялось, что я еду в страну полудикую, типа вроде Нухи или Баку, только большего масштаба. Я ошибался. Благодаря французской колонии, состоящей большей частью из парижских швеек и модисток, грузинские дамы могут следовать с опозданием лишь в две недели модам Итальянского Театра и Больших Бульваров.

Я прибыл в столицу Грузии, когда там всех сильно занимала одна проблема. Княгиня Г… привезла с собой новомодный корсет (corcet plastique), и талия ее, сама по себе прекрасная, еще более выиграла от этого нового изобретения. Теперь у мадам Блот[247]отбою не было от просьб к мадам Бонвале, чтобы та выслала сюда побольше этих корсетов. Как парижанина, меня спрашивали об этом любопытном изобретении, будучи абсолютно убежденными, что я наверняка должен был что-либо знать о нем.

Не спрашивайте меня, милые читатели, как я узнал о корсетах мадам Бонвале, ведь все равно не смог бы вам этого сказать; но поверьте на слово, что в числе предметов, которыми случай заставил меня заниматься незадолго до моего отъезда из Тифлиса, были и новые корсеты.

Я полагал, что мне придется читать публичные лекции о корсетах, но отделался только заметкой, которую поместили в журнале «Заря». В этой заметке я объяснил, что, изучив телосложения четырехсот или пятисот женщин, создали классификацию женского туловища, состоящую из восьми пунктов. Благодаря этой систематике женщины всех стран и народов могли найти для себя подходящий корсет.

Эти строки, напечатанные в названном журнале, имели для меня важные последствия:

---

[247] Белошвейка Жозефина Блот, содержавшая мастерскую в доме Зубалова на Эриванской площади.

вся редакция гуртом явилась ко мне с приглашением на грузинский обед.

Но если в Тифлисе знают о парижских корсетах, то сомневаюсь, чтобы в Париже знали, что такое обед в Тифлисе… разумеется, грузинский обед.

Это стол, за которым едят все, что попало. Пища занимает самую малую часть стола, состоящего преимущественно из свежих трав и кореньев (какие же это травы и коренья — решительно не знаю): салаты без масла и без уксуса, лук, бедренец, эстрагон и редиска. Что касается жидкой части грузинского пиршества, то это другое дело, касательно этого я располагаю самыми подробными сведениями.

Грузинский обед такое угощение, где даже ничем не выделяющиеся любители выпить опустошают пять или шесть бутылок вина, а иногда и по двенадцать или пятнадцать на каждого. Некоторые пьют даже не из бутылок, а из бурдюка: эти доходят до двадцати и двадцати пяти бутылок. Перепить своего соседа составляет в Грузии славу. В среднем каждый выпивает за один раз пятнадцать бутылок[248].

Бог, соразмеряющий суровость ветра с силами впервые остриженного ягненка, наделил грузинских любителей выпить кахетинским вином, т. е. таким, которое не опьяняет или, лучше сказать, во избежание недоразумения, не ударяет в голову. Поэтому грузины сочли для себя унижением, что могут пить и совершенно не пьянеть. Они изобрели емкость, которая пьянит их невольно или, лучше сказать, опьяняет даже помимо вина. Это глиняный сосуд, называемый кулою[249]. Кула есть не что иное, как бутылка с широким тазом и длинным горлышком. Одновременно она захватывает нос и рот, так что во время питья не пропадает ни капли не только вина, но и его газа. Из этого следует, что в то время, как вино льется в желудок, газ дурманит мозг. Кроме кулы, грузинские поклонники алкоголя употребляют множество других емкостей самых фантастических форм. Тыквы с длинными стволами. Суповые ложки, на дне которых не знаю для чего изображена позолоченная голова оленя, рога которого подвижны: они называются кваби. Широкие чаши, похожие на суповые миски. Рога, оправленные в серебро, длинные как труба Роланда. Самая маленькая из этих емкостей может вместить бутылку, которую всегда требуют выпивать в один прием, не переводя дыхания. Помимо этого гость или иностранец всегда может есть по своему желанию, но никогда не может пить, как ему захочется.

Тот, кто провозглашает тост в честь гостя, уже заранее определяет потребность и способность его желудка. Если тост был провозглашен с полной кулой, тыквой, кваби, чашей или с полным рогом, то принимающий его должен опорожнить до последней капли соответствующую чашу, какая бы она ни была. Произносящий тост говорит таинственные слова:

— Аллах верды!

Принимающий его отвечает:

— Яхши йол.

После этого вызова надобно пить или издохнуть.

Грузин считает великой честью достойно завершить любое застолье.

Во время приезда императора Николая на Кавказ князь Воронцов[250] представил ему князя Эристова, сказав:

— Государь, честь имею представить первейшего бражника во всей Грузии.

---

[248] Здесь фантазия автора явно разыгралась *(Ред.)*

[249] Кула бывает деревянная, металлическая, стеклянная или хрустальная, но глиняная никогда: даже из стекла начали ее делать в недавнее время на русских фабриках.

Прим. Н. Г. Берзенова.

[250] Покойный император приезжал на Кавказ в 1837 году, когда главным начальником здешнего края был барон Розен.

Прим. Н. Г. Берзенова.

Князь Эристов поклонился скромно, но с абсолютно довольным видом.

Итак, посудите сами, каким испытанием угрожал мне грузинский обед, мне, пьющему только воду. Несмотря на это, я храбро отважился и прибыл в назначенный час.

Чтобы оказать мне честь, пригласили двух или трех знаменитых любителей кутежей — между прочим, князя Николая Чавчавадзе и поляка Жозефа Пенерепского. С нами были один поэт и один музыкант. Поэта называли Евангулом Евангуловым, а нашего хозяина Иваном Кереселидзе. За столом собралось около двадцати человек.

Первый предмет, поразивший меня, когда я вошел в столовую, был огромный кувшин, образчик кувшина сорока разбойников Али-Бабы. Он содержал от семидесяти до ста бутылок.

И его надобно было опорожнить!

На полу был разостлан большой ковер, на скатерти поставлены тарелки с вилками, ложками и ножами только для нас, привыкших к этим тонкостям. Гости из местных жителей должны были по древнему патриархальному обычаю есть руками.

Меня усадили на почетном месте во главе стола: напротив поместился хозяин дома, направо от меня посадили князя Николая Чавчавадзе [251], налево г-на Пенерепского. Музыкант и поэт поместились в конце стола, и обед начался.

Я имею привычку избегать опасности, сколько это можно, но когда настала минута сопротивляться, я останавливаюсь и сам решительно делаюсь собакой, что и случилось со мной на этот раз.

Человек, не пьющий вина, в момент борьбы имеет большую выгоду перед тем, кто постоянно пьет. У последнего в глубинах мозга непременно остается опьянение от предыдущего дня, и к нему присоединяется новое опьянение, между тем, как тот, кто пьет только воду, выходит на бой с твердой и здоровой головой, а потому надо, чтобы вино поставило ее в уровень с настроением поклонников частого употребления спиртного.

Поэтому, когда дело касается, например, кахетинского, невозможно обойтись без пяти или шести бутылок.

Сколько опустошил бутылок я сам на фоне гамм музыканта и завываний поэта, этого я не могу сказать, но думается, что цифра была почтенная, ибо по окончании обеда возник вопрос о выдаче мне свидетельства, подтверждающего мои способности — не духовные, а физические.

Предложение было принято: взяли листок бумаги, и каждый выразил на нем свое мнение, скрепив его своей подписью.

Хозяин дома первый написал:

«Г-н Александр Дюма посетил нашу скромную редакцию, где на данном в его честь обеде выпил вина больше, чем грузины. 1858, 28 ноября (старого стиля).

Иван Кереселидзе.

Редактор грузинского журнала «Заря»[252].

За удостоверением амфитриона следовало такое же князя Николая Чавчавадзе.

«Я присутствовал и свидетельствую, что г-н Дюма пил больше вина, нежели грузины.

Князь Николай Чавчавадзе».

---

251 Чавчавадзе Николай Зурабович — в 1858 г правитель Дарго, в 1868 г. — генерал-майор, в 1883 г. — губернатор Дагестана.

252 Кереселидзе Иван Иванович (1829–1893) — журналист и переводчик, служил в Тифлисской губернской гимназии «надзирателем за приходящими учениками».

Поэт сочинил простенький мадригал и отдал его мне. Вот его дословный перевод с грузинского:

Пришел наш дорогой поэт.
Как государь пожаловал,
Он просветил наш дух
И Грузии дал радость.

Что касается других свидетельств, то я отсылаю моих читателей к оригиналам, написанным по-грузински, по-русски и по-польски, которые храню[253].

Мы уже сказали, что грузины, в отношении прелестных недостатков, коими их одарила природа, избранные творения.

Мы уже сказали, что они расточительны. За свою непрактичность они расплачиваются быстрым разорением: все грузины бедны или близки к этому.

Мы уже сказали, что они первые в мире любители вина: учтивость, с которой они выдали мне свидетельство, не может повредить их репутации: их свидетельство подобно многим другим, есть, вероятно, всего лишь следствие их снисходительности и доброты.

Наконец, мы сказали, что они храбры: этого никто не оспаривает — даже самые храбрые из русских, приводя примеры их храбрости и удивительной простоты.

В одной из экспедиций, предпринятых графом Воронцовым, случилось быть недалеко от одного леса, о котором говаривали, будто его усиленно охраняют горцы.

— Пусть направят на лес две пушки, заряженные картечью, — сказал граф, — и выстрелят; тогда мы увидим, хорошо ли он оберегается.

— Зачем напрасно терять время и порох, ваше сиятельство, — сказал находившийся при этом князь Эристов, — я лучше сам пойду туда и посмотрю.

Он пустил коня в галоп, осмотрел лес в разных направлениях и, возвратившись, доложил с античной ясностью:

— Нет никого, ваше сиятельство.

Кроме перечисленных качеств, грузины имеют еще одно, о котором мы еще не говорили, а теперь — вовсе не в обиду им — скажем. Они имеют носы, каких нет ни в какой стране света.

Марлинский написал нечто вроде оды грузинским носам. Мы приведем ее здесь, так как не надеемся изложить этот предмет лучше его[254].

«Куда, подумаешь, прекрасная вещица — нос! Да и преполезная какая! А ведь никто до сих пор не вздумал поднести ему ни похвальной оды, ни стихов поздравительных, ни даже какой-нибудь журнальной статейки хоть бы инвалидною прозой! Чего-то люди не выдумали для глаз! И песни, и комплименты, и очки, и калейдоскопы, и картины-то, и гармонику из цветов. Уши они увесили серьгами, угощают Гайдновым хаосом, Робертом-Дьяволом, Фра-Дьяволом и всеми сладкозвучными чертенятами музыки. Про лакомку-рот — и говорить нечего: люди готовы бы жарить для него не только райских птиц, но и самих

---

[253] Дюма не чувствует юмористического оттенка происходящего. *(Ред.)*

[254] Желающие из русских читателей могут найти эту оду в начале V главы повести Марлинского «Мулла Нур», в Полном собрании его сочинений. 4-е изд., ч. IX с 59–61. Кстати заметим, что эта повесть не напрасно полюбилась нашему автору: здесь Дюма немного еще церемонился с ней, но когда он попал в настоящую свою сферу, то вышло наоборот. Недавно в «Русской Иллюстрации» мы прочли коротенькое известие, что г-н Дюма написал и издал под своим именем большой роман под заглавием: «Мулла Нур», — плод его путешествия по Кавказу. Оказалось, что это не что иное, как буквальный, подстрочный перевод повести Марлинского. Подлинно, если на Кавказе ест необыкновенные носы, то не менее того, в Европе есть необыкновенные надувалы, и во главе их г-н Дюма-отец, который привык водить за нос своих читателей.

Прим. Н. Г. Берзенова.

чертей; скормить ему земной шар, с подливкою знаменитого Карема[255].

А что выдумали они для носа, позвольте спросить, для почтеннейшего носа? Ничего! Положительно ничего, кроме розового масла и нюхательного табака, которым развращают они носовую нравственность многих и казнят обоняние остальных. Неблагодарно это, господа, как вы хотите, неблагодарно! Он ли не служит вам верою и правдою? Глаза спят, рот смыкается иногда прежде пробития зари, а нос бессменный часовой. Он всегда хранит ваш покой или ваше здоровье. Он вечно в авангарде. Испортятся глаза, его оседлают очками. Нашалили руки — ему достаются щелчки. Ноги споткнулись, а он разбит! Господи, воля твоя… За все про все бедный нос в ответе, и он все переносит с христианским терпением; разве осмелится иногда храпнуть, — роптать и не подумает.

Ну, да забудем мы, что его преискусно изобрела природа, как бы разговорную трубу для усиления нашего голоса, для придания ему разнозвучия и приятности. Умолчим, что этот духовой инструмент служит также и орудием всасывания благоуханий природы, проводником и докладчиком души цветов в душе нашей. Откинем пользу его. Возьмем одну эстетическую сторону, красоту, и кто против носа, кто против величия носиного? Кедр ливанский, он попирает стопой мураву усов и гордо раскидывается бровями. Под ним и окрест его цветут улыбки, на нем сидит орел — душа. И как величаво вздымается он к облакам, как бесстрашно кидается вперед, как пророчески помахивает ноздрями — будто вдыхая уже ветер бессмертия. Нет, не верю, что нос предназначен был судьбой только для табакерки или скляночки с духами… Не хочу, не могу верить!.. Я убежден, что при всеобщей скачке к усовершенствованию нос никак не будет позади!.. Для него найдут обширнее круг деятельности, благороднее нынешней роли.

И если вы хотите полюбоваться на носы, во всей силе их растительности, в полном цвете их красоты, возьмите скорей подорожную с чином коллежского ассесора и поезжайте в Грузию. Но я предсказываю тяжкий удар вашему самолюбию, если вы из Европы, из страны выродившихся людей, задумаете привезти в Грузию нос на славу, на диковину. Пускай объявите вы у тифлисского шлагбаума в числе ваших примет нос Шиллера или Каракаллы[256]; суета сует!

На первой площадке вы убедитесь уж, что все римские и немецкие носы, при встрече с грузинскими, закопаются от стыда в землю… И что там за носы! Осанистые, высокие, колесом, и сами так и сияют, так и рдеют! Ну, вот, кажется, пальцем тронь, брызнут кахетинским. Надо вам сказать, что в Грузии, по закону царя Вахтанга Четвертого, все материи измеряются не аршинами и не локтями, а носами со штемпелем. Там говорят: «Я купила бархату семь носов и три четверти», или: «Куда как вздорожал канаус, за нос просят два обоза». Многие дамы находят, что эта мера гораздо выгоднее европейской».[257]

Глава XLVIII
Дорога от Тифлиса до Владикавказа

Живя в Тифлисе, я решил потратить неделю на поездку во Владикавказ. Не хватало мне проехать через Дербентские железные ворота — я хотел видеть и Дарьяльские. Мало было

---

[255] Карем Мари-Антуан (1784–1833) — знаменитый французский повар. Служил у Талейрана, Ротшильда и т. д.

[256] Каракалла (186–217) — прозвище Марка Аврелия Антонина; с 211 г. римский император.

[257] Этот отрывок не был помещен в тифлисском издании 1861 года. Что же касается упомянутого Марлинским закона Вахтанга Четвертого, то это, конечно, шутка. И вообще обвинять Дюма в том, что он смеется над длиной грузинских носов, нелепость: Дюма всего-навсего цитировал Марлинского и, естественно, для красного словца.

объехать Кавказ кругом — не терпелось пересечь его и поперек.

Несмотря на признаки дурной погоды — не забудьте, что был уже декабрь — мы сели в тарантас. Муане остался в Тифлисе, Калино отправился со мной.

Едва мы выехали за пределы города, как поняли, по какой дороге нам предстоит следовать на протяжении всего путешествия.

Дорога тянется вдоль правого берега шумящей и быстрой Куры, у подножья цепи небольших гор, потом круто поворачивает налево там, где река делает угол, называемый «Чертово колено», — название происходит оттого, что нижняя ее часть имеет форму огромного колена. С этого места дорога становится более ухабистой. Заметьте, что вы удалились от города едва на две версты.

Одно только замечательно в этой первой части дороги — это то, что на вершинах, куда не ведет никакая лестница, да и никакая лестница тут и невозможна, обнаруживается множество пещер с отверстиями квадратной формы. Пещеры, признаюсь, живо возбуждали мое любопытство: но, к несчастью, если я был любопытен, то мой Калино отличался противоположным характером: он прошел бы мимо семи замков богемского короля[258], не осведомившись, кто их построил. Мне стоило неимоверных усилий, чтобы заинтересовать своего спутника, вызвать у него любопытство к тому, что было важно для меня самого.

Впрочем, наше положение было незавидное: мы могли обратиться за справками только к ямщику, да и этот добрый человек на протяжении пятнадцати лет три или четыре раза в неделю проезжавший по этой дороге, по которой я проезжал в первый раз, никогда не замечал отверстий, заинтересовавших нас. Поэтому я ограничился только своими догадками.

Пещеры вырыты рукою человека или природою? Чтобы быть вырытыми природою, они, очевидно, слишком правильны. Кристаллизации, встречаемые на Кавказе, имеют иногда формы удивительной правильности, но не кристаллизации отверстия. Самое вероятное то, что пещеры эти могли быть обителью первых племен, живших на Кавказе. Если это справедливо, то с уважением преклонимся перед этими почтенными остатками первобытной архитектуры.

Называя ее первобытной, я, кажется, ошибаюсь: надо полагать, что первыми жилищами людей были деревья с густою тенью. Зима принуждала их оставлять гостеприимное дерево и искать убежища от холода, и тогда они поневоле должны были удаляться в пещеры, или рыть их, когда не находили готовых. Во всяком случае, эти пещеры, если они действительно имели назначение, которое мы им придаем, существуют, по крайней мере, семьдесят столетий, а это уже очень почтенная древность и явно доказывает, что надо минимум семь тысяч лет для того, чтобы понять, что мы ничего не знаем.

Может быть, эти гроты являются гробницами древних гебров; в горах Персии, особенно в провинции Езд, близ Тегерана, находятся пещеры совершенно похожие на те, которые мы видели сейчас своими глазами; да и сами местные жители считают эти пещеры гробницами поклонников Зороастра. Нет ничего слишком смелого в этом предположении, ибо огнепоклонство господствовало в Грузии и особенно в ее столице Мцхете до введения христианства.

По преданию дорога, по которой мы ехали, та самая, по коей шел Помпей, преследуя Митридата. Возле моста, построенного на Куре в 1840 году отцом нашего хозяина, г-ном Зубаловым, находятся развалины кирпичного моста, приписываемого победителю понтийского царя.

Переправившись через этот мост, вступаешь в Мцхет — древнюю столицу Грузии, ныне бедную деревню, расположенную на месте древнего города, на углу, образуемом слиянием Арагвы с Курою.

По народным преданиям Мцхет был построен Мцхетосом, который жил спустя шесть

---

[258] В 1830 году в Париже вышел роман Шарля Нодье (1780–1844) «Король Богемии и его семь замков». Друг и покровитель А. Дюма.

поколений после Моисея. Через несколько столетий после основания его Мцхет превратился в крупный город, и грузинские цари избрали его своей резиденцией.

Один из его управителей, перс по имени Ардам, окружил его стенами, построил у моста через Куру крепость, развалины которой еще видны, и другую такую же с северной стороны.

В эпоху Александра Великого, когда гебры подверглись преследованию, стены Мцхета были разрушены Азоном и потом снова построены Фарнавазом. Царь Мириан, царствовавший с 225 по 318 г., воздвигнул в Мцхете деревянную церковь, в которой сохраняли хитон Иисуса Христа.

Мирдат, двадцать шестой царь Грузии, процветавший в конце того же столетия, заменил деревянные колонны этой церкви каменными. Эта церковь называется ныне Самироне (речь идет о Светицховели. — М. Б.). К северу от нее тот же царь построил церковь Самтавро (Спаса-Господа. — М. Б.), украшенную прекрасным куполом. В ней погребен сорок третий царь Грузии Мир, живший в конце седьмого века.

Приблизительно в 1304 г. город, опустошенный врагами, был вновь построен в царствование Георгия, семьдесят первого царя, но только для того, чтобы снова быть разрушенным Тимурленгом, которого грузины называют «Лангтемур».

Мцхет восстал снова из-под своих развалин при Александре, семьдесят шестом царе Грузии, построившем каменную церковь с куполом. Наконец, Вахтанг значительно украсил эту церковь примерно в 1722 г. В ней покоятся многие цари и последний — Георгий, умерший, кажется, в 1811 году[259].

К востоку от Мцхета есть гора Джвари-Зедазени, на вершине которой тоже построена церковь. Предание говорит, что железная цепь была протянута от купола этой церкви до купола Мцхетского храма и что святые обеих церквей проходили ночью по этой цепи на свидание друг с другом. Они были построены: одна мастером, другая его учеником, но учитель, видя, что ученик превзошел его в искусстве, с отчаяния отсек себе правую руку.

В 469 году Мцхет перестал быть столицей грузинских царей, ибо Вахтанг Гургаслан велел построить Тифлис и перенес туда свою резиденцию. Оставленный город простирался, как уверяют, в то время на шесть верст от севера к югу.

Ныне Мцхет известен только своими пулярками, могущими, как говорят, соперничать с пулярками Монсо, и форелью, нисколько не уступающей знаменитой форели Рош.

На две или три версты выше Мцхета находится гора Задени, на которой указывают остатки укрепления, воздвигнутого Фарнаджем четвертым грузинским царем. Он поставил на этой горе идол Задена, от которого и гора получила название Задени.

Погода вызывала у нас беспокойство: густые серые облака все более и более надвигались, и, по-видимому, они обрушились бы на нас, если бы им не мешали остроконечные вершины гор, которые как бы держали их на известном расстоянии; но мы видели, как верхушки этих гор мало-помалу покрывались снегом, и белый саван все больше распространялся вплоть до самой дороги.

В десяти верстах от Мцхета мы покинули подножие горы, чтобы следовать через долину по берегам Арагвы. С этой минуты, пока мы ехали по направлению реки, дорога немного улучшилась; из скверной сделалась только дурной. Она опять резко ухудшилась за три версты до Душета, куда мы прибыли в темную ночь, — или, если сказать более строго, в белую ночь, ибо снег, который весь день падал в горах, начал спускаться и в долину.

В Душете все уже спали. Только одна свеча, бледная и готовая погаснуть, горела на станции. Этой свечой развели огонь для нас и для самовара. Мы вытащили свою провизию и кое-как поужинали. После ужина Калино сладко разлегся на деревянной скамье и заснул со свойственной ему милой беспечностью, вовсе не заботясь о завтрашнем дне. Однако этот

---

[259] Описание Мцхета Дюма почти полностью перенес из «Истории Грузии» Вахушти Багратиони. (См: «Картлис цховреба», Тб., 1978, т. 4, с. 348). Лишь одно не верно у Дюма: Георгий умер в 1800 году.

завтрашний день начинал меня тревожить: ведь снег падал хлопьями.

Я принялся за работу.

Я быстро писал о путешествии по Кавказу: работа для меня служит лекарством от всяких невзгод. В три часа утра я повалился на скамью, завернулся в шубу и заснул.

В семь часов я проснулся: уже начинало светать, если только можно назвать это рассветом. Туман был почти осязаем и похож на подвижную стену, которая удалялась по мере того, как к ней приближались.

Калино проснулся и требовал лошадей. Намерение наше продолжать путешествие в такую погоду рассердило нашего смотрителя. Мы могли бы еще кое-как прибыть в Ананур, но дальше, наверное, уже не смогли бы отправиться. Я отвечал, что так как этот вопрос может быть решен только в Анануре, то и надо туда ехать. Чай, завтрак и неохота станционного смотрителя заставили нас прождать до половины десятого.

Наконец мы поехали.

Через три часа, т. е. около полудня, мы были уже в Анануре. Небольшая прогалина, пропускавшая свет с южной стороны, позволила нам видеть Ананурский форт на правом берегу Арагвы. Прежде это была крепость арагвских эриставов, но отобрана у них из-за происшествия, которое мы сейчас расскажем. Но сперва объясним следующее: слово эристов или эристав, сделавшееся теперь собственным именем, служило прежде титулом и означало — «глава народа». Большая часть имен грузинских царей имели ту же участь: фамильные имена исчезли под титулами, которые ныне употребляются как имена. Это произошло оттого, что должности или звания были наследственные, а потому постепенно привыкли называть сановников по их титулам, вместо того, чтобы называть по именам.

В 1727 году арагвинский эристав по имени Бардзим, живший в Ананурской крепости, однажды пировал со своими братьями и родственниками. Кто-то из них, приблизившись к окну, заметил вдали на дороге благородную даму, которая, по тогдашнему обыкновению, как это и ныне водится, ехала верхом, в сопровождении священника, двух сокольников и слуг. Он сообщил это другим гостям.

Один из сотрапезников, у которого зрение было получше, принял путешественницу за жену или сестру эристава Ксани, с которым эристав Арагвы был в то время в щекотливых отношениях. Решено было похитить прекрасную юную всадницу, так как чем больше она приближалась, тем яснее становилось, что она молода и красива. Веселое настроение, в каком находились гости эристава, делало это намерение вполне естественным.

Позвали нукеров, велели оседлать коней, спустились вниз к дороге, обратили в бегство священника, сокольников и слуг княгини, захватили ее в плен и увезли в замок. Час спустя красные шаровары бедной княгини развевались над крепостью в виде знамени.

Что же с ней приключилось?

Надо полагать, что с ней случилось что-то очень важное, ибо когда ее отпустили, но без шаровар, тогда эристав Ксани именем князя Шанше дал клятву истребить всех эриставов Арагвы от первого до последнего. Конечно, эту клятву нелегко было исполнить, но князь Шанше поступил так же, как граф Жульен: он соединился с неверными, т. е. с лезгинами.

Эристав Ксани с их помощью овладел сначала крепостью Хамшистцихи, потом двинулся на Ананур, где заперлись, как в неприступной крепости, эристав Арагвы и те его братья и родственники, которые принимали участие в оскорблении, нанесенном князю Шанше. Последний, достигнув Ананура, увидал красные шаровары, развевавшиеся над замком. Тогда он добавил к первой клятве еще другую: заменить шаровары — символ стыда — головой эристава. Осада была продолжительна, но наконец, благодаря лезгинам, крепость взята, все эриставы от первого до последнего убиты, и красные шаровары действительно сменились головой князя Бардзима.

В Ананурской крепости существовали две церкви, обе посвященные святому, вовсе неизвестному у нас, но пользующемуся большим почтением в Грузии — святому

Хитобелю[260]. Ныне остаются от них одни развалины: обе были разграблены и разрушены лезгинами, выколовшими кинжалами глаза апостолов и святых, нарисованных на стенах.

Ананур был некогда лазаретом, где подвергались карантину приезжавшие из России в Грузию.

Мы хотели заночевать в Пасанауре, а для этого нужно было одолеть еще двадцать две версты.

Дорога от Ананура становится не только безобразной, но еще и опасной; она вьется по утесистым склонам крутой и лесистой горы и так широка, что два экипажа едва могут разъехаться. Арагва в пятистах шагах в стороне, кипит в пропасти. В пятнадцати верстах от Ананура, ручей Менесау, если не ошибаюсь[261], низвергается с высоты в двадцать футов и образует прекрасный водопад. Пасанаур — простой казачий пост из сорока человек и не предоставляет путникам никаких удобств. К счастью, с нами было достаточно провизии, чтобы добраться до Коби, предполагая, что мы все-таки доберемся туда. Однако это оказалось проблемой из-за неожиданной перемены климата; когда мы отъехали от Ананура, наступила уже настоящая зима, и наш тарантас катился по снегу высотою фута в полтора, а порой и в два.

Князь Барятинский, рассказывая нам один случай из его жизни, предупредил о затруднении, которое мы действительно и встретили.

Как-то раз, следуя по этой дороге, только в обратном направлении, т. е. из Владикавказа в Тифлис, немного выше Пасанаура он был остановлен сильным завалом, преградившим путь. Пока расчищали дорогу, чтобы провезти экипажи, он, потеряв терпение, сошел с саней и в простой офицерской шинели, с тросточкою в руке, храбро пустился в путь, решив идти до тех пор, пока экипажи не догонят его — даже если бы случилось пройти всю дорогу пешком, т. е. двадцать две версты.

Князь уже прошагал верст десять и начинал оглядываться, хотя и бесполезно, найдут ли его экипажи, как вскоре заметил ехавшего на маленькой, но сильной лошади, по горной тропинке, веселого распевающего грузина с красным носом, означающим славного любителя выпить. Князь с завистью глядел на человека, еще больше — на его четвероногое. Да и было отчего; контраст с ехавшим грузином был полный: князь шел пешком, ему было холодно, с ним не было того веселого спутника, который называется хмелем. Мы вынуждены употребить это слово за неимением другого: грузин никогда не бывает сильно пьян. Грузин выпьет за обедом бутылок восемь или десять вина, что приводит его в более добродушное расположение духа — и только. Князь Барятинский показывал мне великолепную кулу, принадлежавшую предпоследнему грузинскому царю: она вмещает четыре бутылки. Царь опустошал ее, не переводя дыхания.

Упомянутый грузин крайне затруднился бы определить, сколько кулов он опорожнил; но он мог утвердительно сказать, что находился в том блаженном состоянии, в котором истый любитель выпить следует правилу Евангелия, предписывающему: «любить своего ближнего, как самого себя». А потому, видя своего ближнего прогуливающимся по снегу, с тросточкою в руке, он приблизился к нему и начал с того, что произнес «гамарджоба», что значит «да будет с тобою победа». Князь отвечал «гагимарджос», т.е. «и с тобою также». Но так как князь знал по-грузински только эти два слова, то он спросил всадника, не говорит ли он по-русски.

— Да, немного, — отвечал грузин.

---

260 Не понимаем, какого тут святого разумеет г-н Дюма. Ананурский собор посвящен имени Божьей матери, а божья матерь по грузински «гвтисмшобели». Не от этого ли произошла ошибка автора?

Прим. Н. Г. Берзенова.

261 Уж сделайте одолжение, не беспокойтесь! Ведь это не в первый раз. Да и что за церемонии с читателями? Могли же они наконец привыкнуть, волей-неволей к вашим фантазиям, а привычка вторая натура.

Прим. Н. Г. Берзенова.

И завязался разговор.

Грузин ходит всегда с открытой душой и открытым сердцем, а потому он и начал рассказывать о себе, ничего не тая.

Это был мелкопоместный дворянин, каких множество в Грузии с тех пор, как исчезли знатные; у него была одна лошадь и шесть или восемь десятин земли. Он был приглашен на свадьбу в горы и возвращался оттуда. Перед отъездом выпили как следует, после чего он поехал в Тифлис.

Князь не прерывал его; потом, когда он кончил, сказал ему:

— Друг мой, вы должны оказать мне одну услугу.

— Какую? — спросил грузин.

— Вы должны дать мне напрокат свою лошадь, до Ананура. Остается восемь или десять верст, для вас это ничего не значит, потому что вы не утомлены, тогда как я уже сделал пешком десять или двенадцать верст.

— Отдать напрокат? Как вы можете так говорить? — произнес грузин. — Разве только уступить вам, — извольте!

И он слез с коня, напевая грузинскую песню, смысл которой тот, что брат брату всегда должен помогать.

— Нет, нет, — сказал князь, вынимая из кармана десятирублевую бумажку и пытаясь заставить грузина принять ее.

Грузин отвернулся от нее с величественным жестом, передавая князю одной рукою поводья, а другой поддерживая стремя:

— Сделайте милость, садитесь, — сказал он.

Князь знал, что когда грузин предлагает, то от чистого сердца, а потому сел на коня и поехал шагом подле хозяина.

— Что вы делаете? — спросил его грузин.

— Разве не видите, — отвечал князь, — что я хочу быть в вашей компании.

— Мне не нужно вашей компании, а вам нужен хороший камин и стакан вина. Скачите прямо в Ананур, и через час вы будете там.

— А ваша лошадь?

— Вы оставите ее в какой-нибудь лавке и скажете: эта лошадь принадлежит грузину, который остался позади и идет пешком. Вот и все.

— Стало быть, вы позволяете?

— Разумеется.

Князь не заставил его повторять и поехал так скоро, как только дорога позволяла лошади скакать. Через час, действительно, он был в Ананурe.

Там ожидал его обед, там весь гарнизон был в строю, там он нашел все почести, достойные его звания.

Князь сел за стол, велев поджидать грузина и дать его лошади двойную порцию овса. Потом он стал обедать так, как подобает человеку, преодолевшему двенадцать верст пешком и десять верхом.

За десертом дверь тихо полурастворилась, и он увидел веселое лицо грузина, предшествуемое носом, служившим ему маяком.

— А! Это вы, добрый друг мой? Садитесь, ешьте и пейте.

Грузин пробормотал несколько слов, сел за стол и начал есть и пить. Он ел целый час, пил два часа и все-таки не вставал. Но когда князь встал, грузин также последовал его примеру.

Князь был утомлен и желал отдохнуть, но грузин хотя и встал, но не трогался с места. Князь взял его за руку и пожелал ему доброго вечера. Грузин дошел до дверей и остановился. Было ясно, что он хотел сказать князю что-то, но не решался.

Князь подошел к нему.

— Скажите откровенно, — спросил он его, — вы хотите мне что-нибудь сказать?

— Да, ваше сиятельство, я хотел сказать то, что когда мы встретились, я принял вас за

бедного русского офицера, мне равного, и отказался от денег, которые вы мне предлагали; но теперь, узнав, что вы князь, большой барин и богатый, как падишах, то мне кажется, это уже совершенно другого оборота дело, и я могу получить от вас какое-либо вознаграждение.

Князь нашел требование справедливым и вместо десяти рублей дал грузину двадцать.

Мы рассказали эту историю потому, что находим ее прекрасной в своей простоте и точно рисующей нравы этой страны.

Я уже говорил о дороге от Тифлиса до Владикавказа и обратно, пересекающей Кавказ во всю его ширину, причем повторил следующую поговорку:

«Можно было бы вымостить рублями дорогу, ведущую от Тифлиса до Владикавказа, если бы собрать все деньги, издержанные на нее».

В Пасанауре начинается новая дорога, которая должна выходить прямо на Казбек, оставляя в стороне Кайшаур и Коби, т. е. две станции, на которых или, вернее, между которыми бывают завалы. Трудно было бы сказать, сколько лет строится эта дорога, протяженностью всего лишь в пятнадцать или восемнадцать верст. Вероятно, эта дорога совсем разрушится с одного конца, пока будут оканчивать другой. Если когда-нибудь строительство этой дороги завершится, то она будет широка, ровна и удобна, будет извиваться посреди гор не такой уж страшной высоты; подъемы будут не круты и, следовательно, не будут представлять большой опасности от снежных завалов и падающих каменьев.

В пяти или шести верстах от Казбека, небольшая долина, через которую идет эта новая дорога, вдруг перерезывается высоким холмом, который нельзя объехать; через него дорога пойдет зигзагами, как по горе Аксус, что не сокращает путь, а только сделает его более удобным.

К ночи мы получили известие о положении на дороге: три дня на вершинах был снегопад, и нас уверяли, что высота снежного покрова должна быть, по крайней мере, в пять или шесть футов. В тарантасе уже нельзя было продолжать путь, его заменили сани, но и на санях можно было ехать с трудом. В сани запрягли пять лошадей; нас предупредили, что, по всей вероятности, мы вынуждены будем заменить в Квишете этих лошадей волами. Все шло хорошо до Квишета; мы проехали по местности довольно ровной, имея Арагву на правой и лесистые холмы на левой стороне. Когда потом мы переправились через реку, Арагва очутилась на левой и холмы на правой стороне.

За Квишетом начался подъем в шесть верст, почти отвесный; вместо лошадей запрягли в наши сани двенадцать волов. Эти волы на каждом шагу падали по брюхо в чрезвычайно рыхлый снег и с большим трудом тащили сани. Мы должны были проехать только двадцать две версты, т. е. пять с половиной миль, а потратили на это более шести часов. Дорога была столь узка, что мы принимали всякого рода предосторожности, чтобы разъехаться со встречными санями и не свалиться в пропасть, края которой скрывались под снегом.

К счастью, наше положение позволяло нам держаться правой стороны, и вместо того, чтобы быть близко к пропасти, мы прижимались к скале.

Один раз первая пара волов, шедших нам навстречу с санями, споткнулась, и пассажиры вывалились на дорогу; проводник, не знаю каким образом, удержал животных. Страх их был так велик, что когда они почувствовали себя на твердом месте, то стали дрожать всем телом, и один из них даже прилег.

По мере того, как мы поднимались, снег казался более блестящим; все встречавшиеся нам путники носили большие козырьки, похожие на ламповые зонтики, которые придавали им крайне смешной вид. Фино предупредил нас об этом; по его совету и мы снабдили себя вуалями из зеленого тюля, какие носят наши амазонки в прогулках по лесам и путешествующие приказчики в Лондоне на эпсомских скачках. Упускающие из виду эту предосторожность или не имеющие козырьков, рискуют получить воспаление глаз.

Прибыв в Кайшаур, поневоле остановишься и начнешь смотреть вокруг себя и особенно позади себя. Кругом вечные снега — за тобою равнины Грузии. Не знаю, какой вид принимает пейзаж летом; но зимою он печален и величествен: все покрыто блестящей

белизной.

Облака, небо, земля — все это не что иное, как безмерная пустота, бесконечное однообразие, мертвое молчание. Единственные черные пятна, какие виднеются, это обломки скал, чересчур острые пики которых не дают никакой подпоры снегу, или стены какой-нибудь уединенной хижины, построенной на утесистой, неприступной скале. Впрочем, эти черные пятна служат единственным средством для путешественников отдавать себе отчет в расстояниях, которые иначе стали бы совершенно неопределенными.

Глядя на эти отдельные хижины, наполовину занесенные снегом, не замечая ни трубы, ни тропинки, которая бы вела туда, можно подумать, что они оставлены своими обитателями.

Внизу в глубокой долине, когда находишь какую-нибудь точку опоры или прислонишься к чему-нибудь, чтобы посмотреть вниз, виднеется змеистая Арагва — не как блестящая летом длинная серебряная лента, развернувшаяся на темном фоне земли, но как черноватый поток воды, цвет которой, как полированная сталь, рельефно выделяется на фоне белизны снега.

Кайшаурская станция и все окружающие ее строения были покрыты снегом: кровли такого же цвета, как и остальная часть пейзажа, делали этот снег похожим на какие-то курганы. Окна почти наполовину были завалены снегом, надо было делать траншеи, чтобы дневной свет и воздух проходили через них — будто находишься в Сибири.

Мы остановились в Кайшауре: в этот день нельзя было и думать ехать далее, ведь нам пришлось бы переезжать Крестовую гору ночью, а между тем ее и днем-то переезжают с превеликим трудом.

Было три часа дня. Отпрягли лошадей, и так как в эту пору года проезжающих по Военно-Грузинской дороге бывает очень мало, нам досталась самая лучшая комната на станции.

На другой день в девять часов утра мы отправились в путь. Двое или трое саней прошли со времени нашего прибытия, поэтому мы могли рассчитывать на нечто типа проложенной дороги. Благодаря моей подорожной и особому приказу князя Барятинского нам дали двадцать волов, десять солдат и столько же казаков.

Едва мы проехали две версты от Кайшаура, как встретили одного ингушского дворянина с четырьмя верховыми нукерами. Четверо других всадников ехали за ними, держа на привязи шесть больших великолепных борзых. Князь — мне сказали, что это был князь — был одет в древний костюм наших крестоносцев, т.е. имел плоскую каску на голове, с железной сеткой, ниспавшею вокруг, исключая переднюю часть, панцирь, прямую шашку и небольшой кожаный щит. Мы были уже в пределах осетинского поселения Гуд.

Надо быть ученым, как Клапрот или Дюбуа, чтоб признавать осетин ингушами — их победителями.

Ингуши ни магометане[262], ни христиане; религия их очень проста: они деисты. Бог называется у них — Даль, но он не окружен ни святыми, ни апостолами. В воскресенье они отдыхают, соблюдают большой и малый посты; имеют несколько священных мест, которые почти все представляют церкви времен царицы Тамар. Священником у них старик, которого они называют Исанин-стаг (чистый человек): он не женат, приносит жертвы и читает молитвы.

Русские миссионеры осетинской комиссии всячески старались обратить их в православие, но без большого успеха. С другой стороны, два брата из ингушей были проданы в Турцию, приняли там мусульманскую веру, ходили на поклонение в Мекку и потом возвратились на родину; они нашли там свою еще живую мать и обратили ее в исламизм, который они проповедовали своим соотечественникам; но эти сказали им:

---

262 А осетины? Религия их тоже состоит из смеси верований христианских, мусульманских и отчасти языческих.

Прим. Н. Г. Берзенова.

— Вы проповедуете веру, которую вы узнали в рабстве, но мы не хотим этой веры. Уходите и не показывайтесь больше в нашей стране.

Оба брата исчезли и уже никогда больше не возвращались в эти места.

Ингуши заимствуют, как калмыки, свои имена от животных: например, они называются поэ, что значит собака; уст — бык, кока — свинья[263]. Они имеют по пяти, шести, даже семи жен; у них больше свободы в этом отношении, нежели у мусульман, которые могут иметь максимум четырех законных жен. Ингуши разделяются на больших и малых: первые живут на равнине, вторые в горах.

Что касается осетин, о которых мы сказали несколько слов и которые носят, что меня особенно поразило, колпаки совершенно похожие на колпаки наших шутов, то мы скоро познакомились и с ними[264]. Им велено было расчищать дорогу, что они и делали крича, распевая, ссорясь и бросая друг в друга снегом на лопатах.

Многие древние и новые путешественники сообщали об осетинах. Дюбуа посвятил половину описания своего путешествия вопросу об их происхождении, но в конце концов он вынужден был признать, что решительно ничего не нашел о них у русских авторов, которые знали об этом предмете ровно столько же, сколько и он. Невероятно, в какой безвыходный лабиринт заходят ученые, объятые манией доказывать происхождение различных явлений.

По словам Дюбуа, осетины или осеты суть древние меотийцы, которые были некогда известны под именами ассов, язов, аласcов и позже команов. Он силится найти некоторую аналогию между языком, нравами и обычаями осетов и финнов и приходит к выводу, будто эстляндцы берут начало от осетов или, по крайней мере, они являются очень близкими родственниками. С этой целью Дюбуа обращается к историческим публикациям и возможным этимологиям и, наконец, объявляет, что осеты это скифы и что мидяне происходят от Мидая, сына Яфета.

Осетины, живущие по большой Военно-Грузинской дороге, зарабатывают хорошие деньги. Но поскольку они расточительны, то всегда очень плохо одеты или, что чаще бывает, вовсе не одеты. Они живут в землянках, в развалинах старых башен, в закоулках развалившихся крепостей. Все, что ни приобретают, тратится ими на табак и водку. Во время зимних морозов они греются несколькими тощими головнями, дающими не огонь, а дым. Трудно здесь отличить богатых от бедных, и те, и другие носят одинаково дурную одежду.

Осетины, как и ингуши, были некогда — в царствование Тамар — христианами, но теперь сами не могут сказать, кто они такие и каковы их корни. Они приспособили к своим понятиям разные религии, понаслышке, заимствуя из них все, что могло льстить их желаниям, и отвергая то, что не согласовалось с их прихотями. По всему миру, даже в Океании, даже у идолопоклонников внутренней части Африки напрасно стали бы мы искать подобную смесь диких идей и несходных верований. Все это тоже имеет историческую основу.

Около столетия после смерти царицы Тамар, следовательно, спустя целый век после того, как осетины сделались христианами, монголы двумя следовавшими друг за другом потоками наводнили равнины Кавказа и Закавказья. Перед этими волнами дотоле неизвестных варваров осетины отступили и удалились в горы, которых они уже больше не покидали. С тех самых пор они перестали быть в сношениях с Грузией и мало-помалу снова погрузились в невежественное состояние, сохранив от христианской религии только

---

263 Последнее неверно: свинья у них в таком же, если еще не в большем презрение, как у турок и евреев, и название это служит тяжким ругательством.

Прим. Н. Г. Берзенова.

264 Тут автор смешал: речь у него идет, судя по описанию, о хевцах, которые носят войлочные остроконечные шапки; но это не настоящие осетины, а полугрузины-полуосетины. Коренные осетины живут преимущественно на северном склоне Кавказского хребта.

Прим. Н. Г. Берзенова.

кое-какие ритуалы, понятие о боге и Иисусе Христе, которым они считают Магомета в роли пророка; вместе с тем они верят в ангелов, духов, магию, признают двоеженство и двоемужество, делают языческие жертвоприношения. Перевес христианства над исламизмом заметен повсеместно лишь в отношении женщин.

Они у осетин не скрываются от мужчин, не носят покрывал, между тем как еще до сих пор христианская Грузия и особенно Армения, подчинявшаяся некогда политическому и нравственному влиянию Персии, признают женщин почти такими же невольницами и затворницами, как будто бы они исповедовали магометанскую веру.

С другой стороны, в горах, где господствует вооруженный разбой, где жители рассчитывают больше на воровство, чем на труд, женщины должны совершенно отречься от своей воли, нести всю тяжесть домашних работ, заботиться о пище и платье своих мужей, которые сами ищут приключений и рыщут по горам. Поэтому осетин покупает одну, двух, трех, даже четырех жен, если ему дозволяют средства, он платит за них калым, жестоко обращается с ними и возлагает на них все домашние и полевые работы; если он не доволен ими, то прогоняет их от себя.

Дочери не имеют никакого права на наследство; отец не готовит им никакого приданого, а продает их как рабочую скотину, выросшую в его доме; потому в семье горюют, если родится дочь, и радуются по случаю рождения сына. Вот для чего во время брачной церемонии всегда приносят новорожденного мальчика, и супруги падают пред ним несколько раз ниц, моля своего бога, какой бы он ни был, даровать им первенца мужского пола.

Убийство женщин, вследствие этих самых традиций, считается наполовину менее важным, нежели убийство мужчины[265].

Только один закон и один обычай никогда не изменялся у них, это закон мести: око за око, зуб за зуб, закон первобытных обществ, закон, так сказать, природы, — последний, уже разрушаемый просвещением. И действительно, без строгого соблюдения этого закона, никто не был бы уверен в безопасности своей жизни среди этих диких народов, повинующихся только влечению собственных страстей.

Мы остановились в одной или двух верстах за Кайшауром, чтобы поглядеть на этих добрых осетин, которые с заступом в руке занимались расчисткой дороги. Осетины и завалы — два самые интересные явления.

Особенно любопытны завалы: со склонов Кавказа, гораздо более крутых, чем в Швейцарии, снег валится огромными слоями и покрывает всю дорогу на несколько верст, когда лавина опирается своим основанием на землю, ветер поднимает с ее поверхности густые облака снега, разбрасывает по всем направлениям, покрывает пропасти, сравнивает лощины, так что дорога совершенно исчезает, тем более, что никакие столбы не обозначают ее, и самый отважный путешественник по Кавказу, с декабря до марта, подвергается каждую минуту опасности провалиться в ущелье на две или на три тысячи футов, между тем как он считает себя находящимся посреди дороги. Достаточно двух или трех снежных дней, чтобы дорога стала непроходимой.

В таком-то именно положении находились и мы, и вот почему нам нужны были осетины, которых мы встретили на дороге. Но осетины в слишком хороших отношениях со снегом, чтобы серьезно бороться с ним. В сущности, они двигают руками лишь тогда, когда находятся под непосредственным наблюдением смотрителя, но чуть только он отворачивается от них, чтобы, допустим, навестить других рабочих (это за версту дальше), как заступ и лопата откладываются сразу же в сторону.

В трех верстах от Кайшаура мы встретили легкую русскую почту, т. е. простой кузов экипажа, снятый с колес и поставленный на подпорки; иногда, если дороги делаются

---

[265] С глубокой сердечной болью писал обо всех этих пережитках и классик осетинской литературы Коста Хетагуров.

непроходимыми даже и для саней, русская почта принимает форму простого всадника, который в свою очередь бывает вынужден превратиться в пешехода.

Почту везли на тройке, запряженной гуськом, и так как она спускалась по крутому скату Крестовой горы, то ее поддерживали сзади пять или шесть человек, не давая ей спуститься слишком скоро. Мы спросили было курьера о состоянии дороги, но он отвечал нам только весьма неутешительной гримасой.

Правда, после наших настойчивых расспросов он все-таки сообщил, что в трех или четырех верстах от места, где мы находились, он слышал большой шум, который, по его мнению, вероятно, произошел от лавины, завалившей дорогу. Эти сведения внушили нам беспокойство о нашем будущем.

И действительно, мы с трудом проехали четыре версты от Кайшаура: наши ямщики шли пешком по краю пропасти, щупая дорогу железными палками.

К полудню мы не проехали еще и половины дороги, а подниматься в гору предстояло еще долго. Ямщики не надеялись прибыть в Коби до наступления ночи, каждый раз добавляя: «если мы туда прибудем». Это «если» требовало объяснения, которого Калино все-таки добился, хотя и с большим трудом; оно не предвещало ничего приятного:

— К двум часам будет туман, а с ним, возможно, и метель.

Теоретически я знал, что такое метель, но еще не знал ее на практике. Темир-Хан-Шуринскую метель нельзя причислить к настоящей метели. Теперь, я находился в подходящих условиях для того, чтобы познакомиться с нею поближе.

Однако мне пришла в голову нелепая мысль, что наши ямщики, наверное, говорили это с целью напугать нас — и я велел им ехать вперед. Они повиновались, но советовали хранить полное молчание.

Желая знать, в чем дело, я спросил у них причину такого совета. Оказалось, что громкий разговор мог вызвать сотрясение воздуха, отчего какая-нибудь глыба могла отделиться от снега и во время падения быстро преобразиться в завал, который мог безжалостно задавить нас. Мне казалось, что в этом было больше суеверия, нежели реальности, но мне рассказывали то же самое в Швейцарии, и это тождество на другом конце света поразило меня.

Более или менее глубокое убеждение, хотя бы даже в суеверное, зависит от обстоятельств, в каких находишься. Скептик, сидя перед камином в своей комнате, развалившись в халате и с книгой в руке, поверит только тогда, когда собственной персоной очутится в кавказском ущелье, на склоне в сорок пять градусов, на краю пропасти, ощущая снег над головою и под ногами. Верили мы этому или нет, тем не менее мы предпочитали хранить молчание.

Впрочем, прежнее предсказание наших ямщиков осуществилось; без сомнения, чтобы не заставить ждать себя, туман показался, но не около первого часа, а около второго. Это было делом пяти минут: в этот промежуток времени мы видели уже только заднюю часть лошадей, запряженных в наши сани — остальные лошади и быки исчезли в тумане. Было темно и холодно, ветер яростно свистел нам в уши, и посреди этого мрака и свиста слышался только приятный серебристый звон почтового колокольчика. Мы вынуждены были остановиться. Наши ямщики дальше уже ни за что не ручались без того, чтобы предварительно не осмотреть дорогу.

Звон колокольчика исчез, но мы вдруг услышали тон церковного колокола, несшийся из глубины ущелья. Я спросил у одного из наших провожатых, откуда мот быть этот звон, столь печальный, столь меланхолический и в то же время столь утешительный, посреди снежной пустыни, в которой мы находились. Он отвечал, что звонили в деревне, расположенной на берегу реки Байдары.

Признаюсь, мною овладело какое-то непонятное чувство при дрожащих звуках колокола, доходивших до нас среди этой страшной пустоты, этой ужасной беспредельности, в которой мы были так же затеряны, так же погружены, как среди бушующих волн океана. Но на это сладкое и печальное воззвание человеческой слабости к божескому милосердию

ветер отвечал еще более пронзительным завыванием; густое облако снега обрушилось на нас: мы были среди бури и вихря. Последний остаток света совершенно исчез. Провожатые плотно стали вокруг наших саней, для того ли, чтобы защитить нас от бури, или потому что в опасности человек естественно ищет соседства с себе подобным.

Я спросил, сколько верст еще осталось до Коби, и услышал в ответ, что девять. Это приводило нас в отчаяние.

Ветер дул с такой яростью, снег падал в таком количестве, что менее чем за четверть часа он доходил уже по колена лошадям. Очевидно, что если б мы остались на одном месте еще час, он был бы по грудь, а через два часа — выше головы.

Ямщики не возвращались. Несмотря на совет не говорить, я громким голосом звал их, но бесполезно: отзыва не было. Не заблудились ли, не упали ли они в какую-нибудь пропасть? Правда, посреди такого содома, где все вопли природы смешиваются, человеческий голос есть самый слабый.

Я решился испытать, не слышен ли будет мой карабин, но едва выказал свое намерение, как десять рук потянулись ко мне для того, чтобы воспрепятствовать его исполнению. Если голос мог вызвать падение лавины, тем еще большее сотрясение снега могло произойти от ружейного выстрела.

Я выразил опасения насчет ямщиков и спросил, не согласится ли кто-нибудь из конвойных за несколько рублей идти разыскивать их. Два человека предложили свои услуги. Через четверть часа они возвратились с ямщиками. Оказалось, что страшный завал прекратил сообщение: это был тот самый шум, который слышал почтальон. Не было никакой надежды ехать дальше.

Мы с Калино стали совещаться: прения были непродолжительными — ввиду невозможного упорство превращается в нелепость. Я приказал возвратиться в Кайшаур.

Через три дня я был уже в Тифлисе; меня считали погибшим в снегу и надеялись отыскать только весной. В Тифлисе же погода не менялась ни на минуту: жара стояла чуть ли не двадцатиградусная, небо постоянно было лазурное.

Во время моего отсутствия приходила депутация французской колонии с предложением принять от моих соотечественников обед и бал. Я отвечал, что то и другое принимаю с благодарностью. Все совершилось к великому удовольствию пригласивших и приглашенного в воскресенье 2 января 1859 года по нашему стилю (русские и грузины, как известно, двенадцатью днями отстают от нас). Я рассчитывал ехать в следующий четверг: но человек предполагает, а бог располагает.

Глава XLIX
Встреча Нового года. Крещение.

Мы надумали выехать 29 декабря по русскому календарю (10 января по французскому), но 28 числа, откланиваясь князю Барятинскому, я услышал от него, что он, как кавказский наместник, не позволит мне ехать до тех пор, пока я не встречу с ним Нового года.

Встретить Новый год в России значит собраться в одной зале, в ночь на 1 января, и находиться всем вместе, пока не пробьет полночь.

Князь просил передать приглашение и Муане.

Я отговаривался под предлогом поездки в Эривань: генерал Колюбакин ожидал нас к 5 января: но Фино взялся написать ему, что я был удержан князем Барятинским. Крайне обрадовавшись сделанному предложению, я поклонился, обещав князю остаться. Это замедление ставило под вопрос мое путешествие в Эривань и визит, который я хотел нанести горе Арарат.

Со времени моего прибытия в Тифлис погода постоянно была слишком хороша, чтобы она еще продолжилась в эту пору года, и если бы снег пошел один или два дня, то поездка оказалась бы невозможной благодаря Дилижанскому ущелью и дурной Александропольской дороге. Предчувствие меня не обмануло: 31 декабря, днем, это прекрасное лазуревое небо,

улыбавшееся нам пять недель, начало бледнеть и хмуриться. Впрочем, это была только гроза, она могла пройти без последствий.

В десять часов вечера мы явились в дом князя. На парадной лестнице, справа и слева каждой ступени, стояли по два казака из княжеского конвоя. Я ничего не видал изящнее этого двойного ряда мундиров. Казаки были в белых папахах и черкесках золотого и вишневого цветов, с кинжалами, пистолетами и шашками, украшенными золотом и серебром. Такой ряд сделал бы очень печальным и бесцветным наши фрачные одеяния; но в Тифлисе это было только великолепным предисловием к чудесной поэме.

Залы были наполнены грузинами в национальных костюмах, великолепных по покрою, цвету и изяществу; женщинами в блестящих платьях, с длинными, шитыми золотом вуалями, грациозно падающими с бархатной головной повязки.

Оружие блестело за поясами мужчин, алмазы сверкали на головах и шеях женщин. Это переносило нас в шестнадцатый век.

Щегольские мундиры русских офицеров, прелестные дамские туалеты, полученные из Парижа через посредство мадам Блот, дополняли ослепительное целое.

Лишь несколько черных фраков мрачно выделялись на этом блестящем фоне. Разумеется, мы — Муане и я — были из числа этих пятен.

Князь Барятинский принимал гостей в своих комнатах с тою любезностью знатного господина, которую он наследовал тысячу лет назад от своих предков. Он был в русском мундире, с лентой и звездою Святого Александра Невского и с Георгиевским крестом. Хозяин был одет проще всех, однако стоило гостю только войти, чтобы сразу же почувствовать, что он был царем этого собрания, не столько по почестям, ему оказываемым, сколько по виду, с каким он их принимал.

Считаю лишним добавлять, что здесь находились самые миленькие, самые грациозные тифлисские дамы, но скажем мимоходом, что, несмотря на славу о красоте грузинок, там были две или три европейские дамы, которых я назвал бы по именам, если бы не боялся нарушить правил приличия: они ни в чем не уступали грузинкам, несмотря на недостатки своих новейших туалетов.

До полуночи гости прохаживались по залам и разговаривали. Некоторые из приближенных князя удалились в его персидский кабинет и любовались там прекрасным оружием и драгоценными вещами хозяина.

За несколько минут до полуночи слуги вошли с бокалами на подносах: золотистое кахетинское сверкало в них, как жидкий топаз. Пить иностранное вино, даже французское, по случаю наступления Нового года, считается здесь непозволительным.

Я заметил, что на десять человек едва приходилось по одному стакану. По грузинскому обыкновению, ставится один стакан или одна кула на стол, если бы даже было и десять человек гостей; здесь стараются пить из больших серебряных чаш, из круглых ложек с длинною ручкой, похожих на наши суповые ложки, на дне которых, как я уже говорил выше, выточена голова оленя, с позолоченными подвижными рогами.

Как только часы пробили двенадцать ночи, князь Барятинский взял бокал, сказал несколько слов по-русски, которые, кажется, выражали желание долгоденствия и счастливого царствования императору, прикоснулся губами к бокалу и передал даме, находившейся рядом. Стоявшие близ подносов гости также брали бокалы, подносили их к губам и передавали соседу или соседке, сопровождая это пожеланием счастья в Новом году. Потом друзья и родственники обнялись.

Через десять минут князя известили, что ужин готов. Было накрыто около шестидесяти столов: князь сам приглашал мужчин, которых он хотел иметь за своим столом, указывая каждому, какую даму взять под руку. Мне предложили пригласить г-жу Капгер, супругу тифлисского губернатора. Это была одна из трех или четырех европеек, которых не назвал по именам из опасения, чтобы не нарушить их скромность; но так как здесь речь идет уже не о красоте, то я называю это имя, как имя одной из самых умных и грациозных особ в целом свете.

Такое же предложение сделано было и Муане, но, не зная дамы, которая была ему назначена, он предоставил другому кавалеру право проводить ее к столу и, заметив нашего бакинского знакомца, князя Уцмиева, расположился с ним за другим столом.

Около двух часов ночи все разъехались.

Князь носит траур по своей горячо любимой матери и не принимает никаких посетителей, кроме официальных, по обязанности.

Покидая князя, я откланялся, несмотря на его приглашение остаться до 6 января, т. е. до Крещения, ибо я решился непременно ехать на другой день утром.

Однако же и тут два обстоятельства помешали исполнению моего намерения. Во-первых, всю ночь шел снег. Во-вторых, Муане, вставший еще до рассвета, занят был зарисовкой зала князя Барятинского в полночь, когда все пьют за счастливый новый год и обнимаются. Я думал, что эскиз, напоминающий это блистательное вступление в Новый год, доставил бы удовольствие с одной стороны князю, а с другой самому художнику, и я первый предложил остаться.

Муане, который никогда не имел большого влечения к путешествию к Арарату, принял это предложение и с увлечением продолжил свою работу. В тот же день рисунок был завершен — на нем были изображены двести человек, и все на своих местах.

Около двух часов полковник Давыдов[266] пришел проститься с нами: но узнав о нашем решении, очень ему обрадовался. Муане желал для придания большего сходства своему рисунку иметь портреты главных особ. Давыдов обещал доставить их ему и взял с собою Муане для того, чтобы тот нарисовал его жену. Я уже, кажется, сказал, что г-жа Давыдова это премилая и очаровательная княжна Орбелиани. Видя ее столь маленькой, легкой, блистательной, подумаешь, что колыбелью ей служило гнездо колибри.

Я снова принялся за работу. Пользуясь моим пребыванием в Тифлисе, заботой гостеприимного Зубалова и соседством любезного молодого человека Торьяни, родом из Милана, мелодиями, которыми убаюкивал меня театральный баритон, отделенный от моей комнаты только одной перегородкой, я успел записать часть моего путешествия и выбрать два или три сюжета из кавказских легенд и из, по моему разумению, совершенно непризнанных сочинений моего друга Бестужева-Марлинского, находить у которого талант — это с моей стороны проявление непочтения по отношению к императору Николаю, считавшего, что видеть у Бестужева-Марлинского какой-либо природный дар — это уже, стало быть, заслуживать подозрения в государственной измене.

Я постараюсь поправить во Франции эту ошибку России, это будет для меня одновременно и обязанностью, и счастьем.

Итак, я жил, работая и ожидая Крещения. Мимоходом я должен подтвердить, что, осмотрев почти все в Тифлисе и его окрестностях, я за всю мою жизнь нигде так приятно не трудился, как здесь. Времени для занятий у меня было тем более достаточно, что повару барона Фино, г-ну Паоло Бергамаску, вследствие его болезни, категорически было запрещено медиками приближаться к печке. Тем самым и нам запретили приближаться к консульскому столу. Сам Фино в обеденные часы из-за этого был изгнан из своего дома. Он брал с собою Муане, Калино и Торьяни к одному французу, недавно открывшему возле театра гостиницу «Кавказ».[267]

Теперь уже он наносил мне визиты — в одиннадцать утра и в четыре пополудни.

Эти господа уходили завтракать или обедать, оставляя меня одного за работой, и приносили мне какое-нибудь блюдо со своего стола. Не тревожа меня, слуга ставил кушанье на углу моего рабочего столика, с ломтем хлеба и стаканом вина: я ел и пил, когда это

---

[266] Давыдов Владимир Александрович — адъютант князя Барятинского.

[267] 6 декабря 1858 года на Эриванской площади в доме Сумбатовой француз Гильом открыл гостиницу «Кавказ».

приходило мне в голову, — между двумя главами.

Какое прекрасное, какое увлекательное занятие работа, когда из-за перемены места бываешь насильно разлучен с ней на протяжении двух или трех месяцев! Я подвергался многим лишениям во время путешествия; иногда я имел недостаток во всем, даже в хлебе, но самым трудным для меня лишением всегда было лишение работы. Поэтому в Тифлисе я полностью плавал в чернилах и дошел до того, что у меня не хватало бумаги, моей голубой французской бумаги большого формата, на которой я пишу уже двадцать лет. Я нахожусь в ужасном положении, когда у меня не хватает этой бумаги — так по-дурацки я привык к ней. Без нее я похож на сомнительных филологов, которые, владея трактирным пером, не умеют правильно писать. Я не умею размышлять ни на какой иной бумаге, за исключением моей голубой.

Я обегал весь Тифлис, чтобы достать что-нибудь, хотя бы похожее на любимый мною формат и цвет: но тифлисцы еще не ощутили необходимость в такой бумаге, и поэтому ее негде было достать. Грузины, более моего счастливые, не нуждаются в бумаге, чтобы иметь ум. Итак, любезные читатели, если роман «Султанета» и легенда «Шахдаг» не понравятся вам, вините в том не меня, а бело-желтоватую бумагу малого формата, на которой они написаны.

Я начинаю думать, что работа — это как болезнь, она бывает не только как бы локальной, типа, допустим, холеры, но и заразной, как моровая язва. Когда в Москве я нанимал Калино, он не отличался прилежанием: но с прибытием на Кавказ и он заболел жаждой деятельности. Нельзя было оторвать Калино от его занятий даже во время еды. Лишь только начинало светать, он брал перо и оставлял его за полночь, неистово переводя сочинения Лермонтова, Пушкина, Марлинского, случайно переводя и с немецкого, если это попадалось ему под руку; он стал бы переводить и с китайского, если бы ему представился такой случай.

Только два обстоятельства заставляли его оставлять все, даже работу: первое, когда я говорил ему: «Пойдем, Калино, в баню». Второе, когда Торьяни уводил его с собою… Куда? Я никогда не мог этого узнать.

Дни проходили, снег продолжал падать каждое утро, таял в полдень при двенадцати и двадцати градусах тепла, снова морозило вечером, при холоде от восьми до десяти градусов. Все говорили, что нам надо отказаться от поездки в Эривань. Что же касается собственно меня, то, не желая, чтобы Муане еще долее оставался разлученным с Францией, зимы которой и выставки он лишился из-за меня, я сам передумал и решил ехать прямо на Сурам, проехав через Имеретию и Мингрелию, т. е. древнюю Колхиду, и 21 января старого стиля сесть на пароход в Поти.

От Тифлиса до Поти около триста верст, т. е. семьдесят пять миль, а потому я думал, что, отправившись одиннадцатого числа и имея впереди десять дней на семьдесят пять миль, я приеду в Поти вовремя. Получилось не более семи с половиною миль в день, а во Франции это расстояние проезжают в один час (мы, французы, имеем дурную привычку за границей всегда сравнивать, как во Франции. Правда, англичане говорят еще упорнее: «в Англии»).

Наконец наступило шестое января, оно принесло с собою небольшой мороз, градусов в пятнадцати, и ветер с Казбека, приятно напоминавший тот ветер, который ударял в лицо Гамлету на Эльсинорской платформе. Я надвинул свою папаху на уши, надел бешмет, подбитый смушками умертвленных при рождении барашков (бешмет подарен мне г-ном Стараренко), завернулся поверх всего этого в русский плащ и в сопровождении Калино и Торьяни отправился на Воронцовский мост — единственный каменный или, точнее, кирпичный мост в Тифлисе. Я точно не знаю, так ли он называется, но он должен так именоваться потому, что построен князем Воронцовым.

Что особенно приятно в Тифлисе, как впрочем и во всех восточных городах, так это то, что в какое бы платье вы ни закутались, как бы ни было это платье эксцентрично, никто не обратит на вас внимания. Это очень просто: Тифлис средоточие всех народов, сдержанный как истая грузинка. Тифлис знал бы слишком много забот, если б занимался какой-нибудь

необычностью в одежде одного из ста тысяч приезжих: турецких, китайских, египетских, татарских, калмыцких, русских, кабардинских, французских, греческих, персидских, английских или германских, которые снуют по улицам города.

Несмотря на холод, весь Тифлис шел, спускаясь с высот и катясь, как пестрая лава, на Куру. Тифлис — обширный амфитеатр, возвышающийся по обоим берегам своей реки, казалось, специально выстроен для ожидаемого торжества. Весь крутой берег реки был покрыт людьми, все кровли были испещрены разноцветными представителями разных наций: шелк, атлас, бархат, белые вуали, шитые золотом, развевались от резкого ветра, словно это был весенний ветерок. Каждый дом походил на корзину с цветами.

Только Кура протестовала против этой весенней распутицы: по ней плыл глыбами лед. Несмотря на это, несмотря даже на ветер со стороны Владикавказа, несмотря, наконец, на десять-двенадцать градусов холода, заставивших жителей дрожать, несколько неустрашимых фанатиков раздевались на берегу реки, чтобы погрузиться в нее в ту самую минуту, когда митрополит опустит в воду крест, и омыть свои грехи в струях святой мерзлой воды.

Другие, желая, чтобы и лошади участвовали в очищении, держали их за уздцы, приготовившись сесть на них в нужную минуту и броситься с ними в Куру. Весь тифлисский гарнизон, пехота и артиллерия, был выстроен в боевой порядок на берегу реки, чтобы ознаменовать ружейными и пушечными выстрелами минуту освящения воды.

Вдруг раздались звуки военной музыки, и мы увидели с моста всю процессию, которая состояла из духовенства и из властей военных и гражданских: во главе ее шел митрополит, он нес крест, назначенный для погружения в реку.

Внешность высшего русского духовенства, облаченного в злато и меха, великолепна.

Процессия медленно приближалась к берегу реки, где между двумя мостами возвышался украшенный золотыми звездами голубой павильон с дощатым полом и отверстием для воды. Митрополит, пройдя вдоль строя пехотинцев, отдавших честь кресту, остановился под павильоном на небольшом расстоянии от отверстия. Духовенство разместилось вокруг него. Музыканты играли церковный гимн.

Пробило полдень: с последними звуками колокола митрополит погрузил крест в воду. В ту же минуту загремели пушечные и ружейные выстрелы, раздавалось громовое «ура!». Пловцы бросились в реку, всадники устремили туда своих коней. Вода была освящена, и все имевшие храбрость броситься в реку, очистились от грехов…

Мы были при встрече Нового года, видели Крещение. Муане кончил рисунок, я же занимался своей книгой. Князь Барятинский пригласил нас на обед 10 января. Мы решились ехать 11, полагая, что десяти дней вполне достаточно для того, чтобы преодолеть семьдесят пять миль. Но мы заблуждались, как наивные детишки: мы знали отмели Волги, бури Каспийского моря, песчаные равнины Ногайских степей, овраги Хасав-Юрта, скалы Дербента, нефтяные вулканы Баку, броды через Алазань, но мы еще не знали сурамских снегов и мингрельской грязи. И на свою погибель мы отправились познакомиться с ними.

Мы поднялись в шесть часов утра — еще до рассвета. В семь часов прибыли почтовые лошади. Перед отъездом я сожалел о том, что оставлял моего соседа Торьяни в лихорадке (судя по признакам — изнурительной). С первого дня болезни он лежал у меня на диване и целые сутки упорно отказывался от лекаря; после второго приступа он совсем ослабел.

Мы должны были ехать, оставив его в этом опасном состоянии. Калино готовился сопровождать нас до Поти. Я даже было надеялся увезти его с собою во Францию, но три письма его к ректору[268] остались без ответа, а без нового отпуска он не мог следовать за мною.

В Поти, куда Калино ехал с нами в качестве переводчика, он должен был оставить нас

---

268 Речь идет о ректоре Московского университета, в котором учился Калино, Аркадии Алексеевиче Альфонском (1796–1869) — профессоре медицины, том самом, которого приглашали к умирающему Гоголю и который предложил лечить Гоголя магнетизированием, чтобы заставить пациента начать принимать пишу.

и возвратиться в Тифлис, а отсюда в Москву. Я решил прибегнуть к высокому покровительству князя, но князь отвечал, что русский университет, подобно нашему древнему французскому, имеет свои правила, которые он первым должен уважать.

В полдень мы готовились сесть в экипаж, как вдруг вспомнили, что сборы в дорогу до такой степени поглотили наше внимание, что ни один из нас с утра ничего не ел. Мы помчались в отель «Кавказ» и стали спешно завтракать. Неожиданно появился хозяин и сообщил, что два молодых армянина желают говорить со мной. Я перешел в соседнюю комнату и там увидел двух незнакомцев.

С немного смущенным видом и крайне взволнованным голосом старший изложил причину своего посещения. Оказалось, что младший брат его настоятельно убедил семейство отпустить его во Францию для изучения комиссионной торговли. Молодой человек говорил по-армянски, по-персидски, по-русски, по-турецки, по-грузински, по-немецки и по-французски. Ему было восемнадцать лет; это был красивый молодой человек, высокого роста, смуглый, напоминавший древнего Антиноя. Он собирался совершить это путешествие с одним из своих друзей, но тот в самую последнюю минуту не сдержал слова, и мой юноша, как неопытный Иосиф, его соотечественник, оказался в сложном положении.

Брат пришел спросить меня, не могу ли я взять его на свое попечение и отвезти во Францию, с условием, разумеется, принять участие в путевых издержках. Я тотчас подумал, что, оказывая услугу этому семейству, я мог оказать ее и самому себе. Однако должен сказать, что излагаю здесь обе эти мысли в том порядке, в каком они мне представились. Он оказывал мне услугу в том, что избавлял Калино от изнурительной поездки и значительных издержек на обратном пути. Как переводчик он мог быть гораздо полезнее Калино, который в данном случае изъясняется только по-русски и по-немецки, что не много значило в предстоящем путешествии по стране, где говорили только по-грузински и на других наречиях этого языка.

Я принял предложение армянина и с прискорбием возвестил моему бедному Калино, что наша разлука гораздо ближе, чем мы до того полагали, и объяснил, в чем дело. Впрочем, это давало ему возможность прибыть в Москву 20 или 25 днями раньше и, следовательно, если бы ему удалось получить новый отпуск, то он мог приехать скорее в Париж, где мы условились снова увидеться. Мы обнялись, пролив по несколько добрых дружеских слезинок, так как привязались друг к другу на протяжении четырех месячного путешествия, которое не всегда было безопасным, а опасности сближают спутников.

Затем я поднялся наверх, чтобы взглянуть еще раз на бедного Торьяни. Он не узнавал и не слышал меня, не чувствовал даже, когда я поцеловал его в облитый потом лоб. Сойдя вниз, я рекомендовал его г-ну Фино, хотя рекомендация эта была совершенно излишняя: Фино знал его гораздо раньше меня и по-настоящему был к нему привязан.

Потом я сел в экипаж. Молодой армянин в последний раз обнял свою мать.

Калино со слезами на глазах долго не оставлял подножки экипажа, куда втерся чужой человек и занял место, столь долго занимаемое им. Ямщики давно уже проявляли нетерпение, с пяти часов дожидаясь времени отъезда.

Наступила минута расставания. Фино плакал, не обращая внимания на свое консульское достоинство.

Наконец кнуты ямщиков хлопнули, пятерка тронулась, экипаж загремел, проезжая под аркой ворот.

Узы нежности разорвались между новыми друзьями — крепкие, словно мы дружили чуть ли не с самого детства.

И еще долго друг до друга доносилось: «Прощайте, прощайте!»

Мы свернули на другую улицу и больше уже не видели и не слышали ничего.

Мы были разлучены так, словно одни были уже во Франции, а другие в Тифлисе.

Милый Тифлис! Я мысленно послал ему сердечное прости — мне так хорошо в нем работалось!

Глава L
Телега. Тарантас. Сани

Мы выехали в воскресенье, одиннадцатого (двадцать третьего по-французски) января, в два часа пополудни, а должны были сесть на пароход 21 января (2 февраля).

Два первых этапа поездки (из тридцати шести верст, или девяти миль) были удобны. Мы надеялись проехать это расстояние еще засветло. На первой станции я вспомнил, что Калино, у которого хранились ключи от всех моих чемоданов, забыл их возвратить. Я написал ему несколько слов, прося передать ключи почтальону, отправлявшемуся в понедельник вечером в Кутаис: от Тифлиса до Кутаиса двести сорок верст.

Нечего было сомневаться, что почтальон, который всегда имеет лошадей, не настигнет нас. Письмецо я передал казаку и вдобавок рубль на водку. Он сел на коня и поехал в Тифлис. Через полтора часа Калино должен был получить его.

Мы продолжали путь. По мере того как мы продвигались вперед, снег падал все более густыми хлопьями. Наступила ночь, но так как мы ехали еще по равнине, то темнота не помешала нам добраться до второй станции.

До этой станции мы следовали дорогой, по которой уже прокатились перед этим, отправляясь во Владикавказ.

На восемнадцатой версте мы переправились через прекрасный Мцхетский мост, оставив на правой стороне развалины моста Помпея, а позади Мцхетскую церковь, где похоронены два последних грузинских царя. За второй станцией мы должны были оставить Владикавказский тракт, углубиться в горы и, сделав поворот налево, ехать по Кутаисской дороге.

Это мы сделали на другой день утром. Здесь станционный смотритель предупредил нас, что мы переправимся вброд через две реки. На Кавказе мосты считаются излишеством, если вода не доходит выше головы человека и ушей лошади.

Он добавил, что наш тарантас, нагруженный множеством ящиков, встретит препятствия при переправе через реки, берега которых очень круты, и что потому нам не мешало бы взять сани для облегчения тарантаса. Мы так и сделали, из-за чего у нас уже было три экипажа с десятью лошадьми. К счастью, лошадь стоит две копейки на версту: это составляло семьдесят две копейки или почти три франка на милю.

Расскажем об одной детали, о которой мы забыли сообщить в предыдущей главе. В ту минуту, когда мы садились в экипаж, мы получили от почтового начальника письмо, в котором он советовал нам не выезжать, так как между Гори и Сурамом сообщение было прервано из-за снежных заносов. Мы не обратили на это внимания.

Мы отправились вперед (я, Муане и Григорий, — так звался наш молодой армянин), оставив два экипажа, тарантас и телегу на попечении унтер-офицера, которого станционный смотритель просил довезти до Кутаиса. Взамен оказанной нами небольшой услуги (лишний человек нисколько не увеличивал наших почтовых издержек) станционный смотритель оказывал нам куда большую услугу тем, что предоставил ту же самую телегу до Кутаиса — это избавляло нас от перекладки вещей на каждой станции.

Помимо того, унтер-офицер обязан был помогать нам в качестве слуги. Его звали Тимофей.

Внешне этот Тимофей был странное создание: на первый взгляд он казался толстым мужиком лет пятидесяти. Но вечером на станции, когда снял с себя две или три шинели и тулуп, когда развязал свой башлык и обнажил голову, он оказался тощим, как скелет и более двадцати шести — двадцати восьми лет ему никак нельзя было дать. В интеллектуальном отношении это был сущий идиот, который, вместо того, чтобы помогать, был в тягость на протяжении всей дороги из-за своей лени и бестолковости. Со второго же дня он начал показывать свой нрав, которому никогда не изменял.

Я сказал, что мы уехали вперед, поручив его попечению тарантас и телегу, которые, будучи более нагружены, чем сани, и притом на колесах, могли из-за обильного снега

следовать за нами весьма медленно.

Наши сани неслись как вихрь, и несмотря на пронзительный холод, который захватывал дыхание, мы находили такую езду более приятной по сравнению с путешествием накануне; мы проехали верст двенадцать менее чем за три четверти часа и прибыли на берег первой реки — самой маленькой и удобной для переправы.

Однако наш ямщик колебался, но при слове *«Пошел!»,* повторенном два или три раза повелительным голосом, он спустил тройку в воду, сани также туда спустились, сделав сильный толчок и обдав нас брызгами грязи. Вода хлынула до половины сиденья, но мы кое-как удержались, подняв ноги кверху. Только вместо того, чтобы решительно и храбро взобраться прямо на противоположный берег, ямщик направился по склону наискосок; в результате сани наклонились на левую сторону, потеряли равновесие, и мы все сгрудились в одну кучу. К счастью, мы были уже на некотором расстоянии от реки, и, вместо того, чтобы упасть в воду, что должно было неминуемо случиться, мы опрокинулись в снег, но живо встали, отряхнулись и расхохотались. Каждый вновь занял свое место, и сани продолжали катиться с прежней скоростью. Недалеко от станции Квенсен мы натолкнулись на вторую реку: эта была посерьезнее. Через нее уже нельзя было переправиться, задрав ноги кверху: как бы высоко мы ни держали их, вода все равно угрожала бы нашим ногам. Мы выпрягли лошадей, сели на них и верхом переправились через реку. Потом мы их воротили, ямщик снова запряг их и перевез сани порожняком, хотя и сильно замоченные.

Мы были всего лишь в ста шагах от станции и пошли туда пешком. У ворот станции стояла целая кавалькада телег и тарантасов, доказывавших, что снег сказал им то же, что бог сказал волнам: «Далее вы не двинетесь». Среди этого скопления телег и тарантасов виднелись какие-то нагруженные сани, но без лошадей.

— Дурной знак, — обратился я к Муане.

И в самом деле: лошадей не оказалось, и это было сущей правдой. Мы пошли в конюшни, осмотрели все их закутки и не нашли ни одной тройки. Смотритель заявил, что не отвечает ни за что до двух часов: после этого срока он надеялся снабдить нас парой троек. Это был очень пристойный грузин; взглянув на нашу подорожную с двумя печатями, — рекомендация слишком серьезная, имеющая значение «подорожной по казенной надобности», — он обещал нам, что мы будем иметь преимущество перед всеми проезжающими, исключая курьеров. Вышеупомянутые нагруженные сани заставили меня настоять на наших правах и привилегиях.

Впрочем, одно обстоятельство утешало нас в этой задержке: хотя я отдавал Тимофею полную справедливость в отношении глупости, которой он был чрезмерно одарен, он все же решил дождаться тарантаса и телеги, содержавших в себе все, что я увозил с Кавказа: оружие, материи и дорогие вещи, так как я не желал, чтобы эти предметы, из коих каждый напоминал мне друга, слишком отставали от меня.

В ожидании тарантаса и телег мы вошли в станционный дом, где нашли хозяина злополучных саней: это был немец, путешествовавший со своим слугой. Он едва говорил по-французски, а я вовсе не говорил по-немецки, поэтому беседа никак не налаживалась. Потом мы попытались говорить по-английски; но тут другое неудобство: я читаю очень хорошо по-английски, а говорю очень плохо. Тогда ему пришла мысль спросить меня, не говорю ли я по-итальянски. Я отвечал утвердительно, и он закричал: «Паоло, Паоло, Паоло!».

Паоло явился. Я встретил его словами renga qui! (поди сюда!), от чего сердце его запрыгало от радости; он не пришел, а примчался.

Бедный мальчик был родом из Венеции. С милым акцентом своей родины он жаловался на дороги, на холод, на снег, на реки, через которые надо было переправляться, наконец на все прелести путешествия по Кавказу в январе. Тем более для него, как говорит Дант, было большой радостью слышать звук своей благодатной страны.

Он признался, что вовсе не ожидал и этого; уже два или три года с ним этого не случалось. Он возвращался из Персии через Тавриз, Эривань и Александрополь. Они успели

проехать через этот последний город, а теперь сидят потому, что сообщение по Сурамской дороге прекратилось. То же самое писал нам и начальник почтовых станций. Мальчик был хороший стрелок, и от самого Александрополя он кормил себя и своего господина дичью: но у него не хватило пороху. Мы тоже истощили весь свой запас и забыли вспомнить об этом в Тифлисе. Зато, к счастью, я до Гори запасся провизией в довольно значительном количестве. В Гори мы возобновили бы запас их у шурина Григория, начальника города.

Между тем, ни о нашем тарантасе, ни о телеге не было ни слуху ни духу. Оставалось сесть на коня и отправиться узнать об их участи. Григорий предложил свои услуги.

Муане, сделавшийся фанатиком верховой езды, хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы прокатиться немного верхом, и оба отправились в сторону, где должны были находиться наши экипажи. Почти через полтора часа я услыхал звон колокольчиков; Муане и Григорий торжественно везли обе повозки за собою. Они нашли тарантас посреди реки, телегу на противоположном берегу. Тройка под тарантасом была недостаточно сильна, чтобы поднять его на крутой берег. У Тимофея же и у ямщика не хватило смекалки, чтобы при помощи всех лошадей, какими они располагали, переправить экипажи порознь, один за другим. Муане заставил привести в исполнение этот маневр и благополучно миновал препятствия. На берегу второй реки мы повторили тот же маневр, и, к изумлению Тимофея, все пошло как по маслу.

Неожиданно наш слух был поражен потоком самых звучных немецких ругательств. Они были адресованы нашим тевтоном станционному смотрителю, который, имея небольшой кинжал за поясом и обладая такою силой, что мог заставить проплясать под каждой из своих рук любого немца, велел опорожнить его сани, чтобы отдать их нам, под благовидным предлогом, что сани надо менять на каждой станции.

На это немец отвечал довольно справедливо, по моему мнению, что в случае, если мы имели право на его сани, то и он мог иметь его на наши. А так как грузин без сомнения не знал, что отвечать ему на это, то и не стал его слушать, а продолжал перекладывать на снег багаж потомка Арминия. Дело, вероятно, кончилось бы довольно дурно, если бы я не вмешался в него.

Станционный смотритель отбирал у немца сани потому, что ни наш тарантас, ни телега не могли идти далее из-за обилия снега, а нам непременно нужно было двое саней, чтобы продолжать путь. Но если тарантас не мог идти дальше, то он мог вернуться по крайней мере в Тифлис: таким образом немец мог сесть в мой тарантас и отправиться, что доставило бы ему удовольствие иметь более удобный экипаж и избавило бы его от нагрузки на каждой станции. Это предложение произвело, как я и предвидел, на раздраженного тевтона такое же действие, какое производит, как говорит пословица, небольшой дождь на сильный ветер; гнев его прошел, он протянул мне руку, и мы расстались самыми лучшими друзьями в целом свете. Он должен был передать экипаж в дом Зубалова; в противном случае письмо к Калино уполномочивало последнего поступить с тарантасом как ему заблагорассудится, если бы даже он пожелал употребить дроги тарантаса на топку, а кожу на сапоги.

Почтенный экипаж довольно пожил. Как тарантас, он оказал уже все услуги, какие только мог оказать: я проездил в нем почти три тысячи верст по таким дорогам, где французский экипаж не сделал бы и десяти шагов без того, чтобы не поломаться, и за исключением колеса, которое, не предупредив нас, изменило нам в Нухе, он всегда был к нашим услугам. Бог знает, какого возраста был бедный старик и сколько он прослужил еще до того, как я купил его за семьдесят пять рублей у астраханского почтмейстера! Счастливо ли доставил он своего нового господина в Тифлис? Или, не чувствуя более, как лошад и Ипполита, рук, к которым он привык, оставил его на дороге под одним из тех предлогов, какие выставляют старые экипажи? Я этого не знаю, хотя и очень может быть, что он мужественно преодолел ожидавшие его три станции: тарантасы это не что иное, как перевозочные мамонты; ведь они так прочно устроены, что пережили потоп, и переживут, вероятно, страшный суд.

Станционный смотритель, нежно полюбивший нас, дал нужные советы перед отъездом.

За три дня до того два казака вместе с лошадьми были застигнуты метелью в дороге, по которой мы должны были ехать, и в десяти верстах от станции те и другие были найдены мертвыми. Если бы что-нибудь подобное угрожало и нам, если бы небо нахмурилось, то мы должны скрыться в небольшой часовне, стоявшей в пятнадцати верстах слева от дороги; если бы мы были уже далеко от нее, то должны распрячь нашу шестерку, из саней сделать ограду и укрыться в ней до окончания метели. Все это было не очень-то весело, но больше всего беспокоило то, что было уже три часа дня и что, по всей вероятности, мы могли прибыть на Чолакскую станцию не ранее ночи. Несмотря на все эти мрачные приметы, мы проехали благополучно.

Ямщики показали нам место, где найдены были трупы казаков и лошадей: это небольшая долина поодаль от дороги. Несчастные по ошибке своротили с нее, и как только углубились в эту долину, играющую роль западни для путешественников, вихрь обхватил их. Если бы не волки, которые разрыли снег, чтобы воспользоваться трупами, их, вероятно, не нашли бы до следующей весны.

Чолаки — прелестная станция.

— Есть что-нибудь поужинать?

— Все, что вам угодно.

— Замечательно. Есть цыплята?

— Нет.

— Баранина?

— Нет.

— Яйца?

— Нет.

Вопросов было много, ответ один и тот же.

Вся провизия наших хозяев заключалась в черном хлебе, которого мы не могли есть, и в фиолетовом вине, которого мы не могли пить. Пришлось взяться за свою провизию; к счастью, у нас еще нашлось несколько сосисок и остаток индейки, но такого качества, что в другое время я не осмелился бы предложить их даже голодным волкам безжизненной равнины. Мы ели сосиски с кожурой, мясо индейки с костями и, если не насытились, то, по крайней мере, утолили голод. Мы пили этот проклятый чай, приводивший меня в ярость, потому что его можно было достать везде, а он у русских заменяет все.

Вдруг меня известили, что какой-то офицер желает говорить со мной.

— Скажите ему, что если он пришел просить меня ужинать, то, кто бы ему ни поручил это сделать, он напрасно беспокоится.

— Нет, он хочет только засвидетельствовать вам свое почтение.

Офицер вошел; это был очень любезный человек — как почти все русские офицеры. Он знал, что я был на станции, и не хотел проехать, не повидав меня. Он выехал в два часа пополудни из Тифлиса и благодаря званию курьера и превосходной плети, настоящее назначение которой, по-видимому, ему было хорошо известно, сумел за шесть часов проехать то расстояние, на которое мы потратили полтора дня. Правда, багаж не обременял его саней; неожиданно получив приказание отправиться в Кутаис как можно скорее, он поехал так, как был, в маленькой фуражке и военной шинели. В этом-то полулетнем костюме он надеялся, как Цезарь в Овернских горах, открыть проход через сурамские снега. С г-жой де Севинье[269] делалось дурно на груди ее дочери, а мне было холодно за бедного офицера. Я дал ему одну из моих папах и набросил на плечи свой тулуп. Взамен этого он сообщил мне свое имя — его звали капитан Купский. В Кутаисе, на станции, он должен был оставить папаху и тулуп. Потом, нагрузившись полдюжиной рюмок водки, он сел в сани и умчался.

Я еще стоял у ворот станции, прощаясь с капитаном, как вдруг услыхал почтовый колокольчик. Это ехал наш друг Тимофей, который всегда отставал.

---

269 Маркиза де Севинье Мария де Рабютен-Шанталь (1626–1696) французская писательница.

К моему великому удивлению, теперь он ехал на телеге, а не на санях. Он так удачно замешкался, что до его выезда капитан прибыл на станцию Квенсен и, не зная, с кем имеет дело, поступил с Тимофеем в соответствии с правами, даваемыми курьерской подорожной, точно так же, как мы поступили с немцем на основании нашей подорожной за двумя печатями, т. е. взял у него сани. Тимофей кое-как погрузил наши чемоданы на телегу и, рискуя остаться в снегу, поехал на ней. Он прибыл благополучно, хотя и позже на два часа, но его прибытие было столь удивительно, что я не стал упрекать его.

Это незначительное происшествие привело к грандиозным последствиям.

Глава LI
«Утки переправились там благополучно»

Мы выехали на другой день, в девять часов.

Всю ночь меня тревожила погода, мне чудилось, будто снег врывается в мои окна. Я ошибался. Впрочем, я никогда не видел картины, мрачнее станции Чолакской.

Земля выглядела мертвой, покрытой огромным саваном, луна казалась бледнее, чем обычно, будто пребывала в предсмертной агонии, плывя по снежному океану. Не слышно было никакого шума, кроме жалобного ропота горного потока. Иногда молчание прерывалось пискливым криком шакала или воем волка, и потом снова наступала мрачная тишина.

Я чувствовал холод более в сердце, чем в теле.

В девять часов утра, т. е. в минуту нашего отъезда, все переменилось: небо очистилось, блеснуло солнце, излучая хоть какое-то тепло, миллиарды алмазов заискрились на снегу, с рассветом вой волков и писк шакалов прекратились. Словно творец, созерцая землю, на минуту позволил увидеть свой лик сквозь небесную твердь.

Так как двух саней нельзя было достать, Тимофей вынужден был ехать в телеге. Это беспокоило его очень мало: когда он не мог за нами следовать, он преспокойно отставал от нас — тем и ограничивалась вся его забота. Впрочем, мы сделали за два дня около шестнадцати миль: оставалось еще не более шестидесяти, а мы имели в своем распоряжении еще восемь дней. Офицер обещал оставлять на станциях, через которые он должен был проезжать, сведения о состоянии дороги, чтобы предупредить нас на случай, если появятся какие-нибудь затруднения.

В полдень мы прибыли в Гори. Наш молодой армянин, желая оказать нам честь, велел ямщикам отвезти нас прямо к его родственнику. Мороз был так силен, что телега уже могла следовать за нами.

Добрый прием тоже несчастье, когда впереди спешное дело. Лишь только я заметил, что шурин Григория готовился принять нас как следует, я понял, что мы выигрывали прекрасный завтрак, но теряли двадцать пять верст. Завтрак, если бы даже его и потерять, может повториться не сегодня, так завтра, но двадцать пять потерянных верст невозвратимы. Я велел Григорию требовать лошадей, чтобы можно было ехать тотчас после ужина. В надежде продержать нас у себя лишний час, лошадей потребовали часом позже. Станционный смотритель, разумеется, отвечал, что лошадей нет.

Я объяснил Григорию, что он не позаботился показать смотрителю нашу подорожную с двумя печатями, отчего и мог последовать такой ответ. Он вновь послал слугу с подорожной, но и на этот раз станционный смотритель ответил, что лошади будут в четыре часа. Муане схватил подорожную в одну руку, плеть в другую, взял Григория в качестве переводчика и отправился.

Бедный Григорий не понимал, что все это значит. Армянин по крови и, следовательно, принадлежащий к нации, беспрерывно находившейся в подчинении, он не представлял, чтобы можно было повелевать и, в случае нужды, подкреплять свою волю плетью. Я тоже когда-то не понимал этого, отправляясь в Россию; опыт доказал, что я ошибался. И на этот раз плеть также восторжествовала.

Муане и Григорий возвратились и сообщили, что на станции насчитывается пятнадцать лошадей и что две тройки прибудут через четверть часа. Записывая это в свою книгу о Кавказе, я вспоминаю, что уже пятый или шестой раз повторяю один и тот же факт, но повторяю его, будучи убежден, что оказываю тем самым очень важную услугу иностранцам будущим посетителям Кавказа.

Впрочем, на Кавказе надо не ошибиться, к кому и как обращаться: это можно узнать с первого взгляда. Если смотритель имеет лицо открытое, нос прямой, глаза, брови и волосы черные, зубы белые, если на нем надета остроконечная короткошерстная папаха и он весел, все, что б он ни сказал, сущая правда. Если он говорит, что нет лошадей, то бесполезно сердиться и уж тем более бить его, это не только безрезультатно, но и опасно.

Но если смотритель мрачен, то он наверняка лжет; он хочет заставить вас заплатить вдвое, у него есть лошади, или он их может достать. Это мне тяжело говорить, но так как это истина, то ее и надо обнародовать. Я вовсе не поддерживаю мнения философа, который сказал: «Если бы у меня рука была полна истин, то я спрятал бы ее в карман, застегнув его сверху». Философ был несправедлив. Рано или поздно истина, как бы она ничтожна ни была, обнаружится, истина сумеет открыть руки и карманы она разбила стены Бастилии.

И в самом деле, через двадцать минут прибыли лошади.

Чтобы не тратить зря время, я отважился пробежаться по улицам Гори. По случаю праздника базар, к несчастью, был закрыт. В кавказских городах, где нет памятников, кроме разве какой-нибудь православной церкви, всегда одинаковой постройки, независимо от того, принадлежит ли она к древнейшей или новейшей архитектуре, к X или XIX столетию, если базар заперт, то уже нечего смотреть, кроме каких-нибудь деревянных лачужек, которым жители почему-то дают название домов, и одного каменного или кирпичного дома с зеленой кровлей, выштукатуренного известью и называемого дворцом. В таком доме непременно живет начальник города.

Но я был бы несправедлив относительно Гори, если бы сказал, что в нем только это и есть. Я заметил здесь развалины старинного укрепленного замка XIII или XIV столетия, которые показались мне великолепными. Замок находится на вершине скалы, но с той стороны, откуда я смотрел, нельзя было понять, каким образом строители замка туда поднимались. Скорее, можно было подумать, что создатель спустил его с неба на проволоке и поставил отвесно на скале, сказав:

— Вот на что я способен!

Когда лошади были запряжены, мы сели в сани, Тимофей же расположился в своей телеге.

От солнца в полдень снег начал немного таять, а небо заволакивалось уже целый час. Мы были готовы пуститься в путь, ямщик уже поднял свою плеть, как вдруг шурин Григория, обменявшись несколькими словами с каким-то всадником, обратился к нам с печальным видом:

— Господа, вы не можете ехать.

— Почему?

— Этот господин утверждает, что Ляхву нельзя переехать вброд; он только что оттуда и считает, что от сильного течения он чуть было не погиб со своей лошадью.

— Только-то!

— Да.

— Ну, так мы переправимся вплавь, не даром же няньки убаюкивали нас песней: «Утки переправились там благополучно…»

И ко всеобщему удивлению мы отправились в путь.

Несколько резвых грузин побежали за нашими санями, чтобы видеть, как мы переедем через реку.

В версте от Гори она преградила нам дорогу. Река катилась с яростью и шумом и, казалось, была вымощена льдинами наподобие дурно сложенных плит, но сила ее течения была такова, что вода никогда не замерзала.

Двумя верстами ниже она впадает в Куру.

При виде этого наш энтузиазм немного охладел; ямщики поднимали руки к небу и крестились.

Тем временем какой-то всадник, прибыв с противоположной стороны, осмотрел реку, изучил ее течение, отыскал русло и пустил свою лошадь в воду. Лошадь очутилась по брюхо в воде, но посредине реки, казалось, она наткнулась на подводный холм. Затем она сделала несколько шагов почти посуху, дальше снова спустилась в воду по брюхо и благополучно достигла другого берега.

— Надо и нам держаться направления, указанного этим всадником, — сказал я Григорию.

Он сообщил это ямщикам, но те, как обычно, с первого же раза отказались. Муане вытащил из-за пояса плеть и показал ее ямщикам. Всякий раз, когда ямщик видит этот символ в руке пассажира, он смекает, что плетью грозят не лошади, а ему, и больше не сопротивляется.

Ямщики двинулись вдоль по берегу Ляхвы до указанного места.

— Вот здесь, — сказал я Григорию, не нужно давать лошадям времени на размышления.

Наши сани были запряжены тройкой две лошади рядом и третья впереди. Ямщик сидел верхом на той, что шла первой.

Мы дружно ударили по лошадям. Зрители исторгли из себя крики одобрения. Лошади не спустились, а скорее бросились в реку. Сани последовали за ними без больших толчков. Скоро мы исчезли или почти исчезли посреди волн, поднимавшихся вокруг от движения саней.

Первая лошадь достигла бугра, за ней и остальные. Но подъем не был так удобен, как спуск, — передняя часть саней ударилась о камень. Удар был так силен, что постромки передовой лошади порвались, лошади и ямщик опрокинулись в Ляхву, а Григорий ударился головой об островок. Я говорю об островке не в том смысле, что он примыкал к берегу с какой-либо стороны, а потому, что достаточно было только шести дюймов, чтобы он весь очутился вне воды.

К счастью, это расстояние, занятое водой, ослабило удар — в противном случае бедный Григорий размозжил бы голову о камни. Ухватившись за скамейки, мы остались непоколебимыми, как Iustum et tenacem[270] Горация. Но я должен прибавить, что в таком положении требовалось больше упорства, нежели цепкости.

Происшествия этого рода полезны в том отношении, что лица, ставшие их жертвой, сердятся, упорствуют и, мобилизуя всю свою энергию, в конце концов побеждают препятствия.

Ямщик связал постромки передней лошади и вновь сел на нее верхом. Григорий опять расположился в санях, удары и крики усилились, сани рванули с маху, как дантист вырывает зуб, и остановились на бугре, между тем как первая лошадь была по брюхо в воде, а остальные по колена. Чтоб не терять времени, крики: *«Пошел! скорей! пошел!»* раздались сильнее, удары посыпались градом, лошади с яростью бросились через второй рубеж и с быстротой молнии вытащили нас на другой берег. Таким-то образом «утки переправились через реку», или лучше сказать, мы переправились через нее, как утки. Наш скарб был оставлен на другом берегу; мы ничего не имели с собою; с нами были только, как говорят дети, наши портреты, отпечатлевшиеся на снегу, и мы оставили их Ляхве в напоминание о нас.

Очередь была за Тимофеем с телегой: признаюсь, я не решался смотреть на него. Поручив его богу, я сел в сани, Муане и Григорий также заняли свои места, и мы закричали изо всех сил: *«Скорей! Скорей!»,* как бы желая воспользоваться благодеянием того

---

[270] Справедливый и прочный *(лат.)* .

атмосферного закона, по уверению которого быстрота сушит. Мы быстро поскакали, подбадриваемые криками многочисленных зрителей.

Я не смотрел на телегу, а глядел на удаляющийся Гори. Старая крепость, господствующая над городом, представляла внушительную картину. Это была скала высотою в пятьсот футов, с исполинской лестницей до вершины. В крепости семь последовательных стен, каждая из которых имеет по угловой башне. Наконец, восьмая стена с главной башней, самой верхней, и посреди этой ограды — развалины крепости. Муане чувствовал слишком сильный холод, чтобы на месте срисовать этот ландшафт, но он сделал для Гори то, что сделал для замка шамхала Тарковского — он запечатлел облик города в своей голове и вечером перенес на бумагу.

Но тут мой взгляд почти против моей воли переместился с высоких вершин к реке, и я закрыл глаза руками, чтобы не видеть печального зрелища. Все опрокинулось в Ляхву: телега, чемоданы, ямщики, кухня, мешки, сам Тимофей вдобавок. Я даже не хотел поделиться своим горем с Муане, я надвинул, как в «Казбеке» Лермонтова, свой башлык на глаза и закричал глухим голосом: *«Скорей! Скорей! Скорей!»*.

Ямщик так и сделал. Мы переправились еще через одну реку, которая в сравнении с первой была не чем иным, как анекдотом, — а потому я упоминаю об ней только так, к слову. Затем мы прокатились верст пятнадцать по довольно хорошей дороге, как вдруг перед нами появился косогор. Я не назову его горой, ибо это был склон футов во сто, наподобие кровли. Предполагая, что наша телега выбралась из реки, можно было почти наверняка сказать, что она не будет в состоянии благополучно подняться на этот крутой скат.

Я предложил подождать ее, чтобы придумать какое-нибудь средство втащить телегу. Предложение было принято. Мы вышли из саней, и пока ямщик отпрягал утомленных лошадей, Муане, Григорий и я — мы пошли срубать кинжалами древесные сучья и, собрав их в кучу, подожгли, чтобы согреться. От нас запахло дымом, как от сырого дерева, но зато мы обсушились — и это было главное.

Наконец послышались звуки почтового колокольчика, и вскоре мы увидели телегу с Тимофеем, взобравшимся на самую вершину багажа. Тимофей был великолепен! Вода, в которой он весь вымок, превратилась в ледяные сосульки, это была колонна, покрытая сталактитами, он походил на статую зимы в большом тюильрийском бассейне, за исключением жаровни, над которой посетители греют себе пальцы.

Мы даже не спрашивали его, как он переехал: его платье, покрытое льдом, красноречиво говорило, как это совершилось — но так как он был закутан в тулуп и еще в две или три шинели, то вода не проникла до тела, защищенного пятью или шестью оболочками.

Что касается наших чемоданов и ящиков, то все они покрылись слоем льда.

Мы выпрягли лошадей из саней, которые, освободившись от тяжести, благополучно взобрались на вершину склона, и впрягли их в телегу. Но наша шестерка напрасно истощала свои силы: телега дошла до трети горы и там, погрузившись в снег, остановилась. Мы видели, что бесполезно было упорствовать в этом безнадежном деле, и наказали Тимофею остаться, а сами отправились в ближайшую деревню Руис: там мы надеялись добыть еще лошадей и быков.

Руис, как уверял ямщик, находился примерно в десяти верстах — на это бы ушло не более двух часов. Тимофей по-прежнему возвышался на своей телеге. Он был похож на царя Зимы, находившегося посреди своих ледяных владений…

Опять мы сели в сани и помчались как можно быстрее.

До ночи оставалось не более часа, а погода была совсем дурная.

Глава LII
Тимофей находит новый способ употребления химических спичек

Примерно одну версту мы ехали довольно быстро, несясь по ровной местности, но по

мере того, как мы приближались к Сураму, косогоры следовали один за другим, становясь более и более крутыми. Мы прибыли к предгорьям, когда почти уже настала ночь.

Дорога лишь изредка обозначалась следами лошадей — и только; вдали простиралась, подобно огромному белому занавесу, кружева которого терялись в сером небе, горная цепь Сурама, соединяющая отроги Кавказа, прилегающие к Черному морю до Анапы, с ветвью, углубляющуюся в Персию и отделяющую Лезистан от Армении. Налево от нас, внизу, огромной безжизненной снежной скатертью шумела Кура, направо тянулся ряд небольших гор в виде неподвижных волн, закрывая собою горизонт. Ни одно человеческое существо, никакой одушевленный предмет не двигался по этой пустыне, вполне изображающей смерть, если только ее можно видеть. Небо, земля, горизонт — все было бело, холодно, оледенело.

Мы вышли из саней, взяли ружья на плечи и начали взбираться наверх.

Английский посланник в Персии г-н Мюррей, проезжая как-то раз по этой же самой дороге, утверждал, что мог перебраться через Сурам не иначе как с помощью шестидесяти быков, запряженных в три экипажа.

Наше положение было еще плачевнее. Уже целый месяц постоянно шел снег, и если сказанную цифру принять за норму, то нам нужно было двести быков. Мы вязли на каждом шагу по колена. Григорий отважился уклониться в сторону от дороги и в результате погрузился по пояс. Высота снежного покрова была приблизительно от четырех до пяти футов. Мы очень хорошо понимали, что если бы метель захватила нас в этом месте, мы все — люди и лошади — погибли бы.

Было очень холодно, и, однако, дорога до того утомила нас, что мы обливались потом, остановиться на минуту значило бы рисковать простудой, отчего мог случиться прилив крови к груди, а потом надо было продолжать путь.

Кроме того, порожние сани, с большим трудом тащившиеся за нами, не двинулись бы ни на шаг вперед, если бы мы сели в них.

Мы потратили целые три четверти часа, чтобы достигнуть вершины подъема, откуда продолжали двигаться медленным шагом, желая постепенно остынуть.

Когда мы прошли почти три версты, нас нагнали сани. К счастью, была лунная ночь. Луны хотя не видать было из-за снежного тумана, висевшего в атмосфере, но все-таки ее блеск — бледный, болезненный, мертвенный — отражался на земле, слабо озаряя окружающие предметы.

Мы плотно закутались в свои платья и сели в сани. Через полчаса послышался лай собак, приблизительно за четыре или за пять верст от нас. Этот лай слышался из деревни Руис.

Пространство, отделившее нас от нее, мы проехали за три четверти часа, идя шагом. Ямщик боялся потерять дорогу, от которой не оставалось никакого следа. Каждую минуту он останавливался, чтобы осмотреться. К счастью, лай собак указывал направление, по мере того, как мы приближались, этот лай усиливался, с удивительным чутьем полудиких животных они почуяли нас за целую милю.

Но вот показались черные линии — это были деревенские заборы. Мы торопили ямщика, который уже не боялся заблудиться, но мог запросто опрокинуть нас в какой-нибудь овраг.

Все обошлось благополучно. Сани остановились перед чем-то, похожим на гостиницу, стоявшую как часовой у дороги, ямщик дал знать, и хозяин вышел с пылавшей головнею в руке. Мы замерзли, несмотря на свои тулупы, и поспешили пойти в дом.

Лучше сразу извиниться, что я назвал домом какой-то сарай, навес, чулан, неказистый внешне, отвратительный внутри. Сарай был освещен ярким пламенем в камине, свет этого огня обозначал предметы так неопределенно, что их с первого взгляда невозможно было распознать.

Это были кожи буйволов, наваленные в углу, сушеная рыба, куски копченого мяса, висевшие как попало под потолком вместе с сальными свечами, наполовину пустые бурдюки, топленое сало, капавшее из сосудов на пол, гнилые рогожи, служившие постелями

для ямщиков, никогда не полоскаемые стаканы и еще что-то непонятное, без формы и без названия.

В это-то жилище нам надо было войти, ходить по этому грязному полу, на котором никак не отразился мороз, дышать этим затхлым запахом, составляющим смесь из двадцати запахов, вызывающих тошноту. Нам предстояло сидеть на этой соломе или, вернее, на этом навозе, преодолеть отвращение, победить омерзение, заткнуть себе нос, закрыть глаза и, наконец, стать лицом к лицу с чем-то гораздо худшим, чем самая опасность.

Первая наша забота состояла в том, чтобы осведомиться, каким образом можно заполучить лошадей или быков.

Похожий на мясника хозяин в платье, покрытом кровавыми пятнами, вышел из-за прилавка и толкнул несколько раз ногой в какой-то бесформенный предмет, растянувшийся на земле. Предмет этот одушевился и, жалобно пробормотав что-то, впал в ту же неподвижность.

Удары ногой повторились, и человеческое существо, покрытое лохмотьями, встало на ноги, протерло глаза и плачущим тоном, словно находилось в состоянии ужасного переутомления либо постоянной боли, спросило, чего хотят от него. Хозяин гостиницы, конечно, сказал ему, что надо отыскать лошадей.

Мальчик, — да, это был мальчик — проскользнул под прилавок и пошел к двери. Это был прелестный ребенок, бледный, отощавший от страданий, олицетворявший собою такую бедность, о какой мы даже не имеем понятия в наших образованных странах, где благотворительность, а если не она, то полиция, набрасывает свой плащ на наготу, делающуюся слишком гадкой. Дрожа и охая, мальчик удалился — это была воплощенная жалоба.

Пока тянулась эта сцена, мы приблизились к огню и стали искать — правда, пока безрезультатно — где бы присесть. Тут я вспомнил, что у двери я ударился о бревно. Мы втроем с Григорием и Муане подняли его и подтащили к огню, где оно и стало нашими креслами.

Мальчик скоро воротился, шмыгнул под прилавок, занял свое прежнее место, свернулся, как еж, и снова заснул. За ним пришли два человека. Это были вольные ямщики. Григорий, потолковав с ними несколько минут, передал их требование: они сначала запросили пятнадцать рублей за то, чтобы привести телегу, но наконец сбавили до десяти рублей; мы дали им половину в задаток, и они поехали, обещая через два часа доставить телегу.

Уже было десять часов вечера. Мы просто умирали с голоду. К сожалению, наши припасы остались в телеге.

Мы посмотрели окрест себя, при одном виде того, что мог предложить нам хозяин, сжималось сердце. Лишь один только Григорий торжественно сопротивлялся чувству отвращения.

— Спросите у этого человека, нет ли у него хоть картофеля, — сказал я ему, — мы бы испекли его в золе. Это единственная вещь, которую я решаюсь поесть в этом вонючем гнезде.

Оказалось, что картофель есть.

— Так пусть он даст несколько, — сказал я Григорию.

Григорий передал нашу просьбу. Хозяин подошел к мальчику и опять толкнул его ногой. Тот встал с жалобным видом и стонами, шмыгнул, как и в первый раз, под прилавок, исчез в темном углу и возвратился с папахой, полной картофеля. Он выложил его у наших ног и пошел снова спать. Я бросил несколько картофелин в горячую золу и принялся искать глазами место, где бы мог прислониться, чтобы отдохнуть. Муане отыскал в санях старую баранью шкуру, которая служила покрывалом для наших ног, раскинул ее на земле и лег, подставив в качестве изголовья бревно.

Григорий также нашел местечко, прислонился ко мне спиною, и мы заснули, упершись друг в друга.

Есть положения, в которых вы, как бы ни были утомлены, не можете спать долго, — я проснулся уже через 15 минут.

Как путешественник я выработал вызывающую у многих зависть способность спать в каком бы то ни было положении и чувствовать себя свежим, как бы ни был сон короток.

Нередко, после продолжительных ночных занятий, когда я остаюсь в постели только час или два, глаза мои закрываются, и если я лежу лицом к стене, голова упирается в нее, а если сижу за столом, то голова моя опускается на него. Тогда, как бы стеснительно не было положение, какой бы угол я ни занимал собою, я засыпаю на пять минут и пробуждаюсь достаточно уже отдохнувшим для того, чтобы снова приняться за работу.

Пословица «кто спит, тот тем самым и обедает» составлена не для меня, ибо я просыпаюсь всегда голодным.

С помощью кинжала я вытащил из огня несколько картофелин: они уже испеклись. Я потребовал соли. Хозяин вновь ударил мальчика ногой, тот проснулся и, полусонный, принес кусок соли, толстый как орех; в таком виде соль имела то достоинство, что середина ее по крайней мере была чиста.

Повсюду на Кавказе соль продают плитками — в том виде, в каком добывают ее из копей. Не знаю, куда идет огромное количество морской соли, собираемой в озерах; исключая столов богатых лиц, я всегда находил здесь соль только в виде плит.

Я съел четыре или пять картофелин и тем самым немного утолил голод.

Наконец, около двух часов утра, мы услыхали звон бубенчиков. Мы — Григорий и я — побежали к дверям, Муане продолжал спать глубоким сном. Наша телега тащилась с помощью нанятых лошадей, о почтовых же и о ямщике не было ни слуху, ни духу.

Оказалось, что болван Тимофей позволил ямщику выпрячь лошадей и уехать с ними, а сам остался один. Днем еще положение его было сносно, но ночью ему послышался вой, который становился все ближе и ближе, пока бедный Тимофей не заметил вспыхивающего в темноте какого-то блеска, похожего на искры. Тогда он припомнил, что настала пора собак и волков. Тимофей стал искать, не оставили ли мы ему какое-нибудь оружие, но у нас не было никакого, кроме трех ружей, которые мы постоянно носили с собой.

Волки долго не решались приблизиться к телеге: эта масса, незнакомая им по форме, беспокоила их. Наконец один из них рискнул и, подойдя, присел на задних лапах в двадцати шагах. Тогда Тимофей взобрался на самый верх повозки. Увидев это, волк пустился наутек, но, обнаружив чуть позже, что все опять утихло, и не слыша никакого шума, волк успокоился и, вместо того, чтобы остановиться, как прежде, в двадцати шагах, зверь подошел наполовину ближе. Перепуганный Тимофей запустил в него папахой, и волк вторично обратился в бегство.

Это был упорный волк, и он снова пошел на приступ.

Тимофей начал думать о новой обороне и вспомнил о нашей дорожной кухне. Сначала он бросил в волка крышку, затем рашпер, далее кастрюлю, потом сковородку, наконец тарелки. Волк все возвращался и, казалось, даже возвестил своим товарищам: «Видите, никакой опасности нет — пойдемте за мной».

И волки, видя смелость своего товарища, собирались все больше и ближе. У Тимофея осталось только два метательных орудия — котелок и половник. Вместо того, чтобы рискнуть и ими, что совершенно обезоружило бы его, он ударил их один об другой. При этом волки разбежались, но не так далеко, как бы понимая, что этот шум не очень-то опасен. Через четверть часа они появились перед Тимофеем в гораздо большем числе и на сей раз, по-видимому, с твердым намерением довести свое дело до конца.

Тимофей понял, что если не придумает другого способа обороны, то он погиб. Волки, несмотря на свои превосходные глаза, не могли видеть сквозь его тулуп и несколько шинелей, чтобы понять, что имеют дело со скелетом, и стали наступать все больше и упорнее. Тогда светлая мысль промелькнула в тупом мозгу Тимофея. Он имел при себе коробок спичек. Бросив на волков половник и котелок, он вытащил коробку спичек, спичка загорелась с треском и мгновенно осветила темноту. Волки побежали назад, но скоро опять

воротились. Тимофей зажег вторую спичку, потом третью, четвертую. Каждый раз как он прекращал эту игру, волки приближались на один шаг. Он зажигал спичку — и волки останавливались. Это продолжалось целый час. Когда нанятые нами извозчики показались на косогоре, у Тимофея оставались последние спички. Услышав звон бубенчиков, топот лошадей и крик ямщиков, волки разбежались. Люди думали, что найдут Тимофея замерзшим, а он был с ног до головы в поту.

Он рассказал им про свое приключение. Те начали отыскивать разные принадлежности нашей кухни и нашли все. Два жареных цыпленка, на которые я рассчитывал, исчезли. Без сомнения, Тимофей впопыхах бросил их волкам вместе с другими вещами.

Мы надеялись, что излишне предупреждать Тимофея, чтобы он не позволял ямщикам выпрягать своих лошадей и уехать с ними, и в этом случае, как показали последствия, поступили неблагоразумно.

Глава LIII
Сурам

Тимофей был спасен от волков и прибыл жив да здоров, но прибыл на лошадях и с ямщиками, которых мы к нему послали, телега же была полностью разбита.

Я спросил людей, привезших Тимофея и разбитую телегу, сколько они возьмут до первой станции. Они запросили восемь рублей. С десятью рублями, которые я им уже дал, это составляло восемнадцать рублей, т. е. семьдесят два франка за одну станцию, не считая четырех рублей, выданных горийскому станционному смотрителю. Это было дорого. Я отказался, решив, чтобы Тимофей подождал здесь с телегой, пока не пришлю за ним почтовых лошадей с первой же станции.

Оставалось рассчитаться с хозяином. Я съел пять картофелин, а мои товарищи ничего в рот не брали. Он потребовал пять рублей, т. е. по четыре франка за каждую. Это было гораздо дороже лошадей.

— Дайте ему рубль, но не за картофель, а за пять часов, проведенных нами под его крышей, — произнес я, — рубль или плеть на выбор!

Хозяин не знал, на что решиться, и наконец согласился. Этот молодец выглядел так подозрительно, что в другое время иначе поступил бы, попадись ему кто-нибудь из нас безоружным; но наши двуствольные ружья, наши кинжалы нелегко переварились бы в его желудке. Он не попытался против нас даже слова вымолвить.

Мы сели уже в сани и хотели было двинуться, как ямщики раздумали, они предлагали свезти телегу до следующей станции за пять рублей. Мне наскучило спорить, и я согласился, но предупредил их, что заплачу им только по приезде. Это недоверие, по-видимому, нисколько не оскорбило их.

Лошадей запрягли в телегу, разбудили Тимофея, уже заснувшего возле огонька, заставили его сесть в повозку и объявили ему, что на этот раз и в будущем он должен следовать в авангарде. Тимофей не возражал, у него был только один недостаток, по крайней мере, с моей точки зрения, — я не хочу ставить ему в вину тех недостатков, за которые другие упрекнули бы его, — он был слишком ленив.

Было около четырех часов утра, и нам оставалось проехать двенадцать верст. Мы стали до такой степени равнодушны к опасности, что не спросили даже, хороша ли дорога.

К счастью, она была хороша. Мы прибыли на станцию в семь часов утра.

— Лошадей нет!

И это мы слышим в семь часов утра, зимой, когда метровый снежный покров за окном!

Без всякого объяснения я показал, но не подорожную, — да будет ведомо, как станционные смотрители в России ценят две казенные печати, — а плеть. В Гори я нарочно открыл чемодан и достал плеть, подаренную мне князем Тюменем, плеть, которою раз он убил одним ударом голодного волка, хватавшего князя за горло. Приглашаю тех из моих читателей, которые пожелали бы путешествовать по России, обратиться ко мне за формою

плети, я с удовольствием готов раздарить всем секрет этого оружия.

После этого лошади как будто выросли из земли.

В десять часов мы были уже в селении Сурам.

— Лошадей!

— Нет их.

— Любезный друг, — посоветовал Муане, — наденьте какой-нибудь орден, хоть на шею, иначе мы никогда не доедем.

Я открыл чемодан, в котором хранились ордена, подобно тому, как в другом чемодане находилась плеть, — эти два великие побудительные средства, нацепил звезду Карла Третьего и повторил свое требование.

— *Сейчас, генерал* , — произнес станционный смотритель.

Через полчаса наши экипажи были заложены. К несчастью, саней не оказалось. Я заметил на крыше какие-то сани, но смотритель объяснил очень просто, что если бы они годились на что-нибудь, то, конечно, не валялись бы на крыше.

Мы поехали.

Почти час спустя миновали селение Сурам, увенчанное, как и Гори, великолепным, хотя и разрушенным замком.

Мы прибыли к подъему.

Судя по тому, что рассказывали о трудностях Сурамского перевала, подъем показался мне сначала не только легким, но даже приятным. Это был, по-видимому, незначительный склон безо всяких обрывов, тянувшийся только на четыре версты.

После часового подъема, по правде говоря не слишком трудного, мы достигли вершины горы, я даже не верил этому.

— В таком случае, — обратился я к ямщику, — нам остается только спуститься вниз?

— *Так точно,* — отвечал он.

Я посмотрел на Муане.

— Итак, вот этот знаменитый, непреодолимый Сурам, поздравляю Фино!

— Подождите, — сказал Муане, — еще не все кончено.

— Но вы слышали, что нам не остается ничего больше, как спуститься?

— Конечно, но спуски бывают разные.

— Есть ведь и спуск Куртильский[271].

— И потом спуск в ад.

— Ну, этот-то не труден. Вергилий говорит: Facilis descensus Averni[272].

— Как вам угодно, но мне сдается, что Фино прав, а Вергилий — нет.

— Полноте, вы упрямитесь.

— Вспомните о господине Мюррее и о его шестидесяти быках.

— Э, друг мой, — ведь англичане так эксцентричны! Ему, верно, рассказали, что с тридцатью быками можно за четыре часа переехать через Сурам, — вот он и взял их вдвое, чтобы совершить этот переезд за два часа.

Первые три версты вроде бы говорили в мою пользу, но далее с левой стороны начал открываться небольшой овраг, а склон сделался почти крутым, овраг уходил все глубже — лошади начали скользить. Мы видели впереди верхушки деревьев, по которым, казалось, сами должны были проехать, потом дорога круто повернула направо, и мы увидели даже дно оврага, который незаметно превращался в пропасть В глубине ее катился поток, — одна из речек, впадающих в Квирилу. Было ясно, что спуск кончится только тогда, когда мы будем

---

[271] С XVIII столетия в Париже существовал общественный сад Куртильон, в котором были различные аттракционы. После 1848 г. прекратил существование.

[272] Легкий спуск Аверин (лат.). Авернское озеро (ныне Аверно) близ города Кум в Италии. По Вергилию, в этом месте расположен вход в царство мертвых.

находиться вровень с потоком, а поток был далеко.

У нас был превосходный форейтор, но он имел дурную привычку бить лошадей, лошади же отличались тем, что, когда их били, они бросались в сторону.

Лошадь, на которой ямщик сидел верхом, из-за удара кнутом поскакала в сторону, и они оба очутились по пояс в снегу. Поистине, что бы ни говорил г-н де Граммон, но есть бог и у форейторов, бьющих своих лошадей: наш форейтор кое-как вылез, а за ним показалась и лошадь, они упали в пол шаге от пропасти.

— *Ничего, ничего,* — произнес ямщик, взбираясь на свое прежнее место.

Он хотел сказать, что не произошло ничего особенного.

— Объясните ему, — попросил я Григория, — что это ничего особенного для него, но не для нас.

Как мы не предупреждали ямщика, все ему было нипочем, и он поехал еще быстрее, правда, его лошадь, менее упрямая, пользуясь опытом, которым не хотел воспользоваться человек, не бросалась уже в сторону, несмотря на удары, которые она продолжала получать.

Впрочем, при такой езде мы имели ту выгоду, что на случай падения завала он не настиг бы нас. Вызвало крайнее удивление то, что чем более мы спускались, тем дорога, по-видимому, уходила куда-то в глубь земли.

С тех пор, как мы покинули Тифлис, мы ехали, все поднимаясь — беспрерывно, хотя и незаметным образом — и, достигнув Сурамского перевала, сразу же наверстали то, что взяли бы по частям.

Спуск тянулся целых два часа, на всем его протяжении мы видели впереди вершины деревьев, наконец шум потока достиг наших ушей: значит, мы приближались к основанию долины. Сани, которые с вершины перевала сами собою наклонялись почти вертикально, угрожая при каждом толчке отбросить нас шагов на десять вперед, пришли в нормальное положение, и мы в течение нескольких минут катились параллельно потоку.

Мы вздохнули, но неожиданно раздались три ружейные выстрела, которые очень походили на пушечные. Если б это было на море, я бы предположил, что какой-нибудь корабль просит помощи.

Мы заметили нечто типа гимнастической площадки, признаюсь, при этом я расхохотался: какие это черти, духи, демоны вздумали заниматься гимнастикой в таком месте?

Возвышение, через которое мы переехали, позволило нам увидеть деревню, доселе скрывавшуюся от глаз. Я должен бы сказать «не деревню, а одни двери домов», самые же дома были засыпаны снегом. Перед каждой дверью были открыты проходы для сообщения с улицей. Я наивно вообразил себе, что это станция. На самом деле это была деревня Циппа, что в пятнадцати верстах от станции.

Телега сильно пострадала при спуске, она опрокидывалась дважды, а так как мне сказали, что остальная часть дороги будет еще дурнее, то я велел ямщикам оставаться в арьергарде и ехать тихо, лишь бы они присоединились к нам на другой день утром. Мы же сами отправились вперед.

Поднялся ветер, и начал падать снег. Я не понимал, каким образом остальная дорога могла быть хуже той, которую мы уже проехали, и если это была правда, то не мудрено, что мы по ней приедем на станцию.

Мы пустились дальше. Ручей тек в ущелье, и дорога, оставленная им для проезжих, которые, конечно, не могли сравняться с ним в скорости, была шириною не более саней. Это бы еще ничего, если бы можно было идти с ним хоть бок о бок, но дело в том, что с противоположной стороны высились скалы. Результатом всего этого было то, что дорога беспрестанно то возвышалась, то понижалась, как спина верблюда. Прибавьте к этому ручьи, низвергающиеся с горы для слияния с ручьем на дне ущелья, потоки, проложившие себе путь под снегом, оставив поверхность нетронутой и поэтому обманчивой, и вы немного сблизитесь с представлением о страшной дороге, по которой мы пробирались ночью, при ветре, способном сорвать рога — не говорю с быков, но с буйволов, и при снеге, мешавшем

видеть в десяти шагах.

Всякий раз, как мы проезжали по одному из этих шатких мостов, переброшенных над ручьями, снег делался глубже, и сани падали в рытвину. Тогда лошади должны были напрячь все свои силы, чтобы вытащить их оттуда. Они поднимались вертикально на высоту пять или шесть футов, и при этом мы держались на наших багажах только с помощью приемов, которые сделали бы честь искуснейшему эквилибристу.

Одолев половину подъема, мы встретили солдат. Обменявшись с ними несколькими словами, ямщики обратились к нам:

— Вот эти солдаты уверяют, что там абсолютно невозможно проехать.

— А почему же нельзя?

— Три выстрела, слышанные нами, вызваны взрывом скал, а не ружьями.

— Зачем же взрывают скалы?

— Для расширения дороги.

— В таком случае, если дорога шире, то она, разумеется, должна быть гораздо удобнее.

— Удобнее будет завтра или послезавтра, но не нынче.

— Почему?

— Потому что дорога будет очищена.

— Стало быть, она еще не очищена?

— Нет, они не могли продолжать работу — ветер слишком силен там, наверху.

— Что же вы думаете об этом?

— Мы думаем возвратиться в деревню и ожидать, пока дорога не станет свободной.

Я осмотрел место, где мы остановились.

— Скажите им, что я согласен, если только они сумеют развернуться.

Григорий передал это ямщикам, но, что я предвидел, то и случилось: дорога была так узка, а края ее так скалисты, что лошадям невозможно было повернуть назад.

— Видите, надо ехать вперед, — сказал я Григорию, — итак: *«Пошел! Пошел!»*.

Ямщики невольно были вынуждены двинуться вперед.

Мы поехали шагом, но так медленно, что два горца, выехавшие одновременно с нами из Циппы, настигли нас и шли за нашими санями.

На вершине перевала путь преградил обвал. Здесь дорога вместо плоскости представляла собой наклон по направлению к глубокому оврагу. Днем, в прекрасную погоду, когда видно, где ставить ноги, можно еще кое-как пройти, но ночью, при сильном ветре, при снеге, который хлещет вам в лицо, может закружиться голова.

Горцы, следовавшие за нами, ехали расчищать дороги: они везли с собой заступы.

— Спросите этих молодцов, — сказал я Григорию, — не могут ли они проложить нам дорогу.

Григорий задал им этот вопрос: они отвечали утвердительно и тотчас же принялись за дело. Я приподнялся на цыпочках: обвал был шириною в десять метров.

— Работы им будет до завтрашнего дня, — сказал я Муане, — мы перейдем пешком, а пустые сани кое-как перетащутся.

Мы преодолели препятствие, уцепившись за корни деревьев, чтобы не упасть в овраг и устоять против ветра, который, казалось, держал на свой счет пари, что мы не перейдем.

Если ветер бился об заклад, то он проиграл.

Настал черед саней. Горцы потянули их в сторону, противоположную оврагу, и сани прошли.

— Сколько еще верст? — спросил я ямщиков.

— Десять.

— Тогда, дорогой Муане, поезжайте, если вам угодно, в санях, а я пойду пешком.

— Я очень устал.

— Так садитесь в сани, а я пойду. Будьте спокойны, я пойду так же быстро, как сани.

Муане сел, но не миновал и ста шагов, как вдруг подскочил, словно подброшенный ракетной трубой. Дальше я уже не видал его. В результате одного из тех толчков, о которых

я уже говорил, он, как из катапульты, был выброшен и упал на четвереньках в ручей. Я услышал в одно и то же время его смех и брань — и успокоился.

— Ну что, сядете опять в сани? — спросил я.

— Нет, благодарствую, — сказал он, — с меня довольно. Пойду пешком.

Мы шли, но так, что на каждом шагу вязли на поларшина с лишком в снегу. Пройдя версты две, Муане снова сел в сани. Я взял за руку Григория, и мы, держась друг за друга, пошли довольно безопасно, ведь каждый из нас имел теперь по четыре ноги вместо двух.

— Ступайте под руку с Григорием, — сказал я Муане, — а я возьму под руку одного из рабочих, другой будет смотреть за санями.

Таким способом мы отправились дальше.

— Что скажете вы о Вергилии? — спросил меня Муане.

— Ой, ой, что это такое? — воскликнул он вдруг с тревогой.

Мы остановились: огромный поток пересекал дорогу, извергая массу воды, которая должна была быть значительна, судя по производимому ею шуму. Эта исполинская щель, открытая в горе, имела вид столь мрачный, что мы остановились, вопрошая друг друга, идти ли нам вперед. К счастью, наши горцы знали это место и успокоили нас, когда один из них прошел первый. Мы отделались только тем, что прошли по колена в воде. Сани встретили много препятствий из-за скалистых берегов этого ручья, но и они прошли.

Теперь дорога стала понижаться, и мы снова очутились вровень с потоком.

Оставалось проехать еще шесть верст, а мы уже были в полном изнеможении, наши ноги до того замерзли, что мы их уже не чувствовали, со лба же катился пот.

Ветер усиливался, снег шел гуще. Надо было как можно скорее проехать этот перегон, — если бы в этом узком ущелье нас захватила метель, мы погибли бы.

Я первый предложил снова сесть в сани. Мы закутались в тулупы и заняли свои места. Два сопровождавшие нас горца уцепились за сани: мы оказывали им ту услугу, что ускоряли их путь, а они, в свою очередь, не давали нам опрокинуться.

Я закрыл глаза и предоставил себя случаю, — я сказал бы — провидению, если б считал себя настолько важной особой, чтобы провидение занималось мною.

Иногда я открывал глаза, но ничего не видел, кроме беспредельного снежного покрывала, которое ветер будто стряхивал перед нами, и ревевшего в двух шагах от меня в стороне потока.

Наконец мне показалось, что я заметил свет.

— Станция? — спросил я.

— Нет, деревня Молит.

— А станция?

— В трех верстах.

Все представлялось фантастическим в эту ночь, даже самое расстояние. Мы выехали в полдень, совершили за три часа подъем, спускались пять часов, воображая, что делаем четыре мили в час, и все-таки не могли проехать тридцати верст, т. е. семь с половиной миль.

Мы направились на огонек, светивший в маленькой гостинице. Мы вошли туда, полумертвые от утомления и голода. К счастью, нам достали хлеба, нечто вроде солонины, в которой в другое время мы бы ни за что не почувствовали потребности, а теперь она показалась нам превосходной.

Разумеется, попутчики-горцы приняли участие в нашей трапезе. Все это мы запили несколькими кружками легкого мингрельского вина, которое не причиняет никакого вреда, и снова сели в сани, предварительно спросив: хороша ли дорога от деревни до станции?

— Превосходная, — отвечал хозяин.

Мы поехали, напутствуемые столь утешительным уверением. Но, увы! Шагов через сто двое из нас уже были в снегу, а третий в воде.

Мы решились пройти остаток дороги пешком и при страшной метели достигли станции. Еще одна верста, и мы не доехали бы до ночлега: вся гора, казалось, дрожала словно от землетрясения.

Два часа спустя приехал посланец от Тимофея с известием, что телега не могла даже попытаться переехать гору и что надо послать сани и быков, если хотим увидеть наши вещи и Тимофея. Я не столько сожалел о Тимофее, хотя, как раритет, ценил его по достоинству, но очень сожалел о вещах и потому велел сказать Тимофею, чтобы он не беспокоился и что на другой день к нему придут на помощь.

Глава LIV
Молит

Вещи из саней были перенесены в комнату станции. Крайне утомленные Муане и Григорий не имели даже сил сбросить свои тулупы на скамью и лечь, — они просто упали на чемоданы и заснули. Сопротивляясь усталости больше, чем они, я кое-как приготовил себе постель и прилег.

Всю ночь станционный дом, хотя и прочно построенный, дрожал от ветра, который, казалось, хотел сорвать его. Два раза я вставал и выходил к воротам — снег падал беспрерывно.

Наконец рассвело, если можно было назвать это рассветом. Я потребовал одного расторопного казака, который за рубль согласился отправиться в деревню, где мы накануне ужинали, чтобы нанять там лошадей или быков и послать их в Циппу.

Казак явился с тем усердием, какое всегда выказывают его товарищи с целью заработать рубль, но тут почему-то через час он воротился. Выяснилось, что ветер был так силен, что даже у него не было никакой возможности выполнить мое поручение.

В три часа Григорий сел на коня. Буря немного утихла. Он достиг селения и говорил с начальником, который обещал послать сани и быков, лишь только будет возможность. Мы положились на это обещание.

День прошел в ожидании.

К четырем часам прибыл на санях какой то имеретин; его сопровождали, как и всякого дворянина, как бы он беден ни был, два нукера. Я редко встречал красивее этого человека, с его белым тюрбаном. На нем был грузинский костюм с длинными рукавами, бешмет под архалуком, турецкий пояс, на котором висели шашка, кинжал и пистолеты, наконец, широкие панталоны из лезгинского сукна, всунутые в сапоги, доходившие до колен. Он ехал из Гори и сообщил две новости: что нарочный прибыл в Гори с моими ключами, но не осмелился переправиться через Ляхву, и что Тимофей, закутавшись в свои шинели и тулуп, спокойно ждал перед добрым огоньком обещанной помощи. Он оставался без лошадей и ямщика: ямщик, привезший его из Сурама, видя, что он спокойно расположился у огонька, и не думая, чтобы скоро мог нуждаться в нем, уехал, а безгласный Тимофей даже и не пикнул на это.

Я заставил два раза повторить историю почтальона, не решающегося переехать реку, через которую обыкновенные проезжие, не вынуждаемые, как он, служебным долгом, переправились — с трудом, но без приключений. Только в России это делается.

Но вы спросите: как же письма, которые он везет, будут ли они доставлены?

Ну, их получат, когда почтальон оправится от страха[273].

В этот раз кухня была с нами. Мы пригласили имеретина к ужину, но так как день был постный, он отказался. Он имел с собою немного соленой рыбы, от которой уделил мне часть, и я с удовольствием ее принял, — так братски она была мне предложена.

Невероятна воздержанность этих разоренных помещиков — почти все они князья.

---

[273] Хорошо говорить это французу, привыкшему ко всем удобствам Европе, — где все сделано для облегчения разного рода сообщений, где для этого приложены к делу громадные средства, предлагаемые наукой и изобретательностью человека. А Кавказ, о рельефе которого знают еще только понаслышке, по своей природе такое, что на каждом шагу создает неодолимые препятствия.

Прим. Н. Г. Берзенова.

Встретите такого князя где-нибудь в пути — он на коне, с соколом на плече, играет на мандолине, поет протяжную и печальную песню, за ним два живописно одетых нукера с великолепным оружием. У одного из нукеров в корзинке две или три соленые рыбы на постные дни, у другого соленая курица — на скоромные. Они останавливаются на почтовой станции и требуют себе чаю — обязательный здесь напиток, потом съедают втроем полрыбы или полкурицы, запивая вином из одного и того же стакана, и до следующего дня ничего уже не едят.

Прибыв к месту своего назначения, т. е. совершив тридцать или сорок миль за два дня, они издерживают всего пятьдесят копеек.

Наш имеретин не имел с собою сокола, но мандолина при нем была. Вечером, после обеда, когда мы услыхали звуки сего инструмента, мы отправились к имеретину под предлогом поблагодарить за рыбу и нашли его в углу комнаты, сидящим по-восточному на корточках, два его нукера полулежали возле него. Я ничего не видел прекраснее, грациознее и поэтичнее этой сцены.

Имеретин хотел встать, когда мы вошли, но мы не допустили до того. Он хотел отложить свою мандолину (видимо, чонгури — М. Б.) в сторону, но мы упросили его петь и играть. Все здешние напевы — это простые мелодии, медленные и печальные, но их можно часами слушать без утомления. Они убаюкивают вас, не усыпляя, и навевают грезы даже в состоянии абсолютного бодрствования. Я забыл сказать, что с Циппы мы были уже не в Грузии, а в Имеретии. Правда, Имеретия это тоже Грузия, но имеретинское наречие отличается от грузинского почти в такой же мере, в какой провинциальный говор от литературного французского языка. Имеретия некогда составляла часть Колхиды, история которой совпадает иногда с историей римлян, иногда с историей персов и почти всегда с историей грузин. Она была отделена, чтобы составлять часть царства Акбаров, — вид удела, принадлежавшего по праву наследнику грузинского престола, подобно тому, как герцогство Галльское принадлежит по праву наследнику английского престола, но с 1240 г. Имеретия стала независимой провинцией, которая имела своих царей, последним был Соломон Второй, умерший в Трапезу нде в 1819 году.

Кроме Имеретии, Колхида включала в себя два других княжества, одинаково независимых: Гурию и Мингрелию. Во время наших странствий мы захватим уголок первой и пересечем вторую.

В Европе не имеют понятия о красоте колхидского племени: особенно мужчины отличаются чудными формами и живописною походкой; последний нукер имеет княжескую осанку.

В Имеретии папаха сменяется тюрбаном. В настоящее время имеретины, гурийцы и мингрельцы более турки, чем русские. И тем не менее турки ведут с ними ожесточенную войну.

Не проходит и дня, чтобы лазы не перешли границу и не похитили женщину или ребенка для продажи их в Трапезунде. Несколько месяцев назад они похитили целое семейство, и так как гурийцы очень храбрый народ, вся деревня пустилась в погоню. Из опасения, чтобы дети не кричали, хищники завязали им рты. Одна девочка задохнулась, а другая, успевшая сорвать повязку, была брошена в реку, где и утонула.

В последнее время батумский консул, главная обязанность которого состоит в том, чтобы препятствовать торговле людьми, освободил из неволи мать и дочь, которые, будучи похищены вместе, были проданы в разные руки. Когда они опять сошлись, то оказалось, что мать и дочь позабыли родной язык.

Совершенно иное бывает с черкесскими женщинами, которые, находясь в жалком состоянии у себя дома, считают за великое счастье быть проданными. Грузинки, имеретинки, гурийки и мингрелки трепещут при этой мысли, защищаются и сопротивляются, как мужчины, чтобы не дать себя в плен. Впрочем, так как почти все они очень красивы, то часто случается, что паши и богатые турки покупают их и навсегда обеспечивают их будущность.

Мужчины одеваются или в грузинский костюм, или в черкесский, только вместо

остроконечной грузинской папахи или круглой черкесской, они носят нечто похожее на тюрбан красного цвета. У простонародья головной убор черный, обшитый красным или зеленым галуном; у князей и вообще у богатых помещиков — белый, красный или голубой, вышитый золотом. У меня два таких головных убора: один подарил князь Нико, сын владетельницы Мингрелии, прелестный ребенок девяти-десяти лет, другой — князь Соломон Ингерадзе, о котором в скором времени я буду иметь случай говорить.

Все эти народы по природе воинственны, находясь в постоянной опасности, были всегда готовы к бою. Считая жизнь за ничто, иногда при первых звуках буки, они стекались с оружием в руках и часто, не зная даже причины, убивали или рисковали быть убитыми, устремляясь на неприятеля, которого даже не знали. Буки — огромнейшая труба из бычьего рога. Мне удалось достать две такие трубы. Испускаемый мощной грудью звук буки слышен более чем на милю.

Мы провели вечер — я, слушая имеретина, беззаботно игравшего на мандолине, а Муане, рисуя его.

К ночи буря утихла, и небо прояснилось. Эта перемена вызвала небольшой мороз, градусов в пятнадцать, отчего дорога могла несколько улучшиться.

Утром следующего дня, видя, что несмотря на обещание начальника, никто не появляется, Григорий сел на коня, решив в случае необходимости ехать до Циппы.

Благодаря всему этому мы теряли время, которое было для нас дорого: пароход отправлялся 21 января, а семнадцатого мы находились еще на полпути, хотя и выехали 11 января. Мы проехали около тридцати пяти миль за шесть дней, т. е. по пяти миль в день.

Григорий возвратился в полдень: он доехал до деревни, где нашел телегу у ворот, а Тимофея у огня. Он нанял за три рубля сани и четырех быков, и Тимофей прибыл, торжественно ведомый, словно ленивый король. Казалось, он был ни доволен, ни недоволен прибытием Григория. Если бы за ним не приехали, он никогда не подумал бы сдвинуться с места. Ну, и обормот этот Тимофей, и как я сожалею теперь, что Муане не зарисовал его!

Тимофей прибыл в час дня. В нашем распоряжении было трое саней, и я решился воспользоваться этим: помимо этого, я хотел сделать приятное моему имеретину, и так как смотритель очень нагло отказал ему в лошадях, то я решил отвезти его с двумя нукерами. Смотритель не сопротивлялся, пока не узнал наше намерение: но лишь только заметил, что Лука становится нашим попутчиком, объявил, что сани и без того слишком нагружены и что ехать в них таким образом нельзя.

Я настаивал на своем. К несчастью для смотрителя, я настаивал слишком учтиво — дурная привычка быть воспитанным в конечном итоге неоднократно заставляла меня в течение жизни колотить многих извозчиков: грубый человек всегда принимает учтивость других за слабость.

Молитский смотритель пребывал в таком же заблуждении — он протянул руку, чтобы вырвать вожжи из рук нашего ямщика, но не успел он еще дотронуться до них, как удар кулаком по системе, преподанной мне Лекуром лет двадцать назад и с тех пор служившей мне, по-видимому, хорошо, свалил смотрителя в снег. Он встал и пошел в дом.

Не упрекая себя ни в чем, я отправился в конюшню, взял еще трех лошадей и велел запрячь их по одной в каждые сани. Лука хотел заплатить за этих трех лошадей, так как мы брали их для него, и пошел для уплаты прогонов к смотрителю, которого он нашел удивительно кротким. Он возвратился, и мы отправились.

Муане ехал впереди с Григорием, потом я с Лукой, а за нами Тимофей и два нукера. Каждую минуту наш ямщик оборачивался, чтобы посмотреть на последнего своего сотоварища. Я осведомился, отчего он так часто любопытствовал — это, будучи доведено до крайности, подвергало меня самого опасности. Мне отвечали, что он беспокоится о своем младшем брате, который управлял лошадьми в первый раз. Это объяснение не было утешительно для Тимофея и двух нукеров: время было выбрано неудачно, а дорога слишком опасна для того, чтобы на ней учиться форейторству.

Но случилось совсем наоборот: наш ямщик, оборачиваясь из сострадания к брату,

выбился из колеи и опрокинул нас. Впрочем, тронутый добрым чувством, приведшим к этой ошибке, я довольствовался заметить ему, что я так же был его братом, — правда, хотя в менее близкой степени, но, так как я заплатил ему, чтобы прибыть здоровым и невредимым на станцию, то он, по крайней мере, обязан разделять свое участие между нами обоими. Он извинился, говоря, что из любви к брату никак не мог удержаться, видя негодную дорогу, чтобы не обернуться и не закричать ему: «Берегись!». Предосторожность имела положительный результат, брат его не опрокинулся, но зато мне досталось.

Мы двинулись вперед.

Мой ямщик имел сходство с теми мучениками Данта, которым сатана свернул шею, вследствие чего у них головы были повернуты к пяткам, но Дант не имел намерения сделать ямщиками этих осужденных на вечную муку.

В ту минуту, как я размышлял об этом, наш ямщик заметил еще одно препятствие и опять обернулся, чтобы предупредить брата, и вывалил нас в снег высотою в шесть футов.

Подойдя к ямщику, я остановил его лошадь, позвал Григория и просил его перевести слово в слово этому чересчур доброму брату мою речь. Она была коротка, безо всяких околичностей и состояла из нескольких слов, произнесенных весьма выразительно:

— Предупреждаю тебя, что если ты обернешься еще раз, я хвачу тебя плетью по роже, — и чтобы он не тешил себя той мыслью, что я, имея намерение, не смогу его исполнить, я показал ему плеть.

Он поклялся всеми богами, что если бы он даже увидел перед собою пропасть, то и тогда никогда уже не обернется.

Но не проехали мы и одной версты, как он обернулся — и в одно мгновение Лука и я растянулись на земле. Я в ярости поднялся и хотя не чувствовал никакой боли, но видя, что это наконец походило на издевательство, которое чрезвычайно расстроило меня, я привел в исполнение обещанную исправительную меру, правда, я двинул его не по физиономии, а по плечу — как Цезаря при Фарсале.

Я велел младшему брату ехать впереди. Тогда сцена переменилась, но не театр, а актеры, и мы стали зрителями спектакля, вместо того, чтобы самим давать его.

Тимофей и два нукера вместе с санями начали без конца падать, и эти падения по своим живописным и разнообразным результатам далеко превзошли три наши падения. В этом отношении мы были еще во младенчестве искусства, а Тимофей с товарищами обладали им в совершенстве. Впрочем, была минута, когда мы все, будто бы по сговору ямщиков, лежали в снегу.

Это не могло продолжаться долго, и не потому, чтобы мы получили ушибы, а потому, что все эти события значительно замедляли наш путь. Мы отпрягли от каждых саней по лошади, и Лука со своими нукерами сели на них верхом, сделав из наших тулупов подстилки вместо седел.

С этой минуты дела пошли лучше, и за исключением Муане, который, переправляясь через реку, споткнулся об камень и упал ничком в воду, и Тимофея, покатившегося в овраг, но, к счастью, успевшего уцепиться за дерево, — мы прибыли на станцию целы и невредимы.

Ночь приближалась, но горы постепенно понижались, и мы могли думать, что каждый спуск оканчивается равниной. Но за спуском опять следовал подъем, и воображение отодвигало плоскость к концу следующего спуска.

Так продолжалось более часу.

Наконец мы прибыли к Квириле и на ее берегу нашли паром. Нам надо было сойти, ибо сани из-за мелководья реки могли переправиться только порожняком.

В этом месте над рекой возвышалась громадная гора, на которую нам предстояло взобраться. Она была увенчана развалинами древней крепости, силуэты которой обрисовывались на снегу черными острыми углами. Я обратился к Луке с вопросом, не знает ли он чего-нибудь об этих развалинах.

Он начал смеяться, не отвечая, я стал настаивать все более упорно.

— Мы, имеретины, — сказал он, принужденный мною отвечать, — люди простые, над которыми было бы несправедливо с вашей стороны иронизировать, ибо мы только повторяем то, что наши отцы говорили нам.

— А что говорили ваши отцы? — спросил я его.

— Да что-то похожее на басню, которой нельзя верить.

— Какая же это басня?

— Хотите послушать?

— Конечно.

— Они рассказывали, что эту крепость построил в незапамятные времена человек, пришедший с неведомой земли, по имени Язон. Он хотел похитить Золотое руно (золотую овчину). Разумеется, я нисколько этому не верю, но всякий простолюдин в Имеретии укажет на эти развалины, называя их развалинами замка Язона, и расскажет ту же самую басню. Ну, как, — добавил он, — эта история о Золотом руне разве не заставила вас смеяться?

— Нисколько, вы это видите, я и сам знаю эту историю с детства.

Лука посмотрел на меня с удивлением:

— Разве вам рассказывали ее во Франции?

— Она входит в программу наших школьных занятий.

Тут он взглянул на меня с недоверием:

— Вы не разыгрываете меня?

Я протянул ему руку, и он ясно увидел по моей физиономии, что не могло быть у меня и в мыслях ничего подобного.

— Как, по-вашему, до какого места доходил Язон? — спросил я его.

— До этого места, здесь его поход закончился. Он скоро вынужден был со своими спутниками удалиться, ибо против него восстали местные племена. Как утверждает легенда, отступая, он унес Золотое руно и похитил дочь местного царя.

Пришла очередь моим саням переправляться на пароме, я думал о волшебной памяти народов, как эстафету передавшей нам факт, историю или басню, которая восходит за тридцать пять лет до Троянской войны.

Мы вскарабкались на прескверный подъем, похожий на тот мост, о коем повествует Магомет, уверяя, что он не шире острия бритвы.

Час спустя я въезжал в Кутаис, столицу Имеретии, древний Котис, а по словам некоторых, это древняя Эа — родина Медеи.

Глава LV
Кутаиси, Кутайс, Котис, Эа

На одной или двух страницах нашей книги мы будем плутать в океане гипотез, стараясь оживить хоть на мгновение тот призрак, который был так хорошо показан нашей знаменитой трагической актрисой г-жой Ристори.

Кутаиси, Кутайс или Котис, столица нынешней Имеретии или некогда всей Колхиды, существует — нечего и говорить об этом — с самых древнейших времен. Д'Анвиль уверяет, что это древняя Эа — родина Медеи. По его мнению, этот город основан пелазгами более чем за тысячу двести лет до новой эры и более чем за полторы тысячи лет до правления Рима. Бесполезно искать какие-либо следы построек древнего города — мы имеем в виду город дохристианской эры.

Город средних веков, который, вероятно, занял место древнего города, был расположен на отвесной горе, направо от Фароса (маяка).

Нынешний город находится на равнине налево от реки, он более удобен для торговли, но еще лучше для лихорадки. Это скорее большая деревня, чем город, соединение на живописной местности определенного числа домов, которые выстроились там, где нашли удобным, каждый захватив себе сад более или менее обширный и образовав широкие улицы и огромные площади. Все эти дома построены из соломы и веток, скрепленных глиной,

побеленных снаружи известью. Дома князей, помещиков и богачей деревянные.

Самая неправильность Кутаиса делает из него один из живописнейших и прелестных городов. Летом по части тени деревьев и ручейков он может соперничать с Нухой.

Мы остановились в немецкой гостинице, где внешне все говорило о европейском комфорте. Мы поужинали в ней и заночевали.

На другой день, в десять часов, явился адъютант губернатора [274] полковник Романов[275]. Он пришел от имени губернатора и от себя осведомиться, не может ли быть в чем-нибудь нам полезен. После испытанных трудностей он мог быть нам полезен во всем и прежде всего тем, чтобы избавить нас от новых затруднений, сделать же это он мог верными сведениями о дороге, по которой нам предстояло ехать до Марана.

Ответ полковника Романова совсем не был утешителен, — по его словам, нам нельзя было продолжать путь в санях, а только верхом. На протяжении семи или восьми верст дорога была довольно хороша, но дальше совершенно испорчена. Лучше всего было следовать по каменистому ложу одной речки.

Это была единственная дорога на протяжении двенадцати или пятнадцати верст. Потом через лес — один из огромнейших лесов в Имеретии — мы могли прибыть в Губицкую.

Я хотел посетить Гелатский монастырь, в котором, как нас уверяли, хранится одна из створ древних железных ворот Дербента. Для этой поездки полковник Романов предоставил себя в наше распоряжение. В его конюшне стояло столько лошадей, сколько понадобилось, и он сам вызвался быть нашим проводником. Без всяких промедлений мы приняли его услуги.

Пока седлали лошадей, мы осмотрели город. Настоящий Кутаис заключается в его базаре, ведь сердцем всех восточных селений является базар, это средоточие жизни города.

Кутаисский базар один из самых бедных, какие мы где-либо видали. Я нашел здесь только две замечательные вещи: золотую медаль Александра и пару подсвечников на орлиных когтях с серебряными подвесками. Все остальное было низшего качества по сравнению с тем, что мы видели в Дербенте, Баку, Нухе и даже Тифлисе. Кутаисский базар не имел поэтому никакой выручки от нас.

Кстати, о кошельке. Дадим короткую справку для будущих путешественников по Кавказу.

В России золотая и серебряная монета стала редка, а в ходу бумажные деньги в виде банковских билетов в один рубль, в три, пять, десять, двадцать пять, пятьдесят, сто рублей. В России с большим трудом можно разменять эти билеты, на счет коих, впрочем, есть постановление, что при первом востребовании всякое казначейство обязано обратить их в звонкую монету. При предъявлении бумажного рубля, с которого следует сдача в пятьдесят копеек, каждый отвечает: «У меня нет золотой и серебряной монеты».

Но князь Барятинский велел разменять мне через г-на Давыдова около тысячи рублей бумажками на такую же сумму звонкой монетой. Когда я прибыл в Кутаис, у меня нашлось еще от двухсот пятидесяти до трехсот рублей ассигнациями. Вне России они могли годиться лишь на папильотки, у меня же от природы курчавые волосы, и папильотки мне не нужны. А поэтому я просил г-на Романова ходатайствовать перед губернатором, чтобы мне разменяли на серебро, по крайней мере, половину указанной суммы.

Начались переговоры. В конце концов мне пообещали, что по возвращении из нашей поездки мы найдем деньги готовыми.

Мы сели на лошадей и, несмотря на гололедицу, смело пустились в горы. Мы поднимались около семи верст, сдерживая лошадей, беспрестанно угрожавших споткнуться

---

274 Кутаисским губернатором и командующим войсками этого края был генерал лейтенант князь Георгий Романович Эрнстов.

275 При нем состоял адъютантом подпоручик Тульского пехотного полка Романов, почему-то произведенный А. Дюма — или его информаторами — в полковники.

под нами. Только прибыв в монастырь, мы смогли безбоязненно осмотреться кругом.

Вид был прекрасен, несмотря на снег, придававший всему пейзажу однообразный характер. Летом этот вид был бы одним из лучших воспоминаний о нашей поездке.

Монастырь — превосходнейший образец древней архитектуры. Собор может служить идеалом пропорциональности. Древняя живопись почти не сохранилась, почти все здесь разрушено временем, стены прикрыты ширмами, украшенными живописью, которые на Кавказе часто обезображивают самые великолепные храмы.

Общий вид интерьера церкви печален, грязен и беден, это напоминает об упадке страны.

Однако не следует приходить в одно только негодование от всего виденного. В иконостас вставлены, например, два или три драгоценных образа. Первое место налево от царских врат занято иконой Гелатской богородицы. Этот образ очень известен своими чудесами с давних времен. Вот предание, на котором основывается эта известность.

Когда после вознесения Иисуса Христа апостолы стали делить между собой для своих проповедей мир, святому Андрею достался Кавказ. Тогда пресвятая дева приложила плат к своему лику, и его черты запечатлелись на нем. Она передала святому Андрею этот плат, т. е. свое подлинное отражение. Апостол пришел в Азнаур, что между Боржомом и Ахалцыхом. Там царствовала царица, которая незадолго до этого потеряла единственного сына. Святой Андрей прикоснулся к покойнику образом святой девы, и юноша воскрес.

После того, как святой Андрей совершил это чудо, ему стали все поклоняться. Языческие жрецы перепугались и восстали против апостола. Чтобы как-то решить спор, прибегли к чисто кавказскому средству: предложили поединок между языческими и христианскими божествами.

Их поместили в палатке: христианский образ с одной стороны, идолов — с другой, и всю ночь, как святой Андрей, так и жрецы, провели в молитве. Утром нашли идолов поваленными, а образ богоматери нетронутым.

При этом чудесном явлении царица и ее народ признали истинную веру. Позднее, когда сторонники ислама вторглись в этот край, и азнаурский собор, следы коего виднеются еще и теперь, был сожжен, один из верующих зарыл святую икону в землю. Она оставалась там на протяжении многих столетий и наконец была найдена и перенесена в Гелат.

Образ замечателен тем, что, вопреки существующему преданию, святая дева черноока. Оклад иконы за исключением лика и кистей рук, как на всех греческих образах, покрыт драгоценными камнями. Это одно из прекраснейших сокровищ XV столетия.

Кроме этой бесценной иконы, есть и другие великолепные иконы: одна из них изображает святого Георгия и сделана, как нас уверяли, из цельного золота. Во всяком случае икона сотворена в глубокой древности.

Все эти сокровища, надо сказать правду, единственное, что производит сильное впечатление посреди жалкой нечистоты всего ее окружения. И тем не менее она ничто по сравнению с тем, что нам еще предстояло увидеть.

Нас привели в ризницу, примыкающую к собору, пол которой был устлан греческими рукописями, по всей вероятности очень ценными. Здесь хранятся священные одежды. В старый ковер был завернут сундук с крепкими замками. В нем хранились тиары, украшенные драгоценными камнями, шитые жемчугом ризы, другие дорогие вещи и, между прочим, корона имеретинских царей. Любителям дорогих изделий было здесь от чего потерять рассудок.

Заметьте, что все эти богатства, к которым нельзя прикоснуться даже щипчиками, завернуты в тряпки, показываются людям, и выставлены напоказ в ветхом храме, где всюду отражается бедность.

Это была вполне восточная традиция, о которой я уже говорил: богатая, живописная и грязная. Фанатизм и беспечность — вот весь Восток.

Оставалось увидеть предмет, интересовавший меня более всего — железные врата Дербента.

Меня повели в какой-то угол. Откуда взялась эта исполинская дверь, эта единственная створа ворот, — я вовсе не знаю. Со мною ничего не было такого, чем бы измерить ее, но она показалась высотою в пять-шесть метров и шириною в два с половиною метра. Насколько могу судить, эта дверь дубовая, покрытая железными листами, с пятью железными перемычками. В нижней части железо пробито, и видно дерево.

Другая половина была взята турками в качестве трофея. Я заметил следы арабской надписи, но никто из нас не мог разобрать ее[276]. У нас не было времени, во что бы то ни стало мы хотели выехать в тот же день. Оставалось только два дня, чтобы прибыть 21 числа в Поти.

Мы сделали приношение гелатским монахам и возвратились в Кутаис.

Мы сказали все, что знали о сегодняшней Колхиде, скажем несколько слов и о древней Колхиде, раздробившейся ныне на Мингрелию, Имеретию и Гурию. Ее главные города, имена которых дошли до нас через множество столетий, как неопределенное эхо прошедшего, следующие: Лазиея, Питуиза, Дандари, Диоскуриас, Археополис, Эа, Фазис, Кита, Мехлессус, Мадия, Суриум.

Можно, не слишком искажая этимологию, предположить Сурам в Суриуме и Кутаис в Ките. Однако, как мы сказали, некоторые ученые уверяют, что Кутаис построен на развалинах Эа. Эа же, как известно, была родиной Медеи. Аполлоний Родосский не дозволяет нам, после увидите почему, — следовать мнению этих ученых.

Экспедиция аргонавтов известна: мы бы не упомянули об этом, если бы не старались доказать, что здесь начинает рождаться история от своей матери-басни, стоит только отделить разумным образом басню от истории.

Рауль-Рошетт [277] в своем сочинении о греческих колониях сомневается в существовании Язона и экспедиции аргонавтов.

Язон или, точнее, Диомед, наследник трона Иолхоса, скрывается своею матерью Алкимедой от преследований дяди его Пелиаса, воспитывается Хироном, учится у него медицине и получает свое имя Язон от греческого глагола иасдас (лечить): оставляет Центавра и идет советоваться с оракулом, который повелевает уподобиться магнезийцу, т. е. прикрыться шкурой леопарда, взять два копья и представиться в таком виде ко двору Пелиаса.

Язон переправляется через реку Эпинею с помощью Юноны, преобразившейся в старуху. Язон теряет в реке одну из своих сандалий — обстоятельство маловажное для него, но важное для соперника, которому тот же оракул сказал, чтобы он не доверялся тому, кто представится к его двору с обувью только на одной ноге.

Язон требует у Пелиаса отцовское наследство. Пелиас поручает ему добыть из Колхиды Золотое руно — таково содержание этого мифа.

Язон строит корабль и с горстью решительных людей пускается по Черному морю с торговой целью, поднимается на Фазу, вероятно, для того, чтобы купить золотой пыли, которую жители Колхиды собирали в Гиппусе и Фазе с помощью овчин, в которых осаждались золотые песчинки: это уже начинается истина.

Во времена Страбона все памятники в Колхиде, свидетельствовавшие об этой экспедиции, еще были целы, и мы уже говорили, как предание увековечилось в памяти народов. При Страбоне равнина Колхиды называлась еще Арго, и Аргусу, сыну Фриксуса, приписывали постройку храма Лезкогеи и основание Идессы.

---

[276] Предмет этот довольно обстоятельно разобран ученым знатоком грузинской истории и археологии г-ном академиком Броссе. См., между прочим, в сборнике газеты «Кавказ» за 1847 г статью: «О железных воротах, хранящихся в Гелатском монастыре», е. 163.

Прим. Н. Г. Берзенова.

[277] Дезире Рауль-Рошетт (1790–1854) — французский архитектор, автор многочисленных трудов по археологии Греции и Ближнего Востока.

Но по всей вероятности, у экспедиции аргонавтов была и другая цель, более высокая, хотя она совпадала с первой: очистить Черное море от пиратов, производивших большие опустошения.

Вот это и сделало из экспедиции Язона сюжет не только романтический, но и священный, который притягивал к себе поэтов. Спустя сорок лет этот первый союз послужил образцом союзу, создавшемуся при взятии Трои.

Тацит и Трог Помпей не ограничиваются рассказом о первом путешествии Язона в Колхиду; они повествуют еще о втором, когда будто бы Язон разделил покоренные земли между своими сподвижниками и основал колонии не только по берегам Фаза, но и в глубине страны, что соответствует как нельзя лучше развалинам, носящим название замка Язона, историю которого наш друг Лука так простодушно рассказал.

Впрочем, те же самые предания существуют в Лемносе, на берегах Пропонтиды и Геллеспонта.

Синоп построен, как гласит предание, знаменитым начальником пришельцев: Диоскурий ясно указывает на присутствие среди аргонавтов Кастора и Поллукса. Анатолийский мыс и поныне называется Язоновым мысом. Наконец в Иберии, Армении, даже в стране Мидан, города всякого рода, храмы и монументы носили имя Язона, и если следы их ныне изгладились, то потому, что Парменион, друг и особенно льстец Александра, опасаясь, чтобы слава победителя при Гранике, Арбелле и Иссусе не затмилась славой аргонавтов, приказал разрушить их, а также истребить поклонение Язону, которое с давних пор существовало между варварами.

Это предание еще столь живо в странах, по которым мы странствовали, что многие знатные люди, носящие в Мингрелии, Имеретии и Гурии имя Язона, выдают себя за потомков героя или его сподвижников и имеют даже греческий тип, подтверждающий это знаменитое происхождение.

Мало того: взгляните в Парижском музее на статую Фокиона.

Он носит мантию; грузинская бурка, кажется, точь в точь и есть эта мантия. А башлык разве не тот же капюшон матросов, бороздящих Средиземное море и Архипелаг?

После этих великих проблесков, озаривших Колхиду, она снова попадает во мрак. Историки помещают в этой провинции, кроме колхезнов, еще меланхтенов, кокракситов или жителей Вороньей горы, апсильенов, миссиманьенов и другие племена, имена коих нам почти неизвестны.

Из всех этих мрачных имен сделаем одно исключение для суано-колхов Птоломея, суанов Страбона и Плиния.

Суанеты поселились еще во времена аргонавтов, как говорят названные историки, в горах Колхиды, выше города Диоскуриаса. Этот народ был чрезвычайно храбр, но и очень грязен, поэтому греки на своем цветистом языке называли их птирофагами, т.е. вшеедами. Сей народ сохранился и поныне таким же, как его описывали Птоломей и Страбон, с той лишь разницей, что теперь они, может быть, еще грязнее.

Позже мы расскажем о нем несколько веселых историй.

Женщины всей древней Колхиды прекрасны, — мы хотели сказать: прекраснее грузинок, но тут вовремя вспомнил и, что Мингрелия, Имеретия и Гурия всегда были частью Грузии.

Но какая здесь бедность! Боже милосердный! Какая нищета! Она доходит до того, что, по уверению многих, нравственность самой добродетельной женщины, происходящей от Медеи, не устояла бы ныне при виде золотой монеты.

Суаны или суанеты, называющие себя шнау, самая бедная нация на Кавказе: ничего не имея для сбыта, мужья продают своих жен и детей. Костюм их не что иное, как куча лохмотьев, обвязанных вокруг ног и рук, и при этом все встреченные нами имеют вид знатных господ, которым позавидовали бы даже князья.

Возвращаясь в Кутаис, мы встретили молодого гурийца в черкесском платье. Его сопровождали два нукера, имевшие на самой макушке головы красную шитую золотом

шапочку в форме пращи. Мы остановились, глядя на них. Прекрасному молодому человеку не приходилось объявлять о своем звании, весь облик его так и говорит глядите, — я князь.

Я имел честь познакомиться в Санкт-Петербурге с последней владетельницей Мингрелии княгиней Дадиан, лишенной русскими своего престола. Трудно обнаружить более совершенный образец красоты. У нее четверо детей, один красивее другого, вместе с матерью они составляли ансамбль, достойный древности.

Из моих слов следует, что и у маленького князя Николая (ныне он мингрельский властитель с собственной матерью в роли регентши — если русские только не пожелают полностью отобрать у него владения) замечательная внешность.

Мать говорит ему:

— Сними свою шапочку, Николай, побудь немного без этой короны.

И юный князь подал мне свою шапочку с таким видом, словно его свергли с престола.

Мы возвратились в немецкую гостиницу, наши бумажные деньги были разменены на золотые и серебряные монеты, счет нашим расходам произведен. Сообщим мимоходом, что стоимость одного ужина и ночлега была около шестидесяти франков — признак, что мы уже находимся в образованной стране, где воры, изгнанные с больших дорог, превратились в трактирщиков.

Навьючивать наших лошадей было очень трудно. У меня было два больших сундука, один тяжелее другого. Ни одна лошадь не была настолько сильна, чтобы поднять их оба вместе.

Я заметил сани на дворе трактира и просил хозяина продать их мне или дать напрокат. Он не хотел ни того, ни другого. Я прибег к помощи полковника Романова, и хотя тот уверял, что в санях ехать по мингрельской грязи немыслимо, я все же уговорил трактирщика отдать мне внаем сани за четыре рубля.

Муане выходил из терпения от всех этих проволочек: он твердил — и не без оснований — что мы никак не прибудем 21 января в Поти к пароходу.

Я тоже стал беспокоиться об этом, но бывают препятствия, которые побеждаются только со временем. Собираясь в дорогу, я имел дело с одним из таких препятствий. Чтобы укротить нетерпение Муане, я предложил ему ехать вперед с Григорием с одной из вьючных лошадей и ее проводником, а я поеду в санях и с семью или восемью остальными лошадьми.

Прибыв на станцию, Григорий и он должны были заняться ужином. Я приеду, когда успею, с остальным багажом и слугою-грузином, которым снабдил меня полковник Романов, чтобы я мог объясниться с моими ямщиками, так как грузин говорил немного по-французски.

Муане и Григорий отправились. Я потратил еще какое-то время, укладываясь в сани.

Наконец известили, что все готово. Я обнял полковника, сел в сани, передав грузину мою верховую лошадь, и отправился.

Глава LVI
Дорога от Кутаиса до Марана

Я не проехал и двух верст, как уже два раза вывалился из саней. Не желая повторения тех акробатических упражнений, что были накануне, я сел на коня.

Сначала мы поехали большой равниной по дороге, обложенной с обеих сторон оврагами, наполненными водой, покрытою легким слоем льда, а в некоторых местах на несколько футов снегом. Эта равнина оканчивалась лесом, который, по словам наших проводников, длился миль на двадцать. При последнем царе, большом охотнике, этот лес был строго охраняем для его удовольствий: он называется Марлакки. В настоящее время лес открыт всем охотникам и изобилует, как уверяют, всякого рода дичью. Это уверение не могло побудить меня отвязать охотничьи ружья, крепко привязанные внутри экипажа. Я настолько много видел дичи, начиная с куропаток в Шуковой до фазанов на Аксусе, что мои охотничьи страсти поутихли.

Мы вступили в лес царя Соломона.

До сих пор пока ничто не оправдывало мрачных предсказаний полковника Романова. Дорога была если не вполне хороша, то по крайней мере проезжаема, и с тех пор, как сани освободились от моей тяжести, они вели себя довольно исправно.

Мы проехали почти шесть или восемь верст по просеке с теми же самыми оврагами по обеим сторонам. Скоро, впрочем, быстрые ручьи стали перерезывать дорогу — один поперек, впадая в овраги, другие, следуя параллельно ей. Я думал, что это та знаменитая река, о которой говорил полковник, но превратившаяся в ручеек.

Мало-помалу ручейки умножились, и все эти небольшие сосуды соединились в большую артерию, которая исподволь вторгалась в средину дороги и наконец слилась с двумя оврагами, края которых, упершись в лес, образовывали собою как бы два берега.

Это пока еще казалось мне более выгодным; эта вода, которая текла с быстротою слишком сильною для того, чтобы замерзнуть, очищала почву от снега и от грязи и образовывала песчаное дно, по которому сани прекрасно скользили, а лошади ступали твердой ногой.

Я радовался такой случайности, вместо того, чтобы жаловаться на нее. Не умея говорить на языке моих проводников, я не мог расспрашивать их; что же касается грузина, которого мой разговор никак, по-видимому, не трогал, то он все старался быть подальше от меня, чтобы не слышать моего голоса; кроме того, на несколько моих вопросов он отвечал так невпопад, что после двух или трех его ответов я совершенно излечился от мании спрашивать его. В результате мне осталось передать роль единственного сотоварища или, вернее, единственной подруги, собственной мысли. Я ехал, мечтая, убаюкиваемый иноходью моего коня.

Каждую минуту нас замедляло какое-нибудь препятствие: то вьюк падал с лошади в живописную речку, которая постепенно становилась все шире и глубже; то сани не могли сдвинуться с места без помощи двух или трех наших проводников. Снова вьючили лошадь, возились с санями, на все это нужно было время: нам следовало сделать двадцать четыре версты от Кутаиса до станции, а мы не проехали и половины, хотя было уже четыре часа дня.

Я должен был не только потерять надежду прибыть в тот же день в Мараны, но еще считать себя счастливым, если достигну станции Губицкой[278] засветло.

Река, по дну которой мы ехали, становилась все глубже, и чем дальше, тем делалась менее быстрой, так что иногда слышался треск льда под ногами лошадей. Очень часто сани, находившиеся впереди, взламывали слой льда, и я продолжал ехать в воде, которая, впрочем, пока достигала не более восьми или десяти дюймов.

Вскоре река, стала до того глубокой, а слой льда настолько толстым, что он мог выдерживать, по крайней мере, в некоторых местах, сани, которые зачастую проламывали его и наполовину исчезали в воде.

Сначала я хотел было следовать за санями, но два или три раза моя лошадь оступилась, и я отказался от этого, предпочитая держаться той стороны, где поток, сохраняя скорость, не давал льду затвердеть. Кое-где снег, скатывавшийся со склонов, создавал удобную дорогу, шедшую через лес. Но тут мне приходилось беречься ветвей деревьев, хлеставших по лицу. Это заставляло меня пускаться вновь по дну ручья, который, по правде говоря, имел одно важное неудобство: мои ноги мерзли от брызг, летевших из-под копыт лошади.

Дорога становилась все более скверной.

Время шло.

Было уже пять часов дня. Через час должна была наступить ночь.

Иногда в поисках удобной дороги проводники взбирались на один из берегов и шли под деревьями, пешком, пуская вперед лошадей, которые, раздвигая собою ветви этого почти непроходимого леса, прокладывали им дорогу. Что касается меня, то хотя ноги мои

---

[278] Так у А. Дюма обозначена станция Губис-Цкали.

совершенно онемели от холода, я продолжал следовать по той же дороге, к великому отчаянию моей лошади, которая всякий раз, как только лед ломался под ее ногами, пыталась пятиться в сторону, но тут она встречала гололедицу и падала.

Тогда я машинально расставлял свои ноги, лошадь поднималась, я снова приходил в равновесие и кое-как продолжал путь. Если бы даже при одном из этих падений я сломал себе ногу, то, вероятно, не почувствовал бы этого.

Эта пытка продолжалась целый час. Иногда, видя, что сани относительно легко идут там, где моя лошадь двигалась с трудом, я пытался сойти с нее и сесть в сани, но именно в ту минуту, когда я хотел уступить одному из таких желаний, сани опрокинулись и выбросили на самую середину ручья моего ямщика, который, как истинный сибарит, до меня решился на то, что я лишь замышлял сотворить.

Тем временем наступила ночь. Нечего и говорить, что темнота создала новые затруднения в нашем положении: дорога или, вернее, река, по ложу которой мы ехали, внушала моей лошади все больше и больше отвращения.

На правом берегу ручья я заметил вьючных лошадей, которые довольно спокойно пробирались в чаще леса, где они нашли себе тропу или сами прокладывали путь. Я думал, что самое лучшее — оставить сани на произвол судьбы, а самому примкнуть к каравану.

Я направил туда своего коня и после больших усилий очутился в лесу. Действительно, как я убедился на собственном опыте, дорога здесь была лучше, чем если б продолжать путь по дну ручья. Тут обнаружилось, что я постепенно удалялся от своих саней.

Велика важность, — подумал я, — с вещами прибудут на станцию одной дорогой, а я и остальной багаж прибудем по другой.

Увлеченный дорогой, я перестал обращать внимание на то, что звон почтового колокольчика становился все слабее и слабее, и наконец я вовсе перестал его слышать.

Прошло почти полчаса, и я, обрадованный переменой грунта и испытывая беспокойство лишь от ветвей, хлеставших меня по лицу, пустил лошадь на произвол судьбы, предавшись своим размышлениям. Наконец я решился спросить грузина, понимавшего по-французски, далеко ли мы от станции. Никто не отвечал мне; я повторил вопрос — в ответ то же самое молчание. Тогда в моей голове зародилось подозрение.

Я подошел к человеку, находившемуся возле меня, посмотрел на него со всем вниманием, на которое был способен, и убедился, что он не из наших проводников. Лошадь, которую он вел, имела поклажу мне абсолютно незнакомую.

— Губицкая? — спросил я его, показывая на дорогу, по которой мы ехали.

Человек засмеялся.

— Губицкая? — повторил я с тем же самым жестом.

Тогда он также повторил это слово и указал рукой в сторону, совершенно противоположную тому направлению, по которому мы следовали. Я мгновенно понял создавшуюся ситуацию и, признаюсь, дрожь пробежала по всему телу: ведь я покинул свои сани, пристал к чужому каравану и заблудился.

Я остановил коня и стал прислушиваться, надеясь услышать звон почтового колокольчика, но он терялся вдали, да я и сам не мог себе с уверенностью сказать, с какой стороны он слышался. Помимо того, направление, указанное мне как пункт расположения станции, было, насколько я мог судить, диаметрально противоположно тому, по которому, как мне представлялось, отправились сани.

Но дорога могла сделать поворот. Я остановился в нерешительности, не зная что предпринять.

Положение было не из легких. Я затерялся в лесу, простирающемся на двадцать миль, без всякого следа почтовой дороги, не владея местным языком, на случай встречи кого-нибудь, кто мог бы мне показать ее, да притом, говоря по правде, всякая встреча могла быть для меня скорее опасной, чем спасительной.

К довершению всех моих бед в стране, где для того, чтобы обойти вокруг своего дома в восемь часов вечера, всякий берет ружье, я не имел с собою никакого оружия, кроме

кинжала. Притом со мною были все мои деньги. Во Франции, в Фонтенбло или Компьенском лесу положение могло быть если не опасное, то по крайней мере неприятное, но в Имеретии, между Кутаисом и Мараном, оно было гораздо серьезнее.

Надо было решиться — и я, поворотив коня, поскакал по направлению, указанному незнакомцем, Я остановил своего коня, и в надежде, что сани недалеко, стал звать нашего проводника-грузина. Никто не отвечал мне, лес в своем огромном покрывале казался мертвецом, завернутым в саван.

Я утратил всякое представление о направлении, где могла находиться Губицкая.

Если бы со мной было ружье и двадцать пять патронов, то это было бы, во-первых, средством самозащиты, а во-вторых, способом дать о себе знать: люди, находящиеся при санях или при караване, не обнаружив меня с собою, поняли бы, что я заблудился, и тогда принялись бы меня искать. Ориентируясь на ружейные выстрелы, они рано или поздно нашли бы меня.

Я же не имел ружья.

Я пустил лошадь по совершенно неопределенному направлению: она повиновалась, хотя не было ни одного признака дороги. В течение получаса я ехал наугад. Мне казалось, что я все больше удалялся от цели, которой хотел достигнуть. Лес становился столь густым, что я ждал минуты, когда буду вынужден остановиться из-за невозможности сделать хотя бы один шаг вперед. Я поворотил коня, чтобы ехать назад.

Когда находишься в таком положении, полностью теряешь голову. Я поворотил направо, но мне почудилось, что лошадь как будто противится этому. В такой ситуации, когда оказываешься в тупике и чувствуешь свою несостоятельность, лучше всего полностью отдаться инстинкту лошади: нежелание животного мне повиноваться ясно показывало, что я шел по неверному пути.

Я остановил лошадь и стал размышлять. Результатом раздумий было следующее: моя лошадь — это старая кляча, привыкшая возить почту между Кутаисом и Губицкой. В Губицкой она ест овес и отдыхает два часа. Если дать лошади полную свободу, то она, по всей видимости, придет именно туда, где ее ожидают ужин и покой.

Очевидно, я не ошибся.

Выпустив из рук поводья, я дал лошади полную свободу.

Четверть часа спустя я очутился меж двух рядов деревьев, это уже было похоже на какую-то дорогу. К несчастью, было так темно, что несмотря на снежную белизну, я не мог различить никаких следов. Я слез с лошади и, крепко держась рукой за уздцы, наклонился к земле. Одного зрения тут было недостаточно, я припомнил все свои охотничьи навыки и уже стал различать на снегу двойной след: следы лошадей и следы санных полозьев. Но были ли эти лошади и эти сани теми самыми, которые я искал?

Пока я раздумывал, недалеко послышался вой. Это были волки. Почти в ту же минуту, когда я услышал вой, какой-то зверь перебежал дорогу, немного приостановился и, почуяв меня, завыл во второй раз и исчез.

За всю свою жизнь я не нуждался в ружье больше, чем сейчас!

Я снова сел на коня. Обнаруженные мною санные следы вели в сторону, в какую лошадь сама хотела идти.

Я опять выпустил из рук поводья, и лошадь стала идти с еще большей прытью. Я замечал под деревьями зверей, которые, подобно теням, шли за мной безо всякого шума, но периодически одна из этих теней выпускала в меня как бы две молнии: это были глаза волка. Я мало беспокоился об этом, но моя лошадь была встревожена не на шутку: поворачивала голову направо и налево, фыркала, ускоряла ход. Эта поспешность была добрым предзнаменованием, — она доказывала, что мы приближались к станции. Временами я уже различал лай собак, но еще довольно далеко.

Вскоре с левой стороны я заметил какое-то строение. Вначале я предположил, что это дом, — оно было огорожено плетнем. Я заставил коня перепрыгнуть через плетень и объехать вокруг строения. Это была пустая часовня. Напротив дверей часовни был казачий

пост, покинутый людьми.

Я снова заставил своего коня перескочить через плетень, но с другой стороны был ров, которого я не приметил из-за закрывавшего его до самого верху снега. Моя лошадь упала, и я скатился в ров. К счастью, соседство часовни отпугивало волков; если бы это случилось со мною в лесу, то, конечно, я не встал бы без того, чтобы не иметь с ними дела.

Я опять сел верхом, снова выпустил из рук поводья, и лошадь пошла по тому же направлению. Не проехав и ста шагов, я заметил приближавшегося всадника. Я остановился, схватившись рукою за кинжал, — единственное мое оружие — и, выйдя на середину дороги, спросил по-русски:

— Кто идет?

— Брат, — отвечал незнакомец.

Я подъехал к брату, встреча с которым мне была очень приятна. Это был донской казак в косматой папахе и с длинной пикой. Он был отправлен ко мне от Муане, который, прибыв на станцию и беспокоясь обо мне, послал его отыскивать меня.

Казак поехал вперед, я за ним. Через полчаса сквозь окна станционного дома я увидел силуэты Муане и Григория, гревшихся перед большим огнем. Понятно, что этот сюжет показался мне куда более приятным, чем вид волков, которые за час до этого бежали за мной.

Я дал казаку рубль и велел задать двойную порцию овса бедному животному, которое так умно избавило меня от погибели. Да будет это известно всем путешественникам, которые могут попасть в такое же положение.

Отпряженные сани стояли у ворот. Лошади и багаж прибыли двумя часами после меня. Ямщики потеряли или украли у меня, что гораздо вероятнее, два черкесских ружья, среди которых одно великолепное с клеймом знаменитого Керима. Оно стоило двух карабахских коней и взято было у лезгинского начальника в сражении, в котором был убит генерал Слепцов. К счастью, у меня оставалось еще два таких: одно от князя Багратиона, а другое от князя Тарханова.

Глава LVII
Скопцы

Мы провели ночь на станции Губицкой и на другой день утром отправились в Старые Мараны. Как и накануне, я имел в запасе коня, хотя и решился ехать, где только было можно, в санях.

Муане, который накануне, упав с лошади, оцарапал руку, ухватившись за ветви, — просил предоставить ему верховую лошадь, пока она мне самому не понадобится. На лошади было превосходное гусарское седло, которым меня снабдил, как я, кажется, говорил уже выше, полковник Романов.

Ночью был сильный мороз, это делало дорогу более удобной для саней, но трудной для лошадей. Поэтому вместо того, чтобы следовать за караваном, я, благодаря быстрой езде, находился во главе его. Почти через час, поворотив голову назад, я приметил вдали лошадь без всадника. Я тотчас велел остановиться. Дорога была так дурна, что сам Баше[279] не мог бы поручиться, что удержится в седле.

За лошадью ехал всадник, который, казалось, гнался за ней; этот всадник был Григорий.

Через несколько мгновений лошадь и всадник были уже возле меня.

Ямщики остановили лошадь. Выяснилось, что она свалилась в ров и перебросила Муане через голову так, как случилось накануне и со мной. К счастью, в этот раз он не

---

279 Франсуа Баше (1796–1873) — автор множества книг по верховой езде, признанный авторитет в этой области.

нашел ветви, за которую мог ухватиться, и падение не причинило ему никакого вреда.

Я продолжал ехать, чтобы, если можно, опередить своих товарищей и успеть заранее приготовить лошадей на следующей станции; грузин должен был нагнать меня и служить переводчиком.

Все шло хорошо до десяти часов утра, но в эту пору повторился тот же самый феномен, какой мы уже видели на равнине. Я хочу сказать, что, несмотря на снег, покрывавший землю, воздух теплел от палящих лучей солнца, мало-помалу снег растаял — и я буквально погрузился в море грязи. Кто не испытал мингрельских грязей, — если я не был в самой Мингрелии, то был, по крайней мере, на ее границе, — кто не испытал мингрельских грязей, тот ничего не испытал. В мгновение ока я был покрыт слоем черноватой земли. Я позвал Григория, велел ему сесть на одну из запряженных в сани лошадей, а сам взял его лошадь.

Дорога менее чем через час превратилась в колышущееся болото, в котором моя лошадь начала вязнуть сначала выше копыт, далее по колена и, наконец, по грудь. Это болото пересекалось ручьями, в которых лошади и сани исчезали до половины, достигая другого берега благодаря неслыханным усилиям.

Я неблагоразумно остановился на минуту, чтобы разглядеть одну из этих переправ. После этого я хотел снова двинуться, как заметил, что, оставаясь неподвижной, моя лошадь погружалась по грудь. Стремена волочились по земле, если можно так назвать жидкую и текучую эссенцию, по которой мы пролагали себе путь.

Сколько я ни старался вытащить свою лошадь из этого моря грязи, — не мог, пока я сидел на ней, а сойдя с нее, я сам погрузился по колено в грязь, которая, по-видимому, не хотела выпустить нас. Только с помощью сильных ударов плети я вытащил коня из затруднительного положения.

Дошла очередь до меня: я вцепился в гриву и через три или четыре минуты почувствовал себя на земле, довольно твердой для того, чтобы превратить ее в точку опоры и опять сесть на коня.

Мы ехали таким образом четыре мили.

В Казани я запасся сапогами, предвидя, не скажу подобную дорогу, потому что я не мог этого предвидеть в стране, разделенной на почтовые станции, но просто мало ухоженную. Они закрывали всю ногу и пряжками были привязаны к поясу. Когда мы прибыли на станцию, в моих сапогах оказалось столько же грязи, сколько и снаружи.

Наконец я преодолел все это, хотя два или три раза боялся совсем утонуть. Подобные приключения, как сказали нам в Маранах, довольно обычны.

Не доезжая одной мили до Маран, мы встретили Усть-Цхенис-Цкали — древний Гиппус. Древние называли эту реку Гиппусом, что значит река-конь из-за скорости ее течения. Иными словами, название Усть-Цхенис-Цкали по существу лишь простой перевод слова Гиппус и значит река-конь.

Мы остановились у ворот гостиницы, разделенной на две половины. Меньшее отделение, образующее мелочную лавку или нечто вроде этого, имело десять квадратных футов. Здесь продавались самые необходимые товары, сваленные в кучу с первобытной простотой: хлеб, сыр, сало, свечи, вино, масло.

Два мальчика, из которых старшему можно было дать девять лет, были служителями этого храма Меркурия.

Второе отделение одновременно было залом, столовой и кухней. Большой очаг, дым которого уходит через отверстие в потолке, горел посредине. Над всем этим возвышался чердак, куда взлезали по большому бревну, на котором были высечены ступени наподобие лестницы.

Здесь я и поместился. Для нас стали варить яйца и готовить курицу, жареную на вертеле.

Один из мальчиков принялся скоблить меня с ног до головы ножиком, как будто имел дело с рыбой или морковью. Я вымыл лицо и руки грязной водой Гиппуса — да позвольте мне предпочесть древнее имя новому — и обсушил их на солнце.

Выехав из Тифлиса, мы не могли достать ни одной салфетки, которой бы можно было утереться. Мои платки и салфетки были в чемоданах, но, как вы помните, ключи от них остались в Тифлисе, а почтальон, отправленный за ними, который не более как за двое суток мог прибыть в Кутаис, еще не приезжал, хотя был в дороге уже девять дней.

Жестоко не есть, тяжело не пить, соблазнительно поспать; но для человека, привыкшего ко всем необходимым туалетным вещам в своей спальне, нет ничего тяжелее, чем не мыться.

Когда Муане и вьюки прибыли, яйца уже испеклись, курица изжарилась, и лошади были готовы. Нам оставалось проехать только семь верст до Новых Маран.

Я опять сел в сани, доверившись уверениям, что дальше дорога будет получше.

Мы потратили полтора часа на эти семь верст по жидкой грязи, которую сани разбрызгивали наподобие плывущего корабля.

Мы скоро увидим Фаз и можем отправиться на пароходе до Поти, т. е. до Черного моря. Правда, мы должны были приехать в такую погоду, когда на море начинаются штормы, но лучше, наконец, если непременно надо утонуть, то уж утонуть в воде, нежели в грязи.

Я имел письмо к князю Гигидзе — начальнику Новых Маран.

Эта колония населена скопцами. Я уже говорил в первых книгах моего «Путешествия по России»[280] об этой секте — одной из семидесяти двух ветвей православия. Те из читателей, которые пожелают иметь более подробные сведения об этих фанатиках, пусть прибегнут к главе, рассказывающей их происхождение, излагающей их обычаи, объясняющей их цель; здесь, чтобы повторить то, что необходимо знать в первую очередь, мы скажем только, что после первого ребенка эти несчастные холостят себя и делают бесплодными своих жен с помощью операций, почти так же болезненных для одного пола, как и для другого.

В такой стране, как Россия, где население невелико по сравнению с территорией, эта ересь считается преступлением почти наравне с изменой. В России, где государи при восшествии своем на престол даруют почти всегда амнистию — если не полную, то, по крайней мере, очень обширную, — скопец никогда не пользуется никакой царской милостью.

Я часто имел возможность во время моего путешествия встречать этих несчастных, которые живут разрозненно и редко скапливаются в одном месте в большом числе.

Здесь же мне довелось увидеть целую колонию этих странных еретиков.

Четыреста человек, переставшие быть мужчинами, собрались в одном месте. Увидав мои сани, остановившиеся возле них, пятеро или шестеро этих несчастных прибежали, — нет, скопцы никогда не в состоянии бегать, — пришли выгрузить мой багаж; у них страсть к наживе борется с немощью тела и делает их, если не деятельными в работе, то, хотя бы, упорными в ней. Ничего нет печальнее этих привидений в серых одеждах, с тонким пискливым голосом, с преждевременными морщинами, болезненной полнотой и с отсутствием мускулов.

Два скопца едва могли нести чемодан, который наш ямщик подбрасывал одной рукой на плечи и снимал в сенях. Шестеро скопцов несли красный сундук весом всего около ста кило.

Разумеется, среди них нет ни одной женщины. Оскопившиеся женщины создают особые колонии. Зачем соединять эти две развалины человеческих существ, охотно отделившихся друг от друга?

Хотя обыкновенно скопцы холостят себя только после женитьбы и после рождения первого ребенка, многие из виденных нами были слишком молоды для того, чтобы

---

[280] XIX глава «Путевых впечатлений А. Дюма в России» (издание Мишеля Леви, 1865 г., с. 277–289) посвящена скопцам. Глава названа как в «Кавказе».

исполнить этот первый долг природы. Это спешили делать те, кому фанатизм не позволял больше ждать. Благодаря этому они в двадцать лет походили на пятидесятилетних старцев. Они были тучны и уже с морщинами; разумеется, ни один волосок не вырастал на бесплодном и пожелтевшем лице.

Я расспрашивал полковника об их характере. К несчастью, он был невеликим наблюдателем и жаловался только на одно обстоятельство: на то, что колония его не увеличивалась.

Впрочем, я успел получить от него некоторые сведения.

Его поселяне имеют все недостатки женщин, не владея, разумеется, ни одним из их достоинств.

Они сварливы, но споры их всегда ограничиваются только одними пустыми угрозами.

Они сплетники, и когда случайно один из них расхрабрится ударить другого, то побитый не отплачивает тем же, а со слезами уходит жаловаться на своего противника.

Скопцы чаще всего скупы; некоторые, несмотря на барыши, какие они получают в этом грязном уголке, владеют капиталом от четырех до пяти тысяч рублей, которыми могут располагать по завещанию и почти всегда жертвуют его в свою общую пользу, безо всякого вмешательства со стороны властей.

Они содержат лодки на Риони, когда в зимнее время, вследствие мелководья, маленький пароход не может ходить по реке.

Полковник Романов предупредил нас не давать им свыше шестнадцати рублей, сколько бы они ни запросили, ибо эту цену, хотя и не установленную официальным тарифом, следует дать им по справедливости.

Они сначала запросили двадцать пять рублей и наконец согласились на предложенную нами плату.

Мы никак не могли убедить их отправиться в тот же день, а это было для нас важно, так как наступило уже 20 января. Полковник успокоил нас, говоря, что пароход отправляется только 22-го вечером.

Через два часа после нашего прибытия полковник велел приготовить обед, взяв у нас позволение разделить его с нами.

Пока мы обедали, мои исследования колонистов возобновились.

Скопцы отвечают с отвращением, что вполне понятно, на задаваемые вопросы; однако перед полковником они не посмели хранить полное молчание, и он сумел добавить еще несколько подробностей к тем, какие уже сообщил…

Во время обеда полковника зачем-то вызвали: он вышел и тотчас же воротился. Какой то имеретинский князь, спешивший из Кутаиса, желал воспользоваться моей лодкой, предлагая взять на свой счет половину издержек. Я отвечал, что за исключением этой последней статьи, он может распоряжаться лодкой. Он было настаивал, но я остался непоколебим, и князь принужден был уступить моей воле. Когда дело было улажено, он вошел, чтобы поблагодарить меня. Это был прекрасный молодой человек 28 или 30 лет, одетый в белую, как снег, черкеску, с оружием и золотым поясом; под черкеской был бешмет розового атласа, а под ним другой, шелковый — перлового цвета. Широкие шаровары, заправленные в высокие сапоги, были такого же белого цвета, как и черкеска. Его сопровождал слуга, почти так же щегольски одетый, как и барин.

Он благодарил меня по-грузински: Григорий переводил его слова. Он ехал в Поти и спешил прибыть туда, чтобы присутствовать при высадке брата князя Барятинского[281], направлявшегося в Тифлис и до Поти следовавшего на пароходе, который должен был доставить нас в Трапезунд — стоянку французских пароходов.

Князя звали Соломон Ингерадзе[282].

---

281 О каком князе Барятинском идет тут речь, неясно. *(Ред.)*

282 Среди грузинских дворян конца 1850 годов нам не попадалась фамилия Ингерадзе. Возможно, писатель

Мы условились ехать утром как можно раньше, но полковник, знавший своих людей, заранее предупредил нас, что мы не должны рассчитывать на отъезд ранее восьми часов.

Скопцы имеют сходство с женщинами еще в том отношении, что их чрезвычайно трудно заставить встать с постели, если только доски, на которых они спят, можно назвать постелью.

Князь пил кофе с нами и пришел в ужас, что не мог выехать в пять часов утра; сознание, что князь Барятинский высадится, и он не будет встречать его, приводило князя в отчаяние. Я хотел знать причину этого беспокойства, и оказалось, что он начальник того участка, по которому брат наместника должен был проехать из Поти в Кутаис.

Мне приготовили постель в той самой комнате, где мы беседовали; постель заключалась в стеганом одеяле из пике с простыней, пришитой к самому одеялу.

Мы поднялись в шесть утра, но, несмотря на настояния князя Ингерадзе, смогли выехать только в десять. В час отъезда я хотел было похлопотать насчет провизии, но Григорий по лености, которую я простил бы скопцу, но ему не прощу, уверил меня, что вдоль всей дороги есть селения, где мы можем запастись съестным.

Мы простились с маранским начальником и, поторапливаемые князем, тем более спешившим, что мы и так уже опоздали на целый час, спустились в барку. При этом по милости крутого берега Риона мы едва было не сломали себе шеи.

Пусть позволят мне сделать для Риона то же, что я сделал для Усть-Цхенис-Цкали, т. е. называть его древним именем — Фаз.

Фаз, в том месте, где мы сели в лодку, широк почти не менее Сены у Аустерлицкого моста, но вовсе не глубок; поэтому лодки, которые ходят по реке, делают длинными, узкими, плоскодонными. Помимо этого, мы убедились в правильности слов скопцов, которые отказались ехать ночью; через каждые сто шагов течение реки замедлялось из-за стволов деревьев, вырванных с корнем.

На нашей лодке было три скопца — этих несчастных и обреченных: один стоял у руля, двое были на веслах. Порою с одного конца лодки на другой они передавали своим тонким голосом какое-нибудь слово и снова впадали в унылое молчание. Ни разу за все плаванье ни один из них не издавал звука, который походил бы на пение.

Дант позабыл этих лодочников в своем «Аду».

В полуверсте ниже того места, где мы спустились, Гиппус, — выше я пробовал написать его новейшее название, — впадает в Фаз, принося тысячи льдин. А до того ни одна льдина не виднелась на поверхности реки.

Нам сказали, что по всему пути мы найдем множество водяной дичи; и действительно, мы подняли, хотя и на далеком расстоянии, несметные стаи уток.

Спрошенные нами скопцы решились ответить, что далее за селениями мы увидим птицу, менее дикую. Взамен этого на стволе каждого дерева, поднимавшегося из воды, гордо сидел готовый нырнуть баклан, который иногда действительно нырял и опять показывался с рыбой в клюве.

Еще на Волге мы узнали благодаря нашим зубам и в ущерб им — что убитый баклан то же, чем был Ахилл живой, т.е. неуязвимый, а потому мы оставили бакланов Фаза преспокойно заниматься рыболовством.

Впрочем, предсказание наших скопцов сбывалось: чем более мы удалялись от колонии, тем менее дичились утки. Первые признаки голода заставили нас стрелять по ним и промахнуться, что случается на воде вследствие неустойчивого положения с самым опытным охотником.

Наконец мы точнее измерили расстояние и начали бить их, к великому отчаянию нашего бедного князя, который видел остановку в каждой убитой утке. Он вытащил из кармана черкески кусок копченой осетрины, слуга его вынул из узла кусок хлеба и, предложив нам разделить трапезу — более чем умеренную, от которой мы отказались, в

спутал Ингерадзе с Нижарадзе. Или я плохо искал.

полном убеждении, что будем иметь более изобильный завтрак, — они стали есть с жаром, тем более делавшим честь их воздержанию.

Была пятница, а всякий православный христианин соблюдает в этот день пост, — хотя не полный, но зато строгий. Как жалко было смотреть на эти розовые лица и белые зубы, работавшие над черным хлебом и рыбными квадратиками, твердыми как сухари! Мы сожалели о них, думая о будущем нашем завтраке из жареных уток с доброй яичницей и даже не подозревая, что и нас ожидал пост, гораздо строже их поста.

Действительно, когда голод начал тревожить нас, мы поинтересовались у своих гребцов, далеко ли до деревни.

— Какой деревни? — удивились они.

— А той, где мы должны завтракать, черт побери!

Они посмотрели друг на друга, не скажу смеясь, — за два дня, проведенные в их обществе, мы не видали улыбки ни на одном лице, — но с гримасой, которая у них заменяла улыбку.

— Деревни здесь нет, — отвечал рулевой.

— Как, нет деревни?!

— Да так: нет и нет.

В свою очередь мы — Муане и я — взглянули друг на друга, затем на Григория. Он покраснел, чувствуя себя виноватым.

— Почему же вы говорили, — спросил я, — что на этом пути встретим деревни?

— Я думал, встретим, — ответил он.

— Как же вы думали это, предварительно не разузнав хорошенько?

Григорий не отвечал. Больше я уже не упрекал его, — да и его восемнадцатилетний желудок говорил громче всяких упреков.

— Спросите, по крайней мере, у этих окаянных гребцов, — сказал я ему, — нет ли с ними какой-нибудь провизии?

Он перевел мой вопрос. Оказалось, что у них есть хлеб, и ничего больше.

— Пусть они уступят нам немного хлеба, — имея хлеб, не умрешь с голода. Черт побери вас всех с деревнями на дороге!

— Они говорят, что их хлеб черный, — произнес Григорий.

— Ну, не очень-то приятно есть черный хлеб, — сказал я, вынимая свой ножик, — но, впрочем, за неимением белого… — продолжал я, обратившись к скопцам: — *Хлеба!*

Они произнесли в ответ несколько слов, смысла которых я не понял.

— Что они говорят? — спросил я Григория.

— Хлеб им нужен самим.

— Канальи! — Я поднял плеть.

— Надеюсь, — послышался голос Муане, — вы не будете бить женщин.

— Спросите их, по крайней мере, в котором часу мы прибудем в деревню, где можно пообедать.

Мой вопрос был передан в точности.

— В шесть или в семь, бесстрастно отвечали они.

Было одиннадцать часов.

Глава LVIII
Дорога от Марана до Шеинской

Я посмотрел на князя, готовясь принять предложение, сделанное им в начале завтрака. Однако завтрак был окончен, рыба обглодана до последней косточки, хлеб съеден до последней крошки. Оставались утки, но мы не могли есть их сырыми, а наши гребцы не позволяли развести огня в лодке.

Конечно, мы могли остановить лодку силой и разложить огонь на берегу, но при одной мысли об отчаянии бедного князя, если бы это было приведено в исполнение, мы отложили

свое намерение. Будь другая река, мы напились хотя бы воды, которая всегда служит подмогой голодному желудку, но вода Фаза так желта, что способна навсегда вызвать отвращение к речной воде.

Я завернулся в шубу и старался заснуть.

Муане стал стрелять направо и налево, — он также пытался развлечь себя, не имея возможности утолить голод. Еще три или четыре утки были убиты, стоило только изжарить их, и нам хватило бы еды на три дня.

Иногда я открывал глаза и сквозь мех моей шубы видел, что окрестности принимали все более величественный вид. Леса, по-видимому, делались выше и гуще, огромные лианы вились вокруг деревьев, густой многолетний плющ разросся до того, что походил на стены из зелени. Посреди всего этого стояли исполинские голые деревья, протягивавшие белые сухощавые ветки, похожие на скелеты, и на них неподвижно сидели орлы, испуская печальный, пронзительный крик.

Князь, которого мы расспрашивали обо всем виденном, сказал, что летом эти леса великолепны, но изобилуют большими лужами, которые никогда не высыхают, так как солнечные лучи не достигают их. Под каждым кустом скрываются очень опасные черные и зеленые змеи. Бегают стада ланей, кабанов и косуль; охотясь на них, нельзя избежать лихорадки и укуса змей.

Не без причины древние сделали из Медеи отравительницу: климат и страну они выражали в одном символе.

Особый характер Фаза составляет крутизна его берегов. Вода, омывающая берега с обеих сторон, обрушивает землю, поэтому берега с обеих сторон вертикально возвышаются футов на пятнадцать. В зимнюю гололедицу путешественники делаются пленниками реки.

Через каждые четверть часа мы спрашивали, сколько пути осталось еще до деревни, где мы могли бы пообедать, и всякий раз скопцы с бесстрастием, которое меня бесило, отвечали: шесть верст — пять верст — четыре версты — три версты…

Наконец, примерно в половине седьмого вечера, нам указали на какую-то деревню. Но тут мною овладело беспокойство иного рода: каким образом мы взберемся на высокие берега, которыми почти что заперт Фаз?

Я не спускал глаз с берега и не находил ни единой лестницы, ни единой тропы. Мы уже довольно основательно познакомились со страной, убедившись, что если природа не приходила здесь на помощь путнику, то человек никогда не давал себе труда помочь ей в этом. Действительно, нужно затратить много усилий, чтобы сделать лестницу и устроить дорогу для каких-нибудь пятидесяти путешественников, которые будут следовать ежегодно из Поти в Маран. Не имея же удобств, путешественник проедет мимо, и жители этих мест не будут им потревожены. Вот все, чего требуют эти люди!

И в самом деле, зачем хлопотать о продаже нескольких яиц и старой курицы? Пятидесяти путешественникам в год нужно сто яиц и пятьдесят кур. Я сильно подозреваю, что им выгоднее продать красивую девушку за двести рублей или красивого мальчика за тысячу пиастров.

Один из наших гребцов соскочил на берег и веревкой подтянул лодку. Князь Ингерадзе со слугой принялись кинжалами выдалбливать ступеньки, потом, став на них, протянули к нам руки, и мы благодаря этому поднялись на вершину крутого берега.

В ста шагах от реки был дом или, вернее, конюшня, которую лодочники назвали гостиницей для путешественников. Снег вокруг на фут высотою, только в некоторых местах более открытых солнечным лучам полуденный жар растопил его и превратил в грязь.

Мы направились к конюшне и отворили дверь. Увиденное нами заставило бы попятиться даже калмыка. Посреди конюшни горел огонь, дым валил, куда только мог, человек двадцать в группе, напоминавшей обстановку пещеры капитана Роланда из «Жиль Блаза», вокруг огня; старая колдунья прислуживала им. Псы лежали возле — те гадкие псы, которые составляют нечто среднее между волком и лисицей и начинают попадаться у границ Турции.

Лошади, привязанные вдоль стен конюшни, ржали, бились, брыкались, усмиряемые хозяевами с помощью здоровенных кнутов. Лишь свиньи были исключены из этого общества людей и животных — и это большая несправедливость, ибо известно, что турки, уже преодолевшие отвращение к вину, еще не смогли сделать того же в отношении этих животных.

Мы осмотрелись окрест себя. Не было ни одного места свободного — ни возле огня, ни у стен. Каждый был занят своим обедом: один готовил кашу, подливая в нее масло, другой варил в горшке курицу, третий ел тухлую рыбу, от которой французская собака отвернула бы нос.

Входя в эту, прошу прощенья, гостиницу, мы умирали с голоду, но через пять минут насытились.

Муане и я вошли первыми, так как мы больше остальных проголодались, за нами князь со своим слугой. При виде князя трое из лежавших у огня встали. Это были его слуги, ожидавшие господина, как лошади ожидают овса. Князь что-то сказал им. Двое вышли. Мы заняли оставленные ими места.

Медлительность нашего передвижения раздражала князя. Он очень торопился встретить брата князя Барятинского, а тут ему пришлось сидеть на бревне в этой грязной гостинице.

Нам тоже дали местечко на бревне, подвинутом к огню, и место это мы теперь считали чем-то вроде своего владения. Люди же князя не гонялись за каким-то европейским комфортом, они сидели или лежали прямо на земле.

Оставив Муане владельцем нашего бревна и положив папаху на место, где я сидел, чтобы тем самым сохранить его за собой (подобно тому, как это делается в театре), я удалился с Григорием, чтобы ощипать уток: их было у нас семь-восемь штук.

Выходя из помещения, Григорий дал знак какой-то старухе, и она последовала за нами. Он вынужден был изъясняться знаками, хотя владел семью или восьмью языками. Дело в том, что в этом заброшенном уголке Мингрелии и Гурии люди говорили на каком-то простонародном наречии, совершенно никому непонятном.

Но женщина поняла, в чем дело, и принялась за работу. Григорий приготовил три палочки, которые стали служить нам вертелом.

Тут подошел князь, сияя радостью: он достал лошадей и предполагал, что посуху он через три-четыре часа будет уже в Поти. Мы поздравили его, хотя и сожалели, что из-за нашего обильного багажа не можем сделать то же самое.

Потом князь воротился к нам, дал некоторые советы, рассказал окружающим, кто мы такие, и превосходно отрекомендовав нас, поблагодарил людей, оказавших ему услуги. Мы обнялись, он вскочил на коня и поехал галопом. Его свита состояла из четырех человек, причем трое шли пешком.

Я смотрел ему вслед, — он ехал на жалком коне, со слугой, почти так же богато одетым, как и он сам, и тремя людьми в рубище, бежавшими вслед за слугой. Да, он действительно походил на князя.

Вдруг наше внимание было отвлечено событием более важным — утки были ощипаны. Не хватало только Григория и его палочек. Наконец явился и он.

Утки были надеты на палочки и переданы мальчишке, который стал их жарить по всем правилам местной гастрономии.

Григорий нашел мингрельца, говорившего по-русски, который послужил переводчиком в наших сношениях с местным населением. Мы заметили, что благодаря рекомендации князя уважение к нам значительно возросло.

Я напряженно следил за жарившимися утками, но неожиданно услыхал со стороны реки странные звуки, не похожие ни на голос печали, ни на крик ужаса. Это скорее было нечто вроде вопля, положенного на ноты.

Мы с Муане устремились к воротам — это были мингрельские похороны.

Труп, отправляясь в последнюю свою обитель, остановился между рекой и воротами

нашего постоялого двора. Крайне утомленные носильщики поставили гроб на снег: священник прочитал несколько похоронных молитв, а вдова принялась голосить пуще прежнего.

Что больше всего поразило нас в этой вдове, одетой в черное платье и царапавшей лицо ногтями, несмотря на увещания окружающих, — так это ее богатырский рост. Она была на голову выше самых высоких людей.

Мы приблизились к ней, и тут нам стал ясен этот феномен. Мужчины в сапогах не боялись ходить по снегу, вдова же, обутая в папуши, оставила их при выходе из дома и теперь была в башмаках высотой в тридцать сантиметров, — этим и объяснялся ее исполинский рост.

Две другие патагонки — такого же роста, как и она, образовали центр другой группы. Это были дочери покойного.

Пять или шесть женщин в таких же башмаках, почему-то отставшие от процессии, спешили догнать эту группу. Их шаги, поступь, не имевшая благодаря этим ходулям ничего женственного, их красные, желтые и зеленые одежды, совсем не соответствовавшие похоронной церемонии, придавали всему сборищу, которое в сущности не имело никакого отношения к веселью, смешной вид, поразивший Муане и меня. На присутствовавших же это не производило, по-видимому, никакого впечатления.

Наш кортеж снова двинулся; но настояния родственников и друзей, конечно, заставили вдову воротиться домой, — и она, сделав еще несколько шагов вслед за гробом, остановилась, упав на руки сопровождавших ее и простирая руки в ту сторону, куда удалялся кортеж. Немного дальше так же остановились дочери, а потом воротились следом за матерью.

Вернувшись на постоялый двор, мы осведомились насчет жаркого. И что же? Желая скорее изжарить уток, мальчики сделали на них продольные нарезки, и из-за этого они потеряли всю свою сочность. Таким образом вышло не жаркое, а нечто вроде пробки, похожей скорее на пеньку, которую когда-то ввозил в Мингрелию Сезострис, нежели на то вкусное мясо, которым мы надеялись утолить свой голод, тем более усилившийся на свежем воздухе.

Надеть остальных уток на вертелы и как следует понаблюдать за ними было делом одного часа, но наш желудок протестовал против такого промедления. Мы достали свои тарелки, взяли каждый по утке и мгновенно поглотили их — Муане и Григорий с черным хлебом, а я без хлеба, ибо он был мне противен.

Когда мы утолили голод, нам не оставалось сделать ничего лучшего, нежели предаться сну. Но не легко было спать в этом логовище, среди брыкавшихся лошадей, собак, глодавших кости, и с блохами, ужинавшими свойственным им образом.

Говоря о блохах, я, может быть, слишком умаляю достоинства гостей, приглашенных питаться нашим мясом.

Я даже хотел было разбить свою палатку на берегу реки и вышел, чтобы отыскать удобное место, но земля промокла до такой степени, что пришлось бы лежать в грязи. Правда, можно было поместиться в лодке, но соседство этих гадких скопцов вызывало еще большее отвращение, чем соседство местных жителей с их собаками и лошадьми. Поэтому с самоотверженностью, подобной тем мученикам, которых бросали в цирке на съедение диким зверям, я возвратился.

Я бы не так еще горевал, если бы мог работать, т. е. читать или писать… Но не было ни стола, ни пера, ни чернил, было очень темно, освещения никакого.

Мы сделали из бревна изголовье, протянули ноги к огню, обмотали головы башлыками и постарались заснуть. По несколько раз мои глаза, прежде чем совсем закрыться, полураскрывались, и взор падал на красный, шитый золотом бешмет одного ахалцихского турка. Что это был за красный цвет! Когда я закрывал глаза, он представлялся мне еще более ярким. Кто-то сказал, что красный цвет среди других цветов то же, что труба среди музыкальных инструментов. Это сущая правда. Красно-золотой бешмет турка вызывал

сильную тревогу в моих глазах. Я предложил турку свое одеяло. К счастью, он принял мое предложение, одеяло было серое, турок закрылся им по самый нос и слился с мраком.

Тут вошел какой-то человек с курицей в руках. В другом месте это был бы очень незначительный эпизод. Но в Шеинской (я забыл сказать, что мы уже в Шеинской) это было грандиозное событие.

Как только курица закудахтала, все подняли головы. Все, исключая нас, накормленных утками, питали определенные замыслы против этой несчастной курицы.

Человек в красном бешмете, который после отъезда князя стал самой важной персоной в этом кругу, предложил наиболее высокую цену, и курица осталась за ним. Он взял ее, растянул ей шею и ударом кинжала отсек голову. Я было подумал, что он готов съесть курицу с перьями, но ошибся. Он сначала намеревался, по-видимому, сварить ее с каким-нибудь соусом, но раздумал и, решив сделать жаркое, принялся ощипывать птицу. Но не тут-то было. Она оказалась до того дряхлой, что пришлось прибегнуть к искусству старухи, ощипавшей наших уток.

Несчастная, изгнанная из конюшни, расположилась на пучке соломы, брошенной на снег вместо матраца, и обрубок дерева служил ей подушкой. На дворе было до пятнадцати градусов мороза. Бедная женщина была столь гнусно грязна, что я не имел смелости оказать ей услугу, какую оказал бы встретившемуся русскому офицеру: предложить ей свой тулуп и папаху. Кстати, офицер, верный своему слову, оставил их на почтовой станции в Кутаиси, они и получат их обратно.

Курица, опущенная в кипяток, была кое-как ощипана, выпотрошена и сварена в том же кипятке. К чему было менять воду, если курица та же?..

Желая продлить свое бодрствование насколько можно дольше, я тщетно ждал еще какого-нибудь эпизода, но все спали, и храпение некоторых свидетельствовало о совестливом выполнении ими этого сладкого занятия.

Глава LIX
Устье Фаза

Эта ночь была одной из самых утомительных за все время путешествия. Трудно представить, как медленно тянутся часы, получасы, четверти, минуты, даже секунды такой ночи.

Кроме меня, спали все. Меня же бессонница утомила донельзя. Я вспоминал знаменитых клопов Мегайи, которые кусают чужестранцев и не трогают своих. Не так ли поступают и мингрельские насекомые? В таком случае, Муане был такой же чужестранец, но по какому же праву он спал?

Кажется, раз двадцать я подходил к дверям посмотреть, не рассветает ли. У дверей на соломе спала старуха таким глубоким сном, каким могла б пощеголять герцогиня на своей пуховой постели.

Наконец, в четыре часа утра, князь посмотрел на часы и разбудил трех своих спутников. Что касается меня, то я не имел даже утешения следить за ходом времени: мои часы, как небезызвестно читателю, остались в лесах горы Аксус.

Я разбудил Григория и послал его к лодке сказать людям, чтобы они готовились в путь. Они спали один над другим, как телята на ярмарке. Кто-то из них раскрыл глаза, взглянул на небо и отвечал:

— Мы поедем через два часа, когда рассветет, ночью Рион опасен.

Я слишком хорошо знал их, чтобы настаивать.

Предстояло ждать два часа. Впрочем, четыре часа ночи, кажется, были обычным временем пробуждения в Шеинской. Каждый отряхивался, вытягивался, зевал, поводя окрест покрасневшими мутными глазами, еще не вполне освободившимися от дремоты.

Турок, сидя на корточках, достал свой платок, развязал его, и в то время как один из его товарищей делил хлеб на несколько кусков, он разрывал пальцами с ловкостью, показавшей

большую сноровку в подобном деле, сваренную накануне курицу на столько же частей, сколько было ломтей хлеба.

Я с ужасом заметил, что в одну из лучших порций хлеба турок включил крылышко и кусок отборной филейной части. Я интуитивно угадал, что исключительная заботливость об этой порции относилась ко мне, и это вызвало во мне дрожь.

Я не ошибся: турок протянул руку и со сладкой улыбкой предложил мне долю своего завтрака. Я вспомнил Луку с его рыбой, из приличия взял подачку и, стараясь забыть, через какие мытарства прошла курица, прежде чем достигла того превращения, в каком была мне предложена, храбро принялся ее поглощать.

Первый кусок из-за нашей европейской чувствительности прошел с трудом, но, признаюсь, следующие глотались гораздо легче. Да уж действительно, надо потратить куда больше труда и времени, чтобы возвысить это творение, гордо именующее себя подобием божьим, из животного состояния в человеческое, чем нужно труда и времени, чтобы превратить его из человека в животное. Вот поэтому я, вследствие сильного голода, закуску, поданную мне турком, нашел превосходной.

И тут, подобно тому, как накануне явился незнакомец с курицей, вошел какой-то человек, но на сей раз с кувшином вина. Я уже упомянул о прекрасном легком мингрельском вине, пять или шесть стаканов которого я выпил на станции Молит. Тут я поступил так же, как турок с курицей: я спросил себе вина. Следуя, однако, данному мне филантропическому примеру, я сделал это с намерением услужить обществу. К несчастью, общество наполовину состояло из турок: они вежливо отказались от моего предложения, хотя другая половина приняла его. Я потребовал второй, третий кувшин — я, никогда не пьющий вина! Дело в том, что мне страсть как хотелось напиться. Я осушил свой кувшин, но это долгое время действовало на меня так же, как если бы я выпил равное количество воды. Но, признаться, потом я сделался повеселее.

Между тем наш турок, который был не кто иной, как ахалцихский хлеботорговец, и его люди оседлали коней, взяли свое оружие и весьма картинно надели его на себя. Это придало им вид, отпугивающий посторонних, особенно главе их, который носил кинжал, шашку, мушкетон с ружейным прикладом, искусно оправленный слоновой костью и перламутром и, кроме того, еще что-то в виде полумесяца, висевшее за спиной, как маятник часов. Во Франции он был бы смешон, но здесь, в Мингрелии, где он признавал за собою право на решительную самозащиту, он был действительно страшен, и не сомневаюсь, что произвел бы такое же впечатление на тех, кто возымел бы намерение напасть на него.

Он ехал в Поти, где мы договорились встретиться.

Он и три его спутника сели на коней и в один миг были уже далеко.

Все птицы улетали одна за другой, оставались только еще три совы, которые не могли решиться ехать.

Наконец рассвело. Рискуя десять раз сломать себе шею, мы погрузились в лодку; не ведая, к какому часу мы доберемся до Поти, мы на этот раз запаслись хлебом и вином: таким образом, съестным мы были обеспечены.

Однако на душе не было спокойствия — надо было прибыть в Поти утром 21 января, а уже наступило 22 число, и мы могли приехать только после обеда; может быть, князь Барятинский еще не прибыл, но пароход-то уж наверняка ушел.

Меня страшила эта перспектива, стоило вообразить себе печаль Муане, так торопившегося скорее увидеть Францию.

Нам неоднократно говорили в Маранах и повторяли в Шеинской, что время прибытия и отправления парохода не бывает абсолютно точным, и хотя объявлено двадцать первое, но может статься, что пароход прибудет только двадцать второго, а уйдет двадцать третьего, — шаткое утешение на случай, если мы не прибудем в Поти в срок. Муане полагал, что единственно назло ему пароход будет в этот раз точен, и хотя я старался разуверить его, однако в глубине души и сам соглашался с его мнением.

Будто нарочно, с целью помучить нас, скопцы, которые накануне уверяли, что мы

будем в Поти около десяти-одиннадцати часов утра следующего дня, теперь объявили, что из-за безветрия они не ручаются быть там ранее двух часов. Мы уже знали, что говорить с ними бесполезно, если бы мы даже и сказали им что-нибудь, то все равно они не сделали бы лишнего удара веслом.

Ну, а я? Какое могло быть состояние человека, не спавшего всю ночь, который на рассвете, окруженный речным туманом, тщетно пытается разогреть себя?

Я не стал ни во что вмешиваться, т. е. оставил Муане роптать, наших людей грести, как хотят, а Григория, не имевшего уже пуль, бесцельно стрелять по уткам.

Эти проклятые птицы, которые явно не слывут за чудо ума в цепи творения, словно угадывали наше приближение. Вместо того, чтобы улететь, как накануне, на двойное расстояние от нас, они играли и плескались у самой лодки, выстраивались в ряд и смотрели на нас, когда мы проходили мимо, с любопытством, высунув из воды темно-красные шеи. Даже изящные белые цапли, доставляющие своим пухом кисти к шляпам наших офицеров и шляпкам наших дам, без сомнения инстинктивно угадавшие, что мы не принесем им вреда, шли параллельно нам по берегу на длинных лапах, со скоростью, превосходившей скорость лодки. Они словно говорили нам: «Если б мы захотели, то даже не употребляя в дело наши крылья, очутились в Поти прежде вас».

Судя по тому, как мы продвигались, можно было подумать, что гребцы нарочно условились заставить нас пропустить пароход. Я тем более был взбешен, что мы плыли мимо прекраснейшей местности, на которую Муане, находившийся не в духе, взирал равнодушно.

С левой стороны были горы, покрытые снегом ослепительной чистоты, которые под первыми лучами солнца принимали нежно-розовый цвет, словно в первый день сотворения мира. По обоим берегам Фаза леса становились все гуще и гуще, создавая бесподобный пейзаж, в котором, так сказать, слышалось кишение всякого рода диких животных. В другое время наш художник ни за что не оставил бы своего карандаша в покое и сделал бы двадцать рисунков. Я же не имел нужды делать заметки — все было перед глазами и оставалось в памяти.

Все безмолвно на берегах Риона, как и сама история. Лучше, если бы он назывался Фазом, чтобы хотя бы один луч древности осветил его, — луч, который блистал здесь более трех тысяч лет назад.

Наконец солнце поднялось высоко, под его приятной теплотой мы разлеглись на лодке и немного преодолели свою апатию.

Повстречалась лодка — первая со времени выезда из Маран. Мы спросили сидевших в ней, сколько верст до Поти.

— Тридцать, — отвечали они.

Это значило семь миль. Мы делали одну милю в час — следовательно, нам необходимо еще семь часов. А было уже полседьмого утра; следовательно, мы прибудем в Поти не ранее трех или четырех часов дня.

Ах! Как я жалел о своем тарантасе, о ямщиках, которых можно было наказывать за медленную езду, об оврагах, в которые валились оползни с гор, о кремнистых и шумных потоках, через которые мы переезжали, и даже о самом песчаном море ногайских степей, которое имело по крайней мере берега! А здесь, на этой реке с поэтическим именем, на которое мы уже перестали обращать внимание, нам надо было покориться прихотям двух медлительных гребцов, являющихся одновременно и символом и воплощением бессилия.

Между тем время шло: солнце, восход которого мы видели, достигло своего зенита и начало уже склоняться к западу, освещая один и тот же пейзаж — великолепные горы, девственные и необитаемые леса.

Им я уже начинал предпочитать неровные берега Луары.

Наконец, около трех часов, сквозь огромное устье Фаза — с утра река, видимо, стала расширяться — мы начали замечать не то равнину, не то широкое болото, окаймленное тростником: если еще не видно было моря, то по крайней мере чувствовалась его близость.

Мы круто повернули налево, в канал, идущий вокруг острова и соединяющий оба

рукава Фаза.

Нет ничего прелестнее этого канала, даже зимой обозначаемого деревьями причудливой формы, ветки которых сплетаются между собою в виде колыбели над скользящими по каналу лодками.

Вскоре мы вошли в нечто похожее на озеро и за версту впереди реки заметили судно. Мы вскрикнули от радости — пароход еще не отправлялся. Продвигаясь вперед, мы напрасно искали под реями трубу.

Потом мы сообразили, что Поти морской портовый город, а в таком городе не может быть, чтобы находилось только одно судно.

И в самом деле, по мере нашего приближения мы убеждались, что реи принадлежали не пароходу, а небольшому купеческому брику в двести пятьдесят или триста тонн.

Парохода же на всем пространстве, куда могло достигать зрение, не было и в помине. Мне оставалась единственная надежда: я читал, не знаю где, кажется, у Аполлония Родосского, что на Фазе есть отмель, непроходимая для судов большой осадки. Может быть, наш пароход стоит за этой отмелью, и мы увидим его с какой-нибудь другой точки.

Вот с какой точностью автор поэмы «Аргонавтика» описывает устье Фаза:

«Аргонавты, предводительствуемые Аргусом, знавшим эти страны, прибыли наконец на самую отдаленную оконечность Понта Эвксинского и у устья Фаза сложили паруса, спустили реи, сняли мачту и заперли все вовнутрь корабля. Потом вошли в канал реки, пенящиеся воды которой, журча, уступали усиленным ударам весел.

На левой стороне возвышались горы — Кавказ и Эа, на правой было поле, посвященное Марсу, где руно, повешенное на ветви дуба, охранялось драконом, бодрствовавшим беспрерывно.

Тогда Язон, взяв золотую чашу, наполненную чистым вином, сделал возлияние на реке, прося местных богов-хранителей быть к нему милостивыми и позволить приплыть к берегу под счастливым предзнаменованием.

— Друзья, — сказал Анцей, — мы плывем по Фазу и вот прибыли в Колхиду. Теперь пусть каждый из нас поразмыслит, должны ли мы испытать перед Этом силу своего убеждения, и нет ли другого средства достичь конечной цели наших желаний.

Пока он говорил, Язон по совету Аргуса скомандовал, чтобы корабль двинулся в соседнее болото, покрытое густым тростником. Там бросили якорь, и герои провели ночь на корабле, с нетерпением ожидая восхода зари, которая не замедлила появиться».

За исключением города Эа и Золотого руна, это описание еще и ныне верно. Кавказ все на том же месте; Марсово поле — это обширная грязная площадь, где возвышается Поти. Лес такой же густой поныне, как и при Язоне.

Приближаясь к устью Фаза, мы увидели болото, заросшее тростником, где аргонавты спрятали свои корабли.

Каким образом Кутаис может быть Эа, если Эа виден был в устье Фаза и господствовал над ним? Но, любезные читатели, это меня не касается: я не ученый, а так себе — знающий только кое-что. Обратитесь к Д'Анвилю.

Наш каюк — название лодок, плавающих по Риону — пристал к берегу.

Один из лодочников сошел, подтянул лодку, и мы пристали наконец к столь желанному Потийскому полуострову, где сразу же по колено завязли в тине.

Мы немедленно справились насчет парохода: он пришел 20-го и ушел 21-го числа, т. е. накануне. Таким образом, день, когда мы оставим Поти, зависел теперь от милосердия всевышнего.

Уныло склонив голову, я направил свои стопы в город, состоящий из десяти или двенадцати хижин.

Я не смел даже взглянуть на Муане.

Глава LX
Поти — город и порт, учрежденные Александром Вторым

Впрочем, весьма полезно было идти с поникшей головой, так как в такой позе я поневоле вынужден был смотреть под ноги. Не знаю, каково было Марсово поле во времена Язона, но теперь это — болото, скопление колышащейся грязи, в которой рискуешь навсегда исчезнуть, если на полчаса остановишься на одном месте.

Подняв глаза, чтобы перепрыгнуть через рытвину, я увидел напротив своего старого знакомца — князя Ингерадзе с его людьми.

Но, боже мой! Как пострадала его прекрасная белая черкеска! Она была вся в пятнах грязи! Он уже не походил на прекрасного князя — розу из волшебной сказки, это был князь-леопард.

Он крайне расстроился — князя Барятинского на пароходе не оказалось.

Впрочем одно обстоятельство, вероятно, все же утешило его: если бы князь Барятинский прибыл в назначенный день, то был бы уже в дороге, то есть до приезда князя Ингерадзе в Поти.

Князь Ингерадзе очень обрадовался нам и, само собой разумеется, мы должны были находиться в его обществе до прибытия следующего парохода. По всему было видно, что в Поти иных развлечений ждать не приходилось.

Я спросил князя, благополучно ли он добрался сюда и когда они приехали. Они прибыли в одиннадцать часов вечера, — князь и слуга верхом, а остальные — пешком.

— Разве вы не могли достать лошадей и для них? — спросил я его.

— Не знаю, были ли лошади, — отвечал он, — но если даже и были, то люди не поехали бы верхом.

— Почему же?

— Потому что идти пешком — их повинность.

Не поняв, что это такое, я просил его разъяснить мне суть сей повинности.

Князья имеют при себе известное число вассалов, которые сверх поземельной подати обременены еще и личными повинностями. Одни должны следовать за князем верхом, — это их повинность, другие идти пешком, это тоже повинность. Одни должны шить сапоги на левую его ногу, другие прогонять мух, когда князь кушает, а некоторые почесывать ему ноги, когда он засыпает.

Ничто на свете не заставит идти пешком того, кто обязан ехать за князем на коне. И наоборот, ни за что не поедет верхом тот, кто должен следовать за князем пешком. Никакая сила не принудит обязанного сшить сапог на правую ногу, сделать такой же на левую, и наоборот. И соответственно, никакими угрозами, никаким наказанием не заставишь отгоняющих мух чесать ноги, и наоборот.

Князь не имел в своей свите гонителя мух, потому что было зимнее время, зато все другие были налицо.

В Мингрелии и Имеретии, где нет удобных для экипажей дорог, женщины ездят верхом, как и мужчины, и сообразно с их происхождением носят широкие плащи. Плащ княгини Дадиан, которую я имел честь видеть в Санкт-Петербурге, был красный. Как мужчины имеют свою свиту — рабов и сокольников, всадников и пеших, так и женщины имеют свою. Как правило, свита княгинь состоит из исповедника и двух дам, а также из пяти или шести вооруженных слуг, пеших и конных. В случае нужды стреляют и священники.

Княгиня Дадиан имела двенадцать фрейлин, почти всюду ее сопровождавших. Сверх того, она имела две резиденции: зимнюю — Зугдиди и летнюю — Горди.

Мингрелия небольшое княжество из тридцати тысяч семейств, около ста двадцати тысяч жителей. К ней же надо причислить часть Сванетии, называемой Дадиановской. Другая часть Сванетии называется вольной. Наконец третья часть составляет Сванетию князей Дадешкелианов. Один из этих князей два или три года назад убил кутаисского губернатора князя Гагарина.

В этой части Кавказа, прилегающей к Эльбрусу, нередки случаи свирепой жестокости.

Один из князей Дадешкелианов, желая отомстить двоюродному брату, поджег ночью

его дом, в котором сгорела и бабушка братьев. Лишь сутки спустя мститель спохватился — ведь бабушка его противника приходилась бабушкой и ему самому. Но было поздно — старуха погибла.

Сванеты могут проживать только в горах; русские попытались сформировать из них милицию, но милиционеры, едва спустившись на равнины, умерли от различных болезней. Из-за недостатка йода среди жителей Сванетии встречаются больные зобом и общим недоразвитием.

Среди сванов хранятся христианские предания. Русские крестили многих горцев. Есть предположение, будто в какой-то сванской церкви похоронена царица Тамар.

Между Мингрелией и Абхазией расположена небольшая свободная страна, состоящая почти из двух тысяч семейств, называющаяся Самурзаканью. Там сохраняется во всей силе обычай кровной мести.

Несколько лет назад местный князь-старик женился на молодой девушке. У него был сын почти одинаковых лет с его женой, который, подобно Дон Карлосу, влюбился в свою мачеху; она тоже, как видно, была неравнодушна к нему. Старый князь, узнав об этом, отослал жену к ее семейству. Такое оскорбление вызвало месть. Это случилось около трех лет назад. Старый князь, жена его и сын еще живы. Но тридцать четыре человека уже убиты с обеих сторон.

Говоря о сванетах, мы забыли упомянуть об одном их обычае: когда родится желаемое число дочерей, они умертвляют последующих во избежание хлопот и издержек на их воспитание[283].

По другую сторону Мингрелии находится Гурия, часть которой принадлежит русским, а часть туркам.

Обитатели русской части носят тюрбан и военную накидку. Это кавказские тирольцы. Они поют фистулой, гортанные переливы их голоса похожи на швейцарские.

Часть, принадлежащая Турции, естественно, находится во враждебных отношениях с русской, из-за этого самые близкие родственники ненавидят и преследуют друг друга. Само собой разумеется, что все это происходит от весьма сомнительного просвещения с одной стороны и глубокого невежества с другой.

Во время последней войны с Россией маранские политики получили новую тему для рассуждений о делах, творящихся в мире. Нестор тамошнего края — почти столетний князь, произнес:

— Нам известно, что французы дерутся хорошо, но это народ легкомысленный, и мы легко с ними справимся. Англичане — торгаши, деньги для них все, это тоже известно; коли так, то мы их угомоним деньгами. Что касается австрийцев, то они не должны быть слишком страшны, ибо, сколько мне помнится, на протяжении девяноста лет моей жизни, о них никогда и разговору не было.

При жизни князя Дадиана великое празднество Пасхи совершалось старым феодальным образом. Князь-правитель созывал своих князей, и под навесом в турецком стиле все вместе пировали в течение трех дней. Они занимали центр навеса. В круглых галереях помещались придворные и другие такие же особы. За ними находился круг вассалов. Наконец располагались крестьяне разных категорий.

Каждый приносил с собой — какого бы звания он ни был — хлеба, вина, мяса. Это было дешево и мило. Устраивались сражения, соревнования, скачки. Все мингрельцы, мужчины и женщины, являлись на праздник в лучших нарядах. Мы уже говорили, что мингрельские женщины — особенно блондинки с черными глазами и брюнетки с голубыми — самые прекрасные творения на земном шаре.

Выше мы описали похороны бедняка.

Похороны князей великолепны. Если покойник был убит на войне в междоусобной

---

283 Тут информаторы Дюма мрачно подшутили над писателем. *(М.Б.)*

стычке с оружием в руках, покойному воздаются высокие почести, а родичей поздравляют по случаю славной смерти. Плач и рыдания тянутся бесконечно и, за исключением княжеских и знатных фамилий, вдовы носят траур иногда всю жизнь.

Когда умер последний Дадиан, каждый родственник и друг покойного должен был входить в церковь, поддерживаемый людьми с обеих сторон, будто бы от усталости сгибал колени, исступленно голосить, кричать, бить себя в грудь, рвать на себе платье, — словом, разыгрывать целый спектакль. При этом случались забавные сценки. Например, сосед покойного, владетель Абхазии, Михаил Шервашидзе, в качестве родственника считал себя обязанным разделить эту печаль — по крайней мере внешне. Поддерживаемый двумя людьми, он совершил традиционный в таких случаях обряд: кричал, плакал, стенал. Вдруг вблизи церкви послышались крики, более усердные, но другого рода: люди князя прибыли на лошадях, украденных у мингрельцев, и те, узнав об этом, затребовали их назад. Княгиня велела им молчать на том основании, будто частные интересы должны умолкнуть перед великим несчастьем, постигшим страну.

После Чолокского сражения, когда мингрельцы и русские под пред водительством князя Андроникова разбили турок, победители бросились грабить лагерь паши. Священнику, тоже участвовавшему в сражении, вздумалось принять участие и в грабеже. Он случайно попал в палатку казначея — здесь был сундук с ключом в замке. Батюшка отпер его: сундук был полон золота. К сожалению, он был слишком тяжел, чтобы святой отец мог его унести, — его заметили бы все, а он этого опасался. И, запустив обе руки в золото, святой отец стал набивать им свои карманы. Пока прибыли солдаты, он успел уже набрать наверное тысяч двадцать франков.

— Идите, идите, друзья мои! — крикнул им священник: — Вот золото, берите его, сколько вашей душе угодно, что до меня, я ищу благ не в этом мире. — И он презрительно посмотрел на сундук, показывая всем своим видом, что намерен удалиться.

Столь редкое бескорыстие тронуло солдат до слез.

— Вот это да, — не удержались они. — Вот так славный священник!

Известно, что величайшая честь, какую только русский солдат может оказать любимому и уважаемому им человеку, состоит в том, что его качают на руках, и в мгновение ока солдаты подхватили попа. К великому их изумлению, произошло совершенно неожиданное явление: из карманов духовного лица настоящим дождем на солдат посыпалось золото. Поначалу солдаты подумали, что свершилось чудо, а потому удвоили свое рвение, но, увидев, что поп перестал наделять их золотым дождем, быстро догадались, какого происхождения было это чудо.

Шарден, путешествовавший по Персии и Кавказу два столетия назад, нашел Мингрелию в XVII веке такой, что она мало отличалась от нынешней. Он рассказывает, что в его время мингрельский посланник, прибывший в Константинополь со свитой из двухсот невольников и игравший большую роль в турецкой столице, продавал людей своей свиты по мере надобности. Когда он ехал назад, у него оказалось едва двое или трое слуг.

Шарден добавляет, что однажды, заметив у продавца детских игрушек маленькую музыкальную трубу и, вероятно, находя ее звук приятным или оригинальным, он взял ее и, возвращаясь с базара домой, стал играть.

Шевалье Гамба, сестра которого еще жива и имеет большие поместья в Мингрелии, совершил в 1817 и 1818 годах такое же путешествие по Кавказу, какое я проделал в 1858 и 1859 годах, только в обратном порядке, т. е., он ехал из Поти в Баку и из Баку в Кизляр — я же проехал через Кизляр в Баку, а отсюда в Поти.

Он рассказывает, что гурийский князь, придя в восторг от представления, данного в его присутствии немецкими скоморохами, подарил им во владение сто десятин земли и дюжину невольников, с условием, чтобы немцы три раза в неделю давали свои спектакли у него на дворе и чтобы учили плясать на веревке тех из его рабов, которые обнаружат способности к этому упражнению.

Увлекшись этой болтовней, я забыл, на чем остановился.

Да, мы встретились с милым «розовым князем», который превратился в князя пестрого.

Глава LXI
Гостиница Якова

Князь, прибывший накануне в Поти, уже нашел себе жилье (одну комнату у лавочника-мясника) — не скажу на какой улице по той простой причине, что в Поти еще нет улиц. Деревянный сарай лавочника возвышался в ста шагах от берегов Фаза. Мясник имел еще одну свободную комнату; она была достаточна лишь для меня, ибо я хотел писать; князь мог разделить свою комнату с Муане, а Григорий — как-нибудь обойтись.

Между тем мясник, молодой и красивый парень, подстерегавший у дверей путешественников, как паук подстерегает мух, скрываясь в углу своей паутины, заметив, что мы высадились и разговариваем с князем, подошел, с остроконечной шапкой в руке, чтобы присоединить свои доводы к настояниям князя поселиться у мясника. Я категорически настаивал, чтобы Григорий предварительно условился с ним о цене — ничего так не боюсь, как балаганов: в них не только гораздо хуже, чем в порядочной гостинице, но они и стоят много дороже.

Григорий отвечал, что это бесполезная предосторожность и что грузин не способен употребить во зло наше доверие. Это было второе выражение его личности, начиная с Маран: результат вышел гораздо плачевнее первого.

Правда, скопцы, спешившие возвратиться, торопили и нас выбрать место для хранения наших сундуков: а их было до тринадцати.

Предводительствуемые князем Соломоном Ингерадзе, мы направились к нашему будущему жилищу. Я заметил, что между тем, как я продолжал величать его князем, Григорий называл его уже просто Соломоном. Я и прежде замечал здесь фамильярность между низшим и высшим сословиями и всегда удивлялся этому.

Мы шли с величайшей осторожностью, делая круги, как лошадь, которую готовят к скачке, переходя по доскам, переброшенным через полноводные ручейки, и совершая зигзаги почти в четверть мили для того, чтобы пройти расстояние во сто шагов по прямой линии.

Свиньи сновали со всех сторон в этой огромной луже.

Поти можно назвать земным раем для свиней. На каждом шагу мы вынуждены были отгонять их ногой или плетью. Удаляясь, каждая свинья хрюкала и, тем самым, казалось, говорила: «Что тебе здесь надобно? Не видишь, разве, что я у себя дома?».

Действительно, она была дома — и целиком, по уши.

Наконец мы прибыли к нашему хозяину Якову — тому самому мяснику. Дом его заслуживает отдельного разговора. Если вы, любезный читатель, узнаете его по моему описанию и благодаря этому не войдете в этот дом, то я оказал вам услугу. Если же войдете, зная его, то вы более чем неблагоразумны — вы просто безрассудны.

Это деревянный сарай, куда поднимаются по нескольким ступенькам, над коими тянется балкон из елового дерева, без решетки. Вероятно, балкон со временем будет устроен во всю длину фасада. Посредине его дверь и два окна по сторонам. Войдя через эту дверь; вы увидите на первом плане с левой стороны лавку мелочей, справа кабак. Столб, на котором висят куски сырого мяса, отделяет первый план от второго. На втором плане налево тюки, а направо груда сушеных орехов, наваленная от полу до потолка. Дальше был коридор с двумя дверьми без замков — их заменяют какие-то веревочки и гвозди.

В комнатах, выходивших крылечками на черный двор, куда свиньи удаляются на ночь, вместо мебели стояли походная кровать, чугунная печка, хромой стол и два деревянных табурета. Каждая комната стоила двадцать копеек в день — то есть, очень дорого.

Другой фасад дома, также украшенный балконом, выходил на грязную площадку, называемую двором. Бревно внизу ступенек вело, подобно мосту, перекинутому через болото, к сараю, служащему конюшней и кухней, занятому лошадьми проезжающих и

людьми, занимающимися с утра до вечера изготовлением бараньего жира, иначе называемого салом.

Вот в этом-то доме нам пришлось поселиться и жить.

Кое-как устроившись в своей комнате и не веря, что пароход появится через три дня (нам придется ожидать его по крайней мере целую неделю), я приготовился продолжать свое «Путешествие по Кавказу» и для этого достал перо, чернила и бумагу. Потом велел позвать к себе молодого Якова, того самого прекрасного мясника, уже приходившего к нам с предложением своих услуг; он явился с улыбкой на устах. Надо отдать ему должное: действительно, у него прелестная улыбка.

Я спросил его, что он мог предложить на обед.

— Все, что угодно, — отвечал он.

Смысл этой фразы был хорошо знаком. Она означала в Поти точно то же самое, что и везде, где мы ее слышали, т. е., что на постоялом дворе ничего нет, кроме кусков мяса, висевших на столбе. Это мясо было такого качества, что годилось разве только на суп для собак.

— Не угодно ли вам другого мяса? — полюбопытствовал сын Якова.

— Разумеется, давайте другое, — отвечал я.

— Через десять минут будет.

И действительно, пять минут спустя я услыхал шум на дворе: два человека тащили за рога барана, сопротивлявшегося изо всех сил. Я находился в стране, где среди животных преобладают бараны, но этот, к несчастью, не был бараном Хризомаллон, т. е. Золотое руно, хотя по размерам своих рогов и густоте шерсти он имел право называться его современником.

Несмотря на почтенные лета барана, его зарезали, содрали шкуру, изрубили на куски и предложили мне самому выбрать для себя кусок мяса. Несмотря на мое отвращение есть мясо животного, которое я только что видел живым, я выбрал филейную часть и наказал Григорию приготовить шашлык.

Уже было около шести часов вечера, а у нас во рту с утра не было и маковой росинки. Я забрел на кухню, похожую на конюшню. Там обнаружил своего второго знакомого — торговца-турка. Как простой смертный, он завтракал курицей. Я обратился к нему, как обычно обращаются в библиотеке, когда хотят занять очередь за газетой:

— После вас, господин, хочу почитать «Конститюонель»[284].

Продолжая есть свою курицу, тот спросил:

— Желаете?

А я в свою очередь поинтересовался:

— Это от всего сердца?

И поблагодарил его.

Он меня тоже поблагодарил.

Минут через десять я пошел в свою башню. По пути заглянул в комнату Муане и там обнаружил «розового князя»; он обедал со своим слугой. Любопытно было видеть их за этим занятием: перед ними стояло блюдо с шашлыком, без ножей, без вилок. Они брали пальцами куски, какие им нравились, съедали мясо и клали необглоданные кости на единственную тарелку. Наконец, когда все мясо было съедено, — они снова обратились к кускам и начали перебирать их поодиночке, без разбору; обглодав кости, они снова бросали их на тарелку и напоследок начали сосать кости.

Вечером князь лег совершенно одетый, только без сапог; слуга вошел и стал чесать ему ноги.

Все это по-варварски, скажете вы мне. Пусть так, но все это нечто первобытное, с

---

284 Эта популярная в либеральных кругах Европы газета, основанная в 1815 году, считалась во времена А. Дюма независимой.

признаками высших качеств варварства. Когда настанет соответствующая пора, и просвещение наложит свою печать на этих людей, оно станет в то же время в уровень с их головой. Тогда они будут носить черные фраки, белые галстуки и круглые шляпы, тогда они утратят позолоту своего оружия и золото своего сердца.

Я принялся за работу. Моя комната обогревалась, как я уже говорил, чугунной печкой. В этом заключалось существенное неудобство. Стоило ее затопить, как она распространяла такой сильный жар, что я вынужден был открывать все окна. Холод тотчас вторгался в комнату, и я мерз. Надо было выбирать между морозом и угаром. Я взял медный таз, наполнил его водой и поставил на печку. Это дало мне возможность дышать свободнее.

Наконец я тоже лег; но тут одно обстоятельство обратило мое внимание: это шум, который я слышал под собою.

Я уже сказал, что дом был воздвигнут на сваях, отчего под полом оставалось большое пустое пространство, а пол был решетчатый. В этом-то пустом пространстве находили убежище все окрестные свиньи; они, кажется, праздновали свадьбу.

Едва только я лег, как Содом, на который, пока я работал, занятая голова мешала мне обращать большое внимание, сделался невыносимым. Я слышал хрюканье, визг, крики фистулой, неожиданные и неровные движения, которые прерывались только для того, чтоб возобновиться с безмерной яростью.

Я бесился от досады, утомился до предела и не мог спать. Наконец мне в голову пришла светлая мысль. В моей печке стояла вода, которая нагрелась до тридцати градусов. Я встал, взял медный таз, высмотрел место, где находились пирующие свиньи, и сквозь щель вылил на них кипяток. Они испустили свирепые вопли и всей ватагой выкатились во двор. Наступила тишина, и я уснул.

Глава LXII
Потийские удовольствия

На другой день мы стали хлопотать о получении в пароходном агентстве точных сведений о прибытии судов.

Директор был на охоте и возвратился только вечером. Мы отправились к нему, но выяснилось, что он воротился чрезвычайно усталый и уже спит.

На другой день мы снова явились к директору, но он не мог сообщить ничего определенного. Может быть, пароход будет завтра, а может, послезавтра, а может быть, и через неделю; но в сущности надежда только на пароходы 7 и 21 февраля.

В дурную погоду большие пароходы не могли подходить к Поти ближе, чем за две версты. Это значило, что мы застряли в Поти на неопределенное время. Мы обшарили весь порт и не нашли ни одной турецкой посудины, которая доставила бы нас в Трапезунд.

Ночью подул холодный ветер, все суда подняли паруса и ушли. Менее всего можно рассчитывать на безопасность этих судов; но мы пошли бы на все, лишь бы покинуть Поти.

Нередко случается, что хозяева этих судов, видя в своих пассажирах хорошую добычу, пользуются первым шквалом, — а на Черном море в январе шквалы не редкость, — пользуются, говорю, первым шквалом, чтобы стать на мель у берегов Лазистана, жители коего все занимаются пленопроданством, грабежом и разбоями. В начале выказывают притворное сопротивление, кончается же все это тем, что выдают пассажиров, те их продают и делятся выручкой с хозяином судна.

Но мы были превосходно вооружены и в случае найма турецкого судна могли наблюдать за всяким подозрительным маневром. Впрочем, нечего было тревожиться об этом; в порту не оказалось ни одного подходящего судна.

Мы уже съели у нашего хозяина одного барана, потом зарезали другого; но я хотел узнать, имея в виду хоть какое-нибудь разнообразие пищи, — не могли ли мы полакомиться одной из тех свиней, которые по случаю своей свадьбы мешали мне прошлой ночью спать. В ответ я получил такое обилие возражений, что решился поступить как Александр, т. е. не в

состоянии распутать Гордиев узел, надумал просто разрубить его.

Взяв карабин, заряженный пулями, я стал на крыльце. Выбирать было трудно: более тридцати черных, щетинистых, как дикие кабаны, свиней наслаждались вокруг меня в грязи. Эта почва после дождя, продолжавшегося со дня нашего прибытия, разжижалась все больше и больше. Я даже хотел было для хождения по этой грязи заказать себе лыжи, подобные тем, какие употребляют камчадалы для ходьбы по снегу.

Я выбрал из тридцати свиней ту, которая более других приходилась мне по вкусу, и не переставая болтать с князем Ингерадзе, прицелился и пустил пулю в свинью. Животное завизжало и свалилось, а я спокойно воротился в свою комнату[285]. Если хозяин свиньи, кто бы он ни был, — думал я, — явится требовать за нее удовлетворения, и цена будет умеренная, я заплачу ее; если же слишком высокая, то мы представим это дело на суд.

Действительно, пришел хозяин с требованием четырех рублей. Князь от моего имени возражал, и дело уладилось за три рубля, т.е. за двенадцать франков: свинья весила около тридцати фунтов, стало быть, фунт мяса стоил шесть или семь су; против этого ничего нельзя возразить.

Из пяти или шести близких знакомых Якова, которые, живя в его доме, как это водится на Востоке, кто топит печку, кто метет двор, кто ставит самовар, кто чистит трубки или, наконец, просто спит, был один, особенно отличавшийся деятельностью и расторопностью. Это красивый и крепкий молодой человек 22–23 лет по имени Василий.

Я поручил ему заняться убитой свиньей. Это его никак не затруднило, наскоро сгребая в кучу солому, он осторожно уложил на нее свинью, покрыл ее соломой и поджег. Опалив свинью, он выскоблил ее кинжалом, распорол ее и выпотрошил.

Мы следили за этой процедурой с любопытством. Впрочем, вслед за развлечением, какое доставил нам Василий, ожидало нас другое зрелище, тоже весьма интересное.

Мы услыхали барабанный бой. Не желая пренебрегать развлечениями, которые в Поти очень редки, мы вышли на балкон со стороны улицы. Какой-то бедняк, делая объявления, останавливался, не скажу, чтоб на каждом перекрестке, — в Поти нет ни одного, не скажу также — у каждого угла улицы, улиц тоже нет, останавливался перед каждым домом, — домов было с пятнадцать, — а потому обход был непродолжителен; бил дробь и читал объявление, которое жильцы дома, вызванные на улицу барабанным боем, выслушивали довольно равнодушно. Однако это объявление имело некоторое значение для них и должно было в высшей степени льстить их гордости.

Дело в том, что по императорскому указу Поти с 1 января 1859 года объявлен городом, а двумя годами ранее его объявили портом. Мы видели, что это за порт, посмотрим, какой город выйдет из Поти через два года.

Меня более всего занимал тот, кто провозглашал это важное объявление. Пока он шел по грязи, не останавливаясь — еще ничего; благодаря камням, разложенным кое-где, и естественным бугоркам, он успевал после бесконечных зигзагов достигнуть места, где надо было читать прокламацию. Стоило ж ему остановиться, как мало-помалу он погружался в грязь, в которой совершенно бы утонул, если бы не мешал тому барабан, который его удерживал. Тогда к нему подходили и с помощью рук, палок и веревок вытаскивали наружу. После того он опять пускался дальше и вновь повторялась та же самая сцена.

Мы успокоились: Поти стал городом, и мы теперь имели право требовать от него всего

---

[285] Проявление чисто трактирного героизма, которым автору нечего было бы и хвастать. Оно напоминает другую черту из жизни того же автора, рассказанную в журналах летом 1861 г. Г-н Дюма-отец, после мнимых подвигов вместе с Гарибальди в пользу освобождения Италии, предпринял открыть в Неаполе пирожное заведение, так как туземцы, по его мнению были преданы в этом деле, а чтобы оно пошло успешнее, поручил его двум хорошеньким парижанкам, за которыми он сам и поехал нарочно в столицу Франции: непонятно, чем кончилась эта афера, но тем не менее оба эти случая доказывают, что автор специалист по части трактирной и кухмистерской.

Прим. Н. Г. Берзенова.

того, что требуют от города.

Прежде всего мы спросили масла и уксусу. Их трудно было доставить, но где-то нашли одну склянку английских пикулей и фляжку лукккского масла.

Над городом множество диких голубей, и слышалось пение черных дроздов.

Я дал Муане и Григорию ружье, предложив им на лодке отправиться на охоту на остров. Муане взял в одну руку альбом, в другую ружье и пошел с Григорием.

Я же заимел нелепое желание отпраздновать на славу объявление Поти городом и дал князю Ингерадзе и знакомому — турецкому купцу самый изысканный обед, какой только когда-либо задавали в Поти. Помимо баранины и свинины, я очень рассчитывал на дюжину дроздов и диких уток — добычу Муане и Григория. К этому можно было добавить цыплят и яиц. Обшаривая свою дорожную кухню, я заметил двойное дно, куда чья-то дружеская рука при отъезде моем из Москвы всунула две или три коробки с консервами. Я их вскрыл: в одной оказалась приправа из овощей для супа «а ля Жюльен», а в другой — свежие турецкие бобы — флажолеты.

Я составил меню, не учитывая изменений, какие могли бы внести Муане и Григорий, в случае ежели б вернулись с пустыми руками.

Через два часа они явились с богатой добычей: двенадцать дроздов, две-три утки и дикие голуби.

Василий достал двух молодых цыплят и две дюжины яиц.

Итак, было всего вдоволь.

А теперь позвольте, любезные читатели, немного поболтать с вами о кулинарных делах, пока еще не вышло знаменитое сочинение под названием «Практический повар», которое я со временем собираюсь представить вашему вниманию[286]. Ведь вы тоже можете оказаться на пустынном берегу, и в этом, в общем, нет ничего дурного, как нет ничего предосудительного и в месте, объявленным российским императором городом — на пустынном берегу, чтобы хотя бы немного постичь состояние Робинзона Крузо образца 1859 года.

Вот меню нашего праздничного обеда по случаю объявления Поти городом:

Суп «Жюльен» с зеленью.
Свежая капуста со свининой.
«Улучшенный» шашлык.
Цыплята.
Две утки и двадцать дроздов.
Флажолеты на английский манер.
Яйца, приправленные почечным соком.
Салат из свежей фасоли.
На десерт — поджаренные орехи, чай, кофе.
Водка, вина: мингрельское, кахетинское и гурийское.

Согласитесь, что для тех, кто голодал почти три дня, съесть все это просто-таки блаженство.

Теперь перейдем к самой процедуре и подробно расскажем, как готовятся некоторые из перечисленных блюд.

Сначала меня занимал вопрос, как сделать бульон без говядины, — ее у меня не было. Я разрешил его тем, что взял ружье и подстрелил ворона. Не презирайте, любезный читатель, ворон — это отличное мясо для бульона. Один ворон стоит двух фунтов говядины — поверьте в этом охотнику; надо только, чтобы он был не ощипан, как голубь, а ободран, как

---

286 Речь идет о «Большом кулинарном словаре» — последней книге, вышедшей из-под пера Дюма. Законченная в 1869 году, она была отредактирована к марту 1870 года и передана издателю Альфонсу Лемеру. 5 декабря 1870 года Александра Дюма не стало. Через три года А. Лемер издал «Большой кулинарный словарь».

кролик.

Окунув ворона и трех голубей в горшок, я оставил их потихоньку вариться. Потом, когда бульон достиг двух третей нужной насыщенности, я взял пышный кочан капусты и, выложив дно кастрюли полосами свинины, опустил капусту туда так, чтобы промежуток между ее стенками и капустой сантиметров в десять наполнялся бульоном.

Василий, поставленный с ложкой в руке у горшка и кастрюли, должен был по мере того, как бульон в кастрюле выкипал, заменить его бульоном из горшка.

Василий исполнил поручение, как человек, который будто всю жизнь только этим и занимался.

Наконец бульон был приправлен консервами из овощей.

Вот, любезный читатель, как в подобных обстоятельствах варится непростой суп.

Теперь обратимся к так называемому «улучшенному» шашлыку.

Вы уже знаете, как делается шашлык, не правда ли? А вот как я усовершенствовал это изобретение.

Вместо того, чтобы разрезать филе на куски, величиной с орех, я оставляю его целым, но нанизываю на вертел, во всю длину вертела. Посыпав мясо солью и перцем в достаточном количестве, потом укрепляю один конец вертела на камине, другой отдаю Василию в левую руку. Правую же его руку я вооружаю кинжалом — самым острым из моей коллекции. По мере того, как поверхность филе подрумянивается, Василий отрезает куски толщиной в два-три сантиметра и длиной во всю поверхность филе.

Пока подаются на стол эти первые куски, он посыпает солью и перцем поверхность мяса, обнаруживающуюся после удаления верхней корочки, а оставшийся кусок мяса кладет на огонь. Затем мясо, должным образом обжаренное, он убирает, т. е. снимает еще один слой мяса, и с той же предосторожностью, что и в первый раз, проделывает все это до завершающего этапа — пока ничего не останется от филе. Особенно вкусно лакомиться обжаренным мясом, поваляв его в свежем масле или петрушке. Вот что и необходимо было для приготовления «улучшенного» шашлыка.

Переключимся на свиные почки, вымоченные в вине. Уверен, все умеют приготовлять бараньи почки, вымоченные в вине. Мы же говорим о почках свиных, так как готовили в основном свиные почки из-за нехватки бараньих или говяжьих. Подчеркнем факт вовсе неизвестный: бараньи почки как нельзя больше пригодны для шашлыка по сравнению с прочими сортами почек, особенно — употребляемые в винном соусе.

Однако коль скоро путешественник может быть непросвещенным в области кулинарии, мы кое-что ему посоветуем.

Если не хватает необходимых специй для заправского винного соуса, путник сможет приготовить блюдо, если не очень утонченное, то по крайней мере, достоточно съедобное. Для этого он должен прокалить сливочное масло почти до красноты, бросить в него горсть мелко порубленного лука, некоторые — в соответствии со своими вкусами — бросают слишком много лука. Лук этот следует обжарить, а пока он жарится, путешественник режет почки на кружочки, величиной с пятифранковую монету. Если ему противно дотрагиваться пальцами до почек, пусть обваляет их в муке. Нужно положить их на сковороду с маслом и луком и помешивая деревянной ложкой до тех пор, пока почки не будут готовы примерно на четверть. Затем следует взять бутылку красного вина — для этого соуса самые подходящие простые вина — и смело вылить половину или две трети бутылки, даже если общее количество разрезанных на куски почек предполагает целую бутылку. И пусть все это жарится, только не забывайте помешивать на большом огне примерно в течение десяти минут. Через пять минут нужно посолить и поперчить, а на восьмой минуте бросить в почки полную пригоршню мелко нарезанной петрушки, чтобы она сохранила свой вкус. Весьма важно, чтобы это кипело не более двух минут. Наконец, в момент подачи к столу, необходимо снять с огня и переложить в какой-нибудь сосуд шесть-восемь ложек соуса, имеющего консистенцию и цвет взбитого шоколадного крема. Он предназначен, чтобы придать цвет и плотность вареным яйцам.

Займемся теперь провансальскими курами, которые я рекомендую как пищу, приготовляемую самым быстрым и самым легким способом.

Если у вас не хватает сливочного масла, вы можете себя обеспечить свиным жиром, в частности, так называемым топленым свиным. Во всех странах — за исключением сугубо мусульманских — вы легко достанете его. Обжарьте свиное сало на сковороде или в кастрюле. Разрежьте цыпленка на куски так, как сделали бы, будь он уже вареным. Вываляйте куски, как вы уже это проделывали с почками, в муке, опустите их в кипящий жир, когда он перестанет кипеть. Нужно время, чтобы они приобрели золотистый цвет, сами же потратьте это время на то, чтобы порубить дольку чеснока и горсть петрушки. Когда кусочки цыпленка будут достаточно сварены и обжарены, уложите их в крестообразное блюдо, посолите и поперчите. Вылейте из кипящего масла полстакана, добавьте взамен полстакана свежего оливкового масла и, если необходимо, поставьте на огонь. Уловите момент, когда это начнет кипеть, бросьте чеснок с порубленной петрушкой вместе. Через три секунды вылейте всю массу на цыпленка, уложенного на крестообразное блюдо, и подайте горячим.

Как видите, все по-библейски просто.

Что касается жаркого, то вы повсюду найдете веревку и гвоздь. Самое лучшее жаркое то, что будучи затянутым веревкой, обжаривается на вертеле, способствующим выделению сока через эти два отверстия от вертела.

Готовить фасоль по-английски нет ничего проще. Вы варите ее в большом количестве воды до тех пор, пока она не сварится, как положено. Отжимаете ее шумовкой или дуршлагом. Если у вас ни шумовки, ни дуршлага — я говорю это о путешественниках, — отжимайте ее просто в какой-нибудь белой ткани и горячей кладите в сливочное масло, смешанное с перцем, солью, петрушкой и цыветтой, если они у вас имеются. Жар этих бобов будет как бы способствовать проникновению в масло.

С вареными яйцами дело обстоит несколько сложнее, но тем не менее, все равно, это очень легко. Берете белки из шести яиц и еще шесть яиц полностью перемешиваете. Добавляете две ложки воды, чтобы придать пышность яйцам. Затем переносите в яйца соус из почек, и все это тщательно взбиваете. Солите и перчите. Когда же вы будете солить и перчить, не забудьте, что ваш соус из почек уже посолен и поперчен. Лук и петрушку бесполезно класть, ведь соус содержит их в достаточном количестве. В то же время кладите в кастрюлю яйца и большой кусок масла. Нужно беспрерывно помешивать круговыми движениями до тех пор, пока яйца не станут полностью готовыми к употреблению. Обращаю внимание на то, что они, даже находясь на блюде, продолжают впитывать в себя много жидкости, поэтому в блюдо с яйцами следует добавить немного воды.

Но сливочное масло, — скажете вы мне, — как я себя обеспечу свежим маслом в стране, где, например, его не делают?

Повсюду, где можно найти хорошее молоко, вы сами сделаете сливочное масло. Для этого достаточно наполнить молоком три четверти бутылки, закрыть ее, а затем сильно трясти в течение получаса. Через 30 минут из трех четвертей бутылки молока получится кусок масла величиной с яйцо индюшки. Чтобы масло было свежим, его нужно взбалтывать резко. Оно вытечет через горлышко бутылки.

Чай вы умеете готовить, не так ли?

Ну, а кофе?

Его готовят двумя способами: по-французски и по-турецки. Чтобы приготовить его по-французски, существует десять различных механических приспособлений. Лучший из них, на мой взгляд, это ситечко наших бабушек. Но всех этих механических приспособлений может не хватить, как бы просты они не были. Даже ситечек наших бабушек.

Тогда сделайте кофе по-турецки. Это гораздо проще и, по моему мнению, лучше всего.

Вскипятите воду в кофейнике. Всыпьте небольшую ложечку кофе, растертого в ступке и доведенного до состояния порошка настолько, чтобы его почти невозможно было осязать. Добавьте и столько же сахару-песку, сколько положено кофе. Оставьте кофейник на огне до

тех пор, пока при кипении не покажутся крупные пузыри, после чего разливаете кипящий кофе по чашкам. Через несколько секунд гуща начнет сама по себе оседать на дно из-за собственной тяжести, и вы сможете пить кофе таким же прозрачным и вкусным, будто он был процежен.

Князь Ингерадзе и турецкий купец объявили, что они никогда не готовили подобного обеда. Что же касается Муане и Григория, то им нечего было учиться у меня кулинарному искусству. Муане в качестве моего помощника уже три-четыре раза познал триумф в связи с победами, одержанными мною на кулинарном поле сражения в Санкт-Петербурге, Москве и Тифлисе.

Глава LXIII
Охота и рыбалка

Чтобы доставить удовольствие Муане, ставшего рьяным охотником, я предложил устроить на другой день охоту, а на третий — рыбную ловлю. Благодаря влиянию, какое имел князь Ишерадзе на жителей Поти, мы смогли набрать дюжину охотников, включая и его собственную свиту.

Само собой разумеется, что из-за потийской грязи наш любезный «розовый князь» делался все более и более пестрым. Я спрашивал себя, в каком виде оказалась бы его черкеска, если князь Барятинский задержался еще на пять или шесть дней.

Охотиться нам предстояло недалеко: стоило только переправиться через один из рукавов Фаза, и мы уже оказывались, как говорят во Франции, в молодой лесосеке. Около четырех лет назад этот лес был срублен; для охоты на пернатых это место было особенно подходяще.

Мы взяли два каюка и после десяти минут плавания высадились у опушки лесосеки. С помощью Григория я объяснил нашим охотникам, как я понимаю охоту. Князь, Муане, Григорий и я стали в линию, предоставив командовать левым крылом Василию, сметливость которого выказывалась все ярче, — и охота началась. За час мы убили двух зайцев, двух фазанов и косулю.

Колхида, где мы столько трудились над приготовлением обеда третьего разряда, отплатила обжорству Европы самой уважаемой дичью и одним из вкуснейших своих фруктов. Язон вывез в Европу фазана, а Лукулл дал ей персики и вишню. Фазан и теперь еще попадается в Колхиде; но ни разу на всем моем пути я не встречал здесь ни персикового, ни вишневого дерева.

Граф Воронцов, — все большие люди имеют какую-нибудь страсть, — граф Воронцов, который был первосортным садовником, устроил в Поти великолепный сад: апельсиновые деревья, как говорят, принялись особенно удачно.

Во время последней войны турки, вторгнувшись в Гурию и Мингрелию, разорили сад дочиста. С тех пор никто и не думал о его возобновлении.

Двадцать шесть или двадцать восемь садов разбито тем же князем Воронцовым в Грузии, и они процветают.

Мы воротились в гостиницу Якова победителями и приготовили себе великолепный обед из дичи. Князь и его слуга не могли прийти в себя от удивления: они прожили бы десять лет у Якова и продолжали бы все пробавляться одной бараниной.

Я работал пять или шесть часов в день, подвигая вперед свое «Путешествие по Кавказу», три четверти которого были уже готовы.

Князь не понимал, как я имел одинаковую способность владеть пером, ружьем и половником: это давало ему высокое понятие о просвещении народа, где один и тот же человек мог быть в одно и то же время и поэтом, и охотником, и поваром.

Я еще не встретил в Поти ни одного озера, однако уже слышал, что налево от устья Фаза есть озеро. Оно большое и находится, как говорят, на месте древнего греческого города Фазиса, поглощенного землетрясением, вследствие коего и образовалось.

Прибыв туда, я очутился между морем, рекой и озером и, естественно, захотел отведать рыбы, которой не могло здесь не быть. Мне же отвечали, что рыбы нет. Тогда с некоторым колебанием я спросил: «Ну, а есть хотя бы рыболовы?» К моему великому удивлению, ответ был положительным. Если нет рыбы, то откуда же взяться рыболовам?

Мне объяснили, что напротив, — и в реке, и в море, и в озере — много рыбы, но в Поти ее не видно — по крайней мере, свежей. Потийские жители привыкли есть соленую рыбу, стоящую три или четыре су за фунт, и поэтому никакой потребности в свежей рыбе не чувствуют. Это уже вкус европейский, о котором азиатцы не имеют никакого понятия, набивая свой желудок первой попавшейся пищей, лишь бы она не была противна обычаям.

Здесь ловят рыбу и ловят в большом количестве: но как только рыба поймана, ее солят, везут вверх по Риону и продают в Маранах и Кутаисе.

Я кликнул рыболовов и предложил им: завтра они будут ловить рыбу для меня, с платой по рублю в час. Я возьму себе из их улова то, что мне понравится, остальное оставлю им.

Мы порешили отправиться в одиннадцать часов утра. Ночь и раннее утро оставались свободными для занятий — у каждого своих. О пароходе нечего было и мечтать: его ожидали не ранее 1(13) февраля.

В половине одиннадцатого мы вышли из дома и после четверти часа ходьбы прибыли к каналу, соединяющему озеро с морем. Там уже собрались рыболовы; в двух лодках — до десяти человек в каждой. Третья лодка с двумя гребцами стояла у берега; мы поместились в ней и поплыли в восточном направлении. Чем дальше мы продвигались, тем более расширялся канал, и наконец мы выплыли на озерную гладь, простиравшуюся на три мили в окружности. Рыболовы остановили лодки и начали готовить большущий невод. Через некоторое время одна из лодок спустила его, а потом снова присоединилась к той, которая стояла неподвижно. И тут рыбаки дружно принялись тянуть невод. Это длилось около часа. Я вполне мог бы ограничиться этой ловлей: она доставила более пятидесяти фунтов рыбы. Но ради собственного удовольствия я потребовал, чтобы невод закинули еще раз. Второй улов был вдвое больше первого. За два часа ловли я должен был заплатить людям два рубля и за них взять сто или сто пятьдесят фунтов рыбы.

Я ограничился карпом в тридцать фунтов, двумя великолепными судаками и тремя плоскими рыбами, которых, кажется, называют карасями. Что касается остальной рыбы, то мы оставили ее нашим рыболовам, которые были чрезвычайно довольны этим днем.

Роскошь наших обедов с каждым днем увеличивалась. Наш «розовый князь» никогда не видывал такого стола: он предлагал даже, чтобы мы остались тут навсегда. Люди его также были приятно изумлены: они ели до отвала, но могли, разумеется, съесть лишь столько, сколько позволял желудок.

Мы уделили от своего стола и турецкому купцу, который поглощал без разбору все — в том числе и рыбное кушанье, не замечая, что оно приготовлено на вине, и капусту, которая была на свином сале.

Весь дом с Василием во главе получил вдоволь остатков с нашего стола; если б мы продлили свое пребывание, то кончилось бы это тем, что мы закормили бы весь Поти.

Я очень подружился с Василием и однажды, через Григория, спросил его, не поедет ли он со мной во Францию. Он вскричал от радости, а потом сказал, что всей душой желал этого, но никогда не смел об этом просить. Было решено, что он едет со мной, но тут возникло одно препятствие: ему необходим был паспорт.

Василий — из Гори. Чтобы отправиться туда за паспортом, пришлось бы потратить по меньшей мере пять дней, да еще столько же на обратный путь. За эти же десять дней мы могли уехать отсюда (во всяком случае, надеялись на наш отъезд).

Чтобы обойти это препятствие, он предложил взять паспорт одного из своих товарищей: этот паспорт годился только до Трапезунда; там мы могли пересесть на французский пароход, а так как в моем паспорте было сказано «С прислугой», то дело устраивалось само собой.

Итак, нам недоставало только одного — парохода.

Наконец, 1 февраля утром, мы заметили долгожданный пароход, и через полчаса нас известили, что «Великий князь Константин» бросил якорь в двух верстах от берега и отправится обратно в три часа дня.

Речной кораблик, доставляющий пассажиров на морские пароходы, начал дымиться, намереваясь отправиться в полдень.

Князя Барятинского не оказалось и на сей раз. Обо всем этом нам объявил Соломон Ингерадзе. Он великолепно вырядился для встречи князя: вместо пестрой черкески на нем была новая, украшенная золотом. Оружие и пояс выглядели на этом черном фоне очень эффектно.

Я поручил Григорию рассчитаться с Яковом. Минут через десять он возвратился — повесив нос и запинаясь. В счете было обозначено около восьмидесяти рублей, т. е. примерно триста четыре франка. На что мы могли издержать 304 франка, по тридцать семь в день? Из восьми дней, прожитых в Поти, шесть дней мы питались своей добычей — на охоте и рыбной ловле. Правда, одно наше помещение стоило двадцать четыре рубля. Моя комната (а вы уже знаете, что это была за комната) оценивалась в два рубля в день — четырьмя франками дороже комнаты в парижском отеле «Лувр». Все остальное тоже было в тех же самых пропорциях: мы выпили на сорок франков чаю и на сто франков вина.

— Говорил я тебе, — спросил я Григория, — наперед условиться о цене, а?

Мы заплатили (то есть заплатил я) восемьдесят рублей.

Мы издержали более тысячи двухсот франков по пути от Тифлиса до Поти!

С помощью Василия наш багаж был перенесен из гостиницы на пароход. Мы отправились вслед за своими вещами, князь тоже уехал из Поти в одно с нами время.

Я редко встречал человека столь симпатичного, сильного, живого и веселого, как наш милый князь. Не знаю, увижу ли я его когда-нибудь опять, но буду помнить всю свою жизнь.

Мы расплатились с грузчиками и вздохнули свободно. Ведь мы в последний раз в Поти должны были опускать руку в карман, зная, что этот жест в каждом новом городе обходится очень дорого.

Наконец наш маленький пароход пришел в движение; он тот самый, который летом, когда во время таяния снегов вода Риона поднимается, плавает от Маран в Поти и обратно.

Через полчаса мы были на борту парохода «Великий князь Константин». Заплатили за свои места до Трапезунда — издержки на этот раз были сравнительно умеренные: по три рубля с нас и рубль за Василия. Благодаря его паспорту до Трапезунда мы не встретили никаких затруднений при его оформлении на пароход.

Познакомились с капитаном парохода; он говорил немного по-французски. Это был премилый человек лет двадцати восьми или тридцати. Из-за раны, полученной на севастопольском бастионе, он беспрестанно моргал. Существуют люди, которым все идет, и это движение придавало взгляду капитана выражение самое умное.

Мы прибыли в половине первого, а должны были сняться с якоря в три часа. У нас еще оставалось время уложить багаж и самим разместиться, как следует; впрочем, нечего было и хлопотать много, так как ночью или на рассвете следующего дня мы рассчитывали прибыть в Трапезунд.

Уже целый час находились мы на пароходе; я разговаривал в зале с помощником капитана, когда мне дали знать, что баркас с солдатами под командой офицера пристал к пароходу, и офицер требует Василия, как российского подданного, оставляющего Россию без паспорта.

На бедного Василия донес его же приятель, позавидовавший его удаче.

Нельзя было идти против русских законов, особенно на русском пароходе. Василий был выдан без промедления. Спускаясь в баркас, он произнес слова, тронувшие меня:

— Через четыре дня у меня будет паспорт, а через месяц я явлюсь к вам в Париж.

Я попросил офицера позволить мне помочь этому славному малому в его намерении. Я еще недостаточно знал его, чтоб оставить необходимую для путешествия сумму; 500–600

франков могли соблазнить его и послужить во зло: вора делает случай. Я был еще довольно богат, чтобы взять его с собой, но не настолько, чтобы оставить ему такую сумму.

Прежде всего я снабдил его запиской к полковнику Романову; она должна была обеспечить ему паспорт. Потом я дал ему документ следующего содержания: «Рекомендую грузина Василия, поступившего ко мне в услужение в Поти и вынужденного остаться из-за отсутствия паспорта, всем, к кому он будет обращаться, и особенно господам командирам французских пароходов и секретарям консульств. Что касается издержек в этом случае, то можно переводить вексель на мое имя, а я проживаю в Париже, на Амстердамской улице, дом № 77. Поти. 1 (13) февраля. Александр Дюма».

Я передал ему две эти бумаги, добавив:

— Ступай, и если ты так сметлив, как я думаю, то ты приедешь и с этим.

Вполне положившись на судьбу и на эти бумаги, Василий отдался в руки офицера и солдат.

Взявший его баркас был еще в поле нашего зрения, когда «Великий князь Константин» стал поднимать якорь, и мы поплыли по направлению к Трапезунду. Этот пароход, управляемый, как я уже сказал, очень милым капитаном, прекрасен и чрезвычайно быстр; все отличается на нем не столько французской, сколь чисто голландской опрятностью. Капитан, имевший в своем распоряжении две каюты — одну на деке, другую на корме — предоставил мне более удобную для меня — в случае, если бы я захотел работать.

Каюта располагалась на корме. В ней была превосходная чистая постель с бельем и матрасами роскошь, с которой на протяжении шести месяцев я не сталкивался. Мне даже захотелось опуститься на колени перед этой постелью и молиться ей, как святыне.

Работать? Нет, работа откладывается до другой ночи, а эту проведу в постели.

Я бы тотчас повалился на нее, если бы корабельные склянки не возвестили время обеда.

Я отправился в столовую. Нас было всего пять или шесть пассажиров, еды же хватило бы и на двадцать человек. Не только это изобилие радовало нас, а в первую очередь чистота стола.

Мы могли собрать обильное угощение по случаю объявления Поти городом, но не могли сотворить соответствующей сервировки. О, опрятность, которая только для итальянцев полудобродетель, — позволь мне считать тебя богиней!

Не знаю, белизна ли скатертей и салфеток заставила нас найти обед превосходным, но только обед на пароходе «Великий князь Константин» был одним из прекраснейших за всю мою жизнь. После обеда мы вышли на палубу; погода стояла превосходная, даже идеальная для этого времени года.

Вид берега был величествен. Кавказ простирал две свои длани будто для того, чтобы привлечь к себе Черное море: одна тянулась к Тамани, другая — к Босфору. Вот между этими-то дланями прошли из Азии в Европу все восточные нашествия. Местность между двумя цепями гор казалась низменной, почти ровной, совершенно покрытой лесами. На берегу не заметно было ни одного дома. Мы плыли вдоль берега Гурии и Лазистана, присоединенных к России по последним трактатам, которые довели границы империи до укрепления Святого Николая, т. е. гораздо ближе к Турции, чем когда-либо.

Батум — теперь самый южный русский порт на Черном море.

Мы должны были остановиться в двенадцать часов в Батуме, чтобы принять пассажиров и груз; вот почему мы достигли Трапезунда только через тридцать шесть часов плавания, тогда как если б мы плыли по прямому направлению, можно было прибыть за пятнадцать — восемнадцать часов.

С наступлением ночи все невысокие селения сглаживались и исчезали в сероватом горизонте; но еще долго после того, как уже ничего не было видно кругом, серебряные вершины двойной Кавказской цепи еще блестели в небе, подобно окаменелым облакам.

Взглянув мельком на город или, точнее, на деревню Батум, которую Муане впрочем зарисовал, я провел весь день в каюте капитана за работой.

В восемь часов вечера пароход тронулся. К рассвету, как уверял капитан, мы должны были стать на рейде Трапезунда.

С рассветом я вышел на палубу: я почти не спал в эту ночь, несмотря на великолепное постельное белье и мягкие матрасы.

Дело в том, что французские пароходы в субботу обычно уходят из Трапезунда, а русский пароход, по пути в Поти задержавшийся на один день из-за дурной погоды у крымских берегов, должен был прибыть только в воскресенье.

Заметив мою тревогу, капитан успокоил меня. Глазом опытного моряка он разглядел, что на Трапезундском рейде находится французский пароход и был почти уверен, что это — «Сюлли». И он не ошибся — час спустя мы проходили мимо «Сюлли». На вопрос с палубы «Великого князя Константина»:

— Когда сниметесь с якоря? — голос французского подшкипера ответил:

— Сегодня вечером, в четыре часа.

Действительно, вечером, в урочный час, простившись с капитаном и погрузив с трудом наш увесистый багаж на борт «Сюлли», мы поплыли в Константинополь, а до него должны были еще зайти в Самсунский, Синопский и Инебольский порты.

Глава LXIV
Невольничий рынок

В канун окончательного переселения на «Сюлли» я пришел узнать, когда он отправится и какие цены на места до Марселя.

Я довольно дурно был принят подшкипером, который заявил, что на эти вопросы отвечает администрация, и что он, поэтому, советует мне сойти за справками на берег.

Я обернулся к Муане:

— Что-то пока не видно, сказал я ему, — что мы вступили на территорию прекрасной страны, именуемой Францией.

Однако я был несправедлив, подшкипер принял меня за русского генерала, а Муане — за моего адъютанта. К этому убеждению он пришел из-за двух-трех итальянских фраз, которыми я обменялся с сопровождавшим меня лоцманом русского парохода «Великий князь Константин», и нескольких грузинских слов, обращенных к Григорию.

— Ну и полиглоты же эти русские! — сказал он, когда я повернулся к нему спиной. — Вот еще один, объясняющийся по французски как француз.

Я не слыхал комплиментов и поэтому не мог оправиться от тяжелого чувства, что я, только что совершивший путешествие, во время которого люди чужих наций оказывали мне самое душевное гостеприимство, был дурно принят только потому, что я француз — да еще на отечественном судне!

Впрочем, ничего не оставалось делать, как последовать указанию подшкипера «Сюлли».

Я воспользовался лодкой, которую капитан русского парохода любезно предоставил в мое распоряжение, чтобы отправиться на берег. Таким образом я посетил Трапезунд против моей воли, ибо он не входил в план только что завершенного путешествия.

Слегка штормило, и поэтому мы с большим трудом достигли берега. Во время высадки на берег нас обдало волной от головы до ног. Отряхнувшись, мы одолели крутой подъем, ведущий от порта в город, и после нескольких поворотов по улицам, типа тех, какие мы видели в Дербенте и Баку, прибыли во Французское пароходное агентство.

Встретил меня прелюбезный человек, г-н Бодуи, оказавший мне прием не только как соотечественнику, но и как другу. Он сделал все одолжения, на какие только был способен, и, сверх того, отрекомендовал командиру парохода «Сюлли» капитану Дагерру. Прием капитана был совершенно противоположен тому, каким ошарашил меня подшкипер.

По его совету я отпустил лодку русского капитана, так как г-н Дагерр сам взялся доставить меня на пароход.

— А вы, кстати, — произнес он, — видели своих спутников?

— Едва я ступил на ваш пароход, капитан, как…

И я рассказал, как меня приняли на борту «Сюлли». Он покачал головой.

— Тут что-то не так, — сказал он. — Лука несколько суровый и диковатый бретонец; однако чтоб он был невежлив с таким человеком, как вы… непостижимо. Впрочем, все это выяснится по прибытии на пароход.

— Но вы, капитан, сказали что-то насчет моих будущих попутчиков, мне не терпится с ними познакомиться.

— Вы возвращаетесь с Кавказа?

— Да.

— В таком случае, вы не познакомитесь, а только продолжите знакомство.

— Прекрасно, стало быть, на вашем пароходе есть грузины? Армяне? Имеретины?

— Куда там, — триста самых чистокровных кабардинцев.

— Они отправляются в Константинополь?

— Именно.

— Стало быть, они эмигранты?

— О, нет, просто — спекуляция.

Я взглянул на капитана.

— О, господи, — произнес он, — ведь ясно ж, как день, что они едут продавать на рынке своих жен и детей.

Я прервал его:

— И вы, капитан, содействуете этой гнусной сделке?

— Что поделаешь! У них все в ажуре, придраться не к чему. У каждого выправлен паспорт. Женщины, думая, что они выйдут замуж за пашей или попадут в гарем султана, вполне довольны предстоящей участью. Черт возьми! Обратись они к нам за покровительством, мы бы вмешались, но они-то молчат!

— В таком случае вы правы, капитан, — я попал и впрямь вовремя. Когда же мы возвратимся на пароход?

— Когда изволите, — сказал г-н Бодуи, — вот ваши документы.

Через час мы были на пароходе.

— Ну? — спросил я капитана, оглядываясь по сторонам: — Где же ваши кабардинцы?

— Внизу.

— Можно к ним спуститься?

Он посмотрел на часы:

— Это не составит труда, тем более, что вы, я полагаю, желаете видеть в основном кабардинок.

— Признаюсь, до сих пор я чаще видел мужчин, нежели женщин.

— Ну, так вы сейчас увидите процессию.

— Куда же пойдет эта процессия?

Едва я задал этот вопрос, как из люков появились люди. Впереди шествовал почтенный белобородый старец, за ним семьдесят-восемьдесят женщин от десяти до двадцатилетнего возраста. Колонна уходила за штирборт (правая сторона судна) и возвращалась через бакборт (левая сторона судна), женщины спускались обратно в люки, весьма грациозно.

— Не угодно ли? — спросил меня капитан. — Все это продается.

— Признаться, нет, — отвечал я, — это вовсе не соблазняет меня. А нельзя ли увидеть трюм, в котором они плывут?

— Есть у вас персидский порошок от насекомых?

— Есть, но в чемодане.

— Так откройте свой чемодан.

— Не могу, это нелегко.

— В таком случае загляните через люк.

И я заглянул: мужчины и женщины помещались посемейно, группками, целый день

они не двигались, если не считать утренней прогулки типа той, которую я уже видел. Все было отвратительно грязно.

Между тем позвали к обеду.

— Вы готовы? — спросил капитан старшего машиниста.

— Да, капитан.

— Так поднимем якорь и пойдем на всех парах: мы запоздали на целые сутки, и скоро начнется плохая погода.

Действительно, скрипка была настроена. Но что это за скрипка? — спросите вы, любезный читатель. Это просто веревочное приспособление, придающее столу вид гигантской гитары, и служит для того, чтобы при качке не давать тарелкам, стаканам, бутылкам и блюдам скатываться со стола на пол.

Вообще, когда скрипка поставлена, собеседники за столом довольно редки. Впрочем, за столом капитана нас было только трое: Муане, Григорий и я.

Наконец мы остались вдвоем — Муане и я. Григорий уже был в постели: самое незначительное покачивание судна, стоявшего на якоре, вызывало у него тошноту.

Когда начался обед, пароход поплыл.

За десертом послышались шум и крики. Вслед за тем вошел вахтенный подшкипер, требуя врача. Доктор встал.

— Что стряслось? — спросили мы в один голос.

— Двое кабардинских старшин подрались, — сказал подшкипер с тем марсельским произношением, которое было приятно слышать после того, как почти год я слышал лишь русскую речь, — один полоснул другого ножом по лицу.

— Хорошо, — сказал капитан. — Пусть на виновного наденут кандалы.

Доктор пошел за подшкипером.

Внизу, под нами, послышался какой-то переполох, словно завязалась драка. Потом все стихло.

Минут десять спустя вернулся доктор.

— Так в чем же дело? — спросил капитан Дагерр.

— Сильнейший удар кинжалом, — отвечал тот, — рассек по диагонали одного кавказца, рана начинается у брови и кончается у подбородка, пройдя правый глаз как раз посередине.

— Он не умрет? — спросил капитан.

— Нет, но вполне может стать предводителем царства слепых.

— Значит, он будет кривой? — произнес я.

— Без сомнения! — воскликнул доктор. — Он уже кривой.

— А тот, кто нанес удар, — в кандалах?

Едва успел капитан задать этот вопрос, как вошел судовой переводчик.

— Капитан, — сказал он, — делегация кабардинцев просит дозволения явиться к вам.

— Что им надо?

— Делегация желает переговорить с вами.

— Пусть войдут.

Делегация состояла из четырех человек во главе все с тем же почтенным стариком, который выводил женщин на прогулку.

— Слушаю вас, — сказал капитан, не вставая.

Старец заговорил.

— Он говорит, капитан, — начал переводчик, едва старик кончил, — что вы должны освободить человека, которого приказали заковать в кандалы.

— Почему же?

— Потому, что драка произошла между горцами, и это вовсе не в компетенции французского правосудия и что, если найдется виновный, они сами накажут его.

— Переведите им, — сказал капитан, — что с той минуты, как они взошли на борт французского судна, которым я командую, правосудие осуществляется по законам Франции

и только мною.

— Но, капитан, они просят еще…

— Ступайте, ступайте, — сказал капитан, — скажите этим торговцам человеческим мясом, чтобы они возвратились к себе и молчали. Не то, — клянусь всеми громами! — они будут иметь дело со мной.

Капитан Дагерр клянется громами только в случаях исключительных, и всем известно, что тогда шутки плохи.

Переводчик вывел из каюты упиравшуюся делегацию.

Мы потягивали кофе, когда в столовую вбежал подшкипер.

— Капитан, кабардинцы взбунтовались.

— Взбунтовались? С какой еще стати?

— Они требуют, чтобы их соотечественника немедленно освободили.

— Как, как? Они требуют? Ха-ха! — молвил капитан с улыбкой более зловещей, чем самая страшная угроза.

— Или, говорят они…

Подшкипер запнулся.

— Или что?

— Грозятся, что они в большом числе и вооружены, и сумеют взять силой то, чего им не хотят отдать добровольно.

— Заклиньте люки, — приказал капитан очень спокойно, — и пустите к ним воду из котла.

Капитан сел.

— Вы не пьете водки с кофе, господин Дюма?

— Никогда, капитан.

— Нехорошо, вы лишаете себя трех наслаждений, вместо двух: кофе сам по себе, смесь водки с кофе, называемая gloria, и водка сама по себе. — И капитан с наслаждением поднял чашку со своей gloria.

Когда он ставил ее на блюдечко, корабль заполнился нечеловеческими воплями.

— Что это значит, капитан?

— Это наши кабардинцы — машинист ошпаривает их кипятком[287].

Появился переводчик.

— Ну, как там бунтовщики?

— Они сдаются на милость победителя на вашу милость, капитан.

— Вот и чудесно. Закройте краны, но люки оставьте запертыми.

В следующий четверг, в четыре часа пополудни, мы бросили якорь в Золотом Роге.

По существу, наше путешествие по Кавказу закончилось в тот день, когда мы покинули Поти; но оно еще продолжалось до нашей разлуки с кабардинцами на Константинопольском рейде.

В одно прекрасное утро я пробудился в шесть часов по милости моей кухарки, которая ворвалась ко мне в испуге.

— Месье, — прошептала она, — внизу стоит какой-то человек: он не говорит ни на каком языке, бормочет только «господин Дюма» и настаивает, чтобы его впустили.

Я сбежал по лестнице, каким-то подсознательным чутьем угадав, что это, наверняка, должно быть, Василий.

И я не ошибся. Этот молодец прибыл-таки из Кутаиса в Париж, двадцать семь дней пролежал в лихорадке в Константинополе и издержал в дороге шестьдесят один франк и пятьдесят сантимов — и все это, не зная ни слова по-французски.

---

287 Нечего сказать, — гуманная расправа.

Прим. Н. Г. Берзенова

Надеюсь, любезный читатель, ты и сам теперь убедился, какой смышленый малый этот Василий.

По следам Дюма

Если бы Александр Дюма вновь отправился в путешествие по Кавказу, то он скорее всего начал бы его не с Кизляра, а с нынешней Махачкалы — столицы процветающего Дагестана, совершенно изменившегося за годы Советской власти. Во времена Дюма этот город уже существовал (в 1844 году здесь был основан порт Петровск, в 1857 году получивший статус города), но это был захолустный поселок, ни в какое сравнение не шедший с официальной столицей тогдашнего Дагестана — Темир-Хан-Шурой.

В 1921 году Петровск был переименован в Махачкалу — в честь выдающегося революционера, убитого белогвардейцами, инженера Махача Дахадаева (1882–1918). Если бы Дюма оказался в нынешней Махачкале, то выйдя на привокзальную площадь, он увидел бы каменного всадника. Это — памятник Дахадаеву.

В 1919 году местными контрреволюционерами был убит борец против самодержавия Уллубий Буйнакский — (1890–1919) Он окончил Тифлисскую гимназию, затем учился на юридическом факультете Московского университета. После свержения царской монархии Уллубий Буйнакский вернулся в Дагестан, чтобы принять участие в революционном движении. Его политическая деятельность продолжалась, к сожалению, недолго, но навсегда сохранится в памяти народной. Именем Буйнакского и названа была в 1921 году Темир-Хан-Шура.

Махачкала стоит на берегу Каспийского моря. Я поселился в гостинице «Каспий», что на самом его берегу. День проводил в архивах, а вечерами, под неумолчный шум волн и завывание знаменитого махачкалинского ветра, записывал результаты своих поисков.

Я приехал в Махачкалу в надежде обнаружить следы пребывания Дюма в Дагестане. Конечно, я понимал, что социальные бури, пронесшиеся здесь за сто двадцать пять лет, могли уничтожить архивы. Более того, в Дагестане периодически случаются разрушительные землетрясения, отнюдь не способствующие сохранению памятников прошлого.

Как известно, после победы над Шамилем в Тифлисе был создан Кавказский военно-исторический музей (храм Славы). Основателем музея и многолетним его директором являлся выдающийся историк Кавказа генерал-лейтенант Василий Александрович Потто. В музее была собрана уникальная и обширнейшая коллекция. Если не в этой коллекции, то где же еще могли сохраниться документы о Дюма? Другого более богатого собрания сведений о Кавказе середины XIX столетия нигде не существовало.

Но в 20-х годах музей расформировали и большинство его экспонатов (в том числе коллекцию князя Барятинского) перевезли в столицу Советского Дагестана. Под руководством историка Д. М. Павлова на основе этой коллекции в Махачкале было создано два музея — Объединенный краеведческий и Изобразительного искусства. Часть экспонатов была передана в различные библиотеки Махачкалы и других городов Дагестана. Если бы эта коллекция оказалась только разрозненной, большой беды не было бы. Непоправимо другое большая часть коллекции бесследно исчезла, повреждена или просто-напросто выброшена, либо, в лучшем случае, передана в частные руки. Фактически она прекратила свое существование.

Не сохранилось, естественно, никаких упоминаний о путешествии Дюма по Дагестану, а ведь ради этого я исколесил весь Дагестан, побывав почти во всех местах, которые когда-то посетил Дюма…

Итак отправимся по маршруту Дюма. От Махачкалы до Кизляра четыре часа езды. По отличной дороге мчатся разноцветные «Икарусы». Здесь, в Кизляре, в 1765 году родился Петр Иванович Багратион, прославленный русский полководец. Именем Багратиона назван

местный филиал Дагестанского объединенного краеведческого музея.

За двадцать лет до приезда Дюма комендантом Кизлярской крепости был известный теоретик литературы пушкинской эпохи декабрист Павел Александрович Катенин (1792–1853).

На доме № 29 по улице Демьяна Бедного — мемориальная доска, указывающая, что в доме этом жили Суворов, Катенин, Бестужев-Марлинский, Лермонтов и художник В. И. Иванов, побывавший в Кизляре в 1872 году. Он создал три картины на местные сюжеты. В каком доме останавливался Дюма, неизвестно, но, наверное, в этом же, либо где-то поблизости. Можно было бы добавить и имя Дюма к этим славным именам.

Несколько раз бывал в Кизляре и Лев Толстой. Останавливался он в доме Шамирова.

Не случайно, что два таких разных по возрасту и психологии, по художественным и идейным установкам писателя — А. Дюма и Л. Толстой — в принципе похоже изобразили события 1850-х годов на Кавказе.

Дюма верно отметил характерную особенность основного промысла кизлярцев — виноделие. В 1888 году здесь, впервые в России, был открыт коньячный завод.

Кизляр — своеобразный оазис средь бесконечной степи. Так было по описанию Дюма и в ноябре 1858 года. Я приехал во второй половине декабря, погода мало отличалась от ноябрьской: дождь, мокрый снег, ветер…

Из Кизляра Дюма направился в Шуковую — переправился на другой берег Терека, миновал станицу Щербаковскую, казачий Сухой пост и вскоре оказался в Шуковой, что находится, как сообщал писатель, в 500 шагах от Терека.

Что же это такое Шуковая? Где она расположена?

Не пытайтесь искать ее на современной или любой старой карте: Шуковая не существовала. Выходит, Дюма придумал ее, эту Шуковую? Не будем спешить с выводами…

Прочитать французское написание этой станицы можно по-разному: и Шуковая, и Щуковая — все будет правильно. Может быть, Дюма именовал Шуковой (Щуковой) какую-нибудь станицу со сходным по звучанию названием? Ведь русского он не знал, и поэтому его могли легко ввести в заблуждение.

Существует ли такая станица? Да, существует. Это станица Шелковая или ныне Шелковская (раньше ее называли Шелкозаводской), расположенная на берегу Терека. От Шелковой до Червленной 11,5 верст, т.е. около 15 км. В период пребывания в тех краях Дюма в Шелковой был расквартирован Белостокский пехотный полк.

Все сходится: Щуковая это Шелковая. Дюма допустил лишь некоторую неточность в написании.

Шелковая и Червленная — это Чечено-Ингушетия, не Дагестан.

В книге С. А. Шерипова предпринята попытка рассказать о пребывании Дюма в этих краях.

Хотелось бы обратить внимание на то, что книга «Кавказ» — не дневник, полностью отражающий все эпизоды поездки. В «Кавказе» рассказывается лишь о том, что может быть интересно читателям, поэтому о своих, сугубо личных делах Дюма, естественно, не информирует. И это дает пищу домыслам. Один из них приводит С. А. Шерипов.

Когда Дюма приехал в Червленную, ему поднесла хлеб-соль самая красивая девушка станицы — по имени Ульяна. Ее отец был уважаемым казаком. Что произошло между Дюма и Ульяной, как он смог зажечь в ее сердце любовь, это мы, естественно, никогда уже не узнаем. Через несколько дней после встречи с Дюма Ульяна объявила отцу, что любит француза и уходит с ним. Разъяренный отец схватил ремень, но…

Ульяна переселилась к Дюма. Она не стыдясь показывалась с ним на людях. Ее осуждали — Дюма лишь посмеивался.

Но вот Дюма покинул Червленную и отправился в Дербент. Там отец Ульяны догнал дочь и силой возвратил в село.

В 1859 году у нее родилась дочь, которую в честь отца нарекли Александрой (Саной). Односельчане не простили Ульяне ее легкомыслия. Ульяна, вынужденная уйти из

отцовского дома, выходит замуж за чеченца. В 1877 году ее дочь Александра, как и мать, становится женой чеченца. Вскоре вместе с мужем ее высылают в Тамбовскую область. Царское правительство переселяло туда непокорных жителей гор.

У Александры было три сына. В 1920 году, когда в Тамбовской губернии вспыхнула антоновщина, многие из потомков сосланных чеченцев воевали на стороне красных. Двое сыновей Александры погибли в этой войне. Третий — Дмитрий, родившийся в 1880 году, — перед второй мировой войной приезжал в Грозный, где он всем демонстрировал драгоценный перстень, подаренный его бабушке Ульяне заезжим французом. Как сложилась его судьба и судьба двух его дочерей, С. А. Шерипов не сообщает.

Первое впечатление, что это все россказни для легковерных. Кто внимательно прочитал «Кавказ», помнят, что никто в Червленной не встречал Дюма хлебом-солью, что пробыл он в этой станице один-два дня — не больше, и никаких упоминаний о какой-нибудь женщине нет.

Евдокия Догадиха, к которой ехал Дюма, вероятно, местная любвеобильная красотка. Но Евдокия давно умерла, а родители ее выпроводили французов восвояси.

История с Ульяной и ее дочерью Александрой на фоне всего этого не может не показаться выдумкой. Ясно, что «Кавказ» не книга протоколов научных опытов, она не обязана отражать все, что случалось с Дюма. Для «Кавказа» Дюма, разумеется, отбирал лишь факты, работающие на книгу. И проверяем мы лишь то, что зафиксировано в «Кавказе», а не то, о чем автор умолчал.

Все это так.

Но…

В 1960 году студентом медиком я был на практике в Тамбове. И вот от кого-то из тамбовчан я услышал, что в бытность свою на Кавказе Дюма влюбился в горянку, родился ребенок, а потомки чеченки где-то в этих краях. Слышал я это лет за двадцать до выхода книги С. А. Шерипова, о существовании «Кавказа» я тогда и не догадывался, и когда прочитал обо всем этом у С. А. Шерипова, то нисколько не удивился. Стало быть, правда или легенда о русском ребенке Дюма были не внове.

Из Червленной Дюма вернулся в Шелковую, оттуда отправился в Хасав-Юрт, а затем в Андрей-аул, что в 5 км от Хасав-Юрта. Впритык к Андрей-аулу расположены развалины крепости Внезапной. Потом Дюма оказался в Чир-Юрте (сейчас Кызыл-Юрт).

В 1839 и 1840 годах здесь останавливался М. Ю. Лермонтов и создал зарисовку «Переправа через Сулак» и картину «Перестрелка в Дагестане». Дюма не видел этих картин, но о том, что он едет по следам великого поэта, слышал наверняка.

В журнале «Исторический вестник» за 1903 год печатались записки 70-летнего А. П. Оленина, за сорок пять лет до того жившего на Кавказе, «Александр Дюма в «Орлином гнезде». Эти записки мало известны современному читателю, поэтому приведем выдержки из них.

Что такое «Орлиное гнездо?». Это месторасположение Нижегородского драгунского полка в селе Чир-Юрт. Автор в это время был командиром охотничьей команды полка.

«На площади, среди слободки стоял большой дорожный тарантас, прибывший с оказией. В нем на мягких подушках помещалась вальяжная фигура, которая сразу показалась мне знакома. Лицо какого-то светлопепельного цвета, курчавые короткие волосы такого же оттенка; одежда — ополченский кафтан с двумя звездами по обеим сторонам груди. Рядом с фигурой виднелся юноша, плохо болтавший по-французски, с еврейским типом лица. Заинтересованный странной личностью, осанисто развалившейся на подушках, я подошел и спросил у юноши еврейского типа по-русски, кто это приехал. На это на ломаном русском языке я получил ответ, что это путешествует французский генерал Дюма; что он очень огорчен тем, что в Хасав-Юрте, штаб-квартире знаменитого Кабардинского полка, у него пропала любимая собака, за находку которой он сулил щедрую награду.

— Это собаку кличут Дюмой, — добавил слезший с козел курьер, — а сами «они» генерал.

Я сразу сообразил, этот генерал не кто иной, как знаменитый французский писатель Александр Дюма, и понял, почему фигура показалась мне знакомой: портреты автора «Трех мушкетеров» были в то время распространены везде».

Дюма остался жить у автора заметок, проведя в Чир-Юрте не более двух дней. Писатель вызывал у всех чувство бесконечной симпатии.

Командир полка А. М. Дондуков-Корсаков устроил прием в честь Дюма. На приеме Дюма сказал: «Никогда в жизни я не забуду ваше радушное гостеприимство — эту чисто русскую добродетель».

Дюма рвался в бой. Мемуарист замечает: «Не могу забыть его полудетский восторг, когда он узнал, что далее, на пути в Темир-Хан-Шуру, он проедет совсем близко от… ущелья, что оказия пойдет неприятельской землей, под усиленным конвоем, и что лучше всего — возможно, что будет и перестрелка…»

Затем гость в составе оказии отправился в Темир-Хан-Шуру.

«Александр Дюма, сначала севший в тарантас, пожелал перейти на коня. Окруженный многими из нас, отправившимися проводить его, он уверенно ехал на добром иноходце, отдаваясь не покидавшему его восторженному настроению.

Никем не тревожимая оказия спокойно прошла несколько верст; вдруг послышались выстрелы в авангарде. Вихрем вынеслись вперед наездники-драгуны и казаки. Справа и слева в некотором отдалении показались конные чеченцы. Дюма словно преобразился. Во весь опор вынесся он с нами вперед, туда, где завязалась лихая кавказская перестрелка. То наскакивая, то удаляясь, горцы перестреливались с нашими.

Курились дымки выстрелов. Пули щелкали, долетая до самого обоза. Во все время схватки Дюма сохранял полное самообладание и с восхищением следил за отчаянной джигитовкой казаков, за смелыми наскоками лихих драгун на неприятеля. Вскоре горцы увидели, что не могут вследствие своей малочисленности затеять серьезное дело и, обменявшись выстрелами, ускакали восвояси. У нас, к счастью, убитых не оказалось: были только ранены казак и лошадь».

Следующим пунктом путешествия Дюма была Темир-Хан-Шура.

23 декабря 1984 г. я отправился в Буйнакск. Этот город расположен примерно в 45 км от Махачкалы. Шел дождь, временами переходящий в снег. Когда мы приблизились к перевалу Атлыбуюн, стало совсем холодно, снег лежал толстыми пластами, будто здесь ничего, кроме холодной зимы, не бывает.

Перевал позади. Стало значительно теплее, и когда мы въехали в Буйнакск, было солнечно, тепло — настоящая московская весна.

В 1966 году исполнилось 100 лет со времени объявления Темир-Хан-Шуры городом. Сейчас здесь проживает более 50 тысяч жителей.

Меня особенно интересовала одна из школ. Это — школа имени Героя Советского Союза подводника Магомета Гаджиева. Родной брат Героя Булач Имадутдинович Гаджиев преподает в школе историю. Заслуженный учитель Дагестана и РСФСР, Булач Гаджиев известен и как краевед, писатель. Автор 14 книг и множества статей по истории родного края, он опубликовал несколько очерков о пребывании Дюма в Дагестане и даже написал пьесу «А. Дюма ищет Хаджи-Мурата». В октябре 1966 года по инициативе Б. И. Гаджиева в Буйнакске в доме на углу улиц Хизроева и Ленина, была открыта мемориальная доска в память о Дюма, жившем когда то в этом доме.

Решив убедиться в этом собственными глазами, я поехал в Буйнакск. С замиранием сердца приближался к зданию городского ЗАГСа. А где же доска? Что-то не видно доски.

Доска на самом углу. Доска как доска, без трещин, без вмятин. Только ее давно не чистили, поэтому была незаметна на фоне стены. Набрав в носовой платок снег, я стал тереть доску. Вскоре доска засияла в лучах солнца. На ней было начертано: «В этом доме И. Р. Багратиона в 1858 г. останавливался французский романист А. Дюма». Теперь здесь ЗАГС, художественная мастерская, бильярдная, что-то еще. А прежде жил И. Р. Багратион — племянник П. И. Багратиона. Был он командиром расквартированного здесь Дагестанского

конно-иррегулярного полка, штаб полка тоже помещался в этом доме. Читатели помнят, как восторженно отзывался о Багратионе Дюма. Писатель еще не знал, что очень скоро — 7 июня 1860 года — Багратион и его слуга будут убиты, но словно предчувствуя это, Дюма поставил ему «Кавказом» памятник — словесный, но более крепкий и долговечный, чем из камня.

В 1853 году в селе Нижний Дженгутай была открыта первая в Дагестане русская школа для детей горцев. Учеников было 30. Открыл школу врач Иван Семенович Костемировский. Умер Иван Семенович в 1891 году, а память о нем жива и поныне, в 1963 году в Буйнакске ему установлен памятник. Но не многие знают, что если бы не содействие И. Р. Багратиона, школа в Нижнем Дженгутае вряд ли была бы открыта.

Живет в Тбилиси писатель Михаил Юрьевич Лохвицкий. Еще не будучи знаком с ним лично, я знал, что его судьба имеет прямое отношение к теме нашего очерка. Потом, когда мы познакомились, М. Ю. Лохвицкий рассказал о своих предках (более подробно читатель может узнать о них из романа М. Ю. Лохвицкого «Громовый гул», посвященного горской войне. Настоящая фамилия писателя — Аджук-Гирей. Его черкесский дед, родители которого погибли в годы горской войны, попал в одну из школ, созданных русскими для осиротевших детей горцев. Мальчик оказался смышленым, не захлебнулся в водовороте событий, вышел в люди.

Вот как продолжилась линия, начатая много десятилетий назад. Может, и учился маленький Аджук-Гирей в той самой школе, в создании которой принимали участие И. Р. Багратион и мой коллега доктор Костемировский, или в какой-нибудь похожей. В наши дни об Иване Багратионе вспоминают редко. Иногда его путают с родным братом Петром Романовичем Багратионом (1818–1876) — генералом, выдающимся металлургом, либеральным губернатором Твери и Прибалтики[288].

Вот стертые ступеньки, по которым (или по их предшественницам?) входил в этот дом Дюма. Вот окна, из которых он смотрел на Темир-Хан-Шуру. Вот деревья, которые во времена Дюма были, наверное, совсем молоденькими. Вроде бы все по-прежнему, и в то же время все неузнаваемо изменилось. Фактически Буйнакск новый город, заново выстроенный после землетрясений 1970–75 годов.

В «Кавказе» часто упоминаются события горской войны. Не коснуться их Дюма не мог.

Первым имамом Чечни и Дагестана был Кази-Мулла или иначе Гази-Мухаммед. Дюма правильно передает психологический облик этого незаурядного человека. В советской исторической литературе отношение к Кази-Мулле однозначное: его ценят как организатора, сумевшего за сравнительно короткое время поднять массы горцев на борьбу за независимость.

17 октября 1832 года русские осадили Гимры. Вот как сообщает о последних минутах Кази-Муллы «История Дагестана» (т. 2, М., 1968, с 90): «Умереть, нападая на врага, лучше, чем быть убитым дома», сказал Гази-Мухаммед и выскочил из башни, в которой сидел с двенадцатью мюридами» (среди них был и Шамиль). Кази-Муллу тут же закололи.

Фигура Кази-Муллы обычно заслоняется Шамилем, который шел по его стопам. Шамиль, конечно, был незаурядным организатором и мужественным человеком. Хотя в его отдельных поступках и проступает мощный честолюбивый импульс, лишь совпавший со свободолюбивыми импульсами масс, все же нельзя не отдать ему должное. Его деятельность с годами стала окрашиваться в мифологические и легендарные тона. Дюма уловил все это и довольно четко и точно вырисовал портрет Шамиля.

Я побывал в Гимрах, где родился Шамиль и где похоронен Кази-Мулла. Вряд ли я

---

[288] В Государственном архиве Калининской области (ГАКО) мы обнаружили два документа о деятельности брата героя «Кавказа»: «Формулярный список о службе губернатора П. Р. Багратиона» (ф. 466, оп. 3, ед. хр. 903) и «Дело о присвоении тверскому губернатору П. Р. Багратиону звания почетного гражданина гор. Твери» (ф. 56, оп. 1, ед. хр. 2972, л. 1–7)».

найду слова, выразительнее тех, которыми пользовался Дюма, описывая впечатления от Гимринского ущелья. Это, действительно, незабываемое зрелище. Нынешние Гимры, как и другие старинные селения Дагестана, мало похожи на те, что были 125 лет назад. Несколько больше следов прошлого сохранилось в Гунибе — месте пленения Шамиля. Жаль, что Дюма не побывал в этом древнем ауле: он бы произвел на французского писателя неизгладимое впечатление.

У восставших горцев было четыре столицы: Ахульго, Дарго, Ведено, Гуниб. Когда русские войска захватывали одну столицу, горцы объявляли ею другой аул. Это высокогорные неприступные селения, добраться до которых было чрезвычайно трудно, почти невозможно. Но русские войска под предводительством опытных военачальников добирались куда угодно, постепенно сужая кольцо вокруг Шамиля.

Когда Дюма путешествовал по Дагестану, судьба Шамиля была предрешена, в руках восставших остался лишь Гуниб. А что и он очень скоро будет занят, сомневались лишь немногие. Шамиль же верил в свою счастливую звезду, надеясь, что вот-вот наступит длительное перемирие. Среди местного населения сохранялось поверье, будто существует международное правило, согласно которому, если мятеж длится четверть века и его не удается подавить, государство прощает восставшим грехи и отпускает мятежников на все четыре стороны. Шамиль воевал уже двадцать четыре года одиннадцать месяцев и семь дней… До двадцатипятилетнего юбилея борьбы Шамиля с царскими войсками оставалось несколько недель, и Шамиль думал отсидеться в Гунибе, надеясь на прощение…

Из Темир-Хан-Шуры Дюма направился в Дербент. По пути он видел знаменитый песчаный бархан Сарыкум. Примерно в 100 км к северу от Дербента расположен небольшой поселок Новокаякент. Тут похоронен академик Гмелин, которого Дюма неоднократно упоминает.

Дербент — необыкновенно привлекательный город, расположенный в самом узком месте между горами и морем. Дюма описал Дербент очень достоверно, будто жил в нем долгие годы. И цитадель на вершине горы (Нарын-Кала), и идущие от старого города две городские параллельные стены, уходящие в море на два-три километра, и Кавказская стена, длиной в сорок километров — это и многое другое очень верно отмечено писателем. Нет только могилы Ольги Нестерцовой — надгробие, якобы, было выставлено в местном Краеведческом музее; музей разрушился, и экспонаты разместили в разных местах. Мне говорили, что надгробие сохранилось, но его я так и не увидел, хотя и потратил немало времени на его поиски. Место захоронения несчастной возлюбленной Бестужева-Марлинского теперь уже никому не известно. Неподалеку от Нарын-Калы сохранился домик, где жил Марлинский.

В 1888 году известный журналист Василий Иванович Немирович-Данченко посетил Дербент и вновь услышал от местных жителей версию гибели О. Нестерцовой, версию, уже знакомую нам со слов Дюма.

Историк Дагестана Е. И. Козубский в 1906 году опубликовал фундаментальную «Историю города Дербента», в которой выражает несогласие с мнением о причастности Бестужева-Марлинского к убийству Нестерцовой. В 1906 году, сообщает Е. И. Козубский, памятник О. Нестерцовой еще стоял на дербентском кладбище.

Уже в Тбилиси мне встретилась книга: «Путеводитель по Кавказскому Военно-историческому музею. Изд. 4-е». Вышла она в 1913 году в Тифлисе. На странице семьдесят первой я прочитал, что среди экспонатов музея под номером двести семьдесят четыре хранилась трехгранная каменная призма с могилы Ольги Нестерцовой, на призме были выбиты стихи Дюма. Итак, до революции призма со стихами Дюма находилась в Тифлисе, потом исчезла. Куда? В дагестанских музеях ее нет. А в Тбилиси?

Ни в одном тбилисском музее я не нашел ее следов. Но неужели не сохранились хотя бы фотографии памятника несчастной Ольги? Ведь кто-то же должен был заснять памятник! Жаль, что я не увидал фотоколлекцию графа Ностица. Судя по упоминаниям в специальной

литературе, граф был неплохим фотографом и старался не пропустить возможность запечатлеть события.

Жил в Тифлисе его замечательный летописец Дмитрий Иванович Ермаков (1856–1916). Он запечатлел почти все, что только можно было сфотографировать на Кавказе, создав уникальную фотоколлекцию из нескольких десятков тысяч негативов.

Я пошел в фототеку Музея искусств Грузинской ССР. Мне показали ермаковскую сокровищницу. Многочасовые поиски, и мы у цели. Я не мог скрыть волнение — у меня в руках редчайшая фотография могилы Ольги Нестерцовой. Наконец-то!

Из Дербента путь Дюма лежал в Баку. В Баку остались места, о которых Дюма пишет. Посетим некоторые из них.

Храм огнепоклонников в Сураханах Дюма описал исчерпывающе. Азербайджанское название храма — Атешгях. Атешгях воспринимается как памятник и символ советско-индийской дружбы. Действительно, находясь в Сураханах, нередко забываешь, что ты не в Индии: вокруг надписи на хинди, индийские орнаменты, часто повторяемое слово «Индия». Редкий турист, приехавший в Азербайджан, не посетит Атешгях. А посетит — на всю жизнь запомнит это экзотическое место. Как запомнил его и Дюма.

До середины XIX века Баку был грязный и нищий городок, продуваемый каспийскими ветрами и засыпаемый песками. В год посещения его Дюма здесь проживало около 14 тысяч жителей.

Сейчас этих ужасов нет. Баку красив, озеленен, воздух тут чистый и свежий. Город-сад, город-жемчужина. Вода в Бакинской бухте чистая, есть много прекрасно оборудованных пляжей. В летние дни здесь яблоку негде упасть. Сейчас в этих местах создана курортная зона.

Дюма красочно описывает, как в честь его прибытия подожгли море. Возможно ли такое? Специалисты подтвердили, что теоретически возможно.

Из Баку Дюма отправил в Париж письмо.

«Баку — бывшая Персия, ныне
Азиатская Россия.

Дорогой Мери!

Я прочел в одной русской газете, что в Париже и даже во Франции распространился слух о моей смерти и что этот слух огорчил моих многочисленных друзей. Газета забыла прибавить, что это самое известие обрадовало моих многочисленных врагов, но это само собой понятно. Однажды вы уже опровергли от своего имени подобное сообщение обо мне; в этот раз напечатайте от моего имени, что я не так глуп, чтобы расстаться с жизнью столь преждевременно.

Мне было бы тем более тягостно, мой друг, прервать путь во Францию, что я совершаю чудное путешествие, такое чудное, что если бы я действительно умер, то готов был бы являться ночью, чтобы рассказывать — подобно св. Бонавентуре, который, правда, в сравнении со мной имел преимущество быть святым, что значительно облегчает восстание из мертвых — являться, чтобы продолжать мои прерванные мемуары.

Пишу вам из Персии, из России, не знаю — откуда, вернее из Индии.

Друг мой, я нахожусь в самой настоящей Персии. Сейчас Зердуст, Зорадот, Зеретостро-Зароастр, наконец, смотря по тому, как вы хотите его именовать — по-персидски, по-пехлевски, по-зендски или по-французски — мой пророк, а огонь, окружающий меня, — мое божество. Подо мной земля горит, надо мной вода горит, вокруг меня воздух горит, все это могло дать повод к уверенности, что не только я уже умер, но даже подобно Талейрану, нахожусь уже в аду.

Объяснимся: злые языки могут утверждать, что я нахожусь здесь за свои грехи, тогда как я здесь для своего удовольствия.

Вам, дорогой Мери, всезнающему, известно также, что Баку, благодаря своим нефтяным колодцам, почитается гебрами как место священное. Эти колодцы представляют собой нечто вроде предохранительных клапанов, позволяющих Баку относиться пренебрежительно к землетрясениям, опустошающих его соседку — Шемаху; и так, я нахожусь среди этих колодцев, из которых около 60 объято пламенем вокруг меня и имеют вид вулканов, ожидающих по распоряжению общества «Кокорев и К°» превращения в свечи. Титан Анселад собирается намалевать вывеску, титан становится бакалейщиком, — что ж тут такого, — во Франции бывают эпохи, когда бакалейщики становятся титанами, — во всяком случае, нет ничего более оригинального, как этот пылающий храм, который я видел вчера, если не считать этого пылающего моря, виденного мною сегодня.

Представьте себе, мой друг, что эти самые газы, проходящие по трубам в 5 тысяч лье и воспламеняющиеся на поверхности земли, чтобы подогреть труп гебрской религии, проходят тот же путь плюс 15 или 20 футов через воду, чтобы воспламениться на поверхности моря.

Все это было совершенно неизвестно, замечали только кипение в волнах, вызывавшее всеобщее недоумение, — чувствовали запах нефти, точно в вестибюле Этны или в коридоре Везувия, до тех пор, пока один неосторожный капитан, плавающий среди этих вихрей, измерявший глубину вод и принимавший это явление за миниатюрный Мальстрем, не бросил в воду зажженную бумагу, которой он закуривал сигару; море, ожидавшее в продолжение 5 тысяч лет этого воспламеняющего момента, загорелось на протяжении полулье, и капитан, воображавший себя на Каспии, оказался на Флегетоне. К счастью, подул с запада ветерок, давший возможность спастись от громадного морского котла, в котором варится суп из осетрины и тюленей.

Сегодня вечером мы повторили опыт — море проявило свою обычную любезность и дало нам бесплатный спектакль при свете бенгальского огня. В это время, довольно фантастическое, я записал кое-что, а Муане набросал несколько рисунков. Но, чтобы попасть в этот рай Брамы, надо было переправиться через мост Магомета, то есть через Кавказ. Мы перерезали территорию Шамиля и дважды имели случай обменяться ружейными выстрелами со знаменитым предводителем мюридов. С нашей стороны убиты три татарина и один казак, а с его стороны — 15 черкесов, с которых только сняли оружие и побросали трупы в яму. Муане воспользовался случаем и сделал на них бесплатно несколько анатомических исследований — скажите его жене, что муж ее умеет быть экономным.

Странная машина — человеческий мозг! Знаете ли, чем занимался мой ум за это время? Невольным воспоминанием и невольным переводом на французский язык подобия оды Лермонтова, с которой меня познакомили в Петербурге и о которой я даже совершенно забыл. Ода называется «Дары Терека» и так как имеет чисто местный характер, то я присылаю ее вам.

Вот она! (далее следует перевод «Даров Терека» на французский язык).

Стихи! Вы уж, конечно, не ждали, не правда ли, получить от меня стихи из Персии? Что ж, дражайший Мери, вы всегда были посвящены в мои поэтические грезы. В 1827 году — о, наша несчастная юность, где ты? — в 1827 я декламировал вам стихи «Кристины» на площади Лувра, в 1836 я вам декламировал стихи «Калигулы» — это было на Орлеанской, в 1858 году я вам декламировал стихи «Ореста» на Амстердамской улице — в будущем году я вам пришлю их из Африки, из Иерусалима или из Хартума, потому что порок путешествий, дорогой Мери, заключается в непреодолимой потребности путешествовать.

Правда, здесь я путешествую по-княжески. Русское гостеприимство великолепно, подобно золотым рудникам Урала. Мой эскорт составляли почти 500 человек под предводительством трех татарских князей.

Дорогой Мери, поезжайте со мною в будущем году. Ваше истинное отечество — Восток. Индия дала расцвет вашего лучшего романа, Египет дал созреть вашим лучшим стихотворениям. В голове вашей или, вернее, в сердце вашем 5 или 6 романов и 8 или 10 тысяч подобных стихотворений, ожидавших вырваться на волю, — откройте же клетку этих прелестных птиц, и я, мой друг, не замедлю крикнуть им «Дети любимого мною отца, летите

и будьте счастливы!»

До свидания, милый друг, вспоминайте иногда о том, кто часто вспоминает вас.

А. Дюма

25 ноября 1858

при 25 градусах жары».

Следующий пункт путешествия Дюма — Нуха, с 1968 года именуемая городом Шеки. До 1819 года Нуха была столицей Шекинского ханства, по сей день здесь сохранились караван-сараи, мечети и т. д. Их видел Дюма, но самая интересная его встреча в Нухе была не с памятниками старины…

Что это за вундеркинд, которым там восторгался Дюма? Как сложилась его жизнь?

Впервые его имя я услышал, будучи студентом. Чуть ли не на каждом занятии упоминался Иван Рамазович Тарханов (1846–1908) — выдающийся русский физиолог.

Он и был тот самый мальчик…

И. Р. Тарханов[289] родился в Тбилиси. Он носил старинную грузинскую фамилию. Иван Рамазович — потомок знаменитого военного и государственного деятеля Грузии Георгия Саакадзе (1580–1629). У Саакадзе было три сына. Лишь от третьего сына остались потомки. Единственный сын старого служаки Рамаза Тархан-Моурави, Иван, с раннего детства проявлял удивительные способности.

В 1863 году молодой человек был зачислен на физико-математический факультет Петербургского университета, через год его исключили за невнесение платы за слушанье лекций. С 1 сентября 1864 года Тарханов слушатель Петербургской медико-хирургической академии. Труды И. М. Сеченова стали настольной книгой студента-медика. Тарханов окончил академию, в 1871 году защитил диссертацию на степень доктора медицины и уже до конца своих дней занимался физиологией. Это был прогрессивный ученый, человек благородный и добрый, известный популяризатор науки.

Его перу принадлежат статьи «Внушение», «Гипнотизм и чтение мыслей» и «Телепатия и беспроволочный телеграф», напечатанные в 1905 году в журнале «Знание и жизнь»; они вызывают интерес и сегодня.

И. Р. Тарханов был дружен со многими писателями и художниками, в частности, с И. Е. Репиным, дважды портретировавшего выдающегося ученого.

В 1905 году умерла его жена, врач-невропатолог М. М. Манасеина. И. Р. Тарханов женился на художнице Елене Павловне Антокольской (1868–1932) — племяннице скульптора Марка Антокольского.

Академик Тарханов похоронен в Александро-Невской лавре. Проект памятника на его могиле принадлежит Е. П. Антокольской.

Внучка И. Р. Тарханова Бронислава Вилимовская — известный польский график и живописец. Она живет в Варшаве. В дни Варшавского восстания была тяжело ранена, потеряла правую руку, уже после войны научилась писать левой. В 1984 году приезжала в Москву на свою персональную выставку…

Об Иване Тарханове можно говорить много, но это далеко бы увело нас от темы очерка. Остается лишь подивиться и порадоваться необыкновенной проницательности Дюма, предсказавшего большое будущее маленькому Ивану.

Нуха — это уже скоро Тбилиси. И тут мое сердце бьется сильнее, чем обычно: я думаю о Грузии. Как в любимой женщине, мне все в ней нравится. Восхищаюсь рыцарством грузин, их мушкетерством. Здесь всегда окружат заботой, здесь всегда развеят печаль …

---

[289] Некоторые биографические сведения о И. Р. Тарханове мы почерпнули из книг К. Д. Эристави и Е. М. Севенской. «И. Р. Тархнишвили», Тбилиси. 1953; М. Г. Саакашвили, «И. Р. Тархнишвили (Тарханов)». Тбилиси, 1963; И. Е. Репин «Письма к Е. П. Тархановой-Антокольской и И. Р. Тарханову». Л — М., 1937 г. и др.

В общем, о Грузии — о своей сердечной привязанности к ней — я могу рассуждать много…

За годы Советской власти в Грузии все переменилось, все, кроме национальной психологии самих грузин, их искусства, их любви к жизни, их верности слову и дружбе — словом, не изменилось все то, что так восхищало Дюма. Для Дюма, воспринимавшего жизнь как бесконечный и ликующий праздник человеческой солидарности, современная Грузия стала бы еще большим олицетворением жизнеутверждающего подхода к бытию…

Итак, Дюма поехал в Тифлис. Жаль, что он не посетил Телави, один из центров Алазанской долины.

По дороге в Тифлис (так именовался Тбилиси до 1936 года) находится Цинандали — об этом селении писатель вспоминает в «Кавказе». Сюда часто совершали набеги горцы. Сейчас же горы не разъединяют, а соединяют Дагестан и Грузию.

Цинандали принадлежало семье Чавчавадзе. Глава семейства Александр Чавчавадзе — поэт и общественный деятель. У него было три дочери — Нина, Екатерина, Софья и сын Давид. Они упоминаются в «Кавказе».

Биографии Нины и Екатерины Чавчавадзе известны: едва ли не каждый читатель знает, что Нина была женой А. С. Грибоедова. Ее сестра Екатерина (1816–1882) воспета Николозом Бараташвили — она стала женой последнего владетеля Мингрелии Давида Дадиани. Ее сын Николай Дадиани, в 1867 году отказавшийся от своих прав владетеля Мингрелии, женился на дочери министра двора графа Адлерберга и переехал в Петербург. Брат его Андрей — один из родоначальников грузинской шахматной школы. Судьба Саломе — сестры Николая и Андрея — тоже была весьма необычной.

После 1867 года Е. А. Дадиани переселилась в Париж. Там ее дочь Саломе выходит замуж за Шарля-Луи-Наполеона — Ашиля Мюрата (1847–1895) — внука наполеоновского маршала. Супруги переехали в Зугдиди и привезли с собою много личных вещей Наполеона и Мюрата, они поныне хранятся в Зугдидском краеведческом музее.

Менее известна жизнь Софьи Чавчавадзе.

На страницах «Кавказа» читатель неоднократно сталкивался с баронами Николаи. Это два брата — Александр (родился в 1821 году) и Леонтий (1820–1891). Оба генералы, оба участники горской войны.

Александр Павлович Николаи (женатый на Софье Чавчавадзе) в середине 1850-х годов был попечителем Кавказского учебного округа, потом стал сенатором, министром народного просвещения. Свою карьеру начал в Одессе при М. С. Воронцове (дед братьев Николаи — писатель Андрей Львович Николаи, воспитатель будущего императора Павла I, был дружен с С. Р. Воронцовым), с 1848 года был начальником походной канцелярии кавказского наместника. Мы его уже встречали, когда шла речь об обмене пленных княгинь на Джемал-Эддина.

Сложна была жизнь его брата. Он служил на Кавказе, был командиром Кабардинского полка, генерал-лейтенантом. Но потом вдруг ушел из армии, переселился во Францию, стал католическим монахом и умер в картезианском монастыре, что в Гренобле. Как сообщает «Словарь кавказских деятелей» (Тифлис, 1890 г., с. 58), братья Николаи были внуками знаменитой писательницы Жермены де Сталь и правнуками министра финансов Людовика XVI швейцарца Жана Никкера (1733–1804).

Таким образом, семейство Чавчавадзе имело отношение к Франции.

Естественно, что писателя горячо заинтересовала история похищения грузинских княгинь, наделавшая много шума в Европе. Для Дюма была важна не только событийная сторона, но и ее психологический аспект. Как писателя его прежде всего интересовало все то, что будоражило человеческие сердца. Героическое поведение несчастных пленниц Шамиля, история их освобождения, это ли не готовая повесть?

…И вот Дюма в Тифлисе. Его заметки навсегда запечатлели для потомков облик этого замечательного города, сыгравшего такую большую роль в истории нашей культуры.

Недалеко от дома, в котором жил Дюма в Тифлисе, находится другой дом, оставивший

след в литературной биографии Грузии. На улице Галактиона Табидзе (бывшая Гановская) в доме 20 с давнишних времен проживали представители рода Смирновых. Особенно прославила его Александра Осиповна Смирнова-Россет — друг Пушкина и Гоголя. Эта незаурядная женщина принадлежала к роду Цициановых, о которых пишет Дюма при посещении Баку. В этой квартире хранились мебель времен Пушкина и Дюма, много книг, рукописей. Не знаю, посещал ли этот дом Дюма, но независимо от того, бывал ли здесь французский писатель или нет, хранитель коллекции М. Г. Смирнов мог располагать какими-то семейными преданиями о пребывании Дюма в Тифлисе.

Дюма указывает, что Фино жил на Царской улице. Такая не упоминается ни в одной из книг, в которых есть названия тифлисских улиц. Была Баронская улица, Ханская, Графская, но только не Царская (возможно, Царская — название неофициальное, так назвал улицу народ, а не адресные книги). Где находилась канцелярия Фино, нам тоже не известно. Секретарем консульства был барон Трамазюр, имелся, вероятно, и штат консульских работников. После отъезда Дюма Фино недолго жил в Тифлисе. Уже в «Кавказском календаре на 1866 год» мы читаем, что консулом Франции стал герцог Ислийский Бюжо.

В период пребывания Дюма в Тифлисе он, возможно, встречался и с Адольфом Петровичем Берже (1828–1886). Сын французских дворян, эмигрировавших в Россию в 1805 году, Берже окончил восточный факультет Петербургского университета и с 1851 года жил в Тифлисе, работая чиновником в управлении кавказского наместника. Берже прославился как географ, археолог, историк. Перечень его трудов очень велик. Не исключено, что Берже снабжал писателя нужной ему информацией.

С кем еще из представителей тифлисской интеллигенции общался Дюма, нам неизвестно, но в «Кавказе» он упоминает многих. В частности, он пишет о Владимире Александровиче Соллогубе (1813–1882), который с 1850 года жил в Тифлисе, был директором местного «Камерного театра», входил в число учредителей Кавказского отдела Русского географического общества. Приехав на Кавказ уже известным писателем, автором знаменитого «Тарантаса», высоко оцененного В. Г. Белинским, Соллогуб стал одним из самых заметных представителей тифлисской интеллигенции. На кавказском материале он создал ряд прекрасных произведений, среди которых выделяется «Ночь перед свадьбой, или Грузия через 1000 лет», напечатанная в альманахе «Зурна». Выступал и как театральный критик и публицист. До конца своих дней поддерживал теплые отношения с кавказской интеллигенцией.

Дом Соллогуба в Тифлисе был одним из центров культурной жизни Грузии. Большую роль в создании творческой и дружественной атмосферы в кругу тифлисской интеллигенции, группировавшейся вокруг Соллогуба, играла его жена Софья Михайловна Виельгорская — та самая, которой Лермонтов посвятил «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Есть речи — значенье…» и другие стихи. Соллогуб принял активное участие в создании в Тифлисе театратого самого, что вызвал восхищение Дюма.

В 1851 году было завершено строительство караван-сарая Тамамшева. В здании караван-сарая архитектор Скудиери построил театральный зал на 700 человек. Тамамшев предложил использовать зал для концертов и театральных представлений. В. А. Соллогуб порекомендовал М. С. Воронцову пригласить Итальянскую труппу, гастролировавшую по югу России. 9 октября 1851 года труппа в составе двадцати четырех человек прибыла в Тифлис и через месяц дала первый спектакль. Шла «Лючия ди Ламмермур». Присутствовал «весь Тифлис» — скорее можно перечислить тех знаменитостей, которых здесь не видели в этот вечер. Тут был и никому тогда не известный Лев Толстой, с интересом наблюдавший за переметнувшимся к русским Хаджи-Муратом, тоже здесь находившимся. Через полвека Толстой создаст замечательную повесть об этом незаурядном человеке.

Интерьер театра оформил Г. Г. Гагарин. Дюма описал интерьер абсолютно точно.

В 1854 году под предлогом начала Крымской войны Н. Н. Муравьев закрыл театр. Большинство артистов, оркестрантов и обслуживающего персонала осели в Тифлисе, пооткрывали магазины, швейные мастерские, танцевальные классы, давали уроки

вокального искусства и итальянского языка. Например, прабабушка замечательной киноактрисы Нато Вачнадзе (1904–1953) — итальянская певица той самой труппы.

С прибытием в Тифлис Барятинского начался самый плодотворный период в деятельности Итальянской оперы на Кавказе. Были приглашены новые исполнители (многих из них упоминает Дюма), среди которых Тереза Штольц (на протяжении многих лет подруга Д. Верди; см.: Ласло Эсе «Если бы Верди вел дневник…», Будапешт, 1966 г.), Леонильда Феррари и другие.

Несмотря на то, что итальянцы исполняли только итальянские оперы, в концертах они пели и грузинские песни.

11 октября 1874 года, незадолго до начала спектакля (давали «Норму» Беллини) театр загорелся. Пожар возник в одном из магазинов караван-сарая и перекинулся на театр…

Через час от театра не осталось и следа. Сгорело все, что не успели спасти актеры, кстати, героически боровшиеся с огнем. Человеческих жертв не было. Погибли декорации, костюмы, традиции. Итальянский театр перестал существовать. Его сменила русская опера.

Документов об Итальянском театре почти не сохранилось. Поэтому книга Дюма — важнейший источник изучения значительного периода в истории культурной жизни Грузии.

Вполне понятно, что на страницах «Кавказа» много места уделяется руководителям русской администрации, особенно Розену, Воронцову и Барятинскому — двое последних, на наш взгляд, действительно заслуживают большого внимания.

Годы розеновского правления были периодом неудач. Лишь с приходом Михаила Семеновича Воронцова началось наведение элементарного порядка. Главное в Воронцове не титул, образованность и благородство, на что упирает А. Дюма, а талант администратора, стремление к реформам.

Необычной была биография и князя Барятинского, которого Дюма запечатлел в «Кавказе». Барятинский воспринимал себя в первую очередь как носителя древнейшей княжеской фамилии, как одного из столпов российской государственности. Ярый англоман, Барятинский уважал свободу других людей, и когда ему приказали наладить жандармское наблюдение за Дюма, он на словах согласился с этим, но на самом деле никакого наблюдения, видимо, не установил.

А. И. Барятинский женился лишь в 47-летнем возрасте на Елизавете Давидовне Орбелиани, той самой двадцатилетней красавице, которой восхищался Дюма. Только во время Дюма она была Давыдовой — женой адъютанта Барятинского, неоднократно упоминаемого писателем. Роман с Е. Д. Давыдовой тянулся много лет. И лишь в 1863 году влюбленные повенчались в Брюсселе. Уйдя в декабре 1862 года в отставку, Барятинский жил за границей — в основном в Англии. Барятинский передал Дюма письмо Ростопчиной.

Евдокия Петровна Ростопчина (урожденная Сушкова) (1811–1858) — русская поэтесса. В 1833 году была против воли выдана замуж за А. Ф. Ростопчина, сына московского главнокомандующего в 1812 году — того самого графа Федора Васильевича Ростопчина, кого молва считала виновником московских пожаров при отступлении русских из Москвы и кого Наполеон назвал «сумасшедшим» и «поджигателем». Брак с молодым Ростопчиным был неудачным и вскоре фактически распался.

С двадцатилетнего возраста Евдокия (себя она чаше именовала Авдотьей) Ростопчина публиковала стихи, около сорока из них положены на музыку. Скончалась 3 декабря 1858 г. в Москве.

Оригинал письма Ростопчиной написан по-французски. Впервые это письмо опубликовал Дюма в «Кавказе», в России письмо было впервые напечатано в переводе И. П. Роборовского в том же «Кавказе». Затем письмо уже в новом переводе было издано в «Русской старине» в сентябре 1882 года (с 615–620).

В 1890 г. в Петербурге вышел двухтомник произведений Е. И. Ростопчиной, предисловие к которому написал ее брат Сергей Сушков. Он привел подробные выдержки из письма сестры к Дюма и закончил этот раздел предисловия такими словами: «В напечатанной Александром Дюма заметке о Лермонтове, написанной для него графиней

Ростопчиной, встречаются некоторые неверности и ошибки, которые Евдокия Петровна не могла ему сообщить, и остается думать, что они произошли по недосмотру и всем известной поспешности Дюма в его литературных работах».

Какие «неверности и ошибки» он обнаружил. С. Сушков не сообщает.

Мы сверили приводимый Дюма текст письма с текстом, помешенным в сборнике «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников» (Пенза, 1960, с. 231–230), и никаких мало-мальски существенных различий не обнаружили.

В Тифлисе на грузинском языке издавался журнал «Цискари» («Заря»).

Редактором его был Иван Кереселидзе. В декабре 1858 года в двенадцатом номере журнала (с. 271) в рубрике «Разные вести» сообщалось: «С 1 декабря с.г. в Тифлисе находится выдающийся французский писатель Александр Дюма, который недавно посетил редакцию нашего журнала. Всемирно известный романист всегда делает это, приехав в другую страну. Кто читал «Графа Монте-Кристо», несомненно хорошо знаком с творчеством этого писателя. Тем же, кто не читал его, постараемся предоставить эту возможность, ибо редакция уже располагает переводом романа».

В редакции «Цискари» был устроен прием в честь Дюма. Чем он окончился, Дюма юмористически описывает в «Кавказе».

А какова судьба перевода «Графа Монте-Кристо», о котором упоминает Кереселидзе? Первый перевод этого романа на Грузинский язык вышел лишь в 1953 году.

Работая в фондах Литературного музея им. Г. Леонидзе, я обнаружил рукопись Кереселидзе: это были 86 страниц перевода «Графа Монте-Кристо» на грузинский язык. Было высказано предположение, что перевод не был доведен до конца и потом затерялся. В фондах Литературного музея хранится и автограф Дюма перевода на французский язык стихотворения Лермонтова «Горные вершины». Попал он в музей скорее всего из обширнейшего архива А. И. Барятинского.

Я стою на том месте, где когда-то был караван-сарай Тамамшева, в одном крыле его помешался дом Зубалова. В те годы площадь была совсем иной, ее бы Дюма сейчас и не признал. Фактически не сохранилось ни одного дома той поры, кроме здания Музея искусств, которым в середине XIX столетия владел Яков Леванович Зубалов — родственник Ивана Зубалова. В самом начале проспекта Руставели возвышается бывший дом наместника Кавказа, ныне Дворец пионеров. Все же остальное воздвигли уже относительно недавно.

Дюма прожил в Тифлисе довольно долгое время, но почему-то никто из мемуаристов не сообщает о его пребывании в столице Грузии. Лишь вскользь иногда говорится о поездке Дюма в Тифлис, говорится, как о чем-то курьезном, не заслуживающем внимания. Полностью приводим сообщение С. Ю. Витте о тех временах. «Когда я был еще совсем мальчиком, на Кавказ приехал Дюма-отец, его приезд я хорошо помню. Совершая свое путешествие, Дюма-отец со свойственным ему балагурством описывал всевозможные чудеса на Кавказе. Как только Дюма приехал на Кавказ, он оделся в черкеску, и в таком виде его всюду возили, заставляя пить массу вина».

Автору этих строк было тогда около девяти с половиной лет, и понятно, что он далеко не все мог увидеть и запомнить на долгие годы. Ведь писал он эти строки спустя пятьдесят лет после посещения Дюма Грузии.

В воспоминаниях Витте много любопытной информации, характеризующей жизнь Тифлиса 50–60-х годов XIX столетия. Покидая Тифлис, Дюма благодарил город за то, что ему в нем хорошо работалось. Дюма встречали в Тифлисе великолепно, он восторгался его горожанами, но он еще и работал так, как работал всю жизнь — от зари до зари.

Совсем близко от Тбилиси — Мцхета. Здесь девяносто два памятника культуры, поэтому город объявлен государственным заповедником. Главная достопримечательность Мцхета — кафедральный собор Светицховели (животворящий столп). Дюма видит здесь могилы Горгасала, Ираклия II и сына его Георгия XII, царствовавшего всего лишь неполных три года (1798–1800 гг.). На северной стене храма Дюма заметил рельефное изображение правой руки. Предание о руке он передал верно (мы отсылаем читателей к прекрасному

роману классика грузинской литературы Константинэ Гамсахурдиа «Десница великого мастера»). Рядом Джвари.

Видел Дюма и Военно-Грузинскую дорогу. Описал все точно.

Сравним описание этих мест Дюма с описанием других авторов — приведем выдержку из популярного и почти лишенного фактических ошибок «Иллюстрированного практического путеводителя по Кавказу» Григория Москвича (СПб 1913): «За селением Коби шоссейная дорога вступает в Байдарское ущелье, поднимаясь частыми и крутыми поворотами все выше и выше и переходя с одного берега речки Байдары на другой по каменистым мостам… Участок дороги от второго моста на протяжении нескольких верст славится снежными завалами, иногда по несколько раз в год отрезающими Закавказье от северной части края, нередко в продолжение нескольких дней. Снег в Байдарском ущелье лежит почти круглый год, но завалы случаются обыкновенно от декабря до начала апреля».

Указанный путеводитель сообщает также, что в тех местах Военно-Грузинской дороги, которые при Дюма были крайне неблагоустроены и над чем писатель горько иронизировал, все же был наведен порядок. Об этом говорила мраморная доска у Млетского спуска: «Шоссе сооружено при наместнике Барятинском в 1857–61 годах полковником Статковским и по его же проекту в управление VIII округом путей сообщения генерал-майора Альбранда».

Сейчас же Военно-Грузинская дорога содержится в образцовом порядке, ежедневно по ней мчатся тысячи машин, и им не мешают никакие завалы и обвалы.

В Тифлисе Дюма расстался с Калино. Прощались грустно — все это читатель уже знает. Но кто же такой Калино? Что известно о нем? Да почти ничего.

С. Н. Дурылин пишет, что Александр Калино родился в 1835 году и был студентом физико-математического факультета Московского университета. Сам Дюма сообщает, что Калино был прикомандирован ректором университета к нему в качестве переводчика. Вот и все. Чтобы выяснить, кто такой Калино, я отправился в Центральный государственный исторический архив Москвы, куда свезен архив Московского университета.

И вот я держу в руках старую папку: «Дело совета императорского Московского университета о принятии в число студентов Александра Калино» (ф. 418, оп. 26, ед хр. 271).

«Дело» открывается заявлением Калино.

«Его превосходительству господину ректору императорского Московского университета от бывшего студента Московского университета Александра Калино.

Прошение

Родом я из купцов, уроженец Тульской губернии, Алексинского уезда, 21 лет, вероисповедания православного, воспитывался в Московском университете; ныне, желая поступить в число студентов Московского университета по юридическому факультету, покорнейше прошу Ваше превосходительство принять меня в студенты без экзамена…; при чем честь имею представить следующие документы (далее перечень их — *М. Б.*)

Июнь 1857. Жительство имею на Тверской в доме Бекетова».

Были в «Деле» и другие документы, сопоставляя которые, можно следующим образом проследить жизнь спутника Дюма.

Александр Иванович Калино родился 21 ноября 1835 года в селе Гурове Алексинского уезда Тульской области. Его мать дворянка Екатерина Ивановна Шрейдер. Не известно, в каком возрасте мальчик был взят на воспитание советником (согласно табели о рангах, установленной Петром I в 1722 году, это шестой класс из четырнадцати возможных, т. е., не очень низкий, но и не высокий) Иваном Карловичем Калино. У Ивана Калино уже была дочь Надежда.

Когда Александра крестили, восприемниками были Иван Иванович Шрейдер

(вероятно, отец или брат Е. И. Шрейдер) и эта Надежда.

В 1854 году И. К. Калино был причислен в Москве к купцам второй гильдии.

В августе 1854 года А. Калино зачислили на юридический факультет Московского университета, потом, «согласно собственному прошению», его уволили. С 24 сентября 1855 года по 31 декабря 1856 года он значился унтер-офицером в Запасной дивизии (шестой пехотный полк), был награжден бронзовой медалью на Андреевской ленте. Затем до 31 января 1857 года служил в восьмом запасном батальоне лейб-пехотного Бородинского его величества полка. В июне 1857 года А. Калино вновь зачислили на юридический факультет университета. Он окончил его в 1862 году, проявив «отличные успехи и отличное поведение», получив степень кандидата Московского университета. Никаких упоминаний о поездке вместе с Дюма в личном деле Калино нет.

Итак, из сведений, приводимых С. Н. Дурылиным, верным оказалось лишь то, что Калино родился в 1835 году и учился в университете.

Чем больше я работал в архиве, тем больше хотелось узнать о Калино. Ведь все в его биографии непонятно. Кто его родители? Мать названа. А отец? Иван Карлович Калино — отец родной или приемный?

Отучившись год, Калино почему-то бросает университет, служит в армии, вновь становится студентом, отлично оканчивает его.

Что заставило Калино совершить такой резкий поворот в своей судьбе? Сомнений нет: он был отдан в солдаты за какую-то провинность и примерной службой заслужил право вернуться в университет.

Как сложилась судьба Калино после окончания университета? Где документы об откомандировании Калино в распоряжение Дюма, да и возможно ли такое откомандирование вообще? Университет не армия, тут без добровольного желания, подтвержденного собственноручным заявлением, просто так с занятий не отпустят.

Среди дипломных работ, рефератов, статей студентов, хранящихся в ЦГИАМ (ф. 418, оп. 513, т. 1) никаких упоминаний о Калино нет. А ведь как отличник и будущий кандидат он должен был оставить какую-нибудь память о себе.

Куда делся Калино после окончания университета? Почему не оставил воспоминания о поездке с Дюма?

Вопросов больше, чем ответов.

Да ведь умер же Калино! Ведь на его свидетельстве об окончании университета написано слово «умер». Написано размашисто, карандашом, и сам аттестат перечеркнут крест накрест карандашом. Калино умер, не успев получить аттестат об окончании университета. Аттестат датирован 14 марта 1862 года. Значит, Калино умер примерно тогда. Но от чего умер, где похоронен; вообще, кто он такой.

Роясь в архивных документах, я однажды натолкнулся на некоего Николая Калино.

Я окунулся в «Дело совета императорского Московского университета о принятии в число студентов Николая Калино» (д. № 214 за 1858 год, ф. 418, оп. 27, ед хр. 214).

Н. Калино подавал на физико-математический факультет, но принят он или нет, не ясно. Непонятно, учился ли он далее; ежели был зачислен, как сложилась его судьба. Именовался этот Николай купцом третьей гильдии. Родился 3 июля (или июня) 1839 года; там же, где и Александр, крещен. Восприемниками названы дети Ивана Карловича Калино Владимир и Ольга, матерью — Е. И. Шрейдер (сколько же у нее детей было, и от кого они?) Самое интересное, что отчество у Николая не Иванович, как у всех детей И. К. Калино, а Владимирович.

Посмотрел и оценки Н. В. Калино — одни тройки. Правда, по французскому — 4, а по немецкому — 5.

Дюма писал, что его переводчик хорошо знает немецкий, а о знании им французского отзывается невысоко. Допустим, переводчик Дюма плохо знал французский, но ведь не на четверку же! Он же перевел писателю массу сложных русских книг, а для этого нужно язык знать отлично.

Ни в документах канцелярии совета университета, ни в журналах заседаний юридического и физико-математического факультетов фамилия Калино не упоминалась. Что за невезенье!

Дурылин писал, что переводчик Дюма родился в 1835 году (это А. Калино. — *М. Б.*), что он студент физико-математического факультета (это Н. Калино. — *М. Б.*). Сам же Дюма имя своего переводчика нигде не называет. Вот и разберись. Ни в личном деле Н. В. Калино, ни в личном деле А. И. Калино о Дюма не упоминается. Поэтому можно в одинаковой степени считать участником поездки и одного и другого.

Николай Калино ко времени отъезда Дюма из Москвы было чуть более девятнадцати лет. Общая культура его и успехи в языках были весьма посредственными. Мог ли он быть выбранным придирчивым и знающим жизнь Дюма в качестве своего спутника?

Александр же Калино постарше, пошустрей. Он побывал в армии, легче во всем ориентируется, побольше знает. Но и это не аргумент в пользу того, что именно А. Калино был переводчиком Дюма. Пока не будут найдены точные документы, мы будем теряться в догадках.

Работая в ЦГАОРе, я поинтересовался, а не проходит ли в документах этого архива неуловимый Калино? Поднял массу документов. Лишь один раз натолкнулся на Калино. Но не на того.

Дюма торопился домой. По пути в Поти он посетил Кутаиси. Правда, приехал он в этот город не в самое уютное время года — зимой, когда Грузия погружена в слякоть. Впрочем, Кутаиси хорош независимо от времени года. Это второй после Тбилиси город Грузии — большой, красивый, экономически развитый. Кутаиси расположен по обеим берегам Риони, через реку перекинуто шесть мостов, три из которых были здесь и во времена Дюма. При Дюма это был поселок ремесленников и небогатых купцов. В 1852 году, например, в Кутаиси насчитывалось четыреста сорок домов, триста восемьдесят лавок и одиннадцать церквей.

В центре Кутаиси виднеются руины храма Баграта, построенного в начале XI столетия. Этот храм упоминает Дюма. Он пишет также и о посещении Гелатского монастыря, что в одиннадцати километрах от Кутаиси. Пишет правильно, хотя и кратко.

Из Гелати Дюма вернулся в Кутаиси. Здесь он увидел много разнообразных достопримечательностей. Среди них остатки дворца имеретинских царей — Золотой Шатер. В 1651 году сюда приехали послы русского царя Алексея Михайловича, чтобы установить добрые отношения между двумя государствами.

Из Кутаиси Дюма поплыл в Поти. Сейчас пойма Риони резко изменилась: ликвидировали заболоченные места, а вместе с ними ушли малярия и другие заразные болезни.

…Мимоходом Дюма говорит о Верхней Сванетии — Северо-Западной части Грузии, что у самого южного склона Главного Кавказского хребта. Есть еще и Нижняя Сванетия — та, что лежит в бассейне реки Цхенис-Цкали, где горы пониже.

Сваны — особая ветвь грузин. Живут они высоко в горах, у них своя неповторимая культура и обычаи. Гордый и мужественный народ, сваны создали фольклор, отражающий их обособленную от мира жизнь.

Писатель упоминает убийство одним сванским князем губернатора Кутаиси. На самом деле это все было — не придумано.

Генерал-лейтенант князь Александр Иванович Гагарин (1801–1857) с февраля 1857 года генерал-губернатор Кутаиси, 22 октября 1857 г. смертельно ранен князем Константином Дадешкелиани и 27 октября скончался.

Связи Гагарина с Кавказом начались не с 1857 года. Еще в 1845 г., будучи адъютантом М. С. Воронцова, он переехал из Одессы в Тифлис. Участвовал в горской войне, был дербентским градоначальником и долгое время военным губернатором Кутаиси. Большой любитель садоводства, Гагарин разбил в Кутаиси многочисленные сады. Он построил здесь здание гимназии, два моста через Рио ни. Ему обязан широкой популярностью виноград

«изабелла».

Второй женой князя Гагарина была Анастасия Давидовна Орбелиани (первой — вдова декабриста Мария Андреевна Поджио). Потомства он не оставил. Анастасия Орбелиани (Тасо) была родной сестрой жены А. И. Барятинского. Добрая память о Гагарине хранится по сей день.

Его убийца был расстрелян.

Через некоторое время вдова Дадешкелиани обратилась к А. И. Барятинскому с просьбой позволить ей похоронить прах мужа на его родине. А. И. Барятинский выделил вдове шесть тысяч рублей, прах князя Дадешкелиани был при стечении народа торжественно перенесен в родное имение. Убил он Гагарина не из личных соображений, а в знак протеста против лишения Сванетии независимости.

Дюма объехал не весь Кавказ. Поэтому о каких-то районах он пишет подробно, а о каких-то вскользь, либо совсем умалчивает. Да и как мог путешественник изучить всю страну, если он не знал ее языков?

Из Поти Дюма отплыл во Францию. Вспоминал ли он потом Кавказ? Как сложилась жизнь горийца Василия, приглянувшегося писателю? Куда подевалась кавказская коллекция Дюма?

Знал ли писатель, что уже в 1861 году в Тифлисе вышел перевод его книги? Догадывался ли, что теперь он навсегда породнился с Кавказом, что на Кавказе его книги будут читаться с особым интересом?

Звездной тбилисской ночью заканчиваю этот очерк. Позади многочисленные поездки по следам Дюма. Судьба свела меня с множеством людей, которые имели какое-то отношение к подготовке этой книги: музейные работники, переводчики, сотрудники архивов, библиотек, краеведы, литераторы, шоферы, летчики и т. д. Встречались люди, которые на первых порах и не имели к этой книге никакого касательства, но и они загорались идеей быть чем-то ей полезными. Среди них не было ни одного, кто был бы мне неприятен.

За это большое спасибо Дюма, спасибо Дюма, что он помог ближе узнать Кавказ мне и, надеюсь, многим читателям тоже.

Благодарю всех, кто помогал в работе: и москвичей, и дагестанцев, и жителей Азербайджана и Грузии — словом, всех-всех.

«Дюма никогда не отличался точностью, однако его рассказы по возвращении из России превзошли приключения Монте-Кристо. Хорошо выдумывать тому, кто прибыл издалека. Впрочем, какое это имеет значение? Слушатели были зачарованы. Он так увлекательно рассказывал, с таким пылом и такой убежденностью, что все верили, и прежде других — сам рассказчик», — подытоживает Андре Моруа главу о поездке Дюма в Россию.

Подытожим и мы.

«Кавказ» — произведение замечательное и редкое по документальности и скрупулезности автора в описании виденного и слышанного; произведение, одинаково сочетающее в себе художественность и точность.

«Кавказ» опровергает представление о Дюма, изложенное выше. Что рассказывал Дюма своим парижским слушателям, мы не знаем (как, кстати, не знал этого и Моруа) и, видно, не узнаем никогда. Но перед нами его книга. И по ней мы можем судить о Дюма.

Дюма это Дюма. Единственный. Загадочный. Динамичный. Неисчерпаемый. Великолепный. И принимать его надо таким, каков он есть, каким встает со страниц своих книг. И со страниц «Кавказа».

Михаил Буянов.
1984–85
Москва — Тбилиси